

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



MICHEL
de
MONTAIGNE

LES ESSAIS

LIVRE SECOND



МИШЕЛЬ
МОНТЕНЬ
ОПЫТЫ

КНИГА ВТОРАЯ

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ
Ф.А.КОГАН - БЕРНШТЕЙН,
А.С.БОБОВИЧ и А.А.СМИРНОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА - ЛЕНИНГРАД

1 9 5 8

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
„ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ“

Академики *В. П. ВОЛГИН* (председатель), *В. В. ВИНОГРАДОВ*,
Н. И. КОНРАД (зам. председателя), *И. А. ОРБЕЛИ*, *С. Д. СКАЗКИН*,
М. Н. ТИХОМИРОВ, члены-корреспонденты АН СССР *Д. Д. БЛАГОЙ*,
В. М. ЖИРМУНСКИЙ, *Д. С. ЛИХАЧЕВ*, профессора *И. И. АНИСИ-*
МОВ, *А. А. ЕЛИСТРАТОВА*, *С. Л. УТЧЕНКО*, кандидат историче-
ских наук *Д. В. ОЗНОБИШИН* (ученый секретарь)

Ответственные редакторы:

Академик *С. Д. СКАЗКИН*
и профессор *А. А. СМИРНОВ*

О П Ы Т Ы





Г л а в а I

О НЕПОСТОЯНСТВЕ НАШИХ ПОСТУПКОВ

Величайшая трудность для тех, кто занимается изучением человеческих поступков, состоит в том, чтобы примирить их между собой и дать им единое объяснение, ибо обычно наши действия так резко противоречат друг другу, что кажется невероятным, чтобы они исходили из одного и того же источника. Марий Младший¹ в одних случаях выступал как сын Марса, в других — как сын Венеры. Папа Бонифаций VIII², как говорят, вступая на папский престол, вел себя лисой, став папой, выказал себя львом, а умер как собака. А кто поверит, что Нерон³ — это подлинное воплощение человеческой жестокости, — когда ему дали подписать, как полагалось, смертный приговор одному преступнику, воскликнул: «Как бы я хотел не уметь писать!» — так у него сжалось сердце при мысли осудить человека на смерть. Подобных примеров великое множество, и каждый из нас может привести их себе сколько угодно; поэтому мне кажется странным, когда разумные люди иногда пытаются подвести все человеческие поступки под один ранжир, между тем как непостоянство представляется мне самым обычным и явным недостатком нашей природы, свидетельством чего может служить известный стих насмешника Публилия:

*Malum consilium est, quod mutari non potest.*⁴

Есть некоторое основание составлять себе суждение о человеке по наиболее обычным для него чертам поведения в жизни; но, принимая во внимание естественное непостоянство наших обычаев и взглядов, мне часто казалось, что напрасно даже лучшие авторы упорствуют,

стараясь представить нас постоянными и устойчивыми. Они создают некий обобщенный образ и, исходя затем из него, подгоняют под него и истолковывают все поступки данного лица, а когда его поступки не укладываются в эту рамку, они отметают все отступления от нее. С Августом,⁵ однако, у них дело не вышло, ибо у этого человека было такое явное, неожиданное и постоянное сочетание самых разнообразных поступков в течение всей его жизни, что даже самые смелые судьи вынуждены были признать его лишенным цельности, неодинаковым и неопределенным. Мне труднее всего представить себе в людях постоянство и легче всего — непостоянство. Чаще всего окажется прав в своих суждениях на этот счет тот, кто вникнет во все детали и разберет один за другим каждый поступок.

На протяжении всей древней истории трудно найти десяток людей, которые подчинили бы свою жизнь определенному и установленному плану, что является главной целью мудрости. Ибо, как говорит один древний автор,⁶ если пожелать выразить единым словом и свести к одному все правила нашей жизни, то придется сказать, что мудрость — это «всегда желать и всегда не желать той же самой вещи». «Я не считаю нужным, — говорил он, — прибавлять к этому: лишь бы желание это было справедливым, так как, если бы оно не было таковым, оно не могло бы быть всегда одним и тем же». Действительно, я давно убедился, что порок есть не что иное, как нарушение порядка и отсутствие меры, и, следовательно, исключает постоянство. Передают, будто Демосфен⁷ говорил, что «началом всякой добродетели является взвешивание и размышление, а конечной целью и увенчанием ее — постоянство». Если бы мы выбирали определенный путь по зрелом размышлении, то мы выбрали бы наилучший путь, но никто не думает об этом:

Quod petiit spernit; repetit, quod nuper omisit;
Aestuat, et vitae disconvenit ordine toto.⁸

Мы обычно следуем за нашими склонностями направо и налево, вверх и вниз, туда, куда влечет нас вихрь случайностей. Мы думаем о том, чего мы хотим, лишь в тот момент, когда мы этого хотим, и меняемся как то животное, которое принимает окраску тех мест, где

оно обитает. Мы меняем то, что только что решили, потом опять возвращаемся к оставленному пути; это какое-то непрерывное колебание и непостоянство:

Ducimur, ut nervis alienis mobile lignum.⁹

Мы не идем, а нас несет, подобно предметам, которые уносятся течением реки то плавно, то стремительно, в зависимости от того, спокойна она или бурлива:

Quid sibi quisque velit nescire, nonne videmus et quaerere semper,
Commutare locum, quasi onus deponere possit.¹⁰

Каждый день нечто новое приходит нам на ум, и наши настроения меняются вместе с течением времени:

Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse
Iuppiter auctifero lustravit lumine terras.¹¹

Мы колеблемся между различными планами: в наших желаниях никогда нет постоянства, нет свободы, нет ничего безусловного.

В жизни того, кто предписал бы себе и установил бы для себя в душе определенные законы и определенное поведение, должно было бы наблюдаться единство нравов, порядок и неукоснительное подчинение одних вещей другим.

Эмпедокл¹² обратил внимание на одну странность в характере агригентцев: они предавались наслаждениям так, как если бы им предстояло завтра умереть, и в то же время строили такие дома, как если бы им предстояло жить вечно.

Судить о некоторых людях очень легко. Взять, к примеру, Катона Младшего:¹³ тут тронь одну клавишу — и уже знаешь весь инструмент; тут гармония согласованных звуков, которая никогда не изменяет себе. У себя же мы видим обратное: сколько поступков, столько же требуется и суждений о каждом из них. На мой взгляд, вернее всего было бы объяснять наши поступки окружающей средой, не вдаваясь в более тщательное расследование причин и не выводя отсюда других умозаключений.

Во время неурядиц в нашем несчастном отечестве случилось, как мне передавали, что одна девушка, жившая неподалеку от меня, вы-

бросилась из окна, чтобы спастись от насилия со стороны гнусного солдата, поселившегося в ее доме; она не убилась при падении и, чтобы довести свое намерение до конца, хотела перерезать себе горло ножом, но ей помешали сделать это, хотя она и успела основательно себя поранить. Она потом призналась, что солдат еще только осаждал ее просьбами, уговорами и предложением подарков, но она опасалась, что он прибегнет к насилию. И вот, как результат этого — ее крики, все ее поведение, кровь, пролитая в доказательство ее добродетели, — точь-в-точь вторая Лукреция.¹⁴ Между тем я знал, что в действительности она и до и после этого происшествия была девицей не столь уж недоступной. Как гласит пословица, «если ты, будучи тих и скромн, натолкнулся на отпор со стороны женщины, не торопись делать из этого вывода о ее неприступности: придет час — и погонщик мулов свое получит».

Антигон,¹⁵ которому один из его солдат полюбился храбростью и добродетелью, приказал своим врачам вылечить его от болезни, которая давно его подтачивала. Заметив, что после своего выздоровления солдат этот стал гораздо менее отважным в бою, Антигон спросил его, почему он так изменился и утратил мужество. «Ты сам, государь, причиной тому, — ответил солдат, — ибо избавил меня от страданий, из-за которых мне жизнь была не мила». Один из солдат Лукулла¹⁶ был ограблен кучкой вражеских воинов и, пылая мстью, совершил смелое и успешное нападение на них. Когда солдат вознаградил себя за потерю, Лукулл, оценив его храбрость, захотел использовать его в одном задуманном им смелом деле и стал уговаривать его, соблазняя самыми заманчивыми обещаниями, какие он только мог придумать:

*Verbis quae timido quoque possent addere mentem.*¹⁷

«Поручи это дело, — ответил тот, — какому-нибудь бедняге, общинному ими»:

*quantumvis rusticus: Ibit,
Ibit eo, quo vis, qui zonam perdidit, inquit,*¹⁸

и наотрез отказался.

Мехмед¹⁹ однажды резко обрушился на предводителя своих янычар Гасана за то, что тот допустил, чтобы венгры обратили в бегство его отряд, и трусливо вел себя в сражении. В ответ на это Гасан, не промолвив ни слова, яростно бросился один, как был с оружием в руках, на первый попавшийся отряд неприятеля и был тотчас же изрублен. Это было не столько попыткой оправдаться, сколько переменою чувств, и говорило не столько о природной доблести, сколько о новом взрыве отчаяния.

Пусть не покажется вам странным, что тот, кого вы видели вчера беззаветно смелым, завтра окажется низким трусом; гнев или нужда в чем-нибудь, или какая-нибудь товарищеская компания, или выпитое вино, или звук трубы заставили его сердце уйти в пятки. Ведь дело идет здесь не о чувствах, порожденных рассудком и размышлением, а о чувствах, вызванных обстоятельствами. Что удивительного, если человек этот стал иным при иных, противоположных обстоятельствах?

Эта наблюдающаяся у нас изменчивость и противоречивость, эта зыбкость побудила одних мыслителей предположить, что в нас живут две души, а других — что в нас заключены две силы, из которых каждая влечет нас в свою сторону: одна — к добру, другая — к злу, ибо столь резкий переход от одной крайности к другой не может быть объяснен иначе.

Однако не только случайности заставляют меня изменяться по своей прихоти, но и я сам, помимо того, меняюсь по присущей мне внутренней неустойчивости, и кто присмотрится к себе внимательно, может сразу же убедиться, что он не бывает дважды в одном и том же состоянии. Я придаю своей душе то один облик, то другой, в зависимости от того, в какую сторону я ее поворачиваю. Если я говорю о себе по-разному, то лишь потому, что смотрю на себя с разных точек. Тут происходит какое-то чередование всех заключенных во мне противоположностей. В зависимости от того, как я смотрю на себя, я нахожу в себе и стыдливость, и наглость; и целомудрие, и распутство; и болтливость, и молчаливость; и трудолюбие, и изнеженность; и изобретательность, и тупость; и угрюмость, и добродушие; и лживость, и правдивость; и ученость, и невежество; и щедрость, и скупость, и расточительность. Все это в той или иной степени я в себе

нахожу, в зависимости от угла зрения, под которым смотрю. Всякий, кто внимательно изучит себя, обнаружит в себе, и даже в своих суждениях, эту неустойчивость и противоречивость. Я ничего не могу сказать о себе простого, цельного и устойчивого, я не могу сказать о себе единым словом, без сочетания противоположностей. *Distinguo*²⁰ — такова постоянная предпосылка моего логического мышления.

Должен сказать при этом, что я всегда склонен говорить о добром доброе и толковать скорее в хорошую сторону вещи, которые могут быть таковыми, хотя, в силу свойств нашей природы, нередко сам порок толкает нас на добрые дела, если только не судить о доброте наших дел исключительно по нашим намерениям. Вот почему смелый поступок не должен непременно предполагать доблести у совершившего его человека; ибо тот, кто по-настоящему доблестен, будет таковым всегда и при всяких обстоятельствах. Если бы это было проявлением постоянной добродетели, а не случайным порывом, то человек был бы одинаково решителен во всех случаях: как тогда, когда он один, так и тогда, когда он находится в обществе других; как во время поединка, так и в сражении; ибо, что бы там ни говорили, нет одной храбрости на уличной мостовой и другой на поле боя. Он будет так же стойко переносить болезнь в постели, как и ранение на поле битвы, и не будет бояться смерти дома больше, чем при штурме крепости. Не бывает, чтобы один и тот же человек смело кидался в брешь, а потом плакался бы, как женщина, проиграв судебный процесс или потеряв сына.

Когда человек, падающий духом от оскорбления, в то же время стойко переносит бедность, или боящийся бритвы цирюльника обнаруживает твердость перед мечом врага, то достойно похвалы деяние, а не сам человек.

Многие греки, говорит Цицерон, не выносят вида врагов и стойко переносят болезни; и как раз обратное наблюдается у кимвров и кельтиберов.²¹ *Nihil enim potest esse aequabile, quod non a certa ratione proficiscatur.*²²

Нет высшей храбрости в своем роде, чем храбрость Александра Македонского, но и она — храбрость лишь особого рода, не всегда себе равная и всеобъемлющая. Как ни несравненна она, на ней все

же есть пятна. Так, мы знаем, что он совсем терял голову при самых слабых возникавших у него подозрениях относительно козней его приверженцев, якобы покушавшихся на его жизнь; мы знаем, с каким неистовством и необузданным пристрастием он бросался на расследование этого дела, объятый страхом, который мутил его природный разум. И то суеверие, которому он так сильно поддавался, тоже носит характер известного малодушия. Его чрезмерное раскаяние в убийстве Клита²³ тоже говорит за то, что его храбрость не всегда была одинакова.

Наши поступки — не что иное, как разрозненные, не слаженные между собой действия (*voluptatem contempnunt, in dolore sunt molliores: gloriam negligunt, franguntur infamia*²⁴), и мы хотим, пользуясь ложными названиями, заслужить почет. Добродетель требует, чтобы ее соблюдали ради нее самой; и если иной раз ею прикрываются для иных целей, она тотчас же срывает маску с нашего лица. Если она однажды проникла к нам в душу, то она подобна яркой и несмываемой краске, которая сходит только вместе с тканью. Вот почему, чтобы судить о человеке, надо долго и внимательно следить за ним: если постоянство ему несвойственно (*cui vivendi via considerata atque provisa est*²⁵), если он, в зависимости от разнообразных случайностей, меняет путь (я имею в виду именно путь, ибо шаги можно ускорять или, наоборот, замедлять), предоставьте его самому себе — он будет плыть по воле волн, как гласит поговорка нашего Тальбота.²⁶

Неудивительно, говорит один древний автор,²⁷ что случай имеет над нами такую огромную власть: ведь то, что мы живем, — тоже случайность. Тот, кто не поставил себе в жизни определенной цели, не может наметить себе и отдельных действий. Тот, кто не имеет представления о целом, не может распределить и частей. К чему набор красок тому, кто не знает, что он будет ими писать? Никто не строит цельных планов на всю жизнь; мы обдумываем эти планы лишь по частям. Стрелок прежде всего должен знать свою мишень, а затем уже он приспособливает к ней свою руку, лук, стрелу, все свои движения. Наши намерения меняются, так как они не имеют одной цели и назначения. Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Я не согласен с тем решением, которое

было вынесено судом относительно Софокла²⁸ и которое, вопреки иску его сына, признавало Софокла способным к управлению своими домашними делами на основании только одной его прослушанной судьями трагедии.

Я не нахожу также, что паросцы, посланные положить конец неурядицам милетян, сделали правильный вывод из своего наблюдения. Прибыв в Милет, они обратили внимание на то, что некоторые поля лучше обработаны и некоторые хозяйства ведутся лучше, чем другие; они записали имена хозяев этих полей и хозяйств и, создав народное собрание, объявили, что вручают этим людям управление государством, так как они считают, что эти хозяева будут так же заботиться об общественном достоянии, как они заботились о своем собственном.²⁹

Мы все лишены цельности и состоим из отдельных клочков, каждый из которых в каждый данный момент играет свою роль. настолько многообразно и пестро наше внутреннее строение, что в разные моменты мы не меньше отличаемся от себя самих, чем от других. *Magnum rem puta unum hominem agere.*³⁰ Так как честолюбие может внушить людям и храбрость, и уверенность, и щедрость, и даже иногда справедливость; так как жадность способна пробудить в мальчике — подручном из лавочки, выросшем в бедности и безделье, смелую уверенность в своих силах и заставить его покинуть дом и плыть в утлом суденышке, отдавшись воле волн разгневанного Нептуна, и в то же время жадность способна научить скромности и осмотрительности, ибо сама Венера порождает смелость и решимость в юношах, еще сидящих на школьной скамье, и возбуждает гнев в нежных сердцах девушек, охраняемых своими матерями, —

*Nac duce, custodes furtim transgressa iacentes
Ad iuvenem tenebris sola puella venit,*³¹

то не дело зрелого разума судить о нас поверхностно лишь по нашим внешним поступкам. Следует поискать внутри нас, спустившись до самых глубин, и установить, от каких толчков исходит движение; однако, принимая во внимание, что это дело сложное и рискованное, я хотел бы, чтобы по возможности меньше людей занимались этим.



Г л а в а II

О ПЬЯНСТВЕ

Мир — не что иное, как бесконечное разнообразие и несходство. Все пороки совершенно сходны между собой в том, что они пороки, и именно так их и толкуют стоики. Но хотя все они равно пороки, они пороки не в равной мере. Трудно допустить, чтобы тот, кто преступил установленную границу на сто шагов, —

*Quos ultra citraque nequit consistere rectum,*¹ —

не был более тяжким преступником, чем тот, кто преступил ее на десять; или что совершить святотатство не хуже, чем украсть на огороде кочан капусты:

*Ne vincet ratio, tantundem ut peccet idemque
Qui teneros caules alieni fregerit horti,
Et qui nocturnus divum sacra legerit.*²

Во всех этих проступках столько же различий, сколько и в любом другом деле.

Очень опасно не различать характер и степень прегрешения. Это было бы весьма выгодно убийцам, предателям, тиранам. Не следует, чтобы их совесть испытывала облегчение от сознания, что такой-то вот человек лентяй, или похотлив, или недостаточно набожен. Всякий склонен подчеркивать тяжесть прегрешений своего ближнего и преуменьшать свой собственный грех. На мой взгляд, даже судьи часто неправильно расценивают их.

Сократ говорил, что главная задача мудрости в том, чтобы различать добро и зло; то же самое и мы, в чьих глазах нет безгрешных, должны сказать об умении различать пороки, ибо без этого точного знания нельзя отличить добродетельного человека от злодея.

Среди других прегрешений пьянство представляется мне пороком особенно грубым и низменным. В других пороках больше участвует ум; существуют даже пороки, в которых имеется оттенок благородства, если можно так выразиться. Есть пороки, связанные со знанием, с усердием, с храбростью, с проницательностью, с ловкостью и с хитростью; но что касается пьянства, то это порок насквозь телесный и материальный. Поэтому самым грубым из всех ныне существующих народов является тот, у которого особенно распространен этот порок. Другие пороки притупляют разум, пьянство же разрушает его и поражает тело:

cum vini vis penetravit
Consequitur gravitas membrorum, praepediuntur
Crura vacillanti, tardescit lingua, madet mens,
Nant oculi; clamor singultus, iurgia gliscunt.³

Наихудшее состояние человека — это когда он перестает сознавать и владеть собой.

По поводу пьяных среди прочих вещей говорят, что подобно тому, как при кипячении вся муть со дна поднимается на поверхность, точно так же те, кто хватил лишнего, под влиянием винных паров выбалтывают самые сокровенные тайны:

tu sapientium
Curas et arcanum iocoso.
Consilium retegis Lyaeo.⁴

Иосиф⁵ рассказывает, что, напоив направленного к нему неприятелем посла, он выведал у него таким способом важные тайны. Однако Август, доверившись в самых сокровенных своих делах завоевателю Фракии Луцию Пизону, ни разу не просчитался, как равным образом и Тиберий⁶ с Коссом, которому он открывал все свои планы; между тем известно, что оба они были столь привержены к вину, что их нередко приходилось уносить из сената совсем упившимися:

Externo inflatum venas de more Lyaeo.⁷

И ведь не побоялись же заговорщики посвятить Цимбра,⁸ который часто напивался, в свой замысел убить Цезаря, как они посвятили в него Кассия, который пил только воду. Цимбр по этому поводу весело сострил: «Как вы хотите, чтобы я носил в себе тайну о тиране, я, который переносу плохо даже вино?» Известно также, что немецкие солдаты, действующие во Франции, даже напившись до положения риз, никогда не забывают, однако, ни о своей родословной, ни своего пароля, ни о своем чине:

*nec facilis victoria de madidis et
Blaesis, atque mero titubantibus.*⁹

Я бы не мог себе представить такого беспробудного и нескончаемого пьянства, если бы не прочел у одного историка¹⁰ о следующем случае. Аттал, пригласив на ужин того самого Павсания, который впоследствии, в связи именно с нижеследующим происшествием, убил македонского царя Филиппа — царя, своими превосходными качествами доказавшего, какое прекрасное воспитание он получил в доме Эпаминонда и в его обществе, — желая нанести Павсанию чувствительное оскорбление, напоил его до такой степени, что Павсаний, совершенно не помня себя, как самая непотребная женщина, стал отдаваться погонщикам мулов и самым презренным слугам в доме Аттала.

Или вот еще один случай, о котором рассказала мне одна весьма уважаемая мною дама. Неподалеку от Бордо, возле Кастра, где она проживает, одна деревенская женщина, вдова, славившаяся своей добродетелью, вдруг заметила у себя признаки начинающейся беременности. «Если бы у меня был муж, — сказала она соседям, — то я решила бы, что я беременна». С каждым днем подозрения относительно беременности все усиливались и наконец дело стало явным. Тогда она попросила, чтобы с церковного амвона было оглашено, что она обещает тому, кто сознается в своем поступке, простить его и, если он захочет, выйти за него замуж. И вот один из ее молодых работников, ободренный ее заявлением, рассказал, что однажды в праздничный день после обильной выпивки он застал ее около очага, погруженной в такой глубокий сон и в такой нескромной позе, что сумел овладеть ею, не разбудив ее. Они и поныне живут в честном браке.

Известно, что в древности пьянство не особенно осуждалось. Многие философы в своих сочинениях довольно мягко отзываются о нем; и даже среди стоиков есть такие, которые советуют иногда выпивать, но только не слишком много, а ровно столько, сколько нужно, чтобы развеселить свою душу:

Hoc quoque virtutum quondam certamine, magnum
Socratem palman promeruisse ferunt.¹¹

Того самого Катона,¹² которого называли цензором и наставником, упрекали в том, что он изрядно выпивал:

Narratur et prisca Catonis
Saepe mero caluisse virtus.¹³

Прославленный Кир,¹⁴ желая показать свое превосходство над братом Артаксерксом, в числе прочих своих достоинств ссылался на то, что он умеет гораздо лучше пить, чем Артаксеркс. У самых цивилизованных и просвещенных народов очень принято было пить. Я слышал от знаменитого парижского врача Сильвия,¹⁵ что для того, чтобы наш желудок не ленился работать, хорошо раз в месяц дать ему встряску, выпив вина и пробудив этим его активность.

О персах пишут, что они совещались о важнейших своих делах под хмельком.¹⁶

Что касается меня, то врагом этого порока является не столько мой разум, сколько мой нрав и мои вкусы. Ибо, помимо того, что я легко поддаюсь авторитетным мнениям древних авторов, я действительно нахожу, что пьянство это бессмысленный и низкий порок, однако менее злостный и вредный, чем другие, поражающие насквозь устой человеческого общества. И хотя нет, как полагают, такого удовольствия, которое мы могли бы доставить себе так, чтобы оно нам ничего не стоило, я все же нахожу, что этот порок менее отягчает нашу совесть, чем другие, не говоря уже о том, что он не требует особых ухищрений и его проще всего удовлетворить, что также должно быть принято в соображение.

Один весьма почтенный и пожилой человек¹⁷ говорил мне, что в число трех главных оставшихся ему в жизни удовольствий входит выпивка. Но он делал это плохо: в этом деле надо избегать изыскан-

ности и нельзя быть очень разборчивым в выборе вина. Если вы хотите получать наслаждение от вина, вы должны идти на то, чтобы оно иногда было вам и не вкусно. Надо иметь и более грубый, и более разнообразный вкус. Кто желает быть мастером выпить, должен отказаться от тонкого вкуса. Немцы, например, почти с одинаковым удовольствием пьют всякое вино. Они хотят влить в себя побольше, а не лакомиться вином. Это вещь более достижимая. Удовольствие немцев в том, чтобы вина было вволю, чтобы оно было доступным. Что касается французской манеры пить, то есть пить два раза в день за едой, умеренно и с опаской за здоровье, то такая манера означает лишать себя многих милостей Вакха. В этом деле нужно больше постоянства, надо уделять ему больше времени. Древние посвящали ему ночи напролет, прибавляя часто сверх того еще и дни. И надо действительно, чтобы обычная порция вина была и более обильной и более постоянной. Я знавал одного нашего сановника, вершителя важнейших дел, шедшего от успеха к успеху, который без труда выпивал во время своих обычных трапез не менее двадцати пинт вина и после этого становился только более проныкательным и искусным в решении сложных дел. Удовольствие, которое мы хотим познать в жизни, должно занимать в ней побольше места. Нельзя упускать ни одного представляющегося случая выпить и следует всегда помнить об этом желании, надо походить в этом отношении на рассыльных из лавки или на рабочих. Похоже на то, что мы с каждым днем ограничиваем наше повседневное потребление вина и что раньше в наших домах, как я наблюдал в детстве, всякие угощения и подкрепления были гораздо более частыми и обычными, чем в настоящее время. Значит ли это, что мы в каких-то отношениях идем к лучшему? Отнюдь нет! Это значит только, что мы в гораздо большей степени, чем наши отцы, ударились в распутство. Ведь невозможно предаваться с одинаковой силой и распутству, и страсти к вину. Воздержание от вина, с одной стороны, ослабляет наш желудок, а с другой — делает нас дамскими угодниками, более падкими к любовным утехам.

Какое множество рассказов довелось мне слышать от моего отца о добродетельности людей его времени! Добродетель, по его словам,

как нельзя более соответствовала нравам тогдашних дам. Отец мой говорил мало и очень складно, уснащая свою речь некоторыми выражениями не из древних, а новых авторов, в особенности из испанских; из испанских книг его излюбленной было сочинение, обычно именуемое у испанцев «Марком Аврелием».¹⁷ Он держался с приятным достоинством, удивительно скромно и застенчиво. На нем лежал особый отпечаток честности и порядочности; он проявлял большую тщательность в одежде, как обычного рода, так и для верховой езды. Он был поразительно верен своему слову и в вопросах совести и веры скорее склонен был к суеверию, чем к другой крайности. Он был небольшого роста, но полон сил, имел хорошую выправку и был прекрасно сложен. У него было приятное лицо, смуглого оттенка. Он был ловок и искусен во всякого рода физических упражнениях. Я еще застал палки со свинцовым грузом, которые, как мне передавали, служили ему для упражнения рук при подготовке к игре в городки или фехтованию, и ботинки со свинцовыми набойками, в которых легче было бегать и прыгать. С самых ранних лет в моей памяти с ним связаны маленькие чудеса. Когда ему было уже за шестьдесят, мне не раз приходилось видеть, как он, посмеиваясь над нашей неловкостью, вскакивал в своем меховом плаще на коня, как он перепрыгивал через стол или как он, поднимаясь по лестнице в свою комнату, всегда перескакивал через три или четыре ступеньки. Он утверждал, что во всей нашей области вряд ли можно было найти хоть одну благородную женщину, которая пользовалась бы дурной славой, и рассказывал о приключавшихся с ним случаях удивительной близости с почтенными женщинами, случаями, не вызывавшими никаких сомнений в его безупречном поведении. Он клялся, что до самой своей женитьбы был девственником. Он провел многие годы в Италии, участвуя в итальянских походах, о которых оставил нам собственноручный дневник с подробнейшим описанием всего происходившего, описанием, предназначавшимся и для его личного и для общественного пользования.

Поэтому он и женился довольно поздно, по возвращении из Италии, в 1528 году, когда ему было тридцать три года. Но вернемся к прерванной нити изложения.

Докуки старости, нуждающейся в опоре и каком-то освежении, с полным основанием могли бы внушить мне желание обладать умением пить, ибо это одна из последних радостей, которые остаются после того, как убегающие годы украли у нас одну за другой все остальные. Знающие толк в этом деле собутыльники говорят, что естественное тепло прежде всего появляется в ногах: оно сродни детству. По ногам оно поднимается вверх, в среднюю область и, водворяясь здесь надолго, является источником, на мой взгляд, единственных, подлинных плотских радостей (другие наслаждения меркнут по сравнению с ними). Под конец, подобно поднимающемуся и оседающему пару, оно достигает нашей глотки и здесь делает последнюю остановку.

Однако я не могу представить себе, как можно продлить удовольствие от питья, когда пить уже больше не хочется, и как можно создать себе воображением искусственное и противоестественное желание пить. Мой желудок был бы неспособен на это: он может вместить только то, что ему необходимо. У меня привычка пить только после еды, и поэтому я под конец почти всегда пью самый большой бокал. Анахарсис¹⁸ удивлялся, что греки к концу трапезы пили из более объемистых чаш, чем в начале ее. Я полагаю, что это делалось по той же причине, по какой так поступают немцы, которые к концу начинают состязание — кто выпьет больше. Платон запрещал детям пить вино до восемнадцатилетнего возраста и запрещал напиваться ранее сорока лет; тем же, кому стукнуло сорок, он предписывает наслаждаться вином вволю и щедро усащать свои пиры поклонением Дионису, этому доброму богу, возвращающему людям веселье и юность старцам, укрощающему и усмиряющему страсти, подобно тому как огонь плавит железо. В своих «Законах»¹⁹ он считает такие пирушки полезными (лишь бы для наведения порядка был староста компании, сдерживающий остальных), ибо опьянение — это хорошее и верное испытание природы всякого человека; оно, как ничто другое, способно придать пожилым людям смелость пуститься в пляс или затянуть песню, чего они не решились бы сделать в трезвом виде. Вино способно придать душе выдержку, телу здоровье. И все же Платон одобряет следующие ограничения, частью заимствованные им у ка-

фагеня: «Следует воздерживаться от вина в военных походах; всякому должностному лицу и всякому судье надо воздерживаться от вина при исполнении своих обязанностей и решении государственных дел; выпивке не следует посвящать ни дневных часов, отведенных для других занятий, ни той ночи, когда хотят дать жизнь потомству».

Говорят, что философ Стильпон,²⁰ удрученный надвинувшейся старостью, сознательно ускорил свою смерть тем, что пил вино, не разбавленное водой. От той же причины — только не по собственному намерению — погиб и отягченный годами философ Аркесилай.²¹

Существует странный, очень занятный вопрос: поддается ли душа мудреца действию вина?

*Si munitae adhibet vim sapientiae.*²²

На какие только глупости не толкает нас наше высокое мнение о себе! Самому уравновешенному человеку на свете надо помнить о том, чтобы твердо держаться на ногах и не свалиться на землю из-за собственной слабости. Из тысячи человеческих душ нет ни одной, которая хоть в какой-то миг своей жизни была бы неподвижна и неизменна, и можно сомневаться, способна ли душа по своим естественным свойствам быть таковой? Если добавить к этому еще постоянство, то это будет последняя ступень совершенства; я имею в виду, если ничто ее не поколеблет, что может произойти из-за тысячи случайностей. Великий поэт Лукреций философствовал и зарекался, как только мог, и все же случилось, что он вдруг потерял рассудок от любовного напитка. Думаете ли вы, что апоплексический удар не может поразить с таким же успехом Сократа, как и любого носильщика? Некоторых людей болезнь доводила до того, что они забывали свое собственное имя, и легкое ранение повреждало разум других. Ты можешь быть сколько угодно мудрым, и все же в конечном счете ты — человек; а есть ли что-нибудь более хрупкое, более жалкое и ничтожное? Мудрость нисколько не укрепляет нашей природы:

*Sudores itaque et pallorem existere toto
Corpore, et infringi linguam, vocemque aboriri
Caligare oculos, sonere aures, succidere artus
Denique concidere ex animi terrore videmus.*²³

Человек не может не начать моргать глазами, когда ему грозит удар. Он не может не задрожать всем телом, как ребенок, оказавшись на краю пропасти. Природе угодно было сохранить за собой эти незначительные признаки своей власти, которую не может превозмочь ни наш разум, ни стоическая добродетель, чтобы напомнить человеку, что он смертен и хрупок. Он бледнеет от страха, краснеет от стыда; на припадок боли он реагирует если не громким и отчаянным воплем, то хриплым и неузнаваемым голосом:

*Humani a se nihil alienum putet.*²⁴

Поэты, которые творят со своими героями все, что им заблагорассудится, не решаются лишить их способности плакать:

*Sic fatur lacrimans, classique immitit habenas.*²⁵

С писателя достаточно того, что он обуздывает и умеряет склонности своего героя; но одолеть их не в его власти. Даже сам Плутарх, — этот превосходный и тонкий судья человеческих поступков, — упомянув о Бруте²⁶ и Торквате,²⁷ казнивших своих сыновей, выразил сомнение, может ли добродетель дойти до таких пределов и не были ли они скорее всего побуждаемы какой-нибудь другой страстью. Все поступки, выходящие за обычные рамки, истолковываются в дурную сторону, ибо нам не по вкусу ни то, что выше нашего понимания, ни то, что ниже его.

Оставим в покое стойков, явно ставящих на первое место гордыню. Но когда, среди представителей философской школы, которая считается наиболее гибкой,²⁸ мы читаем следующее бахвальство Метродора: «*Oscupavi te, Fortuna, atque cepi; omnesque aditus tuos interclusi, ut ad me aspirare non posses*»;²⁹ или когда по повелению кипрского тирана Никокреона, положив Анаксарха в каменную колоду, его бьют железными молотами и он не перестает восклицать при этом: «Бейте, колотите сколько угодно, вы уничтожаете не Анаксарха, а его оболочку»;³⁰ или когда мы узнаем, что наши мученики, объятые пламенем, кричат тирану: «С этой стороны уже достаточно поджарено, руби и ешь, мясо готово; начинай поджаривать с другой»; или когда у Иосифа³¹ мы читаем, что ребенок, которого по приказанию Антиоха рвут клещами и колют шипами, все еще смело противится ему и твер-

дым, властным голосом кричит: «Тиран, ты попусту теряешь время, я прекрасно себя чувствую. Где то страдание, те муки, которыми ты угрожал мне? Знаешь ли ты, с чем ты имеешь здесь дело? Моя стойкость причиняет тебе большее мучение, чем мне твоя жестокость; о гнусное чудовище, ты слабеешь, а я лишь крепну; заставь меня жаловаться, заставь меня дрогнуть, заставь меня, если можешь, молить о пощаде, придай мужества твоим приспешникам и палачам — ты же видишь, что они упали духом и больше не выдерживают, — дай им оружие в руки, возбуди их кровожадность», — когда мы узнаём обо всем этом, то, конечно, приходится признать, что в душах всех этих людей что-то произошло, что их обуяла какая-то ярость, может быть, священная. А когда мы читаем о следующих суждениях стоиков: «Я предпочитаю быть безумным, чем предаваться наслаждениям» (слова Антисфена³²) — *Μανείην μᾶλλον ἢ ἡσθεΐην*; когда Секст³³ уверяет нас, что предпочитает быть во власти боли, нежели наслаждения; когда Эпикур легко мирится со своей подагрой, отказывается от покоя и здоровья и, готовый вынести любые страдания, пренебрегает слабою болью и призывает более сильные и острые мучения, как более достойные его:

*Spumantemque dari pecora inter inertia votis
Optat aprum, aut fulvum descendere monte leonem,*³⁴

то кто не согласится с тем, что это проявления мужества, вышедшего за свои пределы? Наша душа не в состоянии подняться со своего сидения до таких высот. Ей надо выйти из себя и, закусив удила, вознестись вместе со своим обладателем в такую высь, что потом он сам станет удивляться случившемуся, подобно тому как это бывает при военных подвигах, когда в пылу сражения отважные бойцы часто совершают такие рискованные вещи, что, придя потом в себя, они первые им изумляются; и точно так же поэты часто приходят в восторг от своих собственных произведений и не помнят, каким путем они достигли такого вдохновения; это и есть у них то душевное состояние, которое называют восторгом и исступлением. И как Платон говорит, что тщетно стучится в дверь поэзии человек бесстрастный, точно так же и Аристотель утверждает, что ни одна выдаю-

щаяся душа не чужда до известной степени безумия.³⁵ Он прав, называя безумием всякое исступление, каким бы похвальным оно ни было, превосходящее наше суждение и разумение. Ведь мудрость — это умение владеть своей душой, которой она руководит осматрительно, с тактом и с чувством ответственности за нее.

Платон³⁶ следующим образом обосновывает утверждение, что пророчествовать есть способность, превосходящая наши силы, ибо, говорит он, пророчествуя, надо быть вне себя, и наш рассудок должен быть помрачен либо сном, либо какой-нибудь болезнью, либо он должен быть вытеснен каким-то сошедшим с небес вдохновением.



Г л а в а III

ОБЫЧАЙ ОСТРОВА КЕИ¹

Если философствовать, как утверждают философы, значит сомневаться, то с тем большим основанием заниматься пустяками и фантазировать, как поступаю я, тоже должно означать сомнение. Ученикам подобает спрашивать и спорить, а наставникам — решать. Мой наставник — это авторитет божьей воли, которому подчиняются без спора и который выше всех человеческих препирательств.

Когда Филипп² вторгся в Пелопоннес, кто-то сказал Дамиду, что лакедемонянам плохо придется, если они не сдадутся ему на милость. «Ах ты трус, — ответил он ему, — чего может бояться тот, кому не страшна смерть?» Кто-то спросил Агиса³: «Как следует человеку жить, чтобы чувствовать себя свободным?» «Презирая смерть», — ответил он. Такие изречения на эту тему и тысячи им подобных несомненно не означают, что надо терпеливо дожидаться смерти. Ибо в жизни случается многое, что гораздо хуже смерти. Подтверждением может служить тот мальчик, взятый Антигоном⁴ в плен и проданный в рабство, который, понуждаемый своим хозяином наняться на какую-нибудь грязную работу, заявил: «Ты увидишь, кого ты купил. Мне было бы стыдно находиться в рабстве, когда свобода у меня под рукой», — и с этими словами он бросился на камни с вышки дома. Когда Антипатр,⁵ желая заставить лакедемонян подчиниться какому-то его требованию, обрушился на них с жестокими угрозами, они ему ответили: «Если ты будешь угрожать нам чем-то худшим, чем смерть, мы умрем с тем большей готовностью». А Филиппу,⁶ который

написал им, что помешает всякому их начинанию, они заявили: «Ну, а умереть ты тоже сможешь помешать нам?» Ведь говорят же по этому поводу, что мудрец живет столько лет, сколько ему нужно, а не столько, сколько он может прожить, и что лучший дар, который мы получили от природы и который лишает нас всякого права жаловаться на наше положение, это — возможность сбежать. Природа назначила нам лишь один путь появления на свет, но указала тысячи способов, как уйти из жизни. Нам может не хватать земли для прожития, но чтобы умереть, человеку всегда ее хватит, как ответил Байокал⁷ римлянам. «Почему ты жалуешься на этот мир? Он тебя не удерживает; если ты живешь в муках, причиной тому твоё мало-душие: стоит тебе захотеть и ты умрешь»:

Ubique mors est: optime hac cavet deus;

Eripere vitam, nemo non homini potest;

At nemo mortem: mille ad hanc aditus patent.⁸

Смерть — не только избавление от болезней, она — избавление от всякого рода страданий. Это — весьма надежная гавань, которой никогда не надо бояться и к которой часто следует стремиться. Все сводится к тому же, кончает ли человек с собой или умирает; бежит ли он навстречу смерти или ждет, когда она придет сама; в каком бы месте нить не оборвалась, это — конец катушки. Самая добровольная смерть наиболее прекрасна. Жизнь зависит от воли другого существа, смерть же — только от нашей. В этом случае больше, чем в каком-либо другом, мы должны сообразоваться только с нашими чувствами. Мнение других в таком деле не имеет никакого значения; очень глупо считаться с ним. Жизнь превращается в рабство, если мы не вольны умереть. Обычно мы расплачиваемся за выздоровление кусочками самой жизни: нам что-то вырезают или прижигают, или ампутируют, или ограничивают питание, или лишают части крови; еще один шаг — и мы можем исцелиться окончательно от всего. Почему в безнадежных случаях нас не лишают жизни, вместо того чтобы делать нам кровопускания? Чем серьезнее болезнь, тем более сильных средств она требует. Грамматик Сервий,⁹ страдавший от подагры, не нашел ничего лучшего, как прибегнуть к яду, чтобы умертвить свои ноги. Пусть они будут подагрическими, лишь бы он их не чувствовал!

Ставя нас в такое положение, когда жизнь становится хуже смерти, бог дает нам при этом достаточно воли.

Поддаваться страданиям значит выказывать слабость, но давать им пищу — безумие.

Стоики утверждают, что для мудреца жить по велениям природы значит вовремя отказаться от жизни, хоть бы он и был в цвете сил; для глупца же естественно держаться за жизнь, хотя бы он и был несчастлив, лишь бы он в большинстве вещей сообразовался, как они говорят, с природой.

Подобно тому как я не нарушаю законов, установленных против воров, когда уношу то, что мне принадлежит, или сам беру у себя кошелек, и не являюсь поджигателем, когда жгу свой лес, точно так же я не подлежу законам против убийц, когда лишаю себя жизни.

Гегесий¹⁰ говорил, что все, что касается нашей смерти или нашей жизни, должно зависеть от нас.

Диоген,¹¹ встретив уже много лет страдавшего от водянки философа Спевсиппа, которого несли на носилках и который крикнул ему: «Доброго здоровья, Диоген!», ответил: «А тебе я вовсе не желаю здоровья, раз ты миришься с жизнью, находясь в таком состоянии».

И действительно, некоторое время спустя Спевсипп покончил с собой, устав от такого тяжкого существования.

Однако далеко не все в этом вопросе единодушны. Многие полагают, что мы не вправе покидать крепость этого мира без явного веления того, кто поместил нас в ней; что лишь от бога, который послал нас в мир не только ради нас самих, но и ради его славы и служения ближнему, зависит дать нам волю, когда он того захочет, и не нам принадлежит этот выбор; мы рождены, говорят они, не только для себя, но и для нашего отечества; в интересах общества законы требуют от нас отчета в наших действиях и судят нас за самоубийство, иначе говоря, за отказ от выполнения наших обязанностей нам полагается наказание и на том и на этом свете:

Proxima deinde tenent moesti loca, qui sibi laetum
Insontes peperere manu, lucemque perosi
Proiecere animas.¹²

Больше стойкости — в том, чтобы жить с цепью, которою мы скованы, чем разорвать ее, и Регул¹³ является более убедительным примером твердости, чем Катон. Только неблагоприятие и нетерпение побуждают нас ускорять приход смерти. Никакие несчастные случайности не в состоянии заставить подлинную добродетель вернуться к жизни спиной, в горе и страдании она ищет своей пищи. Угрозы тиранов, костры и палачи придают ей духу и укрепляют ее:

Duris ut ilex tonsa bipennibus
Nigrae feraci frondis in Algido,
Per damna, per caedes, ab ipso
Ducit opes animumque ferro.¹⁴

Или, как говорит другой поэт,

Non est, ut putas, virtus, pater,
Timere vitam, sed malis ingentibus
Obstare, nec se vertere ac retro dare.¹⁵

Rebus in adversis facile est contemnere mortem
Fortius ille facit qui miser esse potest.¹⁶

Спрятаться в яме под плотной крышкой гроба, чтобы избежать ударов судьбы, — таков удел трусости, а не добродетели. Добродетель не прерывает своего пути, какая бы гроза над нею не бушевала:

Si fractus illabatur orbis
Inpavidum ferient ruinae.¹⁷

Нередко стремление избежать других бедствий толкает нас к смерти; иногда же опасение смерти приводит к тому, что мы сами бежим ей навстречу —

Hic, rogo, non furor est, ne moriari mori,¹⁸

подобно тем, кто из страха перед пропастью сами бросаются в нее:

multos in summa pericula misit
Venturi timor ipse mali; fortissimus ille est,
Qui promptus metuenda pati, si cominus instent,
Et differre potest.¹⁹
Usque adeo, mortis formidine, vitae
Percipit humanos odium, lucisque videndae,
Ut sibi consciscant maerenti pectore letum
Obliti fontem curarum hunc esse timorem.²⁰

Платон в своих «Законах»²¹ предписывает позорные похороны тому, кто лишил жизни и всего предназначенного ему судьбой своего самого близкого и больше чем друга, то есть самого себя, и сделал это не по общественному приговору и не по причине какой-либо печальной и неизбежной случайности и не из-за невыносимого стыда, а исключительно по трусости и слабости, то есть из малодушия. Презрение к жизни — нелепое чувство, ибо в конечном счете она — все, что у нас есть, она — все наше бытие. Те существа, жизнь которых богаче и лучше нашей, могут осуждать наше бытие, но неестественно, чтобы мы презирали сами себя и пренебрегали собой; ненавидеть и презирать самого себя — это какой-то особый недуг, не встречающийся ни у какого другого создания. Это такая же фантазия, как и наше желание не быть тем, чем мы есть. Плод такого желания не может быть нами оценен, не говоря уже о том, что оно само себе противоречит и уничтожает себя. Тот, кто хочет из человека превратиться в ангела, ничего этим для себя не достигнет, ничего не выиграет, ибо раз он перестает существовать, то кто же за него порадуется и ощутит это улучшение?

Debet enim misere cui forte aegreque futurum est,
Ipse quoque esse in eo tum tempore, cum male possit
Accidere.²²

Спокойствие, отсутствие страданий, невозмутимость духа, избавление от зол этой жизни, обретаемые нами ценою смерти, нам ни к чему. Незачем избегать войны тому, кто не в состоянии наслаждаться миром, и тот, кто не может вкушать покой, напрасно бежит страданий.

Среди философов, приверженцев первой точки зрения, были большие сомнения вот по какому поводу: какие причины достаточно вески, чтобы заставить человека принять решение лишиться себя жизни? Они называют это *εὐλογον ἔξαογήν*.²³ Ибо хотя они говорят, что часто надо умирать из-за незначительных причин, так как те, что привязывают нас к жизни, не слишком вески, все же в этом должна быть какая-то мера. Существуют безрассудные и взбалмошные люди, толкавшие на самоубийство не отдельных только лиц,

а целые народы. Выше я уже приводил такого рода примеры,²⁴ сошлюсь, кроме того, на молодых девушек из Милета, которые в силу какого-то безумного сговора вешались одна за другой до тех пор, пока в это дело не вмешались власти, издавшие приказ, что впредь тех, кого найдут повесившимися, на той же веревке будут волочить голыми по всему городу.²⁵ Когда Терикион стал убеждать Клеомена²⁶ покончить с собой из-за тяжелого положения, в котором тот оказался, избежав почетной смерти в только что проигранном сражении, и доказывать Клеомену, что тот должен решиться на эту менее почетную смерть, чтобы не дать победителю возможности обречь его ни на позорную жизнь, ни на позорную смерть, Клеомен с подлинно спартанским стоическим мужеством отверг этот совет, как малодушный и трусливый: «Этот выход, — сказал он, — от меня никогда не уйдет, но к нему не следует прибегать, пока остается хоть тень надежды». Жизнь, говорил он, иногда есть доказательство выдержки и мужества; он хочет, чтобы самая смерть его сослужила службу его родине, и потому он желает превратить ее в деяние доблести и добродетели. Терикиона это не убедило, и он покончил с собой. Клеомен спустя некоторое время поступил так же, но после того, как испробовал все. Все бедствия не стоят того, чтобы, желая избежать их, стремиться к смерти.

Кроме того, так как в судьбе человеческой бывает иной раз столько внезапных перемен, что трудно судить, в какой мере мы правы, полагая, что не остается больше никакой надежды:

Sperat et in saeva victus gladiator arena
Sit licet infesto pollice turba minax.²⁷

Старинная пословица гласит: пока человек жив, он может на все надеяться. «Конечно, — отвечает на это Сенека, — но почему я должен думать о том, что фортуна может все сделать для того, кто жив, а не думать о том, что она ничего не может сделать тому, кто сумел умереть?»²⁸ У Иосифа²⁹ мы читаем, что он находился на краю гибели, когда весь народ поднялся против него, и, рассуждая здраво, он видел, что для него не оставалось спасения; и все же, сообщает он, когда один из его друзей посоветовал ему в связи с этим покон-

чить с собой, то он, к счастью, решил все же не терять надежды, — и вот, против всякого ожидания, судьбе угодно было распорядиться так, что он выпутался из затруднений без всякого для себя ущерба. А Брут и Кассий, наоборот, своей поспешностью и легкомыслием лишь способствовали гибели последних остатков римской свободы, защитниками которой они были, после чего они покончили с собой раньше времени. Я видел, как сотни зайцев спасались, будучи почти уже в зубах гончих. *Aliquis carnifici suo superstes fuit.*³⁰

*Multa dies variusque labor mutabilis aevi
Rettulit in melius; multos alterna revisens
Lusit, et in solido rursus fortuna locavit.*³¹

Плиний³² утверждает, что есть лишь три болезни, во избежание которых можно лишить себя жизни; из них самая мучительная — это камни в мочевом пузыре, препятствующие мочеиспусканию. Сенека же считает наихудшими те болезни, которые надолго повреждают наши душевные способности.³³

Некоторые, желая избежать худшей смерти, полагают, что они должны бежать ей навстречу. Вождю этолийцев Дамокриту, когда его вели пленником в Рим, удалось ночью бежать. Но, преследуемый стражей, он, прежде чем его поймали, закололся мечом.³⁴

Антиной и Теодот, когда их город в Эпире доведен был римлянами до последней крайности,³⁵ стали увещевать все население лишить себя жизни; но жители города, решив, что лучше умереть победителями, пошли на смерть и ринулись на врагов не с целью обороны, а нападения. Когда остров Гоцо³⁶ несколько лет тому назад вынужден был сдаться туркам, один сицилиец, у которого были две прекрасные дочери на выданьи, собственной рукой убил их, а вслед за тем и их мать, которая прибежала, узнав об их смерти. Выскочив затем на улицу, он двумя выстрелами убил наповал двух первых попавшихся ему навстречу турок, приближавшихся к его дому; потом с мечом в руке он яростно кинулся в самую гущу врагов, которыми был тотчас же окружен и изрублен в куски; так он спас себя от рабства, избавив сначала от него своих близких.

Еврейские матери, совершив, несмотря на преследования, обрезание своим сыновьям, настолько страшались гнева Антиоха, что сами

лишали себя жизни.³⁷ Мне рассказывали про некоего знатного человека, что, когда он был посажен в одну из наших тюрем, его родители, узнав, что он наверняка будет осужден на казнь, желая избежать такой постыдной смерти, подослали к нему священника, внушившего ему, что наилучшим для него средством избавления будет отдаться под покровительство того или иного святого, принеся определенный обет, после чего он в течение недели не должен притрагиваться к пище, какую бы слабость ни чувствовал. Узник поверил священнику и уморил себя голодом, невольно избавив себя этим и от опасности, и от жизни. Скрибония, советуя своему племяннику Либону лучше лишиться себя жизни, чем ждать приговора суда, убеждала его, что оставаться в живых для того, чтобы через три-четыре дня отдать свою жизнь тем, кто возьмет ее, в сущности то же, что делать за другого его дело, и что это означает оказывать услугу врагам, сохраняя свою кровь, чтобы она послужила им добычей.³⁸

В Библии мы читаем, что гонитель истинной веры Никанор повелел своим приспешникам схватить доброго старца Разиса, прозванного за свою добродетель отцом иудеев. И вот когда этот добрый муж увидел, что дело принимает дурной оборот, что ворота его двора подожжены и враги готовятся схватить его, он, решив, что лучше умереть доблестной смертью, чем отдаться в руки этих злодеев и позволить всячески унижать себя и позорить, пронзил себя мечом. Но от поспешности он нанес себе лишь легкую рану, и тогда, взбежав на стену, он бросился с нее вниз головой на толпу своих гонителей, которая расступилась так, что образовалась пустота, куда он и упал, почти разможив себе голову. Однако, чувствуя, что он еще жив, и пылая яростью, он, несмотря на лившуюся из него кровь и тяжкие раны, поднялся на ноги и пробежал, расталкивая толпу, к крутой и отвесной скале. Здесь, собрав последние силы, он сквозь глубокую рану вырвал у себя кишки и, скомкав и разорвав их руками, швырнул их своим гонителям, призывая на их головы божью кару.³⁹

Из насилий, чинимых над совестью, наиболее следует избегать, на мой взгляд, тех, которые наносятся женской чести, тем более, что в таких случаях страдающая сторона неизбежным образом также испытывает известное физическое наслаждение, в силу чего сопротив-

ление ослабевают, и получается, что насилие отчасти порождает ответное желание. Пелагея и Софрония — обе канонизированные святые — покончили с собой: Пелагея, спасаясь от нескольких солдат, вместе с матерью и сестрами бросилась в реку и утонула, Софрония же тоже лишила себя жизни, чтобы избежать насилия со стороны императора Максенция.⁴⁰ История церкви знает много подобных примеров и чтит имена тех благочестивых людей, которые шли на смерть, чтобы предохранить себя от насилий над их совестью.

К нашей чести в будущих веках окажется, пожалуй, то, что один ученый автор наших дней, притом парижанин,⁴¹ всячески старается внушить нашим дамам, что лучше пойти на все, что угодно, но только не принимать рокового, вызванного отчаянием, решения покончить с собой. Жаль, что ему осталось неизвестным одно острое слово, которое могло бы усилить его доводы. Одна женщина в Тулузе, прошедшая через руки многих солдат, после говорила: «Славу богу, хоть раз в жизни я досыта насладилась, не согрешив».

Эти жестокости действительно не вяжутся с кротким нравом французского народа, и мы видим, что со времени этого забавного заявления положение дел весьма улучшилось; с нас достаточно, чтобы наши дамы, следуя завету доброго Маро,⁴² позволяли все, что угодно, но говорили при этом: «Нет, нет, ни за что!»

История полна примеров, когда люди всякими способами меняли несносную жизнь на смерть.

Луций Арунций⁴³ покончил с собой, чтобы уйти разом, как он выразился, и от прошедшего, и от грядущего.

Граний Сильван и Стаций Проксим,⁴⁴ получив помилование от Нерона, все же лишили себя жизни — то ли потому, что не захотели жить по милости такого злодея, то ли для того, чтобы над ними не висела угроза вторично зависеть от его помилования, принимая во внимание его подозрительность и сыпавшиеся на знатных лиц одно за другим обвинения.

Спаргаписес,⁴⁵ сын царицы Томирис, попав в плен к Киру, воспользовался первой же милостью Кира, приказавшего освободить его от оков, и лишил себя жизни, так как он счел, что наилучшим применением свободы будет выместить на себе позор своего пленения.

Богу, наместник царя Ксеркса в Эйоне, осажденный афинской армией под предводительством Кимона, отверг предложение вернуться целым и невредимым со всем своим имуществом в Азию, так как не хотел примириться с потерей всего того, что было ему доверено Ксерксом. Он защищал поэтому свой город до последней крайности, но, когда в крепости кончились все съестные припасы, он первым делом бросил в реку Стримон все то золото и ценное имущество, которыми, ему казалось, враг мог увеличить свою добычу. Затем он велел соорудить большой костер и, умертвив своих жен, детей, наложниц и слуг, бросил их в огонь, а после этого сам кинулся в пламя.⁴⁶

Индуcский сановник Нинахтон, прослышав о намерении португальского вице-короля отрешить его без всякой видимой причины от занимаемого им в Малаке поста и передать его царю Кампара, принял для себя следующее решение. Он приказал построить длинный, но не очень широкий помост, укрепленный на столбах, и роскошно украсить его цветами, расставив курильницы с благовониями. Облечившись затем в одеяние из золотой ткани, усыпанное драгоценными камнями, он вышел на улицу и взошел по ступеням на помост, в глубине которого был зажжен костер из ароматических деревьев. Народ стекался к помосту, чтобы посмотреть, для чего делаются эти необычные приготовления. Тогда Нинахтон запальчиво и с негодующим видом стал рассказывать о том, чем ему обязаны португальцы, как преданно он служил им, как часто он с оружием в руках доказывал, что честь ему куда дороже жизни, но что сейчас он не может не подумать о себе, и так как у него нет средств бороться против оскорбления, которое ему хотят нанести, то его доблесть велит ему по крайней мере не покориться духом и сделать так, чтобы в народе сложилась молва о его торжестве над недостойными его людьми. Сказав это, он бросился в огонь.⁴⁷

Секстилия,⁴⁸ жена Скавра, и Паксея, жена Лабедона, желая придать духу своим мужьям и избавить их от грозившей им опасности, которая на них обеих вовсе не распространялась и тревожила их только из любви к мужьям, предложили добровольно пожертвовать своей жизнью, чтобы в том безвыходном положении, в котором оказались их мужья, послужить им примером и разделить их участь. То же са-

мое, что эти женщины совершили для своих мужей, сделал и Кокцей Нерва⁴⁹ для блага отечества, хотя и с меньшей пользой, но побуждаемый столь же сильной любовью. У этого выдающегося законоведа, наслаждавшегося цветущим здоровьем, богатством, славой и доверием императора, не было никаких других оснований лишить себя жизни, кроме удручавшего его положения дел в его отечестве. Но нет ничего благороднее той смерти, на которую обрекла себя жена приближенного Августа, Фульвия. До Августа дошло, что Фульвий проговорился о важной тайне, которую он ему доверил, и, когда Фульвий однажды утром пришел к нему, Август встретил его очень хмуро. Фульвий вернулся домой в отчаянии и убитым голосом рассказал жене, в какую беду он попал, добавив, что он решил покончить с собой. «Ты поступишь совершенно правильно, — ответила она ему смело, — ведь ты неоднократно убеждался в моей болтливости и все же не таился от меня. Позволь только мне покончить с собой первой». И без дальних слов она пронзила себя мечом.

Вибий Вирий,⁵⁰ потеряв надежду на спасение своего родного города, осажденного римлянами, и не рассчитывая на милость с их стороны, на последнем собрании городского сената, изложив все свои доводы и соображения на этот счет, заключил свою речь выводом, что лучше всего им будет спасти своими собственными руками от ожидавшей их участи. «Враги проникнутся к нам уважением, — сказал он, — и Ганнибал узнает, каких преданных сторонников он бросил на произвол судьбы». После этого он пригласил всех, согласных с его мнением, на пиршество, уже приготовленное в его доме, с тем, что, когда они насытятся яствами и напитками, они все также хлебнут из той чаши, которую ему поднесут. «В ней будет напиток, — заявил он, — который избавит наше тело от мук, душу от позора, а глаза и уши от всех тех мерзостей, которые жестокие и разъяренные победители творят с побежденными. Я распорядился, и будут наготове люди, которые бросят наши бездыханные тела в костер, разложенный перед моим домом». Многие одобрили это смелое решение, но лишь немногие последовали ему. Двадцать семь сенаторов пошли за Вибием в его дом и, попытавшись утопить свое горе в вине, закончили пир условленным смертельным угощением. Посетовав вместе над

горькой участью своей родины, они обнялись, после чего некоторые из них разошлись по домам, другие же остались у Вибия, чтобы быть похороненными вместе с ним в приготовленном перед его домом костре. Но смерть их оказалась мучительно долгой, ибо из-за большого количества выпитого ими вина действие яда было замедлено, так что некоторые из них умерли всего за час до происшедшего на другой день захвата римлянами Капуи и едва-едва спаслись от бед, за избавление от которых заплатили такой дорогой ценой.

Другой кампанец, Таврей Юбеллий,⁵¹ когда консул Фульвий вернулся после позорной бойни, учиненной им над двумястами двадцатью пятью сенаторами, дерзко окликнул его по имени и остановил его. «Прикажи, — сказал он ему, — после стольких совершенных тобой казней лишить и меня жизни; тогда ты сможешь похваляться, что убил человека много достойнее себя». И так как Фульвий не обращал на него, как на безумца, внимания (к тому же он только что получил из Рима предписания, шедшие вразрез с его бесчеловечно-жестоким поведением и связывавшие ему руки), то Юбеллий продолжал: «Итак, когда моя родина в руках врагов, когда мои друзья погибли, когда я собственной рукой лишил жизни мою жену и детей, чтобы спасти их от бедствий этой катастрофы, а я сам лишен возможности разделить участь моих сограждан, — пусть моя собственная доблесть избавит меня от этой ненавистой жизни». С этими словами он вытащил спрятанный под платьем кинжал и, пронзив себе грудь, за смертью упал к ногам консула.

Александр осаждал какой-то город в Индии. Жители, доведенные до крайности, твердо решили лишить его радости победы; они подожгли город и вместе с ним все погибли в пламени, презрев великодушие победителя. Началось новое сражение: враги дрались за то, чтобы их спасти, а жители — за возможность покончить с собой, причем они прилагали к этому такие же усилия, какие люди обычно делают, чтобы спасти свою жизнь.

Жители испанского города Астапы,⁵² видя, что его стены и укрепления недостаточно крепки, чтобы устоять против римлян, сложили на городской площади, в виде огромной кучи, все свои богатства и домашнюю утварь, посадив сверху своих жен и детей, и обложили

эту гряду хворостом и другими легко воспламеняющимися материалами, оставив там пятьдесят юношей для выполнения задуманного ими плана. После этого они сделали вылазку и, убедившись в невозможности победить врага, все до последнего добровольно лишили себя жизни. А пятьдесят юношей, умертвив всех оставшихся в городе жителей, подожгли затем высившуюся на площади гряду и сами бросились в этот костер. Таким образом они распрощались со своей благородной свободой не с болью и позором, а скорее в бесчувственном состоянии, доказав врагам, что если бы судьбе угодно было, то у них хватило бы мужества лишить их победы с тем же успехом, с каким они сумели сделать эту победу бесплодной для них, печальной, а для кое-кого даже смертоносной. А именно, некоторые, привлеченные блеском золота, плавившегося в этом пожарище, подбегали слишком близко к огню и либо задыхались от дыма, либо сгорали, ибо не могли уже податься назад, так как сзади напирала следовавшая за ними толпа. Такое же решение приняли и жители Абидоса, доведенные до крайности Филиппом.⁵³ Но царь, внезапно взяв город и не желая быть свидетелем того, как это ужасное решение, принятое с безрассудной поспешностью, будет приводиться в исполнение, приказал захватить все те сокровища и утварь, которые они собирались сжечь или утопить, а затем отозвал своих солдат, предоставив жителям три дня, в течение которых они могли бы свободно лишать себя жизни, как им заблагорассудится. Они и воспользовались этим, устроив такое кровопролитие и смертоубийство, которое превзошло всякую вражескую жестокость; не осталось в живых ни единой души, у которой была возможность решить свободно распорядиться своей участью. Известно множество случаев таких массовых самоубийств, которые кажутся нам тем более ужасными, чем большее число лиц в них участвовало. На самом же деле они менее ужасны, чем самоубийства единичные, ибо доводы, которые на каждого человека, взятого в отдельности, и не подействовали бы, на массу могут подействовать: в пылом порыве, охватывающем толпу, разум отдельных людей тонет.

Во времена Тиберия те, кто были осуждены и ожидали казни, лишались своего имущества и права на погребение; те же, кто, пред-

восхищая события, сами лишали себя жизни, тех хоронили, и они могли составлять завещания.⁵⁴

Но иногда желают смерти в ожидании какого-то большего блага. «Имею желание разрешиться, — говорит святой Павел, — и быть со Христом»;⁵⁵ и в другом месте он спрашивает: «Кто избавит меня от сего тела смерти?» Клеомброт Амбракийский, прочтя «Пир» Платона, так загорелся жаждой грядущей жизни, что без всяких других к тому поводов бросился в море. Отсюда явствует, что мы неправильно именуем отчаянием то добровольное решение, к которому нас часто побуждает пылкая надежда, а нередко и спокойное, ясное рассуждение. Суассонский епископ Жак дю Шатель, участник крестового похода Людовика Святого,⁵⁶ видя, что король и вся армия собираются вернуться во Францию, не доведя до конца свое предприятие, решил, что лучше уж ему отправиться в рай. Простившись со своими друзьями, он на глазах у всех бросился в гущу врагов и был изрублен.

В одном из царств новооткрытых земель в день торжественной процессии, когда в огромной колеснице везут по улицам боготворимого ими идола, некоторые отрубают у себя куски тела и бросают ему, другие же ложатся посреди дороги, чтобы быть раздавленными под колесами и в награду за это после смерти быть причисленными, как у них принято, к святым.⁵⁷

В смерти вышеназванного епископа больше благородного порыва, нежели рассудка, так как он был отчасти увлечен пылом сражения.

В некоторых странах государственная власть вмешивалась и пыталась установить, в каких случаях правомерно и допустимо добровольно лишать себя жизни. В прежние времена в нашем Марселе хранился запас цикуты, заготовленный на государственный счет и доступный всем, кто захотел бы укоротить свой век, но при условии, что причины самоубийства должны были быть одобрены советом шестисот, то есть сенатом; наложить на себя руки можно было только с разрешения магистрата и в узаконенных случаях.

Такой же закон существовал и в других местах. Секст Помпей,⁵⁸ направляясь в Азию, по дороге из Негропонта остановился на острове Кеи. Как сообщает один из его приближенных, случилось как раз так, что, когда он здесь находился, одна весьма уважаемая

женщина, изложив своим согражданам причины, по которым она решила покончить с собой, попросила Помпея оказать ей честь своим присутствием при ее смерти. Помпей согласился и в течение долгого времени пытался с помощью своего отменного красноречия и различных доводов отговорить ее от ее намерения, но все было напрасно, и под конец он вынужден был дать согласие на ее самоубийство. Она прожила девяносто лет в полном благополучии, и телесном, и духовном; и вот теперь, возлегши на свое более чем обычно украшенное ложе, она, опершись на локоть, промолвила: «О, Секст Помпей, боги, — и, пожалуй, скорее те, которых я оставляю, чем те, которых я скоро увижу, — воздадут тебе за то, что ты не погнушался мной и сначала пытался уговорить меня жить, а затем согласился быть свидетелем моей смерти. Что касается меня, то фортуна всегда обращала ко мне свой благой лик, и вот боязнь, как бы желание жить дольше не принудило меня узреть другой ее лик, побуждает меня отказаться от дальнейшего существования, оставив двух дочерей и множество внуков». Сказав это, она дала наставления своим близким и призвала их к миру и согласию, разделила между ними свое имущество и поручила домашних богов своей старшей дочери; затем она твердой рукой взяла чашу с ядом и, вознеся мольбы Меркурию и попросив его уготовить ей какое-нибудь спокойное местечко в загробном мире, быстро выпила смертельный напиток. Но она продолжала следить за последствиями своего поступка; чувствуя, как ее органы один за другим охватывал ледящий холод, она заявила под конец, что холод этот добрался до ее сердца и внутренностей, и подозвала своих дочерей, чтобы те сотворили над ней последнюю молитву и закрыли ей глаза.

Плиний сообщает⁵⁹ об одном из северных народов, что благодаря мягкости тамошнего воздуха люди в тех краях столь долговечны, что обычно сами кончают с собой; устав от жизни, они обыкновенно, по достижении весьма почтенного возраста, после славной пирушки бросаются в море с вершины определенной, предназначенной для этой цели скалы.

По-моему, невыносимые боли и опасение худшей смерти являются вполне оправданными побуждениями к самоубийству.⁶⁰



Г л а в а IV

ДЕЛА — ДО ЗАВТРА!

Среди всех наших французских писателей я отдаю пальму первенства — как мне кажется, с полным основанием — Жаку Амио,¹ и не только по причине непосредственности и чистоты его языка — в чем он превосходит всех прочих авторов, — или упорства в столь длительном труде, или глубоких познаний, помогших ему передать так удачно мысль и стиль трудного и сложного автора (ибо меня можно уверить во всем, чем угодно, поскольку я ничего не смыслю в греческом; но я вижу, что на протяжении всего его перевода смысл Плутарха передан так превосходно и последовательно, что либо Амио в совершенстве понимал подлинный замысел автора, либо он путем продолжительного общения с мыслями Плутарха сумел настолько отчетливо усвоить себе его общее умонастроение, что нигде по крайней мере он не приписывает ему ничего такого, что расходилось бы с ним или ему противоречило). Но главным образом я ему благодарен за находку и выбор книги, столь достойной и ценной, чтобы поднести ее в подарок моему отечеству. Мы, невежды, были бы обречены на прозябание, если бы эта книга не извлекла нас из тьмы невежества, в которой мы погрязли. Благодаря его труду мы в настоящее время решаемся и говорить, и писать по-французски; даже дамы составляют в этом с магистрами. Амио — это наш молитвенник. Если этому благодетелю суждено еще жить долгие годы, то я советовал бы ему перевести Ксенофонта:² это занятие более легкое и потому более подходящее его преклонному возрасту. И потом, мне

почему-то кажется, что, хотя он очень легко и искусно справляется с трудными местами, все же его стиль более на высоте и более верен себе, когда мысль его течет плавно, без стеснения, не преодолевая препятствий.

Я только что перечел то место, где Плутарх рассказывает о себе следующее. Однажды Рустик, слушая в Риме его публичную речь, получил послание от императора, но не стал вскрывать его, пока речь не была окончена. Все присутствующие, сообщает Плутарх, очень хвалили по этому случаю выдержку Рустика.³ Рассуждая о любопытстве и о том жадном и остром пристрастии к новостям, которое нередко побуждает нас нетерпеливо и бесцеремонно бросать все ради того, чтобы побеседовать с новым лицом, или заставляет нас, пренебрегая долгом вежливости и приличия, тотчас же распечатывать, где бы мы ни находились, доставленные нам письма, Плутарх имел все основания одобрить выдержку Рустика; он мог бы, кроме того, еще похвалить его благовоспитанность и учтивость, выразившиеся в том, что он не пожелал прерывать течения его речи. Но я сомневаюсь, можно ли хвалить Рустика за благоразумие, ибо при неожиданном получении письма, да притом еще от самого императора, легко могло случиться, что, не распечатав и не прочитав его сразу, он тем самым навлек бы на себя крупную неприятность.

Прямо противоположен любопытству другой недостаток — беспечность, к которой я склонен по своему нраву. Я знал многих лиц, беспечность которых доходила до того, что у них можно было найти в карманах нераспечатанные письма, полученные за три или четыре дня до того.

Я никогда не распечатываю не только писем, порученных мне для передачи другим, но и тех, которые случайно попадают мне в руки; и мне бывает совестно, если, когда я стою около какого-нибудь высокопоставленного лица, мне ненароком попадает на глаза какое-нибудь сведение из важного письма, которое он читает. Нет человека, который бы меньше, чем я, интересовался чужими делами и стремился за ними подглядывать.

На памяти наших отцов господин де Бутьер чуть не потерял Турина из-за того, что, сидя за ужином в приятной компании, он отложил и

не стал читать полученного им донесения об изменах, замышлявшихся против этого города, обороной которого он руководил. Из того же Плутарха⁴ я узнал, что Юлий Цезарь избежал бы смерти, если бы, идучи в сенат в тот день, когда он был убит заговорщиками, он прочел переданную ему записку. Плутарх еще рассказывает о фиванском тиране Архии, что накануне того дня, когда Пелопид привел в исполнение свой замысел убить его и вернуть свободу своему отечеству, некий другой Архий, афинянин, точнейшим образом изложил ему в письме все, что против него затевалось; но так как это сообщение было передано Архию во время ужина, то он отложил и не стал распечатывать письма, произнеся слова, которые с тех пор вошли в Греции в пословицу: «Дела — до завтра!»⁵

Разумный человек может, на мой взгляд, в интересах других — ради, например, того, чтобы не нарушить нескромным образом компанию, как это могло иметь место с Рустиком, или ради того, чтобы не расстроить какое-нибудь важное дело, — отложить на время ознакомление с сообщаемыми ему новостями; непростительно делать это ради самого себя или какого-нибудь своего удовольствия, в особенности если это человек, занимающий ответственный пост и когда отсрочка делается для того, чтобы не нарушить обед или сон. Ведь существовало же в древнем Риме за столом так называемое консульское место, которое считалось самым почетным и предназначалось главным образом для того, чтобы неожиданно зашедшим лицам было легче и доступнее поговорить с тем, кто сидел на нем. Это свидетельствует о том, что, находясь за столом, они не откладывали других дел на «после» и сразу же узнавали о случившемся.

Однако — договаривая до конца — очень трудно, в особенности когда дело идет о человеческих поступках, предписать какие-нибудь точные, продиктованные разумом правила и исключить действие случайности, всегда сохраняющей свои права в этих делах.



Г л а в а V

О СОВЕСТИ¹

Однажды, во время наших гражданских войн, я, путешествуя вместе с моим братом, сиром де Ла Брусс, встретился с одним почтенным дворянином. Он был приверженцем противной нам партии, но я этого не знал, так как он подделывался под нашу. Хуже всего в этих войнах то, что карты в них до того перемешаны, что нет никакой определенной приметы, по которой можно было бы признать своего врага; он не отличается ни по языку, ни по внешнему виду, он вспоен тем же воздухом, вырос среди тех же законов и обычаев, так что трудно не ошибиться, не попасть впросак. Это заставляло меня самого опасаться, как бы мне не встретиться с нашим же отрядом в таких местах, где меня не знают и где мне пришлось бы назвать себя или натолкнуться на что-нибудь еще худшее, как это уже однажды случилось со мной. А именно, при одном из таких недоразумений я потерял своих лошадей и нескольких людей, в том числе моего пажу, итальянского дворянина, которого я заботливо воспитывал и который погиб в расцвете своих отроческих лет, не успев оправдать больших подававшихся им надежд. Но тот дворянин, с которым мы на сей раз встретились, имел такой растерянный вид и так пугался при каждом появлении конных солдат или когда мы проезжали через города, стоявшие за короля, что под конец я догадался: это были муки его беспокойной совести. Этому бедняге казалось, что сквозь его маску и куртку для верховой езды можно прочесть те тайные замыслы, которые он питал в душе. Вот какие удивительные вещи спо-

собна проделывать с нами совесть! Она заставляет нас изменять себе, предавать себя и самому же себе вредить. Даже при отсутствии стороннего свидетеля, она выдает нас против нашей воли —

*Occultum quatiens animo tortore flagellum.*²

Всем, вплоть до малых детей, известен нижеследующий рассказ. Финикиец Бессий, которого упрекали в том, что он без причины разорил воробьиное гнездо и убил воробьев, оправдывался тем, что эти птички без умолку зря обвиняли его в убийстве отца. До этого мгновения никто ничего не знал об этом отцеубийстве, оно оставалось тайной, но мстящие фурии человеческой совести заставили раскрыть эту тайну именно того, кто должен был понести за нее наказание.³

Гесиод,⁴ в отличие от Платона, заявлявшего, что наказание следует по пятам за преступлением, утверждал, что наказание совершается вместе с преступлением, в тот же миг. Кто ждет наказания, несет его, а тот, кто его заслужил, ожидает его. Содеянное зло порождает терзания —

*Malum consilium consultori pessimum,*⁵ —

подобно тому как пчела, жаля и причиняя боль другому, причиняет себе еще большее зло, ибо теряет жало и погибает:

*vitasque in vulnere ponunt.*⁶

Шпанская муха носит в себе какое-то вещество, которое служит противоядием против ее собственного яда. Сходным образом одновременно с наслаждением, получаемым от порока, совесть начинает испытывать противоположное чувство, которое и во сне и наяву терзает нас мучительными видениями:

*Quippe ubi se multi, per somnia saepe loquentes
Aut morbo delirantes, procraxe ferantur
Et celata diu in medium peccata dedisse.*⁷

Аполлодору привиделось во сне, будто скифы сдирают с него кожу и варят его в котле, а сердце его при этом приговаривает: «это я причина всех этих зол».⁸ Эпикур говорил, что злодеям нигде нельзя укрыться, так как они не могут уйти от собственной совести.⁹

*... prima est haec ultio, quod se
Iudice nemo nocens absolvitur.*¹⁰

Совесть может преисполнять нас страхом, так же как может преисполнять уверенностью и душевным спокойствием. О себе я могу сказать, что во многих случаях я шел гораздо более твердым шагом в силу внутреннего побуждения моей воли и сознания чистоты моих помыслов:

Conscia mens ut cuique sua est, ita concipit intra
Pectora pro facto spemque metumque suo.¹¹

Такого рода примеров тысячи, я ограничусь, однако, только тремя, касающимися одного и того же лица.

Когда Сципиона¹² однажды обвинили пред лицом римского народа в важном преступлении, он вместо того, чтобы оправдываться перед своими судьями или заискивать перед ними, сказал им: «Очень вам это к лицу — затевать суд и требовать головы человека, благодаря которому вы наделены властью судить весь мир». Другой раз в ответ на обвинения, которые бросил ему в лицо один народный трибун, он вместо того, чтобы защищаться, сказал, обращаясь к своим согражданам: «Давайте пойдем и воздадим хвалу богам за победу, которую они мне даровали над карфагенянами в такой же день, как сегодня», и когда он двинулся по направлению к храму, вся толпа, и в том числе его обвинитель, последовали за ним.¹³ Когда Петилий,¹⁴ по наущению Катона, потребовал у Сципиона дать отчет в деньгах, потраченных во время войны против Антиоха, Сципион, явившись по этому поводу в сенат, вынул принесенную им под платьем книгу записей и заявил, что в ней содержится полный отчет всех доходов его и расходов; но когда ему предложили предъявить эту книгу для проверки, он наотрез отказался сделать это, заявив, что не желает подвергать себя такому позору, и собственноручно, пред лицом сенаторов, разорвал книгу в клочья. Я не думаю, чтобы человек с нечистой совестью мог изобразить подобную уверенность. Сципион обладал от природы благородным сердцем, говорит Тит Ливий,¹⁵ всегда устремленным к слишком высоким целям, чтобы он мог быть преступником или унизиться до того, чтобы защищать свою невинность.

Изобретение пыток — опасное изобретение, и мне сдается, что это скорее испытание терпения, чем испытание истины. Утаивает правду

и тот, кто в состоянии их вынести, и тот, кто не в состоянии сделать это. Действительно, почему боль заставит меня скорее признать то, что есть, чем то, чего нет? И, наоборот, если человек, не совершавший того, в чем его обвиняют, достаточно терпелив, чтобы вынести эти мучения, то почему человек, совершивший это дело, не будет столько же терпелив, зная, что его ждет такая щедрая награда, как жизнь. Я думаю, что это изобретение в основе своей покоится на учете действия нашей совести. Ведь виновному кажется, что совесть помогает пытке, понуждая его признать свою вину, и что она делает его более слабым, невинному же она придает силы переносить пытку. Однако, говоря по правде, пытка — весьма ненадежное и опасное средство.

Чего только не наговорит человек на себя, чего он только не сделает, лишь бы избежать этих ужасных мук?

*Etiam innocentes cogit mentiri dolor.*¹⁶

Вот почему бывает, что тот, кого судья пытал, чтобы не погубить невинного, погибает и невинным и замученным пыткой. Сотни тысяч людей возводили на себя ложные обвинения. К числу их я отношу и Филоту,¹⁷ принимая во внимание условия суда, устроенного над ним Александром, и как его пытали.

И тем не менее говорят, что это наименьшее из зол, изобретенных человеческой слабостью! Я, однако, нахожу пытку средством крайне бесчеловечным и совершенно бесполезным. Многие народы, менее варварские в этом отношении, чем греки и римляне, называющие их варварами, считают отвратительной жестокостью терзать и мучить человека, в преступлении которого вы еще не уверены. Чем он ответственен за ваше незнание? Разве это справедливо, что вы, не желая убивать его без основания, заставляете его испытывать то, что хуже смерти? Чтобы хорошенько вникнуть в это, заметьте только, как часто бывает, что испытуемый предпочитает лучше умереть без всяких оснований, лишь бы только не подвергаться этому испытанию, которое хуже казни и нередко своей жестокостью приводит к смерти, превосходящая казнь. Не помню, откуда я взял этот рассказ,¹⁸ но он дает точное представление о совестливости нашего правосудия. Некал

крестьянка обвинила перед полководцем и главным судьей армии одного солдата в том, что он отнял у ее маленьких детей ту малость вареного мяса, которая оставалась у нее для их пропитания, ибо эта армия разграбила все деревни кругом. И действительно, нигде не осталось ни зернышка. Полководец приказал женщине сначала хорошенько обдумать свои слова, ибо она должна будет отвечать за них, если окажется, что это ложное обвинение. Но так как женщина твердо стояла на своем, то он приказал распороть солдату живот, чтобы удостовериться в истине. И тогда убедились, что женщина сказала правду. Поучительное наказание!



Г л а в а VI

ОБ УПРАЖНЕНИИ

Трудно надеяться, чтобы наш разум и наши знания, сколь бы усердно мы себя им ни вверяли, оказались настолько сильны, чтобы побудить нас к действию, если мы, помимо этого, не упражняем нашу душу и не приучаем ее к деятельности, предназначенной ей нами; в противном случае она может в надлежащий момент оказаться беспомощной. Вот почему те философы, которые стремились добиться более высокого совершенства, не довольствовались тем, чтобы спокойно и притаившись ждать невзгод судьбы, а опасаясь, чтобы они не застали их неподготовленными и непривычными к борьбе, шли им навстречу и намеренно подвергали себя всяким трудным испытаниям. Одни отказывались от богатства и добровольно обрекали себя на бедность; другие стремились к тяжелой работе и суровым условиям жизни, чтобы закалиться и приучить себя к труду и нужде; некоторые же лишали себя самых ценных органов, как например зрения или половых органов, боясь, чтобы пользование ими, дающее так много радости и наслаждения, не ослабило и не изнежило их души. Но упражнение не может приучить нас к самому большому делу, которое нам предстоит — к смерти, здесь оно бессильно. Можно путем упражнения и с помощью привычки закалить себя и приобрести стойкость в перенесении боли, стыда, бедности и других подобных горестей; но что касается смерти, то мы можем испытать ее только раз в жизни, и потому все мы являемся новичками, когда подходим к ней.

В древние времена были люди, так превосходно умевшие пользоваться своим временем, что они пытались даже получить наслаждение от самой смерти и заставить свой ум понять, что представляет собой этот переход к смерти; но они не вернулись обратно, чтобы поделиться с нами этими сведениями:

nemo expergitus extat
Frigida quem semel est vitae pausa secuta.¹

Знатный римлянин Каний Юлий, отличавшийся добродетелью и исключительной твердостью, будучи осужден на смерть злодеем Калигулой,² помимо многих других поразительных доказательств своего мужества, дал еще следующее. Когда рука палача уже вот-вот должна была опуститься на его голову, один из его друзей, философ, спросил его: «Итак, Каний, как чувствует себя в эту минуту твоя душа? Что она делает? О чем ты думаешь?» «Я стараюсь, — ответил Каний, — быть наготове и напрячь все свои силы к тому, чтобы постараться уловить в течение краткого мгновения смерти, произойдет ли какое-нибудь движение в моей душе и ощутит ли она свой уход из тела, с тем чтобы, если я что-нибудь подмечу, потом, по возможности, сообщить об этом моим друзьям». Вот человек, философствующий не только до самой смерти, но и в самый момент смерти. Какой стойкостью надо обладать, какой непоколебимостью духа, чтобы желать извлечь урок из самой своей смерти и быть в состоянии еще думать о чем-то постороннем в такой важный момент!

Ius hoc animi morientis habebat.³

И все же мне кажется, что есть какой-то способ приучить себя к смерти и некоторым образом испробовать ее. Хотя наш опыт в этом деле не может быть ни совершенным, ни полным, он во всяком случае может быть бесполезным для нас, придав нам сил и уверенности. Мы не можем погрузиться в смерть, но мы можем приблизиться к ней и рассмотреть ее; и хотя мы не в состоянии путем упражнения дойти в этом деле до конца, во всяком случае мы можем кое-что разглядеть и ознакомиться с подступами к смерти. Ведь не без основания нам предлагают приглядываться даже к нашему сну, ввиду того что он походит на смерть.

Как легко совершается переход от бодрствования ко сну! Как незаметно мы перестаем сознавать себя и окружающее!

Можно было бы, пожалуй, признать сон, лишающий нас возможности действовать и чувствовать, чем-то ненужным и противоестественным, если бы не то, что с его помощью природа показывает нам, что она предназначила нас в такой же степени для жизни, как и для смерти, и если бы не то, что посредством сна она еще при жизни открывает нам ту вечность, которая ждет нас после этой нашей жизни, для того чтобы приучить нас к ней и освободить нас от страха перед ней.

Но те, кому довелось из-за какого-нибудь несчастного случая лишиться сознания или упасть без чувств, те, по моему мнению были весьма близки к тому, чтобы увидеть подлинный и неприкрашенный лик смерти; ибо, что касается самого момента перехода от жизни к смерти, то нечего опасаться, что он связан с каким-либо страданием или неприятным ощущением, если учесть, что для того, чтобы почувствовать что-нибудь, нужно какое-то время. Чтобы ощутить страдания, требуется время, а между тем момент смерти столь краток и стремителен, что он неизбежно должен быть безболезненным. У нас есть основания бояться только подготовительных мгновений к смерти, но они-то как раз и поддаются упражнению.

Многие вещи наше воображение рисует нам более ужасными, чем они есть в действительности. Большую часть моей жизни я наслаждался цветущим здоровьем, больше того, силы переполняли меня, они так и бурлили во мне.

Это радостное, ликующее ощущение здоровья заставляло меня думать о болезнях с таким ужасом, что, когда мне довелось на деле их испытать, я обнаружил, что они гораздо менее мучительны, чем это мне рисовалось под влиянием страха.

Вот что я постоянно испытываю: если ночью, хорошо укутанный, я нахожусь в уютной комнате, в то время как за окнами бушуют буря и непогода, я не могу без страха и содрогания думать о тех, кого они застигли в пути; но если в такую минуту я сам нахожусь в дороге, мне и в голову не придет пожелать находиться в каком-нибудь другом месте.

Уже одно то, чтобы быть запертым в четырех стенах, казалось мне нестерпимым; но вскоре я научился оставаться в таком положении неделю, даже месяц, изнемогая от боли, лишений и слабости, и тогда я понял, что, когда я был здоров, я жалел больных в гораздо большей степени, чем сам заслуживаю сожаления теперь во время своей болезни, и что воображение заставляло меня почти вдвое преувеличивать истинное положение вещей. Надеюсь, что то же случится и тогда, когда я буду умирать, и что не стоит так много хлопотать и ухищряться и готовиться к смерти, как это обычно люди делают. Но все же, на всякий случай, никакие меры предосторожности тут не могут быть лишними.

Во время нашей второй или третьей гражданской войны⁴ (не могу в точности припомнить, какой именно) я вздумал однажды покататься на расстоянии одного лье от моего замка, расположенного в самом центре происходивших смут. Находясь поблизости от своего дома, я считал себя настолько в безопасности, что не взял с собой ничего, кроме удобного, но не очень выносливого коня. При возвращении случилось неожиданное происшествие, заставившее меня воспользоваться моим конем для дела, к которому он был непривычен. Один из моих людей, человек рослый и сильный, ехавший верхом на коренастом и тугоуздом жеребце, желая выказать отвагу и опередить своих спутников, пустил его во весь опор прямо по той дороге, по которой ехал я, и со всего размаха лавиной налетел на меня и мою лошадь, опрокинув нас своим напором и тяжестью. Оба мы полетели вверх ногами, моя лошадь свалилась и лежала совершенно оглушенная, я же оказался в десятке шагов, поодаль, бездыханный, распростертый навзничь; лицо мое было безжизненно и в сплошных ранах, шпага, которая была у меня в руках, валялась в десятке шагов еще дальше, пояс мой разлетелся в клочья, я лежал колодой, без движения, без чувств. Это был первый обморок в моей жизни. Мои спутники всеми силами тщетно пытались привести меня в чувство, и, наконец, решив, что я мертв, все вместе подняли меня и с огромным трудом на руках перенесли меня в мой дом, отстоявший примерно в полумиле от места происшествия. По дороге, после того как в течение более двух часов меня считали мертвым, я стал слегка шевелиться и ды-

шать; за это время столько крови попало в мой желудок, что мне необходимо было разгрузиться от нее. Меня поставили на ноги, и из меня вылилось целое ведро крови; и еще несколько раз, пока меня несли, мне пришлось повторить эту операцию. Благодаря этому я начал чуть-чуть оживать, но это происходило так медленно и с такими промежутками, что мои первые ощущения были скорее похожи на смерть, чем на жизнь:

Perche, dubbiosa anchor del suo ritorno,
Non s'assecura attonita la mente.⁵

Это воспоминание, так сильно врезавшееся мне в память и давшее мне возможность увидеть лицо смерти почти вплотную и без прикрас, как-то примирило меня с нею. Когда глаза мои стали что-то разбирать и я стал что-то видеть, я видел так смутно, слабо и как бы в тумане, что сначала я мог различать только свет —

come que ch'or apre or chiude
Gli occhi, mezzo tra'l sonno e l'esser desto.⁶

Что касается моих душевных способностей, то они восстанавливались столь же медленно, как и физические. Я видел себя сплошь окровавленным, так как плащ мой весь был пропитан моей кровью. Первой моей мыслью было, что меня ранили из аркебузы в голову, так как в ту пору вокруг нас сильно постреливали. Мне казалось, что жизнь моя держится лишь на кончиках губ; я закрывал глаза, стараясь, как мне представлялось, помочь ей уйти от меня, и мне было приятно изнемогать и отдаваться течению. Это была мысль, еле брезжившая в моем сознании, такая же слабая и зыбкая, как и все остальные, но она не только не была мне неприятна, а напротив, к ней примешивалось то сладостное ощущение, которое бывает, когда мы погружаемся в сон.

Мне сдается, что это и есть то состояние, которое мы наблюдаем у выбившихся из сил и находящихся в агонии людей, и я думаю, что мы напрасно оплакиваем их, считая, что их мучат в это время жестокие боли или что душа их подавлена мрачными мыслями. Я всегда считал, в разрез с мнением других и даже Этьена Ла Бюэси,⁷ что те, кого мы видим лежащими, так же как и я, ничком и как бы

отходящими ко сну в ожидании конца, или те, кто измождены долгими муками или разбиты апоплексическим ударом, или в припадке падучей, —

vi morbi saepe coactus
Ante oculos aliquis nostros, ut fulminis ictu,
Concidit, et spumas agit; ingemit, et fremit artus.
Desipit, extentas nervos, torquetur, anhelat,
Inconstanter et in iactando membra fatigat,⁸

или те, что ранены в голову, — когда мы слышим, как они иногда вопят и отчаянно стонут, — я всегда считал, повторяю, что их душа и тело спят, окутанные саваном, хотя по некоторым признакам мы и можем уловить, что в них есть еще проблески сознания, и мы еще замечаем какие-то движения их тел:

Vivit, et est vitae nescius ipse suae.⁹

Я не могу поверить, чтобы в этом состоянии, когда члены тела так поражены и все чувства донельзя ослаблены, у души хватало еще сил сознавать себя; мне кажется поэтому, что у этих людей не остается никакого проблеска мысли, которая бы мучила их и способна была оценить всю тяжесть их положения и ощутить его; из этого следует, что не к чему так уж сильно жалеть их.

Я не представляю для себя лично ничего более невыносимого и ужасного, чем, испытывая живое и острое страдание, не иметь возможности как-либо его выразить. Это можно было бы сказать про тех, кого отправляют на казнь, предварительно отрезав им язык, если бы не то, что для казнимого публично смерть без единого звука — наиболее пристойный исход, при условии, чтобы лицо при этом выражало твердость и достоинство. Вполне применимо сказанное мною к тем несчастным пленникам, которые попадают в руки мерзких палачей — солдат нашего времени, подвергающих их самым жестоким истязаниям с целью выжать из них какой-нибудь баснословный и необыкновенный выкуп, держа их в таких условиях и в таких местах, что они не имеют никакой возможности подать о себе голос, заявить о постигшей их беде.

Поэты придумали некоторых богов, которые будто бы облегчают смерть людям, терпящим такие жестокие муки:

hunc ego Diti
Sacrum iussa fero, teque isto corpore solvo.¹⁰

Но если у таких умирающих, всячески тормоша их и крича им в самое ухо, окружающим и удастся исторгнуть какие-то краткие и бессвязные ответы или уловить какие-то движения, которые как бы выражают согласие на то, о чем их спрашивают, — это еще не доказывает, что такие люди живы, во всяком случае не доказывает, что они вполне живы. Ведь случается же с нами, когда нас клонит ко сну, хоть мы еще не вполне в его власти, что мы ощущаем, как во сне, все, что творится вокруг нас, и отвечаем спрашивающим нас смутным и неопределенным согласием, которое дается почти без сознания; мы даем эти ответы на последние долетевшие до нас слова, ответы случайные и часто бессмысленные.

Теперь, после того как я сам испытал это состояние, у меня нет никаких сомнений в том, что до сих пор я вполне правильно судил о нем! В самом деле, я первым делом, не приходя в сознание, стал пробовать разорвать свой камзол ногтями (ибо я был без оружия), а между тем я хорошо знаю, что вовсе не представлял себе, будто ранен. Ведь есть у нас столько движений, которые совершаются без нашего ведома:

Semianimesque micant digiti ferrumque retractant.¹¹

Так, например, люди часто при падении выбрасывают вперед руки по естественному побуждению, в силу которого части нашего тела оказывают друг другу помощь, не дожидаясь предписаний нашего разума:

Falciferos memorant currus abscindere membra,
Ut tremere in terra videatur ab artubus id quod
Decidit abscissum, cum mens tamen atque hominis vis
Mobilierate mali non quit sentire dolorem.¹²

Мой желудок переполнен был свернувшейся кровью, и мои пальцы сами устремились к нему, как это часто бывает против нашей воли

с нашими руками, когда где-нибудь у нас зудит. У многих животных и даже у людей, когда они уже испустили дух, мышцы все еще продолжают сокращаться и распускаться. Всякий по опыту знает, что есть органы, которые приходят в движение, поднимаются и опускаются часто без нашего ведома. Про эти влечения, которые затрагивают нас лишь чисто внешним образом, нельзя сказать, что это наши влечения, так как для того, чтобы они стали нашими, человек должен быть всецело охвачен ими; нельзя, например, сказать, что боль, ощущаемая рукой или ногой во сне, есть наша боль.

Когда мы уже подъезжали к моему дому, куда успело дойти известие о моем падении, и члены моей семьи с криками, как бывает в таких случаях, выбежали мне навстречу, я не только что-то ответил спрашивавшим меня, но рассказывают, будто я даже догадался приказать, чтобы подали лошадь моей жене, которая, как я смог заметить, выбивалась из сил, спеша ко мне по очень крутой и каменистой тропинке. Может показаться, что такой приказ должен был исходить от человека, целиком уже пришедшего в сознание. Вовсе нет: то были лишь смутные и бессвязные мысли, исходившие от впечатлений, полученных от зрения и слуха, но не от меня. Я не соображал, ни откуда я двигаюсь, ни куда направляюсь; я не в состоянии был разобрать и понять, о чем меня спрашивают; это были очень слабые движения, которые мои чувства производили как бы по привычке; мой разум участвовал в этом сквозь дрему, подвергаясь легчайшему прикосновению, щекотанию со стороны чувств. Между тем мое самочувствие было поистине очень приятным и спокойным: я не испытывал тревоги ни за себя, ни за других, я ощущал какую-то истому и необычайную слабость, но никакой боли. Я видел свой дом, но не узнавал его. Когда меня уложили в постель, я почувствовал несказанное блаженство от этого покоя, так как меня порядком растрясло, пока эти славные люди несли меня на руках по такой плохой и длинной дороге, что им пришлось два или три сменить друг друга, чтобы передохнуть. Мне стали насильно давать разные лекарства, но я не принял ни одного из них, так как был убежден, что смертельно ранен в голову. Это была бы поистине очень легкая смерть, ибо из-за бесконечной слабости разум мой не в состоянии был ни о чем судить,

а тело ничего не чувствовало. Я тихонько отдался течению, и мне было так легко и спокойно, что, казалось, ничего не могло быть приятнее. Когда, спустя два или три часа, я начал приходить в себя и силы мои стали восстанавливаться,

Ut tandem sensus convalere mei,¹³

я вдруг почувствовал сразу сильнейшие боли, ибо от падения все члены мои были расшиблены и изранены. В течение двух или трех ночей после этого мне было очень плохо, и мне казалось, что я еще раз умираю, но только более мучительной смертью; я еще и сейчас ощущаю страшный удар, полученный при падении. Хочу отметить еще следующее: последней мыслью, сохранившейся у меня в сознании, было воспоминание о том, что со мной случилось; но прежде чем понять все как следует, я заставлял по несколько раз повторять себе, куда я ехал, откуда возвращался, в котором часу со мной это произошло. Что касается обстоятельств моего падения, то от меня их скрывали, не желая выдавать виновника катастрофы, и придумывали для меня все новые и новые объяснения. Немного времени спустя, уже на следующий день, когда память моя начала восстанавливаться и рисовать мне, в каком состоянии я был в тот момент, когда заметил обрушивающуюся на меня лошадь (ибо я увидел ее у самых ног и подумал, что пришла моя смерть; но эта мысль была так мимолетна, что не успела даже вызвать во мне страх), мне показалось, что меня поразила молния и что я возвращаюсь с того света.

Рассказ об этом малозначительном происшествии мог бы показаться не заслуживающим внимания, если бы не то поучение, которое я извлек для себя из него. Я действительно убедился, что для того, чтобы свыкнуться со смертью, нужно только приблизиться к ней вплотную. Всякий из нас, по словам Плиния,¹⁴ может служить хорошим поучением для самого себя, лишь бы он обладал способностью пристально следить за собой. Рассказывая о случившемся со мной, я не поучаю других, а поучаюсь сам; это урок, извлеченный мною для себя, а не наставление для других.

И не следует ставить мне в укор, что я об этом рассказываю, ибо то, что полезно для меня, может при случае оказаться полезным и

для другого. Во всяком случае я ничего ни у кого не отнимаю, а только извлекаю пользу из своего добра. А если я говорю глупости, то никто от этого не страдает, кроме разве меня самого; к тому же эти глупости со мной и кончаются, не имея дальнейшего продолжения. В этом роде о себе писали всего лишь два или три древних автора, да и то, не зная о них ничего, кроме их имен, не берусь утверждать, что они писали совершенно в таком духе, как и я. С тех пор никто не шел по их стопам. И неудивительно, ибо проследить извилистые тропы нашего духа, проникать в темные глубины его, подмечать те или иные из бесчисленных его малейших движений — дело весьма нелегкое, гораздо более трудное, чем может показаться с первого взгляда. Это занятие новое и необычное, отвлекающее нас от повседневных житейских занятий, от наиболее общепринятых дел. Вот уже несколько лет, как все мои мысли устремлены на меня самого, как я изучаю и проверяю только себя, а если я и изучаю что-нибудь другое, то лишь для того, чтобы неожиданно в какой-то момент приложить это к себе или, вернее, вложить в себя. И мне отнюдь не кажется ошибочным, если, подобно тому как это делается в других науках, несравненно менее полезных, чем эта, я сообщаю все добытое мною на этом поприще, хотя и не могу сказать, что был бы доволен успехами, достигнутыми мною до этого времени. Нет описания более трудного, чем описание самого себя, но в то же время нет описания более полезного. Всегда надо хорошенько пообчиститься, придется, привести себя в порядок, прежде чем показаться на людях. Так вот и я постоянно привожу себя в порядок, ибо постоянно занят самописанием. Говорить о себе считается дурной привычкой, решительно осуждаемой из-за оттенка хвастовства, которое обычно кажется неизбежно связанным с рассказами о себе.

Но это значило бы выплестнуть из ванны вместе с водой и ребенка:

*In vitium ducit culpaе fuga.*¹⁵

Я нахожу, что такое средство скорее вредно, чем полезно. Но если бы даже было верно, что рассказывать людям о себе есть обязательно тщеславие, то я все же не должен, будучи верен своей основной задаче, подавлять в себе это злосчастное свойство, раз уж оно

мне присуще, и утаивать этот порок, который является для меня не только привычкой, но и призванием. Как бы то ни было, говоря по правде, я должен сказать по поводу этого обыкновения, что неправильно осуждать вино за то, что многие напиваются им допьяна. Злоупотреблять можно только хорошими вещами. Осудительное отношение к этому обычаю, по-моему, направлено против широко распространенной слабости. Это узда для коров, которой не связывали себя ни святые, так красноречиво говорившие о себе, ни философы, ни теологи. Не делаю этого и я, хотя и не принадлежу к числу как тех, так других. Хотя они прямо в этом и не признаются, они никогда не упустят случая выставить себя напоказ. О чем больше всего рассуждает Сократ, как не о себе самом? К чему он постоянно направляет мысли своих учеников, как ни к тому, чтобы они говорили о себе, но не на основании вычитанного ими из книг, а на основании движений их собственной души? Мы благоговейно исповедуемся перед богом и нашим духовником, а наши соседи исповедуются публично.¹⁶ Но мне скажут, что мы исповедуемся только в прегрешениях; на это я отвечу, что мы исповедуемся во всем, ибо сама наша добродетель небезупречна и нуждается в покаянии. Жить — вот мое занятие и мое искусство. Тот, кто хочет запретить мне говорить об этом по моему разумению, опыту и привычке, пусть прикажет архитектору говорить о зданиях не своими мыслями, а чужими, на основании чужих знаний, а не своих собственных. Если говорить о своих качествах есть самомнение, то почему Цицерон не превозносит красноречия Гортензия, а Гортензий — красноречие Цицерона?¹⁷ Пожалуй, кто-нибудь скажет, что лучше было бы, если бы я свидетельствовал о себе делами и творениями, а не одними только словами. Но я изображаю главным образом мои размышления — вещь, весьма неуловимую и никак не поддающуюся материальному воплощению. Лишь с величайшим трудом могу я облечь их в такую воздушную оболочку, как голос. Многие более мудрые и более благочестивые люди прожили жизнь, не совершив никаких выдающихся поступков. Поступки говорят больше о моих удачах, чем обо мне самом. Они свидетельствуют скорее о своей роли, чем о моей, позволяя судить о последней лишь гадательно и очень неточно: всякий раз с какой-либо

одной стороны. А тут я выставляю целиком себя напоказ: нечто вроде скелета, в котором с одного взгляда можно увидеть все — вены, мускулы, связки, все в отдельности и на своем месте. А кашель показал бы лишь одну часть картины, внезапная бледность или сердцебиение — другую, да и то не вполне достоверным образом. Тут я описываю не свои движения, а себя, свою сущность. Я считаю, что следует быть осторожным в суждении о себе и равным образом точным в показаниях о себе, независимо от того, делаются ли они вслух или про себя. Если бы мне казалось, что я добр и умен или что-нибудь в этом роде, я сказал бы об этом во весь голос. Говорить о себе уничижительно, хуже, чем ты есть на деле, — не скромность, а глупость. Расценивать себя ниже того, чего ты стоишь, по словам Аристотеля,¹⁸ есть трусость и малодушие. Никакая добродетель не улучшается от искажения, и истина никогда не покоится на лжи. Говорить о себе, превознося себя, лучше, чем ты есть на деле, не только всегда — тщеславие, но также нередко и глупость. В основе этого порока лежит, по-моему, чрезмерное самодовольство и неразумное себялюбие. Лучшее средство для исцеления от этого порока — делать прямо противоположное тому, что предписывают те, кто, запрещая говорить о себе, тем самым еще строже запрещают думать о себе. Гордыня порождается мыслью, язык может принимать в этом лишь незначительное участие. Запрещающим говорить о себе кажется, что заниматься собой значит любоваться собой, что неотвязно следить за собой и изучать себя значит придавать себе слишком много цены. Это, конечно, бывает. Но такая крайность проявляется только у тех, кто изучает себя лишь поверхностным образом; у тех, кто обращается к себе, лишь покончив со всеми своими делами; кто считает занятие собой делом пустым и праздным; кто держится мнения, что развивать свой ум и совершенствовать свой характер — все равно что строить воздушные замки; и кто полагает, что самопознание — дело постороннее и третьестепенное.

Если кто-нибудь, оглядываясь на нижестоящих, кичится своей ученостью, пусть он обратит взор к минувшим векам, тогда он сразу смирится, увидев, сколько было тысяч людей, стоявших неизмеримо выше его. А если он преувеличенного мнения о своей доблести, пусть при-

помнит жизнь обоих Сципионов и стольких армий и стольких народов, до которых ему бесконечно далеко. Никакое особое достоинство не преисполнит гордостью того, кто учтет все великое множество присущих ему несовершенств и слабостей, и вдобавок ко всему — все ничтожество человеческого существования.

Именно потому, что Сократ сумел искренне принять наставление своего бога: «Познай самого себя», и в результате этого самопознания проникся презрением к себе, он удостоился звания мудреца. Тот, кто сумеет таким же образом познать себя, может не бояться говорить о результатах своего познания.¹⁹



Г л а в а VII

О ПОЧЕТНЫХ НАГРАДАХ

Описывающие жизнь цезаря Августа¹ отмечают, что в воинском деле он был поразительно щедр в раздаче даров всем тем, кто этого заслуживал, но вместе с тем был столь же скуп в раздаче чисто почетных наград. Между тем сам он был одарен своим дядей² всеми воинскими наградами, еще не успев ни разу побывать на поле сражения. Хорошей выдумкой, утвердившейся в большинстве стран мира, было установление некоторых малозначительных и ничего не стоящих знаков отличия для награждения и почтения добродетели, к числу которых относятся лавровые, дубовые, миртовые венки, особые виды одежды, привилегия проезжать на колеснице по городу или ночные шествия с факелами, право занимать особое место в публичном собрании, прерогатива носить известные титулы и прозвища, иметь определенные знаки в гербе и тому подобные вещи. Этот обычай в различных формах был принят у многих народов и до сих пор остается в силе.

Что касается нас, французов, и некоторых соседних с нами народов, то у нас с этой целью введены рыцарские ордена. Это поистине очень хороший и полезный обычай отмечать заслуги выдающихся и исключительных людей, выделять и награждать их при помощи пожалований, нисколько не обременяющих общество и ничего не стоящих государству. Между тем из опыта древних и нашего собственного известно, что выдающиеся люди больше домогались таких наград, чем денежных и доходных пожалований; это вполне понятно и имеет

веские основания. Действительно, если к награде, которая должна быть только почетной, примешиваются другие блага и богатства, то это сочетание вместо того, чтобы усилить почет, снижает и уменьшает его. Издавна прославленный у нас орден святого Михаила³ имел то огромное преимущество, что он не связан был ни с какими другими благами. Поэтому не было такого чина и звания, которого дворянство домогалось бы с бóльшим рвением и пылом, чем этого ордена; не было положения, которое приносило бы больше уважения и почета, ибо в этом случае добродетель стремилась получить и получала наиболее подходящую награду, в которой было больше славы, нежели выгоды. Действительно, все остальные награды не связаны с таким почетом, поскольку они даются по самым различным поводам. Деньгами награждают слугу за его заботы, гонца за его усердие; ими награждают за обучение танцам, фехтованию, манере речи и за самые низменные услуги; оплачивается даже и порок, как например лесть, сводничество, измена; поэтому нет ничего удивительного в том, что добродетель менее охотно принимает эту избитую монету и стремится к получению той вполне благородной и почетной награды, которая ей лучше всего подходит. Август поэтому с полным основанием был более расчетлив и скуп при раздаче почетных наград, чем обычных, тем более что почет — это не заурядное явление, а исключительное, так же как и добродетель:

*Cui malus est nemo, quis bonus esse potest?*⁴

Желая рекомендовать какого-нибудь человека, не отмечают, что он заботится о воспитании своих детей, ибо это явление обычное, как бы похвально оно ни было. Я не думаю, чтобы какой-нибудь спартанец хвастался своей доблестью, ибо это была добродетель, широко распространенная среди этого народа; и столь же мало спартанцы склонны были хвастаться своей верностью и презрением к богатству. Как бы велика ни была добродетель, но если она вошла в привычку, то не стоит награды, и я даже не уверен, назовем ли мы ее великой, если она стала обычной.

Так как вся ценность и весь почет этих знаков отличия покоится на том, что они присваиваются лишь небольшому числу людей, то

широкая раздача их равносильна сведению их на нет. Если бы даже в наше время было больше людей, заслуживающих этот орден, чем в прошлые времена, то все же не следовало бы подрывать его ценности. Я вполне допускаю, что значительно большее число людей в настоящее время достойно этого ордена, ибо из всех добродетелей воинская доблесть распространяется с наибольшей быстротой. Существует другая доблесть — истинная, совершенная и философская, о которой я здесь не говорю (пользуясь словом «доблесть» в обычном, принятом у нас смысле); она более значительна, чем воинская доблесть, более полноценна и заключается в стойкости и силе нашей души, которая с одинаковым презрением относится ко всем враждебным ей обстоятельствам; эта доблесть всегда себе равна, неизменна и постоянна, и обычная наша доблесть — лишь очень слабое отражение ее. Привычка, обычай, воспитание и пример играют огромную роль в укреплении воинской доблести и содействуют широкому распространению ее, в чем легко убедиться на опыте наших гражданских войн. И если бы кто-нибудь сумел объединить нас в настоящее время и направить весь наш народ на одно общее дело, то вновь могла бы расцвести наша древняя военная слава. Не подлежит сомнению, что награждение орденом в прежние времена имело в виду не только это соображение, оно предусматривало и более далекую цель. Присвоение ордена всегда было награждением не просто лишь доблестного воина, но прославленного военачальника. Умение повиноваться не заслуживало столь почетной награды. Для получения ордена в прежние времена требовался более всеобъемлющий военный опыт; военному человеку надо было обнаружить самые выдающиеся способности: *Neque enim eadem militares et imperatoriae artes sunt*,⁵ и, кроме того, он должен был по своему положению подходить к этому званию. Но если бы даже оказалось, что в настоящее время найдется гораздо больше людей, заслуживающих этой награды, чем раньше, то все же я считаю, что не следовало бы раздавать ее с большой легкостью, и было бы даже предпочтительнее не давать ее всем тем, кто заслужил эту награду, чем навсегда свести на нет — как это делается у нас — столь полезный обычай. Ни один благородный человек не сочтет возможным хвалиться тем, что у него есть общего со многими другими,

и те, кто в настоящее время менее заслужил эту награду, делают вид, будто относятся к ней с пренебрежением, чтобы таким образом стать в ряды тех, кого обижают слишком частой раздачей этой обесцениваемой таким путем награды, которая только этим последним и подобает.

Но трудно рассчитывать на то, чтобы, ослабив и уничтожив этот орден, можно было создать и сделать высоко почетным другой, подобный ему орден. В тот смутный и испорченный век, в какой мы живем, новый, недавно учрежденный орден⁶ с самого же начала будет подточен действием тех же причин, которые разрушили орден св. Михаила. Чтобы придать этому новому ордену авторитет, его следовало бы раздавать с величайшей осмотрительностью и в весьма редких случаях; а между тем в наше бурное время невозможно вести это дело с большой строгостью, твердо держа его в руках. Кроме того, чтобы оно обрело популярность, нужно было бы вытравить память о первом ордене и о том пренебрежении, в которое он впал.

Этот вопрос мог бы послужить темой для рассуждения о доблести и ее отличии от других добродетелей; но так как Плутарх неоднократно возвращался к этой теме, то я не стану ее касаться и приводить то, что он говорит по этому поводу. Но стоит отметить, что наш народ выделяет доблесть (*vaiillance*) из других добродетелей и придает ей первостепенное значение, что явствует уже из самого ее названия, происходящего от слова «ценность» (*valeur*). Равным образом, когда мы говорим, что такой-то весьма достойный или порядочный человек в стиле нашего двора или нашего дворянства, то это означает, что речь идет о храбром, доблестном человеке, то есть мы употребляем это название в том же смысле, как это принято было в древнем Риме. Действительно, у римлян самое название «добродетель» (*virtus*) происходило от слова «сила» (то есть храбрость). Военное призвание — самое важное, самое подходящее и единственное призвание французского дворянства. Весьма возможно, что первой добродетелью, появившейся среди людей и давшей одним из них превосходство над другими, и была именно эта самая добродетель, с помощью которой более сильные и более храбрые приобрели власть над более слабыми и заняли особое положение: с тех пор за ними сохранилась эта честь и название. Однако возможно также, что эти народы,

будучи весьма воинственными, особенно высоко оценили ту из добродетелей, которая была им наиболее близка и казалась наиболее достойной этого названия. Нечто подобное можно наблюдать у нас и в другой области: неусыпная забота о целомудрии наших женщин приводит к тому, что, когда мы говорим «хорошая женщина», «порядочная женщина», «почтенная и добродетельная женщина», то имеем при этом в виду не что иное, как «целомудренная женщина», и похоже на то, что, стремясь заставить женщин быть целомудренными, мы придаем мало значения всем прочим их добродетелям и готовы простить им любой порок, лишь бы они зато соблюдали целомудрие.



Г л а в а VIII

О РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ

Госпоже д'Этиссак¹

Сударыня, если меня не спасут новизна и необычность моей книги, нередко придающие цену вещам, то я никогда не выйду с честью из этой нелепой затеи; но она так своеобразна и столь непохожа на общепринятую манеру писать, что, может быть, именно это послужит ей пропускным листом. Первоначально фантазия приняться за писание пришла мне в голову под влиянием меланхолического настроения, совершенно не соответствующего моему природному нраву; оно было порождено тоской одиночества, в которое я погрузился несколько лет тому назад. И, так как у меня не было никакой другой темы, я обратился к себе и избрал предметом своих писаний самого себя. Это, вероятно, единственная в своем роде книга с таким странным и несуразным замыслом.² В ней нет ничего заслуживающего внимания, кроме этой особенности, ибо такую пустую и ничтожную тему самый искусный мастер не смог бы обработать так, чтобы стоило о ней рассказывать. Однако, ставя себе целью, сударыня, изобразить в этой книге мой собственный портрет, я упустил бы в нем одну весьма важную черту, если бы не упомянул о том почтении, которое я всегда питал к вашим заслугам. Я хотел отметить это в посвящении этой главы тем более, что среди других ваших прекрасных качеств одно из первых мест занимает та привязанность, которую вы неизменно выказывали по отношению к вашим детям. Тот, кто знает, в каком молодом возрасте ваш муж, господин

д'Этиссак, оставил вас вдовой; тот, кто знает, какие почетные и выгодные предложения делались с тех пор вам, как одной из знатнейших дам Франции; тот, кто знает твердость и постоянство, которые вы неизменно проявляли в течение всех этих лет в управлении имуществом и ведении дел ваших детей в различнейших уголках Франции, что бывало часто связано с огромными трудностями; тот, кто знает, как благоприятно они разрешались только благодаря вашей предусмотрительности или удаче, — тот несомненно согласится со мной, что нет в наше время примера более глубокой материнской любви. Я благодарю бога, сударыня, за то, что эта любовь принесла такие хорошие плоды, ибо большие надежды, подаваемые вашим сыном, господином Этиссаком, сулят, что, выросши, он выкажет вам признательность и повиновение доброго сына. Но так как из-за своего малолетства он до сих пор еще не был в состоянии оценить те неисчислимыя блага, которыми он вам обязан, я хотел бы, чтобы эти строки, если они когда-нибудь попадут ему в руки, когда меня уже не будет и я не смогу сказать ему этого, я хотел бы, повторяю, чтобы он воспринял их как чистосердечную правду; она будет ему еще убедительнее доказана теми благими последствиями, которые он ощутит на себе. Правда эта состоит в том, что нет дворянина во Франции, который был бы больше обязан своей матери, чем он, и что он не может дать в будущем лучшего доказательства своей добродетели, чем признав, насколько он вам обязан.

Если существует действительно какой-либо естественный закон, то есть некое исконное и всеобщее влечение, свойственное и животным, и людям (что далеко, впрочем, не бесспорно), то, по-моему, на следующем месте после присущего всем животным стремления оберегать себя и избегать всего вредоносного стоит любовь родителей к своему потомству. И так как природа как бы предписала ее нам с целью содействовать дальнейшему плодотворному развитию вселенной, то нет ничего удивительного в том, что обратная любовь детей к родителям не столь сильна.

К этому надо еще добавить наблюдение Аристотеля,³ что делающий кому-либо добро любит его сильнее, чем сам им любим; и что заимодавец любит своего должника больше, чем тот его, совершенно

так же, как всякий мастер больше любит свое творение, чем любил бы его это творение, если бы наделено было способностью чувствовать. Мы ведь дорожим своим бытием, а бытие состоит в движении и действии, так что каждый из нас до известной степени вкладывает себя в свое творение. Кто делает добро, совершает прекрасный и благородный поступок, а тот, кто принимает добро, делает только нечто полезное; полезное же гораздо менее достойно любви, чем благородное. Благородное твердо и постоянно; оно доставляет тому, кто сделал его, прочное чувство удовлетворения. Полезное легко утрачивается и исчезает; оно не оставляет по себе столь живого и отрадного воспоминания. Мы больше ценим те вещи, которые достались нам дорогой ценой; и давать труднее, чем брать.

Так как богу угодно было наделить нас некоторой способностью суждения, чтобы мы не были рабски подчинены, как животные, общим законам и могли применять их по нашему разумению и доброй воле, то мы должны до известной степени подчиняться простым велениям природы, но не отдаваться полностью в ее власть, ибо руководство нашими способностями должно принадлежать только разуму. Что касается меня, то я мало расположен к тем склонностям, которые возникают у нас без вмешательства разума. Я, например, не могу проникнуться той страстью, в силу которой мы целуем новорожденных детей, еще лишенных душевных или определенных физических качеств, которыми они способны были бы внушить нам любовь к себе. Я поэтому не особенно любил, чтобы их выхаживали около меня. Подлинная и разумная любовь должна была бы появляться и расти по мере того, как мы узнаем их, и тогда, если они этого заслуживают, естественная склонность развивается одновременно с разумной любовью и мы любим их настоящей родительской любовью; но точно так же и в том случае, если они не заслуживают любви, мы должны судить о них, всегда обращаясь к разуму и подавляя естественное влечение. Между тем очень часто поступают наоборот, и чаще всего мы больше радуемся детским шалостям, играм и проделкам наших детей, чем их вполне сознательным поступкам в зрелом возрасте, словно бы мы их любили для нашего развлечения, как мартышек, а не как людей. И нередко тот, кто

щедро дарил им в детстве игрушки, оказывается очень скупым на малейший расход, необходимый им, когда они подросли. Похоже на то, что мы завидуем, видя, как они радуются жизни, между тем как нам необходимо уже расставаться с ней, и эта зависть заставляет нас быть по отношению к ним более скаредными и сдержанными: нас раздражает, что они идут за нами по пятам, как бы убеждая нас поскорее уйти. И если бы мы должны были этого бояться — ибо в силу существующего порядка вещей они действительно могут жить лишь за счет нашего существа и нашей жизни, — то нам не следовало бы становиться отцами.

Что касается меня, то я нахожу жестоким и несправедливым не уделять детям части нашего имущества, не делать их совладельцами наших благ и соучастниками в наших имущественных делах, когда они стали уже способными их вести; я нахожу, что мы обязаны урезывать наши блага в их пользу, ибо ведь для этого мы породили их на свет. Это величайшая несправедливость — когда старый, больной и еле живой отец один пользуется, греясь у очага, доходами, которых хватило бы на содержание нескольких детей; когда он заставляет их, за недостатком средств, терять лучшие годы, не имея возможности продвинуться на общественной службе и узнать людей. Их приводят этим в отчаяние и побуждают стараться всякими путями, как бы дурны они ни были, обеспечить себя; и в самом деле, я видел на своем веку немало молодых людей из хороших семей, ставших такими закоренелыми ворами, что их ничем нельзя было уже вернуть на путь истины. Я знаю одного такого человека из хорошей семьи, с которым я однажды говорил по этому поводу по просьбе его брата, весьма порядочного и почтенного дворянина. Бедняга прямо признался мне, что на этот злополучный и грязный путь его толкнули черствость и скупость его отца и что он теперь так привык к этому делу, что не может жить без него; и действительно, вскоре после этого он был изобличен в том, что украл кольца у одной дамы, на утреннем приеме которой он находился вместе с другими людьми. Это напомнило мне рассказ, который мне довелось услышать от другого дворянина, так пристрастившегося с молодых лет к этому злосчастному занятию, что впоследствии, вступив во

владение своим имуществом и решив избавиться от своего порока, он не в состоянии был удержаться и пройти мимо лавки, не украв какой-нибудь вещи, которая была ему нужна, с тем чтобы потом послать деньги за нее. Я видел людей, до того пристрастившихся к этому пороку и погрязших в нем, что даже у своих товарищей они крали вещи, которые потом возвращали. Я — гасконец, но не знаю порока, который был бы мне более непонятен. Я его еще больше ненавижу чувством, чем разумом. Даже в помысле моем я не мог бы ни у кого ничего похитить. Гасконцы пользуются в этом отношении более дурной славой, чем другие народы Франции, хотя мы не раз видели в наши дни, что в руки правосудия попадали родовитые люди из других частей страны, уличенные в гнусных кражах. Я подозреваю, что в этом беспутстве отчасти повинен названный порок отцов.

Быть может, мне приведут в виде возражения то, что сказал один разумный вельможа, заявивший, что он копит богатства лишь для того, чтобы быть почитаемым и ценным своими близкими, и, так как старость отняла у него все другие возможности, это единственное оставшееся ему средство поддержать свою власть в семье и избежать всеобщего презрения (напомним, что, по словам Аристотеля,⁴ не только старость, но и всякая вообще умственная слабость порождает скудость). В этом есть некоторая доля правды, но ведь это лишь лекарство против болезни, самого возникновения которой не надо допускать. Жалок отец, если любовь детей к нему зависит лишь от того, что они нуждаются в его помощи. Да и можно ли вообще называть это любовью? Следует внушать уважение своими добродетелями и рассудительностью, а любовь — добротой и мягкостью нрава. Даже прах благородного человека заслуживает уважения: мы привыкли воздавать почет и окружать поклонением даже останки выдающихся людей. У человека, достойно прожившего свою жизнь, не может быть настолько убогой и жалкой старости, чтобы она из-за этого не внушала уважения, в особенности его собственным детям, которых с малолетства надлежало расположить к исполнению своего долга средствами убеждения, а не принуждения или грубости, скудости или суровости:

Et errat longe, mea quidem sententia,
Qui imperium credat esse gravius aut stabilius
Vi quod fit, quam illud quod amicitia adiungitur.⁵

Я осуждаю всякое насилие при воспитании юной души, которую растят в уважении к чести и свободе. В суровости и принуждении есть нечто рабское, и я нахожу, что то, чего нельзя сделать с помощью разума, осмотрительности и уменья, никак нельзя добиться силой.⁶ Такое воспитание получил я сам. Рассказывают, что в раннем детстве меня всего два раза высекали, и то лишь слегка. Своих детей я воспитывал в том же духе; к несчастью, все они умирали в младенческом возрасте; этой участи счастливо избежала только дочь моя Леонор,⁷ к которой до шестилетнего возраста и позднее никогда не применялось никаких других наказаний за ее детские провинности, кроме словесных внушений, да и то всегда очень мягких (что вполне отвечало снисходительности ее матери). И если бы даже мои намерения в отношении воспитания и не оправдали себя на деле, это можно было бы объяснить целым рядом других причин, не опорочивая моего метода воспитания, который правилен и естественен. С мальчиками в этом отношении я рекомендовал бы быть особенно сдержанным, ибо они еще в меньшей мере созданы для подчинения и предназначены к известной независимости; я поэтому постарался бы развить в них влечение к прямоте и непосредственности. Между тем от розог я не видел никаких других результатов, кроме того, что дети становятся от них только более трусливыми и лукаво упрямыми.

Если мы хотим, чтобы наши дети любили нас, если мы хотим лишиться их повода желать нашей смерти (хотя никакой вообще повод для такого ужасного положения нельзя считать законным и прощательным — *nullum scelus rationem habet*,⁸ то нам следует разумно сделать для них все, что в нашей власти. Поэтому нам не следует жениться очень рано, дабы не получалось, что наш возраст очень близок к возрасту наших детей, так как это обстоятельство создает для нас большие неудобства. Я особенно имею в виду наше дворянство, которое ведет праздную жизнь и живет, как выражаются, только своими рентами, ибо в тех семьях, где средства к существова-

нию добываются трудом, наличие большого числа детей облегчает ведение хозяйства, так как оно означает наличие дополнительного числа рабочих рук или орудий.

Я женился, когда мне было тридцать три года, и поддерживаю приписываемое Аристотелю⁹ мнение, что жениться следует в тридцать пять лет. Платон¹⁰ требует, чтобы женились не ранее тридцати лет, но он прав, когда смеется над теми, кто вступает в брак после пятидесяти лет, и считает, что потомство таких людей непригодно к жизни.

Фалес¹¹ установил в этом вопросе наиболее правильные границы. Когда он был очень молод и мать убеждала его жениться, он отвечал ей, что еще не пришло время, а состарившись, заявлял, что уже поздно. Следует отказываться от всяких несвоевременных действий.

Древние галлы считали весьма предосудительным иметь сношения с женщиной, не достигнув двадцатилетнего возраста, и настойчиво советовали мужчинам, готовившимся к военному поприщу, по возможности дольше сохранять девственность, ибо близость с женщинами ослабляет мужество.¹²

Ma hor congiunto à giovinetta sposa,
Lieto homai de'figli, era invilito
Ne gli affetti di padre e di marito.¹³

Из истории Греции мы знаем, что Икк Тарентский, Крисон, Астил, Диопомп и другие, желая сохранить свои силы нерастраченными для олимпийских игр, гимнастических и других состязаний, воздерживались во время подготовки к состязаниям от всяких любовных дел.¹⁴

Султан Туниса Мулей-Гасан,¹⁵ которого император Карл V возстановил на троне, не мог простить своему отцу даже после его смерти его непрестанных походов с женщинами и называл его бабой, плодящей детей.

В некоторых областях Америки, завоеванных испанцами, мужчинам запрещалось жениться ранее сорокалетнего возраста, женщинам же разрешалось уже в десять лет вступать в брак.¹⁶ Тридцатипятилетнему дворянину еще не время уступать место своему двад-

цятилетнему сыну: это возраст, когда он еще сам может участвовать в военных походах и являться ко двору своего государя. Ему самому нужны для этого деньги; он, разумеется, должен уделять часть из них детям, но такую лишь, чтобы это не стесняло его самого. Это положение правильно отражает тот ответ, который обычно на устах у отцов и который гласит: «Я не хочу раздеваться раньше, чем мне придется лечь спать».

Но отец, отягощенный годами и болезнями, лишенный из-за своих немощей и старости возможности занимать свое место в обществе, поступает несправедливо по отношению к своим детям, продолжая бесплодно оберегать свои богатства. Если он умен, то вполне уместно, чтобы у него явилось желание раздеться прежде, чем лечь спать, — раздеться не до рубашки, а вплоть до очень теплого халата; все же остальные роскошества, которые ему уже не по зубам, он должен с готовностью раздать тем, кому они должны по закону природы принадлежать. Вполне естественно, чтобы он предоставил детям пользоваться ими, поскольку природа лишает его самого этой возможности; иначе здесь проявится злая воля и зависть. Лучшим из поступков императора Карла V было умение признать (по примеру некоторых древних мужей подстать ему), что разум повелевает нам раздеться, если наши платья отягощают нас и мешают нам, и что следует лечь, если ноги нас больше не держат. Почувствовав, что он не в силах больше вести дела с прежней твердостью и силой, он отказался от своих богатств, почестей и власти в пользу сына.¹⁷

Solve senescentem mature sanus equum, ne
Peccet ad extremum ridendus, et ilia ducat.¹⁸

Это неумение вовремя остановиться и ощутить ту коренную перемену, которая естественно с возрастом происходит в нашем теле и в нашей душе (причем, на мой взгляд, эта перемена в одинаковой мере относится и к телу, и к душе, а возможно, что к душе даже больше), погубило славу многих великих людей. Я видел на своем веку и близко знавал весьма выдающихся людей, у которых на моих глазах поразительным образом угасали бывшие качества, по слухам, отличавшие их в их лучшие годы. Я предпочел бы, чтобы они, ради

их собственной чести, удалились на покой и отказались от тех государственных и военных постов, которые стали им не по плечу. Я когда-то бывал, как свой человек, в доме одного дворянина-вдовца, очень старого, но еще бодрого. У него было несколько дочерей на выданье и сын, которому пришло время показываться в свете, что было связано с множеством расходов и с посещениями разных посторонних людей, бывавших в его доме. Все это вызывало его неудовольствие, не столько по причине лишних расходов, сколько потому, что ввиду своего преклонного возраста он усвоил образ жизни, глубоко отличный от нашего. Однажды я довольно смело, как обычно с ним говорил, заявил ему, что ему следовало бы освободить для нас место, что лучше было бы ему предоставить своему сыну главный дом (ибо только он один был хорошо расположен и обставлен), а самому устроиться в одном из соседних его поместий, где никто не будет нарушать его покоя, так как иначе он не сможет избавиться от тех неудобств, которые связаны с образом жизни его детей. Он последовал моему совету и остался доволен.

Я не хочу, однако, этим сказать, что нельзя взять назад уступленных детям прав. Я предоставил бы детям (и в близком будущем намерен сам так поступить) возможность пользоваться моим домом и моими поместьями, но с правом отказать им в этом, если они дадут к тому повод. Я предоставил бы им пользование всем моим имуществом, так как это стало бы для меня обременительным; но общее управление им я оставил бы за собой в той мере, в какой мне было бы это желательно, поскольку я всегда считал, что для состарившегося отца должно быть большой радостью самому ввести своих детей в управление своими делами и иметь возможность, пока он жив, проверять их действия, давать им советы и наставления на основании своего опыта; большой радостью должно быть для него иметь возможность самому направить благополучие своего дома, перешедшее в руки его преемников, и укрепиться таким образом в надеждах, которые он может возлагать на них в будущем. Поэтому я не стал бы сторониться их общества, а, наоборот, хотел бы находиться около них и наслаждаться — в той мере, в какой мне это позволил бы мой возраст, — их радостями и их увеселениями. Если бы даже я и не

жил общей с ними жизнью (так как в этом случае я омрачал бы их общество печалью моего возраста и моих болезней, а кроме того, меня это вынудило бы нарушить мой новый образ жизни), я бы по крайней мере постарался жить около них в какой-нибудь части моего дома, не в самой парадной, но в наиболее удобной. Я не хотел бы повторить того, что мне пришлось видеть несколько лет назад на примере декана монастыря св. Илария в Пуатье; подавленный тяжелой меланхолией, он жил таким отшельником, что перед тем, как я вошел в его комнату, он двадцать два года ни разу не выходил из нее, несмотря на то что отлично владел всеми органами, не считая того, что постоянно покашливал. Очень неохотно разрешал он кому-нибудь разок в неделю его проведать и всегда сидел взаперти, в полном одиночестве. Только раз в день к нему входил слуга, приносивший ему пищу, после чего сразу же уходил. Все его занятия состояли в том, что он расхаживал по комнате или читал какую-нибудь книгу — ибо он был не чужд литературе, — твердо решив так и окончить свою жизнь, что с ним и случилось в скором времени.

Я бы попытался сердечными беседами внушить моим детям искреннюю дружбу и неподдельную любовь к себе, чего нетрудно добиться, когда имеешь дело с добрым существом; если же они подобны диким зверям (а таких детей в наш век тьма-тьмушая), их надо ненавидеть и бежать от них. Мне не нравится обычай некоторых отцов, запрещающих детям применять к ним обращение «отец» и вменяющих детям в обязанность называть их более уважительными именами, как если бы природа недостаточно позаботилась о соблюдении нашего авторитета. Называем же мы всемогущего бога отцом, так почему же мы не хотим, чтобы наши дети так называли нас? Безрассудно и нелепо также со стороны отцов не желать поддерживать со своими взрослыми детьми непринужденно-близких отношений и принимать в общении с ними надутый и важный вид, рассчитывая этим держать их в страхе и повиновении. Но на деле это бессмысленная комедия, делающая отцов в глазах детей скучными или — что еще хуже — потешными: ведь их дети молоды, полны сил, и им, следовательно, море по колено, а потому им смешны надменные и властные гримасы бессильного и дряхлого старца, напоминающего

пугало на огороде. Если бы дело шло обо мне, я предпочел бы, чтобы лучше меня любили, чем боялись.¹⁹

Старость связана с множеством слабостей, она так беспомощна, что легко может вызывать презрение; поэтому наилучшее приобретение, какое она может сделать, это любовь и привязанность близких. Приказывать и внушать страх — не ее оружие. Я знал одного человека, который в молодости был необычайно властным; а теперь, состарившись, он, сохраняя превосходное здоровье, стал бросаться на людей, дико ругаться, драться, словом, сделался величайшим буяном во Франции; день и ночь он снедаем заботами о своем хозяйстве и зорко следит за ним. Но все это сплошная комедия, так как все его домашние в заговоре против него: хотя он бережет как зеницу ока ключи от всех запоров, другие широко пользуются его житницами, его кладовой и даже его кассой. В то время как он скаредничает и экономит на своем питании, в его доме, в разных частях его, расшвыривают, проигрывают и растрачивают его добро, посмеиваясь над его бессильным гневом и бдительностью. Все в доме на страже против него. Стоит кому-нибудь из слуг проявить преданность к нему, как тотчас же домашние стараются вызвать в нем к этому слуге подозрительность, которая старикам весьма свойственна. Он неоднократно похвалялся мне, что держит своих домашних в узде, что они полностью повинуются ему и относятся к нему с почтением, хвастался тем, как проницательно ведет свои дела, —

*Ille solus nescit omnia.*²⁰

Я не знаю человека, который располагал бы лучшими природными или приобретенными качествами, необходимыми для управления имуществом, чем этот человек, и при всем том он беспомощен, как ребенок. Вот почему я и выбрал его как наиболее яркий пример среди многих других известных мне подобных же случаев.

Лишь предметом бесплодного школьного диспута мог бы явиться вопрос: что для этого старца лучше: знать ли правду или чтобы дело обстояло так, как оно есть. С виду все ему повинуются. Мнимое признание его власти заключается в том, что ему никогда ни в чем не противятся: ему верят, его боятся, его всячески почитают. Если

он увольняет слугу, последний складывает свои пожитки и уходит, но в действительности слуга исчезает только с его глаз. Старость так мало подвижна, зрение и прочие чувства у стариков так ослаблены, что слуга может целый год жить и исполнять свои обязанности в том же доме, оставаясь незамеченным. А когда наступает подходящий момент, то делают вид, будто откуда-то из дальних краев пришло жалобное, умоляющее письмо, наполненное обещаниями исправиться, и слугу прощают и восстанавливают в должности. Если старик-хозяин совершает какое-нибудь действие или отдает письменное распоряжение, которые не угодны его домашним, то их не выполняют, а затем сочиняют тысячу предлогов, оправдывающих это. Письма со стороны никогда не передаются ему тотчас же по их получении, кроме тех, которые считают возможным довести до его сведения. Если же какое-нибудь нежелательное письмо случайно попадет ему в руки, то — так как он всегда поручает кому-нибудь читать ему вслух — немедленно устраивают так, что он получает то, что желательно окружающим: например, что такой-то просит у него прощения, между тем как в письме содержатся самые оскорбительные вещи. Не желая огорчать старика или вызывать его гнев, ему представляют его дела в извращенном и приукрашенном виде, лишь бы только он был доволен. Я встречал довольно много семей, где в течение долгого времени, а иногда даже постоянно, дела велись подобным же образом, лишь с небольшими различиями.

Жены всегда склонны перечить мужьям. Они хватаются за всякий повод, чтобы поступить наоборот, и малейшее извинение для них равносильно уже полнейшему оправданию. Я знал одну женщину, которая утаивала от своего мужа изрядные суммы, чтобы, как она призналась своему духовнику, иметь возможность более щедро раздавать милостыню. Верь, кто хочет, этому благочестивому предлогу! Всякое распоряжение деньгами кажется им недостаточно почтенным, если оно совершается с согласия мужа; они должны обязательно захватить его в руки либо хитростью, либо упрямством, но всегда каким-нибудь способом: без этого они не почувствуют ни полноты своей власти, ни удовольствия от нее. И когда такие их действия — как в только что описанном случае — направлены против несчастного.

старика и в пользу детей, они хватаются за этот предлог и дают волю своей страсти, составляя заговор против господства главы дома. Если у него есть взрослые и полные сил сыновья, они быстро подчиняют себе, путем влияния или подкупа, домоправителя, казначея и всех прочих служащих. Если же у бедняги нет ни жены, ни сыновей, он не так легко попадает в эту беду, но зато, когда это случается, он страдает еще более жестоко и унижительно. Катон Старший²¹ говорил в свое время, что сколько у человека слуг, столько у него и врагов. Не хотел ли он нас предупредить, учитывая большую чистоту нравов в его время, чем в наше, что у нас столько же врагов, сколько жен, сыновей и слуг? При старческой немощи большим облегчением является благодетельная способность многого не замечать, не знать и легко поддаваться обману. Но что случилось бы с нами, если бы мы все это сознавали, особенно в наше-то время, когда судьи, призванные решать наши тяжбы, обычно становятся на сторону детей и потому бывают пристрастны.

Допуская даже, что я не замечаю этого надувательства, я во всяком случае отлично вижу, что легко подвержен ему. Найдется ли достаточно слов, чтобы выразить, сколь ценен — по сравнению с такими общественными связями — истинный друг? Один образ такой дружбы, которую я наблюдаю в самом чистом виде среди животных, преисполняет меня чувством почтительности и благоговения.

Если другие меня обманывают, то я во всяком случае не обманываюсь и сознаю, что неспособен предохранить себя от обмана. Однако я и не ломаю себе голову над тем, чтобы этого достигнуть. От подобных обманов я спасаюсь тем, что ухажу в себя, но побуждаемый к тому не смятением и тревожной любознательностью, а скорее по внутреннему решению и чтобы отвлечься. Когда мне рассказывают о положении дел какого-нибудь постороннего человека, я не смеюсь над ним, а обращаю тотчас же свой взор на себя и смотрю, как обстоит дело у меня самого. Все, что касается другого, относится и ко мне. Приключившаяся с ним беда служит мне предупреждением и настораживает меня в этом отношении. Ежедневно и ежечасно мы говорим о других людях то, что мы скорее сказали бы о себе..

если бы умели так же сосредоточивать наше суждение на себе, как и распространять его на других.

Так поступают многие авторы: они вредят делу, которое защищают, безрассудно нападая сами на своих противников и бросая им такие упреки, которые должны были бы быть обращены против них же самих.

Покойный маршал де Монлюк,²² потеряв сына, смелого и подавшего большие надежды человека, погибшего на острове Мадере, горько жаловался мне на то, что среди многих других сожалений его особенно мучит и угнетает то, что он никогда не общался со своим сыном. В угоду личине важного и недоступного отца, которую он носил, он лишил себя радости узнать как следует своего сына, поведать ему о своей глубокой к нему привязанности и сказать ему, как высоко он ценил его доблесть. Таким образом, рассказывал Монлюк, бедный мальчик встречал с моей стороны только хмурый, насупленный и пренебрежительный взгляд, сохранив до конца убеждение, что я не смог ни полюбить, ни оценить его по достоинству. «Кому же еще мог я открыть эту нежную любовь, которую я питал к нему в глубине души? Не он ли должен был испытать всю радость этого чувства и проявить признательность за него? А я сковывал себя и заставлял себя носить эту бессмысленную маску; из-за этого я лишен был удовольствия беседовать с ним, пользоваться его расположением, которое он мог выказывать мне лишь очень холодно, всегда встречая с моей стороны только суровость и деспотическое обращение». Я думаю, что эта жалоба была справедлива и основательна, ибо хорошо знаю по опыту, что когда умирают наши друзья, то нет для нас лучшего утешения, чем сознание, что мы ничего не забыли им сказать и находились с ними в полнейшей и совершенной близости.

Я открываюсь моим близким, насколько могу; с большой готовностью я выражаю им свое расположение и высказываю свое суждение о них, так же как я делаю это по отношению ко всякому человеку. Я спешу проявить и показать свое отношение, так как не хочу вводить на этот счет в заблуждение в каком бы то ни было смысле.

У наших древних галлов, по словам Цезаря,²³ в числе других особенных обычаев был следующий: сыновья могли появляться перед отцами и находиться при народе около них только после достижения воинского возраста; этим самым как бы хотели сказать, что наступил момент, когда отцы должны принять их в свой круг и сблизиться с ними.

Мне пришлось столкнуться и с другого рода несправедливостью некоторых отцов в мое время: не довольствуясь тем, что они в течение долгой своей жизни лишали своих детей причитавшейся им доли имущества, они еще завещали своим женам всю власть над всем своим имуществом и право распоряжаться им по своему усмотрению. Я знал одного сеньора, из числа виднейших служителей короны, который должен был получить в наследство ренту более чем в 50 тысяч экю, а умер в нужде и обремененный долгами в возрасте свыше 50 лет, между тем как его совсем уже дряхлая мать пользовалась всем состоянием, ибо таково было распоряжение его отца, прожившего около 80 лет. Такое отношение к детям отнюдь не кажется мне разумным.

Я нахожу также неразумным, когда человек, дела которого идут хорошо, ищет себе жену с большим приданым: деньги со стороны всегда приносят в семью беду. Мои предки обычно придерживались этого правила и я со своей стороны также последовал ему. Но те, кто не советуют нам жениться на богатых невестах, ссылаясь на то, что с ними труднее иметь дело и что они менее признательны, ошибаются и упускают некое реальное благо ради сомнительной догадки. Взыскательной женщине ничего не стоит менять свои намерения. Женщины больше всего довольны собой в тех случаях, когда они кругом неправы. Неправота привлекает их, подобно тому как хороших женщин подстрекает честь их добродетельных поступков; чем они богаче, тем они добрее, и, подобно этому, чем они красивее, тем более склонны к целомудрию.

Правильно оставлять управление всеми имущественными делами семьи в руках матери, пока дети не достигли требуемого по закону совершеннолетия; но плохо воспитал своих сыновей тот отец, который не питает уверенности, что, став взрослыми, они не смогут

вести дела лучше и искуснее, чем его жена, представительница слабого пола. Однако было бы, разумеется, еще более противоестественно, если бы мать зависела в материальном отношении от усмотрения детей. Для матерей следует щедро выделять средства, чтобы они могли жить как того требует обстановка их дома и как им полагается по их возрасту, принимая во внимание, что они гораздо менее приспособлены к перенесению нужды и лишений, чем их мужское потомство; поэтому следует возложить это бремя скорее на детей, чем на мать.

Вообще, наиболее разумным разделом нашего имущества перед смертью является, по-моему, раздел его согласно принятому в стране обычаю. Существующие на этот счет законы тщательно продуманы, так уж лучше пусть они иной раз в чем-нибудь погрешат, чем если мы будем погрешать, действуя наобум. Наши блага не вполне являются нашими, ибо, согласно гражданскому порядку, установленному без нашего участия, они предназначены для каких-то наших преемников. И хотя мы обладаем некоторой свободой распоряжаться ими и за пределами нашей жизни, я считаю, что должны быть очень веские и убедительные причины, чтобы побудить нас лишить человека состояния, которое ему предназначено и полагается по установленному закону; иначе это будет злоупотребление нашей свободой вопреки разуму и в угоду нашим случайным и легковесным прихотям. Судьба была милостива ко мне в этом отношении, избавив меня от поводов, которые могли бы меня соблазнить и заставить нарушить общепринятый закон. Но я знаю немало людей, в отношении которых длительная служба и помощь оказались даром потраченным временем: одно неудачное и плохо воспринятое слово уничтожает иной раз заслуги десятка лет. Счастлив тот, кому удастся загладить впечатление от такого слова в момент составления завещания! Обычно же последнее впечатление берет верх: не лучшие и обычные услуги, а самые последние, удержавшиеся в памяти жесты решают все. Такие люди играют своими завещаниями, словно кнутом и пряником, для наказания или награждения заинтересованных лиц за отдельные их поступки. Завещание — вещь слишком серьезная и имеющая слишком важные последствия, чтобы можно было позво-

лять себе непрерывно менять его; вот почему люди умные составляют его раз и навсегда, сообразуясь с доводами разума и принятыми в стране установлениями.

Мы придаем чересчур большое значение наследованию по мужской линии и охвачены нелепым желанием увековечить наши имена. Мы возлагаем также слишком большие надежды на способности наших детей. В отношении меня могла быть ненароком учинена несправедливость и меня могли передвинуть с занимаемого мною по старшинству места, так как я был самым вялым и самым несмышленным ребенком, самым медлительным и самым ленивым не только из всех моих братьев, но и из всех детей моей округи, как в умственных занятиях, так и в физических упражнениях. Глупо производить необычные разделы наследства на основании таких предзнаменований, которые потом часто оказываются ошибочными. Если уж можно нарушить обычный порядок и исправить выбор, который судьбе угодно было установить в отношении наших наследников, то с большим основанием можно это сделать при наличии какого-нибудь значительного и заметного физического уродства, то есть постоянного и неисправимого недостатка, являющегося для рьяных ценителей красоты важным изъяном.

Нижеследующий занятый диалог между законодателем Платоном и его согражданами окажется здесь уместным.²⁴ «Почему, — спрашивают они, чувствуя приближение смерти, — мы не можем распоряжаться тем, что нам принадлежит, и отказать наше имущество тому, кому хотим? Какая жестокость, о боги, что мы не вправе отказать по нашему усмотрению нашим близким, одному больше, другому меньше, в зависимости от того, насколько плохо или хорошо они относились к нам в старости, во время наших болезней и при разных наших делах?» На что законодатель отвечает так: «Друзья мои, вам, которым несомненно предстоит вскоре умереть, трудно разобраться в вашем нынешнем имуществе, да и в самих себе, как это предписывает дельфийская надпись.²⁵ Вот почему я, устанавливающий законы, говорю: вы не принадлежите себе, и это имущество, которым вы пользуетесь, не принадлежит вам; все нынешнее поколение и его имущество принадлежат всей совокупности предше-

ствовавших и будущих поколений, а еще в большей мере государству. Поэтому я не позволю, чтобы какая-нибудь одолевшая вас страсть или какой-нибудь угодник, подкрáвший к вам в годы вашей старости или во время вашей болезни, внушили вам мысль составить несправедливое завещание. Но, относясь с уважением к тому, что наиболее полезно и государству в целом, и вашему роду, я установлю соответствующие законы и заставлю признать разумным, что частное благо отдельного гражданина должно подчиняться общему интересу. А вы шествуйте смиренно и добровольно по пути, свойственному человеческой природе. Мне, который в меру сил охраняет общий интерес и для которого одна вещь не более важна, чем другая, надлежит позаботиться об оставляемом вами имуществе.

Возвращаясь к моему рассуждению, должен сказать следующее: мне представляется, что при всех условиях мужчины не должны находиться в подчинении у женщин — за исключением естественного подчинения материнской власти, — если только это не делается в наказание тем мужчинам, которые, поддавшись какому-то бурному порыву, сами добровольно подчинились женщинам. Но это не относится к старым женщинам, о которых здесь идет речь. Очевидность этого соображения побудила нас сочинить и пустить в оборот тот самый закон,²⁶ которого никто никогда не видел и на основании которого женщины лишаются права наследования французского престола. Нет в мире такой сеньории, где на этот закон не ссылались бы так же, как и у нас, в силу видимой его разумности, хотя в одних странах он получил случайно более широкое распространение, чем в других. Опасно предоставлять раздел нашего наследства на усмотрение женщин на основании того выбора между детьми, который они сделают, ибо выбор этот всегда будет несправедливым и пристрастным. Те болезненные причуды и влечения, которые наблюдаются у женщин во время беременности, свойственны им всегда. Постоянно приходится видеть, что они особенно привязываются к детям, более слабым и обиженным природой, или к тем, которые еще сидят у них на шее. Не обладая достаточной рассудительностью, чтобы выбрать того из детей, кто этого заслуживает, они легко отдаются природным влечениям и похожи в этом отношении на живот-

ных, которые знают своих детенышей лишь до тех пор, пока их кормят.

Между тем легко убедиться на опыте, что та естественная привязанность, которой мы придаем такое огромное значение, имеет очень слабые корни. Мы постоянно заставляем женщин за ничтожную плату бросать кормление своих детей,²⁷ чтобы выкормить наших; мы заставляем их передавать своих детей какой-нибудь хилой кормилице, которой мы не хотим отдавать наших детей, или даже просто козе; мы запрещаем этим женщинам не только кормить грудью их собственных детей, как бы вредоносно это для них ни было, но и вообще сколько-нибудь заботиться о них, чтобы это не мешало кормилицам полностью отдаваться нашим детям. И в результате у многих из этих женщин в силу привычки появляется более сильная привязанность к выкормленным ими чужим детям, чем к своим собственным, и бóльшая забота об их благополучии. Что же касается упомянутых мною коз, то это довольно распространенное явление в моих краях, где деревенские женщины, когда они сами лишены возможности кормить своих детей, пользуются для этой цели козами; у меня в настоящее время работают двое слуг, которые в младенчестве всего лишь неделю пробыли на женском молоке. Козы очень быстро приучаются давать вымя малышам, узнают их по голосу, когда они плачут, и спешат сами к ним. Если вместо их питомца им подкладывают другого, они отворачиваются от него, и так же поступает ребенок, когда к нему подводят другую козу. Я видел недавно ребенка, у которого отняли его козу, потому что его отец не мог больше получать ее от соседа; ребенок не смог привыкнуть к другой приставленной к нему козе и умер, несомненно, от голода. Животные не с меньшим успехом, чем люди, способны отклонить естественную привязанность от ее обычного пути.

Геродот рассказывает, что в одной из областей Ливии мужчины свободно сходятся с женщинами, но как только родившийся от такой связи ребенок начинает ходить, он отыскивает в толпе других людей своего отца и узнает его в том мужчине, к которому по естественной склонности устремляются его первые шаги.²⁸ Но я думаю, что здесь часто бывали ошибки.

Мы любим наших детей по той простой причине, что они рождены нами, и называем их нашим вторым «я», а между тем существует другое наше порождение, всецело от нас исходящее и не меньшей ценности: ведь то, что порождено нашей душой, то, что является плодом нашего ума и душевных качеств, увидело свет благодаря более благородным органам, чем наши органы размножения; эти создания еще более наши, чем дети; при этом творении мы являемся одновременно и матерью и отцом, они достаются нам гораздо труднее и приносят нам больше чести, если в них есть что-нибудь хорошее. Ведь достоинства наших детей являются в большей мере их достоинствами, чем нашими, и наше участие в них куда менее значительно, между тем как вся красота, все изящество и вся ценность наших духовных творений принадлежат всецело нам. Поэтому они гораздо ярче представляют и отражают нас, чем физическое наше потомство.

Платон замечает по этому поводу, что наши духовные творения — это бессмертные дети, они приносят своим отцам бессмертие и даже обожествляют их, как например случилось с Ликургом, Солонем, Миносом.²⁹

Страницы истории пестрят примерами любви отцов к своим детям, и мне представляется уместным привести здесь некоторые из них.

Гелиодор, добрейший епископ города Трикки, предпочел лишиться своего почтенного сана, доходов и всего связанного с его высокой должностью, чем отречься от своей дочери, которая жива и хороша еще поныне, хотя для дочери церкви, для дочери священнослужителя она и несколько вольна, и чересчур занята любовными похождениями.³⁰

Жил в Риме некий Лабиев,³¹ человек больших достоинств и весьма влиятельный, отличавшийся, помимо других качеств, своими литературными дарованиями; он был, как я полагаю, сыном великого Лабиева, являвшегося при Цезаре во время его войн в Галлии одним из виднейших военачальников, в дальнейшем же перешел на сторону великого Помпея и проявлял большую доблесть вплоть до момента, когда тот был разбит наголову Цезарем в Испании. Добродетели

того Лабиена, о котором я веду здесь речь, создали ему большое число завистников, но особенно, по-видимому, ненавидели его императорские придворные и фавориты за его приверженность к свободе и верность нелюбви отцов к тирании. Этот образ его мыслей, видимо, сказался в его писаниях. Враги преследовали его и добились постановления римского сената о сожжении многих опубликованных им сочинений. Именно с Лабиена начался тот новый вид наказания — карать смертью сами произведения, — который с тех пор утвердился в Риме по отношению ко многим другим авторам. Еще не были достигнуты все средства и пределы жестокости, пока люди не придумали простирать ее на то, что по самой природе своей лишено чувствительности и способности испытывать страдания, как наша посмертная слава и создания человеческого духа, и пока не придумали физически увечить и истреблять человеческие мысли и творения муз. Лабием не мог примириться с этой утратой и пережить свои, столь дорогие ему создания; он велел себя отнести в гробницу его предков и запереть там живым; таким способом он зараз и покончил с собой и похоронил себя. Трудно найти пример более горячей родительской любви, чем эта. Кассий Север,³² выдающийся оратор и друг Лабиена, видя, как сжигают его книги, воскликнул, что в силу того же самого приговора следует и его самого сжечь живым, ибо он хранил в памяти содержание этих книг.

Подобное же произошло и с Кремуцием Кордом,³³ обвиненным в том, что он в своих сочинениях отзывался с похвалой о Бруте и Кассии. Гнусный, пресмыкающийся и разложившийся сенат, достойный еще худшего повелителя, чем Тиберий, приговорил его писания к сожжению; Корд решил погибнуть вместе с ними и уморил себя голодом.

Славный Лукан, будучи осужден негодяем Нероном, приказал своему врачу вскрыть ему на руках вены, желая поскорее умереть. В последние минуты жизни, когда он совсем уже истекал кровью и члены его начали коченеть, объятые смертельным холодом, охватившим его жизненные органы, он принялся декламировать отрывок из своей поэмы о Фарсале;³⁴ так он и умер с созданными им стихами на устах. Разве это не было нежным отцовским прощанием со

своим детищем, подобным нашему прощанию и поцелую, какими мы обмениваемся с нашими детьми перед смертью? Разве это не было проявлением той естественной привязанности, вызывающей у нас в смертный час воспоминания о вещах, которые в жизни были нам дороже всего?

Когда Эпикур умирал, истерзанный, по его словам, невероятными страданиями, вызванными коликой, его единственным утешением было то, что он оставляет после себя свое учение. Но можно ли думать, что ему доставили бы такую же радость несколько одаренных и хорошо воспитанных детей — если бы они у него были, — как и создание его глубокомысленных творений? И что если бы он был поставлен перед выбором, оставить ли после себя уродливого и неудачного ребенка или же нелепое и глупое сочинение, то он — и не только он, но и всякий человек подобных дарований — не предпочел бы скорее первое, нежели второе? Если бы, например, блаженному Августину³⁵ предложили похоронить либо свои сочинения, имеющие такое важное значение для нашей религии, либо же своих детей — в случае, если бы они у него были, — то было бы нечестивым с его стороны, если бы он не предпочел второе.

Я не уверен, не предпочел ли бы я породить совершенное создание от союза с музами, чем от союза с моей женой.

То, что я отдаю этому духовному созданию,³⁶ я отдаю бескорыстно и безвозвратно, так, как что-либо отдают своим детям; та малость добра, которую я вложил в него, больше не принадлежит мне; оно может знать много вещей, которых я больше не знаю, и воспринять от меня то, чего я не сохранил, и что я, в случае надобности, должен буду, как совершенно постороннее лицо, заимствовать у него. Если я мудрее его, то оно богаче, чем я.

Немного найдется таких приверженных к поэзии людей, которые не сочли бы для себя бóльшим счастьем быть отцами «Энеиды», чем самого красивого юноши в Риме, и которые не примирились бы легче с утратой последнего, чем с утратой «Энеиды». Ибо, по словам Аристотеля,³⁷ из всех творцов именно поэты больше всего влюблены в свои творения. Трудно поверить, чтобы Эпаминонд,³⁸ хвалившийся, что он оставляет после себя всего лишь двух дочерей, но таких, ко-

торые в будущем окружают почетом имя их отца (этими дочерьми были две славные его победы над спартанцами), согласился обменять их на самых красивых девушек во всей Греции; и так же трудно представить себе, чтобы Александр Македонский или Цезарь согласились когда-нибудь отказаться от величия своих славных военных подвигов ради того, чтобы иметь детей и наследников, сколь бы совершенными и замечательными они ни были. Я сильно сомневаюсь также, чтобы Фидий³⁹ или какой-нибудь другой выдающийся ваятель был более озабочен невредимостью и долголетием своих детей, чем какого-нибудь замечательного своего произведения, художественного совершенства которого он добился в результате длительного изучения и неустанных трудов. Даже если вспомнить о тех порочных и неистовых страстях, которые вспыхивают, иногда у отцов к своим дочерям или же у матерей к сыновьям, то и такие страсти загораются иной раз по отношению к духовным созданиям; примером может служить то, что рассказывают о Пигмалионе,⁴⁰ который, создав статую женщины поразительной красоты, так яростно влюбился в свое творение, что, снисходя к его безумию, боги оживили ее для него:

Tentatum mollescit ebur, positoque rigore
Subsedit digitis.⁴¹



Г л а в а IX

О ПАРФЯНСКОМ ВООРУЖЕНИИ

Дурным обыкновением дворянства нашего времени, свидетельствующим об его изнеженности, является то, что оно облачается в доспехи лишь в момент крайней необходимости и снимает их тотчас же, как только появляются малейшие признаки того, что опасность миновала. Это ведет ко всякого рода непорядкам, ибо в результате того, что все бросаются к своему оружию лишь в момент боя, получается, что одни только еще облачаются в броню, когда другие их соратники уже разбиты. Наши отцы предоставляли оруженосцам нести только их шлем, копье и рукавицы, сохраняя на себе все остальное снаряжение до окончания военных действий. В наших войсках в настоящее время царит сильнейшая путаница из-за скопления боевого снаряжения и слуг, которые не могут отдаляться от своих господ, имея на руках их вооружение.

Тит Ливий писал про наших предков: «Intolerantissima laboris cogroga vix arma humeris gerebant».¹

Многие народы в старину шли в бой — а некоторые идут еще и сейчас — совсем без оборонительного оружия или очень легко прикрытыми.

*Tegmina queis capitem raptus de subere cortex.*²

Александр Македонский, храбрый из всех полководцев, облачался в броню лишь в очень редких случаях, и те из них, кто пренебрегает латами, ненамного ухудшают этим свое положение. Если и случается человеку погибнуть из-за того, что на нем не было брони,

то не более редки случаи, когда она оказывалась помехой и человек погибал, будучи не в состоянии высвободиться из нее, либо придушенный ее тяжестью, либо скованный ею в своих движениях, либо как-нибудь еще иначе. При виде тяжести и толщины наших лат может показаться, что мы только и думаем, как бы защитить себя, но в действительности они больше обременяют нас, чем защищают. Мы заняты тем, что тащим на себе этот груз, спутанные и стесненные, как если бы наша задача заключалась в том, чтобы бороться с нашим оружием, которое на деле должно было бы нас защищать.

Тацит забавно описывает наших древних галльских воинов,³ которые были так тяжело вооружены, что только-только были в силах держаться на ногах, будучи не в состоянии ни защищаться, ни нападать, ни даже подняться, когда они бывали опрокинуты. Лукулл, заметив, что некоторые воины-мидийцы, составлявшие передовую линию в армии Тиграна,⁴ были до такой степени тяжело и неуклюже вооружены, что были словно заключены в железную тюрьму, решил, что будет нетрудно их опрокинуть и начал с этого свое нападение, увенчавшееся победой.

Я полагаю, что в настоящее время, когда в большой славе наши мушкетеры, сделано будет какое-нибудь изобретение, чтобы прикрыть и обезопасить нас стенами и мы будем отправляться на войну, запертые в крепостях, подобных тем, которые древние укрепляли на спинах своих слонов.

Такого рода пожелание очень далеко от того, чего требовал Сципион Младший.⁵ Он сурово упрекал своих воинов за то, что они построили под водой западни в тех местах рва, через которые солдаты осажденного им города могли совершать вылазки. Осаждающие должны думать о нападении, а не бояться, заявлял Сципион, справедливо опасаясь, чтобы эта предосторожность не усыпила бдительность его воинов.

Юноше, который однажды показывал Сципиону свой превосходный щит, он сказал: «Твой щит действительно хорош, сын мой, но римский воин должен больше полагаться на свою правую руку, чем на левую».⁶

Мы только по привычке не любим носить на себе наше военное снаряжение:

L'husbergo in dosso haveano, e l'elmo in testa,
 Dui di quelli guerrier, de i quali io canto.
 Ne notte o di, dopo ch'entraro in questa
 Stanza, gli haveano mai messi da canto,
 Che facile a portar comme la vesta
 Era lor, perche in uso l'avean tanto.⁷

Император Каракалла⁸ шел в походе впереди своего войска в полном вооружении.

Римские пехотинцы не только имели на себе каску, щит и меч, — ибо, по словам Цицерона, они так привыкли иметь у себя на плечах оружие, что оно столь же мало стесняло их, как их собственные члены, — «*arma enim membra militis esse dicunt*»,⁹ но одновременно они еще несли на 15 дней продовольствия и несколько брусьев весом до 60 фунтов, необходимых им для устройства укрытий. С таким грузом солдаты Мария¹⁰ обязаны были за 5 часов пройти 5 миль или, в случае спешки, даже 6. Военная дисциплина у них была куда строже, чем у нас, и потому давала совсем иные результаты. В этой связи поразителен следующий случай: одного спартанского воина упрекали в том, что во время похода его видели однажды под крышей дома. Они были до такой степени приучены к трудностям, что считалось позором находиться под иным кровом, чем под открытым небом, и в любую погоду. Сципион Младший, перестраивая свои войска в Испании, отдал приказ, чтобы воины его ели только стоя и притом только сырое. При таких порядках мы недалеко ушли бы с нашими солдатами.

Аммиан Марцеллин,¹¹ воспитанный на войнах римлян, отмечает любопытную особенность вооружения у парфян, весьма отличную от системы римского вооружения. Они носили, сообщает он, броню, как бы сотканную из перышков, не стеснявшую их движений и вместе с тем столь прочную, что, попадая в нее, наши копья отскакивали от нее (это были чешуйки, которыми постоянно пользовались наши предки). В другом месте¹² Марцеллин пишет: «Лошади у них были сильные и выносливые, с грубой кожей; они тоже защищены

были с головы до ног толстыми железными пластинами, так искусно прилаженными, что, когда надо было, они смещались. Можно было подумать, что это какие-то железные люди; на головах у них были надеты каски, в точности соответствовавшие форме и частям лица, настолько плотно пригнанные, что можно было поразить их только через маленькие круглые отверстия для глаз, пропускавшие свет, или через щели для ноздрей, через которые они с трудом дышали»:

*Flexilis inductis animatur lamina membris
Horribilis visu; credas simulacra moveri
Ferrea, cognatoque viros spirare metallo,
Par vestitus equis: ferrata fronte minantur
Ferratosque movent, securi vulneris, armos.¹³*

Вот картина, которая очень напоминает описание снаряжения французского воина во всех его доспехах.

Плутарх сообщает, что Деметрий¹⁴ приказал изготовить для себя и для Алкина, первого состоявшего при нем оруженосца, по сплошной броне для каждого, весом в сто двадцать фунтов, между тем как обычная броня весила всего шестьдесят фунтов.



Г л а в а X

О КНИГАХ

Нет сомнения, что мне нередко случается говорить о вещах, которые гораздо лучше и правильнее излагались знатоками этих вопросов. Эти опыты — только проба моих природных способностей и ни в коем случае не испытание моих познаний; и тот, кто изобличит меня в невежестве, ничуть меня этим не обидит, так как в том, что я говорю, я не отвечаю даже перед собою, не то что перед другими, и какое-либо самодовольство мне чуждо. Кто хочет знания, пусть ищет его там, где оно находится, и я меньше всего вижу свое призвание в том, чтобы дать его. То, что я излагаю здесь, всего лишь мои фантазии, и с их помощью я стремлюсь дать представление не о вещах, а о себе самом; эти вещи я, может быть, когда-нибудь узнаю или знал их раньше, если случайно мне доводилось найти разъяснение их, но я уже не помню его.

Если я и могу иной раз кое-что усвоить, то уже совершенно неспособен запоминать прочно. Поэтому я не могу поручиться за достоверность моих познаний и в лучшем случае могу лишь определить, каковы пределы моих познаний о вещах в данный момент. Не следует обращать внимание на то, какие вопросы я излагаю здесь, а лишь на то, как я их рассматриваю.

Пусть судят на основании того, что я заимствую у других, сумел ли я выбрать то, что повышает ценность моего изложения. Ведь я заимствую у других то, что не умею выразить столь же хорошо либо по недостаточной выразительности моего языка, либо по сла-

бости моего ума. Я не веду счета моим заимствованиям, а отбираю и взвешиваю их. Если бы я хотел, чтобы о ценности их судили по их количеству, я мог бы вставить их в мои писания вдвое больше. Они все, за очень небольшими исключениями, принадлежат столь выдающимся и древним авторам, что сами говорят за себя. Я иногда намеренно не называю автора тех соображений и доводов, которые я переношу в мое изложение и смешиваю с моими мыслями, так как хочу умерить пылкость тех поспешных суждений, которые часто выносятся по отношению к недавно вышедшим произведениям еще здравствующих людей, написанным на французском языке, о которых всякий беретса судить, воображая себя достаточно в этом деле сведущим. Я хочу, чтобы они в моем лице поднимали на смех Плу-тарха или обрушивались на Сенеку. Я хочу прикрыть свою слабость этими громкими именами. Я приветствовал бы того, кто сумел бы меня разоблачить, то есть по одной лишь ясности суждения, по красоте и силе выражений сумел бы отличить мои заимствования от моих собственных мыслей. Ибо, хотя за отсутствием памяти я зачастую оказываюсь неспособным различить их происхождение, я все же очень хорошо понимаю, зная мои возможности, что те роскошные цветы, которые я вижу рассеянными в разных местах моего изложения, отнюдь не принадлежат мне и неизмеримо превосходят мои собственные дарования.

Я обязан дать ответ, есть ли в моих писаниях такие недостатки, которых я не понимаю или неспособен понять, если мне их покажут. Ошибки часто ускользают от нашего взора, но если мы не в состоянии их заметить, когда другой человек нам на них указывает, то это свидетельствует о расстройстве нашего суждения. Мы можем, не обладая способностью суждения, обладать и знанием и истиной, но и суждение со своей стороны может обходиться без них; больше того: признаваться в незнании, на мой взгляд, одно из лучших и вернейших доказательств наличия разума. У меня нет другого связующего звена при изложении моих мыслей, кроме случайности. Я излагаю свои мысли по мере того, как они у меня появляются; иногда они теснятся гурьбой, иногда возникают по очереди, одна за другой. Я хочу, чтобы виден был естественный и обычный ход их, во всех зигзагах.

Я излагаю их так, как они есть; поэтому здесь нет таких вопросов, которых нельзя было бы не знать или о которых нельзя было бы говорить случайно и приблизительно.

Я, разумеется, хотел бы обладать более совершенным знанием вещей, чем обладаю, но я знаю, как дорого обходится знание и не хочу покупать его такой ценой. Я хочу провести остаток своей жизни спокойно, а не в упорном труде. Я не хочу ломать себе голову ни над чем, даже ради науки, какую бы ценность она ни представляла. Я не ищу никакого другого удовольствия от книг, кроме разумной занимательности, и занят изучением только одной науки, науки самопознания, которая должна меня научить хорошо жить и хорошо умереть:

Hæc meus ad metas sudet oportet equus.¹

Если я при чтении натываюсь на какие-нибудь трудности, я не бьюсь над разрешением их, а попытавшись разок-другой с ними справиться, прохожу мимо.

Если бы я углубился в них, то потерял бы только время и сам потонул бы в них, ибо голова моя устроена так, что я обычно усваиваю с первого же чтения, и то, чего я не воспринял сразу, я начинаю еще хуже понимать, когда упорно бьюсь над этим. Я все делаю весело, упорство же и слишком большое напряжение действуют удручающе на мой ум, утомляют и омрачают его. При вчитывании я начинаю хуже видеть и внимание мое рассеивается. Мне приходится отводить глаза от текста и опять внезапно взглядывать на него; совершенно так же, как для того, чтобы судить о красоте алого цвета, нам рекомендуют несколько раз скользнуть по нему глазами, неожиданно отворачиваясь и опять взглядывая.

Если данная книга меня раздражает, я беру другую и погружаюсь в чтение только в те часы, когда меня начинает охватывать тоска от безделья.

Я редко берусь за новых авторов, ибо древние кажутся мне более содержательными и более тонкими, однако не берусь при этом за греческих авторов, ибо мое знание греческого языка не превышает познаний ребенка или ученика.

К числу книг просто занимательных и которыми стоит развлекаться, я отношу из новых — «Декамерон» Боккаччо, Рабле и «Поцелуи» Иоанна Секунда,² если их можно поместить в эту рубрику. Что касается Амадиса³ и сочинений в таком роде, то они привлекали мой интерес только в детстве. Скажу еще — может быть, смело, а может, безрассудно, — что моя состарившаяся и отяжелевшая душа нечувствительна больше не только к Ариосто, но и к доброму Овидию: его легкомыслие и прихоти фантазии, приводившие меня когда-то в восторг, сейчас не привлекают меня.

Я свободно высказываю свое мнение обо всем, даже о вещах, превосходящих иногда мое понимание и совершенно не относящихся к моему ведению. Мое мнение о них не есть мера самих вещей, оно лишь должно разъяснить, в какой мере я вижу эти вещи. Когда во мне вызывает отвращение, как произведение слабое, «Аксиох»⁴ Платона, то, учитывая имя автора, мой ум не доверяет себе: он не настолько глуп, чтобы противопоставлять себя авторитету стольких выдающихся мужей древности, которых он считает своими учителями и наставниками и вместе с которыми он готов ошибаться. Он ополчается на себя и осуждает себя либо за то, что останавливается на поверхности явления, не будучи в состоянии проникнуть в самую его суть, либо за то, что рассматривает его в каком-то ложном свете. Мой ум довольствуется тем, чтобы только оградить себя от неясности и путаницы, что же касается его слабости, то он охотно признает ее. Он полагает, что дает правильное истолкование явлениям, вытекающим из его понимания, но они нелепы и неудовлетворительны. Большинство басен Эзопа многосмысленны и многообразны в своем значении. Те, кто истолковывает их мифологически, выбирают какой-нибудь образ, который хорошо вяжется с басней, но для многих это лишь первый попавшийся и поверхностный образ; есть другие более яркие, более существенные и глубокие образы, до которых они не смогли добраться: так же поступаю и я.

Однако, возвращаясь к прерванной нити изложения, скажу: мне всегда казалось, что в поэзии издавна первое место занимают Вергилий, Лукреций, Катулл и Гораций, в особенности «Георгики» Вергилия, которые я считаю самым совершенным поэтическим про-

изведением; при сравнении их с «Энеидой» нетрудно убедиться, что в ней имеется ряд мест, которые автор, несомненно, еще отдал бы, если бы у него был досуг. Наиболее совершенной мне представляется пятая книга «Энеиды». Люблю я также Лукана и охотно его читаю: я не так ценю его стиль, как его самого, правильность его мнений и суждений. Что касается любезного Теренция, нежной прелести и изящества его латинского языка, то я нахожу, что он превосходит в верном изображении душевных движений и состояния нравов; наши поступки то и дело заставляют меня возвращаться к нему. Сколько бы раз я его не читал, я всегда нахожу в нем новую прелесть и изящество. Люди времен, близких к Вергилию, жаловались на то, что некоторые сравнивали его с Лукрецием. Я нахожу, что это действительно неравные величины и особенно укрепляюсь в этом убеждении, когда углубляюсь в какой-нибудь прекрасный стих Лукреция. Но если этих людей обижало сравнение Вергилия с Лукрецием, то что сказали бы они о варварской глупости тех, кто в настоящее время сравнивает Вергилия с Ариосто и что сказал бы по этому поводу сам Ариосто?

O saeculum insipiens et infacetum!⁵

Я полагаю, что древние имели еще больше оснований обижаться на тех, что равнял с Плавтом Теренция (ибо последний гораздо утонченнее), чем на тех, кто сравнивал Лукреция с Вергилием. Для истинной оценки Теренция и признания его превосходства важно отметить то, что только его — и никого другого из его сословия — постоянно цитирует отец римского красноречия,⁶ и большое значение имеет тот приговор, который вынес Теренцию первый судья среди римских поэтов.⁷ Мне часто приходило на ум, что в наше время те, кто берется сочинять комедии, — как например итальянцы, у которых есть в этой области большие удачи, — заимствуют три-четыре сюжета из комедий Теренция или Плавта и пишут на этой основе свои произведения. В одной комедии они нагромождают пять-шесть новелл Боккаччо. Такой способ добычи материала для своих писаний объясняется тем, что они не доверяют своим собственным дарованиям; им необходимо нечто прочное, на что они могли бы опереться,

и, не имея ничего своего, чем они могли бы нас привлечь, они хотят заинтересовать нас новеллой. Нечто обратное видим мы у Теренция: перед совершенством его литературной манеры бледнеет интерес к его сюжету; его изящество и остроумие все время приковывают наше внимание, он всегда так занимателен, — и так восхищает нашу душу своим талантом, что мы забываем о достоинствах его фабулы.

Liquidus puroque simillimus amni⁸ —

Это мое соображение приводит меня к другому замечанию. Я вижу, что прекрасные античные поэты избегали не только напыщенности и причудливой выпренности испанцев или петраркистов, но даже тех умеренных изощренностей, которые являются украшением всех поэтических творений позднейшего времени. Всякий тонкий знаток сожалеет, встречая их у античного поэта, и несравненно больше восхищается цветущей красотой и неизменной гладкостью эпиграмм Катуллы, чем теми едкими остротами, которыми Марциал уснащает концовки своих эпиграмм. Это и побудило меня высказать выше то же соображение, которое Марциал высказывал применительно к себе, а именно: *minus illi ingenio laborandum fuit, in cuius locum materia successerat.*⁹ Поэты первого рода без всякого напряжения и усилий легко проявляют свой талант: у них всегда есть над чем посмеяться, им не нужно щекотать себя, поэты же нового времени нуждаются в посторонней помощи. Чем у них меньше таланта, тем важнее для них сюжет. Они взбираются на коня, потому что чувствуют себя недостаточно твердо, стоя на собственных ногах. Это совершенно похоже на то, что можно наблюдать у нас на балах, когда люди простого звания, не обладая хорошими манерами нашего дворянства, стараются отличиться какими-нибудь рискованными прыжками или другими необычными движениями и фокусами. Точно так же и дамы лучше умеют держаться при таких танцах, где есть различные фигуры и телодвижения, чем во время торжественных танцев, когда им приходится только двигаться естественным шагом, сохраняя свое обычное изящество и умение непринужденно держаться. Мне приходилось равным образом видеть, как превосходные шуты, оставаясь в своем обычном платье и ничем не отличаясь

в своих манерах от прочих людей, доставляли нам все то удовольствие, какое только может давать их искусство, между тем как ученикам и тем, кто не имеет такой хорошей выучки, чтобы нас рассмешить, приходилось напудрить себе лицо, напялить какой-нибудь наряд и строить страшные рожи. В правильности высказанного мною выше суждения можно лучше всего убедиться, если сравнить «Энеиду» с «Неистовым Роландом». Стих Вергилия уверенно парит в высоте и неизменно следует своему пути; что же касается Тассо, то он порхает и перепархивает с одного сюжета на другой, точно светки на ветку; на свои крылья он полагается лишь для очень короткого перелета и делает остановки в конце каждого эпизода, боясь, что у него слишком короткое дыхание и не хватит сил:

*Excursusque breves tentat.*¹⁰

Вот авторы, которые мне больше всего нравятся в этих литературных жанрах.

Что же касается другого круга моего чтения, при котором удовольствие сочетается с несколько большей пользой, — так как с помощью этих книг я учусь развивать свои мысли и понятия, то сюда относятся произведения Плутарха — с тех пор как он переведен на французский язык — и Сенеки. Оба эти автора обладают тем важнейшим для меня достоинством, что та наука, которую я в них и ищу, дана у них не в систематическом изложении, а в отдельных очерках, поэтому для одоления их не требуется упорного труда, к которому я неспособен. Таковы мелкие произведения Плутарха и «Письма» Сенеки, составляющие лучшую и наиболее полезную часть их творений. Мне не надо делать никаких усилий, чтобы засесть за них, и я могу оборвать чтение, где мне захочется, ибо отдельные части этих произведений не связаны друг с другом. Оба эти автора сходятся в ряде своих полезных и правильных взглядов; сходна во многом и их судьба: оба они родились почти в одном веке, оба были наставниками двух римских императоров,¹¹ оба были выходцами из иных стран, были богаты и могущественны. Их учение — это сливки философии, преподнесенной в простой и доступной форме. Плутарх более целостен и постоянен, Сенека более изменчив и гибок. Сенека

прилагает усилия, упорствует и стремится вооружить добродетель против слабости, страха и порочных склонностей, между тем как Плутарх не придает им такого значения, он не желает из-за этого торопиться и вооружаться. Плутарх придерживается взглядов Платона, терпимых и подходящих для гражданского общества, Сенека же — сторонник стоических и эпикурейских воззрений, значительно менее удобных для общества, но, по-моему, более пригодных для отдельного человека и более стойких. Похоже на то, что Сенека до известной степени порицает тиранию императоров своего времени, ибо когда он осуждает дело благородных убийц Цезаря, то я убежден, что это с его стороны вынужденное суждение; Плутарх же всегда свободен в своих высказываниях. Писания Сенеки пронизаны живостью и остроумием, писания Плутарха — содержательностью. Сенека вас больше возбуждает и волнует, Плутарх вас больше удовлетворяет и лучше вознаграждает. Плутарх ведет нас за собой, Сенека нас толкает.

Что касается Цицерона, то для моей цели могут служить те из его произведений, которые трактуют вопросы так называемой нравственной философии. Но, говоря прямо и откровенно (а ведь когда стыд преодолен, то больше себя не сдерживаешь), его писательская манера мне представляется скучной, как и всякие другие писания в таком же роде. Действительно, подразделения, предисловия, определения, словопроизводство занимают бóльшую часть его писаний, и та доля сердцевины и существенного, что в них имеется, теряется из-за этих длинных приготовлений. Когда я, потратив час на чтение его, — что для меня много, — начинаю перебирать, что я извлек из него путного, то в большинстве случаев обнаруживаю, что ровным счетом ничего, ибо он еще не перешел к обоснованию своих положений и не добрался до того узлового пункта, который я ищу. Для меня, который хочет стать только более мудрым, а не более ученым или красноречивым, эти логические и аристотелевские подразделения совершенно ни к чему: я хочу, чтобы начинали с последнего, самого важного пункта; я достаточно понимаю, что такое наслаждение и что такое смерть, — пусть не тратят времени на копанье в этом: я ищу прежде всего убедительных веских доводов, которые научили бы меня

справляться с этими вещами. Ни грамматические ухищрения, ни остроумные словосочетания и тонкости здесь ни к чему: я хочу суждений, которые затрагивали бы самую суть дела, между тем как Цицерон ходит вокруг да около. Его манера хороша для школы, для адвокатской речи, для проповеди, когда мы можем себе позволить вздремнуть немного и еще через четверть часа вполне успеем уловить нить изложения. Так следует разговаривать с судьями, которых не мытьем, так катанием хотят склонить на свою сторону, с детьми и с простым народом, которому надо рассказывать обо всем, чтобы его пронять. Я не хочу, чтобы старались подстрекнуть мое внимание и пятьдесят раз кричали мне по примеру наших глашатаев: «Слушайте!» Римляне провозглашали в своих молитвах: «Nos age!»,¹² что соответствует нашему «Sursum corda!»¹³ — это тоже для меня совершенно излишние слова. Я приступаю к делу, будучи вполне готов: мне не нужно ни лакомой приманки, ни соуса, я охотно ем готовое мясо, а эти подготовки и вступления не только не возбуждают мой аппетит, а, наоборот, ослабляют и утомляют его.

Не послужит ли распушенность нашего века достаточным оправданием моего святотатства, если я позволю себе сказать, что нахожу также тягучими диалоги самого Платона? Ведь даже у него предмет исследования слишком заслонен формой изложения, и мне жаль, что этот человек, который мог сказать столько замечательных вещей, тратил свое время на эти длинные, ненужные подготовительные разговоры. Мое невежество послужит мне извинением в том, что я ничего не понимаю в красоте его языка.

Я вообще отдаю предпочтение книгам, которые используют достижения наук, а не тем, которые создают сами эти науки.

Писания Плутарха и Сенеки, а также Плиния и им подобных отнюдь не пестрят этими «Nos age!»; они хотят иметь дело с людьми, которые сами себя предупредили, а в тех случаях, когда в них содержится такое «Nos age!», оно относится к существу дела и имеет особое оправдание.

Я охотно читаю также «Письма к Аттику» Цицерона¹⁴ и не только потому, что они содержат обширные сведения о делах и событиях его времени, но гораздо более потому, что в них рас-

крываются частные дела самого Цицерона. А я обладаю — как я указывал уже в другом месте¹⁵ — особого рода любопытством: я стремлюсь узнать душу и непосредственные суждения моих авторов. По тем писаниям, которые они отдают на суд света, следует судить об их дарованиях, но не о них самих и их нравах. Тысячи раз сожалел я о том, что до нас не дошла книга Брута о добродетели:¹⁶ ведь так интересно узнать теорию тех, кто так силен в практике. Но поскольку одно дело проповедь, а другое — проповедник, то мне столь же приятно познакомиться с Брутом по рассказу Плутарха, как и по его собственной книге. Я скорее предпочел бы знать доподлинно разговоры, которые он вел в своей палатке с кем-нибудь из частных лиц накануне сражения, чем речь, которую он держал перед армией на следующий день после него, и я больше хотел бы знать, что он делал в своем кабинете и в своей комнате, чем то, что он делал на площади и в сенате.

Что касается Цицерона, то я держусь того распространенного о нем мнения, что, помимо учености, в нем не было ничего особенно выдающегося; он был добрым гражданином, добродушного нрава, какими часто бывают толстяки и говоруны, — каков он и был в действительности, — но что касается внутренней слабости и честолюбивого тщеславия, то, говоря по правде, этим он обладал в избытке. Я не знаю, чем можно извинить то, что он считал возможным опубликовать свои стихи. Нет большой беды в том, чтобы писать плохие стихи, но то, что он не понимал, насколько они недостойны славы его имени, свидетельствует о недостатке ума. Что касается его красноречия, то оно вне всякого сравнения; я думаю, что никто никогда в этом отношении ему не уподобится. Когда Цицерон Младший,¹⁷ походивший на своего отца только тем, что носил то же имя, служил в Азии, однажды у него за столом среди многих других гостей находился Цестий, сидевший на самом краю стола и затесавшийся сюда, как нередко случается на открытых пирах вельмож. Цицерон спросил, кто это, у одного из своих слуг, который сообщил ему, что это Цестий. Но когда Цицерон, который занят был другим и забыл, что ему ответили, еще два или три раза переспросил об этом слугу, тот, чтобы избавиться от необходимости повторять ему

по несколько раз одно и то же и желая указать какую-нибудь примету, сказал: «Это тот самый Цестий, о котором вам говорили, что он не очень-то ценит красноречие вашего отца по сравнению со своим собственным». Уязвленный этим, Цицерон приказал схватить несчастного Цестия и выпороть его в своем присутствии. Вот пример поистине неучтивого хозяина. Однако даже среди тех, кто в числе прочих вещей ценил несравненное цicerоновское красноречие, были люди, отмечавшие в нем недостатки; так, например, друг Цицерона, великий Брут говорил, что это было «волочащееся и спотыкающееся» красноречие, *fractam et elumbem*.¹⁸ Ораторы, близкие к нему по времени, переняли у него манеру делать длинную паузу в конце отрывка и употреблять слова «*esse videatur*»,¹⁹ которыми он так часто пользовался. Что касается меня, то я предпочитаю более короткие фразы с ямбической каденцией. Иногда он примешивает и резче звучащие фразы, хотя и редко. Я обратил внимание на то, как звучит, например, следующее место: «*Ego vero me minus diu senem esse mallet, quam esse senem, antequam essem*».²⁰

Историки составляют мое излюбленное чтение,²¹ занимательное и легкое; тем более, что человек вообще, к познанию которого я стремлюсь, выступает в их писаниях в более ярком и более цельном освещении, чем где бы то ни было; мы видим разнообразие и действительность его внутренних свойств как в целом, так и в подробностях, многообразие средств, которыми он пользуется, и бедствий, которые ему угрожают. Мне более близки историки, дающие жизнеописания, ибо они больше останавливаются на намерениях, чем на происшествиях, и больше задерживаются на том, что происходит внутри, чем на том, что совершается снаружи. Вот почему Плутарх — историк во всех отношениях в моем вкусе. Мне очень жаль, что у нас нет десятка Диогенов Лаэртцев,²² или нет хотя бы одного более пространного и объемистого. Ибо меня не в меньшей степени интересует судьба и жизнь этих великих наставников человечества, чем их различные учения и взгляды.

В области истории следует знакомиться со всякого рода авторами, и старыми и новыми, и французскими и зарубежными, чтобы изучать вещи в различном освещении, которое каждый из них дает.

Но особенно достойным изучения представляется мне Цезарь и не только ради знакомства с историей, но и ради него самого, настолько он превосходит всех других авторов, хотя Саллюстий²³ относится к тому же числу. Признаюсь, я читаю Цезаря с несколько большим благоговением и почтением, чем обычно читаются человеческие произведения; иногда сквозь его действия я вижу его самого и постигаю тайну его величия; иногда я восхищаюсь чистотой и неподражаемой гладкостью его слога, в чем он не только превзошел, как признает Цицерон, всех историков,²⁴ но и самого Цицерона. С большой искренностью судит Цезарь о своих врагах, и я думаю, что, кроме прикрас, которыми он старается прикрыть неправо свое дело и свое тлетворное честолюбие, его можно упрекнуть только за то, что он слишком скуп о себе. Ведь все эти большие дела не могли быть им выполнены без большей доли его участия, чем он изображает.

Я люблю историков либо весьма простодушных, либо проницательных. Простодушные историки, которые не вносят в освещение событий ничего своего, а заняты лишь тем, чтобы тщательно собрать все дошедшие до них сведения и добросовестно записать все события без всякого отбора, всецело предоставляют познание истины нам самим. Таков, например, в числе прочих добрейший Фруассар,²⁵ который подходит к своему делу с такой откровенной наивностью, что, совершив ошибку, отнюдь не боится ее признать и исправить там, где ее заметил; он приводит подряд самые разнообразные слухи об одном и том же событии или противоречивые объяснения, которые до него доходили. История Фруассара — это сырой и необработанный материал, который всякий может использовать по своему, в меру своего понимания. Проницательные историки умеют отобрать то, что достойно быть отмеченным; они способны выбрать из двух известий более правдоподобное; кроме того, они объясняют решения государей их характером и положением и приписывают им соответствующие речи. Они правы, ставя своей задачей склонять нас к своим взглядам, но, разумеется, на это способны лишь немногие. Историки, занимающие промежуточную позицию (а это наиболее распространенная разновидность их), все портят: они стремятся разжевать нам отрывочные данные, они берут на себя право судить и:

следовательно, направлять ход истории по своему усмотрению,²⁶ ибо, если суждение историка однобоко, то он не может предохранить свое повествование от извращения в том же направлении. Такого рода историки берут на себя отбор фактов, достойных быть отмеченными, и часто скрывают от нас то или иное слово или частное действие, которые могли бы объяснить нам значительно больше; они опускают как вещи невероятные, то, чего не понимают, а иногда опускают кое-что, может быть, просто потому, что не умеют выразить этого на хорошем латинском или французском языке. Пусть они смело выставляют напоказ свое слабое красноречие и свои рассуждения, пусть высказывают какие угодно суждения, но пусть оставят и нам возможность судить после них, пусть они не искажают своими сокращениями и своим отбором исторический материал, ничего из него не изымают, а предоставят нам его в полном объеме и в нетронутым виде.

Большей частью, в особенности в наше время, в качестве историков выбираются люди из престолярства единственно на том основании, что они хорошо владеют пером, как если бы мы стремились научиться у них грамматике! А они, заботясь лишь об этой стороне дела, по-своему правы, поскольку они продают только свое умение болтать и им платят деньги именно за это. Поэтому, орудуя красивыми словами, они преподносят набор всяких слухов, собранных ими на городских перекрестках. Единственно доброкачественными историческими сочинениями являются те, которые написаны были либо людьми, которые сами вершили эти дела, либо причастны были к руководству ими, либо на долю которых выпало по крайней мере вести другие подобного же рода дела. Таковы почти все исторические сочинения, написанные греческими и римскими авторами. И так как с тех же делами писали многие очевидцы (как водилось в те времена, когда и знания и высокое положение обычно сочетались в одном лице), то если у них и встретится какая-нибудь ошибка, она должна быть очень незначительна и относиться к какому-нибудь весьма неясному случаю. Но чего можно ждать от врача, пишущего о делах войны, или от ученика, излагающего планы государей? Достаточно привести один пример, чтобы убедиться, насколько щепетильны были

в своих писаниях римские авторы. Азиний Поллион²⁷ обнаружил известные неточности в исторических работах даже самого Цезаря; в эти неточности Цезарь впал либо потому, что не мог своими глазами уследить за всем, что происходило во всех частях его армии, и полагался на отдельных людей, нередко собиравших ему недостаточно проверенные факты, либо потому, что его заместители не вполне точно осведомляли его о делах, которые они вели в его отсутствие. На этом примере можно убедиться, до чего тонкое дело установление истины, раз нельзя положиться при описании какого-нибудь сражения на донесение того, кто им руководил, или на рассказ солдат о том, что происходило около них, а надо сопоставить — как это делается при судебном разбирательстве — показания свидетелей и учитывать возражения, даже по поводу мельчайших подробностей в каждом случае. Надо признать, что наши познания в нашей собственной истории весьма слабы. Но об этом достаточно писал Боден в том же духе, что и я.

Чтобы помочь делу с моей плохой памятью, которая так изменяла мне, что мне приходилось не раз брать в руки как совершенно новые и мне неизвестные книги, которые несколько лет тому назад я тщательно читал и испещрил своими замечаниями, я с недавнего времени завел себе привычку отмечать в конце всякой книги (я имею в виду книги, которые я хочу прочитывать только один раз) дату, когда я закончил ее читать, и в общих чертах суждение, которое я о ней вынес, чтобы иметь возможность на основании этого по крайней мере припомнить общее представление, которое я составил себе о данном авторе, читая его. Я хочу здесь привести некоторые из этих заметок.

Вот что я записал около десяти лет тому назад на моем экземпляре Гвиччардини²⁸ (ибо на каком бы языке книги ни говорили со мной, я всегда говорю с ними на моем языке): «Вот добросовестный историк, у которого, по-моему, с большей точностью, чем у кого бы то ни было, можно узнать истинную сущность событий его времени; к тому же в большинстве из них он сам принимал участие и состоял в высоких чинах. Совершенно непохоже на то, чтобы он из ненависти, лести или честолюбия искажал факты: об этом

свидетельствуют его независимые суждения о сильных мира сего, и в частности, о тех, которые выдвигали и назначали его на высокие посты, как например о папе Клименте VII.²⁹ Что касается той его особенности, которую он как будто желал вменить себе в наибольшую заслугу, а именно его отступлений и речей, то среди них есть меткие и удачные, но он чересчур увлекался ими: действительно, стараясь ничего не упустить и имея дело с таким обширным и почти необъятным материалом, он становится многословным и несколько болтливым на школьный манер. Я обратил также внимание на то, что о каких бы людях и делах, о каких бы действиях и замыслах он ни судил, он никогда не выводит их ни из добродетели, ни из благочестия и совести — как если бы этих вещей вовсе не существовало — и объясняет все поступки, какими бы совершенными они ни казались сами по себе, либо какой-нибудь выгодой, либо порочным стимулом. Однако нельзя себе представить, чтобы среди всех тех бесчисленных действий, о которых он судит, не было хоть каких-нибудь продиктованных разумом. Никакое разложение не может охватить настолько всех без исключения людей, чтобы не осталось ни одного не затронутого им человека; это вызывает у меня опасение, нет ли у Гвиччардини какого-то порока в этом его пристрастии и не судит ли он о других по себе».

В моем Филиппе де Коммине³⁰ записано следующее: «Вы найдете у него изящный и приятный стиль, отличающийся простотой и непосредственностью; неприкрашенное повествование, сквозь которое явно просвечивает добросовестность автора, свободного от тщеславия, когда он говорит о себе, и от зависти и пристрастия, когда он говорит о других; его рассуждения и увещания проникнуты скорее искренностью и добрыми побуждениями, чем каким-нибудь выдающимся талантом; и на всем изложении лежит отпечаток авторитетности и значительности, свидетельствующих о высоком положении автора и его опыте в ведении больших дел».

В мемуарах братьев Дю Белле³¹ я записал: «Всегда приятно читать изложение событий в описании тех, кто пытался ими руководить, но нельзя не признать, что обоим авторам мемуаров явно очень недостает той искренности и независимости в суждениях, которая

характерна для старых авторов подобного рода мемуаров, как например для сира Жуанвиля, слуги Людовика Святого,³² или для приближенного Карла Великого, Эгингарда,³³ или же Филиппа де Коммина, если взять автора более близкого по времени. Мемуары Дю Белле — это не история, а скорее апология Франциска I, направленная против Карла V.³⁴ Я не хочу допустить, чтобы они исказили самый смысл событий, но они весьма искусны в том, чтобы, нередко вопреки истине, истолковывать события в нашу пользу и скрывать все щекотливые моменты, касающиеся их повелителя; так, например, ни одним словом не упомянуты отступления Монморанси³⁵ и Бриона,³⁶ отсутствует даже самое имя госпожи д'Этамп.³⁷ Можно умалчивать о тайных делах, но не говорить о том, что всем известно, и о вещах, которые повлекли за собой последствия большой государственной важности, — непростительный недостаток. Словом, чтобы составить себе полное представление о Франциске I и о событиях его времени, следует, по-моему, обратиться к какому-нибудь другому источнику; мемуары же братьев Дю Белле могут быть полезны вот в каком отношении: в них можно найти любопытное описание тех сражений и военных походов, в которых оба эти сеньора принимали участие; сообщения о некоторых речах и частных поступках современных им государей и, наконец, известия о сношениях и переговорах, которые вел сеньор де Ланже;³⁸ в них содержится множество сведений, заслуживающих известности, и некоторые незаурядные суждения».



Г л а в а XI

О ЖЕСТОКОСТИ¹

Мне кажется, что добродетель есть нечто иное и более благородное, чем проявляющаяся в нас склонность к добру. Люди по природе своей добропорядочные и с хорошими задатками идут тем же путем и поступают так же, как и люди добродетельные. Но в добродетели есть нечто большее и более активное, чем тихо и мирно, в силу счастливого нрава, подчиняться велениям разума. Тот, кто по природной кротости и обходительности простил бы нанесенные ему обиды, поступил бы прекрасно и заслуживал бы похвалы; но тот, кто, задетый обидой за живое и разъяренный, сумел бы всоружиться разумом и после долгой борьбы одолеть неистовую жажду мести и выйти победителем, сделал бы несомненно нечто значительно большее. Первый поступил бы хорошо, второй же — добродетельно; первый поступок можно назвать добрым, второй — добродетельным, ибо мне кажется, что понятие добродетели предполагает трудность и борьбу и что добродетель не может существовать без противодействия. Ведь не случайно мы называем бога добрым, всемогущим, благим и справедливым, но мы не называем его добродетельным, ибо все его действия непринужденны и совершаются без всяких усилий. Многие философы — и не только стоики, но и эпикурейцы — близки к такому пониманию добродетели. [Я объединяю тех и других² вопреки общераспространенному мнению, которое ложно, как бы ни расценивать остроумный ответ, данный Аркесилаем тому, кто упрекал его в том, что многие переходят из его школы к эпикурейцам, но никогда от

эпикурейцев к стойкам. «Согласен! — ответил Аркесилай. — Многие петухи превращаются в каплунов, но каплуны никогда не становятся петухами».³ И действительно, в смысле твердости взглядов и строгости наставлений эпикурейцы отнюдь не уступают стойкам, если быть в отношении их добросовестными и не подражать тем спорщикам, которые, стремясь одержать легкую победу над Эпикуром, приписывают ему то, чего он никогда не думал, и выворачивают его слова наизнанку, злоупотребляя грамматикой и вкладывая в его фразы совсем другой смысл, чем тот, какой эти фразы (равно как и его дела, как им хорошо известно) на самом деле имели. Недаром Эпикур заявляет, что он перестал быть эпикурейцем по той причине — в числе прочих, — что эпикурейцы идут слишком возвышенным недоступным путем *et ii qui φιλήθρονοι vocantur, sunt φιλόκαλοι omnesque virtutes et colunt et retinent*.⁴ Итак, повторяю: из философов многие стойки и эпикурейцы считали, что недостаточно обладать душой благонамеренной, уравновешенной и склонной к добродетели, что недостаточно быть способным высказывать суждения и принимать решения, ставящие нас выше всех жизненных невзгод и превратностей, но что необходимо, кроме того, самому искать случаев применить их на практике. Они хотели испытать боль, нужду, презрение, чтобы с ними бороться и сохранять душу в боевой готовности: *multum sibi adicit virtus lacessita*.⁵ Вот одна из причин, побудившая Эпаминонда, принадлежавшего к третьей школе,⁶ отказаться от богатства, которое судьба послала ему в руки самым законным путем, ибо он хотел, по его собственному выражению, сражаться с бедностью, и прожил в нужде до конца своих дней. Сократ подвергал себя еще более жестокому, на мой взгляд, испытанию, поскольку таким испытанием являлась для него злоба жены; это, по-моему, равносильно упражнению с остро отточенным ножом. Метелл,⁷ единственный из римских сенаторов, взял на себя испытанием своей добродетели положить предел насилию народного трибуна Сатурнина, старавшегося всеми силами провести несправедливый закон в пользу плебеев. Приговоренный за это к изгнанию — каре, которую Сатурнин ввел против отказывавшихся признать этот закон, — Метелл обратился к тем, кто сопровождал его в этот тяжкий для него час, со

следующими словами: «Делать зло — вещь слишком легкая и слишком низкая; делать добро в тех случаях, когда с этим не сопряжено никакой опасности, — вещь обычная; но делать добро, когда это опасно, — таково истинное призвание добродетельного человека». Эти слова Метелла ясно подтверждают мою мысль о том, что добродетель не вяжется с отсутствием трудностей и что легкий, удобный и наклонный путь, по которому направляется хорошая природная склонность, это еще не есть путь истинной добродетели. Последняя требует трудного и тернистого пути, она должна преодолевать, как в случае с Метеллом, либо внешние трудности, которыми судьба старается отвлечь ее от ее нелегкого пути; либо внутренние трудности, вызываемые нашими необузданными стремлениями и нашим несовершенством.

Вплоть до этой минуты я чувствовал себя в своем изложении совершенно уверенным. Но, когда я дописывал последнюю фразу, мне пришло в голову, что, согласно моей мысли, душа Сократа, самая совершенная из всех мне известных, должна быть отнесена не к самым образцовым, ибо я не могу представить себе в нем борьбы с каким бы то ни было порочным стремлением. Я не могу вообразить себе, чтобы его добродетель испытывала какие бы то ни было трудности или какое-нибудь принуждение. Я знаю могущество и власть его разума, который никогда не дал бы зародиться какому-нибудь порочному стремлению. Такой возвышенной добродетели, как у Сократа, я не могу ничего противопоставить. Мне кажется, я вижу, как, свободная, она ступает победоносным и торжествующим шагом, не встречая никаких помех, никаких трудностей. Если добродетель ярче сияет благодаря борьбе противоположных стремлений, то значит ли это, что она не может обойтись без порока и что своей ценностью и почетом она обязана ему? Что скажем мы также об этом честном и благородном эпикурейском наслаждении, которое мимоходом, словно играючи, воспитывает добродетель, подчиняя ей, в виде забавы, стыд, лихорадки, бедность, смерть и узилища? Если я предположу, что совершенная добродетель познается лишь путем умения подавлять и терпеливо сносить боль, не моргнув глазом выдерживать жестокие приступы подагры; если я ей предпишу в качестве обяза-

тельного условия трудности и препятствия, то что же сказать о добродетели, поднявшейся на такую высоту, что она не только презирает страдание, но даже наслаждается им, упивается до степени восторженного экстаза, подобно некоторым эпикурейцам, оставившим нам весьма достоверные свидетельства подобных, испытанных ими переживаний?

Есть немало случаев, когда люди на деле превзошли требования, предъявляемые их учением. Доказательством этого может служить пример Катона Младшего.⁸ Когда я представляю себе, как он умирал, вырывая из тела свои внутренности, я не могу допустить, чтобы душа его в этот момент была лишь полностью свободна от страха и смятения, не могу поверить, чтобы, совершая этот акт, он только выполнял правила, предписываемые ему стоическим учением, иначе говоря, чтобы душа его оставалась спокойной, невозмутимой и бесстрашной. Мне кажется, что в добродетели этого человека было слишком много пламенной силы, чтобы он мог удовольствоваться этим; я не сомневаюсь ни минуты, что он испытывал радость и наслаждение, выполняя свой благородный акт, и что он был им более удовлетворен, чем каким бы то не было другим поступком в своей жизни. *Sic abit e vita ut causam moriendi nactum se esse gauderet.*⁹ Я настолько убежден в этом, что сомневаюсь, пожелал ли бы он лишиться возможности совершить такое прекрасное деяние. Если бы меня не останавливала мысль о благородстве, побуждавшем его всегда ставить общественное благо выше личного, то я очень склонен был бы допустить, что он благодарен был судьбе за то, что она послала такое прекрасное испытание его добродетели, и за то, что она помогла «этому разбойнику»¹⁰ растоптать исконную свободу его родины. Мне кажется, что при совершении этого поступка его душа испытывала несказанную радость и мужественное наслаждение, ибо она сознавала, что благородство и величие его —

*Deliberata morte ferocior*¹¹ —

вдохновлены не мыслью о грядущей славе (как это бывает у некоторых слабых и заурядных людей; но для души столь благородной, сильной и гордой это был бы слишком низменный стимул), а кра-

сотой самого поступка. Эту красоту он видел во всем ее совершенстве и яснее, чем мы, ибо он владел ею так, как нам не дано.

К моему большому удовольствию, философы считают, что такой замечательный поступок был бы неуместен во всякой другой жизни, и только одному Катону можно было так закончить свою жизнь. Поэтому он с полным основанием рекомендовал своему сыну и окружавшим его сенаторам выйти иначе из положения. *Catonum cum incredibilem natura tribuisset gravitatem, eamque ipse perpetua constantia roboravisset, semperque in proposito consilio permansisset, moriendum potius quam tyranni vultus aspiciendus erat.*¹² Всякая смерть должна соответствовать жизни человека. Умирая, мы остаемся такими же, какими были в жизни. Я всегда нахожу объяснение смерти данного человека в его жизни. И, когда мне рассказывают о стойком по видимости конце человека, проведшего вялую жизнь, я считаю, что он вызван был какой-либо слабой причиной, соответствующей жизни этого человека. Можно ли сказать, что легкость, с которой шел к смерти Катон, и та непринужденность, которой он достиг силой своего духа, должны как-то умалить красоту его добродетели? Кто из людей, хоть в малейшей степени причастных к истинной философии, может себе представить, что Сократ, когда на него обрушились осуждение, оковы и темница, всего-навсего лишь не испытал страха и оставался невозмутим? Кто не согласится признать, что он проявил не только стойкость и уверенность в себе (таково было его обычное состояние), но что в его последних словах и действиях сказались какое-то радостное веселие и совершенно новая удовлетворенность? Не доказывает ли то содрогание от удовольствия, которое он испытал от возможности почесать себе ногу, что подобная же радость была в его душе при мысли, что он освобождается от всех злоключений прошлого и находится на пороге познания будущего? Да простит меня Катон: его смерть была более стремительной и более трагической, но в смерти Сократа есть нечто более невыразимо прекрасное.

Аристипп¹³ говорил тем, кто сожалел о нем: «Пусть бы боги послали мне такую смерть, да будет так!»

На примере этих двух людей и их подражателей (ибо я сильно сомневаюсь, чтобы существовали люди, им подобные) можно убе-

даться в такой необыкновенной привычке к добродетели, что она вошла в их плоть и кровь. Эта добродетель достигается у них не усилием, не предписаниями разума; им не нужно для соблюдения ее укреплять свою душу, ибо она составляет сущность их души, это ее обычное и естественное состояние. Они достигли этого путем длительного применения наставлений философии, семена которой пали на прекрасную и благодатную почву. Пробуждающиеся в нас порочные склонности не находят к ним доступа; силой и суровостью своей души они подавляют их в самом зародыше.¹⁴

Я думаю, нет сомнений в том, что лучше по божественному решению свыше подавлять искушения в зародыше и так подготовить себя к добродетели, чтобы самые семена искушений были уже вырваны с корнем, чем, поддавшись первым проявлениям дурных страстей, лишь после этого насильно мешать их росту и бороться, стараясь приостановить их развитие и преодолеть их; но я не сомневаюсь, что и этот второй путь лучше, чем обладать просто несложным и благодушным характером и питать от природы отвращение к пороку и распущенности. Ибо люди, относящиеся к этой третьей разновидности, люди невинные, но не добродетельные, не делают зла, но их не хватает на то, чтобы делать добро. К тому же такой душевный склад так недалек от слабости и несовершенства, что я не в состоянии даже разграничить их. Именно по этой причине с самыми понятиями доброты и невинности связан некий оттенок пренебрежения. Я вижу, что некоторые добродетели, например целомудрие, воздержание и умеренность, могут быть обусловлены физическими недостатками. Стойкость в перенесении опасностей (если только ее можно назвать в данном случае стойкостью), презрение к смерти и терпение в бедствиях часто встречаются у людей, не умеющих разбираться в злоключениях и потому не воспринимающих их как таковые. Поэтому отсутствие достаточного понимания и глупость иногда можно принять за добродетели, и мне нередко приходилось видеть, как людей хвалили за то, за что их следовало бы бранить. Один итальянский вельможа, нелюбезно отзывавшийся о своей нации, однажды в моем присутствии говорил следующее. Сообразительность и проницательность итальянцев — утверждал он — так велики, что они заранее способны

предвидеть подстерегающие их опасности и бедствия, поэтому не следует удивляться тому, что часто на войне они спешат позаботиться о своей самосохранности еще до столкновения с опасностью, между тем как французы и испанцы, которые не столь проникательны, идут напролом, и им нужно воочию увидеть опасность и ощутить ее, чтобы почувствовать страх, причем даже и тогда страх их не удерживает; немцы же и швейцарцы, более вялые и тупые, спохватываются только в тот момент, когда уже изнемогают под ударами. Он, может быть, говорил все это шутки ради; однако несомненно верно, что новички в военном деле часто бросаются навстречу опасности, но, побывав в переделках, они больше уже не действуют столь опрометчиво:

*haud ignarus quantum nova gloria in armis,
Et praedulce decus primo certamine possit.*¹⁵

Вот почему, когда судят об отдельном поступке, то прежде чем оценить его, надо учесть разные обстоятельства и принять во внимание весь облик человека, который совершил его.

Несколько слов о себе. Мои друзья нередко называли во мне осмотрительностью то, что в действительности было случайностью, и считали проявлением смелости и терпения то, что было проявлением рассудительности и определенного мнения; словом, мне часто приписывали одно качество вместо другого, иногда к выгоде для меня, иногда мне в ущерб. На деле же я далек как от той первой и более высокой степени совершенства, когда добродетель превращается в привычку, так и от совершенства второй степени, доказательств которого я не смог дать. Мне не приходилось прилагать больших усилий, чтобы обуздать обуревавшие меня желания. Моя добродетель — это добродетель или, лучше сказать, невинность случайная и преходящая. Если бы у меня был от рождения более неуравновешенный характер, то боюсь, что я представлял бы жалкое зрелище, ибо мне нехватило бы твердости противостоять натиску страстей, если бы они даже не были очень бурными. Я совершенно неспособен к внутреннему разладу и борьбе. Поэтому мне нечего особенно благодарить себя за то, что я лишен многих пороков:

si vitiis mediocribus et mea paucis
 Mendosa est natura, alioqui recta, velut si
 Egregio inspersos reprehendas corpore naevos,¹⁶

то я скорее обязан этим моей судьбе, чем моему разуму. Ей угодно было, чтобы я происходил из рода, прославившегося своей безупречной честностью, и был сыном замечательного отца; я не знаю, унаследовал ли я от него некоторые его качества или на меня незаметно повлияли примеры, которые я видел в семье, и хорошее воспитание, полученное мною в детстве, или что-нибудь иное —

Seu Libra, seu me Scorpius aspicit
 Formidosus pars violentior
 Natalis horae, seu tyrannus
 Hesperiae Capricornus undae,¹⁷ —

но факт тот, что я питаю отвращение к большинству пороков. Антистен¹⁸ ответил спросившему его, чему лучше всего научиться: «Отучиться от зла». Я питаю, говорю я, к порокам отвращение, столь естественное и глубоко мне присущее, что никакие обстоятельства не смогли заставить меня изменить это усвоенное с младенческих лет чувство; не смогли заставить меня изменить ему даже мои собственные суждения, несмотря на то что они, отклоняясь в некоторых отношениях от общепринятого пути, легко могли бы мне позволить поступки, которые эта естественная склонность побуждает меня ненавидеть.

Скажу вещь очень странную, но все же скажу ее: я нахожу, что благодаря моему отвращению к порокам в моих нравах больше постоянства и уравновешенности, чем в моих суждениях, и что моя похоть менее разнузданна, чем мой разум.

Аристипп высказал такие смелые мысли в защиту наслаждения и богатства, что философы всех направлений ополчились против него. Но что до его собственных нравов, то когда тиран Дионисий¹⁹ предоставил ему на выбор трех прекрасных женщин, Аристипп заявил, что выбирает всех трех и что он не одобряет Париса за то, что тот отдал предпочтение одной из трех; но приведя их к себе в дом, он отослал их обратно, не прикоснувшись к ним. Однажды, когда его

слуга, который во время путешествия нес за ним деньги, выбился из сил из-за тяжести своей ноши, Аристипп приказал ему бросить все лишнее и оставить только то, что он в состоянии нести.²⁰

И Эпикур с его безбожным и утонченным учением в личной жизни был очень скромен и трудолюбив. Одному из своих друзей он пишет, что питается только черным хлебом с водой и чтобы он ему прислал немного сыра на случай, если он захочет устроить себе роскошный обед.²¹ Верно ли, что для того, чтобы быть добрым до конца, надо быть им в силу какого-то тайного, естественного и общего свойства, без всякого на то закона или основания, или примера?

Пороки, которым мне случалось поддаваться, слава богу, не из худших. Я по достоинству осуждал их в себе, ибо мой разум оставался незатронутым ими; напротив, он строже осуждал их во мне, чем осудил бы в ком-нибудь другом. Но этим дело и ограничивалось, ибо я способен оказывать лишь слабое сопротивление и легко даю себя увлечь; однако я не допускаю, чтобы к имеющимся у меня порокам присоединялись еще и другие, что случается с теми, кто этого не остерегается, ибо пороки большей частью переплетаются между собой. Что касается моих пороков, то я их в меру моих возможностей ограничил, оставив себе только единичные и самые простые,

nec ultra
Errorem foveo.²²

Между тем стоики утверждают, что когда мудрец совершает благое дело, он делает его с помощью всех своих добродетелей, хотя одна из них в зависимости от характера действия и преобладает (доводом в пользу этого им могло бы служить до известной степени сходство с человеческим организмом, ибо действие гнева может происходить в нас лишь с помощью всех других чувств, хотя гнев и преобладает над ними); но если они отсюда хотят сделать вывод, что, когда порочный человек делает дурное дело, он совершает его при помощи всех своих пороков, то я им в этом не верю или не понимаю их в этом отношении, ибо в действительности я ощущаю прямо противоположное. Однако это несущественные тонкости, на которых иногда останавливаются философы.

Я поддаюсь определенным порокам, но других избегаю не менее усердно, чем святой.

Перипатетики также не признают такой неразрывной связи между пороками, и Аристотель считает,²³ что человек благоразумный и справедливый может быть и невоздержанным, и распутным.

Сократ охотно признавался перед теми, кто находил в чертах его лица некоторую склонность к пороку, что она действительно была ему свойственна от природы, но что благодаря самообладанию ему удалось обуздать ее.²⁴

Близкие к философу Стильпону люди утверждали,²⁵ что он с ранних лет был привержен к вину и питал слабость к женщинам, но в результате упорных усилий стал весьма воздержан в том и в другом отношении.

Тем, что есть во мне хорошего, я, напротив, обязан своему происхождению. Хорошие качества не воспитаны во мне ни законом, ни наставлением, ни путем какого-нибудь другого обучения. Мне присуща естественная доброта, в которой немного силы, но нет ничего искусственного. Из всех пороков я жгуче ненавижу и по природе своей и разумом жестокость, наихудший из пороков. В этом отношении я до такой степени чувствителен, что не переношу, когда режут цыпленка или когда слышу, как пищит заяц под зубами моих собак, хотя и считаю охоту одним из самых больших удовольствий.

Те, кто осуждает наслаждение, желая доказать, что оно порочно и неразумно, охотно пользуются следующим доводом: когда оно достигает высшей точки, — говорят они, — оно так безраздельно завладевает нами, что полностью вытесняет разум, и ссылаются на то, что мы испытываем при сношениях с женщинами:

*cum iam praesagit gaudia corpus
Atque in eo est Venus ut muliebria conserat arva.*²⁶

Они находят, что в эти мгновения мы настолько бываем вне себя, что наш разум, полностью поглощенный наслаждением и потонув в нем, не в состоянии выполнять свое назначение. Я знаю, что бывает и иначе и что иногда, если захочешь, можно и в этот самый момент обратиться душой к другим мыслям, но для этого требуется душев-

ное напряжение и предварительная подготовка. Я знаю, что можно обуздывать порыв этого наслаждения; я хорошо знаком с этим по опыту и не нахожу, что Венера, — столь требовательная богиня, как считают многие и более чистые, чем я, люди. Мне, например, не кажется, как королеве Наваррской²⁷ в одной из новелл ее «Гептамерона» (книге, прелестной по содержанию), ни невероятным, ни слишком трудным проводить весело и непринужденно целые ночи напролет с давно желанной возлюбленной, выполняя данное ей обещание ограничиваться только поцелуями и легкими прикосновениями. Я полагаю, что для доказательства того, что при сильном волнении мы иной раз теряем разум, лучше подходит пример охоты (ибо в этом случае меньше наслаждения, но больше восхищения и неожиданности, которые не дают разуму возможности быть наготове и во всеоружии); когда после долгих преследований животное внезапно показывается там, где мы меньше всего ожидаем его увидеть, то испытываемое нами потрясение, еще усиленное яростным гиканием, бывает настолько велико, что тем, кто любит такого рода охоту, невозможно в этот момент отвлечься мыслями куда-нибудь в сторону. Недаром поэты изображают Диану победительницей над факелом и стрелами Купидона:

Quis non malarum, quas amor curas habet
Haec inter obliviscitur?²⁸

Возвращаясь к сказанному, замечу, что я горячо сочувствую чужим печалям и плакал бы вместе с горюющими, если бы умел плакать в каких бы то ни было случаях. Слезы, не только искренние, но и притворные, всегда вызывают у меня желание плакать. Я не жалею мертвецов, я скорее готов им завидовать, но я от души жалею людей, находящихся при смерти. Меня возмущают не те дикари, которые жарят и потом едят покойников, а те, которые мучают и преследуют живых людей. Я не могу спокойно переносить казни, даже если они совершаются по закону и оправданы. Некто, желая подтвердить великодушие Юлия Цезаря, сообщает следующее.²⁹ Он был великодушен даже, когда мстил: захватив тех пиратов, которые в свое время держали его в плену и заставили уплатить выкуп, Цезарь, ранее

угрожавший распять их на кресте, все же приказал сначала удавить их, а потом уже распять. Своего секретаря, Филемона, который намеревался его отравить, Цезарь приказал просто умертвить, не наложив на него более тяжкого наказания. Кто бы ни был тот римский автор, который в доказательство великодушия Цезаря ссылается на то, что он осуждал своих обидчиков только на простую смерть, нетрудно догадаться, как он был потрясен гнусными и страшными примерами жестокости, практиковавшимися римскими тиранами.

Что касается меня, то всякое дополнительное наказание сверх обыкновенной смерти даже по закону есть, по-моему, чистейшая жестокость;³⁰ это особенно относится к нам, христианам, которые должны заботиться о том, чтобы души отправлялись на тот свет успокоенными, что невозможно, если их измучили и истерзали невыносимыми пытками.

В недавние дни некий пленный воин, заметив с высоты башни, в которую он был заточен, что на площади плотники начали уже свои приготовления и сюда же стал стекаться народ, решил, что все это готовится для него, и пришел в отчаяние. Не имея под руками ничего другого, чем себя убить, он схватил попавшийся ему ржавый гвоздь от старой повозки и нанес себе им два сильных удара в шею, но чувствуя, что он еще жив, нанес себе еще третью рану в живот и потерял сознание. В таком состоянии его застал один из наведавшихся к нему надзирателей. Его привели в чувство и, чтобы не терять времени, пока он не умер, ему тут же прочитали приговор, на основании которого ему должны были отрубить голову. Он очень обрадовался этому приговору, согласился выпить вино, от которого раньше отказывался, и, поблагодарив судей за их неожиданно мягкое решение, заявил, что решил покончить с собой из страха перед более жестокой казнью и что страх его еще усилился, когда он увидел приготовления, вследствие чего он и захотел избавиться от более жестокой смерти.

Я бы рекомендовал, чтобы суровые примерные наказания, с помощью которых хотят держать народ в повиновении, применялись к трупам уголовных преступников, ибо когда видят, что их лишают права погребения или бросают в кипящий котел, или четвертуют, то

это должно производить не менее сильное действие, чем пытки, которые заставляют выносить живых людей, хотя в действительности и этим достигают очень немногого, вернее сказать, ничего, ибо, как говорится в Евангелии: *Qui corpus occidunt, et postea non habent quod faciant.*³¹ Недаром и поэты со своей стороны особенно подчеркивают страх перед этими картинами, перед дополнительными наказаниями, помимо смерти:

*Heu! reliquias semiassi regis, denudatis ossibus,
Per terram sanie delibutas foede divexarier.*³²

Я находился однажды в Риме в тот момент, когда расправлялись с известным вором, Катеной.³³ Его задушили при полном молчании присутствующих, но когда его стали четвертовать, то при каждом ударе топора слышались жалобные восклицания, как если бы каждый из собравшихся хотел выразить трупу свое сочувствие.

Эти бесчеловечные зверства можно позволять себе не по отношению к живому человеку, а к его мертвой оболочке. Так и поступил в сходном до известной степени случае Артаксеркс,³⁴ смягчив суровость старинных персидских законов и издав указ, чтобы сановников, которые совершили должностные преступления, раздевали и секли их одежду вместо них самих, как это водилось встарь, и вместо того, чтобы вырывать им волосы с головы, с них снимали только их высокие колпаки.

Благочестивые египтяне считали, что они вполне угождают божественному правосудию, принося в жертву ему изображения свиней.³⁵ смелая выдумка — желать расплатиться с богом, высшим в мире существом, изображением или тенью предмета.

Мне приходится жить в такое время, когда вокруг нас хоть отбавляй примеров невероятной жестокости,³⁶ вызванных разложением, порожденным нашими гражданскими войнами; в старинных летописях мы не найдем рассказов о более страшных вещах, чем те, что творятся сейчас у нас повседневно. Однако это ни в какой степени не приучило меня к жестокости, не заставило с нею свыкнуться. Я не в состоянии был поверить, пока не увидел сам, что существуют такие чудовища в образе людей, которые рады убивать ради удовольствия

ствия, доставляемого им убийством, которые рады рубить и кромсать на части тела других людей и изощряться в придумывании необыкновенных пыток и смертей; при этом они не получают от этого никаких выгод и не питают вражды к своим жертвам, а поступают так только ради того, чтобы насладиться приятным для них зрелищем умирающего в муках человека, чтобы слышать его жалобные стоны и вопли. Вот поистине вершина, которой может достигнуть жестокость: *Ut homo hominis non iratus, non timens, tantum spectaturus, occidat.*³⁷

Что касается меня, то мне всегда было тягостно наблюдать, как преследуют и убивают невинное животное, беззащитное и не причиняющее нам никакого зла.³⁸ Я никогда не мог спокойно видеть, как затравленный олень — что нередко бывает, — едва дыша и изнемогая, откидывается назад и сдается тем, кто его преследует, моля их своими слезами о пощаде,

*quaestuque cruentus
Atque imploranti similis.*³⁹

Это всегда казалось мне невыносимым зрелищем.

Я никогда не держу у себя пойманных животных и всегда отпускаю их на свободу. Пифагор покупал у рыбаков рыб, а у птицеловов — птиц, чтобы сделать то же самое.⁴⁰

*... primoque a caede ferarum
Incaluisse puto maculatum sanguine ferrum.*⁴¹

Кровожадные наклонности по отношению к животным свидетельствуют о природной склонности к жестокости.

После того как в Риме привыкли к зрелищу убийства животных, перешли к зрелищам с убийством и осужденных, и гладиаторов. Боюсь сказать, но мне кажется, что сама природа наделяет нас неким инстинктом бесчеловечности. Никого не забавляет, когда животные ласкают друг друга или играют между собой, и между тем никто не упустит случая посмотреть, как они дерутся и грызутся.

Для того чтобы не смеялись над моим сочувствием к животным, напомню, что религия предписывает нам известное милосердие по

отношению к ним, поскольку один и тот же владыка, чтобы служить ему, поселил нас в одном и том же мире и поскольку они, как и мы, суть его создания. Пифагор заимствовал идею метемпсихозы у египтян, но с тех пор она была воспринята многими народами, и в частности нашими друидами.⁴²

Morte carent animae; semperque priore relicta
Sede, novis domibus vivunt, habitantque receptae.⁴³

Религия древних галлов исходит из того, что, так как души бес смертны, то они все время пребывают в движении и переходят из одного тела в другое. Они связывали, кроме того, с этой идеей известное представление о божественном правосудии: так, основываясь на переселениях душ, они утверждали, что когда душа находилась в Александре, то бог приказал ей переселиться в другое тело, более или менее соответствующее ее способностям:

multa ferarum
Cogit vincla pati, truculentos ingerit ursis,
Praedonesque lupis, fallaces vulpibus addit;
Atque ubi per varios annos, per mille figuras
Egit, lethaeo purgatos flumine, tandem
Rursus ad humanae revocat primordia formae.⁴⁴

Если душа была храброй, то поселяли ее в тело льва, если сладострастной — то в тело свиньи, если трусливой — то в оленя или зайца, если хитрой — то в лису; и под конец душа, очистившись путем такого наказания, возвращалась в тело какого-нибудь другого человека:

Ipse ego nam memini, Troiani tempore bello
Panthoides Euphorbus eram.⁴⁵

Что касается нашего родства с животными, то я не придаю ему большого значения, как равно и тому, что многие народы — и в частности наиболее древние и благородные — не только допускали животных в свое общество, но и ставили их значительно выше себя; некоторые народы считали их друзьями и любимцами своих богов, которые будто бы почитают и любят их больше, чем людей; другие

же не признавали никаких других божеств, кроме животных; *belluae a barbaris propter beneficium consecratae*.⁴⁶

Crocodilon adorat
Pars haec, illa pavet saturam serpentibus ibin;
Effigies sacri hic nitet aurea cercophithecii;
...hic pisces fluminis, illic
Oppida tota canem venerantur.⁴⁷

Для животных почетно и то истолкование этого явления, которое дано Плутархом⁴⁸ и получило широкое распространение. Действительно, Плутарх утверждал, что египтяне почитали не кошку, например, или вола, а чтили в этих животных олицетворение некоторых божественных качеств: в воле — терпение и полезность, в кошке — живость или нежелание видеть себя запертой (вроде наших соседей бургундцев вместе со всей Германией); под этим они разумели свободу, которую любили и почитали превыше всех других божественных качеств. Так же истолковывали они и почитание других животных. Но когда я встречаю у представителей самых умеренных взглядов рассуждения о якобы близком сходстве между нами и животными и описания великих преимуществ, которыми они по сравнению с нами будто бы обладают, и утверждения правомерности, приравнивания нас к ним, то цена нашего самомнения в моих глазах сильно снижается и я охотно отказываюсь от приписываемого нам мнимого владычества над всеми другими созданиями.⁴⁹

Но как бы то ни было, все же существует долг гуманности и известное обязательство щадить не только животных, наделенных жизнью и способностью чувствовать, но даже деревья и растения. Мы обязаны быть справедливыми по отношению к другим людям и проявлять милосердие и доброжелательность ко всем другим созданиям, достойным этого. Между нами и ими существует какая-то связь, какие-то взаимные обязательства. Мне не стыдно признаться в такой моей ребяческой слабости: я не в силах отказать моей собаке в прогулке, которую она мне некстати предлагает или которой она от меня требует. У турок существуют больницы и учреждения по оказанию помощи животным. Римляне заботились в общественном порядке о пище для гусей, бдительность которых спасла Капитолий;⁵⁰ афи-

няне приняли решение, чтобы мулы, работавшие на постройке храма под названием Гекатомпедон, были выпущены на волю и могли свободно пастись всюду.

У агригентцев существовал обычай⁵¹ по-настоящему хоронить животных, которые были им дороги, например лошадей, отличившихся какими-нибудь редкими качествами, или собак, или полезных птиц, или даже животных, служивших для развлечения их детей. Пристрастие к роскоши, свойственное им и во всякого рода других вещах, особенно ярко проявилось в многочисленных пышных памятниках, воздвигнутых ими животным и сохранявшихся на протяжении многих веков.

Египтяне хоронили волков, медведей, крокодилов, собак и кошек в священных местах, бальзамировали их тела и носили по ним траур.⁵²

Кимон⁵³ устроил торжественные похороны кобылам, которые трижды доставили ему победу в беге колесниц на олимпийских состязаниях. Старый Ксантипп⁵⁴ похоронил свою собаку на утесе, высящемся на морском побережье и известном с тех пор под ее именем. Плутарх рассказывает,⁵⁵ что ему было бы совестно продать за скромную сумму или послать на бойню вола, который долгие время ему служил.



Г л а в а XII

АПОЛОГИЯ РАЙМУНДА САБУНДСКОГО¹

Наука — это поистине очень важное и очень полезное дело, и те, кто презирают ее, в достаточной мере обнаруживают свою глупость.² Но все же я не придаю ей такого исключительного значения, как некоторые другие, например философ Герилл,³ который видел в ней высшее благо и считал, что от нее зависит сделать нас мудрыми и счастливыми. Я этого не думаю; не считаю я также, как утверждают некоторые, что наука — мать всех добродетелей и что всякий порок есть следствие невежества. Необходимо тщательно выяснить, верно ли это. Мой дом с давних пор был радушно открыт для ученых людей и славился этим; ибо отец мой, управлявший им более полувека, охваченный тем самым новым пылом, который побудил короля Франциска I⁴ покровительствовать наукам и поднять уважение к ним, искал, не щадя усилий и средств, знакомства с образованными людьми. Он принимал их с благоговением, как людей святых и наделенных какой-то особой божественной мудростью; их высказывания и суждения он воспринимал как прорицания оракулов и относился к ним с тем большей верой и почтительностью, что сам не в состоянии был разобраться в них, так как был столь же мало сведущ в науках, как и его предки. Что касается меня, то я люблю науку, но не боготворю ее.

Одним из таких образованных людей был и Пьер Бюнель,⁵ славившийся в свое время ученостью. Он провел в замке Монтень несколько дней вместе с другими столь же образованными людьми

в обществе моего отца и при отъезде подарил ему книгу под названием «Theologia naturalis, sive Liber creaturarum, magistri Raymondi de Sabonde».⁶ Так как отец мой владел итальянским и испанским и так как книга была написана на ломанном испанском языке с латинскими окончаниями, то Бюнель рассчитывал, что отец мой при небольшом старании сумеет одолеть ее, и рекомендовал ее ему как книгу, весьма полезную и своевременную, принимая во внимание тогдашние обстоятельства. Это происходило как раз тогда, когда новшества Лютера⁷ стали находить последователей и когда наша старая вера во многих местах пошатнулась. Бюнель справедливо оценил значение этих событий: он правильно рассудил и предугадал по началу болезни, что она легко приведет к чудовищному атеизму. Ведь простой народ, не будучи в состоянии судить о вещах на основании их самих, легко поддается случайным влияниям и видимости; пользуясь тем, что ему позволили дерзко презирать и проверять учения, к которым он раньше относился с величайшим почтением, а именно к тем, где дело идет о его спасении, он, поскольку некоторые пункты его религии были поставлены под сомнение и заколебались, легко может подвергнуть такому же испытанию и все остальные положения своей веры, ибо они не имеют для него большей убедительности и силы, чем те, которые были поколеблены; он теперь отвергает, как тираническое иго, все воззрения, которые раньше принимал, потому что они покоились на авторитете закона или на уважении к старинному обычаю:

Nam cupide conculcatur nimis ante metutum.⁸

Отныне он желает признавать лишь то, что принято по его собственному решению и с его согласия.

Мой отец незадолго до смерти, случайно наткнувшись на эту книгу, лежавшую в кипе заброшенных бумаг, попросил меня перевести ее для него на французский язык. Таких авторов, как Раймунд Сабундский, нетрудно переводить, ибо надо передавать только существо дела; гораздо сложнее с теми, кто придавал большое значение изяществу и красоте языка, в особенности, когда приходится переводить на менее разработанный язык. Перевод оказался для меня

делом новым и необычным, но, так как я, по счастью, имел тогда много свободного времени и не в состоянии был отказать в чем бы то ни было лучшему в мире из отцов, то я, как мог, справился со своей задачей. Перевод мой доставил отцу огромное удовольствие, и он распорядился его напечатать, что и было выполнено после его смерти.⁹

Мне понравились взгляды этого автора, весьма последовательное построение его работы и его замысел, исполненный благочестия. Так как эту книгу с удовольствием читают многие, и в особенности дамы, к которым мы должны быть сугубо внимательны, то мне часто хотелось прийти им на помощь и освободить эту книгу от двух основных упреков, которые ей делают. Цель книги весьма смелая и решительная: автор ставит себе задачей установить и доказать, вопреки атеистам, все положения христианской религии с помощью естественных доводов и доводов человеческого разума. Говоря по правде, я нахожу, что он делает это весьма убедительно и удачно; вряд ли это можно сделать лучше, и вряд ли кто-нибудь может сравниться с ним в этом отношении.¹⁰ Книга эта представляется мне весьма содержательной и интересной; между тем имя ее автора мало известно: все, что мы знаем о нем, сводится к тому, что это был испанец, врач по профессии, живший в Тулузе около двух веков тому назад. Это побудило меня в свое время обратиться к всезнающему Адриану Тюрнебу¹¹ с вопросом, что ему известно об этой книге. Он мне ответил, что в этой книге дана, на его взгляд, самая суть учения Фомы Аквинского;¹² ибо действительно только этот человек, отличавшийся огромной эрудицией и замечательной тонкостью ума, способен был высказать подобные взгляды. Но кто бы ни был автором и творцом этой книги (а по-моему, нет особых оснований лишать Раймунда Сабундского этого звания), приходится признать, что это был очень одаренный человек, обладавший множеством достоинств.

1. Первое возражение, которое делается книге Раймунда Сабундского, состоит в том, что христиане неправы, желая обосновать свою религию с помощью доводов человеческого разума, ибо она познается только верой и особым озарением божьей благодати. В этом возражении есть, по-видимому, некое благочестивое рвение, поэтому

нам следует с тем большим уважением и обходительностью попытаться ответить тем, кто его выдвигает. Лучше было бы, если бы это сделал человек более опытный в вопросах богословия, чем я, который ничего в нем не смыслю.

И тем не менее я считаю, что в таком возвышенном и божественном вопросе, на много превосходящем человеческий разум, каким является религиозная истина, которою божьей благодати угодно было нас просветить, необходима божественная помощь и притом необычайная и исключительная, для того чтобы мы могли эту истину воспринять и вместить. Я не думаю, чтобы этого можно было как-нибудь достичь чисто человеческими средствами. Ведь если бы это было возможно, то неужели столько необыкновенно одаренных и выдающихся мужей древности не смогли бы силами своего ума достигнуть этого познания? Разумеется, возвышенные тайны нашей религии познаются глубоко и подлинно только верой, но это отнюдь не значит, что не было бы делом весьма похвальным и прекрасным поставить на службу нашей религии естественные и человеческие орудия познания, которыми наделил нас бог. Можно не сомневаться, что это было бы самым почетным применением, какое только мы можем им дать, и что нет дела и намерения более достойного христианина, чем стараться всеми своими силами и знаниями украсить, расширить и углубить истину своей религии. Однако мы не довольствуемся тем, чтобы служить богу только умом и душой, мы обязаны воздавать и воздаем ему также и материальное поклонение; для почитания его мы пользуемся даже нашим телом, нашими движениями и внешними предметами. Точно так же и нашу веру следует подкреплять всеми силами нашего разума, но всегда памятуя при этом, что она зависит не от нас и что наши усилия и рассуждения не могут привести нас к этому сверхъестественному и божественному познанию.

Если вера не открывается нам сверхъестественным наитием, если она доходит до нас не только через разум, но и с помощью других человеческих средств, то она не выступает во всем своем великолепии и достоинстве; но все же я полагаю, что мы овладеваем верой только таким путем. Если бы мы воспринимали бога путем глубокой

веры, если бы мы познавали его через него самого, а не с помощью наших усилий,¹³ если бы мы имели божественную опору и поддержку, то человеческие случайности не в состоянии были бы нас так потрясать, как они нас потрясают. Наша твердыня не рушилась бы от столь слабого натиска. Пристрастие к новшествам, насилие государей, успех той или иной партии, случайная и неожиданная перемена наших взглядов не могли бы заставить нас поколебать или изменить нашу веру, мы не решились бы вносить в нее раскол под влиянием какого-нибудь нового довода или уговоров, сколь бы красноречивыми они ни были. С непреклонной и неизменной твердостью мы сдерживали бы напор этих потоков:

Illis fluctus rupes ut vasta refundit,
Et varias circum latrantes dissipat undas
Mole sua.¹⁴

Если бы этот луч божества как-нибудь касался нас, он проявлялся бы во всем: это сказалось бы не только на наших речах, но и на наших действиях, на которых лежал бы отблеск божества; все исходящее от нас было бы озарено этим возвышенным светом. Нам должно быть стыдно, что среди последователей всех других религий никогда не было таких, которые не сообразовали бы так или иначе свое поведение и образ жизни со своими верованиями — как бы ни были эти верования нелепы и странны, — в то время как христиане, исповедующие столь божественное и небесное учение, являются таковыми лишь по названию.

Хотите убедиться в этом? Сравните наши нравы с нравами магометанина или язычника — и вы увидите, что мы окажемся в этом отношении стоящими ниже. А между тем, судя по превосходству нашей религии, мы должны были бы сиять таким несравненным светом, что о нас следовало бы говорить: «Они справедливы, милосердны, добры. Значит, они христиане». Все остальные признаки одинаковы у всех религий: чаяния, вера, чудесные события, обряды, покаяния, мученичества. Отличительной чертой нашей истинной религии должна была бы быть христианская добродетель, ибо она является наиболее возвышенным и небесным проявлением нашей

религии, будучи самым достойным плодом божественной истины. Между тем прав был наш добрый святой Людовик,¹⁵ когда он решительно отклонил желание новообращенного татарского хана прибыть в Лион, чтобы поцеловать папскую туфлю и увидеть здесь воочию ту святость, которую он надеялся найти в наших нравах; ибо Людовик опасался, как бы наш распущенный образ жизни не отвратил новообращенного от святой веры. Правда, совсем иначе случилось потом с другим человеком, который отправился с той же целью в Рим и, увидев здесь разврат прелатов и народа того времени, еще более укрепился в нашей вере, решив, что очень уже она должна быть могущественна и божественна, если сохраняет свое величие и достоинство посреди такого распутства и находясь в столь порочных руках.¹⁶

Если бы в нас была хоть капля веры, то мы, как говорится в священном писании, способны были бы двигать горами;¹⁷ наши действия, будучи направляемы и руководимы божеством, не были бы просто человеческими: в них было бы нечто чудесное, как и в нашей вере. *Brevis est institutio vitae honestae beateque, si credas.*¹⁸

Одни уверяют, будто верят в то, во что на деле не верят; другие (и таких гораздо больше) внушают это самим себе, не зная по-настоящему, что такое вера.

И мы еще удивляемся тому, что среди войн, которые сейчас терзают наше отечество,¹⁹ все творится и вершится так, как мы это видим! Ведь мы сами, только мы сами в этом повинны. Если и есть истина на стороне одной из борющихся партий, то она служит ей лишь прикрытием и украшением; на нее ссылаются, но ее не чувствуют, не сознают, не проникаются ею; она подобна той истине, которая на устах у адвоката, но не внедрилась в сердце, в душу приверженцев этой партии. Бог оказывает свою чудодейственную помощь не нашим страстям, а вере и религии; но эта помощь оказывается через людей, которые используют религию в своих интересах, между тем как должно было бы быть наоборот.

Признаемся: ведь мы ее направляем куда нам заблагорассудится! Разве мы не лепим, как из воска, сколько угодно противоположных образов из столь единого и твердого вероучения? Где это было

видано больше, чем во Франции в наши дни? И те, кто направляет ее налево, и те, кто направляет ее направо, и те, кто говорит: «Это черное», и те, кто говорит: «Это белое», — все одинаково используют ее в своих честолюбивых и корыстных целях, совершенно одинаково творя бесчинства и беззакония, до такой степени, что трудно и прямо-таки невозможно поверить, что их взгляды, как они уверяют, резко расходятся в вопросе, от которого зависит наше поведение в жизни, наш моральный закон. Может ли какая-нибудь философская школа или система морали породить более одинаковые, более сходные нравы?

Посмотрите, с каким потрясающим бесстыдством мы обращаемся с божественными помыслами: как святотатственно мы то отвергаем, то вновь принимаем их, в зависимости от позиции, которую нам случается занимать в этом общественном катаклизме. Возьмем столь торжественный тезис, как «имеет ли подданный, ради защиты веры, право вооружиться и восстать против своего государя». ²⁰ Припомните: кто год тому назад отстаивал положительное решение этого вопроса, объявляя его основой основ своей партии; и, наоборот, краеугольным камнем какой другой партии было отрицательное решение того же вопроса? Сопоставьте теперь это с тем, кто в настоящее время проповедует положительное решение этого вопроса, а кто отрицательное, и меньше ли бряцают оружием в одном лагере, чем в другом? А мы сжигаем на кострах людей, которые заявляют, что надо приспособить истину к нашим потребностям! Но насколько же Франция поступает на деле хуже, чем те, кто такие вещи лишь говорит!

Будем правдивы и признаемся, ²¹ что если отобрать даже из законной и обычной армии тех, кто идет в бой только из религиозного рвения, а также тех, кто движем единственно желанием защитить законы своей страны или послужить своему государю, то из них едва ли можно будет составить полную роту солдат. Чем объясняется, что в наших междоусобных войнах так мало людей, объединенных единой волей и единым стремлением, и что они действуют то слишком вяло, то совсем разнузданно, и что эти же люди вредят нашему делу то своими насилиями и жестокостями, то своим равно-

душием, апатией и медлительностью, — чем объясняется все это, как не тем, что участники этих междоусобиц движимы своими частными, своекорыстными побуждениями, подчиняя им все остальное?

Я вижу ясно, что мы охотно делаем для нашего благочестия лишь то, что удовлетворяет нашим страстям. Никакая вражда не может сравниться с христианской. Наше рвение творит чудеса, когда оно согласуется с нашей склонностью к ненависти, жестокости, тщеславию, жадности, злословию и восстанию. Напротив, на путь благости, доброты и умеренности его не заманить ни мытьем, ни катаньем, если только чудом его что-либо туда не толкнет.

Наша религия создана для искоренения пороков, а на деле она их покрывает, питает и возбуждает.²²

Не следует, как говорится, морочить господа бога. Если бы мы верили в него — я имею в виду не вероисповедание, а простую веру, — то есть (и это я говорю к великому нашему смущению) если бы мы верили в него, как в любой рассказ, если бы мы чувствовали его так, как одного из наших товарищей, то мы должны были бы любить его больше всего за его бесконечную благость и светлую красоту; мы любили бы его по крайней мере не меньше, чем мы любим богатство, удовольствия, славу и наших друзей.

Самый добропорядочный из нас не боится оскорбить его, не брится даже так, как мы боимся оскорбить своего соседа, или своего родственника, или своего господина. Найдется ли такой глупец, который, имея перед собой возможность, с одной стороны, достигнуть одного из наших порочных удовольствий, а с другой — не меньшую уверенность в достижении бессмертной славы, согласился бы обменять второе на первое? А между тем мы часто отказываемся от второго только из презрения: и действительно, что иное заставляет нас богохульствовать, как не самое желание иногда нанести оскорбление?

Философ Антисфен,²³ когда его посвящали в орфические таинства, в ответ на слова жреца о том, что посвятившие себя новой религии получают после смерти совершеннейшие и вечные блага, сказал ему: «Почему же в таком случае ты сам не умираешь, если веришь в это!»

А Диоген,²⁴ по своему обыкновению, еще более грубо сказал жрецу, убеждавшему его стать последователем проповедуемого им учения, чтобы добиться вечных благ на том свете: «Так ты хочешь, чтобы я поверил, что такие великие люди, как Агесилай или Эпаминонд, будут несчастны, а что такой ничтожный тупица, как ты, получит небесное блаженство только на том основании, что ты жрец?»

Если бы мы относились к великим обещаниям вечного блаженства с таким же уважением, как к философским рассуждениям, то мы не испытывали бы того страха перед смертью, который владеет нами:

Non iam se moriens dissolvi conquereretur;
Sed magis ire foras, vestemque relinquere, ut anguis,
Gauderet, praelonga senex aut cornua cervus.²⁵

«Имею желание разрешиться, — говорили бы мы в таком случае, — и быть со Христом».²⁶ Ведь убедительность рассуждений Платона о бессмертии души побуждала же некоторых его учеников кончать с собой, чтобы скорее насладиться благами, которые он сулил им.²⁷

Все это убедительнейшим образом доказывает,²⁸ что мы воспринимаем нашу религию на наш лад, нашими средствами, совсем так, как воспринимаются и другие религии. Мы либо находим нашу религию в стране, где она была принята, либо проникаемся уважением к ее древности и к авторитету людей, которые придерживались ее, либо страшимся угроз, предрекаемых ею неверующим, либо соблазняемся обещанными ею наградами. Наша религия должна использовать все эти соображения, но лишь как вспомогательные средства, ибо это средства чисто человеческие: другая область, другие свидетельства, сходные награды и угрозы могли бы таким же путем привести нас к противоположной религии.

Мы христиане в силу тех же причин, по каким мы являемся перигорцами или немцами.

Утверждение Платона,²⁹ что мало таких убежденных атеистов, которые под влиянием опасности не могли бы быть доведены до признания божественного провидения, неприменимо к истинному

христианину: только смертные и человеческие религии признаются в силу тех или иных жизненных обстоятельств. Что это за вера,³⁰ которую вселяют и устанавливают в нас трусость и малодушие? Нечего сказать, хороша вера, которая верит в то, во что верит, только потому, что у нее нет мужества не верить! Может ли такая порочная страсть, как непостоянство или страх, породить в нашей душе нечто незыблемое?

Опираясь на разум, люди приходят к выводу — говорит Платон,³¹ — будто всё, что рассказывают об аде и загробных муках ложно; но когда им представляется возможность проверить это на опыте, когда старость или болезни приближают их к смертному часу, то страх при мысли о том, что их ожидает, преисполняет их новой верой. Ввиду того что под давлением подобных представлений храбрые становятся боязливыми, Платон в своих законах запрещает всякую проповедь такого рода угроз,³² равно как и уверения, будто боги способны причинять человеку какое бы то ни было зло, кроме тех случаев, когда оно направлено к еще большему благу человека или к целительному воздействию на него. Они рассказывают о Бионе,³³ что, заразившись неверием от Феодора, он долгое время издевался над верующими людьми, но когда смерть неожиданно подкралась к нему, он предался самому крайнему суеверию, как если бы существование бога зависело от того, как обстояли дела у Биона.

Платон, а также указанные примеры приводят нас к заключению, что мы приходим к вере в бога либо с помощью разума, либо силой обстоятельств. Так как атеизм есть учение чудовищное и противоестественное, к тому же с трудом укладываемое в человеческой голове в силу присущей ему наглости и разнузданности, то встречается немало таких людей, которые исповедуют его для вида из тщеславия или из чванства, желая показать, что они придерживаются не общепринятых, а новаторских взглядов. Эти люди, хотя они и достаточно безумны, недостаточно, однако, сильны, чтобы внедрить безбожие в свое сознание. Они не преминут поднять руки к небу, если вы им нанесете хороший удар кинжалом в грудь, а когда страх или болезнь несколько утихомирят их разнузданный

пыл и ослабит это преходящее умонастроение, они тотчас же опомнятся и покорно подчинятся установленным верованиям и обычаям. Одно дело — основательно усвоенная догма, и совсем другое — порожденные разгулом свихнувшегося ума поверхностные представления, которые, беспорядочно и постоянно сменяясь, теснятся в нашем воображении. О, несчастные люди с вывихнутыми мозгами, которые стараются быть хуже того, что они есть!

Заблуждения язычества и незнакомство с нашей святой верой привели к тому, что Платон, этот великий ум (наделенный, однако, только чисто человеческим величием), впал еще и в другую ошибку: он утверждал, что дети и старики более восприимчивы к религии, как если бы религия была порождением нашей глупости и на ней покоилась.

Узы, которые должны связывать наш разум и нашу волю и которые должны укреплять нашу душу и соединять ее с нашим творцом, такие узы должны покоиться не на человеческих суждениях, доводах и страстях, а на божественном и сверхъестественном основании; они должны покоиться на авторитете бога и его благодати: это их единственная форма, единственный облик, единственный свет. Так как вера управляет и руководит нашим сердцем и нашей душой, то естественно, что она заставляет служить себе и все другие наши способности, в зависимости от их важности. Поэтому нет ничего невероятного в том, что на всей вселенной лежит некий отпечаток руки этого великого ваятеля и что в земных вещах есть некий образ, до известной степени схожий с создавшим и сформировавшим их творцом. Он наложил на эти возвышенные творения печать своей божественности, и только по неразумению нашему мы не в состоянии ее обнаружить. Он сам заявляет нам об этом, говоря, что «эти невидимые дела его раскрываются нам через дела видимые». Раймунд Сабундский потратил немало усилий на изучение этого важного вопроса, и он показывает нам, что нет такого существа на свете, которое отрицало бы своего творца. Было бы оскорблением божественной благодати, если бы вселенная не была заодно с нашей верой. Небо, земля, стихии, наша душа и тело — все принимают в этом участие, надо лишь уметь найти способ использовать их. Они

сами наставляют нас, когда мы оказываемся в состоянии их понять. В самом деле, наш мир — не что иное, как священный храм, открытый для человека, чтобы он мог созерцать в нем предметы, не созданные смертной рукой, а такие, как солнце, звезды, вода и земля, которые божественное провидение сотворило доступными чувствам для того, чтобы дать нам представление о вещах, доступных лишь высшему разуму. «Ибо невидимое его, — как говорит апостол Павел, — вечная сила его и божество, от создания мира через рассматривание творений видимы».³⁴

Atque adeo faciem coeli non invidet orbi
Ipse deus, vultusque suos corpusque recludit
Semper volvendo; seque ipsum inculcat et offert
Ut bene cognosci possit, doceatque vivendo
Qualis eat, doceatque suas attendere leges.³⁵

Наши человеческие доводы и рассуждения подобны рыхлой и бесплодной материи; только благодать божья их образует: она придает им форму и ценность. Подобно тому как добродетельные поступки Сократа или Катона остаются незначительными и бесполезными, поскольку они не были направлены к определенной цели, поскольку они не знали истинного бога и не были проникнуты любовью к творцу всех вещей и повиновением ему, — точно так же обстоит дело и с нашими взглядами и суждениями: они имеют некое содержание, но это неопределенная и бесформенная масса, не просветленная до тех пор, пока они не соединятся с верой и божьей благодатью. Так как доводы Раймунда Сабундского пронизаны и озарены верой, то она делает их несокрушимыми и убедительными; они могут служить первым вожатым ученика на этом пути. Его рассуждения до известной степени готовят ученика к восприятию божьей благодати, с помощью которой достигается и в дальнейшем совершенствуется наша вера. Я знаю одного почтенного и весьма образованного человека, который признался мне, что он выбрался из заблуждений неверия с помощью доводов Раймунда Сабундского. Если даже лишить эти доводы той веры, которая является их украшением и подтверждением, и принять их просто в качестве чисто человеческих суждений для опровержения тех, кто склонился к чу-

довищному мраку неверия, то и в этом случае они остаются непоколебленными и настолько убедительными, что им нельзя противопоставить никаких других равноценных доводов. Таким образом, мы можем сказать нашим противникам:

Si melius quid habes, accerse, vel imperium fer,³⁶

либо признайте силу наших доказательств, либо покажите нам какие-нибудь другие более обоснованные и более несокрушимые доводы.

Развивая эти мысли, я незаметно перешел уже ко второму возражению, на которое я хотел ответить за Раймунда Сабундского.

Некоторые утверждают, что его доводы слабы и неспособны подтвердить то, что он хочет, и берутся легко их опровергнуть. Эти лица заслуживают более резкой отповеди, ибо они опаснее и зловреднее первых. Мы обычно охотно истолковываем высказывания других лиц в пользу наших собственных, укоренившихся в нас, предрассудков; для атеиста, например, все произведения ведут к атеизму: самую невинную вещь он заражает своим собственным ядом. У этих лиц есть некое умственное предубеждение, в силу которого доводы Раймунда Сабундского до них не доходят. А между тем им кажется, что им представляется благоприятный случай свободно опровергать чисто человеческим оружием нашу религию, на которую они иначе не решились бы нападать во всем ее величии, с ее авторитетом и предписаниями. Чтобы обуздать это безумие, я считаю вернейшим средством низвергнуть и растоптать ногами это высокомерие, эту человеческую гордыню, заставить человека почувствовать его ничтожество и суетность, вырвать из рук его жалкое оружие разума, заставить его склонить голову и грызть прах земной из уважения перед величием бога и его авторитетом. Знание и мудрость являются уделом только бога, лишь он один может что-то о себе мнить, мы же крадем у него то, что мы себе приписываем, то, за что мы себя хвалим.

Οὐ γὰρ ἐὰ φρονέειν μέγα ὁ θεὸς ἄλλον ἢ ἑωυτῶν.³⁷

Собьем с человека эту спесь, эту главную основу тирании зловредного человеческого разума. Deus superbis resistit, humilibus autem

dat gratiam.³⁸ Все боги обладают разумом, заявляет Платон, из людей же — очень немногие.³⁹

Разумеется, для христианина большое утешение видеть, что наше брненное оружие столь же применимо к нашей святой и божественной вере, как и к нашим человеческим и брненным делам; оно действует в обоих случаях одинаково и с той же силой. Посмотрим же, имеет ли человек в своем распоряжении другие аргументы, более сильные, чем доводы Раймунда Сабундского, и вообще, возможно ли для человека прийти путем доказательств и суждений к какой-нибудь достоверности.

Блаженный Августин,⁴⁰ споря с неверующими, изобличает их, что они не правы, утверждая, будто те части нашей веры, которые не могут быть доказаны нашим разумом, ложны; желая показать им, что существует — и существовало — много вещей, причины и природа которых не могут быть изъяснены нашим разумом, он ссылается на ряд известных и бесспорных примеров, относительно которых человек признает, что он ничего в них не понимает; с этой целью Августин приводит, как и во многих других местах, очень тонкие и остроумные доказательства. Но надо сделать больше того и показать, что для того, чтобы убедить их в слабости человеческого разума, незачем ссылаться на редкостные явления; что человеческий разум настолько недостаточен и слеп, что нет ни одной вещи, которая была бы ему достаточно ясна; что для него все равно — что трудное, что легкое; что все явления и вся природа вообще единодушно отвергают его компетенцию и притязания.

Чему учит нас вера, когда она проповедует нам остерегаться светской философии,⁴¹ когда она постоянно внушает нам, что наша мудрость — лишь безумие перед лицом бога,⁴² что человек — самое светлое существо на свете, что человек, кичащийся своим знанием, даже не знает того, что такое знание,⁴³ и что человек, который ничего не значит, но мнит себя значущим, обольщается и обманывает себя?⁴⁴ Эти наставления священного писания так ясно и наглядно выражают то, что я хочу доказать, что для людей, которые беспрекословно и смиренно признавали бы авторитет священного писания, мне ничего больше не требовалось бы. Но те, которым я возражаю,

хотят быть битыми их же оружием: они желают, чтобы борьба с разумом велась не иначе, как с помощью самого разума.

Рассмотрим же с этой целью человека, взятого самого по себе, без всякой посторонней помощи, вооруженного лишь своими человеческими средствами и лишенного божественной милости и знания, составляющих в действительности всю его славу, его силу, основу его существа. Посмотрим, чего он сто́ит при этом великолепном, чисто человеческом вооружении. Пусть он покажет мне с помощью своего разума, на чем покоятся те огромные преимущества над остальными созданиями, которые он приписывает себе. Кто уверил человека, что это изумительное движение небосвода, этот вечный свет, льющийся из величественно вращающихся над его головой светил, этот грозный ропот безбрежного моря, — что все это сотворено и существует столько веков только для него, для его удобства и к его услугам? ⁴⁵ Не смешно ли, что это ничтожное и жалкое создание, которое не в силах даже управлять собой и предоставлено ударам всех случайностей, объявляет себя властелином и владыкой вселенной, малейшей частицы которой оно даже не в силах познать, не то что повелевать ей! На чем основано то превосходство, которое он себе приписывает, полагая, что в этом великом мироздании только он один способен распознать его красоту и устройство, что только он один может воздавать хвалу его творцу и отдавать себе отчет в возникновении и распорядке вселенной? Кто дал ему эту привилегию? Пусть он покажет нам грамоты, которыми на него возложены эти сложные и великие обязанности.

Даны ли они только одним мудрецам? Относятся ли они только к немногим людям? Или же безумцы и злые также сто́ят того, чтобы они, худшие существа вселенной, пользовались таким предпочтением перед всеми остальными?

Можно ли этому поверить? *Quorum igitur causa quis dixerit effectum esse mundum? Eorum scilicet animantium quae ratione utuntur. Hi sunt dii et homines, quibus profecto nihil est melius.*⁴⁶ Нет слов, чтобы достаточно осмеять это бесстыдное приравнивание людей к богам.

Есть ли в этом жалком существе хоть что-нибудь достойное такого преимущества? Подумайте только о нетленной жизни небесных

тел, их красоте, их величии, их непрерывном и столь правильном движении:

cum suspicimus magni caelestia mundi
 Templa super, stellisque micantibus aethera fixum,
 Et venit in mentem lunae solisque viarum,⁴⁷

Подумайте о том, какую огромную власть и силу имеют эти небесные тела не только над нашей жизнью и превратностями нашей судьбы,

Facta etenim et vitas hominum suspendit ab astris,⁴⁸

но, как учит нас наш разум, даже над нашими склонностями, над нашей волей, которой они управляют и движут по своему усмотрению:

speculataque longe
 Deprendit tacitis dominantia legibus astra,
 Et totum alterna mundum ratione moveri,
 Fatorumque vices certis discernere signis.⁴⁹

Подумайте о том, что не только отдельный человек, будь то даже король, но и целые монархии, целые империи и весь этот подлунный мир изменяется под воздействием малейших небесных движений:

Quantaque quam parvi faciant discrimina motus:
 Tantum est hoc regnum, quod regibus imperat ipsis!⁵⁰

А что сказать, если наши добродетели, наши пороки, наши способности, наши знания и даже само это рассуждение о силе небесных светил и само это сравнение их с нами проистекают — как полагает наш разум — с их помощью и по их милости;

furit alter amore
 Et pontum tranare potest et vertere Troiam;
 Alterius sors est scribendis legibus apta;
 Ecce patrem nati perimunt, natosque parentes;
 Mutuaque armati coeunt in vulnera fratres:
 Non nostrum hoc bellum est, coguntur tanta movere,
 Inque suas ferri poenas, lacerandaque membra;
 Hoc quoque fatale est, sic ipsum expendere fatum.⁵¹

Если даже та доля разума, которой мы обладаем, уделена нам небом, как же может эта крупица разума равнять себя с ним? Как можно судить о его сущности и его способностях по нашему знанию! Все, что мы видим в небесных телах, поражает и потрясает нас. *Quae molitio, quae ferramenta, qui vectes, quae machinae, qui ministri tanti operis fuerunt?*⁵² На каком же основании лишаем мы их души, жизни и разума? Убедились ли мы в их неподвижности, бесчувствии и неразумии, мы, не имеющие с ними никакого общения и вынужденные им лишь повиноваться? Сошлемся ли мы на то, что мы не видели ни одного существа, кроме человека, которое наделено было бы разумной душой? А видели ли мы нечто подобное солнцу? Перестает ли оно быть солнцем от того, что мы не видели ничего подобного? Перестают ли существовать его движения на том основании, что нет подобных им? Если нет того, чего мы не видели, то наше знание становится необычайно куцым: *Quae sunt tantae animi angustiae!*⁵³ Не химеры ли это человеческого тщеславия — превращать луну в некую небесную землю и представлять себе на ней, подобно Анаксагору,⁵⁴ горы и долины, находить на ней человеческие селения и жилища и даже устраивать на ней, ради нашего удобства, целые колонии, как это делают Платон и Плутарх, а нашу землю превращать в сверкающее и лучезарное светило? *Inter cetera mortalitatis incommoda et hoc est, caligo mentium, nec tantum necessitas errandi sed errorum amor.*⁵⁵ *Corruptibile corpus, aggravat animam, et deprimit terrena inhabitatio sensum multa cogitantem.*⁵⁶

Самомнение — наша прирожденная и естественная болезнь. Человек самое злополучное и хрупкое создание и тем не менее самое высокомерное.⁵⁷ Человек видит и чувствует, что он помещен среди грязи и нечистот мира, он прикован к худшей, самой тленной и испорченной части вселенной, находится на самой низкой ступени мироздания, наиболее удаленной от небосвода, вместе с животными наихудшего из трех видов,⁵⁸ и, однако же, он мнит себя стоящим выше луны и попирающим небо. По суетности того же воображения он равняет себя с богом, приписывает себе божественные способности, отличает и выделяет себя из множества других созданий, преуменьшает возможности животных, своих собратьев и сотовари-

щей, наделяя их такой долей сил и способностей, какой ему заблагорассудится. Как он может познать усилием своего разума внутренние и скрытые движения животных? На основании какого сопоставления их с нами он приписывает им глупость? ⁵⁹

Когда я играю со своей кошкой, кто знает, не забавляется ли скорее она мною, нежели я ею! Платон в своем изображении золотого века Сатурна ⁶⁰ относит к важнейшим преимуществам человека тех времен его общение с животными, изучая и поучаясь у которых, он знал подлинные качества и особенности каждого из них; благодаря этому он совершенствовал свой разум и свою проницательность, и в результате жизнь его была во много раз счастливее нашей. Нужно ли лучшее доказательство глупости обычных человеческих суждений о животных? Этот выдающийся автор ⁶¹ полагал, что ту телесную форму, которую дала им природа, она в большинстве случаев назначила лишь для того, чтобы люди по ней могли предсказывать будущее, чем в его время и пользовались.

Тот недостаток, который препятствует общению животных с нами, — почему это не в такой же мере и наш недостаток, как их? Трудно сказать, кто виноват в том, что люди и животные не понимают друг друга, ибо ведь мы не понимаем их так же, как и они нас. На этом основании они так же вправе считать нас животными, как мы их. Нет ничего особенно удивительного в том, что мы не понимаем их: ведь точно так же мы не понимаем басков или троглодитов. Однако некоторые люди хвастались тем, что понимают их, например Аполлоний Тианский, Меламп, Тиресий, Фалес и другие. ⁶² И если есть народы, которые, как утверждают географы, выбирают себе в цари собаку, ⁶³ то они должны уметь истолковывать ее лай и движения. Нужно признать равенство между нами и животными: у нас есть некоторое понимание их движений и чувств, и примерно в такой же степени животные понимают нас. Они ласкаются к нам, угрожают нам, требуют от нас; то же самое проделываем и мы с ними.

В то же время мы явно видим, что между животными существует глубокое общение и полное взаимопонимание, не только между животными одного и того же вида, но и различных видов:

Et mutae pecudes et denique saecula ferarum
 Dissimiles soleant voces variasque cluere
 Cum metus aut dolor est, aut cum iam gaudia gliscunt.⁶⁴

Заслышав собачий лай, лошадь распознает, злобно ли лает собака, и несколько не пугается, когда собака лает совсем по-иному. Но и относительно животных, лишенных голоса, мы без труда догадываемся по тем услугам, которые они оказывают друг другу, о каком-то существующем между ними способе общения; они рассуждают и говорят с помощью своих движений:

Non alia longe ratione atque ipsa videtur
 Protrahere ad gestum pueros infantia linguae.⁶⁵

Почему бы и нет? Ведь видим же мы, как немые при помощи жестов спорят, доказывают и рассказывают разные вещи. Я видел таких искусников в этом деле, что их действительно можно было понимать полностью. Влюбленные ссорятся, мирятся, благодарят, просят друг друга, уславливаются и говорят друг другу все одними только глазами:

E'1 silenzio ancor suole
 Aver prieghi e parole.⁶⁶

А чего только мы не выражаем руками? Мы требуем, обещаем, зовем и прогоняем, угрожаем, просим, умоляем, отрицаем, отказываем, спрашиваем, восхищаемся, считаем, признаемся, раскаиваемся, пугаемся, стыдимся, сомневаемся, поучаем, приказываем, подбадриваем, поощряем, клянемся, свидетельствуем, обвиняем, осуждаем, прощаем, браним, презираем, не доверяем, досаждаем, мстим, рукоплещем, благословляем, унижаем, насмехаемся, примиряем, советуем, превозносим, чествуем, радуемся, сочувствуем, огорчаемся, отказываемся, отчаиваемся, удивляемся, восклицаем, немеем. Столько же самых различных вещей, как и с помощью языка! Кивком головы мы соглашаемся, отказываем, признаемся, отрекаемся, отрицаем, приветствуем, чествуем, почитаем, презираем, спрашиваем, выпроваживаем, потешаемся, жалуемся, ласкаем, покоряемся, противодействуем, увещеваем, грозим, уверяем, осведомляем. А чего только не выражаем мы с помощью бровей или с помощью плеч! Нет движения, которое не говорило бы и притом на языке, понятном всем без вся-

кого обучения ему, на общепризнанном языке. Таким образом, если учесть наличие множества других языков, каждый из которых принят лишь в определенных областях или государствах, то язык движений следует, пожалуй, признать наиболее пригодным для человеческого рода. Я уже не говорю о том, как под давлением необходимости ему сразу научаются те, кому это нужно; не говорю я ни об азбуке пальцев, ни о грамматике жестов, ни о науках, которые изъясняются и выражаются лишь с их помощью; ни о тех народах, которые, по словам Плиния,⁶⁷ не имеют никакого другого языка.

Посол города Абдеры после длинной речи, произнесенной перед спартанским царем Агисом, спросил его: «Итак, государь, какой ответ я должен передать моим согражданам?» — «Что я позволил тебе, — ответил Агис, — сказать все, что ты хотел и сколько ты хотел, не произнеся ни одного слова».⁶⁸ Разве это не образец разговора без слов и притом совершенно понятного?

Наконец, каких только наших способностей нельзя найти в действиях животных! Существует ли более благоустроенное общество, с более разнообразным распределением труда и обязанностей, с более твердым распорядком, чем у пчел? Можно ли представить себе, чтобы это столь налаженное распределение труда и обязанностей совершалось без участия разума, без понимания?

*His quidam signis atque haec exempla secuti,
Esse apibus partem divinae mentis et haustus
Aethereos dixere.*⁶⁹

Разве ласточки, которые с наступлением весны исследуют все уголки наших домов с тем, чтобы из тысячи местечек выбрать наиболее удобное для гнезда, делают это без всякого расчета, наугад? И разве могли бы птицы выбирать для своих замечательных по устройству гнезд скорее квадратную форму, чем круглую, предпочтительно тупой угол, а не прямой, если бы они не знали преимуществ этого? Разве, смешивая глину с водой, они не понимают, что из твердого материала легче лепить, если он увлажнен? Разве, устилая свои гнезда мохом или пухом, они не учитывают того, что нежным тельцам птенцов так будет мягче и удобнее? Не потому ли

защищаются они от ветра с дождем и вьют гнезда на восточной стороне, что разбираются в действии разных ветров и считают, что одни из этих ветров для них полезнее, чем другие? Почему паук, если он лишен способности суждения и умения делать выводы, в одном месте тклет густую паутину, в другом — редкую и пользуется в одних случаях сетью из толстых нитей, в других — из тонких? На большинстве творений животных мы убеждаемся, как слабо мы способны подражать им. Ведь знаем же мы, когда дело идет о наших более грубых творениях, какие способности участвуют в их создании, и видим, что душа наша напрягает при этом все свои силы; почему в таком случае не думать того же о животных? На каком основании приписываем мы творения животных какому-то врожденному слепому инстинкту, хотя эти творения превосходят все, на что мы способны по своим природным склонностям и знаниям! Так, мы, не задумываясь, наделяем животных бóльшим преимуществом по сравнению с нами самими, допускаем, что природа с материнской нежностью охраняет и как бы собственноручно направляет их при всех обстоятельствах их жизни, во всех их действиях, между тем как нас, людей, она предоставляет на волю судьбы и случая, заставляя с помощью знания отыскивать вещи, необходимые для нашего сохранения; при этом природа отказывает нам в средствах, с помощью которых мы могли бы путем какого-то обучения и совершенствования уравнивать наши способности с природными способностями животных. Ввиду этого, несмотря на неразумие животных, они во всех отношениях превосходят все, на что способен наш божественный разум.

Мы вправе были бы на этом основании назвать природу несправедливой мачехой. Но дело обстоит вовсе не так, и мы отнюдь не в таком плохом и невыгодном положении. В действительности природа позаботилась о всех своих созданиях, и нет из них ни одного, которого бы она не наделила всеми необходимыми средствами самозащиты. Жалобы, которые мы постоянно слышим от людей (ибо по присущему им высокомерию они склонны то заноситься выше облаков, то впадать в противоположную крайность), заключаются в том, что человек будто бы единственная, брошенная на произвол

судьбы тварь, голый человек на голой земле, связанный по рукам и ногам, могущий вооружиться и защититься лишь чужим оружием, — между тем природа позаботилась снабдить все другие создания раковинами, стручками, корой, мехом, шерстью, шкурой, шипами, перьями, волосами, чешуей, щетиной, руном, в зависимости от потребностей того или иного существа; она вооружила их когтями, зубами, рогами для нападений и защиты, она сама научила их тому, что им свойственно, — плавать, бегать, летать, петь, между тем как человек без обучения не умеет ни ходить, ни говорить, ни есть, а умеет только плакать.

Tum porro puer, ut saevis proiectus ab undis
 Navita nudus humi iacet, infans, indigus omni
 Vitali auxilio, cum primum in luminis oras
 Nixibus ex alvo matris natura profudit;
 Vagituque locum lugubri complet, ut aequum est
 Cui tantum in vita restet transire malorum.
 At variae crescunt pecudes, armenta feraeque
 Nec crepitacula eis opus est, nec cuiquam adhibenda est
 Almae nutricis blanda atque infracta loquella;
 Nec varias quaerunt vestes pro tempore caeli;
 Denique non armis opus est, non moenibus altis,
 Quis sua tutentur quando omnibus omnia large
 Tellus ipsa parit, naturaque daedala rerum.⁷⁰

Эти жалобы человека несправедливы: мир устроен более справедливо и более единообразно. Наша кожа не менее вынослива, чем кожа животных, и способна противостоять переменам погоды, как показывает пример народов, которые никогда не носили никакой одежды. Наши предки, древние галлы, были совсем легко одеты, как легко одеты и наши соседи ирландцы, живущие в весьма холодном климате. Да мы можем убедиться в этом и по себе, ибо все те части тела, которые мы, согласно принятому в данных краях обычаю, оставляем открытыми для ветра и воздуха, быстро приспособляются к этому, как например наше лицо, руки, ноги, плечи, голова. Если у нас есть слабое место, которое должно было бы бояться холода, то это желудок, где происходит пищеварение, а между тем наши отцы не прикрывали его; если взять наших дам, таких слабых

и хрупких, то мы нередко видим, что они обнажаются до пупка. Пеленание и завязывание детей тоже необязательная вещь, как показывает пример спартанских матерей, которые воспитывали детей, не завязывая и не пеленая их, предоставляя полную свободу их членам.⁷¹ Плакать так же свойственно большинству других животных, как и человеку, и многие из них долгое время после появления своего на свет пищат и стонут, ибо этот плач есть следствие той слабости, которую они ощущают. Что касается привычки есть, то она и у нас, и у животных прирожденная и не требует обучения:

Sentit enim vim quisque suam quam possit abuti.⁷²

Кто же усомнится в том, что ребенок, уже набравшийся достаточно сил, чтобы питаться, не сумеет отыскать себе пищу? Земля производит достаточно и может дать сколько ему нужно, не требуя обработки и никакого применения искусства; а то обстоятельство, что она может прокормить не во всякое время, относится в одинаковой мере и к животным, как показывает пример муравьев и других животных, делающих запасы на голодное время. Пример недавно открытых народов, у которых мы видим столь обильные запасы пищи и естественных напитков, не требующих ни трудов, ни забот, учит нас, что хлеб — вовсе не единственный наш предмет питания и что без всякого земледелия наша мать-природа позаботилась о произрастании всего нам необходимого; и не исключено даже, что она сделала это щедрее и богаче, чем в настоящее время, когда мы присоединили к этому наше искусство, —

Praeterea nitidas fruges vinetaque laeta
Sponte sua primum mortalibus ipsa creavit;
Ipsa dedit dulces foetus et pabula laeta,
Quae nunc vix nostro grandescunt aucta labore,
Conterimusque boves et vires agrorum,⁷³ —

но только чрезмерные наши желания, которые мы спешим удовлетворить, опережают все наши достижения.

Что касается вооружения, то мы вооружены природой лучше, чем большинство других животных; мы располагаем большим числом разнообразных движений наших членов и извлекаем из них большую

пользу, притом без всякого обучения: те, кто вынуждены сражаться нагими, так же как и мы, отдаются на волю случая. Если некоторые животные и имеют перед нами в этом отношении преимущество, мы зато превосходим многих других животных. Что же касается искусства укреплять тело и защищать его разными способами, то это делается инстинктивно, по внушению природы. Так, например, слон с этой целью точит и упражняет те зубы, которыми он пользуется в борьбе (ибо у слонов имеются для этой цели особые зубы, которые они берегут и не употребляют для других надобностей).⁷⁴ Когда быки идут на бой, они поднимают в виде завесы вокруг себя пыль; кабаны отгачивают свои клыки; когда ихневмон готовится к битве с крокодилем, он для предохранения обмазывает свое тело слоем ила наподобие брони. Разве это не так же естественно, как то, что мы вооружаемся деревянными или железными приспособлениями?

Что касается дара речи, то если он не дан природой, без него можно обойтись. Но все же я полагаю, что ребенка, которого вырастили бы в полном одиночестве, без всякого общения с другими людьми (это был бы весьма трудно осуществимый опыт!), все же имел бы какие-то слова для выражения своих мыслей. Нет оснований думать, что природа отказала бы нам в этой способности, которую она наделила многих других животных, ибо их способность, пользуясь голосом, жаловаться, радоваться, призывать на помощь, склоняться к любви, разве не есть речь? Почему бы им разговаривать друг с другом, раз они разговаривают с нами, как и мы говорим с ними? Разве мы не разговариваем на все лады с нашими собаками? И они нам отвечают! Мы разговариваем с ними другим языком, другими словами, чем с птицами или со свиньями, или с волами, или с лошадьми; мы меняем свою речь в зависимости от вида животных, с которыми мы говорим.

Così per entro l'ora schiera bruna
S'ammusa l'una con l'altra formica
Forse a spiar lor via, et lor fortuna.⁷⁵

Мне помнится, Лактанций⁷⁶ приписывает животным не только способность речи, но и способность смеяться. То же различие в язы-

ках, которое мы наблюдаем у людей разных стран, мы встречаем у животных одного и того же вида. Аристотель по этому поводу называет куропаток, голоса которых различаются в зависимости от мест, где они водятся:⁷⁷

variaeque volucres
 Longe alias alio iaciunt in tempore voces,
 Et partim mutant cum tempestatibus una
 Raucisonos cantus.⁷⁸

Но хотелось бы знать, на каком языке будет говорить ребенок, выросший в полном одиночестве, ибо то, что говорится об этом наугад, не очень-то убедительно. Если, желая мне возразить, сошлутся на то, что глухие от природы не умеют говорить, то я отвечу, что это объясняется не только тем, что они не смогли обучиться говорить с помощью слуха, но происходит еще более оттого, что орган слуха, которого они лишены, связан с органом речи и что оба эти органа естественным образом связаны между собою; поэтому, прежде чем обратиться со словами к другим людям, нам нужно сначала сказать их себе, нужно, чтобы эти слова прозвучали в наших собственных ушах.

Все сказанное мною должно подтвердить сходство между положением человека и положением животных, связав человека со всей остальной массой живых существ. Человек не выше и не ниже других; все, что существует в подлунном мире, как утверждает мудрец,⁷⁹ подчинено одному и тому же закону и имеет одинаковую судьбу:

Indupedita suis fatalibus omnia vinclis.⁸⁰

Разумеется, есть и известные различия — подразделения и степени разных свойств, но все это в пределах одной и той же природы:

res quaeque suo ritu procedit, et omnes
 Foedere naturae certo discrimina servat.⁸¹

Надо заставить человека признать этот порядок и подчиниться ему. Он не боится, жалкий, ставить себя выше его, между тем как в действительности он связан и подчинен тем же обязательствам, что и другие создания его рода; он не имеет никаких подлинных и

существенных преимуществ или прерогатив. Те преимущества, которые он из самомнения произвольно приписывает себе, просто не существуют; и если он один из всех животных наделен свободой воображения и той ненормальностью умственных способностей, в силу которой он видит и то, что есть, и то, чего нет, и то, что он хочет, истинное и ложное попеременно, то надо признать, что это преимущество достается ему дорогой ценой и что ему нечего им хвалиться, ибо отсюда ведет свое происхождение главный источник угнетающих его зол: пороки, болезни, нерешительность, смятение и отчаяние.

Итак, возвращаясь к прерванной нити изложения, я утверждаю, что нет никаких оснований считать, будто те действия, которые мы совершаем по своему выбору и умению, животные делают по естественной склонности и по принуждению. На основании сходства действий мы должны заключить о сходстве способностей и признать, что животные обладают таким же разумом, что и мы, действуя одинаковым с нами образом. Почему мы предполагаем в животных природное принуждение, мы, не испытывающие ничего подобного? Тем более что почетнее быть вынужденным действовать по естественной и неизбежной необходимости — и это ближе к божеству, — чем действовать по случайной и безрассудной свободе; да и гораздо спокойнее предоставлять бразды нашего поведения не нам, а природе. Из нашего тщеславного высокомерия мы предпочитаем приписывать наши способности не щедрости природы, а нашим собственным усилиям и, думая этим превознести и возвеличить себя, наделяем животных природными дарами, отказывая им в благоприобретенных. И я считаю это большой глупостью, ибо, на мой взгляд, качества, присущие мне от рождения, следует ценить ничуть не меньше, чем те, которые я собрал по крохам и выклянчил у обучения. Мы не в силах придумать человеку лучшую похвалу, чем сказав, что он одарен от бога и от природы.

Возьмем, к примеру, лисицу,⁸² которую фракийцы, желая узнать, можно ли безопасно пройти по тонкому речному льду, пускали вперед. Подойдя к краю воды, лиса прикидывает ухом ко льду, чтобы определить, слышен ли ей шум воды, текущей подо льдом, с дале-

кого или с короткого расстояния. И когда она, узнав таким образом, какова толщина льда, на этом основании решает, идти ли вперед или отступить, не должны ли мы заключить, что в уме лисицы совершается та же работа, что и в нашем, что она рассуждает совсем так же, как и мы, и что ход ее мыслей примерно таков. То, что производит шум, движется; то, что движется, не замерзло; то, что не замерзло, находится в жидком состоянии; то, что жидко, не выдержит тяжести. Ибо думать, что действия лисицы являются лишь следствием остроты ее слуха и совершаются без рассуждения, невероятно и не укладывается в нашей голове. И то же самое следует допустить относительно множества разных уловок и хитростей, с помощью которых животные защищаются от человека.

А если бы мы захотели усмотреть некоторое наше преимущество в том, что мы можем ловить животных, заставлять их служить нам и использовать их по нашему усмотрению, то ведь это лишь то самое преимущество, какое один из нас имеет перед другим. На этом преимуществе основано существование у нас рабов. Разве не доказывает это пример сирийских климакид, которые, став на четвереньках, служили ступеньками или подножками для дам, садившихся в экипаж?⁸³ Разве не видим мы, как многие свободные люди за ничтожную плату вынуждены отдавать свою жизнь и свои силы в распоряжение господина? Жены и наложницы фракийцев спорили между собой о том, кому достанется честь быть убитой на могиле мужа.⁸⁴ У тиранов никогда не было недостатка в преданных им людях, многие из которых готовы были разделить с ними не только жизнь, но и смерть.

Целые армии давали подобные обязательства своим предводителям.⁸⁵ Формула клятвы, которую давали эти закаленные бойцы, биться до последнего вздоха, гласила: «Мы клянемся, что позволим заковать себя в цепи, жечь, бить, пронзать мечами и стерпим все, что настоящие гладиаторы терпят от своего господина, самоотверженно отдавая на службу ему свою душу и тело»:⁸⁶

Ure meum, si vis, flamma caput, et pete ferro
Corpus, et intorto verbere terga seca.⁸⁷

Это — подлинное обязательство; и был год, когда таких, давших обязательства, бойцов оказалось десять тысяч, — и все они погибли.

У скифов был обычай; когда они хоронили своего царя, они у его гроба душили любимую его наложницу, его виночерпия, конюшего, сокольничего, ключника и повара; а по прошествии года они убивали пятьдесят коней и пятьдесят посаженных на них юношей, в трупы которых вгонялся вдоль спинного хребта прямой кол, доходивший до самой шеи; поставив таких всадников, они выставляли их напоказ вокруг могилы.⁸⁸

Люди, которые на нас работают, служат нам за более дешевую плату и за значительно менее заботливое и обходительное обращение, чем то, какое мы оказываем птицам, лошадям и собакам.

Каких только забот не проявляем мы об их удобствах! Мне кажется, что самые жалкие слуги не делают с большей готовностью для своих господ того, что короли почитают за честь сделать для своих животных.

Так, Диоген, узнав, что его родные стараются выкупить его из рабства, заявил:⁸⁹ «Они безумны! Ведь мой хозяин заботится обо мне, кормит и обслуживает меня; те, кто содержит животных, должны признать, что скорее они служат животным, чем животные — им».

У животных есть та благородная особенность, что лев никогда не становится из малодушия рабом другого льва, а конь — рабом другого коня. Подобно тому как мы охотимся на зверей, так и львы, и тигры охотятся на людей; и точно так же животные охотятся кто на кого: собака на зайцев, щуки на линей, ласточки на сверчков, ястребы на дроздов и жаворонков:

serpenta ciconia pullos
Nutrit, et inventa per devia rura lacerta,
Et leporem aut capream famulae Iovis, et generosae.
In saltu venantur aves.⁹⁰

Мы делим добычу с нашими собаками и птицами, так же как мы делим с ними во время самой охоты труды и усилия: так, например, выше Амфиполя во Фракии как охотники, так и неприрученные соколы делят добычу пополам; и точно также по побережью Меотий-

ского озера, если рыболов не отдаст добросовестно волкам ровно половину добычи, они тотчас же разорвут его сети.⁹¹

Подобно тому как у нас существует охота, которая ведется больше с помощью хитрости, чем силы, например с применением силков или удочек и крючков, точно так же мы встречаемся с такими же видами охоты и у животных. Аристотель рассказывает,⁹² что каракатица выбрасывает из горла длинную кишку наподобие удочки; она вытягивает ее в длину и приманивает ею, а когда захочет, втягивает ее в себя обратно. Когда она замечает, что приближается маленькая рыбка, она дает ей возможность укусить кончик этой кишки, а сама, спрятавшись в песке или тине, постепенно втягивает кишку, пока рыбка не окажется так близко от нее, что она одним прыжком может ее поймать.

Что касается силы, которую способны применить животные, то никому не угрожает в этом отношении больше опасностей, чем человеку, причем для этого вовсе не требуется какой-нибудь кит или слон, или крокодил, или какое-нибудь подобное животное, каждое из которых может погубить множество людей; вши смогли положить конец диктатуре Суллы,⁹³ ничтожного червя достаточно, чтобы подточить сердце и жизнь великого и увенчанного победами императора.

На каком основании мы считаем, что только человек обладает знанием и умением различать, какие вещи для него полезны и целебны, какие вредны, что только ему, человеку, известны свойства ревеня и папоротника? Почему не полагаем мы, что это тоже проявление разума и знаний, когда мы видим, например, что раненные стрелой критские козы разыскивают среди множества трав особую целебную траву — ясенец; или когда черепаха, проглотившая гадюку, тотчас же ищет душицу, чтобы прочистить желудок; или когда дракон трет и прочищает себе глаза укропом; или когда аисты ставят себе клизмы из морской воды; или когда слоны извлекают у себя из тела копьё и стрелы, которыми они были ранены в сражении, причем проделывают это не только на себе и на других слонах, но и на своих хозяевах (примером чего может служить царь Пор, который был разбит Александром),⁹⁴ и притом с такой ловкостью, что мы не смогли бы сделать это так безболезненно. Если же с целью унижить

животных мы станем утверждать, что они все это делают благодаря полученному от природы умению разбираться в ней и пользоваться ею, то это не будет означать, что они лишены ума и знаний; напротив, это значит признать за ними ум и знания еще с большим основанием, чем за человеком, поскольку они приобретают их в такой великолепной школе, где наставницей — сама природа.

Хрисипп⁹⁵ был весьма низкого мнения о животных и судил о них, как и о других вещах, с таким презрением, как ни один другой философ. При всем том ему однажды довелось наблюдать движения собаки, которая встретила ему на перекрестке трех дорог и которая то ли шла по следу своего хозяина, которого она потеряла, то ли разыскивала какую-то убежавшую вперед дичь. Она обнюхала сначала одну дорожку, потом другую и, не найдя на них следа того, что искала, она, ни минуты не колеблясь, устремилась по третьему пути. Видя это, Хрисипп вынужден был признать, что собака рассуждала следующим образом: «До этого перекрестка я шла по следу моего хозяина; затем он неминуемо должен был пойти по одному из трех открывшихся путей, но он не пошел ни по первому, ни по второму, следовательно, он обязательно должен был пойти по третьему». Убежденная этим умозаключением, собака уже больше не прибегает к своему обонянию и не обнюхивает третьего пути, а сразу устремляется по нему, движимая силой разума. Разве это диалектическое суждение и это умение пользоваться как отдельными частями силлогизма, так и силлогизмом в целом, которыми собака обладает от природы, не стоит выучки, полученной у Георгия Трапезундского?⁹⁶

Разве животные не так же способны к обучению, как и мы? Мы учим говорить дроздов, ворон, сорок, попугаев; разве гибкость их голоса и податливость их дыхания, которую мы обнаруживаем у них при обучении их известному числу звуков и слогов, не свидетельствуют о присущем им разуме, который делает их способными к обучению и вселяет им охоту учиться? Я думаю, что все приходят в изумление при виде множества фокусов, которым дрессировщики научают своих собак, при виде того, как собаки танцуют, не ошибаясь ни в одном такте мелодии, которую они слышат, при виде разных движений и прыжков, которые собаки исполняют по приказу своих

хозяев. С еще большим восхищением я наблюдаю другое, довольно распространенное явление — собак, являющихся поводьями слепых, как в городе, так и в деревне; я замечаю, как собаки останавливаются у дверей определенных домов, где они привыкли получать подавание, как они охраняют своих слепых хозяев от проезжающих повозок даже тогда, когда дорога, на их взгляд, достаточно широка; я видел собаку, шедшую вдоль городского рва, которая сошла с широкой и удобной тропы и выбрала более неудобную, но с тем, чтобы ее хозяин был подальше от рва. Как можно было объяснить этой собаке, что ее обязанность заключается в том, чтобы заботиться только о безопасности ее хозяина и пренебрегать своими собственными удобствами? И как могла собака знать, что такая-то дорога, которая достаточно широка для нее, будет недостаточно широка для слепого? Как можно все это объяснить, если мы отрицаем у животных разум и способность рассуждать?

Стоит вспомнить рассказ Плутарха о собаке, которую он видел в Риме в театре Марцелла вместе с императором Веспасианом-отцом.⁹⁷ Эта собака принадлежала одному фокуснику, который разыгрывал представление из нескольких пантомим с участием многих действующих лиц, причем одна из ролей отводилась собаке. В числе других вещей ей надо было изобразить в одном месте смерть от какого-то принятого ею лекарства. Проглотив кусок хлеба, который должен был изображать это лекарство, она начала дрожать и трепетать, как если бы лишилась чувств; наконец она распростерлась и вытянулась неподвижно, как мертвая; ее можно было волочить и перетаскивать с места на место, как требовалось по ходу действия; затем, когда наступил известный ей момент, она стала сперва чуть заметно шевелиться, как если бы просыпалась от глубокого сна, и приподняв голову, оглядывалась по сторонам с таким выражением, которое поразило всех присутствующих.⁹⁸

Для орошения царских садов в Сузах волы должны были вращать огромные колеса, к которым были прикреплены наполнявшиеся водой чаны наподобие тех, что часто встречаются в Лангедоке. В течение дня каждый вол должен был сделать до ста оборотов, и волы настолько привыкли к этому числу движений, что ни-

какими силами нельзя было заставить их сделать лишний оборот; выполнив свою работу, они решительно останавливались. До отроческих лет мы не умеем считать до ста, а недавно были открыты народы, не имеющие вообще никакого понятия о счете.

Чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем чтобы научиться самому. Демокрит полагал и доказывал, что мы научились многим ремеслам у животных; например, искусству ткать и шить — у паука, строить — у ласточки, музыке — у соловья и лебедя, а искусству лечить болезни — подражая некоторым животным. В свою очередь Аристотель считал, что соловьи обучают своих птенцов петь и тратят на это время и усилия; этим, по его мнению, объясняется, что пение соловьев, выросших в неволе и не имевших возможности получить выучку у своих родителей, далеко не столь сладостно. Из этого мы можем заключить, что их пение улучшается благодаря упражнению и выучке; ведь даже не все соловьи, живущие на свободе, поют одинаково, а каждый по своим способностям; они с таким рвением стремятся к обучению и так яростно соревнуются между собой, что нередко побежденный соловей падает замертво не потому, что у него не хватило голоса, а потеряв дыхание. Самые юные птенцы молча слушают и пытаются повторить некоторые строфы песни; прослушав урок своего наставника, ученик тщательно отчитывается в нем; то один, то другой умолкает, слышно, как исправляются ошибки, и можно разобрать упреки наставника.⁹⁹ «Я видел однажды, — рассказывает Арриан,¹⁰⁰ — слона, у которого к каждой ноге и к хоботу были подвешены цимбалы, под звуки которых все остальные слоны танцевали вокруг него, приподнимаясь и опускаясь в такт; слушать эту гармонию было удовольствием». На зрелищах в Риме¹⁰¹ можно было зачастую видеть дрессированных слонов, которые под звук голоса двигались и исполняли танцы с разными, очень трудными фигурами. Встречались такие слоны, которые на досуге вспоминали выученное ими и упражнялись в нем, побуждаемые прилежанием и стремлением научиться, чтобы их учителя не бранили или не били их.¹⁰²

Поразительна история сороки, о которой сообщает Плутарх.¹⁰³ Она жила в лавке цирюльника в Риме и удивительно умела подражать голосом всему, что слышала. Однажды случилось, что не-

сколько трубачей остановились и долго трубили перед этой лавкой. С этого момента и весь следующий день сорока впала в задумчивость, онемела и загрустила. Все удивлялись этому и полагали, что гром труб так оглушил и поразил ее, что она вместе со слухом утратила и голос. Но под конец обнаружилось, что это было глубокое изучение и уход в себя, во время которого она внутренне упражнялась и готовилась изобразить звук этих труб; прежний голос ушел на то, чтобы изобразить переходы трубачей от одной ноты к другой, их паузы и повторения, причем это новое обучение вытеснило все, что она умела делать до этого, и заставило ее отнестись к своему прошлому с презрением.

Не могу не привести также и другого примера, виденного и сообщаемого тем же Плутархом¹⁰⁴ (хотя я прекрасно сознаю, что нарушаю порядок изложения этих примеров, но я забочусь только о том, чтобы они подтверждали выводы всего моего рассуждения). Находясь на корабле, Плутарх однажды наблюдал собаку, которая была в затруднительном положении, так как не могла добраться до растительного масла, находившегося на дне кружки и не могла дотянуться до него языком из-за слишком узкого горлышка кружки. Вдруг собака стала подбирать находившиеся на корабле камешки и кидать их в кружку до тех пор, пока масло не поднялось до края кружки, который она могла достать. Разве это не действие достаточно изощренного ума? Говорят, что так же поступают берберийские вороны, когда они хотят напиться воды, уровень которой слишком для них низок.

Эти действия весьма напоминают мне то, что рассказывает о слонах один из знатоков их, Юба.¹⁰⁵ Он сообщает, что когда какой-нибудь слон, поддавшись на хитрость охотника, попадает в одну из глубоких ям, которые специально роют для них и прикрывают сверху хворостом, чтобы их обмануть, то его товарищи заботливо притаскивают большие камни и деревья, чтобы он мог с их помощью выбраться. Это животное в целом ряде других поступков настолько не уступает по уму человеку, что если бы я стал подробно проследить, чему учит в этом отношении опыт, то легко мог бы доказать свое мнение, что иной человек отличается от другого больше,

чем животное от человека. Сторож слона, живший в одном частном доме в Сирии, крал половину каждой порции еды, которую ему приказано было выдавать животному. Однажды хозяин сам захотел накормить своего слона и высыпал ему в кормушку всю порцию ячменя, которая ему полагалась, но слон, с укором взглянув на смотрителя, отделил хоботом половину и отодвинул ее в сторону, заявляя тем самым об ущербе, который ему наносили.¹⁰⁶ Другой слон, смотритель которого добавлял в его пищу камней, чтобы увеличить размеры порции, подошел к котлу, в котором варилось для него мясо, и насыпал в него золы. Я привел здесь отдельные случаи, но многие видели и знают, что во всех армиях Востока одной из главных боевых сил были слоны; они приносили несравненно большую пользу, чем приносит в настоящее время артиллерия, играющая примерно ту же роль в регулярном сражении, что хорошо известно людям, знающим древнюю историю:

*si quidem Tyrio parere solebant
Hannibali, et nostris ducibus, regique Molosso,
Horum maiores, et dorso ferre cohortes
Partem aliquam belli et euntem in proelia turmam.*¹⁰⁷

Надо было очень полагаться на ум и рассудительность этих животных, чтобы предоставлять им решающую роль в сражении, когда малейшего промедления, которое они могли допустить из-за своей громоздкости и тяжести, или малейшего испуга, который побудил бы их обратиться против своего же войска, было бы достаточно, чтобы погубить все дело. Между тем известно очень мало случаев, чтобы они обращались против своих собственных солдат, что гораздо чаще случается с нашими войсковыми частями. Слонам давались сложные задания: им поручались не простые передвижения, а проведение нескольких различных операций в сражении. Такую же роль играли у испанцев, при завоевании ими Америки, собаки, которым платили жалованье и уделяли часть добычи;¹⁰⁸ эти животные обнаруживали наряду с рвением и воинственностью огромную ловкость и рассудительность в умении добиваться победы, нападать или отступить смотря по обстоятельствам, различить друзей от врагов.

Мы больше восхищаемся вещами необычными, нежели повседневными, и больше ценим первые; не будь так, я не стал бы приводить такое множество примеров, ибо, по-моему, тот, кто захочет внимательно понаблюдать за обычным поведением живущих среди нас животных, убедится, что они совершают не менее поразительные действия, чем те, которые можно встретить в давние времена и в далеких странах. Повсюду мы имеем дело с одной и той же природой. Кто достаточно разбирается в этом сейчас, сумеет сделать твердые выводы на этот счет для прошлого и будущего.

Мне как-то довелось видеть людей, привезенных к нам из дальних заморских стран. Кто из нас не называл их грубыми дикарями единственно лишь потому, что мы не понимали их языка и что по своему виду, поведению и одежде они были совершенно не похожи на нас? Кто из нас не считал их тупыми и глупыми по той причине, что они молчали, не зная французского языка, не будучи знакомы с нашей манерой здороваться и извиваться в поклонах, с нашей осанкой и поступью, которые, конечно же, должен взять себе за образец весь род людской.

Мы осуждаем все, что нам кажется странным и чего мы не понимаем; то же самое относится и к нашим суждениям о животных. Животные обладают некоторыми способностями, соответствующими нашим, и об этих способностях мы можем догадываться, сравнивая их с нашими, но мы ничего не знаем об их отличительных особенностях. Лошади, собаки, быки, овцы, птицы и наибольшая часть прирученных животных узнают человеческий голос и повинуются ему. Так было еще с муреной Красса, которая выплывала на его зов, так же ведут себя угри в источнике Аретусы.¹⁰⁹ Мне пришлось видеть ряд водоемов, в которых рыбы по определенному зову зрителей выплывали за кормом:

nomen habent, et ad magistri
Vocem quisque sui venit citatus.¹¹⁰

Мы способны понять это. Можно также утверждать, что у слонов есть нечто вроде религии;¹¹¹ так, мы видим, что в определенные часы дня они после разных омовений поднимают хобот, подобно тому как

11 Мишель Монтень. II

мы воздеваем к небу руки, и, устремив взор к восходящему солнцу, надолго погружаются в созерцание и размышление. Все это они проделывают по собственному побуждению, без всякой выучки и наставления. Мы не можем утверждать, что у них нет религии на том лишь основании, что мы не наблюдаем ничего подобного у других животных, ибо не можем судить о том, что от нас скрыто. Мы видим, например, нечто похожее на наши действия в том явлении, которое наблюдал философ Клеанф.¹¹² Он рассказывал, что видел муравьев, отправившихся из своего муравейника к другому, неся на себе мертвого муравья. Множество других муравьев вышло им навстречу из того другого муравейника, как бы для переговоров с ними. Постояв некоторое время вместе, вторая партия муравьев вернулась к себе, чтобы посоветоваться и обдумать положение вместе со своими товарищами; они проделали этот путь два или три раза, по-видимому, потому, что трудно было договориться. Наконец, вторая партия муравьев принесла первой червя из своего гнезда, как бы в виде выкупа за убитого; тогда первая партия муравьев взвалила на плечи червя и унесла его к себе, оставив второй партии труп муравья. Таково истолкование, которое дал этому явлению Клеанф, признав тем самым, что хотя животные и лишены речи, они все же способны к взаимному общению и сношениям. А мы, которые не в состоянии проникнуть в сущность этого общения, беремся — как это ни глупо — судить об их действиях.

Впрочем, они совершают еще множество других действий, во много раз превосходящих наши способности; мы не в состоянии ни воспроизвести их путем подражания, ни даже понять их усилием нашего воображения. Многие считают, что в том великом последнем морском сражении, в котором Антоний был разбит Августом,¹¹³ корабль Антония был на полном ходу остановлен маленькой рыбкой, которую римляне называли гетога по той причине, что она обладает способностью останавливать всякий корабль, присосавшись к нему. Когда император Калигула плыл с большим флотом вдоль побережья Романьи, именно его галера была внезапно остановлена этой же рыбкой. Несмотря на свои малые размеры, она способна была справляться с морем, с ветрами и гребцами любой силы, лишь присосавшись

пастью к галере (это рыбка, живущая в раковине). Разгневанный император приказал достать ее со дна своего корабля и не без основания был весьма поражен, увидев — когда ему ее принесли, — что, находясь на корабле, она совсем не имела той силы, которой обладала в море. Некий житель Кизика¹¹⁴ следующим образом приобрел славу хорошего математика. Наблюдая поведение ежа, нора которого с нескольких сторон была открыта для ветров различных направлений, он заметил, что, предвидя, какой подует ветер, еж принимался законопачивать свою нору с соответствующей стороны. Сделав это наблюдение, житель Кизика стал регулярно давать своему городу верные предсказания об ожидаемом направлении ветра. Хамелеон принимает окраску того места, где он обитает; осьминог же сам придает себе нужную ему в зависимости от обстоятельств окраску, например, желая укрыться от того, кого он боится, или поймать то, что он ищет. Для хамелеона это пассивная перемена, между тем как у осьминога она активная. При испуге, гневе, стыде и в других состояниях мы меняемся в лице, но эта перемена происходит независимо от нас, пассивно, так же как и у хамелеона; во время желтухи мы желтеем, но эта желтизна отнюдь не зависит от нашей воли. Большие возможности по сравнению с человеком, которыми обладают некоторые животные, свидетельствуют о том, что им присуща некая высшая, скрытая от нас способность; весьма вероятно, что мы не знаем еще многих других их способностей и свойств, проявления которых нам недоступны.

Самыми древними и самыми верными из всех тех предсказаний, которые делались в прошлые времена, были предсказания по полету птиц. Есть ли в нас что-либо похожее или столь замечательное? Правильность и закономерность взмахов их крыльев, по которым судят о предстоящих вещах, — эти замечательные действия должны направляться каким-то изумительным способом, ибо приписывать эту выдающуюся способность какому-то естественному велению, не связывая его ни с разумом, ни с пониманием, ни с волей того, кто производит эти движения, — точка зрения, лишенная смысла и несомненно ложная. Доказательством этого может служить пример гнуса,¹¹⁵ который обладает способностью усыплять не только части

тела, прикасающиеся к нему непосредственно, но и приводить в какое-то оцепенение руки тех, кто тащит и направляет сети; более того, рассказывают, что если полить его сверху водой, то эта его усыпляющая сила, поднимаясь сквозь воду, достигает рук. Это — поразительная способность и весьма полезная для гнуса: он ощущает ее и пользуется ею; так, стремясь поймать выслеживаемую им добычу, он зарывается в ил так, чтобы другие рыбы оказывались над ним, и тогда, пораженные этим оцепенением, они попадают к нему в пасть. Журавли, ласточки и другие перелетные птицы отчетливо сознают свою способность угадывать будущее и применяют ее на деле. Охотники уверяют, что если из нескольких щенят хотят выбрать самого лучшего, то следует предоставить выбор их матке; так, если вытащить щенят из их конуры, то тот, кого мать первым спрячет туда обратно, и есть самый лучший, или если сделать вид, что конура со всех сторон охвачена пламенем, то лучшим будет тот щенок, к которому matka прежде всего кинется на помощь. Отсюда следует, что у собак есть способность угадывать будущее, которую мы не обладаем, или что у них есть какая-то иная и более верная, чем у нас, способность судить о своих детенышах.

Животные производят на свет детенышей, кормят их, учат их двигаться и действовать совсем так же, как люди, они живут и умирают так же, как и мы; таким образом, то, что мы отказываем животным в некоторых движущих стимулах и приписываем себе высшие по сравнению с ними способности, никак не может основываться на превосходстве нашего разума. Для укрепления нашего здоровья врачи предлагают нам жить по образу и по примеру животных; недаром с давних пор в народе говорят:

Ноги и голову теплей укрывай,
А во всем остальном — зверям подражай.

Размножение есть главнейшее проявление нашей плотской природы, и известные особенности в расположении наших органов делают нас более приспособленными для этого. Однако некоторые утверждают, что лучше для нас было бы подражать здесь поже зверей, как более соответствующей преследуемой цели:

more ferarum
 Quadrupedumque magis ritu, plerumque putantur
 Concipere uxores, qui sic loca sumere possunt,
 Pectoribus positis, sublatis femina lumbis.¹¹⁶

И они считают вредными те бесстыдные и распущенные движения, которые женщины сами уже добавили от себя, рекомендуя женщинам вернуться к образу действий и поведению самок животных, более умеренному и скромному:

Nam mulier prohibet se concipere atque repugnat,
 Clunibus ipsa viri Venerem si laeta retractat,
 Atque exossato ciet omni pectore fluctus.
 Eiiicit enim sulcum recta regione viaque
 Vomeris, atque locis avertit seminis ictum.¹¹⁷

Если справедливость заключается в том, чтобы воздавать каждому по заслугам, то надо признать, что животные, которые служат своим благодетелям, любят и защищают их, а на чужих и на тех, кто обижает их хозяев, набрасываются, преследуя их, обладают чувством, похожим на наше чувство справедливости. Животные обнаруживают строжайшую справедливость и при распределении пищи между своими детенышами. Что касается дружбы, то в ней животные проявляют несравненно больше постоянства и глубины, чем люди. Собака царя Лисимаха,¹¹⁸ Гиркан, когда ее хозяин умер, упорно не отходила от его ложа, отказываясь от пищи и питья, а когда тело царя предавали сожжению, она бросилась в огонь и сгорела. Так же поступила и собака некоего Пирра: с момента смерти своего хозяина она лежала неподвижно на его ложе, а когда тело унесли, она с трудом поднялась и бросилась в костер, на котором его сжигали. Есть некоторые сердечные склонности, иногда возникающие в нас без ведома разума в силу какого-то невольного порыва, именуемого некоторыми симпатией. Животные, как и мы, способны на такие чувства. Так, например, лошади проникаются столь сильной привязанностью друг к другу, что нам бывает нелегко разлучить их и заставить служить врозь; нередко мы наблюдаем, что лошадей, словно к определенному лицу, влечет к определенной масти их сотоварища,

и всюду, где бы они ни встретили лошадь такой масти, они тотчас же дружески и с радостью к ней устремляются, а ко всякой другой масти относятся с ненавистью и отвращением. Животные, как и мы, разборчивы в любви и выбирают, подобно нам, себе самок; они также не чужды ревности или бурных и неутолимых желаний.

Вождедения бывают либо естественные и необходимые, как например голод или жажда; либо естественные, но не необходимые, как например половое общение; либо и не естественные и не необходимые: таковы почти все человеческие вождедения, которые и искусственны и излишни. В самом деле, поразительно, как немного человеку нужно для его подлинного удовлетворения и как мало природа оставила нам такого, чего еще можно пожелать. Обильные кушанья, изготавливаемые в наших кухнях, не опровергают установленного ею порядка. Стоики утверждают, что человеку достаточно для пропитания одной маслины в день. Изысканные вина, которые мы пьем, не имеют ничего общего с предписаниями природы, так же как и прихоти наших плотских желаний:

neque illa
Magno prognatum deprecit consule cunnum.¹¹⁹

У нас так много искусственных вождедений, порожденных нашим непониманием того, что есть благо, и нашими ложными понятиями, что они оттесняют почти все наши естественные вождедения; получается так, как если бы в каком-нибудь городе оказалось такое большое число иностранцев, что они совсем вытеснили туземцев или лишили их прежней власти, завладев ею полностью. Животные гораздо более умеренны, чем мы, и держатся в пределах, поставленных природой, но и у них иногда можно отметить некоторое сходство с нашей склонностью к излишествам. Подобно тому как неистовые вождедения толкали иногда людей к сожительству с животными, точно так же и животные иногда влюбляются в людей и бывают преисполнены неестественной нежности то к одному существу, то к другому. Примером может служить слон, соперник Аристофана Грамматика,¹²⁰ влюбившийся в юную цветочницу в городе Александрии, он расточал ей знаки внимания страстного поклонника, ни

в чем не уступая Аристофану: так, прогуливаясь по рынку, где продавались фрукты, он хватал их своим хоботом и подносил ей; он старался не упускать ее из вида и иногда клал ей на грудь свой хобот, стараясь прикоснуться к ее соскам. Рассказывают также о драконе, влюбленном в молодую девушку, о гусе, пленившемся ребенком в городе Асопе, и об одном баране, поклоннике музыкантши Главциии; а как часто можно видеть обезьян, страстно влюбленных в женщин. Встречаются также животные, предающиеся однополю любви. Оппиан¹²¹ и другие авторы приводят примеры, свидетельствующие об уважении животных к браку, о том, что они не сожительствоуют со своими детьми; однако наблюдения показывают обратное:

nec habetur turpe iuvencae
 Ferre patrem tergo; fit equo sua filia 'conjux;
 Quasque creavit init pecudes caper, ipsaque, cuius
 Semine concepta est, ex illo concipit ales.¹²²

Что касается хитрости, то можно ли найти более яркое проявление ее, чем случай с мулом философа Фалеса?¹²³ Переходя через реку и будучи нагружен солью, он случайно споткнулся, вследствие чего навьюченные на него мешки промокли насквозь. Заметив, что благодаря растворившейся соли поклажа его стала значительно легче, он с тех пор, как только на пути его попадался ручей, тотчас же погружался в него со своей ношей; он проделывал это до тех пор, пока его хозяин не обнаружил его хитрость и не приказал нагрузить его шерстью. Потерпев неудачу, мул перестал прибегать к своей хитрости. Многие животные простодушно подражают нашей жадности: действительно, мы видим, как они крайне озабочены тем, чтобы захватить все, что можно тщательно спрятать, хотя бы это были вещи, для них бесполезные.

Что касается хозяйственности, то животные превосходят нас не только в умении собирать и делать запасы на будущее, но им известны необходимые для этого сведения из области домоводства. Так, например, когда муравьи замечают, что хранимые ими зерна и семена начинают сыреть и отдавать затхлостью, они раскладывают их на воздухе для проветривания, освежения и просушки, опасаясь,

чтобы они не испортились и не стали гнить. Но особенно замечательно, с какой предусмотрительностью и предосторожностью они обращаются с семенами пшеницы, далеко превосходя в этом отношении нашу заботливость. Ввиду того что высушенные зерна пшеницы с течением времени становятся влажными и размягчаются, готовясь прорасти, муравьи из страха лишиться сделанных ими запасов отгрызают кончик зерна, из которого обычно выходят ростки.¹²⁴

Что касается войн, которые принято считать самым выдающимся и крупным человеческим деянием, то я хотел бы знать, должны ли они служить доказательством некоего превосходства человека или, наоборот, показателем нашей глупости и несовершенства? Животным поистине не приходится жалеть о том, что им неизвестна эта наука уничтожать и убивать друг друга и губить свой собственный род:¹²⁵

quando leoni
Fortior eripuit vitam leo? quo memore unquam
Expiravit aper maioris dentibus apri?¹²⁶

Не всем, однако, животным неведомы войны, как показывают примеры жестоких сражений пчел и столкновений предводителей двух неприятельских армий:

saepe duobus
Regibus incessit magno discordia motu
Continuoque animos vulgi et trepidantia bello
Corda licet longe praesciscere.¹²⁷

Всегда, когда я читаю это изумительное описание войны, я не могу отделаться от представления, что передо мною картина человеческой глупости и суетности.¹²⁸ Действительно, поразительно видеть, какими ничтожными причинами вызываются жестокие войны, наполняющие нас страхом и ужасом, этот ураган звуков и криков, эта устрашающая лавина вооруженных полчищ, столько ярости, пыла и отваги:

Fulgur ibi ad caelum se tollit, totaque circum
Aere renidescit tellus, subterque virum vi
Excitur pedibus sonitus, clamoreque montes
Icti reiectant voces ad sidera mundi.¹²⁹

И улаживаются эти раздоры благодаря столь ничтожным случайностям:

Paridis propter narratur amorem
Graecia barbariae diro collisa duello;¹³⁰

вся Азия, говорят, была разорена и опустошена в результате войн из-за распутства Париса. В основе того великого разрушения, каким является война, часто лежит прихоть одного человека; войны нередко ведутся из-за какой-нибудь причиненной ему обиды, либо ради его удовлетворения, либо из-за какой-нибудь семейной распри, то есть по причинам, не стоящим выеденного яйца. Послушаем, что говорят на этот счет именно те, кто являются главными зачинщиками и поджигателями их; выслушаем самого крупного, самого могущественного и самого победоносного из всех живших на земле императоров,¹³¹ который, словно играя, затевал множество опасных сражений на суше и на море, из-за которого лилась кровь и ставилась на карту жизнь полумиллиона человек, связанных с его судьбой, и ради предприятий которого расточались силы и средства обеих частей света:

Quod futuit Glaphyran Antonius, hanc mihi poenam
Fulvia constituit, se quoque uti futuam.
Fulviam ego ut futuam? Quid, si me Manius oret
Paedicem, faciam? Non puto, si sapiam.
Aut futue, aut pugnemus, ait. Quid, quod mihi vita
Carior est ipsa mentula? Signa canant.¹³²

(Пользуясь Вашим любезным разрешением, я злоупотребляю латинскими цитатами¹³³). А между тем этот многоликий великан, который как бы сотрясает небо и землю, —

Quam multi Libyco volvuntur marmore fluctus,
Saevus ubi Orion hybernis conditur undis,
Vel cum sole novo densae torrentur aristae,
Aut Hermi campo, aut Lyciae flaventibus arvis.
Scuta sonant, pulsuque pedum conterrita tellus.¹³⁴

Это страшное чудовище о стольких головах и руках — всего лишь злополучный, слабый и жалкий человек. Это — всего лишь потревоженный и разворошенный муравейник:

It nigrum campis agmen.¹³⁵

Достаточно одного порыва противного ветра, крика ворона, неверного шага лошади, случайного полета орла, какого-нибудь сна, знака или звука голоса, какого-нибудь утреннего тумана, чтобы сбить его с ног и свалить на землю. Одного солнечного луча достаточно, чтобы сжечь и уничтожить его; достаточно бросить ему немного пыли в глаза (или напустить пчел, как мы читаем у нашего поэта¹³⁶) — и сразу все наши легионы даже с великим полководцем Помпеем во главе будут смяты и разбиты наголову. Ведь именно против Помпея, как мне помнится, Серторий применил эту проделку в Испании, чтобы разбить его прекрасную армию, и эта же военная хитрость впоследствии сослужила службу и другим, например Эвмену против Антигона или Сурене против Красса:¹³⁷

Hi motus animorum atque haec certamina tanta
Pulveris exigui iactu compressa quiescunt.¹³⁸

Да и сейчас, если напустить на толпу людей рой пчел, он рассеет ее. В недавние времена, когда португальцы осаждали город Тамли в княжестве Шьятима,¹³⁹ жители города поставили на крепостных стенах множество ульев, которые у них имелись в изобилии. Приготовившись, они быстро выпустили пчел на неприятельскую армию, которая тотчас же обратилась в бегство, ибо солдаты не в состоянии были справиться с жалившими их пчелами. Так с помощью этого необычайного средства город одержал победу над португальцами и сохранил свою свободу.

Души императоров и сапожников скроены по одному и тому же образцу.¹⁴⁰ Наблюдая, с каким важным видом и торжественностью действуют государи, мы воображаем, что их действия вызываются столь же важными и вескими причинами. Но мы ошибаемся, ибо на самом деле они руководствуются в своих действиях теми же побуждениями, что и мы. Тот же повод, который вызывает ссору между мной и моим соседом, вызывает войну между государями; та же причина, по которой кто-нибудь бьет слугу, может побудить государя опустошить целую область. Государи столь же непостоянны в своих желаниях, как и мы, но у них больше возможностей. У слона и у клеща одни и те же побуждения.

Что касается верности, то нет в мире такого животного, которого можно было бы упрекнуть в неверности по отношению к человеку. Из истории известно много случаев, когда собаки разумно выясняли причину смерти хозяев. Царь Пирр,¹⁴¹ увидев однажды собаку, сторожившую покойника, и узнав, что она выполняет эту обязанность уже три дня, приказал похоронить труп и насильно увести собаку. Однажды, когда он производил смотр своих войск, эта собака, увидев убийцу своего хозяина, с яростным лаем набросилась на них, чем способствовала раскрытию убийства, виновники которого понесли должное наказание. То же самое сделала собака мудрого Гесиода,¹⁴² указавшая детям Ганистора из Навпакта на того, кто был виновником убийства ее господина. Другая собака, охранявшая храм в Афинах, заметила вора-святоотца, похитившего самые ценные его сокровища, и стала на него изо всех сил лаять. Так как сторожа храма не проснулись от ее лая, она по пятам пошла за вором, а когда рассвело, стала держаться от вора подальше, не теряя, однако, его из вида. Она отказывалась от пищи, если он предлагал ей, другим же прохожим приветливо махала хвостом и брала у них из рук еду, которую ей давали; если вор делал привал, чтобы поспать, она останавливалась в том же месте. Когда весть об этой собаке дошла до сторожей храма, они принялись ее разыскивать, расспрашивая о ее породе, и наконец нашли ее в городе Кромионе вместе с вором; они препроводили последнего в Афины, где он и был наказан. Кроме того, судьи, желая наградить собаку за оказанную услугу, распорядились, чтобы ей отпускалась на общественный счет определенная порция хлеба, причем жрецы обязаны были следить за этим. Об этом случае, как о достоверном, происшедшем на его памяти, сообщает Плутарх.¹⁴³

Что касается благодарности животных (ибо мне кажется, что это слово вполне применимо к ним), то достаточно привести один пример, о котором сообщает Апион и свидетелем которого он был.¹⁴⁴ Однажды, рассказывает он, когда в Риме для народного увеселения был устроен бой редкостных зверей, главным образом львов необыкновенной величины, среди них особенно привлек общее внимание один лев, выделявшийся своим свирепым видом, силой, огромными размерами и грозным рычанием. Среди рабов, которые были вы-

браны для сражения с этими львами, был некий Андрод, родом из Дакии, принадлежавший одному римскому вельможе, имевшему звание консула. Названный лев, издали увидев Андрода, внезапно остановился и словно замер от восторга. Потом он ласково, кротко и мирно приблизился к нему, как бы стараясь распознать его. Убедившись, что это был тот, кого он искал, он принялся вилять хвостом, как это делают собаки, приветствуя своих хозяев, целовать и лизать руки и ноги этого несчастного раба, который дрожал от страха и был сам не свой. Но через некоторое время, убедившись в доброжелательности льва, Андрод собрался с духом и открыл глаза, чтобы рассмотреть его, и тут произошло нечто необыкновенное. К неопишуемому удовольствию публики, лев и раб стали приветствовать и ласкать друг друга. При виде этого народ стал испускать радостные крики, приветствовать это зрелище. Тогда император велел позвать раба и приказал ему объяснить причину такого странного происшествия. В ответ на это раб рассказал следующую, дотоле неизвестную и примечательную историю.

«Когда мой хозяин, — сообщил раб, — был проконсулом в Африке, он ежедневно так нещадно бил меня и обращался со мной так жестоко, что я вынужден был скрываться и бежать от него. Желая спрятаться в надежном месте от такого могущественного лица, я решил бежать в пустынную и необитаемую часть Африки, решив, что если я не найду там пропитания, то уж как-нибудь сумею покончить с собой. Солнце в тех краях жгло необычайно, жара стояла невыносимая и потому, увидев укромную и недоступную пещеру, я поспешил спрятаться в нее. Некоторое время спустя в пещеру явился этот самый лев с окровавленной лапой, стонавший и изнывавший от боли. Его появление сильно испугало меня, но он, увидев, что я забился в угол логова, кротко приблизился ко мне, протягивая мне свою раненую лапу и как бы моля о помощи. Несколько освоившись с ним, я вытащил у него из раны большую занозу и, массируя рану, вынул попавшую в нее грязь и тщательно прочистил и вытер лапу. Почувствовав сразу облегчение от мучившей его боли, лев заснул, продолжая, однако, держать свою лапу в моих руках. С тех пор мы прожили с ним в этой пещере целых три года, питаюсь одной и той

же пищей: обычно он уходил на добычу и приносил мне лучшие куски от пойманных им зверей; за отсутствием огня, я жарил их на солнце и питался ими. Под конец эта грубая и дикая жизнь надоела мне, и однажды, когда лев, как обычно, отправился на охоту, я покинул пещеру и через три дня был схвачен воинами, которые доставили меня из Африки в этот город, к моему господину. Он тотчас же приговорил меня к смерти и велел отдать меня на растерзание зверям. Очевидно, вскоре после того, как я был схвачен, пойман был и этот лев, который сейчас старался отблагодарить меня за оказанное ему благодеяние — за исцеление, которое я принес ему».

Такова история, рассказанная Андродом императору, приказавшему передать ее слово в слово народу. Вслед за тем, по просьбе присутствующих, Андрод был отпущен на волю со снятием с него наказания, и сверх того, по решению народа, ему был подарен этот самый лев. С тех пор, сообщает Апион, Андрод водил на привязи своего льва, обходя с ним римские таверны и собирая монетки, которые им подавали; иногда льву бросали цветы, и он позволял украшать ими себя. Завидя их, все говорили: «Вот лев, который радушно приютил у себя в логове человека, а вот человек, вылечивший льва».

Мы часто оплакиваем смерть наших любимых животных, но и они оплакивают нас:

*Post bellator equus, positus insignibus Aethon
It lacrimans, guttisque humectat grandibus ora.*¹⁴⁵

У некоторых народов существует общность жен, у других царит моногамия, то же самое наблюдается и у животных, у которых можно встретить браки, более прочные, чем у нас.

Животные также создают свои объединения для взаимопомощи, и нередко можно видеть, как быки, свиньи и другие животные всем стадом бегут на крик своего раненого товарища, спеша присоединиться к нему и защитить его. Если мшанка попала на удочку рыболова, то ее товарищи собираются стайей вокруг нее и перегрызают лесу; если же кто-нибудь из них попадет в сеть, то остальные вытаскивают наружу его хвост и, впившись в него зубами, вытягивают

товарища и увлекают его с собой. Усачи, когда один из них оказывается пойман, взваливают удочку к себе на спину, которая у них имеет зазубрины, как пила, и с ее помощью перепиливают и перерезают удочку.

Что касается отдельных оказываемых нами друг другу услуг, то подобные примеры можно встретить и у животных. Рассказывают, что кит никогда не плавает один, а всегда следует за похожей на пескаря и плывущей впереди его маленькой рыбкой, которую поэтому называют лощманом. Кит плывет за ней и позволяет ей управлять собой, как руль управляет кораблем; в довершение ко всему кит, который сразу же проглатывает все, что попадает ему в пасть, — любое животное или даже целую лодку, — вбирает в свою пасть эту маленькую рыбку и держит там, не причиняя ей никакого вреда. Когда она спит у него в пасти, кит не шелохнется, а как только она выскальзывает оттуда, он тотчас же следует за ней; если же случайно, она отплывет от него куда-нибудь в сторону, он начинает блуждать, натываясь на скалы, как корабль, потерявший управление. Плутарх рассказывает, что наблюдал это на острове Антикире.¹⁴⁶ Такой же союз существует между маленькой птичкой, называемой корольком, и крокодилом. Она служит этому огромному животному сторожем, и если ихневмон, враг крокодила, приближается к нему, желая с ним сразиться, то боясь, чтобы он не застиг крокодила спящим, она начинает петь и клевать его, стараясь разбудить и предупредить его об опасности. Она питается остатками пищи этого чудовища, которое охотно пропускает ее к себе в пасть и позволяет ей клевать и выискивать маленькие кусочки мяса, застрявшие у него между челюстями и зубами; если же крокодил хочет закрыть свою пасть, то он предупреждает ее об этом легким пожатием, не причиняя ей вреда. Раковина, обычно называемая перламутром, живет таким же образом с небольшим животным типа краба, который служит ей сторожем и привратником, ибо он помещается у входа в раковину и держит ее всегда приоткрытой до тех пор, пока в нее не заберется какая-нибудь рыбешка, годная им обоим в пищу. Тогда он залезает в раковину и, щипля ее, заставляет плотно закрыться, после чего они съедают свою добычу.¹⁴⁷

Образ жизни тунцов свидетельствует о том, что они по-своему знакомы с тремя разделами математики. Что касается астрономии, то можно сказать, что они обучают ей людей: действительно, они останавливаются в том месте, где их застает зимнее солнцестояние, и остаются здесь до следующего равноденствия; вот почему даже Аристотель охотно признает за ними знакомство с этой наукой. Что касается геометрии и арифметики, то они всегда составляют косяк кубической формы, во всех направлениях квадратный, и образуют плотное тело, замкнутое и со всех сторон окруженное шестью равными гранями; после чего они плавают в таком квадратном распорядке, в виде косяка, имеющего одинаковую ширину сзади и спереди, так что завидевшему косяк и сосчитавшему число рыб в одном ряду, нетрудно установить численность всего косяка, ибо глубина его равна ширине, а ширина — длине.¹⁴⁸

Красноречивым проявлением гордости у животных может служить история, приключившаяся с огромным псом, присланным царю Александру из Индии.¹⁴⁹ Ему сначала предложили сразиться с оленем, потом с кабаном, затем с медведем, но пес не удостоил их внимания и даже не двинулся с места. Только когда он увидел перед собой льва, он тотчас же поднялся на ноги, ясно показывая этим, что его достоинство позволяет ему сразиться только со львом.

Что касается раскаяния и признания своих ошибок, то об одном слоне, убившем в пылу гнева своего сторожа, рассказывают, что от огорчения он перестал принимать пищу и этим уморил себя.¹⁵⁰

Не чуждо животным и великодушие. Об одном тигре — а тигр ведь самое свирепое животное — рассказывают, что когда ему дали в пищу молодую козочку, он целых два дня голодал, щадя ее. На третий день он разбил клетку, в которую был заключен, и отправился искать себе другую добычу, не желая трогать козочки, своего ближнего и гостя.¹⁵¹

Что касается близости и согласия, которые устанавливаются между животными благодаря общению, то мы часто видим, что кошки, собаки и зайцы привыкают друг к другу и живут вместе. Но то, что приходится наблюдать мореплавателям, особенно плывущим вдоль берегов Сицилии, превосходит всякое человеческое во-

ображение. Я говорю об алкионах. Какому еще виду животных природа оказала столько внимания при родах и появлении на свет потомства? Поэты утверждают, что один из пловучих Делосских островов укрепился и стал неподвижным, чтобы Латона¹⁵² могла на нем разрешиться от бремени. Но богу было угодно, чтобы все море было неподвижно и гладко, чтобы на нем царило безветрие и не было ни малейшего волнения и никакого дождя в день, когда алкион порождает свое потомство, что имеет место как раз в зимнее солнцестояние, то есть в самый короткий день в году; благодаря этой милости, оказываемой алкионам, мы можем в разгар зимы в течение семи суток плавать в безопасности. Их самки не признают никаких других самцов, кроме своей же породы, они проводят с ними всю жизнь, никогда не покидая их; если же случается, что самец становится слабосильным и дряхлеет, они взваливают его себе на плечи, повсюду носят с собой и заботятся о нем до самой смерти. Никто еще до настоящего времени не в состоянии был ни постигнуть то изумительное искусство, с каким алкион устраивает гнездо для своего потомства, ни разгадать, из чего он его делает. Плутарх,¹⁵³ который видел и обследовал собственными руками многие из них, полагает, что это кости какой-то рыбы, которые алкион как-то соединяет и связывает между собой, располагая одни из них вдоль, другие — поперек и устраивая ложбинки и углубления, так что под конец образуется круглое, способное плавать суденышко; закончив это сооружение, алкион испытывает его с помощью морского прибора; поместив его туда, где волны ударяют слабо, он узнает, что в этом суденышке необходимо еще починить и в каких местах его нужно еще лучше укрепить, чтобы оно не распадалось от ударов волн. Во время этого испытания все части, которые в суденышке хорошо прилажены, от ударов морских волн пристают друг к другу еще тесней и смыкаются так плотно, что оно не может ни разломаться, ни распасться, и только в редких случаях может пострадать, наткнувшись на камень или кусок железа. Нельзя, кроме того, не восхищаться формой и пропорциями внутреннего устройства этого сооружения: действительно, оно сделано и рассчитано так, что в нем не может поместиться никакая другая птица, кроме той, которая его построила, ибо оно закрыто и

никакое постороннее тело, за исключением морской воды, не в состоянии в него проникнуть. Вот к чему сводится очень ясное описание этого сооружения, взятое из хорошего источника, и тем не менее мне все же представляется, что оно недостаточно разъясняет нам всю сложность этой постройки. Каким же безмерным самомнением должны мы быть преисполнены, чтобы отзываться с презрением о действиях, которых мы не в состоянии ни понять, ни воспроизвести, и ставить их ниже наших?

Но продолжим это сопоставление ценности и соответствия наших способностей способностям животных и перейдем к той привилегии, которой особенно гордится наша душа, а именно к уменью мыслить бестелесно все то, что она постигает, и воспринимать все, что до нее доходит лишенным теленных и материальных качеств. Этим она освобождает предметы, которые считает достойными соприкосновения с нею, от их теленных свойств, отбрасывая их, как низменные и ненужные оболочки, — от таких свойств, как толщина, длина, глубина, вес, цвет, запах, шероховатость, гладкость, твердость, мягкость и все другие чувственные качества, — с тем чтобы они соответствовали ее бессмертной и духовной сущности. Так, например, я мыслю в душе моей Рим или Париж, представляя их себе без их размеров и местоположения, без камней, без гипса и дерева, из которых они построены.

Но ведь такая привилегия присуща и животным. В самом деле, когда мы видим, что конь, привыкший к звукам труб, к стрельбе и грохоту боя, лежа и дремля на лужайке, вдруг вздрагивает и начинает трепетать во сне, словно бы он находился на поле сражения, ясно, что он мысленно представляет себе бой барабана, но бесшумный, и войско, но бесплотное и безоружное:

Quippe videbis equos fortes, cum membra iacebunt
In somnis, sudare tamen spirareque saepe,
Et quasi de palma summas contendere viris.¹⁵⁴

Заяц, которого борзая видит во сне, за которым она во сне гонится, распутив хвост по ветру, сгибая, как при беге, колени и выде-

лывая безукоризненно все те движения, которые мы наблюдаем у нее при преследовании зайца, — это заяц без шерсти и без костей:

Venantumque canes in molli saepe quiete
 Iactant crura tamen subito, vocesque repente
 Mittunt, et crebras reducunt naribus auras,
 Ut vestigia si teneant inventa ferarum.
 Experge factique sequuntur inania saepe
 Cervorum simulacra, fugae quasi dedita cernant:
 Donec discussis redeant erroribus ad se.¹⁵⁵

Нередко приходится наблюдать, как сторожевые псы рычат во сне, потом вдруг, громко тьякнув, внезапно просыпаются и вскакивают, словно бы они заметили приближение кого-то чужого; этот чужак, который им мысленно привиделся, — человек бесплотный, неосязаемый, лишенный объема, цвета и плоти:

At consueta domi catulorum blanda propago
 Degere, saepe levem ex oculis volucremque saporem
 Discutere, et corpus de terra corripere instant,
 Proinde quasi ignotas facies atque ora tuantur.¹⁵⁶

Что касается телесной красоты, то, прежде чем перейти к дальнейшему, я хотел бы знать, есть ли между нами согласие в определении ее. Весьма похоже на то, что мы не знаем, что такое природная красота и красота вообще, ибо мы приписываем человеческой красоте самые различные черты, а между тем, если бы существовало какое-нибудь естественное представление о ней, мы все узнавали бы ее так же, как мы узнаем жар, исходящий от огня. Но каждый из нас рисует себе красоту по-своему:

Turpis Romano Belgicus ore color.¹⁵⁷

Индийцы¹⁵⁸ изображают красавиц черными и смуглыми, с широкими и плоскими носами, пухлыми и оттопыренными губами, с толстыми золотыми кольцами, продетыми через нос и свисающими до рта, а также с широкими кольцами, украшенными камнями и продетыми через нижнюю губу и свешивающимися над подбородком; при этом особенно привлекательным у них считается оскалить зубы до самых десен. В Перу наиболее красивыми считаются самые длинные уши, и

перуанцы искусственно вытягивают их до предела, а некий наш современник сообщает,¹⁵⁹ что у одного восточного народа придается такое большое значение этому увеличению размеров ушей и украшению их тяжелыми драгоценностями, что он мог продеть свою одетую руку через отверстие их ушной мочки.

Некоторые народы тщательно красят зубы в черный цвет и с презрением относятся к белым зубам,¹⁶⁰ в других местах зубы красят в красный цвет. Не только в стране басков, но и во многих других местах красивыми считаются женщины с бритыми головами; поразительно, что это, как утверждает Плиний,¹⁶¹ имеет место и в некоторых областях на крайнем севере. У мексиканок считается красивым узкий лоб, поэтому они отращивают волосы на лбу и прикрывают ими лоб, но бреют волосы на всех остальных частях тела; у них так ценятся большие груди, что они стараются кормить своих младенцев, забрасывая груди за плечи.¹⁶² У нас это считалось бы уродством. Итальянцы изображают грудь крепкой и пышной, испанцы — тощей и дряблой; у нас же одни изображают ее белой, другие — смуглой, одни — мягкой и нежной, другие — крепкой и сильной, одни требуют от нее грации и нежности, другие — больших размеров и силы. Сходным образом Платон¹⁶³ считал самой совершенной по красоте шаровидную форму, а эпикурейцы — пирамидальную или квадратную, и они не могли представить себе бога в виде шара.

Как бы то ни было, но природа не наделила нас большими преимуществами по сравнению с животными ни в отношении телесной красоты, ни в смысле подчинения ее общим законам. И если мы как следует понаблюдаем себя, то убедимся, что хотя и есть некоторые животные, обделенные по сравнению с нами в смысле телесной красоты, но зато есть немало и таких, которые богаче наделены, чем мы, — *a multis animalibus decore vincimur*, —¹⁶⁴ даже среди живущих рядом с нами, наземных; ибо что касается морских животных, то (оставляя в стороне общую форму тела, которая не может идти ни в какое сравнение с нашей, настолько она отлична) мы значительно уступаем им и в окраске, и в правильности линий, и в гладкости, и в строении, точно так же мы значительно уступаем по всем статьям птицам и другим летающим животным. То преимущество, которое так прославляют

поэты, а именно наше вертикальное положение и взгляд, устремленный к небу, —

Pronaque cum spectant animalia cetera terram,
Os homini sublime dedit, caelumque videre
Iussit, et erectos ad sidera tollere vultus¹⁶⁵ —

есть всего лишь поэтическая метафора; ибо имеется много животных с устремленным вверх взглядом, а если взять шею верблюда или страуса, то они еще прямее, чем у нас, и более вытянуты.

У каких животных взгляд не обращен так же, как и у нас, вверх и вперед? А разве по положению своего тела животные не обращены так же, как и человек, и к небу и к земле?

Разве многие наши телесные свойства не присущи, как показывают Платон и Цицерон, тысячам других видов животных?¹⁶⁶

На нас наиболее похожи самые некрасивые и противные животные: ведь как раз обезьяны наиболее походят на нас головой и всем своим внешним видом:

Simia quam similis, turpissima bestia, nobis,¹⁶⁷

а по внутреннему строению и устройству органов — свиньи. Действительно, когда я мысленно представляю себе человека совершенно нагим (и именно того пола, который считается наделенным большей красотой), когда представляю себе его изъядены и недостатки, его природные несовершенства, то нахожу, что у нас больше оснований, чем у любого другого животного, прикрывать свое тело. Нам простительно заимствовать у тех, кого природа наделила щедрее, чем нас в этом отношении, и украшать себя их красотой, прятаться под тем, что мы отняли у них, и одеваться в шерсть, перья, меха и шелка.

Заметим, кроме того, что мы являемся единственным видом животных, недостатки которого неприятно поражают наших собственных собратьев, мы единственные, которым приходится скрываться при удовлетворении наших естественных потребностей. Достоинно внимания, что опытные люди рекомендуют для излечения от любовной страсти увидеть безвозбранно желанное тело нагим, полагая, что для

охлаждения страсти достаточно увидеть то, что любишь, в неприкрытом виде:

Ille quod obscoenas in aperto corpore partes
Viderat, in cursu qui fuit, haesit amor.¹⁶⁸

И если даже допустить, что подобное изречение высказано человеком, чрезмерно утонченным и пресыщенным, все же то обстоятельство, что привычка вызывает у нас охлаждение между супругами, является неопровержимым доказательством его несовершенства. То, что наши дамы не разрешают нам входить к ним, пока они не будут одеты, причесаны и готовы показаться на люди, объясняется не столько их стыдливостью, сколько хитростью и предусмотрительностью.

Nec Veneres nostras hoc fallit; quo magis ipsae
Omnia summo opere hos vitae postscaenia celant,
Quos retinere volunt adstrictosque esse in amore.¹⁶⁹

Между тем у многих животных нет ничего такого, чего мы не любили бы, что нам не нравилось бы; ведь известно, что некоторые наши лакомые блюда, самые лучшие духи и дорогие украшения изготавливаются из их выделений или даже из экскрементов.

Эти рассуждения относятся, однако, только к обычному течению нашей жизни и не касаются — что было бы кошунством — тех божественных, сверхъестественных и необычайных красот, которые иногда, как звезды, сияют среди нас в земной и телесной оболочке.

Как бы то ни было, даже те блага природы, которыми мы, по нашему собственному признанию, наделяем животных, представляют большие преимущества. А самим себе мы либо приписываем воображаемые и фантастические блага, ожидаемые в будущем и пока что отсутствующие, блага, которые не зависят от человеческих способностей, либо же по самонадеянности нашей ложно приписываем себе такие блага, как разум, знание, честь; животным же мы отдаем в удел такие важные, реальные и ощутимые блага, как мир, покой, безопасность, простота и здоровье; подумайте, даже здоровье, которое является самым прекрасным и щедрым даром природы! Недаром философы, и даже стоики, утверждают, что если бы Гераклит и Фере-

жид¹⁷⁰ имели возможность променять свою мудрость на здоровье и избавиться путем этой сделки — один от водянки, другой от мучащей его ломоты в ногах, то они с радостью пошли бы на это. Из другого высказывания стоиков также явствует, как они расценивают мудрость, сравнивая и противопоставляя ее здоровью. Так, они утверждают, что если бы Цирцея¹⁷¹ предложила Улиссу на выбор два напитка: один — превращающий глупца в мудреца, другой — превращающий мудрого в глупца, то Улисс, наверно, предпочел бы напиток глупости, лишь бы не быть превращенным в животное, и что сама мудрость должна была сказать ему так: «Оставь меня! Лучше расстанься со мной, но не вселяй меня в тело осла». Как! Неужели же философы расстаются с великой и божественной мудростью ради того, чтобы сохранить свой земной и телесный облик? Значит, мы превосходим животных не разумом, не способностью суждения и наличием души, а нашей красотой, нашим приятным цветом лица и прекрасным сложением? И оказывается, что ради этого стоит отказаться и от нашего ума, и от нашей мудрости и всего прочего?

Что ж, я согласен с этим откровенным и искренним признанием! Они несомненно знали, что эти наши преимущества, с которыми мы так носимся, — чистая фантазия. Значит, если бы даже животные обладали всей добродетелью, знанием, мудростью и совершенством стоиков, они все же оставались бы животными и их нельзя было бы сравнивать даже с жалким, глупым и дурным человеком. Итак, все, что непохоже на нас, ничего не стоит. И сам бог, для того чтобы чтить его, должен, как мы сейчас покажем, походить на нас. Из этого явствует, что мы ставим себя выше других животных и исключаем себя из их числа не в силу истинного превосходства разума, а из пустого высокомерия и упрямства.

Но, возвращаясь к прерванной нити рассуждения, рассмотрим, какие блага приходится на долю человека. Наш удел — это негостоянство, колебания, неуверенность, страдание, суеверие, забота о будущем — значит, и об ожидающем нас после смерти, — честолюбие, жадность, ревность, зависть, необузданные, неукротимые и неистовые желания, война, ложь, вероломство, злословие и любопытство. Да, мы

несомненно слишком дорого заплатили за этот пресловутый разум, которым мы так гордимся, за наше знание и способность суждения, если мы купили их ценою бесчисленных страстей, во власти которых мы постоянно находимся. Ведь нам нечего хвалиться, как справедливо указывает Сократ,¹⁷² тем замечательным преимуществом по сравнению с другими животными, что в то время как животным природа отвела для любовных утех определенные сроки и границы, человеку она предоставила в этом отношении полную свободу.

*Ut vinum aegrotis, quia prodest raro, nocet saepissime, melius est non adhibere omnino, quam, spe dubiae salutis, in apertam perniciem incurrere: sic haud scio an melius fuerit humano generi motum istum celerem cogitationis, acumen, solertiam, quam rationem vocamus, quoniam pestifera sint multis, admodum paucis salutaria, non dari omnino, quam tam munifice et tam large dari.*¹⁷³

Какая польза была Аристотелю и Варрону¹⁷⁴ от того, что они обладали такими огромными познаниями? Избавило ли это их от человеческих бедствий? Были ли они благодаря этому свободны от припадков, которыми страдает какой-нибудь грузчик? Способно ли было их мышление доставить им какое-нибудь облегчение от подагры? Меньше ли были их страдания от того, что они знали, что эта болезнь гнездится в суставах? Примирились ли они со смертью, узнав, что некоторые народы встречают ее с радостью или, например, с неверностью жен, узнав, что в некоторых странах существует общность жен? И хотя оба они были первоклассными учеными — один в Риме, а другой в Греции, — в пору наивысшего процветания наук в их странах, нам тем не менее неизвестно, чтобы они в своей жизни пользовались какими-нибудь особыми преимуществами; наоборот, Аристотелю, например, стоило немалых усилий освободиться от некоторых возведенных на него обвинений.

Было ли кем-нибудь установлено, что наслаждение и здоровье доставляют большую радость тому, кто сведущ в астрологии и грамматике —

*Illiterati num minus nervi rigent?*¹⁷⁵

или, что они легче переносят бедность и позор?

Scilicet et morbis et debilitate carebis
Et luctum et curam effugies, et tempora vitae
Longa tibi post haec fato meliore dabuntur.¹⁷⁶

Я видел на своем веку сотни рабочих и крестьян, которые были более мудры и счастливы, чем ректоры университетов, и предпочел бы походить на этих простых людей.¹⁷⁷ Знание, по-моему, относится к вещам, столь же необходимым в жизни, как слава, доблесть, высокое звание или же — в лучшем случае — как красота, богатство и тому подобные качества, которые, конечно, имеют в жизни значение, но не решающее, а гораздо более отдаленное и скорее благодаря нашему воображению, чем сами по себе.

Для нашей обыденной жизни нам требуется гораздо больше правил, установлений и законов, чем журавлям и муравьям для их жизни, а между тем мы видим, что они живут по строго заведенному порядку, не имея никакого представления о науке. Если бы человек был мудр, он расценивал бы всякую вещь в зависимости от того, насколько она полезна и нужна ему в жизни.

Если судить о нас по нашим поступкам и поведению, то гораздо больше превосходных людей (имею в виду во всякого рода добродетелях) окажется среди лиц необразованных, чем среди ученых. Древний Рим, на мой взгляд, проявил больше доблести как в делах мира, так и в делах войны, чем тот ученый Рим, который сам себя погубил. Если бы во всех остальных отношениях оба эги Рима были совершенно сходны, то во всяком случае в том, что касается чистоты и нравственности, преимущество было на стороне древнего Рима, ибо эти качества как нельзя лучше вяжутся с простотой.

Но я лучше прерву здесь это рассуждение, которое могло бы завести меня слишком далеко. Добавлю только еще, что смирение и послушание отличают добродетельного человека. Нельзя предоставлять каждому человеку судить о своих обязанностях: ему следует их предписать, а не давать возможность выбирать по своему усмотрению. В противном случае мы способны по неразумию и бесконечному многообразию наших мнений прийти под конец к заключению, что мы обязаны, как выражается Эпикур,¹⁷⁸ поедать друг друга. Первейшей заповедью, которую бог дал человеку, было беспрекословное

повиновение; это было простое и ясное предписание; человеку не надо было ни знать ничего, ни рассуждать, поскольку повиновение есть главная обязанность разумной души, признающей верховного небесного благодетеля. Из повиновения и смирения рождаются все другие добродетели, из умствования же — все греховные помыслы. Знание было первым искушением, которым дьявол соблазнил человека, первым ядом, который мы впитали, поверив тому, что он обещал наделить нас высшим знанием и пониманием, сказав: *Eritis sicut dei, scientes bonum et malum*.¹⁷⁹ Ведь, согласно Гомеру,¹⁸⁰ даже сирены, желая обмануть Улисса и завлечь его в свои гибельные и опасные воды, обещали ему в дар знание. Бич человека — это воображаемое знание. Вот почему христианская религия так настойчиво проповедует нам неведение, являющееся лучшей основой для веры и покорности: *Cavete, ne quis vos decipiat per philosophiam et inanes seductiones secundum elementa mundi*.¹⁸¹

Философы всех школ согласны в том, что высшее благо состоит в спокойствии души и тела. Но где его найдешь?

*Ad summum sapiens uno miror est Iove: dives
Liber, honoratus, pulcher, rex denique regum;
Praecipue sanus, nisi cum pituita molesta est.*¹⁸²

Право, похоже на то, что природа в награду за нашу несчастную и жалкую долю дала нам лишь одно высокомерие. Это и утверждает Эпиктет,¹⁸³ говоря: «У человека нет ничего своего, кроме мнений». Наш удел — лишь дым и пепел. Философы утверждают, что боги обладают подлинным здоровьем и воображаемыми болезнями, человек же, наоборот, подвержен подлинным болезням, а все получаемые им блага — лишь мнимые. Мы вправе гордиться силою нашего воображения, ибо все наши блага являются плодом его. Послушаем, как это жалкое и злополучное создание прославляет свое состояние: «Нет ничего прекраснее, — заявляет Цицерон,¹⁸⁴ — занятий науками: с их помощью мы познаем бесконечное множество окружающих нас предметов, необъятность природы; они раскрывают нам небо, моря и землю; наука внушила нам веру, скромность и величие духа, она вывела нашу душу из тьмы и показала ей всякие вещи — возвышен-

ные и низменные, первоначальные, конечные и промежуточные; наука учит нас жить хорошо и счастливо; руководясь ею, мы можем беспечально и безмятежно прожить свой век». Уж не говорит ли здесь наш автор о каком-то бессмертном и всемогущем боге? Ибо в действительности тысячи самых бесхитростных деревенских женщин прожили жизнь более мирную, счастливую и спокойную, чем наш автор.

Deus ille fuit, deus, inclute Memmi,
Qui princeps vitae rationem invenit eam, quae
Nunc appellatur sapientia, quique per artem
Fluctibus e tantis vitam tantisque tenebris
In tam tranquilla et tam clara luce locavit.¹⁸⁵

Таковы были возвышенные и прекрасные речи великого поэта, но, несмотря на эту божественную мудрость и божественные наставления, достаточно было ничтожной случайности, чтобы разум этого человека померк и стал слабее разума самого простого пастуха.¹⁸⁶ Тем же человеческим высокомерием проникнуто обещание, данное Демокритом в его работе:¹⁸⁷ «Я собираюсь судить обо всем», и чванный титул, которым наделяет нас Аристотель, именуящий нас смертными божествами, а также суждение Хрисиппа, заявлявшего, что Дион был так же добродетелен, как бог. А мой Сенека признает, что бог даровал ему жизнь, но что меньше жить добродетельно исходит от него самого. Это вполне соответствует утверждению другого автора: *In virtute vere gloriamur; quod non contingeret, si id donum a deo, non a nobis haberemus.*¹⁸⁸ А вот еще одно суждение Сенеки¹⁸⁹ в том же роде: мудрец обладает мужеством, не уступающим богу, но наряду с человеческой слабостью; и в этом человек превосходит бога. Подобные безрассудные утверждения весьма обычны. Все мы менее возмущаемся сравнением нас с богом, чем низведением нас на положение других животных: настолько более мы печемся о своей славе, чем о славе нашего создателя!

Но необходимо ниспровергнуть это безрассудное высокомерие и разрушить до тла те нелепые основания, на которых покоятся такого рода вздорные притязания. Пока человек будет убежден, что сам обладает какой-то силой и средствами, он никогда не признает, чем он

обязан своему владыке; он, как говорится, всегда будет раздуваться в вола, и следует его несколько развенчать.

Посмотрим на каком-нибудь наглядном примере, что дала человеку его философия.

Посидоний,¹⁹⁰ страдавший от тяжелой болезни, которая заставляла его извиваться от боли и скрежетать зубами, желая обмануть свою боль, кричал ей: «Можешь делать со мной все, что тебе угодно, но все же я не скажу, что ты — боль». Он испытывал такие же страдания, как и мой слуга, но старался, чтобы по крайней мере его язык оставался верен наставлениям его школы; однако разве это не пустые слова? *Re succumbere non oportebat verbis glorientem.*¹⁹¹

Аркесилай¹⁹² был измучен подагрой. Однажды, когда Карнеад пришел его навестить и, весьма огорченный, собирался уже уходить, Аркесилай позвал его и, указывая на свои ноги и грудь, сказал: «Знай, что ничего из ног не поднялось сюда». Это, конечно, было неплохо сказано: хотя Аркесилай терзался болью и рад был бы от нее избавиться, все же эта боль не сломила его сердца, не обессилила его. Посидоний, боюсь, сохранял непреклонность скорее на словах, чем на деле. А Дионисий Гераклеяский¹⁹³ под влиянием мучительной болезни глаз был вынужден совсем отречься от своих стоических принципов.

Но даже если наука действительно, как утверждают философы, сглаживает и притупляет остроту испытываемых нами страданий, то не происходит ли это с еще большим успехом и более очевидным образом при отсутствии всяких знаний? Философ Пиррон,¹⁹⁴ будучи застигнут разразившимся на море сильнейшим штормом, указал своим спутникам как на образец для подражания на спокойствие и невозмутимость находившейся с ними на корабле свиньи, которая переносила бурю без малейшего страха. Уроки, которые мы можем извлечь из философии, сводятся в конечном счете к примерам о каком-нибудь силаче или погонщике мулов, которые, как правило, несравненно меньше боятся смерти, боли и других бедствий и проявляют такую твердость, какой никогда не могла внушить наука человеку, который не был подготовлен к этому от рождения и в силу естественной привычки. Разве не благодаря своему неведению дети

меньше страдают, когда делают надрезы на их нежной коже, чем взрослые? А разве лошадь по этой же причине не страдает меньше, чем человек? Сколько больных породила одна лишь сила воображения! Постоянно приходится видеть, как такие больные делают себе кровопускания, очищают желудок и пичкают себя лекарствами, стремясь исцелиться от воображаемых болезней. Когда у нас нет настоящих болезней, наука награждает нас придуманными ею. На основании изменившегося цвета лица или кожи тела у вас находят катаральный процесс; жаркая погода сулит вам лихорадку; определенный завиток линии жизни на вашей левой руке предвещает вам в ближайшем времени некое серьезное заболевание или даже полное разрушение вашего здоровья. Нельзя оставить в покое даже веселую бодрость молодости, надо убавить у нее крови и сил, чтобы они на беду как-нибудь не обратились против нее же самой. Сравните жизнь человека, находящегося во власти таких выдумок, с жизнью крестьянина, который следует своим природным склонностям, который расценивает все вещи только с точки зрения того, чего они стоят в данный момент, которому неведомы ни наука, ни предвещания, который болен только тогда, когда он действительно болен, в отличие от первого, у которого камни иной раз возникают раньше в душе, чем в почках, и который своим воображением предвосхищает боль и сам бежит ей навстречу, словно боясь, что ему не хватит времени страдать от нее, когда она действительно на него обрушится.

То, что я говорю здесь о медицине, может быть применено ко всякой науке. Отсюда мнение тех древних философов, которые считали высшим благом признание слабости нашего разума. В отношении моего здоровья мое невежество дает мне столько же оснований надеяться, как и опасаться, и потому, не располагая ничем, кроме примеров, которые я вижу вокруг себя, я выбираю из множества известных мне случаев наиболее меня обнадеживающие. Безукоризненное и крепкое здоровье я приветствую с распростертыми объятиями и тем полнее им наслаждаюсь, что в настоящее время оно для меня стало уже не обычным, а довольно редким явлением; я не хочу поэтому нарушать его сладостного покоя горечью какого-нибудь нового

и стеснительного образа жизни. Мы можем видеть на примере животных, что душевные волнения вызывают у нас болезни.

Говорят, что туземцы Бразилии умирают только от старости,¹⁹⁵ и объясняют это действием целительного и превосходного воздуха их страны, я же склонен скорее приписывать это их безмятежному душевному покою, тому, что душа их свободна от всяких волнующих страстей, неприятных мыслей и напряженных занятий, тому, что эти люди живут в удивительной простоте и неведении, без всяких наук, без законов, без королей и религии.

И чем иным объясняется то, что мы наблюдаем повседневно, а именно, что люди совсем необразованные и неотесанные являются наиболее подходящими и пригодными для любовных утех, что любовь какого-нибудь погонщика мулов оказывается иногда гораздо более желанной, чем любовь светского человека, — как не тем, что у последнего душевное волнение подрывает его физическую силу, ослабляет и подтачивает ее?

Душевное волнение ослабляет и подрывает обычно и телесные силы, а вместе с тем также и самих себя. Что его делает болезненным, что доводит его так часто до маний, как не его собственная порывистость, острота, пылкость и в конце концов его собственная сила? Разве самая утонченная мудрость не превращается в самое явное безумие? Подобно тому как самая глубокая дружба порождает самую ожесточенную вражду, а самое цветущее здоровье — смертельную болезнь, точно так же глубокие и необыкновенные душевные волнения порождают самые причудливые мании и помешательства; от здоровья до болезни лишь один шаг. На поступках душевнобольных мы убеждаемся, как непосредственно безумие порождается нашими самыми нормальными душевными движениями. Кто не знает, как тесно безумие соприкасается с высокими порывами свободного духа и с проявлениями необычайной и несравненной добродетели? Платон утверждает, что меланхолики — люди, наиболее способные к наукам и выдающиеся. Не то же ли самое можно сказать и о людях, склонных к безумию? Глубочайшие умы бывают разрушены своей собственной силой и тонкостью. А какой внезапный оборот вдруг приняло жизнерадостное одушевление у одного из самых одаренных,

вдохновенных и проникнутых чистейшей античной поэзией людей, у того великого итальянского поэта, подобного которому мир давно не видывал? ¹⁹⁶ Не обязан ли он был своим безумием той живости, которая для него стала смертоносной, той зоркости, которая его ослепила, тому напряженному и страстному влечению к истине, которое лишило его разума, той упорной и неутолимой жажде знаний, которая довела его до слабоумия, той редкостной способности к глубоким чувствам, которая опустошила его душу и сразила его ум? Я ощутил скорее горечь, чем сострадание, когда, будучи в Ферраре, увидел его в столь жалком состоянии, пережившим самого себя, не узнающим ни себя, ни своих творений, которые без его ведома были у него на глазах изданы в изуродованном и неряшливом виде.

Если вы хотите видеть человека здоровым и уравновешенным, в спокойном и нормальном расположении духа, позаботьтесь, чтобы он не был мрачным, ленивым и вялым. Нам следует поглупеть, чтобы умудриться, и ослепить себя, чтобы дать вести себя.

Если мне скажут, что преимущество иметь притупленную и пониженную чувствительность к боли и страданиям связано с той невыгодой, что сопровождается менее острым и менее ярким восприятием радостей и наслаждений, то это совершенно верно; но, к несчастью, мы так устроены, что нам приходится больше думать о том, как избегать страданий, чем о том, как лучше радоваться, и самая ничтожная боль ощущается нами острее, чем самое сильное наслаждение. *Segnius homines bona quam mala sentiunt.*¹⁹⁷ Мы ощущаем несравненно острее самое пустяковое заболевание, чем самое полное здоровье:

pungit
In cute vix summa violatum plagula corpus
Quando valere nihil quemquam movet. Hoc iuvat unum
Quod me non torquet latus aut pes: cetera quisquam
Vix queat aut sanum sese, aut sentire valentem.¹⁹⁸

Наше хорошее самочувствие означает лишь отсутствие страдания. Вот почему та философская школа, которая особенно превозносила наслаждение, рассматривала его как отсутствие страдания. Не испы-

тывать страдания значит располагать наибольшим благом, на какое человек может только надеяться; как сказал Энний,

Nimum boni est, cui nihil est mali.¹⁹⁹

Действительно, то острое и приятное ощущение, которое присуще некоторым наслаждениям и которое как будто выше простого ощущения здоровья и отсутствия боли, то действенное и бурное наслаждение, жгучее и жалящее, — ведь даже оно имеет целью лишь устранить страдание. Даже вождление, испытываемое нами к женщине, направлено лишь к стремлению избавиться от мучения, порождаемого пылким и неистовым желанием; мы жаждем лишь утолить его и успокоиться, освободившись от этой лихорадки. Так же обстоит и в других случаях.

Поэтому я говорю, что если простота приближает нас к избавлению от боли, то она тем самым приближает нас к блаженному состоянию, учитывая то, как мы по природе своей устроены.

Однако отсутствие боли не следует представлять себе столь тупым, чтобы оно равносильно было полной бесчувственности. Крантор²⁰⁰ справедливо оспаривал эпикуровскую бесчувственность, доказывая, что ее нельзя расширять настолько, чтобы в ней отсутствовала даже всякий намек на страдание. Я совсем не преклоняюсь перед такой бесчувственностью, которая и нежелательна и невозможна. Я рад, если я не болен, но если я болен, то хочу это знать; и если мне делают прижигание или разрез, я хочу ощущать их. В самом деле, уничтожая ощущение боли, одновременно уничтожают и ощущение наслаждения, и в конечном счете человек перестает быть человеком. *Istud nihii dolere, non sine magna mercede contingit immanitatis in animo, stuporis in corpore.*²⁰¹

Страдание тоже должно занимать свое место в жизни человека. Человек не всегда должен избегать боли и не всегда должен стремиться к наслаждению.

Большая честь для неведения — то, что само знание бросает нас в его объятия в тех случаях, когда знание оказывается бессильным помочь нам облегчить наши страдания. В таких случаях знание вынуждено идти на эту уступку; оно принуждено предоставлять нам

свободу и возможность укрыться в лоне неведения, спасаясь от ударов судьбы и ее напастей. Действительно, что иное означает проповедуемый знанием совет отвращаться мыслью от переживаемых злоключений и воспоминаний об утраченных благах и, в утешение от зол сегодняшнего дня, думать о прошедших радостях, призывать на помощь исчезнувшее душевное довольство в противовес тому, что нас сейчас удручает: *Levationes aegritudinem in avocatione a cogitanda molestia et revocatione ad contemplantas voluptates ponit?*²⁰² Разве это не значит, что там, где знание оказывается бессильным, оно пускается на хитрость и проявляет гибкость там, где ему недостает силы? В самом деле, что за утешение не только для философа, но и просто для разумного человека, если в тот момент, когда он страдает от мучительного приступа лихорадки, предложить ему предаться воспоминаниям о превосходном греческом вине? Это означало бы скорее обострить его мучение:

*Che ricordarsi il ben doppia la noia.*²⁰³

Такого же порядка и другой даваемый философами совет²⁰⁴ — помнить только о радостных событиях прошлого и изглаживать воспоминание о пережитых злоключениях, как если бы искусство забвения было в нашей власти. А вот еще малоутешительный совет:

*Suavis est laborum praeteritorum memoria.*²⁰⁵

Я не понимаю, как может философия, которая обязана вооружить меня для борьбы с судьбой и должна внушить мне мужество и научить попирать ногами все человеческие бедствия, дойти до такой слабости, чтобы с помощью этих нелепых и трусливых изворотов заставить меня сдаться? Ведь память рисует нам не то, что мы выбираем, а что ей угодно. Действительно, нет ничего, что так сильно врезывалось бы в память, как именно то, что мы желали бы забыть; вернейший способ сохранить и запечатлеть что-нибудь в нашей душе — это стараться изгладить его из памяти. Неверно утверждение: *Est situm in nobis, ut et adversa quasi perpetua oblivione obruamus, et secunda iucunde et suaviter meminerimus,*²⁰⁶ но зато верно другое: *Memini etiam quae nolo, oblivisci non possum, quae volo.*²⁰⁷ Кому

принадлежит этот совет? Тому, qui se unus sapientem profiteri sit ausus.²⁰⁸

Qui genus humanum ingenio superavit et omnis
Prestrinxit stellas, exortus ut aetherius sol.²⁰⁹

Но разве вычеркнуть и изгладить из памяти не есть вернейший путь к неведению? *Iners malorum remedium ignorantia est.*²¹⁰ Мы встречаем немало подобных наставлений, которые предлагают нам в тех случаях, когда разум бессилен, довольствоваться пустыньскими и плоскими утешениями, лишь бы они давали нам душевное спокойствие. Там, где философы не в силах залечить рану, они стараются усыпить боль и прибегают к другим паллиативам. Мне думается, они не будут отрицать того, что если бы им удалось наладить людям спокойную и счастливую жизнь, хотя бы и основанную на поверхностной оценке вещей, они не отказались бы от этого:

potare et spargere flores
Incipiam, patiarque vel inconsultus haberi.²¹¹

Многие философы согласились бы с Ликасом, который, ведя добродетельную жизнь, живя тихо и спокойно в своей семье, выполняя все свои обязанности по отношению к чужим и своим и умело охраняя себя от всяких бедствий, вдруг, впав в душевное расстройство, вообразил, что он все время находится в театре и смотрит там представления, пьесы и самые прекрасные спектакли. Едва лишь врачи исцелили его от этого недуга, как он стал требовать, чтобы они вернули его во власть этих чудесных видений:

Pol! me occidistis amici,
Non servastis, ait, cui sic extorta voluptas
Et demptus per vim mentis gratissimus error.²¹²

Подобное же произошло с Трасилаем, сыном Пифодора, возомнившим, будто все суда, приходящие в Пирей и бросающие якорь в его гавани, состоят у него на службе: он радостно встречал их, поздравляя со счастливым плаванием. Когда же его брат Критон исцелил его от этой фантазии, Трасилай непрерывно сокрушался об утрате того блаженного состояния, в котором он пребывал, не зная никаких горестей.²¹³ Это самое утверждается в одном древнегреческом стихе,

где говорится, что не в мудрости заключается сладость жизни: ἐν τῷ φρονεῖν γὰρ μὴδὲν ἡδίστος βίος.²¹⁴

Да и в «Экклезиасте» сказано: «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь».²¹⁵

И, наконец, к тому же самому сводится последнее наставление, разделяемое почти всеми философами и гласящее, что, если из-за изобилия бедствий жизнь делается невыносимой, надо положить ей конец: Placet? pare. Non placet? quacunq̄ vis, exi;²¹⁶ Pungit dolor? Vel fodiat sane. Si nudus es, da iugulum; sin tectus armis Vulcaniis, id est fortitudine, resiste,²¹⁷ а также девиз, который применяли в этом случае сотрапезники в древней Греции — Aut bibat, aut abeat²¹⁸ (изречение, которое у гасконца, произносящего обычно «v» вместо «в», звучит еще лучше, чем у Цицерона):

Vivere si recte nescis, decede peritis;
Lusisti satis, edisti satis atque bibisti;
Tempus abire tibi est, ne potum largius aequo
Rideat et pulset lasciva decentius aetas;²¹⁹

разве и то и другое не означает признания своего бессилия и попытку искать спасения даже не в неведении, а в самой глупости, в бесчувственности и в небытии?

Democritum postquam matura vetustas
Admonuit memorem motus languescere mentis,
Sponte sua leto caput obvitulit ipse.²²⁰

В этом же смысле высказывался и Антисфен,²²¹ заявлявший, что надо запастись либо умом, чтобы понимать, либо веревкой, чтобы повеситься. В том же духе истолковывал Хрисипп следующие слова поэта Тиртея:²²²

Приблизиться либо к добродетели, либо к смерти.

Кратет,²²³ со своей стороны, утверждал, что если не время, то голод исцеляет от любви, а кому оба эти средства не по вкусу, пусть запасется веревкой.

Тот самый Секстий,²²⁴ о котором Сенека и Плутарх отзываются с таким глубоким почтением, отказался от всего и погрузился в изу-

чение философии; увидев, что успехи его слишком медленны и требуют слишком длительных усилий, он пришел к выводу, что ему остается только броситься в море. Не будучи в состоянии овладеть наукой, он кинулся в объятия смерти.

Вот как гласит закон по этому поводу: если с кем-нибудь приключится большая и непоправимая беда, то прибежище к его услугам, и можно найти спасение, расставшись с телом, как с ладьей, которая дала течь, ибо лишь страх смерти, а вовсе не жажда жизни, привязывают глупца к телу.

Простота делает жизнь не только более приятной, но, как я только что сказал, и более чистой и прекрасной. Простые и бесхитростные мира сего, по словам апостола Павла, возвысятся и обретут небо, мы же, со всей нашей мудростью, обречены бездне адовой.²²⁵ Не буду говорить много ни о Валентиане,²²⁶ этом отъявленном враге науки и всякого образования, ни о Лицинии, двух римских императорах, называвших знание ядом и бичом всякого государства; не буду останавливаться и на Магомете, который, как мне довелось слышать, запретил своим приверженцам заниматься науками; сошлюсь только на пример великого Ликурга, огромный авторитет которого не подлежит сомнению, на стяжавший всеобщее уважение замечательный государственный строй Спарты, где долгое время царили добродетель и благоденствие и где не существовало никакого обучения наукам. Люди, побывавшие в Новом Свете, который на памяти наших отцов открыт был испанцами, могут засвидетельствовать, насколько эти народы, не знающие ни властей, ни законов, ни способов управления, живут более примерно и честно, чем наши европейские народы, у которых больше чиновников и законов, чем других граждан и деяний:

Di cittatorie piene e di libelli,
D'esamine e di carte, di procure
Hanno le mani e il seno, et gran fastelli
Di chiose, di consigli e di letture:
Per cui le faculta de poverelli
Non sono mai ne le citta sicure;
Hanno dietro e dinanzi, e d'ambi ilati,
Notai, procuratori e advocati.²²⁷

Некий сенатор времен упадка Рима²²⁸ говаривал, что от его предков разило чесноком, но их нутро благоухало доблестью, между тем как его современники, наоборот, снаружи надушены духами, внутри же пропитаны вонью всяких пороков; это должно было означать, как мне кажется, что они были людьми больших познаний и способностей, но далеко не безукоризненной нравственности. Неотесанность, необразованность, невежество, простота нередко прикрывают невинность и чистоту, меж тем как любопытство, изощренность, знание порождают влечение к злу. Смирение, боязнь, покорность, благочестие (являющиеся важнейшим залогом сохранения человеческого общества) требуют души, ничем не отягченной, послушной и лишенной самомнения.

Христиане особенно хорошо знают, что любопытство есть первородный грех и истинное зло в человеке. Стремление умножить свои познания, тяга к мудрости с самого начала были на пагубу человеческому роду; это и есть путь, который привел человека к вечному осуждению. Гордыня — вот источник гибели и развращения человека; она побуждает человека уклоняться от проторенных путей, увлекаться новшествами; она порождает стремление возглавлять людей заблудших, ставших на стезю гибели; она заставляет человека предпочитать быть учителем лжи и обмана, чем учеником в школе истины, который дает вести себя за руку другому по проложенному и праведному пути. Именно это имеет в виду древнегреческое изречение, гласящее, что суеверие следует за гордыней, повинувшись ей как отцу:²²⁹ ἡ δεσιδαιμονία καθ' ἄπερ πατρὶ τῷ τυφῶ πέιθεται.

О, мышление, какая ты помеха для людей! Сократ был изумлен, узнав, что бог мудрости присвоил ему прозвание мудреца; разобравшись в себе, он не нашел никаких оснований для этого божественного постановления.²³⁰ Он знал людей столь же справедливых, выдержанных, мужественных и ученых, как он сам, притом еще более красноречивых, более прекрасных и более полезных отечеству. В конце концов он пришел к выводу, что он не лучше других и мудр только тем, что не считает себя мудрецом, и что его бог видит большую глупость в том, что человек так превозносит свое знание и мудрость, ибо наилучшей наукой для человека является наука незнания и величайшей мудростью — простота.

Священное писание зовет жалкими тех людей, которые много мнят о себе. «Чем гордится земля и пепел? Чем ты кичишься?» — говорит оно человеку.²³¹ А в другом месте писания сказано: «Бог сделал человека подобным тени; кто сможет судить о ней, когда с заходом солнца она исчезнет?»²³² От нас действительно ничего не останется. Мы далеки еще от понимания божьего величия и меньше всего понимаем те творения нашего создателя, которые явственно носят на себе его печать и являются всецело делом его рук. Для христиан натолкнуться на вещь невероятную — повод к вере. И это тем разумнее, чем сильнее такая вещь противоречит человеческому разуму. Если бы она согласовалась с разумом, то не было бы чуда, и если бы она была на что-нибудь похожей, то в ней не было бы чего-то необыкновенного. *Melius scitur deus nesciendo*,²³³ — говорит блаженный Августин; и Тацит заявляет: *Sanctius est ac reverentius de actis deorum credere quam scire*.²³⁴

Платон²³⁵ полагает, что нечестиво слишком углубляться в исследование вопроса о боге, о мире и первопричине всего сущего.

Atque illum quidem quasi parentem huius universitatis invenire difficile; et cum iam inveneris, indicare in vulgus, nefas,²³⁶ — заявляет Цицерон.

Мы часто говорим: «могущество, истина, справедливость». Все это слова, означающие нечто великое, но мы не имеем представления об этом величии, не понимаем его. Мы говорим, что бог боится, гневается, любит, —

*Immortalia mortali sermone notantes*²³⁷ —

но все это чувства и страсти, которые не могут быть у бога такими же, как у нас, и мы не в состоянии себе представить, каковы они у него. Бог только сам может познать себя и истолковать свои творения.

Желая приблизить бога к нам, свести его на землю, где мы лежим во прахе, мы неправильно применяем к нему наши слова. Возьмем, к примеру, слово «благоразумие», означающее способность различать добро и зло; может ли это слово иметь отношение к нему, которому чуждо всякое зло?²³⁸ Или еще «разум» и «понимание», которыми мы пользуемся для уяснения непонятных нам вещей, — разве эти

понятия применимы к богу, для которого нет ничего непонятного? Или еще: «справедливость», воздающая каждому должное и установленная для людей и человеческого общежития, — какова она в боге? Что представляет, далее, в применении к богу «умеренность», означающая ограничение телесных наслаждений, если им вообще нет места в боге? И столь же мало относится к нему «стойкость» в перенесении боли, опасностей и тяжелых трудов, поскольку все эти вещи ему чужды. Вот почему Аристотель утверждает, что бог одинаково свободен как от добродетели, так и от порока.²³⁹ *Neque gratia neque ira teneri potest, quod quae talia essent, imbecilla essent omnia.*²⁴⁰

Какова бы ни была наша доля познания истины, мы достигли ее не нашими собственными усилиями. Бог достаточно открыл нам истину через апостолов, выбранных им из народа, из людей простых и темных, чтобы просветить нас в отношении его удивительных тайн: наша вера не есть приобретение, сделанное нами самими, она — дар щедрости другого. Нашу религию мы получили не путем размышления или усилий нашего разума, а по воле другого, его властью. В делах веры слабость нашего разума больше нам помогает, чем его сила, и наша слепота ценнее нашей прозорливости. Божественная истина открывается нам больше с помощью нашего неведения, чем наших познаний. Нет ничего удивительного в том, что мы не в состоянии постигнуть это сверхъестественное и небесное знание с помощью наших земных и естественных средств; поэтому отнесемся к нему со смирением и покорностью, ибо сказано в Писании: «погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну».²⁴¹ Где он, мудрец? Где писатель? Где спорщик века сего? Разве не сделал бог глупой мудрость мира сего? Так как мир не в состоянии был путем мудрости постигнуть бога, то богу угодно было спасти верующих путем проповеди людей простых и темных.

Перейду теперь к рассмотрению вопроса, в силах ли человек найти то, что он ищет, и обогатили ли его каким-нибудь новым знанием или установлением незыблемой истины те поиски, которые он вел на протяжении стольких веков.

Я полагаю, что, если говорить по совести, человек должен будет сознаться, что весь итог столь долгих исканий свелся к тому, что они

заставили его понять и признать свою слабость. В результате длительного изучения мы пришли лишь к подтверждению и оправданию того неведения, которое было присуще нам от природы. С подлинно учеными людьми случилось то же, что происходит с колосьями пшеницы: они гордо высятся пока стоят пустые, но стоит им созреть и наполниться семенами, как они начинают клониться долу и никнуть. Точно так же и люди: после того как они все испробовали, исследовали и убедились, что нет ничего прочного и устойчивого во всем этом хаосе наук и ворохе разнородных накопленных знаний, что все это суета, — они отрелись от своей гордыни и оценили свое естественное состояние.

Именно в этом Веллей упрекает Котту и Цицерона; у Филона они научились — говорит он — тому, что ничему не научились.²⁴²

Один из семи мудрецов, Ферекид, перед смертью написал Фалесу следующее:²⁴³ «Я велел моим близким, когда меня не станет, передать тебе мои рукописи. Если они удовлетворят тебя и других мудрецов, можешь их обнародовать, в противном случае — уничтожь их; в них нет той достоверности, которая удовлетворяла бы меня самого». Я тоже не утверждаю, что владею истиной или способен овладеть ею. Я не столько открываю вещи, сколько показываю их. Самый мудрый человек в мире на вопрос, что́ он знает, ответил, что знает только то, что ничего не знает.²⁴⁴ Он подтвердил этим ту истину, которая гласит: «Большая часть того, что мы знаем, представляет собой лишь ничтожную долю того, чего мы не знаем»; иными словами: даже то, что́ мы знаем, есть лишь часть — и притом ничтожная часть — того, чего мы не знаем.

«Мы знаем вещи в сновидении, — говорит Платон, — а в действительности ничего не знаем».²⁴⁵

*Omnes paene veteres nihil cognosci, nihil percipi, nihil sciri posse dixerunt; angustos sensus, imbecillos animos, brevia curricula vitae.*²⁴⁶

Даже Цицерон, который всем своим авторитетом обязан был своим познаниям, по словам Валерия, на старости лет стал проникаться презрением к науке.²⁴⁷ А в те времена, когда он занимался ею, он не принадлежал ни к какому определенному направлению, но в зависимости от того, что́ ему казалось правильным, склонялся на сто-

рону то одного течения, то другого, неизменно придерживаясь при этом сомнения, свойственного Академии.²⁴⁸

Dicendum est sed ita ut nihil affirmem, quaeram omnia, dubitans plerumque et nihil diffidens.²⁴⁹

Я слишком бы облегчил себе задачу, если бы для проверки того, что дало человеку знание, взял среднего человека и судил по большинству людей; между тем я мог бы поступить именно так, руководясь принятым правилом, гласящим, что судить об истине следует не по весу того или иного голоса, а по большинству голосов. Оставим в стороне обычных людей,

Qui vigilans stertit,
Mortua cui vita est prope iam vivo atque videnti,²⁵⁰

которые не анализируют себя, не разбираются в себе и природные способности которых дремлют. Я хочу взять для рассмотрения самую высокую разновидность людей. Посмотрим, что представляет собой человек из того небольшого круга выдающихся и избранных людей, которые, будучи наделены превосходными и исключительными природными способностями, еще развили их и усовершенствовали с помощью воспитания, науки и искусства, достигнув вершины мудрости. Они изошрили свою душу во всех отношениях, укрепили ее всякой посторонней помощью, какая только была ей на пользу, обогатили и украсили ее всем, что только можно было позаимствовать в мире для ее блага; в этих людях, таким образом, воплощены высшие достижения человеческой природы. Эти люди установили в обществе законы и порядки, обучили людей с помощью наук и искусств и вдобавок воспитали их примером своих замечательных нравов. Я приму в расчет при рассмотрении интересующего меня вопроса только эту категорию людей, их показания и их опыт. Посмотрим же, к чему они пришли, каковы их достижения. Пороки и недостатки, которые мы найдем у такого рода людей, все остальные смело смогут признать присущими и им.

Всякий, ищущий решения какого-нибудь вопроса, в конце концов приходит к одному из следующих заключений: он либо утверждает, что нашел искомое решение, либо — что оно не может быть найдено,

либо — что он все еще продолжает поиски. Вся философия делится на эти три направления.²⁵¹ Ее задача состоит в поисках истины, знания и достоверности. Перипатетики, эпикурейцы, стоики и представители других философских школ полагали, что им удалось найти истину. Они ввели существующие у нас науки и трактовали их как достоверные знания. Клитомах,²⁵² Карнеад и академики отчаялись в своих поисках и пришли к мысли, что нашими средствами нельзя познать истину. Конечный вывод их — признание человеческой слабости и неведения; это течение имело наибольшее число приверженцев и самых выдающихся последователей.

Пиррон и другие скептики, или эпехисты (многие стороны учения которых восходят к глубокой древности, к Гомеру, семи мудрецам, Архилоху, Эврипиду, а также Зенону, Демокриту и Ксенофану²⁵³), утверждали, что они все еще находятся в поисках истины. Они считали, что бесконечно ошибаются те, кто полагает, что открыли ее, и находили слишком смелым даже вышеуказанное утверждение, что человеческими средствами невозможно познать истину. Ибо, по их мнению, установить пределы наших возможностей, познать и судить о трудностях вещей уже само по себе — большая и сложная наука, которая вряд ли под силу человеку.

Nil sciri quisquis putat, id quoque nescit
An sciri possit quo se nil scire fatetur.²⁵⁴

Неведение, которое сознает себя, судит и осуждает себя, уже не есть полное неведение; чтобы быть таковым, оно не должно сознавать себя. Поэтому высший принцип пирронистов — это всегда колебаться, сомневаться, искать, ни в чем не быть уверенным и ни за что не ручаться. Из трех способностей души — воображения, желания и утверждения — они признают только первые две; что же касается третьей, то они высказываются о ней неопределенно, не принимая и не отвергая ее, — настолько они считают ее ненадежной.

Свое представление об этом разделении душевных способностей Зенон изобразил в жестах: открытая и протянутая рука выражала вероятие; согнутая в локте, с несколько загнутыми пальцами, выражала согласие; сжатый кулак — понимание; если же при этом он

сжимал в кулак еще и левую руку, это означало достоверное знание. Такая прямая и непреклонная манера суждения, принимающая все без утверждения и применения, приводила пирронистов к их атаксии,²⁵⁵ то есть к спокойному и размеренному образу жизни, свободному от волнений, проистекающих от нашего мнения о вещах и воображаемого знания их. Это предполагаемое знание вещей порождает страх, жадность, зависть, необузданные желания, честолюбие, надменность, суеверие, страсть к новизне, возмущение, неповиновение, упрямство и большинство физических зол. Придерживаясь своего учения, пирронисты были свободны от нетерпимости и довольно вяло спорили со своими противниками. Они не боялись возражений и опровержений. Когда они утверждали, что тяжелые тела падают вниз, они были недовольны, если с ними соглашались в этом, и хотели, чтобы им противоречили, дабы таким путем посеяно было сомнение, которое повлекло бы за собой воздержание от суждения, являвшееся их конечной целью. Они выдвигали свои положения лишь для того, чтобы опровергать те, в которых другие, по их мнению, были уверены. Если бы вы приняли их положения, они столь же охотно стали бы доказывать обратное, ибо им было все равно: ведь они не делали выбора между той и другой точками зрения. Если бы вы вздумали утверждать, что снег черен, они, наоборот, стали бы доказывать, что он бел. Если вы стали бы говорить, что он и не черен, и не бел, они стали бы утверждать, что он и черен, и бел. Если бы вы начали уверенно отстаивать, что ничего не знаете о данном предмете, они стали бы доказывать, что вы его знаете. Если же, основываясь на утвердительном суждении, вы начали бы уверять, что вы в этом сомневаетесь, они стали бы спорить с вами и доказывать, что вы в этом не сомневаетесь. Этой чрезмерностью сомнения, которое само себя опровергает, пирронисты отличались от представителей других точек зрения и даже от тех, кто отстаивал разные другие виды сомнения и неведения.

Почему им нельзя, спрашивали пирронисты, сомневаться, подобно тому как одни догматики уверяют, что данная вещь зеленая, а другие, что она желтая. Существует ли такая вещь, относительно которой можно высказываться только либо в утвердительном, либо в отри-

цательном смысле и относительно которой нельзя было бы высказываться двояким образом? Почему, если одним можно склоняться в пользу той или иной философской школы, либо следуя обычаю своей страны, либо следуя наставлению родителей, либо же просто наобум и без всякого основания, даже в большинстве случаев не достигнув разумного возраста, становиться на сторону стоиков или эпикурейцев, за которыми они слепо следуют, как бы клюнув на удочку, от которой они не в состоянии освободиться, — *ad quamcunque disciplinam velut tempestate delati, ad eam tanquam ad saxum adhaerescunt,* — ²⁵⁶ почему в таком случае и пирронистам нельзя сохранять полную свободу и рассматривать вещи без всякого принуждения и обязательства? *Нос liberiores et solutiores quod integra illis est iudicandi potestas.*²⁵⁷ Разве нет известного преимущества в свободе от необходимости делать выбор, так затрудняющий других? Не лучше ли вовсе воздержаться от суждения, чем выбирать среди множества заблуждений, порожденных человеческим воображением? Не лучше ли воздержаться от суждения, чем ввязываться в нескончаемые распри и споры? Что мне выбрать? Что угодно, лишь бы был сделан выбор.²⁵⁸ Вот глупый ответ, к которому, однако, приводит всякий догматизм, не разрешающий нам не знать того, чего мы в самом деле не знаем. Возьмите самую прославленную философскую систему — даже и она не прочна настолько, чтобы для укрепления ее положений нам не было бы необходимо оспаривать и опровергать сотни других систем. Не лучше ли оставаться в стороне от этой схватки? Почему, если вам разрешается защищать, словно вашу жизнь и честь, учение Аристотеля о бессмертии души, отвергая и опровергая мнение на этот счет Платона, — почему, говорю я, вашим противникам не дозволяется спорить с вами и сомневаться? Если Панэцию ²⁵⁹ дозволено было высказать свое собственное суждение относительно гадания по внутренностям животных, снов, оракулов, прорицаний — вещей, в которых стоики нисколько не сомневались, — то почему мудрецу нельзя, подобно Панэцию, высказываться о вещах, которые он усвоил у своих учителей и о которых существует установившееся мнение школы, последователем и приверженцем коей он является? Если о чем-нибудь берется судить ребенок, то он не знает, о чем говорит, если же это

ученый, то он судит предвзято. Пирронисты, избавив себя от необходимости защищаться, создали себе замечательное преимущество в борьбе. Им неважно, если их бьют, лишь бы они сами наносили удары, и они пользуются любым оружием. Если они побеждают, значит ваше положение хромает, и наоборот. Если они ошибаются, они подтверждают этим свое незнание; если же вы ошибаетесь, то вы подтверждаете его. Они будут удовлетворены, если сумеют доказать вам, что нельзя ничего познать, но они будут удовлетворены и в том случае, если не смогут этого доказать. *Ut, cum in eadem re paria contrariis in partibus momenta inveniuntur, facilius ab utraque parte assertio sustineatur.*²⁶⁰

Для них важнее доказать вам, что данная вещь неверна, чем то, что она верна; или доказать, что она не является тем-то, чем-то, что она является этим; они охотнее скажут вам, чего они не думают, чем то, что они думают.

Пирронисты обычно выражались так: «Я ничего не утверждаю; он ни то, ни другое; я не понимаю этого; и то и другое одинаково вероятно; можно с равным основанием говорить и за и против любого утверждения. Нет ничего истинного, что не могло бы казаться ложным.²⁶¹ Их излюбленное слово — это ἐπέχω,²⁶² т. е. я воздерживаюсь, я не склоняюсь ни в ту, ни в другую сторону. Они постоянно повторяли его или что-нибудь в этом роде. Их целью являлся ясный, полный и совершенный отказ от суждения или воздержание от него. Они пользовались своим разумом для поисков истины и споров о ней, но не для того, чтобы что-нибудь решать и производить выбор. Тот, кто может представить себе постоянное признание неведения, кто может представить себе суждение, не склоняющееся ни в ту, ни в другую сторону, чего бы это ни касалось, тот поймет, что такое пирронизм. Я излагаю воззрения пирронистов, как умею; но многие находят, что взгляды их трудно понять и даже сами пирронисты излагают их совсем ясно и по-разному.

В обыденной жизни пирронисты ведут себя, как все люди.²⁶³ Они подчиняются естественным склонностям и влечениям, голосу страстей, велениям законов и обычаев, требованиям житейской деятельности. *Non enim nos Deus ista scire, sed tantum modo uti voluit.*²⁶⁴ Они руковод-

ствуются этими вещами в своем практическом поведении, не рассуждая о них, не критикуя их. Но я никак не могу согласовать с этим то, что рассказывают о Пирроне. Его изображают человеком тяжеловесным и упрямым, жившим нелюдимо и необщительно, легко переносившим все неудобства, любившим все дикое и сумрачное, отказывающимся повиноваться законам. Это значило бы идти дальше его системы. Он не желал превратиться в камень или пень; он хотел быть живым человеком, думающим и рассуждающим, наслаждающимся всеми естественными благами и удовольствиями, правильно и по назначению применяющим и использующим все свои физические и духовные силы. А что касается ложных вымышленных и фантастических привилегий, присвоенных себе человеком, а именно предписывать, устанавливать истину и поучать ей, то он убежденно отверг их и отрекся от них.

Да и нет такой философской школы, которая не была бы вынуждена разрешить своим приверженцам, если только они хотят участвовать в жизни, выполнять множество вещей, для них непонятных, необъяснимых и неприятных. Так, когда мудрец предпринимает морское путешествие, он следует этому принципу, не зная, пойдет ли он ему на пользу: он рассчитывает на то, что судно в порядке, что его ведет опытный кормчий, что погода благоприятна, т. е. полагается на обстоятельства лишь возможные, но не обязательные; после чего он отдается на волю случая, если только нет явных противопоказаний. Он обладает телом и душой, чувства толкают его на те или иные действия, разум побуждает к тому или иному. Хотя он и не признает у себя наличия особой способности суждения и помнит, что не должен ничего утверждать, поскольку вместо истины может оказаться ложное подобие ее, тем не менее он полностью и целиком выполняет свои житейские обязанности. А сколько есть разных наук, которые опираются в гораздо большей степени на догадки, чем на знание, которые не разбираются в том, что истинно и что ложно, а следуют лишь тому, что представляется вероятным. Существует, говорят пирронисты, и истинное, и ложное, и мы обладаем способностью доискиваться, но не способностью в точности определять. Мы предпочитаем без размышления следовать установленному в мире порядку. Душе,

свободной от всякой предвзятости, гораздо легче достичь спокойствия. Люди, которые судят и проверяют суждения других людей, никогда его не обретут. Насколько же простые и нелюбопытные умы более послушны политическим законам и установлениям религии и легче поддаются руководству, чем умы, кичащиеся знанием человеческих и божественных причин и поучающие им.²⁶⁵

Нет ничего более правдоподобного и полезного, чем пирронизм. Он рисует человека нагим и пустым; признающим свою природную слабость; готовым принять некую помощь свыше; лишенным человеческого знания и тем более способным вместить в себя божественное знание; отказывающимся от собственного суждения, чтобы уделить больше места вере; ни неверующим, ни устанавливающим какую-либо догму, противоречащую принятым взглядам; смиренным, послушным, уступчивым, усердным; заклятым врагом ереси; свободным, следовательно, от пустых и нечестивых взглядов, введенных ложными сектами; это чистая доска, готовая принять от перста божия те знаки, которые ему угодно будет начертать на ней. Чем больше мы отдаемся на волю божию и поручаем себя ей, отказываясь от собственной воли, тем мы становимся достойнее ее. Принимай, говорит Экклезиаст, за благо вещи такими, как они представляются тебе и видом и вкусом своим повседневно, все остальное выше твоих познаний.²⁶⁶ *Dominus novit cogitationes hominum, quoniam vanae sunt.*²⁶⁷

Таким образом, из трех основных философских школ две открыто исповедуют сомнение и неведение; что же касается приверженцев третьей школы — догматиков, то нетрудно убедиться, что большинство их прикрывалось уверенностью лишь из желания придать себе лучший вид. Они заняты были не столько тем, чтобы установить какую-то достоверность, сколько стремлением показать, как далеко они зашли в поисках истины: *quam docti fingunt, magis quam norunt.*²⁶⁸

Тимей, желая поведать Сократу все то, что ему известно о богах, о мире и о людях, намерен говорить об этом как человек с человеком, полагая, что достаточно, если его мнения будут столь же достоверны, как и мнения всякого другого человека; ибо он не имеет точных доказательств, как не имеет их ни один смертный.²⁶⁹ Подражая этому, один из последователей Платона,²⁷⁰ касаясь вопроса о презре-

нии к смерти, вопроса естественного и доступного всякому, формулировал эту мысль следующим образом: *Ut potero, explicabo; nec tamen, ut Pythius Apollo, certa ut sint et fixa, quae dixero; sed ut homunculus probabilia coniectura sequens.*²⁷¹

В другом месте Цицерон даже перевел дословно мысль Платона по этому поводу: *Si forte, de deorum natura ortuque mundi disserentes, minus id quod habemus animo consequimur, haud erit mirum. Aequum est enim meminisse et me que disseram, hominem esse, et vos qui iudicetis; ut, si probabilia dicentur, nihil ultra requiratis.*²⁷²

Аристотель обычно приводит множество чужих мнений и взглядов для того, чтобы, сопоставив с ними свою точку зрения, показать нам, насколько он пошел дальше и в какой мере он приблизился к правдоподобию, — об истине нельзя судить на основании чужого свидетельства или полагаясь на авторитет другого человека. Поэтому Эпикур тщательнейшим образом избегал в своих сочинениях ссылаться на них. Аристотель — царь догматиков, и тем не менее мы узнаем от него, что чем больше знаешь, тем больше у тебя поводов к сомнению.²⁷³ Он часто умышленно прикрывается до того темными и запутанными выражениями, что совершенно невозможно разобраться в его точке зрения. Его учение в действительности — пирронизм, только скрытый под видом утверждений.

Послушаем заявление Цицерона, который разъясняет нам чужие взгляды с помощью своей точки зрения: *Qui requirunt quid de quaere ipsi sentiamus, curiosius id faciunt quam necesse est. Haec in philosophia ratio contra omnia disserendi nullamque rem aperte iudicandi, profecta a Socrate, repetita ab Arcesila, confirmata a Carneade, usque ad nostram viget aetatem. Hi summus qui omnibus veris falsa quaedam adiuncta esse dicamus, tanta similitudine ut in iis nulla insit certe iudicandi et assentiendi nota.*²⁷⁴

С какой целью не только Аристотель, но и большинство других философов прибегали к запутанным выражениям, как не для того, чтобы повисить интерес к бесплодному предмету и возбудить любопытство нашего ума, предоставив ему глотать эту сухую и голую кость? Клитомах утверждал, что он никогда не в состоянии был понять из сочинений Карнеада, каковы его взгляды.²⁷⁵ Почему Эпикур

избегал ясности в своих сочинениях, а Гераклит был прозван за свою манеру изложения *σκληρόσις!*²⁷⁶ Непонятное изложение, к которому прибегают ученые, это тот же прием, который применяют фокусники, чтобы скрыть ничтожество своего искусства, прием, на который легко попадает человеческая глупость:

Clarus, ob obscuram linguam, magis inter inanis,
Omnia enim stolidi magis admirantur amantque
Inversis quae sub verbis latitant. cernunt.²⁷⁷

Цицерон упрекает некоторых своих друзей за то, что они уделяли астрономии, юриспруденции, диалектике и геометрии больше времени, чем эти науки заслуживают, и пренебрегали из-за этого более стоящими и более важными обязанностями в жизни.²⁷⁸ Равным образом и философы-киренаики не придавали цены физике и диалектике.²⁷⁹ Зенон в самом же начале своих книг «О государстве» объявлял бесполезными все свободные науки.²⁸⁰

Хрисипп утверждал, что все написанное Платоном и Аристотелем о логике писалось ими в шутку и ради упражнения; он не мог поверить, чтобы они серьезно говорили о таких пустяках.²⁸¹ Плутарх утверждает то же самое относительно метафизики.²⁸² Эпикур сказал бы то же самое и о риторике, грамматике, поэзии, математике и всех прочих науках, кроме физики. Сократ со своей стороны признал бы это относительно всех наук, за исключением лишь той, которая занимается вопросами нашей жизни и нравов. О чем бы его ни спросили, он всегда заставлял спрашивающего прежде всего разобраться в обстоятельствах его прошлой и настоящей жизни; только эти обстоятельства он исследовал и по ним судил, считая всякое иное знание второстепенным по сравнению с этим и излишним. *Parum mihi placeant eae litterae quae ad virtutem doctoribus nihil profuerunt.*²⁸³

Таким образом, большинство наук находилось в пренебрежении у самих ученых, но они не считали излишним обтачивать свой ум и упражнять его хотя бы на вещах заведомо недостоверных и мало полезных.

Одни называли Платона догматиком, другие — сомневающимся скептиком, третьи считали, что он в некоторых вопросах догматик, в иных скептик.²⁸⁴

Главное лицо в его диалогах, Сократ, всегда направляет беседу, ставя вопросы и возбуждая споры; он никогда не обрывает обсуждения, никогда не бывает удовлетворен и говорит, что не владеет никакой иной наукой, кроме науки противоречия. Их любимый автор, Гомер, в равной мере заложил основания всех философских школ, желая показать, что совершенно безразлично, каким путем мы пойдём.²⁸⁵ Уверяют, что Платон был родоначальником десяти различных философских школ,²⁸⁶ и поэтому, на мой взгляд, ни одно учение не было в такой степени проникнуто колебаниями и сомнениями, как его. Сократ говорил,²⁸⁷ что повивальные бабки, избрав своим ремеслом принимать детей у других, сами перестают рожать; так и он, получив от богов звание знатока повивального искусства в делах мудрости, тоже, подобно повивальным бабкам, отказался сам рожать. Преисполнившись любовью, он принимает у мужчин, а не у женщин и присматривает за рождением их душ. Он довольствуется тем, что оказывает рожаящим поддержку и покровительство, помогает их естеству раскрыться, смазывает пути, по которым идет плод, и облегчает родовые муки; в дальнейшем он помогает судить о новорожденном, налаживать его питание, рост, пеленание и обрезание; таким образом, он применяет свое искусство на пользу другому, ради его блага и устранения грозящих ему опасностей.

Точно так же обстоит дело и с сочинениями большинства философов третьего направления, как это отметили уже древние авторы относительно творений Анаксагора, Демокрита, Парменида, Ксенофана и других.²⁸⁸ Их манера изложения по существу пронизана сомнением, они умышленно скорее спрашивают, чем поучают, хотя и перемежают свое изложение элементами догматизма. Это можно так же хорошо проследить на Сенеке, как и на Плутархе. Те, кто занимается ими вплотную, отлично знают, что они судят о вещах то с одной точки зрения, то с совершенно противоположной, и комментаторам следовало бы прежде всего примирить каждого из них с ним самим.

Мне кажется, что Платон умышленно любил философствовать в диалогической форме, ибо многообразие и противоречивость его взглядов не так бросались в глаза, когда их излагали разные собеседники.

Рассматривать предметы с разных точек зрения так же хорошо, как и рассматривать их под одним углом зрения, или даже еще лучше, ибо такое рассмотрение шире и полезнее. Возьмем пример из нашей практики: судебные решения составляют конечный пункт догматического обсуждения дела; однако те решения, которые наши парламенты представляют в качестве образцов, способных внушить народу то уважение, которое он обязан питать к этим высоким учреждениям, главным образом благодаря достоинству заседающих в них лиц, — хороши не своими заключениями, которые носят обычный характер и которые дает всякий судья, а тем, что они составляют итог прений и столкновения различных и противоположных мнений по поводу данного юридического случая.

Наиболее обширную область для взаимных упреков философов представляют те их расхождения и противоречия, в которых запутывается каждый из них либо умышленно, с целью показать шаткость человеческого ума в суждении о всяком предмете, либо, помимо их ведома, вследствие текучести и непонятности всякого явления.

Это выражено в следующем постоянно повторяемом изречении: «Если вопрос скользкий и зыбкий, воздержимся от суждения», ибо, как говорит Эврипид, «творения бога различным образом смущают нас».²⁸⁹

Это напоминает Эмпедокла,²⁹⁰ который, как бы охваченный божественным вдохновением и терзаемый истиной, постоянно твердит в своих писаниях: «Нет, нет, мы ничего не чувствуем и ничего не видим; все вещи сокрыты для нас, нет ни одной, о которой мы в состоянии были бы установить, что она такое». Ту же самую мысль выражают и следующие слова божественного писания: *Cogitationes mortalium timidae et incertae ad inventiones nostrae et providentiae.*²⁹¹ Не следует удивляться тому, что люди, отчаявшиеся овладеть истиной, тем не менее находят удовольствие в погоне за ней, ибо изучение наук — весьма увлекательное занятие; оно столь приятно, что стоики, например, в числе различных наслаждений запрещают также и то, которое проистекает от упражнения ума: они хотят обуздать его и считают невоздержанностью стремление слишком много знать.²⁹²

Однажды, когда Демокрит ел во время обеда фиги, пахнувшие ме-

дом, он вдруг задумался над тем, откуда взялась у фиги эта необычная сладость, и, чтобы выяснить это, он встал из-за стола, желая осмотреть то место, где эти фиги были сорваны. Его служанка, узнав, почему он всполошился, смеясь, сказала ему, чтобы он не утруждал себя: она просто положила фиги в сосуд из-под меда. Демокрит был раздосадован тем, что она лишила его повода произвести расследование и отняла у него предмет, возбудивший его любознательность. «Уходи, — сказал он ей, — ты причинила мне неприятность; я все же буду искать причину этого явления так, как если бы оно было природным». ²⁹³ И он не преминул найти какое-то истинное основание для объяснения этого явления, хотя оно было ложным и мнимым. Указанное происшествие с прославленным и великим философом служит ярким примером той страсти к знанию, которая заставляет нас пускаться в поиски, заведомо безнадежные. Плутарх рассказывает о сходном случае с одним человеком, который не желал быть выведенным из одолевавшего его по поводу некоторых вещей сомнения, так как это лишило бы его удовольствия доискиваться; другой человек равным образом не желал, чтобы врач исцелил его от перемежающейся лихорадки, чтобы не лишиться удовольствия получать облегчение от питья. *Satius est supervacua discere quam nihil.* ²⁹⁴

Подобно тому как всякая пища часто доставляет только удовольствие, между тем как далеко не все то приятное, что мы едим, бывает питательным и здоровым, — точно так же нам неизменно доставляет наслаждение все то, что наш ум извлекает из занятий науками, даже когда оно не бывает ни питательным, ни целебным.

Вот что говорят ученые: «Изучение природы служит пищей для нашего ума; оно возвышает и поднимает нас, оно заставляет нас презирать низменные и земные вещи по сравнению с возвышенными и небесными; само исследование вещей сокрытых и значительных — весьма увлекательное занятие даже для того, кто благодаря этому проникается лишь благоговением и боязнью судить о них». ²⁹⁵ Эти слова выражают убеждение их авторов. Еще более ярким образцом такой болезненной любознательности является другой пример, на который они постоянно с гордостью ссылаются. Евдокс ²⁹⁶ умолял богов дать ему возможность хоть один раз увидеть вблизи солнце и узнать,

каковы его форма, величина и красота, даже ценою того, чтобы быть им тотчас же сожженным. Он жаждал ценою жизни приобрести знание, которым он не смог бы воспользоваться, и ради этого мгновенного и мимолетного познания готов был отказаться от всех имевшихся у него знаний и от тех, которые он мог бы еще приобрести в дальнейшем.

Меня не легко убедить в том, что Эпикур, Платон и Пифагор принимали за чистую монету свои атомы, свои идеи, свои числа: они были слишком умны, чтобы верить в столь недостоверные и спорные вещи. Но каждый из этих великих мужей стремился внести какой-то луч света, желая рассеять нашу тьму и невежество; они тешились измышлениями, которые по крайней мере были увлекательными и остроумными, и если даже они оказывались ложными, то были не хуже тех, которые им противостояли: unicuique ista pro ingenio finguntur, non ex scientiae vi.²⁹⁷

Некий древний мудрец, которого упрекали в том, что он проповедует такую философию, о которой сам он в душе невысокого мнения, ответил: «Это и значит поистине философствовать». Философы хотели всё исследовать, всё взвесить и считали, что это соответствует присущей нам природной любознательности. Некоторые вещи они писали ради пользы общества, как например о религии, и это было с их стороны благоразумно, ибо они не хотели разоблачать обычные мнения, опасаясь вызвать этим смуту и нарушить повиновение законам и обычаям своей страны.

Платон разрешает этот вопрос просто и ясно: когда он говорит от своего лица, то не предписывает ничего определенного, когда же выступает как законодатель, то пишет решительным и властным тоном.²⁹⁸ При этом он, не стесняясь, уснащает свое изложение самыми фантастическими измышлениями, весьма полезными для народа, но смешными в его собственных глазах, ибо он знает, до какой степени мы склонны поддаваться всяким внушениям, даже самым диким и нелепым.

Вот почему в своих «Законах»²⁹⁹ он тщательно предусматривает, какие именно в общественных местах должны распеваться гимны, вздорные выдумки которых могут послужить какой-нибудь полезной

цели. Будучи убежден, что человеческому уму легко внушить всякие небылицы, он считал, что уж лучше питать его полезными вымыслами, чем бесполезными или даже вредными. В своем «Государстве» он прямо заявляет, что для пользы людей часто бывает необходимо их обманывать.³⁰⁰ Нетрудно заметить, что одни философские школы больше стремились к истине, другие же — к пользе, благодаря чему последние и получили большее распространение. Беда наша в том, что нередко вещи, кажущиеся нам наиболее истинными, не являются наиболее полезными для нашей жизни. Даже эпикурейцы, пирронисты и приверженцы Новой Академии,³⁰¹ т. е. представители самых смелых философских школ, в конечном счете вынуждены склоняться перед гражданским законом.

Есть еще и другие вопросы, которые они тщательно обсуждали, вертя их на все лады, причем каждый старался сказать свое слово, удачное или неудачное. Так как они исходили из того, что нет ничего столь сокровенного, чего им нельзя было бы расследовать, то им часто приходилось строить несостоятельные и нелепые догадки, которые они сами не считали основательными, и выдвигали их не для того, чтобы установить истину, а только чтобы поупражнять свой ум. *Non tam id sensisse quod dicerent, quam exercere ingenia materiae difficultate videntur volluisse.*³⁰²

В противном случае было бы непонятно, как могли эти выдающиеся и замечательные люди обнаружить такое необычайное непостоянство, такую разногласицу и легковесность в своих воззрениях? Так, например, что может быть нелепее, чем желать представить себе бога с помощью наших уподоблений и догадок; или пытаться подчинить его и мир нашим законам и мерить их нашими силами; или пользоваться в применении к божеству той крупницей способностей, которые ему угодно было уделить человеческой природе; или желать низвести его на землю и сделать столь же тленным и жалким, как мы сами, только потому, что мы не в состоянии простереть своих взоров до его славного престола?

Из всех человеческих — и притом самых древних — религиозных воззрений наиболее правдоподобным и находящим оправдание мне представляется то, которое признает бога непостижимой силой, источ-

ником и хранителем всех вещей, считает, что бог — весь благо, весь совершенство и что он благосклонно принимает почести и поклонение людей, в какой бы форме, под каким бы именем и каким бы способом люди их не выражали.³⁰³

Iuppiter omnipotens rerum, regumque deumque
Progenitor genitrixque.³⁰⁴

Небо всегда благосклонно взирало на это рвение. Все правительства извлекали пользу из благочестия верующих;³⁰⁵ нечестивые люди и их поступки повсюду получали соответствующее воздаяние. Писавшие о языческих народах признают достоинство, правопорядок, справедливость, истинность чудес и оракулов, служащих им на пользу, и наставления, которые заключены в их баснословных религиях, поскольку бог, по своему милосердию, пожелал с помощью этих благодетелей укрепить слабые ростки весьма грубого познания его, достигнутого их естественным разумом, хотя и сквозь оболочку лживых выдумок.

Но те выдумки, которые измышлял человек, были не только ложными, но и нечестивыми и безнравственными.

Из всех святынь, почитавшихся в Афинах, святой Павел счел наиболее допустимой ту, где был жертвенник с надписью: «Неведомому и невидимому богу».³⁰⁶

Пифагор ближе всего подошел к истине, считая, что познание этой первопричины, этой сущности всего сущего, не подлежит никакому ограничению, никаким предписаниям и никакому внешнему выражению, ибо это познание есть не что иное, как крайнее усилие нашего воображения, стремящегося к совершенству, причем каждый по своим способностям составляет себе идею этого существа. Но когда Нума решил приспособить к такому пониманию религию своего народа³⁰⁷ и привязать его к чисто духовной вере, не имеющей определенного предмета поклонения и лишенной всякой материальности, то это оказалось бесплодной попыткой, ибо человеческому уму не за что было ухватиться в этой безбрежности смутных мыслей; ему необходимо было уплотнить их в некий образ, созданный им по своему подобию. Божественное величие, таким образом, позволило до известной степени ограничить себя ради нас телесными границами. Его сверхъесте-

ственные и небесные таинства носят на себе печать земной природы человека, и почитание бога выражается в молитвах и звучащих словах, ибо при этом верует и молится человек. Я оставляю в стороне другие доводы, которые приводят в данном случае; но вряд ли меня можно убедить в том, что наши распятия и изображение жалостных крестных мук, вид церковных украшений и обрядов, пение, выражающее наши благочестивые помыслы, и общее связанное с этим возбуждение наших чувств не воспаляют души народов религиозной страстью, оказывающей весьма полезное действие.³⁰⁸

Из религий, в основе которых лежало поклонение телесному божеству, — что необходимо было при царившем в те времена всеобщем невежестве, — я бы, мне кажется, охотнее всего примкнул к тем, кто поклонялись солнцу.

О солнце . . .

. . . Всеобщий светоч,

Глаз мира; если бог с небес смотрит на нас,
 То солнца жаркий свет — сиянье божьих глаз:
 Всему дарит он жизнь, и все он охраняет
 И все дела людей в широком мире знает.
 Да, солнце дивное, блюдя святой черед,
 В двенадцати домах на небесах живет,
 Для нас, живых людей, меняя лики года,
 И тают облака в лучах его восхода.
 Вселенной мощный дух, горячий, огневой,
 Оно за краткий день, кочуя над землей,
 Всю твердь небесную огромным плотным шаром
 Сумеет обежать в своем стремленье яром.
 Трудов не ведает — а счесть не может их, —
 Природы старший сын, отец существ живых.³⁰⁹

Ибо, помимо своего величия и красоты, солнце представляет собой наиболее удаленную от нас и потому наименее известную нам часть вселенной, так что вполне простительно испытывать по отношению к нему чувство восхищения и благоговения.

Фалес, который первым исследовал такие вопросы, считал бога духом, который создал все из воды; Анаксимандр считал, что боги рождаются и умирают через известные промежутки времени и что миров и их богов существует бесконечное множество; Анаксимен

признавал, что бог есть воздух, что он возникает, что он безмерен и всегда находится в движении; Анаксагор первый считал, что устройство и мера всех вещей определяются и совершаются силой и прозорливостью бесконечного разума.³¹⁰ Алкмеон³¹¹ приписывал божественность солнцу, луне, звездам и душе. Пифагор учил, что бог есть дух, который пребывает в природе всех вещей и от которого исходят наши души; Парменид³¹² считал, что горящий световой круг, опоясывающий небо и сохраняющий своей теплотой вселенную, и есть бог. Эмпедокл полагал, что богами являются четыре стихии, из которых созданы все вещи; Протагор³¹³ говорил, что о богах он ничего не знает, существуют они или нет и каковы они. Демокрит то утверждал, что боги — это «образы»³¹⁴ и их кругообороты, то — что они представляют собой природу, которая излучает эти образы, то, наконец, что боги — это наше знание и разум. Платон по-разному излагает свои воззрения; в «Тимее» он утверждает, что невозможно назвать отца мира; в «Законах» он говорит, что не следует допытываться, что такое бог; но в других местах тех же сочинений он называет богами мир, небо, звезды, землю и наши души, а кроме того, признает всех тех богов, которые приняты были в древности в каждом государстве. Ксенофонт, излагая учение Сократа, отмечает такую же путаницу: то Сократ утверждал что не следует доискиваться, каков образ бога; то он считал богом солнце, то — душу; иногда он говорил, что существует единый бог, иногда же — что их много. Племянник Платона, Спевсипп,³¹⁵ считал, что бог есть некая одушевленная сила, которая всем управляет. Аристотель иногда признавал, что бог — это дух, а иногда — что это вселенная, в некоторых же случаях он ставил над нашим миром другого владыку, а иногда полагал, что бог — это небесный огонь. Ксенократ³¹⁶ насчитывал восемь богов, из которых первые пять — это планеты, шестой бог — все неподвижные звезды, вместе взятые, а седьмым и восьмым богами являются солнце и луна. Гераклид Понтийский³¹⁷ колеблется между различными точками зрения: он признает, что бог лишен чувств и придает ему то один образ, то другой, а под конец заявляет, что боги — это небо и земля. Такое же непостоянство в своих взглядах обнаруживает и Феофраст:³¹⁸ он приписывает управление миром то разуму, то небу, то звездам. Стра-

тон³¹⁹ полагал, что бог — это бесформенная и бесчувственная природа, обладающая способностью порождать, увеличивать и уменьшать. Зенон полагал, что бог — это естественный закон, повелевающий творить добро и запрещающий делать зло; закон этот, по его мнению, — нечто одушевленное; Зенон не причисляет к богам Юпитера, Юнону, Весту, обычно называемых богами. Диоген Аполлонийский³²⁰ полагал, что бог — это воздух. Ксенофан³²¹ считал, что бог шарообразен, видит и слышит, но неодушевлен и не имеет ничего общего с человеческой природой. Аристон³²² полагал, что образ бога непознаваем и что бог лишен чувств; он сомневался, есть ли бог нечто одушевленное или нет. Клеанф³²³ признавал богом иногда разум, иногда вселенную, иногда душу природы, иногда небесный жар, который окружает и охватывает все. Ученик Зенона, Персей,³²⁴ считал, что звания богов удостоились все те, кто сделал что-нибудь полезное для человеческого общежития. Хрисипп нагромоздил в одну кучу все предшествующие высказывания о богах и, наделив их тысячью различных образов, причислил к ним также людей, которые обессмертили себя. Диагор и Феодор³²⁵ полностью отрицали существование богов. Эпикур полагал, что боги светятся, прозрачны и воздушны; они обитают между двумя небосводами, как бы между двумя укреплениями, обладают человеческим обликом и имеют такие же, как у нас, части тела, хотя телом своим никак не пользуются.³²⁶

Ego deum genus esse semper duxi, et dicam caelitum;
Sed eos non curare opinor, quid agat humanum genus.³²⁷

И вот при виде этой полнейшей неразберихи философских мнений попробуйте положиться на вашу философию, попробуйте уверить, что вы нашли изюминку в пироге! Убедившись в этом хаосе, я пришел к выводу, что нравы и мнения, отличающиеся от моих, не столько мне неприятны, сколько поучительны; сопоставление их дает мне основание не к тому, чтобы возгордиться, а к тому, чтобы почувствовать свое ничтожество: мне кажется, что ни одно мнение не имеет преимуществ перед другим, за исключением тех, которые внушены мне божьей волей. Я оставляю в стороне образ жизни необычный и противоестественный. Наблюдаемые в мире политические порядки про-

тиворечат друг другу не в меньшей степени, чем философские школы: мы можем, таким образом, убедиться, что сама фортуна не более изменчива и многолика, чем наш разум, что она не более слепа и безрассудна.

То, что мы меньше всего знаем, лучше всего годится для обоже-
ствления;³²⁸ вот почему делать из нас богов, как поступали древние, есть показатель полнейшего ничтожества человеческого разума. Я бы скорее понял тех, кто поклоняется эмее, собаке или быку, поскольку, меньше зная природу и свойства этих животных, мы можем с бóльшим основанием думать о них все, что нам хочется, и приписывать им необычайные способности. Но делать богов из существ, обладающих нашей природой, несовершенство которой нам должно быть известно; приписывать богам желания, гнев, мстительность; заставлять их заключать браки, иметь детей и вступать в родственные связи, испытывать любовь и ревность; наделять их частями нашего тела, нашими костями, нашими недугами и нашими наслаждениями, нашими смертями и нашими похоронами — все это можно объяснить лишь чрезмерным опьянением человеческого разума.

Quae procul usque adeo divino ab numine distant,
Inque deum numero quae sint indigna videri.³²⁹

Formae, aetates, vestitus, ornatus noti sunt: genera, coniugia, cognationes, omniaque traducta ad similitudinem imbecillitatis humanae: nam et perturbatis animis inducuntur; accipimus enim deorum cupiditates, aegritudines, iracundias.³³⁰

Это все равно, что обожествлять не только веру, добродетель, честь, согласие, свободу, победу, благочестие, но и вождение, обман, смертность, зависть, старость, страдания, страх, лихорадку, злополучие и другие напасти нашей изменчивой и брэнной жизни.

Quid iuvat hoc, templis nostros inducere mores?
O curvae in terris animae et caelestium inanes!³³¹

Египтяне без стеснения предусмотрительно запрещали под страхом смерти говорить о том, что их боги Серапис и Изиды были когда-то людьми, хотя это было всем известно. Их изображали с прижатым к губам пальцем, что, по словам Варрона, означало таинствен-

ное приказание жрецам хранить молчание об их смертном происхождении, — иначе они неминуемо лишились бы всякого почитания.³³²

Раз уж человек желает сравняться с богом, говорит Цицерон,³³³ он поступил бы лучше, наделив себя божественными качествами и совлекши их на землю, вместо того чтобы воссылать на небо свою тленную и жалкую природу; но, говоря по правде, человек, побуждаемый тщеславием, делал на разные лады и то и другое.

Я не могу поверить, что философы говорят серьезно, когда устанавливают иерархию своих богов и вдаются в описание их союзов, их обязанностей и их могущества. Когда Платон распространяется о жезле Плутона и о телесных наградах и наказаниях, которые ожидают нас после распада наших тел, сообразуя эти воздаяния с тем, что мы испытываем в этой жизни, —³³⁴

Secreti celant calles, et myrtea circum
Silva tegit; curae non ipsa in morte relinquunt,³³⁵

или когда Магомет обещает своим единоверцам рай, устланный коврами, украшенный золотом и драгоценными камнями, рай, в котором нас ждут девы необычайной красоты и изысканные вина и яства, то для меня ясно, что это говорят насмешники, приспособляющиеся к нашей глупости: они стремятся привлечь и соблазнить нас этими описаниями и обещаниями, доступными нашим земным вкусам. Ведь впадают же некоторые наши единоверцы в подобное заблуждение и надеются после воскресения вернуться к земной и телесной жизни со всеми мирскими благами и удовольствиями. Можно ли поверить, чтобы Платон — с его возвышенными идеями и столь близкий к божеству, что за ним сохранилось прозвище божественного, — допускал, что такое жалкое создание, как человек, имеет нечто общее с этой непостижимой силой? Можно ли представить себе, чтобы он считал наш разум и наши слабые силы способными участвовать в вечном блаженстве или терпеть вечные муки? От имени человеческого разума следовало бы сказать ему: если те радости, которые ты сулишь нам в будущей жизни, такого же порядка, как и те, которые я испытывал здесь на земле, то это не имеет ничего общего с бесконечностью. Даже если все мои пять чувств будут полны веселья и душа будет охвачена

такой радостью, какой она только может пожелать и на какую может надеяться, это еще ничего не стоит, ибо меру ее возможностей мы знаем. Если в этом есть хоть что-нибудь человеческое, значит в этом нет ничего божественного. Если оно не отличается от нашего земного существования, то оно ничего не стоит. Все радости смертных тоже смертны. Если нас еще может трогать и радовать в будущем мире то, что мы узнаем наших родителей, наших детей и наших друзей, если мы еще ценим такие удовольствия, то это показывает, что мы находимся еще во власти земных и преходящих радостей. Мы не в состоянии достойным образом оценить величие этих возвышенных и божественных обещаний, если мы способны их как-то понять; ибо для того, чтобы представить их себе надлежащим образом, их следует мыслить невообразимыми, невыразимыми, непостижимыми и глубоко отличными от нашего жалкого опыта. «Не видел того глаз, — говорит святой Павел,³³⁶ — и не может человеческое сердце вместить то блаженство, которое господь уготовил своим». И если для того, чтобы сделать нас к этому способными, потребуется преобразовать и изменить наше существо (как ты этому учишь, Платон, путем описанных тобой очищений), то это изменение должно быть таким коренным и всесторонним, что мы перестанем быть в физическом смысле тем, чем были:

Hector erat tunc cum bello certabat; at ille,
Tractus ab Aemonio, non erat Hector, equo,³³⁷

и эти награды на том свете получит уже какое-то другое существо:

quod mutatur, dissolvitur; interit ergo:
Traiciuntur enim partes atque ordine migrant.³³⁸

Ибо когда мы говорим о метемпсихозе Пифагора и о мыслившемся им переселении душ, то разве мы думаем, что лев, в котором воплотилась душа Цезаря, испытывает те же страсти, которые волновали Цезаря, или что лев и есть Цезарь! Если бы это было так, то были бы правы те,³³⁹ кто, оспаривая это мнение Платона, упрекали его в том, что в таком случае могло бы оказаться, что превратившаяся в мула мать возила бы на себе сына, и приводили другие подобные нелепости. И разве новые существа, возникшие при этих превраще-

ниях одних животных в других того же вида, не будут иными, чем их предшественники? Говорят, что из пепла феникса рождается червь, а потом другой феникс; ³⁴⁰ можно ли думать что этот второй феникс не будет отличаться от первого? Мы видим, что шелковичный червь умирает и засыхает и из него образуется бабочка, а из нее в свою очередь другой червь, которого нелепо было бы принимать за первого. То, что однажды прекратило существование, того больше нет: ³⁴¹

Nec, si materiem nostram collegerit aetas
 Post obitum, rursumque redegerit, ut sita nunc est,
 Atque iterum nobis fuerint data lumina vitae,
 Pertineat quidquam tamen ad nos id quoque factum,
 Interrupta semel cum sit repetentia nostra.³⁴²

И когда в другом месте, ³⁴³ Платон, ты говоришь, что этими воздаяниями в будущей жизни будет наслаждаться духовная часть человека, то ты говоришь нечто маловероятное.

Scilicet, avolsis radicibus, ut nequit ullam
 Displicere ipse oculus rem, seorsum corpore toto.³⁴⁴

Ибо тот, кто будет испытывать это наслаждение, не будет больше человеком, а следовательно, это будем не мы; ведь мы состоим из двух основных частей, разделение которых и есть смерть и разрушение нашего существа:

Inter enim iacta est vitae pausa, vageque
 Deerrarunt passim motus ab sensibus omnes.³⁴⁵

Не говорим же мы, что человек страдает, когда черви точат части его бывшего тела или когда оно гниет в земле:

Et nihil hoc ad nos, qui coitu coniugioque
 Corporis atque animae consistimus uni:er apti.³⁴⁶

Далее, на каком основании боги могут вознаграждать человека после его смерти за его благие и добродетельные поступки, раз они сами побудили его к этому и совершили их через него? И почему они гневаятся и мстят ему за его порочные деяния, раз они же сами наделили его этой несовершенной природой, между тем как самое ничтожное усилие их воли могло бы предохранить его от этого? Разве

не это самое возражение Эпикур приводил с большей убедительностью против Платона, прикрываясь нередко следующим изречением: «Обладея лишь смертной природой, нельзя установить ничего достоверного о природе бессмертной. Она всегда сбивает нас с толку, в особенности, когда вмешивается в божественные дела». Кто яснее понимает это, чем мы? Ибо хотя мы и даем нашему разуму точные и непогрешимые наставления, хотя мы и освещаем путь его святым светочем истины, которым богу угодно было наделить нас, однако мы повседневно видим, что сто́ит ему хоть немного уклониться от обычной тропы, свернуть с пути, проторенного и проложенного церковью, как он тотчас же запутывается и начинает блуждать без руля и без ветрил в безбрежном море зыбких и смутных человеческих мнений. Как только разум теряет эту верную столбовую дорогу, он устремляется по тысяче различных путей.

Человек может быть только тем, что он есть, и представлять себе всё только в меру своего понимания. Когда те, кто всего-навсего люди — говорит Плутарх³⁴⁷ — берутся судить и рассуждать о богах и полубогах, это еще бо́льшая самонадеянность, чем когда человек, ничего не смыслящий в музыке, берется судить о тех, кто поет; или когда человек, никогда не бывавший на поле боя, пробует рассуждать об оружии и способах ведения войны, полагая, что с помощью легко-весных догадок можно разобраться в существе того искусства, которое выше его понимания. На мой взгляд, древние думали, что возвеличивают божество, приравнивая его к человеку, наделяя его человеческими способностями, самыми затейливыми прихотями и самыми низменными потребностями; предлагая ему в пищу наше мясо; забавляя его нашими плясками, шутками и фокусами; предлагая ему наши одеяния и наши дома; услаждая его запахом благовоний и звуками музыки, празднествами и цветами. Наделяя божество нашими порочными страстями, они льстиво приписывали его правосудию бесчеловечную мстительность и увеселяли его зрелищем разрушения и разорения того, что оно само создало и охраняло. Так поступил, например, Тиберий Семпроний,³⁴⁸ предав огню и принеся в жертву Вулкану богатую военную добычу и оружие, захваченное им у неприятеля в Сардинии. Павел Эмилий³⁴⁹ принес в жертву Марсу и Минерве.

добычу, доставшуюся ему в Македонии. Александр,³⁵⁰ придя к Индийскому океану, бросил в его воды в честь Фетиды несколько больших золотых сосудов и устроил, кроме того, на своих алтарях бойню, принеся в жертву не только невинных животных, но и людей. Человеческие жертвоприношения были обычными у многих народов, в том числе и у нашего; я думаю, что ни один народ не представлял исключения в этом отношении.

Sulmone creatos
Quattuor hic iuvenes, totidem quos educat Ufens,
Viventes rapit, inferias quos immolet umbris.³⁵¹

Геты³⁵² считали себя бессмертными; умереть значило для них отправиться к своему божеству Салмоксису. Каждые пять лет геты посылают к Салмоксису кого-либо из своих соплеменников, чтобы попросить его о самом необходимом. Посланца избирают по жребию, и обряд этот совершается таким образом: сначала ему устно сообщал данное ему поручение, после чего трое воинов выстраивались в ряд с тремя копьями в руках, а другие со всего размаху бросали сбременного на них. Если он при этом получал смертельную рану и тотчас же умирал, это считалось верным признаком божественного благоволения. Если же вестник не умирал сразу, геты считали, что он порочный и недостойный человек, и избирали другого посланца вместо него.

Аместрида,³⁵³ мать Ксеркса, когда состарилась, следуя религии своей страны и желая умиловить какого-то подземного бога, приказала однажды закопать в землю живыми четырнадцать персидских юношей знатного происхождения.

Еще и поныне идолы Темикститана обгащаются кровью младенцев; им угодны жертвы только из этих невинных детских душ: правосудие жаждет крови невинных!

Tantum religio potuit suadere malorum!³⁵⁴

Карфагеняне приносили в жертву Сатурну своих собственных детей; а бездетные покупали для этой цели чужих детей; отец и мать обязаны были присутствовать при обряде жертвоприношения с веселыми и довольными лицами.³⁵⁵ Странной фантазией было платить за

милость богов нашими страданиями; так поступали, например, лакедемоняне, услаждавшие свою Диану истязаниями юношей, которых они в угоду ей часто бичевали до смерти.³⁵⁶ Дикой прихотью было благодарить зодчего разрушением его созданий и карать невинных, чтобы предотвратить наказание, заслуженное виновными. Дико было думать, что заклятие и смерть бедной Ифигении в Авлиде очистит греческое войско от обиды, нанесенной богам.³⁵⁷

Sed casta inceste, nubendi tempore in ipso,
Hostia concideret mactatu moesta parentis.³⁵⁸

А что сказать о двух прекрасных и благородных Дециях,³⁵⁹ отце и сыне, которые чтобы расположить богов в пользу римлян, бросились в самую гущу неприятельских войск!

Quae fuit tanta deorum iniquitas, ut placari populo Romano non possent, nisi tales viri occidissent.³⁶⁰ Добавляю, что отнюдь не дело преступника определять меру и час своего наказания; только судья засчитывает в наказание ту кару, которую он назначает, но он не устанавливает наказание по выбору того, кто сам себя подвергает ему. Божественная кара предполагает наше полное несогласие как с нашим осуждением, так и с налагаемым на нас наказанием.

Нелепым было ухищрение Поликрата,³⁶¹ тирана самосского, когда он, желая нарушить свое постоянное благоденствие и искупить его, бросил в море самое дорогое и ценное сокровище, в надежде, что этой искупительной жертвой ему удастся предотвратить непостоянство фортуны, избежать ее превратности; она же, насмехаясь над его глупостью, сделала так, что брошенная в море драгоценность снова вернулась в его руки, будучи найдена в желудке рыбы. А кому нужны были те мучения и терзания, которые причиняли себе корибанты и менады?³⁶² Или те шрамы на лице, животе и конечностях, которые еще в наше время наносят себе магометане, желая угодить своему пророку? Ведь оскорбление, наносимое богу, коренится в нашей воле, а вовсе не в груди, не в глазах, не в половых органах, не в плечах или в гортани! Tantus est perturbatae mentis et sedibus suis pulsae furor, ut sic dii placentur, quemadmodum ne homines quidem saeviant.³⁶³

Наше тело призвано служить не только нам, но также и богу и другим людям; поэтому умышленно терзать его столь же недопустимо, как и лишать себя жизни под каким бы то ни было предлогом. Уродовать и калечить бессознательные и произвольные отправления нашего тела ради того, чтобы избавить душу от необходимости разумно руководить ими, значит проявлять большую трусость и предательство.

Ubi iratos deos timent, qui sic propitios habere merentur? In regiae libidinis voluptatem castrati sunt quidam; sed nemo sibi, ne vir esset, iubente, domino, manus intulit.³⁶⁴ Так, религия приводила людей ко многим дурным поступкам:

saepius illa
Religio peperit scelerosa atque impia facta.³⁶⁵

Ничто, присущее нам, ни в каком отношении не может быть приравнено к божественной природе или отнесено к ней, ибо это накладывало бы на нее отпечаток несовершенства. Как может эта бесконечная красота, бесконечное могущество и бесконечная благодать без ущерба для своего божественного величия допустить какое-либо соответствие или сходство с таким существом, как человек?

Infirmum dei fortius est hominibus, et stultum dei sapientius est hominibus.³⁶⁶

Когда кто-то спросил философа Сильпона,³⁶⁷ радуют ли богов воздаваемые им почести и приносимые им жертвы, он ответил: «Ты неразумен; давай уединимся, если ты хочешь поговорить об этом».

И тем не менее мы предписываем богу определенные пределы; мы ограничиваем его могущество доводами нашего разума (я называю разумом наши домыслы и фантазии и исключаю отсюда философию, которая утверждает, что даже безумный или злой вынуждены действовать по разумным основаниям; но это разум особого рода), хотим подчинить его, который создал нас и наше знание, пустым и ничтожным доводам нашего рассудка. Мы говорим: «Бог не мог создать мир без материи, ибо из ничего нельзя ничего создать». Как! Разве бог вручил нам ключи своего могущества и открыл нам тайны его? Разве он обязался не выходить за пределы, поставленные нашей наукой?

Допустим, о человек, что ты сумел заметить здесь на земле некоторые следы его действий, — думаешь ли ты, что он применил при этом все свои силы и воплотил в этом творении все свои помыслы, что он исчерпал при этом все формы? Ты видишь в лучшем случае только устройство и порядки того крохотного мирка, в котором живешь; но божественное могущество простирается бесконечно дальше его пределов; эта частица — ничто по сравнению с целым:

omnia cum caelo terraque marique
Nil sunt ad summam summai totius omnem.³⁶⁸

Ты ссылаешься на местный закон, но не знаешь, каков закон всеобщий. Ты можешь связывать себя с тем, чему ты подчинен, но его ты не свяжешь; он не твой собрат, не твой земляк или товарищ. Если он как-то вступает в общение с тобой, то не для того, чтобы сравняться с твоим ничтожеством или вручить тебе контроль над своей властью. Тело человека не может витать в облаках — таков закон для тебя. Солнце непрерывно движется по своему пути; моря и земли имеют свои границы; вода текуча и жидка; сплошная стена непроницаема для твердого тела; человек не может не сгореть в пламени; он не может физически одновременно находиться на небе, на земле и в тысяче других мест. Все эти правила бог установил для тебя; они связывают только тебя. Он показал христианам, что может нарушать все эти законы, когда ему заблагорассудится. Действительно, для чего ему, раз он всемогущ, ограничивать свои силы определенными пределами? В угоду кому будет он отказываться от своих преимуществ? Твой разум с полным основанием и величайшей вероятностью доказывает тебе, что существует множество миров:

Terramque, et solem, lunam, mare, cetera quae sunt,
Non esse unica, sed numero magis innumerati.³⁶⁹

В это верили, побуждаемые доводами разума, самые выдающиеся умы прошлых веков и даже некоторые наши современники; тем более что в нашем мироздании нет ни одного предмета, который существовал бы в единственном числе:

cum in summa res nulla sit una,
Unica quae gignatur, et unica solaque crescat.³⁷⁰

и все вещи существуют во множественном числе; поэтому представляется невероятным, чтобы бог сотворил только один этот мир, не создав подобных ему, и чтобы вся материя была полностью истрачена на это единственное творение:

Quare etiam atque etiam talis fateare necesse est
Esse alios alibi congressus materiai,
Qualis hic est avido complexu quem tenet aether,³⁷¹

в особенности, если существо это одушевленное, как можно предполагать по его движениям и как уверяет Платон;³⁷² некоторые наши ученые³⁷³ подтверждают это мнение, другие же не осмеливаются опровергать его. А может быть, правильно то старинное воззрение, согласно которому небо, звезды и другие части вселенной представляют собой создания, состоящие из тела и души, которые смертны по своему составу, но бессмертны по решению создателя. В случае же если существует множество миров, как полагали Демокрит, Эпикур и почти все философы, то откуда мы знаем, что принципы и законы нашего мира приложимы также и к другим мирам? Эти миры, может быть, имеют другой вид и другое устройство?³⁷⁴ Эпикур представлял их себе то сходными между собой, то несходными.³⁷⁵ Ведь даже в нашем мире мы наблюдаем бесконечное разнообразие и различия в зависимости от отдаленности той или иной страны. Так, например, в том Новом Свете, который открыт был нашими отцами, неизвестны ни хлеб, ни вино, ни одно из наших животных; все там иное. А в скольких странах света в прежние времена не имели представления ни о Вакхе, ни о Церере?³⁷⁶ Если верить Плинию и Геродоту,³⁷⁷ то в некоторых странах есть люди, очень мало на нас похожие.

Существуют смешанные породы людей, представляющие собой нечто среднее между человеческой природой и животной. Есть страны, где люди рождаются без головы, а глаза и рот помещаются у них на груди; где все люди — двуполые существа; где люди ходят на четвереньках; где у людей только один глаз во лбу, а голова более похожа на голову собаки, чем человека; где люди наполовину, в нижней части тела, рыбы и живут в воде; где женщины рожают в пятилетнем возрасте и живут только до восьми лет; где у людей лоб так

тверд и кожа на нем так толста, что железо не в состоянии пробить их и сгибается; где у мужчин не растет борода; есть народы, которые не знают употребления огня; и другие, у которых сперма черного цвета.

Существуют люди, которые с легкостью превращаются в волков или в кобыл, а затем снова становятся людьми. И если верно утверждение Плутарха,³⁷⁸ что в некоторых частях Индии имеются люди без рта, питающиеся лишь запахами, то многие наши описания неправильны; такие люди отнюдь не смешнее, чем мы, их разум, может быть, несколько не уступает нашему, и они в такой же мере, как мы, способны к общественной жизни, и тогда может оказаться, что наше внутреннее устройство и законы неприменимы к большинству людей.

Далее, сколько мы знаем вещей, противоречащих тем прекрасным правилам, которые мы установили для природы и предписали ей! А мы еще хотим связать ими самого бога! Сколько явлений мы называем сверхъестественными и противоречащими природе! Каждый человек и каждый народ называет так вещи, недоступные его пониманию. А сколько мы наблюдаем таинственных свойств и квинтэссенций?³⁷⁹ Ибо для нас «поступать согласно природе» значит «поступать согласно нашему разуму, насколько он в состоянии следовать за ней и насколько мы в состоянии распознать этот путь; все, что выходит за пределы разума, чудовищно и хаотично. Но с этой точки зрения наиболее проникательным и изощренным людям все должно представляться чудовищным, ибо человеческий разум убедил их, что нет никаких серьезных оснований утверждать даже то, что снег бел (Анаксагор заявлял, что он черен).³⁸⁰ Все неясно: существует ли что-нибудь или ничего не существует? Знаем ли мы что-либо или ничего не знаем? (Метродор Хиосский отрицал за человеком возможность ответить на этот вопрос).³⁸¹ Живем ли мы или нет? Ибо Эврипид сомневался, «является ли наша жизнь жизнью или не жизнь есть то, что мы называем смертью»:

*τίς δ'οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μὲν ἐστὶ καθ'αυτὸν τὸ καθ'αυτὸν δὲ ζῆν;*³⁸²

Эврипид сомневался не без основания; действительно, почему называть жизнью тот миг, который является только просветом в беско-

нечном течении вечной ночи и очень кратким перерывом в нашем постоянном и естественном состоянии, ибо смерть занимает все будущее и все прошлое этого момента, да еще и немалую часть его самого? Другие уверяют, что нет никакого движения и что ничто не движется, как утверждают последователи Мелисса³⁸³ (ибо, если существует только единое, то оно не может обладать сферическим движением и не может передвигаться с места на место, как это доказывает Платон³⁸⁴), и что в природе нет ни рождения ни истлевания.

Протагор утверждал, что в природе нет ничего, кроме сомнения, и что обо всех вещах можно спорить с одинаковым основанием и даже о том, можно ли спорить с одинаковым основанием обо всех вещах; Навсифан³⁸⁵ заявлял, что из тех вещей, которые нам кажутся, ни одна не существует с большей вероятностью, чем другая, и что нет ничего достоверного, кроме недостоверности; Парменид утверждал, что ничто из того, что нам кажется, не существует вообще и что существует только единое;³⁸⁶ Зенон утверждал, что даже единое не существует и что не существует ничего.

Если бы существовало нечто, то оно находилось бы либо в другом, либо в самом себе; если бы оно находилось в другом, в таком случае их было бы два, а если бы оно находилось в самом себе, то и в этом случае их было бы два: содержащий и содержимое. Природа вещей, согласно этим учениям, есть не что иное, как ложная или пустая тень.³⁸⁷

Мне всегда казались безрассудными и непочтительными в устах христианина выражения вроде следующих: бог не может умереть, бог не может себе противоречить, бог не может делать того или этого. Я нахожу неправильным подчинять божественное всемогущество законам нашей речи. То предположение, которое мы вкладываем в эти слова, следовало бы выражать более почтительно и более благочестиво.

Наша речь, как и все другое, имеет свои слабости и свои недостатки. Поводами к большинству смут на свете являлись споры грамматического характера. Наши судебные процессы возникают только из споров об истолковании законов; большинство войн происходит из-за неумения ясно формулировать мирные договоры и соглашения

государей. А сколько препирательств — и притом каких ожесточенных — было вызвано сомнением в истолковании слога «Нос»!³⁸⁸ Возьмем формулу, которая со стороны логической представляется нам совершенно ясной. Если вы говорите «стоит хорошая погода» и если при этом вы говорите правду, значит погода действительно хорошая. Разве это не достоверное утверждение? И тем не менее оно способно нас обмануть, как это видно из следующего примера. Если вы говорите «я лгу» и то, что вы при этом утверждаете, есть правда, значит вы лжете.³⁸⁹ Логическая структура, основательность и сила этого умозаключения совершенно схожи с предыдущими, и тем не менее мы запутались. Я убеждаюсь, что философы-пирронисты не в состоянии выразить свою основную мысль никакими средствами речи; им понадобился бы какой-то новый язык! Наш язык сплошь состоит из совершенно неприемлемых для них утвердительных предложений, вследствие чего, когда они говорят «я сомневаюсь», их сейчас же ловят на слове и заставляют признать, что они по крайней мере уверены и знают, что они сомневаются.³⁹⁰ Это побудило их искать спасения в следующем медицинском сравнении, без которого их способ мышления был бы необъясним: когда они произносят «я не знаю» или «я сомневаюсь», то они говорят, что это утверждение само себя уничтожает, подобно тому как ремень, выводя из организма дурные соки, выводит вместе с ними и самого себя.³⁹¹

Этот образ мыслей более правильно передается вопросительной формой: «Что знаю я?», как гласит девиз, начертанный у меня на коромысле весов.³⁹²

Посмотрите, как злоупотребляют этой насквозь неблагочестивой манерой выражаться! Если в происходящих у нас в данное время религиозных спорах вы станете теснить своих противников, то они прямо скажут вам, что не во власти бога сделать так, чтобы его тело находилось одновременно и в раю, и на земле, и в нескольких разных местах.³⁹³ А как ловко пользуется этим аргументом наш древний насмешник!³⁹⁴ «Для человека, — говорит он, — не малое утешение видеть, что бог не все может: так, он не может покончить с собой, когда ему захочется, что является наибольшим благом в нашем положении; не может сделать смертных бессмертными; не может воскресить мерт-

вого; не может сделать жившего нежившим, а того, кому воздавались почести, не получавшим их, — так как он не имеет никакой иной власти над прошлым, кроме забвения». Наконец, — чтобы довершить это сравнение человека с богом забавным примером — он добавляет, что бог не может сделать, чтобы дважды десять не было двадцатью. Вот что он говорит! Но всем этим не должен был бы осквернять свои уста христианин. А между тем люди, наоборот, пользуются этой безумной дерзостью языка, с тем чтобы низвести бога до своего уровня:

cras vel atra
Nube polum pater occupato,
Vel sole puro; non tamen irritum
Quodcumque retro est, efficiet, neque
Diffinget infectumque reddet
Quod fugiens semel hora vexit.³⁹⁵

Когда мы говорим, что для бога бесчисленный ряд веков, как прошлых, так и будущих, только одно мгновение, что его благость, мудрость, могущество — то же самое, что и его сущность, то мы произносим слова, которых наш ум не понимает. И тем не менее наше самомнение побуждает нас мерить божество своим аршином. Отсюда проистекают все обманы и заблуждения, которыми охвачены люди, желающие свести к своим размерам и взвесить на своих весах существо, столь их превосходящее. *Mirum quo procedat improbitas cordis humani, parvulo aliquo invitata successu.*³⁹⁶

Стоики сурово упрекали Эпикура за то, что он только бога считал истинно благим и блаженным существом, а мудреца всего лишь тенью и подобием его.³⁹⁷ Как кощунственно связали они бога с судьбой (я бы хотел, чтобы ни один христианин не последовал за ним: в этом)! А Фалес, Платон и Пифагор подчинили его необходимости! Это нескромное желание узреть бога нашими глазами побудило одного из наших великих христиан³⁹⁸ приписать божеству телесную форму. По этой же причине мы постоянно приписываем божьей воле важные события, имеющие для нас особое значение; поскольку эти события много значат для нас, нам кажется, что они важны и для него и что он относится к ним серьезнее и внимательнее, чем к собы-

тиям, для нас мало значащим или обычным. *Magna dii curant, parva negligunt.*³⁹⁹ Послушайте, какой пример Цицерон приводит, — это разъяснит вам ход его мыслей: *Nec in regnis quidem reges omnia minima curant.*⁴⁰⁰

Как будто для бога имеет большее значение сокрушить империю, чем шелохнуть листок на дереве! Как будто его промысел осуществляется иначе, когда дело идет об исходе сражения, чем когда дело идет о прыжке блохи! Его рука управляет всем с одинаковой твердостью и постоянством. Наши интересы не имеют при этом никакого значения; наши побуждения и наши оценки его не трогают.

*Deus ita artifex magnus in magnis, ut minor non sit in parvis.*⁴⁰¹ Наше высокомерие всегда склоняет нас кощунственно сравнивать себя с богом. Так как дела обременяют людей, то Стратон освободил богов от всяких обязанностей, как освобождены были от них и священнослужители.⁴⁰² Он заставляет природу творить и сохранять все вещи и из их масс и движений создает все части мира, освобождая человека от страха перед божьим судом. *Quod beatum aeternumque sit, id nec habere negotii quisquam, nec exhibere alteri.*⁴⁰³ Природе угодно, чтобы сходные вещи имели и сходные отношения; поэтому бесконечное число смертных заставляет заключать о таком же числе бессмертных; бесконечное число вещей, несущих смерть и разрушение, заставляет предполагать такое же число целебных и полезных вещей. Подобно тому как души богов, не имея дара речи, глаз, ушей, чувствуют все одинаково и знают о наших мыслях, так и души людей, когда они свободны или оторваны от тела сном или состоянием экстаза, прорицают, предсказывают и предвидят такие вещи, которых они не могли бы увидеть, будучи соединены с телом.⁴⁰⁴

Люди, говорит святой Павел,⁴⁰⁵ «называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного бога изменили в образ, подобный тленному человеку. . .»

Присмотритесь, каким шарлатанством было обставлено обожествление у древнейших.⁴⁰⁶ После пышной и торжественной церемонии похорон, когда пламя касалось уже верхушки сооружения и охватывало ложе умершего, они выпускали орла, полет которого ввысь означал, что душа покойника отправилась в рай. У нас имеются тысячи

медалей — в том числе и выбитая в память благонравной супруги Фаустины,⁴⁰⁷ — на которых изображен орел, возносящий к небу эти обожествленные души. Жалкое зрелище! Мы сами себя обманываем нашими собственными измышлениями и притворством:

Quod finxere, timent,⁴⁰⁸

словно дети, вымазавшие сажей лицо одного из своей ватаги и потом сами пугающиеся его. Quasi quicquam infelicius sit homine cui sua figmenta dominantur.⁴⁰⁹ Почитать того, кто создал нас, далеко не одно и то же, что почитать того, кого создали мы сами. Августу было воздвигнуто более храмов, чем Юпитеру; ему поклонялись с таким же рвением и верили в совершаемые им чудеса. Жители Тасоса, желая отблагодарить Агесилая за оказанные им благодеяния, пришли однажды объявить, что они причислили его к сонму богов. «Разве во власти народа, — сказал он им, — делать богом кого вам заблагорассудится? В таком случае сделайте это для примера с одним из вас; а потом, когда я увижу что с ним приключится, я воздам вам великую благодарность за ваше предложение».⁴¹⁰

Человек крайне неразумен; он не в состоянии создать клеща, а между тем десятками создает богов.

Послушайте как восхваляет наши способности Трясмегист:⁴¹¹ из всех удивительных вещей самая поразительная та, что человек сумел изобрести божественную природу и создать ее. Послушайте рассуждения философов:

Nosse cui divos et caeli numina soli,
Aut soli nescire, datum.⁴¹²

«Если бог есть, то он живое существо;⁴¹³ если он живое существо, то обладает чувствами; если он обладает чувствами, то подвержен тлению. Если он не имеет тела, то не имеет и души, а следовательно, неспособен действовать; если же он имеет тело, то он тленен». Разве это не убедительное умозаключение? Мы неспособны создать мир; следовательно, существует более совершенная природа, которая создала его. Было бы глупым высокомерием с нашей стороны считать себя самым совершенным существом во вселенной; следовательно, имеется некое существо, более совершенное, чем мы: это бог. Когда

вы видите богатое и роскошное здание, то даже не зная, кто хозяин его, вы все же не скажете, что оно предназначено для крыс. Не должны ли мы в таком случае думать, что это божественное сооружение, этот созерцаемый нами небесный дворец является жилищем существа более возвышенного, чем мы? Разве все находящееся вверху не является всегда и более достойным? А ведь мы помещены внизу. Ничто, лишенное души и разума, не может породить что-либо одушевленное и обладающее разумом. Мир порождает нас; следовательно, он имеет душу и разум. Любая наша часть меньше, чем мы, мы — часть мира; следовательно, мир наделен мудростью и разумом в большей степени, чем мы. Прекрасная вещь — быть великим правителем; следовательно, управление миром принадлежит некоей блаженной природе. Светила не причиняют нам вреда; следовательно, они полны благодати. Мы нуждаемся в пище; следовательно, боги тоже в ней нуждаются и питаются парами, поднимающимися ввысь. Мирские блага не являются благами для бога; следовательно, они не являются благами и для нас. Наносить оскорбление и быть оскорбленным в одинаковой мере свидетельствует о слабости; следовательно, безумие — бояться бога. Бог благ по своей природе; человек же благ в меру своих стараний, а это выше. Божественная мудрость отличается от человеческой лишь тем, что она вечна; но длительность ничего не прибавляет к мудрости, следовательно, мы сотоварищи. Мы обладаем жизнью, разумом и свободой, почитаем благодать, милосердие и справедливость, следовательно, эти качества присущи богу. Словом, когда человек приписывает божеству какие-либо свойства или отказывает ему в них, он делает это по собственной мерке. Хорош пример! Хорош образец! Сколько бы мы ни усиливали, ни возвеличивали, ни раздували человеческие качества, это бесполезно; жалкий человек может пыжиться сколько ему угодно:

Non, si te ruperis, inquit.⁴¹⁴

Profecto non Deum, quem cogitare non possunt, sed semetipsos pro illo cogitantes, non illum sed se ipsos, non illi sed sibi comparant.⁴¹⁵

Даже в естественных случаях следствия лишь отчасти раскрывают причину, — что же сказать о данной причине, когда дело идет

о божестве? Она выше естественного порядка вещей; она слишком возвышенна, слишком далека от нас и слишком могущественна, чтобы наши заключения могли связывать и сковывать ее. К пониманию божества можно прийти не через нас, это слишком низменный путь. Находясь на Монсенесе,⁴¹⁶ мы не ближе к небу, чем находясь на дне морском. Можете убедиться в этом с помощью астрологии. Люди низводят бога до того, что приписывают ему — как это делалось не раз — даже плотское соединение с женщинами: Паулина, жена Сатурнина, матрона, славившаяся в Риме своей добродетелью, полагая, что сочетается с богом Сераписом, очутилась в объятиях одного из ее поклонников, что было подстроено жрецами этого храма.⁴¹⁷ Варрон, самый проникательный и самый ученый из латинских авторов, в своих книгах о богословии сообщает,⁴¹⁸ что служба храма Геркулеса играл в кости попеременно обеими руками — одной рукой за самого себя, а другой — за Геркулеса, с условием, что если выиграет он сам, то на доходы приготовит себе ужин и приведет любовницу, если же проиграл, то предложит за свой счет и то и другое Геркулесу. Он проиграл и расплатился своим ужином и молодой девушкой. Ее звали Лаврентиной; ночью она увидела во сне, будто очутилась в объятиях Геркулеса, который, между прочим, сказал ей, что первый же человек, которого она на следующий день встретит, щедро с нею расплатится за него. Это оказался богатый юноша Тарунций, который взял ее к себе и впоследствии сделал своей наследницей. Она же в свою очередь, желая сделать угодное этому богу, завещала свое наследство римскому народу и за это ее удостоили божеских почестей.

Считалось, что Платон⁴¹⁹ был божественного происхождения как по отцовской, так и по материнской линии, причем предком его в обоих случаях был Нептун; но мало того: в Афинах считалась достоверной следующая версия его происхождения. Аристон не знал, как овладеть прекрасной Периктионой; во сне бог Аполлон возвестил ему, чтобы он не прикасался к ней, пока она не разрешится от бремени: это и были отец и мать Платона.

Сколько существует подобных побасенок о том, как боги наставляли рога бедным смертным, и о мужьях, несправедливо оклеветанных ради детей?⁴²⁰

У магометан народ верит, что есть много таких Мерлинов,⁴²¹ т. е. детей, не имеющих отцов, зачатых духовно и рожденных божественным образом во чреве девственниц; они носят имя, означающее это понятие на их языке.⁴²²

Следует помнить, что для всякого существа нет ничего прекраснее и лучшего его самого (лев, орел и дельфин выше всего ценят себя подобных)⁴²³ и всякий сравнивает качества всех других существ со своими собственными. Эти качества мы можем усиливать или ослаблять, но мы не можем сделать ничего большего, ибо дальше этого сопоставления и этого принципа наше воображение неспособно пойти; оно не в состоянии вообразить ничего иного, оно не может выйти за эти пределы и переступить их! Так возникли следующие древние умозаключения: «Самый прекрасный из всех обликов — это человеческий; следовательно, богу присущ этот облик. Никто не может быть блаженным без добродетели; не может быть добродетели без разума, а разум нигде, кроме человеческого тела, находиться не может; следовательно, бог имеет человеческий облик».⁴²⁴

*Ita est informatum anticipatum mentibus nostris ut homini, cum de deo cogitet, forma occurrat humana.*⁴²⁵

Ксенофан,⁴²⁶ шутя, заявлял, что если животные создают себе богов (а это вполне правдоподобно!), то они, несомненно, создают их по своему подобию и так же превозносят их, как и мы. Действительно, почему, например, гусенок не мог бы утверждать о себе следующее:⁴²⁷ «Внимание вселенной устремлено на меня; земля служит мне, чтобы я мог ходить по ней; солнце — чтобы мне светить; звезды — чтобы оказывать на меня свое влияние; ветры приносят мне одни блага, воды — другие; небосвод ни на кого не взирает с большей благосклонностью, чем на меня; я любимец природы. Разве человек не ухаживает за мной, не дает мне убежище и не служит мне? Для меня сеет и мелет он зерно. Если он съедает меня, то ведь то же самое делает он и со своими сотоварищами — людьми, а я поедаю червей, которые точат и пожирают его». Сходным образом мог бы рассуждать о себе журавль и даже более красноречиво, ибо он свободно летает в этой прекрасной небесной выси и владеет ею: *tam blanda conciliatrix et tam sui est lena ipsa natura.*⁴²⁸

Следуя по этому же пути, мы утверждаем, что все предназначено для нас: для нас существует вселенная, для нас — свет, для нас гремит гром; как творец, так и все твари существуют для нас. Мы — цель всего, мы — центр, к которому тяготеет все сущее. Посмотрите летопись небесных дел, отмеченных философами на протяжении более двух тысячелетий; боги действовали и говорили, имея в виду только человека; у них не было никаких других забот и занятий. То они воевали против людей:

domitosque Herculea manu
Telluris iuvenes, unde periculum
Fulgens contremuit domus
Saturni veteris,⁴²⁹

то участвовали в наших смутах, воздавая нам за то, что мы много раз бывали участниками в их расправах:

Neptunus muros magnoque emota tridenti
Fundamenta quatit, totamque a sedibus urbem
Eruit. Hic Iuno Scaeas saevissima portas
Prima tenet.⁴³⁰

Желая обеспечить поклонение одним лишь богам своих отцов, все кавнии, вооружившись до зубов, бегут по своей земле, ударяя мечами по воздуху, чтобы поразить и изгнать из своих пределов чужеземных богов.⁴³¹ Боги наделяются теми способностями, которые нужны человеку: один исцеляет лошадей, другой — людей; один лечит чуму, другой — паршу, третий — кашель; один лечит такой-то вид чесотки, другой — такой-то (*adeo minimis etiam rebus prava religio inserit deos*⁴³²). Один бог содействует произрастанию винограда, другой — чеснока; один покровительствует разврату, другой — торговле; у ремесленников всякого рода — свой особенный бог; каждый бог имеет свою область: один чтится на востоке, другой — на западе:

hic illius arma
Hic currus fuit.⁴³³
O sancte Apollo, qui umbilicum certum terrarum obtines!⁴³⁴
Pallada Cecropidae, Minoia Creta Dianam,
Vulcanum tellus Hypsipylea colit,

Iunonem Sparte Pelopeiadesque Mycenael
 Pinigerum Fauni Moenalis ora caput;
 Mars Latio venerandus erat.⁴³⁵

Некоторые боги имеют в своем распоряжении всего лишь какую-нибудь деревню или владеют всего-навсего одним семейством; некоторые боги живут в одиночестве, другие — в добровольном или вынужденном союзе друг с другом.

Iunctaque sunt magno templa nepotis avo.⁴³⁶

Есть среди богов и столь захудалые (ибо число их было очень велико, достигая тридцати шести тысяч⁴³⁷), что для произрастания одного колоса пшеницы требовалось не менее пяти или шести богов, и все они имели разные имена. У каждой двери было три бога: один у половицы, другой у петель, третий у косяка; четыре бога были при колыбели ребенка: один ведал его пеленками, другой — его питьем, третий — пищей, четвертый — сосанием. Одни боги были известные, другие неизвестные и сомнительные, некоторые не допускались даже в рай:

Quos quoniam caeli nondum dignamur honore,
 Quas dedimus certe terras habitare sinamus.⁴³⁸

Были боги, введенные поэтами, физиками, гражданскими властями; некоторые боги, обладая наполовину божественной, наполовину человеческой природой, являлись посредниками между нами и богом, нашими заступниками перед ним. Им поклонялись с меньшим почтением, как божествам второго ранга; иные боги имели бесчисленное количество званий и обязанностей; одни добрые, другие — злые. Были боги старые и дряхлые, были и смертные. Хрисипп полагал, что при последнем мировом пожаре все боги погибнут, кроме Юпитера.⁴³⁹ Человек придумывает тысячу забавных связей между собой и богом: не бывает ли он иной раз его земляком?

Iovis incunabula Creten.⁴⁴⁰

Вот как объясняли это дело великий понтифик Сцевола и великий теолог тех времен Варрон: народ не должен знать многого из

того, что есть истина, и должен верить во многое такое, что есть ложь: ⁴⁴¹ cum veritatem qua liberetur, inquirat; credatur ei exredire, quod fallitur. ⁴⁴²

Человеческий глаз может воспринимать вещи лишь в меру его способностей. Вспомним, какой прыжок совершил несчастный Фаэтон, ⁴⁴³ когда захотел смертной рукой управлять конями своего отца. Наш разум также проваливается и терпит крушение из-за своего безрассудства. Если вы спросите философов, из какого вещества состоят небо и солнце, то разве они не скажут вам, что из железа или (вместе с Анаксагором) из камня, ⁴⁴⁴ или из какого-нибудь другого знакомого нам вещества? Если спросить у Зенона, ⁴⁴⁵ что такое природа, он ответит, что она — изумительный огонь, способный породить и действующий согласно твердым законам. Архимед, ⁴⁴⁶ величайший знаток той науки, которая приписывала себе наибольшую истинность и достоверность по сравнению с другими, утверждает: «Солнце — это бог, состоящий из раскаленного железа». Неплохая выдумка, к которой приводит уверенность в красоте и неизбежной принудительности геометрических доказательств! Однако они не так уж неизбежны и полезны; недаром Сократ считал, ⁴⁴⁷ что достаточно знать из геометрии лишь столько, чтобы уметь правильно измерить участок земли, который отдают или получают; а превосходный и знаменитый в этой области ученый Полиэн стал пренебрежительно относиться к геометрическим доказательствам, считая их ложными и призрачными, после того как он вкусил сладких плодов из безмятежных садов Эпикура.

Как рассказывает Ксенофонт, ⁴⁴⁸ Сократ утверждал по поводу вышеприведенного суждения Анаксагора о солнце и небе (последний в древности ценился выше всех философов своим знанием небесных и божественных явлений), что он помутился рассудком, как это случается со всеми теми, кто слишком глубоко вдается в исследование недоступных им вещей. Анаксагор, заявляя, что солнце есть раскаленный камень, не сообразил того, что камень в огне не светит и — что еще хуже — разрушается в пламени; далее, он считал, что солнце и огонь одно и то же, а между тем те, кто смотрит на огонь, не чернеют, и люди могут пристально смотреть на огонь, но не могут

смотреть на солнце; не учел он и того, что растения и травы не могут расти без солнечных лучей, но погибают от огня. Вместе с Сократом я держусь того мнения, что самое мудрое суждение о небе — это не иметь о нем никакого суждения.

Платон заявляет в «Тимее» по поводу природы демонов следующее:⁴⁴⁹ это дело превосходит наше понимание. Тут надо верить тем древним, которые сами, по их словам, произошли от богов. Неразумно не верить детям богов, хотя бы их рассказы и не опирались на убедительные и правдоподобные доказательства, ибо они повествуют нам о своих домашних и семейных делах.

Посмотрим, имеем ли мы более ясное представление о человеческих делах и делах, касающихся природы.

Разве не смешно приписывать вещам, которых наша наука, по нашему собственному признанию, не в состоянии постигнуть, другое тело и наделять их ложной, вымышленной нами формой. Так, поскольку наш ум не может представить себе движение небесных светил и их естественное поведение, мы наделяем их нашими материальными, грубыми и физическими двигателями:

temo aureus, aurea summae
Curvatura rotae, radiorum argenteus ordo.⁴⁵⁰

Похоже на то, как если бы у нас были возчики, плотники и маляры, которых мы отправили на небо, чтобы они там соорудили машины с различными движениями и наладили кругообращение небесных тел, отливающих разными цветами и вращающихся вокруг веретена необходимости:⁴⁵¹

Mundus domus est maxima rerum,
Quam quinque altitonae fragmine zonae
Cingunt, per quam limbus pictus bis sex signis
Stellimicantibus, altus in obliquo aethere, lunae
Bigas acceptat.⁴⁵²

Все это — грезы и безумные фантазии. Если бы в один прекрасный день природа захотела раскрыть нам свои тайны и мы увидели бы воочию, каковы те средства, которыми она пользуется для своих движений, то, боже правый, какие ошибки, какие заблуждения мы

обнаружили бы в нашей жалкой науке! Берусь утверждать, что ни в одном из своих заявлений она не оказалась бы права. Поистине, единственное, что я сколько-нибудь знаю, — это то, что я полнейший невежда во всем.

Разве не Платону принадлежит божественное изречение, что природа есть не что иное, как загадочная поэзия!⁴⁵³ Она подобна прикрытой и затуманенной картине, просвечивающей бесконечным множеством обманчивых красок, над которой мы изощряемся в догадках.

*Latent ista omnia crassis occultata et circumfusa tenebris, ut nulla acies humani ingenii tanta sit, quae penetrare in caelum, terram intrare possit.*⁴⁵⁴

Поистине, философия есть не что иное, как софистическая поэзия. Разве все авторитеты древних авторов не были поэтами? Да и сами древние философы были лишь поэтами, излагавшими философию поэтически. Платон — всего лишь расплывчатый поэт. Тимон, насмехаясь над ним, называет его великим кудесником.⁴⁵⁵

Подобно тому как женщины, потеряв зубы, вставляют себе зубы из слоновой кости и вместо естественного цвета лица придают себе с помощью красок искусственный, делают себе накладные груди и бедра из сукна, войлока или ваты и на глазах у всех создают себе поддельную и мнимую красоту, не пытаясь никого ввести в заблуждение, — совершенно так же поступает наука (включая даже право-ведение, ибо оно пользуется юридическими фикциями, на которых зиждется истинность его правосудия); она выдает нам за истины и вероятные гипотезы вещи, которые она сама признает вымышленными. Действительно, все эти концентрические и эксцентрические эпициклы, которыми астрономия пользуется для объяснения движения светил, она выдает нам за лучшее, что она могла по этому поводу придумать; и точно так же философы рисуют нам не то, что есть, и не то, что они думают, а то, что они измышляют как наиболее правдоподобное и привлекательное. Так, Платон,⁴⁵⁶ объясняя строение тела у человека и у животных, заявляет: «Мы бы утверждали истинность того, что мы сейчас изложили, если бы получили на этот счет подтверждение оракула; поэтому мы заявляем, что это лишь наиболее правдоподобное из того, что мы могли сказать».

Философы не только наделяют небо своими канатами, колесами и двигателями. Послушаем, что они говорят о нас самих и о строении нашего тела. У планет и небесных тел не больше всяких отклонений, сближений, противостояний, скачков и затмений, чем они приписали жалкому крохотному человеческому телу. Они действительно с полным основанием могли назвать человеческое тело микрокосмом, поскольку они употребили для создания его столько различных частей и форм. На сколько частей разделили они нашу душу, чтобы объяснить движения человека, различные функции и способности, которые мы ощущаем в себе, в скольких местах они поместили ее! А помимо естественных и ощутимых нами движений, на сколько разрядов и этажей разделили они несчастного человека! Сколько обязанностей и занятий придумали для него! Они превращают его в якобы общественное достояние: это предмет, которым они владеют и распоряжаются; им предоставляется полная свобода расчленять его, соединять и вновь составлять по своему усмотрению; и тем не менее они все еще не разобрались в нем. Они не в состоянии постигнуть его не только на деле, но даже и своей фантазией; какой-то штрих, какая-то черта всегда ускользает от них, как ни грандиозно придуманное ими сооружение, составленное из тысячи фиктивных и вымышленных частей. Но это не основание к тому, чтобы извинять их; в самом деле, если живописцы⁴⁵⁷ рисуют небо, землю, моря, горы и отдаленные острова, то мы готовы удовлетвориться, чтобы они изображали нам лишь нечто слегка им подобное; поскольку это вещи нам неизвестные, мы довольствуемся неясными и обманчивыми очертаниями; но когда они берутся рисовать нам с природы какой-нибудь близкий и знакомый нам предмет, мы требуем от них точного и правильного изображения линий и красок, и презираем их, если они не в состоянии этого сделать.

Я одобряю ту остроумную служанку-милетянку, которая, видя, что ее хозяин философ Фалес постоянно занят созерцанием небесного свода и взор его всегда устремлен ввысь, подбросила там, где он должен был проходить, какой-то предмет, чтобы он споткнулся;⁴⁵⁸ она хотела дать ему понять, что он успеет насладиться заоблачными высями после того, как уделит внимание тому, что лежит у его ног.

Она таким образом правильно посоветовала ему смотреть больше на себя, чем на небо, ибо, как говорит Демокрит устами Цицерона,

Quod est ante pedes, nemo spectat; caeli scrutantur plagas.⁴⁵⁹

Но мы устроены так, что даже познание того, что лежит у нас в руках, не менее удалено от нас и не менее для нас недостижимо, чем познание небесных светил. Как говорит Сократ у Платона,⁴⁶⁰ всякого, кто занимается философствованием, можно упрекнуть в том же, в чем эта женщина упрекнула Фалеса, а именно — что он не замечает того, что у него под носом. Такой философ действительно не знает ни того, что представляет собой его сосед, ни того, что он сам собой представляет; он не знает даже, являются ли они оба людьми или животными.

Не приходилось ли тем людям, которые находят доводы Раймунда Сабундского слишком слабыми,⁴⁶¹ для которых нет ничего неизвестного, которые воображают, будто управляют миром и все понимают:

Quae mare compescant causae; quid temperet annum;
Stellae sponte sua iussaeve vagentur et errent;
Quid premat obscurum Lunae, qui proferat orbem;
Quid velit et possit rerum concordia discors,⁴⁶²

сталкиваться в своих книгах с трудностями, встающими перед всяким, кто хочет познать свое собственное существование? Мы ясно видим, что палец двигается и что нога двигается; что некоторые наши органы двигаются сами собой, без нашего ведома, другие же, наоборот, приводятся в движение по нашему повелению; что одно представление заставляет нас краснеть, другое — бледнеть; что одно впечатление действует только на селезенку, другое — на мозг; что одно заставляет нас смеяться, другое — плакать, а бывает и такое, которое поражает все наши чувства и останавливает движение всех наших членов; что одно представление приводит в движение наш желудок, а другое — орган, находящийся пониже. Но для человека всегда оставалось неизвестным, каким образом умственное впечатление вызывает такие изменения в телесном и материальном предмете, какова природа этой связи и сочетания этих удивительных сил.

*Omnia incerta ratione et in naturae maiestate abdita,*⁴⁶³ — говорит Плиний. А блаженный Августин заявляет: *Modus quo corporibus adhaerent spiritus, omnino mirum est, nec comprehendi ab homine potest: et hoc ipse homo est.*⁴⁶⁴ И тем не менее эта связь никем не ставится под сомнение, ибо мнения людей покоятся на авторитете древних; их принимают на веру, как если бы это были религия или закон. То, что общепризнано, воспринимается как некий условный язык, непонятный непосвященным: такую истину принимают вместе со всей цепью ее доводов и доказательств, как нечто прочное и нерушимое, не подлежащее дальнейшему обсуждению. Всякий старается, наоборот, укрепить и приукрасить эту принятую истину в меру сил своего разума, являющегося гибким и подвижным орудием, прилаживающимся к любой вещи. Так, мир наводняется нелепостью и ложью. Во многих вещах не сомневаются потому, что общепринятых мнений никогда не проверяют; никогда не добираются до основания, где коренится ошибка или слабое место; спорят не о корешках, а о верхушках; задаются не вопросом, правильно ли что-нибудь, а лишь вопросом, понималось ли это таким или иным образом. Спрашивают не о том, сказал ли Гален⁴⁶⁵ нечто ценное, а сказал ли он так или иначе. Вполне естественно поэтому, что это подавление свободы наших суждений, эта установившаяся по отношению к нашим взглядам тирания широко распространилась, захватив наши философские школы и науку. Аристотель — это бог схоластической науки,⁴⁶⁶ оспаривать его законы — такое же кощунство, как нарушать законы Ликурга в Спарте. Его учение является у нас незыблемым законом, а между тем оно, быть может, столь же ошибочно, как и всякое другое. Я не вижу оснований, почему бы мне не принять с такой же готовностью идеи Платона,⁴⁶⁷ атомы Эпикура, полное и пустое Левкиппа и Демокрита, воду Фалеса, бесконечную природу Анаксимандра, воздух Диогена, числа и симметрию Пифагора, бесконечное Парменида, единое Мусэя, воду и огонь Аполлодора, сходные частицы Анаксагора, раздор и любовь Эмпедокла, огонь Гераклита или любое другое воззрение из бесконечного хаоса взглядов и суждений, порождаемых нашим хваленым человеческим разумом, его пронизательностью и уверенностью во всем, во что он вмешивается.

Я не вижу, почему я должен принимать учение Аристотеля об основах природных вещей; эти принципы, по мысли Аристотеля, сводятся к материи, форме и «лишенности» формы.⁴⁶⁸ Может ли быть что-нибудь более нелепое, чем считать само отсутствие формы, «лишенность» ее, причиной происхождения вещей? Ведь «лишенность» есть нечто отрицательное; по какой же прихоти ее можно считать причиной и началом вещей, которые существуют? Но решиться оспаривать это можно только ради упражнения в логике, ибо об этом спорят не для того, чтобы что-нибудь поставить под сомнение, а лишь для того, чтобы защитить главу школы от возражений противников: его авторитет — это та цель, которая выше всяких сомнений.

Из общепризнанных положений нетрудно построить все, что угодно, так как остальная часть сооружения строится легко, без препятствий, по тому же закону, что и основание. Действуя таким путем, мы находим, что наши соображения твердо обоснованы и рассуждаем уверенно; ибо наши учителя настолько завоевывают наперед наше доверие, что могут потом выводить все, что им угодно, по примеру геометров, исходящих из принятых ими постулатов. То, что мы согласны с нашими учителями и одобряем их, дает им возможность склонять нас то вправо, то влево и заставляет нас плясать под их дудку. Тот, чьим гипотезам верят, становится нашим учителем и богом: он строит столь обширный и на вид ясный план своих сооружений, что по ним он может, если захочет, легко поднять нас до облаков.

Применяя такой подход к науке, мы приняли за чистую монету изречение Пифагора, что всякий знаток должен пользоваться доверием в своей науке. Диалектик обращается к знатоку грамматики по вопросу о значении слов; знаток реторики заимствует у диалектика его аргументы; поэт заимствует у музыканта его ритмы, геометр — у знатока арифметики его пропорции; метафизик же принимает за основу гипотезы физики. Всякая наука имеет свои признанные принципы, которыми человеческое суждение связано со всех сторон. Если вы захотите разрушить этот барьер — главную причину заблуждений, вы тотчас же услышите исходящее из их уст поучение, что не следует спорить с теми, кто отрицает принципы.

Но у людей не может быть принципов, если божество не открыло им их. А все остальное — начало, середина и конец — не что иное, как бесплодная фантазия. Те, кто спорит против предвзятых положений, явно исходит из таких же предвзятых положений, которые можно оспаривать. Ибо всякое положение, высказываемое человеком, имеет такую же опору в авторитете, как и любое другое, если только разум не сделает между ними различия. Поэтому необходимо все их взвешивать и в первую очередь наиболее распространенные и властвующие над нашими умами. Уверенность в несомненности есть вернейший показатель неразумия и крайней недостоверности; и нет людей более легкомысленных и менее философских, чем филодоксы⁴⁶⁹ Платона. Надо исследовать все: горяч ли огонь, бел ли снег, можем ли мы признать что-либо твердым или мягким. Что же касается вздорных ответов, какие давались в древности, — вроде, например, того, что ставившему под сомнение тепло предлагали броситься в огонь, а не верившему, что снег холоден, советовали положить его себе на грудь, — то они совершенно недостойны истинных философов. Если бы нас оставили в нашем естественном состоянии, при котором мы воспринимали бы вещи так, как они представляются нашим чувствам, и если бы нам предоставили возможность следовать нашим простым потребностям, определяемым условиями нашего происхождения, то эти умники имели бы основание рассуждать таким образом; но у них мы научились считать себя судьями мира; от них мы восприняли представление, что человеческий разум является главным контролером всего, что находится вне и внутри небесного свода, что он способен все охватить, все может, что с помощью его все познается и постигается. Такой ответ годился бы для каннибалов, которые наслаждаются долгой, спокойной и мирной жизнью, не зная правил Аристотеля и даже самого названия физики. В этом случае такой ответ был бы лучше и убедительнее всех почерпнутых ими из разума или придуманных ими. Такой ответ могли бы дать вместе с нами все животные и все те, кто живут еще под властью простого и безыскусственного естественного закона; но философы отказались от этого. Мне не нужно, чтобы они говорили мне: «Это истинно потому, что вы так видите и чувствуете»; мне нужно, чтобы

они мне сказали, чувствую ли я действительно то, что мне кажется; и если я действительно это чувствую, пусть они объяснят мне название, происхождение, все свойства и следствия тепла и холода, все качества действующего начала и начала, на которое воздействуют. В противном случае пусть они откажутся от своего звания философов, требующего принимать и одобрять только то, что доказано разумом; это их пробный камень при всех испытаниях; но он, разумеется, приводит к ошибкам и заблуждениям, ибо он слаб и недостаточен.

Чем мы можем лучше всего испытать разум как не посредством его же самого? Но если не следует верить его показаниям о самом себе, то как можно верить его суждениям о посторонних ему вещах? Если разум что-либо знает, то по крайней мере он знает, какова его собственная сущность и где его местонахождение. Он находится в душе и составляет часть ее или ее действие; ибо подлинный и главный разум, название которого мы неправильно присваивали нашему, находится в лоне бога: там его обиталище и убежище; оттуда он выходит, когда богу угодно дать нам узреть какой-нибудь луч его, подобно Палладе, вышедшей из головы своего отца, чтобы приобщиться к миру.⁴⁷⁰

Посмотрим же, чему человеческий разум учит нас о самом себе и о душе: не о душе вообще, которою почти вся философия наделяет небесные тела и важнейшие элементы, и не о той душе, которую Фалес, ссылаясь на действие магнита, приписывал даже неодушевленным предметам; но о той душе, которая находится в нас и которую мы поэтому должны лучше всего знать:

Ignoratur enim quae sit natura animai,
Nata sit, an contra nascentibus insinuetur,
Et simul intereat nobiscum morte dirempta,
An tenebras Orci visat, vastasque lacunas,
An pecudes alias divinitus insinuet se.⁴⁷¹

Кратета и Дикеарха⁴⁷² человеческий разум учил тому, что души вообще не существует и что тело приводится в движение естественным движением, Платона — что душа есть самодвижущаяся субстан-

ция, Фалеса — что она представляет собой естество, лишенное покоя, Асклепиада — что она есть упражнение чувств, Гесиода и Анаксимандра — что она есть вещество, состоящее из земли и воды, Парменида — что она состоит из земли и огня, Эмпедокла — что она из крови:

Sanguineam vomit ille animam,⁴⁷³

Посидония, Клеанта и Галена — что душа представляет собой тепло или теплородное тело:

Igneus est ollis vigor, et caelestis origo.⁴⁷⁴

Гиппократу человеческий разум учил тому, что душа — это дух, разлитый в теле; Варрона — что она воздух, вдыхаемый ртом, согревающийся в легких, превращающийся в сердце в жидкость и распространяющийся по всему телу; Зенона — что она есть сущность четырех стихий; Гераклита Понтийского — что она есть свет; Ксенократа и египтян — что она переменное число; халдеян — что она есть сила, лишенная определенной формы:

habitum quendam vitalem corporis esse,
Harmoniam Graeci quam dicunt.⁴⁷⁵

Не забудем и Аристотеля, согласно которому душа есть то, что естественно заставляет тело двигаться и что он называет энтелехией;⁴⁷⁶ но это название ничего не объясняет, ибо оно ничего не говорит ни о сущности, ни о происхождении, ни о природе души, а лишь о ее действии. Лактанций, Сенека и большинство догматиков признавали, что душа есть нечто для них непонятное. Изложив все эти взгляды, Цицерон заявляет: *Harum sententiarum quae vera sit, deus aliquis viderit.*⁴⁷⁷ «Я знаю по себе, — говорит святой Бернад,⁴⁷⁸ — насколько бог непостижим, ибо я не в состоянии понять даже, что представляют собой части моего собственного существа». Гераклит,⁴⁷⁹ полагавший, что все полно душ и демонов, утверждал, однако, что, как бы далеко мы ни подвинулись в познании души, мы все же никогда не узнаем ее до конца — так глубока ее сущность.

Не меньше разногласий и споров существует по вопросу о местопребывании души. Гиппократ и Герофил⁴⁸⁰ помещают ее в желудочке мозга, Демокрит и Аристотель — во всем теле:

Ut bona saepe valetudo cum dicitur esse
Corporis, et non est tamen haec pars ulla valentis,⁴⁸¹

Эпикур помещает ее в желудке:

Hic exultat enim pavor ac metus, haec loca circum
Laetitiae mulcent.⁴⁸²

Стоики помещают душу в сердце и вокруг него,⁴⁸³ Эрасистрат⁴⁸⁴ — в черепной оболочке, Эмпедокл — в крови, так же как и Моисей, запретивший поэтому употреблять в пищу кровь животных, с которою соединена их душа; Гален полагал, что всякая часть тела имеет свою душу; Стратон помещал ее между бровями! *Qua facie quidem sit animus aut ubi habitet, ne quaerendum quidem est,*⁴⁸⁵ — говорит Цицерон. Я охотно привожу его собственные слова, не желая исказить его манеру выражаться, тем более что мало смысла присваивать себе его мысли: они встречаются нередко, довольно тонки и неизвестны. Не следует также забывать причину, по которой Хрисипп и другие его последователи помещают душу в области сердца. Это потому, говорит он, что когда мы хотим сказать нечто утвердительное, мы кладем руку на сердце, а когда мы хотим произнести ἐῖώ, что по-гречески означает «я», наша нижняя челюсть опускается к сердцу. Нельзя не отметить нелепость этого рассуждения, хотя оно и принадлежит столь выдающемуся философу: ибо, помимо того, что приведенные доводы чрезвычайно легковесны, второй из них мог бы доказывать только, что у греков, а не у других народов, душа находится в этом месте. Даже самая неутомимая человеческая мысль впадает иногда в дремоту!

Что сказать обо всем этом? Мы видим, что даже стоики, эти родоначальники человеческой мудрости, считают, что душа, подавленная разрушением тела, долгое время томится и всячески старается вырваться из него, как мышь, попавшая в мышеловку.⁴⁸⁶

Некоторые полагают, что мир был сотворен для того, чтобы в виде наказания наделить телами падших ангелов, лишившихся по

своей вине той чистоты, в которой они были созданы, ибо первоначальное творение было бестелесным; и в зависимости от того, насколько они отдалились от своей былой духовности, их воплощают в более легкие или в более грузные тела. Отсюда проистекает разнообразие созданной материи. Но тот ангел, который в виде наказания облечен был в тело солнца, должен был претерпеть чрезвычайно редкое и сильное изменение. Подобно тому как это имеет место, по словам Плутарха (в предисловии к его жизнеописаниям),⁴⁸⁷ на картах мира, где крайние границы известных нам земель окружены болотами, густыми лесами и пустынными и необитаемыми пространствами, — области, находящиеся у пределов нашего исследования, покрыты глубоким мраком. Вот почему самые грубые и вздорные выдумки мы встречаем большей частью у тех, кто занимается самыми возвышенными и трудными вопросами; любознательность и высокомерие заставляют их погружаться в глубокие бездны. Но и у истоков науки, и у конечных пределов ее мы одинаково встречаем глупость: вспомните, как устремляется ввысь мысль Платона в его поэтических мечтаниях; послушайте, как он говорит на языке богов. Однако о чем он думал, определяя человека как двуногое бесперое животное!⁴⁸⁸ Ведь этим он доставил великолепный случай желающим посмеяться над ним: ошипав живого каплуна, они потом называли его «человеком Платона».

А что сказать об эпикурейцах? Сначала они наивно воображали, что мир создан из атомов, которые они считали телами, обладающими известным весом и естественным тяготением книзу. Но потом их противники указали им на то, что раз, согласно их описанию, атомы падают вниз прямо и перпендикулярно, образуя при этом параллельные линии, они не могут соединяться и связываться друг с другом. Чтобы исправить свою ошибку, им пришлось прибавить еще боковое, случайное движение и наделить, кроме того, свои атомы кривыми и изогнутыми концами, чтобы они могли соединяться и цепляться друг за друга!

Но после этой поправки их противники выдвинули следующее соображение, которое ставит эпикурейцев в весьма затруднительное положение.⁴⁸⁹ Если атомы могли составить такое множество различ-

ных фигур, то почему они никогда не расположились так, чтобы образовать дом или башмак? Почему точно так же нельзя себе представить, что достаточно высыпать бесчисленное множество букв греческого алфавита, чтобы получить текст Илиады? То, что имеет разум, говорит Зенон, лучше, чем то, что не имеет его; но нет ничего лучше мира, следовательно, он наделен разумом. Путем такого же рассуждения Котта делает мир математиком; затем, опираясь на другой аргумент того же Зенона, гласящий: «целое больше части; мы способны к мудрости и являемся частью мира, следовательно, мир мудр», делает мир музыкантом и органистом.

Можно было бы привести бесчисленное множество подобного рода доводов — не только ложных, но и нелепых, совершенно несостоятельных и говорящих не столько о невежестве, сколько о вздорности тех философов, которые выдвигали эти доводы в спорах между собой и представляемыми ими школами. Можно было бы сделать поразительный подбор таких несуразностей, именующих себя человеческой мудростью.

Я охотно собираю подобные образцы, изучать которые в некоторых отношениях не менее полезно, чем рассматривать высказывания здравые и умеренные. По ним мы можем судить, что мы должны думать о человеке, его чувствах и его разуме, если у таких выдающихся людей, поднявших дарования человека на огромную высоту, встречаются столь явные и столь грубые ошибки. Что касается меня, то я склонен думать, что они занимались наукой между прочим и пользовались ею, как игрушкой, годной для всех; они забавлялись разумом как легким развлекательным инструментом, придумывая всякого рода малозначащие или совсем пустые измышления и фантазии. Тот самый Платон, который дал человеку определение, годящееся для каплуна, в другом месте ⁴⁹⁰ устами Сократа говорит, что он поистине не знает, что такое человек и что человек — одна из наиболее труднопознаваемых вещей в мире. Обнаруживая такое непостоянство и шаткость своих взглядов, они как бы за руку, невольно приводят нас к выводу об отсутствии у них всяких прочных выводов. Они стараются не высказывать своих взглядов открыто и ясно; они прикрывают их то баснословными вымыслами поэзии, то

какой-нибудь другой маской, ибо наша слабость проявляется и в том, что сырое мясо не всегда годится для нашего желудка: его надо сначала прокоптить, просолить или как-то еще иначе приготовить. Именно так поступают и они. По большей части они затемняют и искажают свои подлинные взгляды и суждения, стремясь сделать их пригодными для общего пользования. Чтобы не пугать детей, они не хотят открыто признать, что наш разум слаб и многого не знает; но они достаточно раскрывают нам это, показывая непостоянство и противоречивость науки.

Находясь в Италии, я дал одному человеку, плохо изъяснявшемуся по-итальянски, следующий совет: поскольку он хочет только, чтобы его понимали, а не стремится хорошо говорить на этом языке, пусть он употребляет первые попавшиеся ему слова — латинские, французские, испанские или гасконские, — прибавляя к ним итальянские окончания; в таком случае его речь непременно совпадет с каким-нибудь наречием страны: тосканским, римским, венецианским, пьемонтским или неаполитанским, или с какой-нибудь из их разновидностей. То же самое я мог бы сказать и о философии: она выступает в столь разнообразных облициях и содержит столько разных положений, что можно найти в ней любые наши домыслы и бредни. Человеческое воображение не в состоянии придумать ничего хорошего или плохого, чего в ней уже не было бы кем-нибудь сказано. *Nihil tam absurde dici potest quod non dicatur ab aliquo philosophorum.*⁴⁹¹ Я с тем большей готовностью выпускаю в свет плоды моих причуд, что, хотя они являются моим порождением и ни с кого не списаны, я все же убежден, что нечто подобное найдется у какого-нибудь древнего автора, и тогда наверное кто-нибудь скажет: «Вот откуда он почерпнул их!»

Мои правила жизни естественные, и для выработки их я никогда не прибегал к учению какой-либо школы. Но, так как они были очень простые, то, когда у меня явилось желание изложить их, я, стремясь выпустить их в свет в несколько более приличном виде, вменил себе в обязанность подкрепить их рассуждениями и примерами и сам был крайне удивлен, когда оказалось, что они случайно совпали со столькими философскими примерами и рассуждениями. Каков был строй

моей жизни, я узнал только после того, как она была прожита и близка к завершению; вот новая фигура непредвиденного и случайного философа!

Но вернемся к вопросу о нашей душе. Когда Платон⁴⁹² помещал разум в мозгу, гнев в сердце, а вожделение в печени, он, по-видимому, скорее хотел дать истолкование наших душевных движений, нежели разгораживать и разделять душу, подобно телу, на множество частей. Наиболее правдоподобным из философских взглядов является тот, согласно которому существует только одна душа, которая с помощью различных частей тела рассуждает, вспоминает, понимает, судит, желает и совершает все другие свои действия, подобно тому как кормчий управляет кораблем, применяя на деле весь свой опыт, — то натягивая или отпуская какой-нибудь канат, то ставя парус, то налегая на весло, причем все эти различные действия исходят только от него одного. Мне представляется также наиболее правдоподобным, что душа помещается в мозгу; это явствует из того, что ранения и несчастные случаи, поражающие мозг, тотчас же отражаются на душевных способностях; нет ничего невероятного в том, что из мозга душа проникает во все остальные части тела:

medium non deserit unquam
Caeli Phoebus iter; radiis tamen omnia lustrat,⁴⁹³

подобно солнцу, которое излучает свой свет и тепло, наполняя им вселенную:

Cetera pars animae per totum dissita corpus
Paret, et ad numen mentis nomenque movetur.⁴⁹⁴

Некоторые утверждали, что первоначально существовала общая душа, подобная огромному телу, из которой выделились затем все отдельные души и в которую они возвращаются, постоянно смешиваясь с этой всеобщей материей:

Deum namque ire per omnes
Terrasque tractusque maris caelumque profundum:
Hinc pecudes, armenta, viros, genus omne ferarum,
Quemque sibi tenues nascentem arcessere vitas;
Scilicet huc reddi deinde ac resoluta referri
Omnia: nec morti esse locum.⁴⁹⁵

Одни полагали, что души вновь возвращаются в эту общую душу и воссоединяются с ней; другие утверждали, будто души были созданы из божественной субстанции; третьи — что они созданы ангелами из огня и воздуха. Одни уверяли, что души существуют от века, другие — что только с того момента, как они воплотились в тело; третьи полагали, что души спускаются с луны и возвращаются туда же. Большинство древних считало, что души переходят от отца к сыну и что это совершается так же естественно, как и всякие другие явления в природе; они доказывали это сходством детей с отцами:

Instillata patris virtus tibi: ⁴⁹⁶

.
Fortes creantur fortibus et bonis, ⁴⁹⁷

ссылаясь на то, что дети перенимают от отцов не только телесное сходство, но и одинаковый нрав и одинаковые душевные склонности:

Denique cur acris violentia triste leonum
Seminum sequitur; dolus vulpibus, et fuga cervis
A patribus datur, et patrius pavor incitat artus;
Si non certa, sua quia semina seminioque
Vis animi pariter crescit cum corpore quoque? ⁴⁹⁸

Они указывали, что на этом покоится божественное правосудие, карающее детей за грехи отцов, ⁴⁹⁹ ибо отцовские пороки как-то заражают души детей и накладывают на них свой отпечаток, вследствие чего испорченность воли отцов отражается на детях. Некоторые утверждали, что если бы души возникали не естественным путем, а как-то иначе и, находясь вне тела, были бы чем-то иным, то, обладая естественными способностями: мыслить, рассуждать и вспоминать, они должны были бы сохранить воспоминание о своем первоначальном существовании:

si in corpus nascentibus insinuat,ur,
Cur superante actam aetatem meminisse nequimus,
Nec vestigia gestarum rerum ulla tenemus? ⁵⁰⁰

Ведь, для того чтобы оценить способности наших душ столь высоко, как нам хотелось бы, следует предположить, что, пребывая в своем естественном состоянии простоты и невинности, они были

всеведущими. И такими они должны были быть, пока пребывали свободными от телесного плена, до того как вошли в тело; и мы надеемся, что они опять станут такими после того, как покинут его. Но и находясь в теле, они должны были бы сохранять воспоминание об этом знании, как утверждал Платон, согласно которому то, чему мы научаемся, есть лишь воспоминание о том, что мы уже знали раньше. Однако всякий может по своему опыту доказать ложность этого положения; во-первых, потому, что мы вспоминаем только то, чему нас научили; и если бы сущность души сводилась только к памяти, то мы по крайней мере должны были бы узнать кое-что сверх того, чему нас учили; а во-вторых, то, что душа знала, пребывая в своей чистоте, было совершенным знанием, ибо благодаря своему божественному пониманию душа познавала вещи такими, каковы они в действительности, между тем как, обучая ее здесь, ей прививают ложь и порок! Поэтому она не может воспользоваться своей способностью воспоминания, ибо эти образы и представления никогда не находились в ней раньше. Утверждать, что пребывание в теле до такой степени подавляет первоначальные способности души, что все они глхнут, прежде всего противоречит тому другому убеждению, а именно, что силы души столь велики и ее действия, которые люди испытывают в этой жизни, столь удивительны, что отсюда можно сделать вывод о ее божественном происхождении и существовании от века, а также о предстоящем ей бессмертии:

Nam si tanto opere est animi mutata potestas
Omnis ut actarum exciderit retinentia rerum,
Non, ut opinor, ea ab leto iam longior errat.⁵⁰¹

Кроме того, силы и действия души следует рассматривать здесь, у нас на земле, а не в другом месте, ибо все прочие ее совершенства тщетны и бесполезны: ее бессмертие должно признаваться на основании того, чем она является в настоящем, и на основании того, что она значит в жизни человека. Было бы несправедливо отнять у души ее силы и способности, обезоружить ее с тем, чтобы на основании того срока, когда она будет находиться в плену, будет заточена в теле, будет слаба и больна, будет вынуждена терпеть

насилие и принуждение, — чтобы на основании ее действий за этот срок вынести приговор, обрекающий ее на вечные муки; было бы несправедливо принять в расчет этот краткий срок, который — длится ли он несколько часов или, самое большее, сотню лет — есть лишь один миг по сравнению с бесконечностью, и на основании того, что сделано в этот промежуток времени, вынести душе окончательное решение ее участи. Было бы большой несправедливостью получить вечное воздаяние за столь краткую жизнь.

Платон,⁵⁰² желая устранить это несоответствие, считал, что посмертное воздаяние должно ограничиваться сроком в сто лет, ибо таков примерно срок человеческой жизни, и многие христианские авторы также ограничивали воздаяние определенным временем.

Вместе с Эпикуром и Демокритом, взгляды которых по вопросу о душе были наиболее приняты, философы считали, что жизнь души разделяет общую судьбу вещей, в том числе и жизни человека; они считали, что душа рождается так же, как и тело; что ее силы прибывают одновременно с телесными; что в детстве она слаба, а затем наступает период ее зрелости и силы, сменяющийся периодом упадка и старостью, и под конец, душа впадает в дряхлость:

*gigni pariter cum corpore, et una
Crescere sentimus, pariterque senescere mentem.*⁵⁰³

Они считали, что душа способна испытывать различные страсти и переживать разные мучительные волнения, повергающие ее в усталость или причиняющие ей страдания; она способна испытывать превращения и изменения, чувствовать радость, впадать в дремоту и в апатию; она подвержена болезням и может быть поранена, подобно желудку или ноге:

*mentem sanari, corpus ut aegrum
Cernimus, et flecti medicina posse videmus.*⁵⁰⁴

Душа бывает возбуждена и омрачена под влиянием вина, теряет равновесие под влиянием лихорадки, засыпает под влиянием одних лекарств и пробуждается под влиянием других:

*corpoream naturam animi esse necesse est
Corporeis quoniam telis ictuque laborat.*⁵⁰⁵

Достаточно укуса бешеной собаки, чтобы потрясти душу до основания и привести все ее способности в расстройство; от действия этих случайностей ее не может избавить никакая сила разума, никакие способности, никакая добродетель, никакая философская решимость или напряжение всех сил. Слюна паршивой дворняжки, забрызгав руку Сократа, может погубить всю его мудрость, все его великие и глубокомысленные идеи, уничтожить их дотла, не оставив и следа от всего его бывшего знания:

vis animai
Conturbatur et divisa seorsum
Disiectatur, eodem illo distracta veneno.⁵⁰⁶

Его душа не больше будет в состоянии оказать этому яду сопротивление, чем душа четырехлетнего ребенка; этот яд способен превратить всю воплотившуюся в человека философию в бешеную и безумную; он действует так, что Катон, который смело бросал вызов судьбе и самой смерти, после того как он заразился от бешеной собаки и заболел тем, что врачи называют водобоязнью, не мог смотреть без страха и ужаса на зеркало или на воду:

vis morbi distracta per artus
Turbat agens animam, spumantes aequore salso
Ventorum ut validis fervere viribus undae.⁵⁰⁷

Правда, раз уж мы завели об этом речь, надо признать, что философия хорошо научила человека переносить всякого рода несчастья, вооружив его либо терпением, либо если уж очень трудно вытерпеть, то самым верным средством: полнейшим бесчувствием. Однако все эти ресурсы годятся лишь для души здоровой, которая владеет своими силами, способна рассуждать и решать, но они совершенно бессильны, когда душа — если даже это душа философа — впадает в безумие, когда она потрясена, надломлена. Так бывает во многих случаях, когда душа испытывает слишком бурное волнение, вызванное какой-нибудь сильной страстью, либо ранением какой-нибудь

части тела, либо вздутием желудка, приводящим к помрачению сознания и головокружению:

morbis in corporis, avius eirat
 Saepe animus: dementit enim, deliraque fatur;
 Interdumque gravi lethargo fertur in altum
 Aaeternumque soporem, oculis nutuque cadenti.⁵⁰⁸

Философы, как мне кажется, никогда не касались этой темы, а равным образом и другой, имеющей не менее важное значение. Чтобы нас утешить в нашем бренном существовании, у них всегда на устах следующая дилемма: душа либо смертна, либо бессмертна. Если она смертна, то она избавлена от наказаний; если она бессмертна, то она будет все более и более совершенствоваться. Они никогда не ставят себе вопроса: «А что, если она будет все время ухудшаться?», и предоставляют поэтам расписывать загробные кары. Но они слишком облегчают себе этим дело. Я постоянно замечаю в их рассуждениях два слабых пункта. Сначала скажу о первом.

Такая душа теряет влечение к высшему благу стойков, столь, казалось бы, постоянное и незыблемое. В этом случае нашей хваленой мудрости приходится сдаться и сложить оружие. Впрочем, философы, увлекаемые суетным человеческим разумом, считали, что нельзя представить себе смешения и сосуществования двух столь разных вещей, как смертное тело и бессмертная душа:

Quippe etenim mortale aeterno iungere, et un
 Consentire putare, et fungi mutua posse
 Desipere est. Quid enim diversius esse putandum est,
 Aut magis inter se disiunctum discrepitansque,
 Quam mortale quod est, immortalis atque perenni
 Iunctum, in concilio saevas tolerare procellas?⁵⁰⁹

Поэтому они считали, что душа умирает подобно телу:

simul aevo fessa fatiscit,⁵¹⁰

что достаточно убедительно доказывается сном, который, согласно Зенону, является прообразом смерти, ибо Зенон полагал, что сон представляет собой изнеможение и угасание души, равно как и тела. *Contrahi animum et quasi labi putat atque concidere.*⁵¹¹ А то, что неко-

торые люди до конца своих дней сохраняют силу и бодрость души, философы связывали с теми или иными болезнями, которыми страдают люди. Так, мы замечаем, что у некоторых людей до конца жизни сохраняется без изменений одно чувство, у других — другое, у одного — слух, у другого — обоняние; но мы никогда не видим такого одновременного ослабления всех чувств, чтобы у человека не оставалось каких-нибудь здоровых и не затронутых болезнью органов:

Non alio pacto quam si, pes cum dolet aegri,
In nullo caput interea sit forte dolore.⁵¹²

Как говорит Аристотель,⁵¹³ наш разум так же не способен созерцать истину, как глаз совы не выносит сияния солнца. Наличие столь грубых заблуждений при таком ярком свете лучше убеждает нас в этом.

Противоположное мнение о бессмертии души, которое, по словам Цицерона, было впервые введено, по крайней мере по книжным свидетельствам, Ферекидом Сиросским в царствование Тулла⁵¹⁴ (другие приписывают его Фалесу, а иные еще кому-то), является той проблемой, которая обычно рассматривается с наибольшей осторожностью и сомнениями. Даже самые закоренелые догматики вынуждены в этом пункте в основном укрываться под сень Академии. Никто не может сказать, к чему пришел по этому вопросу Аристотель, а равным образом и все древние авторы, трактовавшие вопрос о бессмертии души с оговорками и колебаниями: *sem gratissimum promittentium magis quam probantium*.⁵¹⁵ Аристотель укрылся за туманом слов и темных, непонятных намеков, предоставив своим последователям спорить как относительно его мнения на этот счет, так и по поводу самого бессмертия души. Они считали бессмертие души правдоподобным по двум соображениям: во-первых, потому, что без бессмертия души утратила бы всякую опору та суетная надежда на славу, которая имеет такую огромную власть над людьми; во-вторых, потому, что это, как утверждает Платон,⁵¹⁶ чрезвычайно полезное воззрение, ибо пороки, которые остаются скрытыми от несовершенного человеческого правосудия, могут получить возмездие от божест-

венного правосудия, которое преследует виновных даже после их смерти.

Человек необычайно озабочен тем, чтобы продлить свое существование; он предусмотрел все в этом отношении: для сохранения тела должны служить гробницы, для увековечения имени — слава.

Заботясь о своей участи, он все свои помыслы направляет к тому, чтобы воссоздать себя и старается подбодрить себя своими выдумками. Душа, не будучи в состоянии из-за своего смятения и своей слабости опереться на себя, ищет утешений, надежд и поддержки во внешних обстоятельствах. Какими бы легковесными и фантастическими ни были эти придуманные ею подспорья, она опирается на них увереннее и охотнее, чем на себя.

Но поразительно, что даже люди, наиболее убежденные в бессмертии души, которое кажется им столь справедливым и ясным, оказывались все же не в силах доказать его своими человеческими доводами: *Somnia sunt non docentis, sed optantis*,⁵¹⁷ как выразился один древний автор. Человек может убедиться на основании этого свидетельства, что той истиной, которую он сам открывает, он обязан только случаю; ибо, если даже она дается ему в руки, ему нечем схватить и удержать ее, и его разум не в состоянии воспользоваться ею. Все созданное нашим собственным умом и способностями, как истинное, так и ложное, недостоверно и спорно. Чтобы наказать нашу гордыню и показать нам ничтожество и слабость, бог произвел при постройке древней вавилонской башни столпотворение и смешение языков. Всё, что мы делаем без его помощи, всё, что мы видим без светоча его благодати, суетно и безумно; даже когда счастливый случай помогает нам овладеть истиной, которая едина и постоянна, мы, по своей слабости, искажаем и портим ее. Какой бы путь человек не избрал сам, бог всегда приводит его к тому самому смятению, незабываемым примером которого является справедливое наказание, которому он подверг дерзость Нимврода,⁵¹⁸ расстроив все его попытки соорудить башню. *Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium gerobabo*.⁵¹⁹ Чем пестрота языков и наречий, погубившая это предприятие, отличается от нескончаемых споров и разногласий, которые сопровождают и запутывают сооружение суетного здания

человеческой науки? И хорошо, что запутывают его, ибо кто мог бы нас сдержать, если бы мы обладали хоть каплей познания? Мне очень по душе следующее изречение святого Августина: *Ipsa utilitatis occultatio aut humilitatis exercitatio est, aut elationis attritio.*⁵²⁰ Нет пределов высокомерию и заносчивости, до которых доводят нас наше ослепление и наша глупость.

Но возвращаюсь к моему рассуждению. Было бы безусловно правильно, если бы мы всего ожидали только от бога, от его благодати и истинности столь возвышенной веры, ибо только его щедрость дает нам бессмертие, которое состоит в обладании вечным блаженством.

Признаём чистосердечно, что бессмертие обещают нам только бог и религия; ни природа, ни наш разум не говорят нам об этом. И тот, кто захочет испытать внутренние и внешние способности человека без этой божественной помощи, кто посмотрит на человека без лести, не найдет в нем ни одного качества, ни одного свойства, которые не отдавали бы тленом и смертью. Чем больше мы принимаем от бога, чем больше мы ему обязаны и чем больше воздаем ему, тем больше мы выказываем себя христианами.

Не лучше ли было бы в вопросе о бессмертии души опираться на бога, чем, подобно стоическому философу, опираться на случайное согласие человеческих мнений? *Cum de animarum aeternitate disserimus, non leve momentum apud nos habet consensus hominum aut timentium inferos, aut colentium. Utor hac publica persuasione.*⁵²¹

Слабость человеческих доводов в этом вопросе особенно ясно видна из тех фантастических подробностей, которые они добавили в подкрепление своего мнения, желая установить, какова природа этого нашего бессмертия. Оставим в стороне стоиков — *usuram nobis largiuntur tanquam cornicibus: diu mansuros aiunt animos; semper negant,*⁵²² — утверждающих, что и после смерти человека душа его продолжает жить, но лишь определенное время. Наиболее распространенным и общепринятым мнением, существующим во многих местах до наших дней, является то, создателем которого считался Пифагор, — не потому, чтобы оно было впервые им высказано, а потому, что оно приобрело вес и популярность, получив его авторитетное одобрение;

оно сводится к тому, что души, покинув нас, переселяются из одного тела в другое, из льва в лошадь, из лошади в короля, непрерывно переходя таким образом из одного обиталища в другое.

О самом себе Пифагор говорил,⁵²³ будто он помнит, что раньше был Эталидом, потом Эвфорбом, потом Гермотимом и, наконец, от Пирра перешел в Пифагора, сохраняя таким образом память о себе на протяжении двухсот шести лет. Некоторые добавляли, что иногда души возносятся на небо, а затем снова спускаются на землю:

O pater, anne aliquas ad caelum hinc ire putandum est
Sublimes animas iterumque ad tarda reverti
Corpora? Quae lucis miseris tam dira cupido? ⁵²⁴

Согласно Оригену,⁵²⁵ души непрерывно переходят из лучшего состояния в худшее. Варрон⁵²⁶ высказал мнение, что души по истечении четырехсот сорока лет возвращаются в то же тело, с которым первоначально были соединены. Хрисипп считал, что это возвращение совершается по истечении какого-то неопределенного времени. Платон говорит,⁵²⁷ что он заимствовал у Пиндара и у древних поэтов представление о бесконечных превращениях, предстоящих душе, поскольку наказания и награды, получаемые ею в другом мире, только временные, как и сама жизнь ее на земле была временной. Отсюда Платон делает вывод, что душа обладает превосходным знанием того, что совершается на небе, в аду и на земле, где она множество раз переселялась из одного тела в другое; на этом и основано его учение о воспоминаниях.

Вот как в другом месте он развивает свое учение.⁵²⁸ Кто жил добродетельно, соединяется с предназначенной ему звездой, а кто жил во зле, превращается в женщину; но если он и после этого не исправляется, то затем он превращается в такое животное, характер которого наиболее соответствует его порочным наклонностям. Конеч его карам наступает лишь тогда, когда он возвращается в свое первоначальное состояние, избавившись, благодаря разуму, от своих грубых и низменных земных свойств.

Но я не могу умолчать о возражении, выдвигаемом эпикурейцами против учения о переселении душ из одного тела в другое.

Оно очень забавно. Они спрашивают: каков будет порядок перехода душ, если число умирающих окажется больше, чем число новорожденных? Ведь души, покинувшие свои обиталища, начнут скопляться и теснить друг друга, ибо каждая захочет первой войти в новую оболочку. Эпикурейцы спрашивают далее: как будут души проводить то время, пока им придется ждать, чтобы для них приготовлено было новое обиталище? Или наоборот, если число рождающихся превысит число умерших, то, по их словам, тела окажутся в тяжелом положении, ибо они должны будут ждать, пока в них вселятся души, и может случиться, что некоторые из них умрут еще до того, как могли бы начать жить:

Denique connubia ad Veneris partusque ferarum
Esse animas praesto deridiculum esse videtur,
Et spectare immortalis mortalia membra
Innumero numero, certareque praeproperanter
Inter se, quae prima potissimaque insinuetur.⁵²⁹

Иные полагали, что души задерживаются в телах умерших и вселяются потом в змей, червей и других животных, зарождающихся, как говорят, в нашем разлагающемся теле или даже возникающих из нашего пепла. Некоторые различают в душе смертную и бессмертную части. Другие считают, что она телесна и тем не менее бессмертна. Иные думают, что она бессмертна, но не обладает ни знанием, ни пониманием. Есть и такие писатели, которые полагают, что души осужденных превращаются в бесов (это мнение разделяют и некоторые из новейших писателей),⁵³⁰ — вроде того как Плутарх считает, что души праведников превращаются в богов. Этот последний автор лишь об очень немногих вещах говорит столь решительным тоном, как об этом, и во всех других случаях придерживается иной манеры выражаться — двусмысленной и таящей в себе сомнения. Следует считать, говорит он,⁵³¹ и твердо верить, что души людей добродетельных, согласно природе и божественному правосудию, переходят в святых людей, затем из святых в полубогов, а из полубогов, после того как они подвергнутся, путем очистительных жертв, полному очищению, освободятся от всякой подверженности страда-

нию и смерти, они делаются — не по какому-нибудь судебному постановлению, а в действительности и на самых правдоподобных основаниях — полными и совершенными богами и получают преблаженный и преславный удел. Но Плутарх, который, как правило, является одним из наиболее сдержанных и умеренных авторов, становится, когда дело касается этого вопроса, необычайно решительным и неистощимым в сообщении различных чудес на эту тему. Тому, кто захотел бы удостовериться в этом, я могу указать на его рассуждения о луне или о демоне Сократа. На этих примерах легче всего убедиться в том, что тайны философии имеют много общего с фантастическими вымыслами поэзии. Человеческий разум, желающий до всего доискаться и все решительно проверить, под конец теряется и вынужден сдаться, подобно тому как и вообще человек, утомленный и измученный долгим жизненным путем, снова впадает в детство. Таковы достоверные и прочные выводы, которые можно извлечь из рассмотрения человеческой науки по вопросу о нашей душе!

Не меньше неразумия в том, чему она учит нас о нашем теле. Выберем один или два примера, иначе мы рискуем потеряться в бурном и безбрежном море медицинских заблуждений. Установим, согласны ли медики по крайней мере в том, каково то вещество, из которого происходят люди, ибо что касается первого появления человека на земле, то нет ничего удивительного, что человеческий ум теряется перед таким возвышенным и исконным вопросом. Физик Архелай, учеником и любимцем которого был Сократ, утверждал, согласно Аристоксену, что люди и животные созданы из молочной влаги, выступившей из земли, под действием тепла.⁵³² Пифагор утверждал, что наше семя есть пена из лучшей части нашей крови; Платон — что оно представляет собой спинномозговую жидкость, в подтверждение чего он ссылался на то, что именно в спине мы прежде всего ощущаем усталость после полового акта; Алкмеон полагал, что семя является частью мозгового вещества, и в доказательство ссылался на то, что у тех, кто злоупотребляет этим делом, помрачается зрение; Демокрит считал семя веществом, выделяемым всем телом; Эпикур полагал, что оно выделяется и душой, и телом; Аристотель считал его выделением из вещества, питающего кровь,

которая распространяется по всем нашим членам; другие считали его кровью, изменившейся под действием тепла половых органов; они доказывали это тем, что при крайних усилиях выделяются капли чистой крови; последнее мнение представляется несколько более вероятным, если можно вообще говорить о вероятности при такой путанице. А сколько существует противоположных мнений по вопросу об оплодотворении этим семенем! Аристотель и Демокрит полагали, что у женщин нет семенной жидкости и что под влиянием тепла, вызываемого наслаждением и движениями, у них выступает испарина, не играющая никакой роли при оплодотворении. Гален и его последователи, напротив, полагали, что не может быть зачатия, если не происходит встречи мужского и женского семени. А сколько споров ведут медики, философы, юристы и теологи между собой и попеременно с женщинами по вопросу о сроках беременности женщин! Я же, основываясь на примере из моей жизни, поддерживаю тех, кто считает, что беременность может продолжаться одиннадцать месяцев. Мир полон подобного рода примерами; нет такой женщины, даже самой пустой, которая не готова была бы высказать свое твердое мнение по поводу всех этих споров, а между тем мы никак не можем прийти к единому мнению.

Приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться, что человек знает о своем теле не больше, чем о душе. Мы намеренно предложили ему высказаться о самом себе; мы предложили его разуму судить о самом себе, желая посмотреть, что он нам скажет по этому поводу. Мне кажется, я показал достаточно, как мало он себя знает. А как может понимать что-либо тот, кто не понимает самого себя? *Quasi vero mensuram ullius rei possit agere, qui sui nesciat.*⁵³³ В хорошенькой небылице хотел уверить нас Протагор, утверждавший, будто мерой всех вещей является тот самый человек, который никогда не мог познать даже своей собственной меры. Если же не сам человек является этой мерой, то его достоинство не позволяет ему наделять этим преимуществом какое-нибудь другое создание. Но поскольку человек так противоречив и одно утверждение постоянно опровергается у него другим, приходится признать, что лестное для человека суждение Протагора является лишь насмешкой: оно неизбежно при-

водит нас к выводу о негодности как предлагаемой меры, так и того, кто производит измерение.

Когда Фалес утверждает, что человеку очень трудно познать самого себя, он тем самым учит его тому, что познание всякой другой вещи для человека невозможно.⁵³⁴

Вы, для которой я, вопреки своему обыкновению, взялся написать столь пространное рассуждение,⁵³⁵ не должны отказываться защищать вашего Раймунда Сабундского с помощью обычных доказательств, которыми вы пользуетесь повседневно; упражняйте на этом ваш ум и ваши знания. Ибо тем приемом борьбы, к которому я прибегнул здесь, следует пользоваться только как крайним средством. Это отчаянный прием, заключающийся в том, что мы отказываемся от собственного оружия, лишь бы только выбить оружие из рук противника; это тонкая уловка, которой следует пользоваться лишь изредка и осторожно. Большая смелость — рисковать собой ради уничтожения другого.

Не следует идти на смерть, как сделал Гобрый, только для того, чтобы отомстить врагу; ибо, когда Гобрый бился с одним персидским вельможей, а Дарий, устремившийся к нему на помощь с мечом в руках, стоял в нерешительности, боясь ударить, чтобы не ранить Гобрю, тот крикнул ему: «Рази мечом, хотя бы по обоим».⁵³⁶

Мне известны случаи, когда отвергались такие вызовы на единоборство, при которых выставляемые условия почти не оставляли надежды, что хотя бы один из поединщиков останется в живых. Когда однажды португальцы в Индийском океане взяли в плен четырнадцать турок, последние, не желая мириться со своей участью, решили взорвать корабль, на котором они находились, и погубить таким образом и себя и пленивших их португальцев, и самый корабль; с этой целью они принялись тереть один о другой гвозди корабля, пока вылетевшая искра не попала в стоявшие рядом бочки с порохом.⁵³⁷

Прибегая к таким средствам, мы преступаем границы знания, последние пределы его; а между тем крайности в этом отношении так же вредны, как и в добродетели. Придерживайтесь средней дороги; нехорошо быть столь утонченным и изысканным. Помните

тосканскую пословицу, которая гласит: *Chi troppo s'assottiglia si scavezza*.⁵³⁸ Придерживайтесь, советую вам, в ваших взглядах и суждениях, а также в нравах и во всем прочем умеренности и осмотрительности; избегайте новшеств и экстравагантности. Всякие крайние пути меня раздражают. Пользуясь своим высоким положением, а еще более теми преимуществами, которые дают вам ваши собственные достоинства, вы можете по мановению ока приказывать кому угодно; вы должны были бы поэтому поручить это дело какому-нибудь опытному литератору, который гораздо лучше, чем я, развил бы и украсил бы эту мысль. Во всяком случае этого намека достаточно, чтобы вы поняли, как вам надлежит поступить.

Эпикур утверждал, что людям необходимы даже самые дурные законы, ибо не будь их, люди пожрали бы друг друга;⁵³⁹ Платон подтверждает это почти теми же словами, говоря, что без законов мы жили бы как дикие звери.⁵⁴⁰ Наш разум — это подвижный, опасный и отважный инструмент; его нелегко умерить и поставить в рамки. И в наше время мы замечаем, что те, кто выделяется каким-нибудь особым превосходством по сравнению с другими или необычайным умом, обнаруживают полнейшее своеволие как в своих мнениях, так и в поведении. Встретить степенный и рассудительный ум — просто чудо. Правильно делают, что ставят человеческому уму самые тесные пределы. Как в науке, так и в других вещах следует учитывать и направлять каждый его шаг; нужно умело ставить границы его исканиям. Его пытаются обуздать и связать предписаниями религии, законами, обычаями, знанием, наставлениями, временными и вечными наказаниями и наградами; и все же он благодаря своей изворотливости и распушенности ускользает от всех этих пут. Разум — это такая скользкая вещь, что ее ни за что не ухватишь и никак не удержишь, он столь многолик и изменчив, что невозможно ни поймать его, ни связать. Поистине мало таких уравновешенных, сильных и благородных душ, которым можно было бы предоставить поступать по их собственному разумению и которые, благодаря своей умеренности и осмотрительности, могли бы свободно руководствоваться своими суждениями, не считаясь с общепринятыми мнениями. Но все же надежнее и их держать под опекой. Разум — оружие, опасное для

самого его владельца, если только он не умеет пользоваться им благо-разумно и осторожно. Нет такого животного, которому с бóльшим основанием, чем человеку, надлежало бы ходить в шорах, чтобы глаза его вынуждены были смотреть только туда, куда он ступает, и чтобы он не уклонялся ни в ту, ни в другую сторону и не выходил из колеи, указанной ему законами и обычаем. Вот почему вам лучше держаться обычного пути, каков бы он ни был, чем предаваться необузданному своеволию. Но если кто-нибудь из этих новых учителей⁵⁴¹ в ущерб спасению своей души и вашей захочет умничать в вашем присутствии, то это предохранительное средство в крайнем случае поможет вам избавиться от чумы, которая все шире распространяется при ваших дворах, и предотвратить действие этого яда на вас и ваших приближенных.

Свобода мнений и вольность древних мыслителей привели к тому, что как в философии, так и в науках о человеке образовалось несколько школ и всякий судил и выбирал между ними. Но в настоящее время, когда люди идут одной дорогой — *qui certis quibusdam destinatisque sentiis addicti et consecrati sunt, ut etiam quae non probant, cogantur defendere*⁵⁴² — и когда изучение наук ведется по распоряжению властей, когда все школы на одно лицо и придерживаются одинакового способа воспитания и обучения, — уже не обращают внимание на вес и стоимость монеты, а всякий принимает их по общепринятой цене, по установленному курсу. Спорят не о качестве монеты, а о том, каков в отношении ее обычай; таким образом, у нас на все одна мерка. Медицину принимают так же, как и геометрию; шарлатанство, колдовство, сношение с духами умерших, предсказания, астрологические таблицы — все, вплоть до нелепых поисков философского камня, принимается без возражений. Нужно только знать, что Марс помещается посередине треугольника на ладони, Венера — у большого пальца, а Меркурий — у мизинца и что когда поперечная линия пересекает бугорок указательного пальца, то это признак жестокости, когда же она проходит под средним пальцем, а средняя природная линия составляет угол с линией жизни в том же месте, то это указывает на смерть от несчастного случая, и, наконец, если у женщины природная линия видна и не образует угла

с линией жизни, то это указывает на то, что она не будет целомудренной. Всякий подтвердит, что человек, обладающий подобными знаниями, пользуется уважением и хорошо принят во всех кругах общества.

Феофраст утверждал, что человеческий разум, руководясь указаниями чувств, может до известной степени судить о причинах вещей, но что когда дело доходит до самых основ или первопричин, ему необходимо остановиться и отступить, либо из-за его слабости, либо из-за трудности предмета. Мнение, что наш разум может привести нас к познанию некоторых вещей, но что есть определенные рамки, за которыми безрассудно пользоваться им, нельзя не признать умеренным и осмотрительным. Это мнение вполне правдоподобно и выдвигалось выдающимися людьми. Однако нелегко установить границы нашему разуму: он любознателен, жаден и столь же мало склонен остановиться, пройдя тысячу шагов, как и пройдя пятьдесят. Я убедился на опыте, что то, чего не удалось достичь одному, удастся другому, что то, что осталось неизвестным одному веку, разъясняется в следующем; что науки и искусства не отливаются сразу в готовую форму, но образуются и развиваются постепенно, путем повторной многократной обработки и отделки, подобно тому как медведицы, неустанно облизывая своих детенышей, придают им определенный облик. Так вот и я не перестаю исследовать и испытывать то, чего не в состоянии открыть собственными силами; вновь и вновь возвращаясь все к тому же предмету и поворачивая и испытывая его на все лады, я делаю этот предмет более гибким и податливым, создавая таким образом для других, которые последуют за мной, более благоприятные возможности овладеть им:

ut Hymettia sole
Cera remollescit, tractataque pollice, multas
Vertitur in facies, ipsoque fit utilis usu.⁵⁴³

То же самое сделает и мой преемник для того, кто последует за ним. Поэтому ни трудность исследования, ни мое бессилие не должны приводить меня в отчаяние, ибо это только мое бессилие. Человек столь же способен познать все, как и отдельные вещи; и если он,

как уверяет Феофраст, признается в незнании первопричин и основ, то он должен решительно отказаться от всей остальной науки; ибо если он не знает основ, то его разум влачится по праху; ведь целью всех споров и всякого исследования является установление принципов, а если эта цель не достигнута, то человеческий разум никогда не может ничего решить.⁵⁴⁴ *Non potest aliud alio magis minusve comprehendendi, quoniam omnium rerum una est definitio comprehendendi.*⁵⁴⁵

Весьма вероятно, что если бы душа что-нибудь знала, то она в первую очередь знала бы самое себя; если же она знала бы что-либо помимо себя, то она прежде всего знала бы свое тело и оболочку, в которую она заключена. Однако мы видим, что светила медицины по сей день спорят по поводу нашей анатомии —

*Mulciber in Troiam, pro Troia stabat Apollo,*⁵⁴⁶

и сколько нам придется ждать, пока они сговорятся? Вопрос о нас самих нам ближе, чем вопрос о белизне снега или тяжести камня; но если человек не знает самого себя, то как он может знать свои силы и свою деятельность? Иногда у нас бывают некоторые проблески истинного познания, но это бывает только случайно, и так как наша душа тем же путем воспринимает заблуждения, то она не в состоянии отличить их и отделить истину от лжи.

Академики считали возможным приходиться к некоторым суждениям и находили слишком решительным заявлять, будто утверждение, что снег бел, не более правдоподобно, чем то, что он черен; или что мы не можем быть более уверены в движении камня, брошенного нашей рукой, чем в движении восьмой сферы. Желая устранить эти заблуждения и избежать подобных страшных утверждений, не укладывающихся в нашей голове, академики хотя и считали, что мы неспособны к познанию и что истина скрыта на дне глубокой пропасти,⁵⁴⁷ куда человеческий взор не в состоянии проникнуть, тем не менее признавали, что одни вещи более вероятны, чем другие. Поэтому они допускали способность человеческого разума склоняться скорее к одной видимости, чем к другой; они разрешали ему эту склонность, но запрещали какие бы то ни было категорические утверждения.

Точка зрения пирронистов более решительна и вместе с тем более правдоподобна. Действительно, разве эта признаваемая академикami склонность, это влечение к одному положению больше, чем к другому, не равносильны признанию, что в одном утверждении больше видимой истины, чем в другом? Если бы наш разум способен был воспринимать форму, очертания и облик истины, то он с таким же успехом способен был бы воспринимать всю ее целиком, как и половину ее, растущую и незавершенную. Увеличьте эту видимость правдоподобия, которая заставляет людей склоняться скорее вправо, чем влево; умножьте во сто или в тысячу раз эту унцию правдоподобия, которая заставляет весы склоняться в какую-либо сторону, и вы увидите, что в конце концов весы полностью склонятся в одну сторону, выбор будет произведен, и истина будет установлена полностью. Но как могут они судить о подобии, если им неизвестна сущность? Одно из двух: либо мы способны судить о вещах до конца, либо мы совершенно неспособны судить о них. Если наши умственные и чувственные способности лишены опоры и основы, если они так неустойчивы, так колеблемы ветром из стороны в сторону, то не к чему выносить суждение о какой-нибудь части их действий, какую бы видимость правдоподобия она не представляла; в таком случае наиболее правильным и наилучшим для нашего разума было бы держаться спокойно и недвижимо, не колеблясь и не склоняясь ни в какую сторону: *Inter visa vera aut falsa ad animi assensum nihil interest.*⁵⁴⁸

Всякому должно быть ясно, что воспринимаемые нами вещи не сохраняют свою форму и сущность их не входит в наше сознание сама, своей властью; ибо, если бы мы знали вещи, как они есть, мы воспринимали бы их одинаково: вино имело бы такой же вкус для больного, как и для здорового; тот, у кого пальцы потрескались или окоченели от холода, должен был бы ощущать твердость дерева или куска железа, который он держит в руках, так же как и всякий другой человек. Восприятие сторонних предметов зависит от нашего усмотрения, мы воспринимаем их как нам угодно. Ведь если бы мы воспринимали вещи не изменяя их, если бы человек способен был улавливать истину своими собственными средствами, то, поскольку эти средства присущи всем людям, истина переходила бы из рук

в руки, от одного к другому. И нашлась бы по крайней мере хоть одна вещь на свете, которую все люди воспринимали бы одинаково. Но тот факт, что нет ни одного положения, которое не оспаривали бы или которого нельзя было бы оспаривать, как нельзя лучше доказывает, что наш природный разум познает вещи недостаточно ясно; ибо восприятие моего разума не обязательно для моего соседа — а это доказывает, что я воспринял данный предмет не с помощью естественной способности, которая присуща мне наравне со всеми прочими людьми, а каким-то другим способом.

Но оставим в стороне этот нескончаемый хаос мнений, который царит даже у философов, оставим этот нескончаемый всеобщий спор о познаваемости вещей. Ибо совершенно справедливо признано, что нет такой вещи, относительно которой люди — а я имею в виду даже самых крупных и самых выдающихся ученых — были бы согласны между собой, даже относительно того, что небо находится над нашей головой; ибо те, кто сомневается во всем, сомневаются и в этом; а те, кто отрицает, что мы способны понять что бы то ни было, утверждают, что мы не знаем и того, находится ли небо над нашей головой; эти две точки зрения несомненно самые убедительные.

Но, помимо этих бесконечных расхождений и разногласий, нетрудно заметить по тому смятению, которое наш разум вызывает в нас самих, и по той неуверенности, которую каждый из нас в себе ощущает, что наш разум занимает далеко не прочную позицию. Как разное мы судим в разное время о вещах! Как часто меняем наши мнения! Я вкладываю всю свою веру в то, во что верю и чего придерживаюсь сегодня; все мои средства и способности удерживают это воззрение и отвечают мне с его помощью на все, что могут. Никакую другую истину я не в состоянии был бы постигнуть лучше и удерживать с большей силой, чем эту; я весь целиком на ее стороне. Но не случалось ли со мной — и не раз, а сотни, тысячи раз, чуть ли не ежедневно, — что я принимал с помощью тех же средств и при тех же условиях какую-нибудь другую истину, которую потом признавал ложной? Следует по крайней мере учиться на своих ошибках. Если я неоднократно обманывался в этом отношении, если показания моего пробного камня обычно оказывались неверными, а мои

веса неточными и неправильными, то как могу я быть в данном случае более уверен, чем в предыдущих? Не глупо ли с моей стороны давать себя столько раз обманывать одному и тому же руководителю? И однако сколько бы раз судьба не бросала нас из стороны в сторону, сколько бы раз она не заставляла нас, подобно непрерывно наполняемому и опустошаемому сосуду, менять наши мнения, вытесняя их все новыми и новыми, тем не менее то последнее мнение, которого мы держимся в данный момент, всегда представляется нам самым достоверным и безошибочным. Ради него следует жертвовать своим имуществом, жизнью и спасением, одним словом всем:

pesterior... res illa reperta,
Perdit, et immutat sensus ad pristina quaeque.⁵⁴⁹

Следует всегда помнить — что бы нам ни проповедовали и чему бы нас ни учили, — что тот, кто открывает нам что-либо, как и тот, кто воспринимает это, всего лишь человек; рука, что дает нам истину, смертная, и смертная же рука принимает ее. Между тем только то, что исходит от неба, имеет право и силу быть убедительным; только оно отмечено печатью истины, хотя мы ее не видим нашими глазами и не воспринимаем нашими чувствами. Мы не могли бы вместить в нашем бренном существе священный и великий образ этой истины, если бы бог не подготовил нас к этой цели, если бы он не преобразовал и не укрепил нас своей благодатью, своей особой и сверхъестественной милостью.

Наше несовершенное состояние должно было бы по крайней мере побудить нас быть на стороже, когда мы меняем наши взгляды. Нам следовало бы помнить, что мы часто воспринимаем нашим умом ложные вещи, причем теми самыми средствами, которые часто изменяют себе и обманывают нас.

Впрочем, нет ничего удивительного, что они изменяют себе, поскольку они так легко уклоняются и сворачивают с пути под действием самых ничтожных случайностей. Несомненно, что наши суждения, наш разум и наши душевные способности всегда зависят от телесных изменений, которые совершаются непрерывно. Разве мы не замечаем, что, когда мы здоровы, наш ум работает быстрее, память

проворнее, а речь живее, чем когда мы больны? Разве, когда мы радостны и веселы, мы не воспринимаем вещи совсем по-иному, чем когда мы печальны и удручены? Разве стихи Катулла или Сапфо⁵⁵⁰ доставляют такое же удовольствие скупому и хмурому старцу, как бодрому и пылкому юноше? Когда Клеомен,⁵⁵¹ сын Анаксандрида, заболел, друзья стали упрекать его в том, что у него появились совсем новые и необычные желания и мысли. «Это, конечно, верно, — ответил он им, — но я и сам уже не тот, что прежде, когда был здоров; а когда я стал другим, то изменились и мои мысли и желания». В наших судах в ходу одно выражение, применяемое к преступнику, которому посчастливилось наткнуться на судью в благодушном и кротком настроении; про него говорят: *Gaudeat te bona fortuna* — «Пусть он радуется своей удаче»; ибо известно, что судьи в одних случаях склонны к осуждению и более суровым приговорам, а в других — к оправданию обвиняемого и более легким и мягким решениям. Судья, который, придя из дому, принес с собой свои подагрические боли или свои муки ревности или душа которого пышет гневом против обокравшего его слуги, несомненно более склонен будет к вынесению сурового приговора. Почтенный афинский сенат — ареопаг — судил обычно ночью, опасаясь, чтобы вид обвиняемых не повлиял на его правосудие. На нас действуют даже воздух и ясное небо, как гласит известный греческий стих в переводе Цицерона:

*Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse
Iuppiter auctifera lustravit lampade terras.*⁵⁵²

Наши суждения изменяются не только под влиянием лихорадки, крепких напитков или каких-нибудь крупных нарушений в нашем организме — достаточно и самых незначительных, чтобы перевернуть их. Если непрерывная лихорадка способна сразить нашу душу, то нет сомнения, что и перемежающаяся производит на нас — хотя бы мы этого и не чувствовали — соответствующее действие. Если апоплексический удар вызывает полное помрачение или ослабление наших умственных способностей, то на них действует и простой насморк; и, следовательно, вряд ли можно найти хотя бы час в нашей жизни, когда бы наше суждение не подвергалось тому или иному

воздействию, поскольку наше тело подвержено непрерывным изменениям и имеет столь сложное устройство, что я согласен с врачами, утверждающими, будто трудно уловить мгновение, когда хоть какой-нибудь из его винтиков не был неисправен.

Впрочем, эту болезнь не так-то легко обнаружить, если она не доведена до крайности и не неизлечима; тем более что разум всегда идет нетвердой походкой, ковыляя и прихрамывая. Он всегда перемешан как с ложью, так и с истиной, поэтому нелегко обнаружить его неисправность, его недочеты. Разумом я всегда называю ту видимость логического рассуждения, которую каждый из нас считает себе присущей; этот разум, обладающий способностью иметь сто противоположных мнений об одном и том же предмете, представляет собой инструмент из свинца и воска, который можно удлинять, сгибать и приспособлять ко всем размерам: нужно только умение владеть им.⁵⁵³ Какие бы благие намерения ни были у судьбы, все же на него оказывают влияние дружеские отношения, родственные связи, красота, мстительность; но даже и не такие важные вещи, а просто случайное влечение побуждает нас иной раз отнестись более благоприятно к одному делу, чем к другому, и, без ведома разума, произвести выбор между двумя сходными вещами; бывает, что какое-нибудь совсем незначительное обстоятельство может незаметно повлиять на наш приговор в положительном или отрицательном смысле и склонить чашу весов в определенную сторону.

Я, который слежу за собой самым пристальным образом, чей взор неустанно устремлен на себя, подобно тому, кто не имеет других забот,

quis sub Arcto
Rex gelidae metuatur orae,
Quid Tyridaten terreat, unice
Securus,⁵⁵⁴

едва ли в состоянии буду сознаться во всех тех слабостях и изъянах, которые мне присущи. Я столь нетверд на ногах и шаток и так плохо соображаю и разбираюсь в вещах, что натошак я ни на что не годен и чувствую себя лучше только когда поем; если у меня прекрасное самочувствие и надо мною ясное небо, то я обходительный

человек; если меня мучит мозоль на ноге, я становлюсь хмурым, нелюбезным и необщительным. Один и тот же аллюр лошади иногда кажется мне короче, другой раз длиннее; один и тот же вид кажется мне то более, то менее привлекательным. То я готов делать все, что угодно, то не хочу делать ничего; вещь, которая в данный момент доставляет мне удовольствие, в другое время мне тягостна. Я обуреваем тысячью безрассудных и случайных волнений; то я нахожусь в подавленном настроении, то в приподнятом; то печаль безраздельно владеет мной, то веселье. Читая книги, я иногда наталкиваюсь в некоторых местах на красоты, пленяющие мою душу; но в другие разы, когда я возвращаюсь к этим местам, то, сколько бы я на все лады ни читал и ни перечитывал их, они остаются для меня ничего не говорящими, тусклыми словами.

Даже в моих собственных писаниях я не всегда нахожу их первоначальный смысл: я не знаю, что я хотел сказать, и часто принимаюсь с жаром править и вкладывать в них новый смысл вместо первоначального, который я утратил и который был лучше. Я топчусь на месте; мой разум не всегда устремляется вперед; он блуждает и мечется,

velut minuta magno
Deprensa navis in mari vesaniente vento.⁵⁵⁵

Желая развлечь и поупражнять свой ум, я не раз (что мне случается делать с большой охотой) принимался поддерживать мнение, противоположное моему; применяясь к нему и рассматривая предмет с этой стороны, я так основательно проникался им, что не видел больше оснований для своего прежнего мнения и отказывался от него. Я как бы влекусь к тому, к чему склоняюсь, — что бы это ни было — и несусь, увлекаемый собственной тяжестью.

Всякий, кто, как я, присмотрится к себе, сможет сказать о себе примерно то же самое. Проповедники хорошо знают, что волнение, охватывающее их при произнесении проповеди, усиливает их веру, а по себе мы хорошо знаем, что, объятые гневом, мы лучше защищаем свои мнения, внушаем их себе и принимаем их горячее и с бóльшим одобрением, чем находясь в спокойном и уравновешенном

состоянии. Когда вы просто излагаете ваше дело адвокату и спрашиваете его совета, он отвечает вам, колеблясь и сомневаясь: вы чувствуете, что ему все равно, поддержать ли вас или противную сторону; но когда вы, желая подстрекнуть и расшевелить его, хорошо ему заплатите, не заинтересуется ли он вашим делом, не подзадорит ли это его волю? Его разум и его опытность примутся все более усердствовать — и вот уму уже начнет представляться явная и несомненная истина; все дело представится ему в совершенно новом свете, он добросовестно уверует в вашу правоту и убедит себя в этом. Уж не знаю, происходит ли от строптивости и упорства, заставляющих противиться насилию властей, или же стремления к славе тот пыл, который принуждает многих людей отстаивать вплоть до костра то мнение, за которое в дружеском кругу и на свободе им бы и в голову не пришло чем-либо пожертвовать.

На нашу душу сильно действуют потрясения и переживания, вызываемые телесными ощущениями, но еще больше действуют на нее ее собственные страсти, имеющие над ней такую власть, что можно без преувеличения сказать, что ими определяются все ее движения и что, не будь их, она оставалась бы недвижима, подобно кораблю в открытом море, не подгоняемому ветром. Не будет большой ошибкой, следуя за перепатетиками, защищать это утверждение; ибо известно, что многие самые благородные душевные движения обусловлены страстями и нуждаются в них. Так, храбрость, по их словам, не может проявиться без содействия ярости:

*Semper Aiax fortis, fortissimus tamen in furore.*⁵⁵⁶

Человек никогда не нападает на злодеев или на врагов с большей силой, чем когда он в ярости; говорят, что даже адвокат должен разгорячить судей для того, чтобы они судили по справедливости. Страсти определяли поступки Фемистокла,⁵⁵⁷ так же как и Демосфена; страсти заставляли философов трудиться, проводить бессонные ночи и пускаться в странствия; они же толкают нас на достижение почестей, знаний, здоровья, всего полезного. Та самая душевная робость, которая заставляет нас терпеть тяготы и доуку, побуждая нашу совесть к раскаянию и покаянию, заставляет нас воспринимать

бичи божьи как ниспосылаемые нам наказания, ведущие к исправлению наших политических провинностей. Сострадание пробуждает в нас милосердие, а страх обостряет наше чувство самосохранения и самообладания. А сколько прекрасных поступков продиктовано честолюбием! Сколько — высокомерием? Всякая выдающаяся и смелая добродетель не обходится в конечном счете без какого-нибудь отрицательного возбудителя. Не это ли одна из причин, заставившая эпикурейцев освободить бога от всякого вмешательства в наши дела, поскольку сами проявления его благости по отношению к нам не могут совершаться без нарушающих его покой страстей? Ведь страсти являются как бы стрекалами для души, толкающими ее на добродетельные поступки. Или, может быть, они смотрели на страсти иначе и считали их бурями, постыдно нарушающими душевный покой? *Ut maris tranquillitas intelligitur, nulla, ne minima quidem aura fluctus commovente; sic animi quietus et placatus status cernitur, cum perturbatio nulla est qua moveri queat.*⁵⁵⁸

Какие различные чувства и мысли вызывает в нас многообразие наших страстей! Каких только не порождает оно противоречивых представлений! Какую уверенность можем мы почерпнуть в столь непостоянном и переменчивом явлении, как страсть, которая по самой своей природе подвластна волнению и никогда не развивается свободно и непринужденно? Какой достоверности можем мы ждать от нашего суждения, если оно зависит от потрясения и болезненного состояния, если оно вынуждено получать впечатления от вещей под влиянием исступления и безрассудства?

Не дерзость ли со стороны философии утверждать, будто самые великие деяния людей, приближающие их к божеству, совершаются ими тогда, когда они выходят из себя и находятся в состоянии исступления и безумия? Лишившись разума или усыпив его, мы становимся лучше. Исступление и сон являются двумя естественными путями, которые вводят нас в обитель богов и позволяют предвидеть судьбы грядущего. Забавная вещь: из-за расстройств нашего разума, причиняемого страстями, мы становимся добродетельными; и благодаря тому, что исступление или прообраз смерти разрушают наш разум, мы становимся пророками и прорицателями! С величайшей

охотой готов этому поверить. Благодаря подлинному вдохновению, которым святая истина осеняет философский ум, она заставляет его, вопреки его собственным утверждениям, признать, что спокойное и уравновешенное состояние нашей души, то есть самое здоровое состояние, предписываемое философией, не является ее наилучшим состоянием. Наше бодрствование более слепо, чем сон. Наша мудрость менее мудра, чем безумие. Наши фантазии стоят больше, чем наши рассуждения. Самое худшее место, в котором мы можем находиться, это быть в себе. Но не полагает ли философия, что мы можем заметить по этому поводу следующее: ведь голос, утверждающий, что разум безумного человека является ясновидящим, совершенным и могучим, а разум здорового человека низменным, невежественным и темным, есть голос, исходящий от разума, который является частью низменного, невежественного и темного человека, и по этой причине есть голос, которому нельзя доверять и на который нельзя полагаться.

Будучи от природы вялым и нескоропалительным, я не имею обширного опыта в тех бурных увлечениях, большинство которых внезапно овладевает нашей душой, не давая ей времени опомниться и разобраться. Но та страсть, которая, как говорят, порождается в сердцах молодых людей праздностью и развивается размеренно и не спеша, являет собой для тех, кто пытался противостоять ее натиску, поучительный пример полного переворота в наших суждениях, коренной перемены в них. Желая сдержать и покорить страсть (ибо я не принадлежу к тем, кто поощряет пороки, и поддаюсь им только тогда, когда они увлекают меня), я когда-то пытался держать себя в узде; но я чувствовал, как она зарождается, растет и ширится, несмотря на мое сопротивление, и под конец, хотя я все видел и понимал, она захватила меня и овладела мною до такой степени, что, точно под влиянием опьянения, вещи стали представляться мне иными, чем обычно, и я ясно видел, как увеличиваются и вырастают достоинства существа, к которому устремлялись мои желания; я наблюдал, как раздувал их вихрь моего воображения, как уменьшались и сглаживались мои затруднения в этом деле, как мой разум и мое сознание отступали на задний план. Но лишь только погасло это

любовное пламя, как в одно мгновение душа моя, словно при вспышке молнии, увидела все в ином свете, пришла в иное состояние и стала судить по-иному; трудности отступления стали казаться мне огромными, непреодолимыми, и те же самые вещи приобрели совсем иной вкус, иной вид, чем они имели под влиянием пыла моего желания. Какой из них более истинный, этого Пиррон не знает. В нас всегда таится какая-нибудь болезнь. При лихорадке жар перемежается с ознобом; после жара пламенной страсти нас кидает в ледяной холод.

Я с меньшей силой бросаюсь вперед, чем подаюсь потом назад:

Qualis ubi alterno procurrens gurgite pontus
Nunc ruit ad terras, scopulisque, superiacit undam,
Spumeus, extremamque sinu perfundit arenam;
Nunc rapidus retro atque aestu revoluta resorbens
Saxa fugit, littusque vado labente relinquit.⁵⁵⁹

Познав эту изменчивость, я как-то выработал в себе известную устойчивость взглядов и старался не менять своих первых и безыскусственных мнений. Ибо, какую бы видимость истины ни имело новое мнение, я нелегко меняю свои старые взгляды из опасения, что я потеряю на обмене; и так как я не умею сам выбирать, то принимаю выбор другого и держусь того, что мне определено богом. В противном случае я не мог бы остановиться и без конца менял бы свои взгляды. Благодаря этой устойчивости, я, не вступая в борьбу со своей совестью, сохранил, божьей милостью, верность старым формам нашей религии, вопреки множеству возникших в наше время сект и религиозных учений. Творения древних авторов — я имею в виду первоклассные и значительные произведения — всегда пленяют меня и как бы влекут меня, куда им вздумается; последний прочитанный мной автор всегда кажется мне наиболее убедительным; я нахожу, что каждый из них по очереди прав, хотя они и противоречат друг другу. Та легкость, с какой умные люди могут сделать правдоподобным все, что захотят, благодаря чему нет ничего столь необычного, чего они не сумели бы преобразить настолько, чтобы обмануть такого простака, как я, — лучше всего доказывает слабость их доводов. В течение трех тысячелетий небосвод со всеми светилами

вращался вокруг нас; весь мир верил в это, пока Клеанф Самосский⁵⁶⁰ — или, согласно Феофрасту, Никет Сиракузский — не вздумал уверять, что в действительности земля движется вокруг своей оси по эклиптике зодиака; а в наше время Коперник так хорошо обосновал это учение, что весьма убедительно объясняет с его помощью все астрономические явления. Какое иное заключение можем мы сделать отсюда, как не то, что не нам устанавливать, какая из этих двух точек зрения правильна? И кто знает, не появится ли через тысячу лет какая-нибудь третья точка зрения, которая опровергнет обе предыдущие?

Sic volvenda aetas commutat tempora rerum:
Quod fuit in pretio, fit nullo denique honore;
Porro aliud succedit, et e contemptibus exit,
Inque dies magis appetitur, floretque repertum
Laudibus, et miro est mortales inter honore.⁵⁶¹

Поэтому, когда появляется какое-нибудь новое учение, у нас есть много оснований не доверять ему, памятуя, что до его появления процветало противоположное учение; и подобно тому как оно было отвергнуто новой точкой зрения, точно так же в будущем может возникнуть еще какое-нибудь третье учение, которое отвергнет это второе. До того, как получили распространение принципы, введенные Аристотелем, человеческий разум довольствовался другими учениями, так же как нас теперь удовлетворяют его принципы. Почему мы обязаны больше им верить? Какой они обладают особенной привилегией, гарантирующей им, что ничего другого не может быть измышлено человеческим умом и потому отныне мы будем доверять им до конца веков? Ведь они могут быть вытеснены так же, как учения, им предшествовавшие. Когда мне навязывают какую-нибудь новую мысль, против которой я не нахожу возражений, то я считаю, что то, чего я не в состоянии опровергнуть, может быть опровергнуто другим; ведь надо быть большим простаком, чтобы верить всякой видимости истины, в которой мы не в состоянии разобраться. Иначе получится, что простые люди, а мы все принадлежим к их числу, будут постоянно менять свои взгляды подобно флагеграм; ибо, будучи податливы и неспособны к сопротивлению, они вы-

нуждены будут непрерывно усваивать все новые и новые воззрения, причем последнее всегда будет уничтожать следы предшествовавшего. Кто сам слаб, должен, как водится, ответить, что будет судить о новом взгляде в меру своего понимания; либо же он должен обратиться к более знающим людям, у которых учился. Медицина существует на свете немало лет. И вот, говорят, появился некто, именуемый Парацельсом,⁵⁶² который меняет и переворачивает вверх дном все установленные старые медицинские представления и утверждает, что до сих пор медицина только и делала, что морила людей. Я полагаю, что ему нетрудно будет доказать это; но считаю, что было бы не слишком благоразумно, если бы я рискнул своей жизнью ради подтверждения его новых опытов.

Не всякому верь — говорит пословица, — ибо всякий может сказать все, что ему вздумается.

Один из таких новаторов и реформаторов в области физики недавно рассказывал мне, что все древние авторы явно ошибались в вопросе о природе ветров и их движения; он брался неопровержимо доказать мне это, если я захочу его выслушать. Набравшись немного терпения и выслушав его доводы, звучавшие очень правдоподобно, я сказал ему: «А как же те, кто плавал по законам Феофраста? Неужели они двигались на запад, когда направлялись на восток? Как они плыли — вперед или назад?» — «Случай им помогал, — ответил он мне; — но они безусловно ошибались». Я сказал ему, что в таком случае предпочитаю лучше полагаться на наш опыт, чем на наш разум. Однако эти две вещи нередко противоречат друг другу: мне говорили, что в геометрии (которая, по мнению геометров, достигла более высокой степени достоверности по сравнению с другими науками) имеются несомненные доказательства, опровергающие истинность опыта. Так, будучи у меня, Жак Пелетье рассказывал мне, что он открыл две линии, которые непрерывно приближаются друг к другу, но тем не менее никогда, до бесконечности, не могут встретиться.⁵⁶³ Или взять пирронистов, которые пользуются своими аргументами и своим разумом только для опровержения истинности опыта: поразительно, до какой логической изворотливости они дошли в своем стремлении опровергнуть очевидные факты! Так, с немень-

шей убедительностью, чем мы доказываем самые несомненные вещи, они доказывают, что мы не двигаемся, не говорим, что нет ни тяжелого, ни теплого. Великий ученый Птолемей⁵⁶⁴ установил границы нашего мира; все древние философы полагали, что знают размеры его, если не считать нескольких отдаленных островов, которые могли остаться им неизвестными. Поставить под сомнение науку космографии и те взгляды, которые были в ней общеприняты, значило бы тысячу лет тому назад записаться в пирронисты. Считалось ересью признавать существование антиподов;⁵⁶⁵ а между тем в наше время открыт огромный континент, не какой-нибудь остров или отдельная страна, а часть света, почти равная по своим размерам той, что нам известна. Современные географы не перестают уверять, будто в настоящее время все открыто и все обследовано:

Nam quod adest praesto, placet, et pollere videtur.⁵⁶⁶

Если Птолемей в свое время ошибся в расчетах, внушенных ему разумом, то не глупо ли было бы с моей стороны в настоящее время верить тому, что утверждают нынешние ученые? И не правдоподобнее ли, что то огромное тело, которое мы называем миром, совсем не таково, каким мы его считаем?

Платон считал, что мир меняет свой облик во всех смыслах,⁵⁶⁷ что небо, звезды и солнце по временам меняют свой путь, видимый нами, и движутся не с востока на запад, а наоборот. Египетские жрецы говорили Геродоту,⁵⁶⁸ что за одиннадцать тысяч с лишним лет, протекших со времени их первого царя (при этом они показали ему статуи всех своих царей, высеченные с них при жизни), солнце меняло свой путь четыре раза; они утверждали, что море и суша попеременно менялись местами и что неизвестно, когда возник мир; так же думали Аристотель и Цицерон. Некоторые наши христианские авторы считают,⁵⁶⁹ что мир существует от века, что он погибал и возрождался через известные промежутки времени; они ссылаются при этом на Соломона и Исаию, желая опровергнуть доводы тех, кто доказывал, будто бог некоторое время был творцом без творения и пребывал в праздности, но затем, осудив свое бездействие, приступил к творению и что он, следовательно, способен меняться. Приверженцы

самой знаменитой из греческих философских школ⁵⁷⁰ считали, что мир — это бог, созданный другим, высшим богом и состоящий из тела и души, которая расположена в центре этого тела и посредством гармонических сочетаний распространяется на периферию; что он божественный, всеблаженный, превеликий, премудрый и вечный. В мире существуют и другие боги — суша, море, звезды, — которые обращаются друг с другом путем гармонического и непрерывного движения и божественного танца, то встречаясь, то удаляясь друг от друга, то скрываясь, то показываясь, меняя строй, двигаясь то вперед, то назад. Гераклит⁵⁷¹ считал, что мир создан из огня и по воле судеб должен в какой-то момент воспламениться и распасться, а потом возродиться. Апулей говорит о людях: *Sigillatim mortales, cunctim perpetui*.⁵⁷² Александр в письме к своей матери⁵⁷³ передал рассказ одного египетского жреца, почерпнутый из египетских памятников; рассказ этот свидетельствовал о глубочайшей древности египтян и содержал правдивую историю возникновения и развития других стран. Цицерон и Диодор сообщают, что в их времена халдеи имели летописи, охватывавшие свыше четырехсот тысяч лет;⁵⁷⁴ Аристотель, Плиний и другие утверждают, что Зороастр⁵⁷⁵ жил за шесть тысяч лет до Платона. Платон сообщает,⁵⁷⁶ что жрецы города Саиса хранили летописи, охватывающие восемь тысячелетий, и что город Афины был основан на тысячу лет раньше названного города Саиса. Эпикур утверждал, что вещи, какими мы их видим вокруг нас, существуют совершенно в таком же виде и во множестве других миров. Он говорил бы это с еще большей уверенностью, если бы ему суждено было увидеть на самых причудливых примерах, какое сходство и какие совпадения существуют между недавно открытым миром Вест-Индии и нашим миром в его прошлом и настоящем.

Учитывая успехи, достигнутые нашей наукой в течение веков, я часто поражался, видя, что у народов, отделенных друг от друга огромными расстояниями и веками, существует множество одинаковых и широко распространенных чудовищных воззрений, диких нравов и верований, которые никак не вытекают из нашего природного разума. Поистине человеческий ум — большой мастер творить чудеса, но в этом сходстве есть нечто еще более поразительное; оно прояв-

ляется даже в совпадении имен, отдельных событий и в тысяче других вещей. Действительно существовали⁵⁷⁷ народы, ничего о нас, насколько нам известно, не знавшие, у которых широко распространено было обрезание; существовали целые цивилизации и государства, где управление находилось в руках женщин, а не мужчин; были народы, соблюдавшие такие же, как у нас, посты и правила, ограничивавшие сношения с женщинами; были и такие, которые различным образом поклонялись кресту: в одних местах кресты ставили на могилах, в других — крестами пользовались (например, крестом святого Андрея)⁵⁷⁸ для защиты от ночных призраков и при родах, чтобы охранить новорожденного от колдовских чар; а еще в одном месте, в глубине материка, нашли высокий деревянный крест, которому поклонялись как богу дождя. Встречались здесь также точные подобию наших духовников, ношение жрецами митр и соблюдение ими безбрачия, гадание по внутренностям жертвенных животных, воздержание от употребления в пищу мяса и рыбы; обнаружены были народы, у которых во время богослужения жрецы пользовались особым, а не народным языком, а также такие, у которых распространено было странное верование, будто первый бог был изгнан вторым, его младшим братом. Некоторые народы верили, что при своем сотворении они были наделены всеми качествами, но потом, из-за своей греховности, были лишены целого ряда своих первоначальных способностей, вынуждены были покинуть прежнее местопребывание, и их природные свойства ухудшились. Были найдены народы, полагавшие, что когда-то они были затоплены водами, хлынувшими из хлябей небесных, что от этого потопа спаслось только немного людей, укрывшихся в высоких горных ущельях, которые они загородили так, чтобы вода не могла проникнуть туда, и взявших с собой в эти ущелья животных разных пород; когда они заметили, что ливень прекратился, они выпустили собак, которые вернулись обратно чистыми и мокрыми, на основании чего они сделали вывод, что уровень воды еще недостаточно снизился; некоторое время спустя они выпустили других животных, и когда те вернулись, покрытые грязью, то люди решили выйти из своих укрытий и вновь населить мир, в котором они нашли одних только змей. В некоторых местах народы верили в наступление

судного дня и были чрезвычайно возмущены, когда испанцы, при раскопке могил в поисках сокровищ, разбрасывали кости умерших; они убеждены были, что этим мертвым костям не легко будет вновь соединиться. Они знали только меновую торговлю; для этой цели устраивались ярмарки и рынки. Карлики и уроды служили развлечением на княжеских пирах; у них был принят обычай соколиной охоты, сообразуясь с природой этих птиц; с покоренных племен депотически взималась дань; они выращивали самые изысканные плоды; распространены были танцы, прыжки плясунов, музыкальные инструменты; приняты были гербы, игра в мяч, игра в кости и в метание жребия, причем они часто приходили в такой азарт, что проигрывали себя и свою свободу; вся врачебная наука сводилась к заклинаниям; писали не буквами, а изображениями; верили в существование первого человека, являвшегося отцом всех народов; поклонялись богу, который некогда был человеком и жил в совершенном целомудрии, посте и покаянии, проповедуя закон природы и выполнение религиозных обрядов, а потом исчез из мира, не умерши естественной смертью; верили в гигантов; любили напиваться допьяна крепкими напитками, а иной раз пить в меру; в качестве религиозных украшений им служили разрисованные кости и черепа покойников; существовали духовные облачения, святая вода и кропила; жены охотно выражали желание взойти на костер и быть похороненными вместе с умершими мужьями, а равно и слуги со своим покойным господином; существовал закон, согласно которому все имущество наследовал старший сын, а младшему не выделялось никакой доли, причем он обязан был повиноваться старшему; был обычай, согласно которому тот, кто назначался на какую-либо высокую должность, принимал новое имя и отказывался от прежнего; существовал обычай посыпать колени новорожденного известью, приговаривая при этом: «Из праха ты родился и в прах превратишься»; существовало искусство гадания по полету птиц. Эти примеры слабого подражания нашей религии свидетельствуют о ее достоинстве и божественности. Христианская религия не только сумела вызвать подражания и распространиться среди язычников Старого Света, но и по какому-то как бы сверхъестественному наитию передаться варварам Нового Света. Действительно, у них

можно было встретить веру в чистилище, хотя и в другой форме; то, что мы приписываем огню, они приписывают холоду и воображают, что души очищаются и наказываются действием сильного холода. Этот пример расхождения в мнениях напоминает мне о другом, весьма забавном случае такого же расхождения: наряду с найденными в Новом Свете народами, которые стремятся освободить кончик мужского детородного органа, совершая, подобно евреям и магометанам, обрезание крайней плоти, были обнаружены другие народы, которые, напротив, стараются всячески скрыть его и для этой цели тщательно завязывают тонкими тесемочками крайнюю плоть, чтобы только свежий воздух туда как-нибудь не проник. Различие обычаев наблюдается еще в следующем: в отличие от нашего обычая наряжаться на празднествах и при чествованиях королей в самые лучшие одежды, в некоторых краях подданные, желая показать королю дистанцию, отделяющую их от него, и свою покорность, предстают пред ним в самых скверных одеждах и, входя во дворец, надевают поверх своего хорошего платья какое-нибудь другое поношенное и изорванное, желая подчеркнуть, что весь блеск и вся роскошь принадлежат только властелину.

Но вернемся к прерванной нити изложения.

Если природа в своем непрерывном движении ограничивает определенными сроками, как и все другие вещи, также взгляды и суждения людей, если они также только известное время бывают в ходу и имеют, подобно овощам, свой сезон, свои сроки рождения и смерти, если на них влияют небесные светила, направляющие их по своей воле, то какое постоянное и неизменное значение можем мы им приписывать? Мы знаем по опыту, что на нас оказывает влияние воздух, климат, почва того места, где мы родились; причем они влияют не только на цвет нашей кожи, на наш рост, телосложение и осанку, но и на наши душевные качества: *et plaga caeli non solum ad robur congruum, sed etiam animorum facit*, — говорит Вегеций:⁵⁷⁹ как рассказывали египетские жрецы Солону, богиня — основательница города Афин выбрала для закладки его место с таким климатом, который делает людей мудрыми: *Athenis tenue caelum, ex quo etiam acutiores putantur Attici; crassum Thebis, itaque pingues Thebani et valentes*.⁵⁸⁰ Таким об-

разом, подобно тому как плоды и животные бывают неодинаковыми от рождения, точно так же и люди, в зависимости от климата того места, где они живут, бывают либо менее воинственными, либо более, либо менее справедливыми, либо более, либо менее умеренными и послушными; в одном месте они склонны к вину, в другом — к воровству и распутству; в одних краях — к свободе, в других — к рабству; в одних местностях они бывают способны к наукам и искусствам; бывают невежественны или изобретательны; покорны или мятежны; добры или злы. Люди меняют свой нрав, если их переселить в другое место, совершенно так же, как и деревья; вот почему Кир не хотел разрешить персам покинуть свою суровую, гористую страну и переселиться в равнину с мягким климатом, ссылаясь на то, что тучные нивы делают людей изнеженными, а плодородная земля делает умы бесплодными.⁵⁸¹ Если мы видим, что под влиянием какого-то действия небесных светил процветает то одно искусство, то другое; или что каждый век порождает определенных людей и наделяет их определенными склонностями; что люди бывают то способными, то бесплодными, как бывают поля, — во что в таком случае превращаются все те прекрасные преимущества, которыми мы якобы обладаем? Поскольку ошибаться может и один умный человек, и сто умных людей, и целые народы, иначе говоря, поскольку, по нашему мнению, человеческий род в течение многих веков ошибается в том или ином вопросе, — какая может быть у нас уверенность, что он когда-нибудь перестанет ошибаться и что именно в этом веке он не ошибается?

Мне кажется, что среди показателей нашей слабости нельзя забывать и того, что даже при всем желании человек не умеет определить, что ему нужно. Мы не в состоянии прийти к соглашению, даже в нашем воображении и в наших пожеланиях, относительно того, что нам необходимо для нашего удовлетворения. Если даже предоставить нашему уму полную свободу выбирать что ему угодно, он и тогда не сможет пожелать того, что действительно нужно для его удовлетворения:

quid enim ratione timemus

Aut cupimus? quid tam dextro pede concipis, ut te

Conatus non poeniteat votique peracti?⁵⁸²

Вот почему Сократ просил богов дать ему только то, что они сами считают полезным для него.⁵⁸³ И точно так же лакедемоняне в своих общественных и домашних молитвах просили богов лишь о том, чтобы те даровали им все прекрасное и благое, а выбор и определение того, что является для них действительно прекрасным и благим, предоставляли самим богам:⁵⁸⁴

Coniugium petimus partumque uxoris; at illi
Notum qui pueri qualisque futura sit uxor.⁵⁸⁵

И христианин также молит бога: «да будет воля твоя», страшась того, как бы его не постигла беда, в которую, по уверению поэтов, впал царь Мидас.⁵⁸⁶ Он просил у богов, чтобы все, к чему бы он ни прикасался, превращалось в золото. Его молитва была услышана: и вот его хлеб, его вино, его рубашка, его одежды, все, все вплоть до перьев в его подушке превратилось в золото. Он был подавлен исполнением своего желания, получив в дар несносное богатство, и ему пришлось взять свои слова обратно:

Attonitus novitate mali, divesque miserque,
Eífugere optat opes, et quae modo voverat, odit.⁵⁸⁷

Скажу о себе самом: в молодости я молил судьбу больше всего о том, чтобы мне был пожалован орден святого Михаила, ибо он считался тогда у французской знати высшим и весьма редким знаком почета. Судьба забавно удовлетворила мою просьбу: вместо того чтобы поднять и возвысить меня до него, она поступила со мной необычайно милостиво, снизив его и опустив до уровня моих плеч и даже ниже.

Клеобис и Битон просили у своей богини, а Трофоний и Агамед у своего бога,⁵⁸⁸ достойной награды за их благочестие: боги послали им смерть; вот до чего мнения небожителей о том, что нам нужно, отличны от наших!

Когда бог дарует нам богатство, почести, жизнь и даже здоровье, то это иной раз бывает нам во вред; ибо не всегда то, что нам приятно, благотворно для нас. Если вместо исполнения бог посылает нам смерть или усиление наших страданий — *Virga tua et baculus tuus*

ipsa me consolata sunt,⁵⁸⁹ — то в этом обнаруживается его премудрость, которая знает гораздо лучше нас, что нам нужно; мы же должны принимать это за благо, ибо оно исходит от существа всеведущего и весьма к нам благосклонного:

si consilium vis,
Permites ipsis expendere numinibus, quid
Conveniat nobis, rebusque sit utile nostris:
Caior est illis homo quam sibi.⁵⁹⁰

Действительно, просить у богов почестей или высоких постов значит просить их бросить тебя в бой или заставить тебя ввязаться в игру в кости или в какое-нибудь другое рискованное предприятие, исход которого неизвестен и результаты сомнительны.

Философы ни о чем не спорят так страстно и так ожесточенно, как по поводу того, в чем состоит высшее благо человека; по подсчетам Варрона, существовало двести восемьдесят восемь школ по этому вопросу.⁵⁹¹

*Qui autem de summo bono dissentit, de tota philosophiae ratione dissentit.*⁵⁹²

Tres mihi convivae prope dissentire videntur,
Poscentes vario multum diversa palato:
Quid dem? quid non dem? Renius tu quod iubet alter;
Quod petis, id sane est invisum acidumque duobus.⁵⁹³

Так должна была бы ответить природа философам по поводу их споров.

Одни говорят, что наше высшее благо состоит в добродетели; другие — что в наслаждении; третьи — в следовании природе; кто находит его в науке, кто в отсутствии страданий, а кто в том, чтобы не поддаваться видимостям; к этому последнему мнению как будто примыкает следующее правило старого Пифагора:

Nil admirari prope res una, Numaci,
Solaque quae possit facere et servare beatum,⁵⁹⁴

являющееся целью школы пирронистов. Аристотель считает проявлением величия души способность ничему не удивляться.⁵⁹⁵ Аркесилай утверждал,⁵⁹⁶ что благом является стойкость и невозмутимость, объявляя уступчивость и податливость злом и пороком. Правда, вы-

двигаю это положение в качестве бесспорной аксиомы, он отходил от пирронизма, ибо когда пирронисты заявляют, что высшее благо — это атараксия, то есть невозмутимость духа, то они не утверждают этого в положительном смысле; но та самая склонность, которая заставляет их избегать опасностей и укрываться в надежное место, побуждает их принять эту точку зрения и отвергнуть другие.

Как бы я хотел, чтобы кто-нибудь, например Юст Липсий — самый ученый человек нашего времени, обладающий остро отточенным умом, поистине родственным моему Тюрнебу,⁵⁹⁷ или кто-нибудь другой, еще при жизни моей обнаружил желание (имея при этом достаточно сил и времени) свести воедино и со всей доступной нам тщательностью составить перечень взглядов всех древних философов по вопросу о нашем благе и нашем поведении, распределив этих авторов по школам и направлениям, к которым они принадлежали; описал бы нам их споры, распространенность этих школ и судьбы каждой из них; наконец, показал бы, как основатели школ и их последователи применяли свои правила на практике, на примере наиболее замечательных, памятных случаев из жизни! Какая это была бы прекрасная и полезная книга!

А пока что, поскольку мы сами устанавливаем правила нашего поведения, мы обречены на чудовищный хаос. Действительно, правило, которое наш разум рекомендует нам, как наиболее в этом отношении надежное и правдоподобное, состоит в том, что каждый должен повиноваться законам своей страны; таково было воззрение Сократа, внушенное ему, по его словам, свыше. Но что это значит, как не то, что мы должны руководствоваться случайным правилом? Истина должна быть общепризнанной и повсюду одинаковой. Если бы человек способен был познать подлинную сущность справедливости и правосудия, он не связывал бы их с обычаями той или иной страны: истина не зависела бы от того, как представляют себе ее персы или индийцы. Ничто так не подвержено постоянным изменениям, как законы. На протяжении моей жизни наши соседи англичане три или четыре раза меняли не только свою политику, которая считается наиболее неустойчивой областью, но и свои убеждения в самом важном деле — в вопросе о религии.⁵⁹⁸ Мне тем более досадно и стыдно за

это, что англичане — народ, с которым мои земляки некогда состояли в столь тесном родстве, что в моем доме еще и по сей день имеется немало следов этого старого родства.

И у нас во Франции я замечал, что некоторые проступки, которые раньше карались смертью, некоторое время спустя объявлялись законными; и мы, которые обвиняем в этом других, можем сами, в зависимости от случайностей войны, оказаться в один прекрасный день виновными в оскорблении человеческого и божеского величия, поскольку наша справедливость по прошествии немногих лет превратится в свою противоположность, оказавшись несправедливостью.

Мог ли древний бог⁵⁹⁹ яснее обличить людей в незнании бога и лучше преподать им, что религия есть не что иное, как их собственное измышление, необходимое для поддержания человеческого общества, чем заявив — как он это сделал — тем, кто искал наставления у его треножника, что истинной религией для каждого является та, которая охраняется обычаем той страны, где он родился? О господи! Как мы должны благодарить милостивого нашего создателя за то, что он освободил нашу религию от случайных и произвольных верований и основал ее на нерушимом фундаменте его святого слова!⁶⁰⁰

Действительно, что может преподать нам в этом случае философия? Следовать законам своей страны, то есть чтобы мы вверились волнующемуся морю мнений каждого народа или государя, которые будут рисовать мне справедливость каждый по-своему и придавать ей разные облики, в зависимости от того, как будут меняться их страсти? Такая изменчивость суждений не по мне. Что это за благо, которое я вчера видел в почете, но которое завтра уже не будет пользоваться им и которое переезд через какую-нибудь речку превращает в преступление? Что это за истина, которую ограничивают какие-нибудь горы и которая становится ложью для людей по ту сторону этих гор?⁶⁰¹

Но смешно, когда философы, желая придать законам какую-то достоверность, утверждают, что существуют некоторые незыблемые и постоянные, неизменные законы нравственности, которые они именуют естественными и которые в силу самой их сущности заложены в человеческом роде. Одни уверяют, что таких естественных законов

три, другие — что четыре; кто считает, что их больше, а кто — меньше. Эти разногласия подтверждают только, что указанная разновидность законов столь же сомнительна, как и все остальные. Эти жалкие законы (ибо как назвать их иначе, если из бесконечного множества законов нет ни одного, который по милости судьбы или по случайно выпавшему жребию был бы повсеместно принят с общего согласия всех народов?) столь ничтожны, что даже из этих трех или четырех избранных законов нет ни одного, которого не отвергли бы не то, что один какой-нибудь, а многие народы. Между тем всеобщее признание — это единственный показатель достоверности, который можно было бы привести в подтверждение некоторых естественных законов: ибо мы, несомненно, все беспрекословно следовали бы тому, что действительно было бы установлено природой. И не только целый народ, но и каждый отдельный человек воспринял бы как насилие или принуждение, если бы кто-нибудь захотел толкнуть его на действия, противоречащие этому закону. Но пусть мне покажут воочию какой-нибудь закон, удовлетворяющий этому условию. Протагор и Аристон считали, что справедливость законов покоится единственно на авторитете и мнении законодателя, вследствие чего если отнять этот признак, то благое и почтенное потеряют свои качества и станут пустыми названиями безразличных вещей. Фрасимах⁶⁰² у Платона заявляет, что нет другого права, кроме интереса сильнейшего. Нет большей пестроты и различий, чем в области обычаев и законов. Какая-нибудь вещь, которая в одном месте считается гнусной и предосудительной, в другом одобряется, например умение воровать в Лакедемоне. У нас под страхом смерти запрещаются браки между близкими родственниками, в других же местах они, наоборот, в почете:

gentes esse feruntur
In quibus et nato genetrix, et nata parenti
Iungitur, et pietas geminato crescit amore.⁶⁰³

Убийство детей, убийство родителей, общность жен, торговля краденым, всякого рода распутство — нет такого чудовищного обычая, который не был бы принят у какого-нибудь народа.

Весьма вероятно, что естественные законы существуют, как они имеются у некоторых других созданий; однако у нас они утрачены по милости этого замечательного человеческого разума, который во все вмешивается и повсюду хочет распоряжаться и приказывать, но вследствие нашей суетности и непостоянства лишь затемняет облик вещей: *Nihil itaque amplius nostrum est: quod nostrum dico, artis est.*⁶⁰⁴

Вещи выглядят по-разному и могут восприниматься с различных точек зрения: отсюда главным образом и проистекает различие в мнениях. Один народ смотрит на какую-нибудь вещь с одной точки зрения и устанавливает себе о ней такое-то мнение, другой смотрит на нее иначе.

Нельзя представить себе ничего более ужасного, чем пожирание трупа собственного отца; а между тем те народы, которые придерживались в древности этого обычая, видели в нем свидетельство благочестия и сыновней любви, ибо они считали, что таким путем обеспечивают своим родителям наиболее достойное и почетное погребение. Ведь, пожирая останки своих отцов, они как бы хоронили их в самой сокровенной глубине своего тела и до какой-то степени оживляли и воскрешали своих отцов, превращая их путем пищеварения и питания в свою живую плоть. Нетрудно представить себе, каким жестоким и отвратительным показался бы людям, проникнутым этим суеверием, обычай предавать останки своих родителей земле, где трупы гниют и служат пищей животным и червям.

Ликург считал,⁶⁰⁵ что для того, чтобы украсть какую-нибудь вещь у своего соседа, нужно проявить сметливость, проворство, смелость и ловкость; с другой стороны, он полагал, что для общества будет полезно, если каждый будет тщательно охранять свое добро; поэтому он решил, что воспитание обоих этих качеств — умения нападать и умения защищаться — принесет богатые плоды при обучении военному делу (являвшемуся главной наукой и добродетелью, которые он хотел привить своему народу) и что это возместит тот ущерб и ту несправедливость, которые вызываются присвоением чужой вещи.

Тиран Дионисий⁶⁰⁶ захотел подарить Платону шитое по персидскому образцу, длинное, пестро окрашенное одеяние, пропитанное благовониями, но Платон отказался принять его, говоря, что будучи

мужчиной, он не хочет одеваться в женское платье. Аристипп же принял этот подарок, заявив, что никакой наряд не в состоянии затмить неподдельное мужество. Друзья Аристиппа упрекали его в трусости за то, что, когда Дионисий плюнул ему в лицо, он очень легко отнесся к этому. «Ведь терпят же рыбаки, — ответил он им, — и допускают, чтобы морские волны окатывали их с головы до ног, ради того, чтобы выловить какого-нибудь пескаря». Однажды, когда Диоген мыл для себя зелень к обеду, он увидел проходящего мимо Аристиппа и сказал ему: «Если бы ты умел питаться зеленью, то не пресмыкался бы перед тираном», на что Аристипп ему ответил: «А если бы ты умел водиться с людьми, тебе не приходилось бы мыть себе зелень».⁶⁰⁷ Вот как разум оправдывает самые различные действия! Это — котелок с двумя ручками, который можно ухватить и с одной и с другой стороны:

Bellum, o terra hospita, portas;
 Bello armantur equi, bellum haec armenta minantur.
 Sed tamen iidem olim curru succedere sueti
 Quadrupes, et frena iugo concordia ferre;
 Spes est pacis.⁶⁰⁸

Солона уговаривали не проливать слез по поводу смерти его сына, ибо они бесполезны и бессильны помочь горю; на что он ответил: «Потому-то я и проливаю их, что они бесполезны и бессильны».⁶⁰⁹ Жена Сократа растревляла свою скорбь, восклицая: «О, как несправедливо эти злые судьбы приговорили тебя к смерти!» — «А ты предпочла бы, чтобы они осудили меня заслуженно?», — ответил ей на это Сократ.⁶¹⁰ У нас прокалывают себе ушные мочки; греки же считали это признаком рабства. Мы прячемся во время сношений с женщинами; индийцы же делают это открыто. Скифы приносили в жертву чужестранцев в своих храмах; в других же местах, наоборот, храмы служили местом убежища.

Inde furor vulgi quod numina vicinorum
 Odit uterque locus, cum solos credat habendos
 Esse deos, quos ipse colit.⁶¹¹

Мне рассказывали об одном судье, что когда он наталкивался на какой-нибудь вопрос, являвшийся предметом ожесточенных споров

между Бартоло и Бальдом,⁶¹² или на какой-нибудь вопрос, по которому существует несколько различных мнений, то делал следующую пометку на полях своей книги: «по-приятельски». Это значило, что истина так темна и спорна, что в подобном случае он мог решить дело в пользу любой из спорящих сторон. Он считал, что только из-за недостатка остроумия и учености он не во всех случаях мог сделать свою пометку: «по-приятельски». Современные адвокаты и судьи во всех спорных случаях находят достаточно уверток, чтобы решить дело как им заблагорассудится. В такой запутанной науке, как юриспруденция, где сталкиваются столько авторитетов и столько мнений и где самый предмет исследования столь произволен, — разнобой в суждениях совершенно неизбежен. Вот почему нет такого судебного дела, которое было бы настолько ясно, что не вызывало бы разногласий. Одна судебная инстанция решает дело в одном смысле, другая — в прямо противоположном, а бывает и так, что одна и та же инстанция во второй раз принимает противоположное решение. Отсюда наблюдаемые нами повседневно примеры того произвола, когда один за другим выносятся разные приговоры и когда для решения одного и того же дела перебегают от одного судьи к другому. Все это сильно подрывает авторитет нашего правосудия и лишает его всякого блеска.

Что касается разброда философских мнений по вопросу о пороке и добродетели, то об этом нет нужды распространяться, ибо есть среди них немало таких взглядов, что лучше о них промолчать, чем делать их достоянием неискушенных умов. Аркесилай утверждал, что в делах сладострастия неважно, что именно и как делается: *Et obscenas voluptates, si natura requirit, non genere, aut loco, aut ordine, sed forma, aetate, figura metiendas Epicurus putat.*⁶¹³

*Ne amores quidem sanctos a sapiente alienos esse arbitrantur.*⁶¹⁴ — *Quaeramus ad quam usque aetatem iuvenes amandi sint.*⁶¹⁵ Приведенные два положения стойков и упрек, брошенный по этому поводу Дикеархом самому Платону, показывают, сколько вольностей и излишеств, идущих в разрез с общепринятым обычаем, допускает самая здравая философия.

Законы приобретают тем большую силу, чем они древнее и

дольше применяются. Опасно их ограничивать первоначальным их назначением. Они подобны рекам, которые становятся более мощными и величественными по мере своего движения вперед; если пройти вверх по течению до истоков, то можно убедиться, что вначале это едва заметный ручеек, который по мере своего роста набирает сил и становится полноводной рекой. Приглядитесь, каковы были первоначальные воззрения, положившие начало этому могучему потоку мнений, которые ныне внушают почтение и ужас; тогда вы убедитесь, что они были весьма шаткими и легковесными, и вы не удивитесь тому, что люди, которые все взвешивают и оценивают разумом, ничего не принимая на веру и не полагаясь на авторитет, придерживаются суждений, весьма далеких от общепринятых. Неудивительно, что взгляды людей, которые берут себе за образец природу, в большинстве случаев весьма уклоняются от общепризнанных; так, например, лишь очень немногие из них одобрили бы строгость нашего брака, а большинство из них разрешало общность жен и свободу от всяких ограничений. Они отвергали также наши приличия: так, Хрисипп утверждал, что за десяток маслин философ готов десять раз перекувырнуться перед зрителями, даже без штанов.⁶¹⁶ Он вряд ли посоветовал бы Клисфену отказаться выдать свою дочь, прекрасную Агаристу, за Гиппоклида, увидев однажды, как тот, вскочив на стол, встал на голову и растопырил в воздухе ноги.⁶¹⁷

Метрокл⁶¹⁸ однажды во время спора нечаянно выпустил газы в присутствии своих учеников. Он спрятался со стыда и не выходил из дому, пока его не навестил Кратет, который стал приводить ему в утешение разные доводы и наконец, желая показать ему пример своей полнейшей непринужденности, принялся наперебой с ним выпускать ветры. Ему удалось таким образом не только рассеять сомнения Метрокла, но и склонить его к стоическому учению, более свободному в вопросе о нравах, чем перипатетическое, которое Метрокл разделял раньше и которое больше придерживалось правил вежливости.

То, что мы называем непристойностью, а именно вещи, которые мы не решаемся делать явно, а делаем тайно, люди раньше называли глупостью, считая пороком замалчивать и как бы осуждать то, чего

от нас требуют природа, обычай и наши желания. Им казалось, что лишить таинства Венеры их священного убежища в ее храме и выставить их перед толпой, значило унижить их; что показать ее игры без занавеса значило осквернить их. Ведь всякая стыдливость, по их мнению, есть вещь относительная, и решение вопроса о том, следует ли такие вещи скрывать, утаивать и обходить молчанием, зависит от точки зрения. Они считали, что отличным примером этого может служить сладострастие под маской добродетели, которому выгоднее, чтобы его не выставляли на показ толпе на улицах и площадях, подвергая публичному позору, а предлагали ему ютиться в укромных уголках. Вот почему некоторые утверждают, что уничтожить публичные дома значит не только повсеместно распространить разврат, который до этого сосредоточен был в определенных местах, но что это еще значит способствовать разжиганию у мужчин влечения к пороку с помощью создания на их пути препон:

Moechus es Aufidiae, qui vir, Scaevine, fuisti;
 Rivalis fuerat qui tuus, ille vir est.
 Cur aliena placet tibi, quae tua non placet uxor?
 Numquid securus non potes arrigere? ⁶¹⁹

Тысячи примеров подтверждают это:

Nullus in urbe fuit tota qui tangere vellet
 Uxorem gratis, Caecilianae, tuam,
 Dum licuit; sed nunc, positis custodibus, ingens
 Turba fututorum est: ingeniosus homo es. ⁶²⁰

Одного философа, который был застигнут в момент любовного акта, спросили, что он делает. «Порождаю человека», — ответил он весьма хладнокровно, нисколько не покраснев, как если бы его застали за посадкой чеснока. ⁶²¹

Я полагаю, что великий писатель-богослов ⁶²² одушевлен был весьма трогательными и почтенными чувствами, когда считал, что этот акт обязательно должен совершаться стыдливо и в тайне и что разнузданные объятия циников не могут удовлетворить эту потребность до конца; он полагал, что циники выставляли напоказ свои сладострастные движения лишь для того, чтобы подтвердить, что их

школа не признает стыда, но что в действительности они удовлетворяли свою потребность в уединении.

Наш мыслитель, однако, недостаточно оценивал степень распутства циников. Ибо, например, Диоген, открыто предававшийся мастурбации, выражал перед присутствующими свою полную готовность, с помощью растирания живота, также удовлетворить и другую свою потребность.⁶²³ А тем, кто его спрашивал, неужели он не может найти, чтобы поесть, более подходящего места, чем людная улица, он отвечал: «Я на улице почувствовал голод, потому и ем на улице».⁶²⁴ Женщины-философы, принадлежавшие к цинической школе, открыто, без стыда, отдавались философам; Гиппархия⁶²⁵ была принята в кружок Кратета только с условием, что она во всем будет подчиняться его правилам. Эти философы выше всего ценили добродетель и отказывались признавать все другие дисциплины, кроме морали; вот почему они приписывали высший авторитет во всех делах выбранному ими мудрецу, который считался стоящим выше законов. Они не ставили сладокрастию никаких иных границ, кроме умеренности и соблюдения свободы другого.

На основании того, что вино кажется горьким больному и приятным здоровому, что весло кажется изогнутым в воде и прямым, когда оно вынуто из воды, и тому подобных видимых противоречий Гераклит и Протагор доказывали, что все вещи заключают в себе причины таких явлений; по их мнению, в вине содержится некая горечь, которая проявляется в ощущении больного, в весле — некое качество изогнутости, которое открывается тому, кто рассматривает его в воде, и так далее.⁶²⁶ Но это означает, что всё находится во всем, а следовательно, ничто — ни в чем; ибо ничто не может быть там, где есть всё.

Это мнение напоминает мне то, в чем мы постоянно убеждаемся на опыте, а именно что нет такого смысла и значения — прямого или косвенного, приятного или неприятного, — которых наш ум не обнаружил бы в читаемых нами произведениях. Сколько ошибок и заблуждений рождается из самого точного, ясного и совершенного слова! Какая только ересь ни находила в нем достаточных оснований для своего возникновения и распространения! Вот почему виновники

таких заблуждений ни за что не желают отказаться от этого способа доказательства, покоящегося на истолковании слов. Один почтенный человек, всецело погруженный в поиски философского камня, недавно хотел доказать мне законность этого занятия, ссылаясь на авторитет Библии; он привел мне пять или шесть мест из Библии, на которые он, по его словам, прежде всего опирался, чтобы успокоить свою совесть (ибо он был лицом духовного звания); и действительно, это не была просто смешная выдумка: приведенные им места были поистине весьма пригодны для защиты этой пресловутой науки.

Путем подобного же истолкования слов получают распространение разные пророческие вымыслы. Ведь всякого прорицателя, который пользуется таким влиянием, что к нему часто обращаются и старательно истолковывают все оттенки его слов и выражений, можно заставить говорить все, что угодно, как это и делают с сивиллами.⁶²⁷ Ведь имеется такое множество способов толкования, что изобретательный ум всякими правдами и неправдами обязательно найдет в любом изречении тот смысл, который ему на руку.

Вот почему туманная и двусмысленная манера выражаться издавна приобрела широкое распространение. Пусть только автор сумеет привлечь к себе внимание потомства и заинтересовать его (что зависит не только от его дарования, но часто, или даже еще чаще, от интереса, вызываемого данным предметом), пусть он даже по простоте своей или из хитрости выражается несколько темно и двусмысленно — не беда! Найдется ряд истолкователей, которые, перелагая и переиначивая его сочинения, припишут ему множество воззрений — либо соответствующих, либо подобных, либо противоречащих его собственным, — которые окружают его имя почетом. Он обогатится за счет своих учеников, подобно учителям, в день ярмарки Сен-Дени.⁶²⁸

По этой причине стали ценить некоторые пустяковые вещи, приобрели популярность разные писания и во многие произведения стали вкладывать самое разнообразное содержание — кому какое вздумается, — вследствие чего одна и та же вещь приобрела тысячу смыслов и сколько угодно самых различных значений и толкований. Возможно ли, чтобы Гомер хотел сказать все то, что ему приписы-

вают, чтобы он придерживался всех тех разноречивых воззрений, какие вычитывают у него богословы, законодатели, полководцы, философы, люди самых различных профессий, причастных к самым различным областям знания и человеческой деятельности? Все они на него опираются и ссылаются на него! Он мастер на все руки, вдохновитель всех творений, всех создателей! Он главный советник во всех начинаниях! Всякий, кому нужны были оракулы и предсказания, находил у него все, что ему было нужно. Один ученый человек из числа моих друзей нашел у Гомера столько поразительных совпадений и превосходных мест, говорящих в пользу нашей религии, что ему нелегко было отказаться от мысли, будто именно таково было намерение Гомера (тем более что Гомер был ему столь же близок, как и человек нашего времени). Беда только в том, что то, что, по его мнению, было свидетельством в пользу нашей религии, многие древние исследователи считали свидетельством в пользу их религий.

А посмотрите, что только выдвывают с Платоном! Так как всякий почитает за честь иметь его на своей стороне, то и истолковывает его в желательном для себя смысле. Платону приписывают и у него находят все новейшие взгляды, какие только существуют на свете, и, если потребуется, его противопоставляют ему же самому. Его заставляют отвергать нравы, принятые в его время, если только они неприемлемы в наши дни. Все эти истолкования тем убедительнее и ярче, чем изощреннее и острее ум толкователя.

Из того самого основания, из которого исходил Гераклит, утверждая, что каждая вещь содержит в себе все те свойства, какие в ней обнаруживают, Демокрит делал противоположное заключение, говоря, что вещи не содержат в себе ничего из того, что мы в них обнаруживаем; а из того факта, что мед сладок для одного и горек для другого, он делал вывод, что мед не сладок и не горек.⁶²⁹ Пирронисты сказали бы, что они не знают, сладок ли мед или горек, или — что он ни то, ни другое, или — что он и то, и другое; ибо они всегда и во всем стоят на позициях крайнего сомнения.

Киренаики считали, что нельзя ничего познать извне и что мы можем познать только то, что постигается нами путем внутреннего ощущения, как например боль или наслаждение; по их мнению, мы не

познаем ни звука, ни цвета, а лишь известные, вызываемые ими ощущения, которые и служат единственным основанием для нашего суждения. Протагор считал, что для каждого истинно то, что ему кажется. Эпикурейцы полагали, что всякое суждение покоится на чувствах, на них покоится познание вещей и они же составляют основу наслаждения. Платон же утверждал, что как суждение об истине, так и сама истина, в отличие от мнений и чувств, принадлежат уму и мышлению.

Это приводит меня к рассмотрению вопроса о роли чувств, которые составляют главное основание и доказательство нашего невеждения. Все, что познается, без сомнения познается благодаря способности познающего; ибо поскольку суждение получается в результате действия того, кто судит, то естественно, что он производит это действие своими средствами и по своей воле, а не по принуждению, как это происходило бы в том случае, если бы мы познавали вещи принудительно и согласно закону их сущности. Всякое познание пролагает себе путь в нас через чувства — они наши господа: ⁶³⁰

*via qua munita fidei
Proxima fert humanum in pectus templaque mentis.*⁶³¹

Знание начинается с них и ими же завершается. В конце концов мы знали бы не больше, чем какой-нибудь камень, если бы мы не знали, что существуют звук, запах, свет, вкус, мера, вес, мягкость, твердость, шероховатость, цвет, гладкость, ширина и глубина. Такова основа, таков принцип всего здания нашей науки. По мнению некоторых философов,⁶³² знание есть не что иное, как чувство. Тот, кто смог бы меня заставить пойти наперекор чувствам, взял бы меня за горло, и я не мог бы сделать больше ни шагу. Чувства являются началом и венцом человеческого познания.

*Invenies primis ab sensibus esse creatam
Notitiam veri, neque sensus posse refelli...
Quid maiore fide porro quam sensus haberi
Debet?* ⁶³³

Какую бы скромную роль ни отводить чувствам, необходимо признать, что все наше обучение происходит через них и при помощи их.

Цицерон сообщает,⁶³⁴ что Хрисипп, пытаясь умалить роль чувств и их значение, приводил самому себе столь сокрушительные возражения, что сам не в состоянии был их опровергнуть. Карнеад, придерживавшийся противоположной точки зрения, похвалялся тем, что он побивает Хрисиппа его же оружием и пользуется для его опровержения его собственными словами; по этому поводу он воскликнул: «О, несчастный, твоя собственная сила погубила тебя!»⁶³⁵ Нет большей нелепости, с нашей точки зрения, чем утверждать, что огонь не греет, что свет не светит, что в железе нет ни тяжести, ни прочности; все это понятия, которые нам доставляются нашими чувствами, и никакое человеческое знание или представление не может сравниться с этим по своей достоверности.

Первое имеющееся у меня возражение по поводу чувств состоит в том, что я сомневаюсь, чтобы человек наделен был всеми естественными чувствами. Я вижу, что многие животные живут полной и совершенной жизнью, одни без зрения, другие без слуха. Кто знает, не лишены ли мы одного, двух, трех или даже многих чувств? Ибо, если у нас не хватает какого-либо чувства, наш разум не в состоянии заметить этот недостаток. Чувства обладают тем преимуществом, что являются крайней границей нашего знания, и за их пределами нет ничего, что бы помогло нам открыть их. Нельзя даже открыть с помощью одного из чувств другое:

An poterunt oculos aures reprehendere, an aures
Tactus, an hunc porro tactum sapor arguet oris,
An confutabunt nares oculive revincent?⁶³⁶

Все они являются крайней границей наших способностей:

seorsum cuique potestas
Divisa est, sua vis cuique est.⁶³⁷

Невозможно объяснить слепорожденному, что он не видит; невозможно заставить его желать видеть и жалеть о своем недостатке. Вот почему то обстоятельство, что наша душа довольствуется и удовлетворяется теми чувствами, которые у нас есть, ничего не доказывает; ибо она не в состоянии ощутить свою собственную болезнь и свое несовершенство, если они даже имеются. Невозможно привести

слепорожденному какое-либо доказательство, довод или сравнение, которое вызвало бы в его воображении какое-то представление о том, что такое свет, цвет или зрение. Нет ничего стоящего за чувствами, что в состоянии было бы сделать чувства очевидными. Если слепорожденный выражает желание видеть, то не потому, что он действительно понимает, чего он хочет; он только слышал от нас, что он должен желать чего-то такого, чем мы обладаем, такого, что по своему действию, а также по своим последствиям люди называют благом, — но что же это такое, он все же не знает и не имеет об этом ни малейшего представления.

Я знал одного дворянина почтенного происхождения, слепорожденного или во всяком случае ослепшего в таком возрасте, когда он не знал, что такое зрение. Он до такой степени не понимал, чего ему недоставало, что применял, как и мы, слова, относящиеся к зрению, но только в особенном, свойственном лишь ему одному смысле. Однажды к нему подвели мальчика, которому он приходился крестным; обняв ребенка, он сказал: «Боже, какой прелестный мальчик! Приятно посмотреть на него! Какое у него очаровательное личико!» Так же как и мы, он сказал бы: «Этот зал прекрасно выглядит», «Погода ясная», «Солнечно». Более того, узнав о таких наших развлечениях, как охота, игра в мяч, стрельба в цель, он пристрастился к ним, стал ими заниматься и считал, что принимает в них такое же участие, как и мы; он гордился этим, находил в этом удовольствие, хотя обо всех этих играх знал только понаслышке. Выехав на открытое и просторное место, где он мог прищпорить коня, ему кричали: «Вот заяц», а через некоторое время сообщали, что заяц пойман, и тогда он бывал так же горд своей добычей, как — согласно тому, что ему рассказывали, — это бывает с настоящими охотниками. При игре в мяч он брал его левой рукой и ударял по нему ракеткой; он стрелял наудачу из ружья и бывал доволен, когда его люди сообщали ему, что он попал выше мишени или рядом с ней.

Кто знает, не совершает ли человеческий род подобную же глупость? Может быть, из-за отсутствия какого-нибудь чувства сущность вещей большей частью скрыта от нас? Кто знает, не проистекают ли отсюда те трудности, на которые мы наталкиваемся при

исследовании многих творений природы? Не объясняются ли многие действия животных, превосходящие наши возможности, тем, что они обладают каким-то чувством, которого у нас нет? Не живут ли некоторые из них, благодаря этому, более полной и более совершенной жизнью, чем мы? Мы воспринимаем яблоко почти всеми нашими чувствами: мы находим в нем красноту, гладкость, аромат и сладость; но оно может, кроме того, иметь и другие еще свойства, как например способность сохнуть или сморщиваться, для восприятия которых мы не имеем соответствующих чувств. Наблюдая качества, которые мы называем во многих веществах скрытыми, — как например свойство магнита притягивать железо, — нельзя ли считать вероятным, что в природе имеются чувства, которые способны судить о них и воспринимать их, и что, из-за отсутствия этих способностей у нас, мы не в состоянии познать истинную сущность таких вещей? Какое-то особое чувство подсказывает петухам, что наступило утро или полночь, что и заставляет их петь; какое-то чувство учит кур, еще не имеющих никакого опыта, бояться ястреба; какое-то особое чувство предупреждает цыплят о враждебности к ним кошек, но не собак, и заставляет их настораживаться при вкрадчивых звуках мяуканья, но не бояться громкого и сварливого собачьего лая; оно учит ос, муравьев и крыс выбирать всегда самый лучший сыр и самую спелую грушу, еще не отведав их; учит оленя, слона и змею узнавать определенные, целительные для них травы. Нет такого чувства, которое не имело бы большой власти и не являлось бы средством для приобретения бесконечного количества познаний. Если бы мы не воспринимали звуков, гармонии, голоса, это внесло бы невообразимую путаницу во все остальные наши знания. Ведь, помимо непосредственных показаний каждого чувства, мы извлекаем множество сведений, выводов и заключений о других предметах путем сравнения свидетельств одного чувства со свидетельствами другого. Стоит только разумному человеку вообразить себе человеческую природу созданной первоначально без зрения и учесть, сколько незнания и смятения повлек бы за собой такой недостаток, в какой мрак погрузилась бы наша ослепленная душа, — и мы убедимся, какое важное значение для познания истины имело бы отсутствие у нас одного, двух или

трех чувств. Мы установили какую-нибудь истину, опираясь и соображаясь с нашими пятью чувствами, но, может быть, для достоверного познания ее, самой ее сущности, нужно было бы получить согласие и содействие не пяти, а восьми или десяти чувств?

Философские школы, которые отрицают возможность человеческого знания, ссылаются главным образом на недостоверность и слабость наших чувств; ибо поскольку мы приобретаем все наши познания через чувства и благодаря их посредству, то если их показания, даваемые нам, ошибочны, если они искажают или изменяют то, что вносят в нас извне, если свет, излучаемый ими в нашу душу, затмевается при этом переходе, — тогда нам не на что опереться. Из этой трудности возникли все следующие ложные представления: будто всякий предмет заключает в себе все то, что мы в нем находим; будто в нем нет ничего, что мы рассчитывали бы в нем найти; мнение эпикурейцев, будто солнце не больше размером, чем оно представляется нашему взору:

Quidquid id est, nihilo fertur maiore figura
Quam nostris oculis quam cernimus, esse videtur; ⁶³⁸

что нет ошибки в том, что тело кажется нам больше, когда оно находится близко от нас, и меньше, когда оно далеко от нас, — и та, и другая видимость одинаково истинны:

Nec tamen hic oculis falli concedimus hilum...
Proinde animi vitium hoc oculis adfingere noli; ⁶³⁹

и, наконец, их решительное заявление, что нет никакого обмана в показаниях чувств, что следует сдаться на их милость и искать в чем-то другом объяснения тех разногласий и противоречий, которые мы в них встречаем; они готовы прибегнуть к любой выдумке (они доходят даже до этого!), лишь бы не обвинить чувства в неверном изображении предметов. Тимагор ⁶⁴⁰ клялся, что, если даже он прищуривал глаз или смотрел искоса, ему никогда не удавалось увидеть двойного изображения свечи, и потому эта иллюзия происходит ско-

рее от нашего неправильного мнения, чем от неправильности нашего органа зрения. По мнению эпикурейцев, нет большей нелепости, чем не признавать силу и значение чувств.

Proinde quod in quoque est his visum tempore, verum est.
Et, si non potuit ratio dissolvere causam,
Cur ea quae fuerint iuxtim quadrata, procul sint
Visa rotunda, tamen, praestat rationis egentem
Reddere mendose causa utriusque figurae,
Quam manibus manifesta suis emittere quoquam,
Et violare fidem primam, et convellere tota
Fundamenta quibus nixatur vita salusque.
Non malo enim ratio ruat omnis, vita quoque ipsa
Concidat extemplo, nisi credere sensibus ausis,
Praecipitesque locos vitare, et cetera quae sint
In genere hoc fugienda.⁶⁴¹

Этот отчаянный и совсем не философского порядка совет свидетельствует лишь о том, что человеческое знание может поддерживаться безрассудными, несообразными и вымышленными объяснениями, но человеку все же лучше воспользоваться ими или любым другим средством, каким бы несуразным оно ни было, чем признаться в своей неизбежной слабости: чрезвычайно печальная истина! Человек не может уйти от того, что чувства являются верховными повелителями его знания; но они недостоверны, и показания их могут при всяких обстоятельствах оказаться ошибочными. Вот тут-то и надо бороться не на жизнь, а на смерть, и, если истинных сил нам нехватает, как это часто случается, надо пустить в ход упрямство, дерзость, бесстыдство.

Если правы эпикурейцы, утверждающие, что не существует знания, если чувства лгут, и если правы стоики, утверждающие, что чувства настолько ложны, что не могут дать нам никакого знания, то отсюда следует, в соответствии с положениями обеих великих догматических школ, что нет знания.

Что касается ошибочности и недостоверности показаний чувств, то это настолько обычное явление, что всякий может представить сколько угодно примеров ошибок и обманов, в которые они нас вво-

дят. Когда, находясь в долине, мы слышим отраженный звук трубы, то нам кажется, что он раздается не сзади, а впереди.

Extantesque procul medio de gurgite montes
 Idem aparent longe diversi licet. . .
 Et fugere ad puppim colles campique videntur
 Quos agimus propter navim. . .
 ubi in medio nobis equus acer obhaesit
 Flumine, equi corpus transversum ferre videtur
 Vis, et in adversum flumen contrudere raptim.⁶⁴²

Если на пулю аркебузы наложить второй палец, наложив одновременно, поверх него, еще средний, то нам потребуется сделать усилие, чтобы признать, что налицо только одна пуля, — до такой степени нам будет казаться, что это не одна, а две пули. Действительно, на каждом шагу мы можем видеть, что чувства нередко господствуют над рассудком и заставляют его воспринимать такие впечатления, которые он считает ложными, и знает, что они таковы. Я оставляю в стороне чувство осязания, которое дает нам свои весьма важные и непосредственные показания и которое путем боли, причиняемой нашему телу, так часто переворачивает вверх дном прекрасные наставления стоиков и заставляет истошным голосом вопить того, кто в душе решительно придерживается правила, что колика, как и всякая другая болезнь или страдание, для мудреца ничего не значит и ничего не может изменить в том высшем блаженстве, в котором он пребывает благодаря своей добродетели. Нет души столь равнодушной, которая не пришла бы в возбуждение при звуках наших барабанов и труб, а равно и столь суровой, которую не растрогали бы нежные звуки музыки. Нет души столь черствой, которая не ощутила бы некоторого благоговения при виде наших огромных и мрачных соборов, на которую не подействовали бы пышные церковные украшения и обряды, благочестивый звук органа, стройная и выдержанная гармония хора. Даже тех, кто входит в церковь с некоторым пренебрежением,⁶⁴³ пронизывает некий трепет, заставляющий их усомниться в своей правоте.

Что касается меня, то я недостаточно тверд, чтобы оставаться равнодушным, слушая стихи Горация или Катутла, когда их читает красивый голос и произносят прекрасные и юные уста.

Зенон был прав, говоря, что голос — это цвет красоты.⁶⁴⁴ Меня уверяли, что один человек, хорошо известный во Франции, просто обольстил меня, читая мне стихи своего сочинения, что в действительности они на бумаге совсем не так хороши, как при чтении, и что мои глаза оценили бы их совсем иначе, чем мои уши, настолько произношение придает очарования тем произведениям, которые от него зависят. Вот можно понять Филоксена,⁶⁴⁵ который, услышав, как некий чтец плохо читает одно из его произведений, разбил его горшки и стал топтать их ногами, приговаривая: «Я разбиваю то, что принадлежит тебе, подобно тому как ты, портишь то, что принадлежит мне».

Если зрение не имеет никакого отношения к боли, то почему люди, твердо решившие покончить с собой, отворачивали голову, чтобы не видеть того удара, который они готовились нанести себе? Или почему те, кто ради своего исцеления желают и требуют, чтобы их резали и делали им прижигания, не хотят видеть приготовлений к операции, инструментов и всего того, что делает хирург? Разве эти примеры не доказывают, какую власть над рассудком имеют чувства? Мы можем прекрасно знать, что эти локоны взяты у какого-нибудь пажа или лакея, это эти румяна привезены из Испании, а белила и мази из-за Океана, — и все же это придает девушке такой вид, что, наперекор рассудку, она покажется нам милее и красивее. Рассудок здесь не причем.

Auferimur cultu; gemmis auroque teguntur
Crimina: pars minima est ipsa puella sui.
Saepe, ubi sit quod ames inter tam multa requiras:
Decipit hac oculos Aegide, dives amor.⁶⁴⁶

Поэты, рисующие нам Нарцисса, безумно влюбленного в свое отражение, показывают, какую власть имеют над нами чувства.

Cunctaque miratur, quibus est mirabilis ipse;
Se cupit imprudens; et qui probat, ipse probatur;
Dumque petit, petitur; pariterque accendit et ardet.⁶⁴⁷

А у Пигмалиона при виде сделанной им самой статуи из слоновой кости так помутился рассудок, что он влюбился в нее и стал поклоняться ей, словно живой!

Oscula dat reddique putat, loquiturque tenetque.
Et credit tactis digitos insidere membris;
Et metuit pressos veniat ne livor in artus.⁶⁴⁸

Если посадить какого-нибудь философа в клетку с решеткой из мелких петель и подвесить ее к верхушке башни собора Парижской богоматери, то, хотя он ясно будет видеть, что ему не грозит опасность из нее выпасть, он не сможет не содрогнуться при виде этой огромной высоты (если только он не кровельщик). Действительно, нам приходится все время себя подбадривать, когда мы ходим по открытым галереям наших колоколен, хотя они сделаны из камня; но есть люди, для которых непереносима даже самая мысль о хождении по ним. Пусть перебросят между двумя башнями перекладину такой ширины, чтобы можно было свободно пройти по ней, — все же никакая философская мудрость не в состоянии будет внушить нам пройти по ней с тем же спокойствием, как если бы эта перекладина лежала на земле. Я часто испытывал это, когда ходил по нашим здешним горам (а между тем я из тех людей, которые не особенно боятся подобных вещей), однако я не мог выносить вида пропасти, и у меня дрожали поджилки, хотя для того, чтобы очутиться на краю пропасти, мне нужно было бы растянуться во всю длину, и потому я мог бы свалиться в нее только в том случае, если бы намеренно подверг себя этой опасности. Я замечал также, что, как бы значительна ни была глубина, но если на склоне виднелись дерево или выступ скалы, на которых могло задержаться наше зрение и которые перерезали это пространство, то это доставляло нам облегчение и вселяло в нас некоторую уверенность, как если бы эти предметы могли нам помочь в случае нашего падения; но мы не можем смотреть без головокружения на крутые и ничем не перерезанные пропасти: *ut despici sine vertigine simul oculorum animique non possit.*⁶⁴⁹ Но ведь это — явный обман зрения. Поэтому великий философ выколол себе

глаза, чтобы освободить душу от соблазна чувств и иметь возможность размышлять более свободно.⁶⁵⁰

Но в таком случае он должен был бы также заткнуть себе уши, — ибо, по словам Теофраста, это наиболее опасный орган, которым мы воспринимаем самые сильные впечатления, способные смутить и потрясти нашу душу,⁶⁵¹ — и в конце концов лишить себя всех остальных чувств, иными словами лишить себя жизни. Ибо все чувства обладают способностью повелевать нашим разумом и нашей душой: *Fit etiam saepe specie quadam, saepe vocum gravitate et cantibus, ut pellantur animi vehementius; saepe etiam cura et timore.*⁶⁵² Врачи утверждают, что есть люди такого склада, которых определенные звуки и инструменты могут привести не только в возбуждение, но даже в ярость. Мне приходилось встречать людей, которые услышав как собака грызет кость под столом, настолько страдали от этого звука, что выходили из себя; не много таких людей, которых не раздражал бы острый и режущий звук напильника, скобящего железо; некоторые не выносят, когда рядом с ними кто-нибудь чавкает; другие приходят в бешенство и готовы возненавидеть человека, который говорит в нос или хрипит. Для чего понадобился бы Гракху тот флейтист-аккомпаниатор, который придавал различные оттенки его голосу, то снижая, то усиливая его, когда Гракх произносил свои речи в Риме, если бы эти переходы из одного тона в другой не были способны трогать слушателей и влиять на их мысли?⁶⁵³ Можно поистине гордиться прекрасной устойчивостью человеческого суждения, которое способно меняться в зависимости от колебаний звука голоса!

Чувства обманывают наш разум, но и он в свою очередь обманывает их. Наша душа иногда мстит чувствам; они постоянно лгут и обманывают друг друга. Будучи охвачены гневом, мы видим и слышим не совсем то, что есть в действительности:

*Et solem geminum, et duplices se ostendere Thebas.*⁶⁵⁴

Человек, которого мы любим, кажется нам прекраснее, чем он есть на самом деле:

*Multimodis igitur pravas turpisque videmus
Esse in delitiis, summoque in honore vigere.*⁶⁵⁵

а тот, к которому мы питаем отвращение, — более безобразным. Человеку огорченному и подавленному ясный день кажется облачным и мрачным. Страсти не только изменяют наши чувства, но часто приводят их в состояние полного отупения. Сколько есть вещей, которых мы совершенно не замечаем, когда ум наш занят чем-то другим!

In rebus quoque opertis noscere possis.
Si non advertas animum, proinde esse, quasi omni
Tempore semotum fuerint, longeque remotum.⁶⁵⁶

Кажется, будто душа уходит в себя и отвлекает к себе все чувства. Таким образом, человек и снаружи, и изнутри полон лжи и слабости.

Те, кто сравнивал нашу жизнь со сном,⁶⁵⁷ были более правы, чем им иногда казалось. Когда мы спим, наша душа живет, действует и проявляет все свои способности не в меньшей мере, чем когда она бодрствует. Правда, во сне она действует более вяло и смутно; однако разница между этими двумя состояниями не так велика, как между ночью и днем; она напоминает скорее разницу между ночью и сумерками: в первом случае она спит, во втором — дремлет более или менее крепко. Но и то и другое — потемки, киммерийские сумерки.⁶⁵⁸

Мы бодрствуем во сне и спим, бодрствуя. Во сне я вижу все не очень ясно; но и когда я просыпаюсь, то не нахожу, чтобы все было достаточно ясно и безоблачно. Сон бывает так глубок, что мы иногда не видим даже снов; но наша явь никогда не бывает настолько полной, чтобы до конца рассеять фантазии, которые являются снами бодрствующих и даже чем-то худшим, чем сны.

Так как наш разум и наша душа воспринимают те мысли и представления, которые возникают у человека во сне, и так же одобряют поступки, совершаемые нами во сне, как и те, что мы совершаем наяву, то почему бы нам не предположить, что наше мышление и наши поступки являются своего рода сновидениями и наше бодрствование есть лишь особый вид сна?

Если чувства являются нашими высшими судьями, то следует учесть показания не только наших чувств; ибо животные имеют

в этом отношении такие же права, как и мы, или даже бóльшие. Не подлежит сомнению, что некоторые животные имеют более острый слух, чем человек; другие — зрение, третьи — обоняние, четвертые — осязание или вкус. Демокрит утверждал, что боги и животные обладают значительно более совершенными чувствами, чем люди.⁶⁵⁹ Но показания чувств животных сильно расходятся с показаниями наших чувств. Например, наша слюна очищает и сушит наши раны, но убивает змей:

Tantaque in his rebus distantia differitasque,
Ut quod aliis cibus est, aliis fuat acre venenum.
Saepe etenim serpens, hominis contacta saliva
Disperit, ac sese mandendo conficit ipsa.⁶⁶⁰

Какое же свойство припишем мы слюне — благотворное, согласно опыту на людях, или зловердное, в соответствии с опытом на змеях? Каким из этих двух показаний проверим мы ее подлинную сущность, которую мы хотим установить? Плиний сообщает,⁶⁶¹ что в Индии имеются морские зайцы, которые ядовиты для нас, как и мы в свою очередь для них, и что самое наше прикосновение для них смертельно. Возникает вопрос: кто же является действительно ядом — человек или рыба? Кому следует верить — рыбе, считаясь с ее действием на человека, или человеку, считаясь с его действием на рыбу? Некое качество воздуха заразительно для человека и совершенно не вредит быку; некое другое качество заразительно для быка, но совершенно не вредит человеку. Какое же из этих двух качеств в действительности является заразительным? Больным желтухой все вещи кажутся желтоватыми и более бледными, чем нам:

Lurida praeterea fiunt quaecunque tumentur
Aequati.⁶⁶²

Тем, кто страдает болезнью, которую врачи называют гипосфрагмой и которая представляет собой подкожное кровоизлияние,⁶⁶³ все вещи кажутся кроваво-красными. Встречаются ли эти жидкости,⁶⁶⁴ которые так искажают показания нашего зрения, и у животных и представляют ли они и для них обычное явление? Ведь видим же мы, что у одних животных глаза желтые, совсем как у наших больных

желтухой, а у других — кроваво-красные; весьма вероятно, что цвет предметов кажется им иным, чем нам. Какое же из этих двух суждений будет истинным? Где сказано, что сущность вещей открыта именно человеку? Твердость, белизна, глубина, кислота — все эти качества имеют такое же отношение к животным, как и к нам, и так же им известны: природа дала им возможность пользоваться этими качествами так же, как и нам. Если мы надавим пальцем на веко, то все предметы покажутся нам продолговатыми и вытянутыми. У некоторых животных зрачок сужен таким образом: значит, возможно, что продолговатость, которую видят животные, и есть подлинная форма тела, а вовсе не та форма, которую придает предметам наш глаз, находясь в нормальном состоянии. Если мы надавим на нижнее веко: то предметы, находящиеся перед нами, станут двоиться:

Bina lucernarum florentia lumina flammis,
Et duplices hominum facies, et corpora bina.⁶⁶⁵

Если у нас заложены уши или закупорен слуховой проход, то мы воспринимаем звук иначе, чем обычно: следовательно, животные, у которых уши заросли шерстью или у которых вместо уха имеется лишь крохотное слуховое отверстие, слышат не то, что мы, и воспринимают звук иначе.⁶⁶⁶ На празднествах и в театрах мы наблюдаем следующее: если поставить перед факелами стекла, окрашенные в определенный цвет, то все предметы в помещении будут казаться нам окрашенными в зеленый, желтый или фиолетовый цвет в зависимости от цвета стекла.

Et vulgo faciunt id lutea russaque vela
Et ferrugina, cum magnis intenta theatris
Per malos volgata trabesque tremantia pendent.
Namque ibi consessum caveai subter et omnem
Scenai speciem, patrum, matrumque deorum
Inficiunt coguntque suo volitare colore.⁶⁶⁷

Весьма возможно, что животные, у которых глаза иного цвета, чем у нас, видят предметы окрашенными в те же цвета, что и их глаза.

Таким образом, чтобы судить о роли чувств, надо было бы прежде всего добиться согласия между показаниями наших чувств и чувств животных, а затем также единогласия в показаниях чувств различных людей. Но в действительности этого нет, и мы постоянно затеваем споры о вещах, которые один человек слышит, видит или ощущает иначе, чем другой; мы спорим, как и о всякой другой вещи, по поводу различных показаний, которые дают нам чувства. Ребенок слышит, видит и осязает не так, как тридцатилетний человек, а тридцатилетний — не так, как шестидесятилетний; таков уж закон природы. У одних людей чувства более смутные и расплывчатые, у других — более ясные и острые. Мы по-разному воспринимаем вещи, в зависимости от того, каковы мы сами и какими вещи нам кажутся. Но так как то, что нам кажется, спорно и недостоверно, то неудивительно, если нам говорят, что мы можем согласиться с тем, что снег нам кажется белым, но что никак нельзя поручиться за то, что именно такова его истинная сущность; а между тем если это основание рушится, то вместе с ним неизбежно терпит крушение и вся наука. Не вступают ли сами наши чувства в противоречие друг с другом? Так, картина представляется нам на вид выпуклой, на ощупь же она плоская; что сказать о том, приятен или неприятен мускус, который приятен для нашего обоняния, но неприятен на вкус? Некоторые травы и мази полезны для одной части тела, но вредны для другой; мед сладок на вкус, но неприятен на вид. Имеются перстни, сделанные в виде перьев и известные под названием «перья без конца»; невозможно на глаз установить их ширину, ибо всем кажется, что они расширяются с одной стороны и сужаются с другой, даже если вертеть их вокруг пальца; но на ощупь они имеют одинаковую ширину во всей окружности.

Не наделяют ли наши чувства различными качествами предметы, которые имеют на деле всего лишь одно качество? Так, если взять хлеб, который мы едим, то это всего лишь хлеб; однако, будучи употреблен нами в пищу, он превращается в кости, кровь, мясо, волосы и ногти:

Ut cibus, in membra atque artus cum deditur omnis,
Disperit atque aliam naturam aufficit ex se.⁶⁶⁸

Вода, которая питает корни дерева, становится стволом, листьями и плодами. Воздух един, но он превращается в тысячу различных звуков, если начать играть на трубе. Встает вопрос: придают ли наши чувства различные качества этим предметам или же они сами обладают ими? Как разрешить это сомнение? Что мы можем сказать о подлинной сущности вещей? Так как людям, находящимся в состоянии болезни, бреда или сна, вещи представляются иными, чем людям здоровым, рассудительным и бодрствующим, то не правдоподобно ли, что, будучи в нормальном состоянии, мы также наделяем вещи определенным бытием, соответствующим их качествам и вместе с тем сообразованным с нашим состоянием, подобно тому как мы это делаем, будучи больны? Не правдоподобно ли поэтому, что, будучи в здоровом состоянии, мы так же придаем вещам определенный вид, как и будучи в болезненном состоянии? Не правдоподобно ли, что человек сдержанный придает вещам такой вид, который соответствует его нраву, подобно тому как это делает человек несдержанный, накладывая на них отпечаток своего характера?

Так, пресыщенный находит вино безвкусным, испытывающий жажду чересчур сладким, а здоровый по-разному оценивает его аромат.

Так как мы приравниваем вещи к себе и видоизменяем их, сообразуясь с собой, то мы в конце концов не знаем, каковы вещи в действительности, ибо до нас все доходит в измененном и искаженном нашими чувствами виде. Если неверны циркуль, наугольник и линейка, то все измерения, сделанные с их помощью, ошибочны, все сооружения, построенные на этих расчетах, неизбежно плохи. Недостоверность наших чувств делает недостоверным все, что они порождают:

Denique ut in fabrica, si prava est regula prima,
 Normaque si fallax rectis regionibus exit,
 Et libella si ex parte claudicat hilum,
 Omnia mendose fieri atque obstira necesse est,
 Prava cubantia prona supina atque absona tecta,
 Iam ruere ut quaedam videantur velle, ruantque
 Proditia iudiciis fallacibus omnia primis.

Sic igitur ratio tibi rerum prava necesse est
Falsaque sit, falsis quaecumque a sensibus orta est.⁶⁶⁹

Кто же будет судьей при решении этих разногласий? Подобно тому как при религиозных спорах нужно иметь судью, не принадлежащего ни к одной из борющихся партий, свободного от всякой односторонности и пристрастия, что для христианина невозможно, точно так же обстоит дело и с нашими чувствами: ибо, если судья стар, он не может судить о чувствах старика, являясь стороной в этом споре; то же самое, если он молод, здоров или болен, если он спит или бодрствует. Нам нужен был бы судья, свободный от всех этих качеств, чтобы он без всякой предвзятости мог судить обо всех этих состояниях, совершенно ему безразличных; но в таком случае нам нужен был бы судья, которого не существует.

Чтобы судить о представлениях, получаемых нами от вещей, нам нужно было бы обладать каким-то оценивающим инструментом; чтобы проверить этот инструмент, мы нуждаемся в доказательствах, а чтобы проверить доказательство, мы нуждаемся в инструменте: и вот мы оказываемся в порочном круге. Так как чувства не в состоянии разрешить наш спор, поскольку они сами совершенно недостоверны, его должно решить рациональное доказательство; но всякое рациональное доказательство нуждается в другом доказательстве — и мы, таким образом, обречены на непрерывное движение вспять. Наша мысль не проникает в окружающие нас предметы, но возникает через посредство чувств; чувства же со своей стороны познают не окружающие предметы, а лишь свои собственные впечатления; таким образом, мысль и представление исходят не из предмета, а из впечатлений и ощущений наших чувств; но впечатления и самый предмет — вещи различные; поэтому тот, кто судит по представлению, судит, отправляясь не от предмета, а от чего-то другого. Нельзя утверждать, что впечатления наших чувств раскрывают душе сущность окружающих нас предметов по сходству; ибо как могут душа и разум убедиться в этом сходстве, если они не имеют никакого общения с окружающими нас предметами? Так, например, тот, кто не знает лица Сократа, не может, увидев его портрет, сказать, похож ли он. Однако предположим, что кто-нибудь решил судить о вещах по представ-

лениям о них; если он захочет отправляться от всех представлений, то это окажется невозможным, так как они противоречат друг другу и расходятся между собой, как мы убеждаемся в этом на опыте. Значит ли это, что некоторые избранные представления управляют всеми остальными? В таком случае этот отбор следовало бы проверить другим отбором, а этот другой — третьим, и так далее, а следовательно, наш отбор никогда не был бы закончен.

Итак, нет никакого неизменного бытия, и ни мы, ни окружающие нас предметы не обладают им. Мы сами, и наши суждения, и все смертные предметы непрерывно текут и движутся. Поэтому нельзя установить ничего достоверного ни в одном предмете на основании другого, поскольку и оценивающий, и то, что оценивается, находятся в непрерывном изменении и движении.

Мы не имеем никакого общения с бытием,⁶⁷⁰ так как человеческая природа всегда обретается посередине между рождением и смертью; мы имеем о себе лишь смутное и призрачное, как тень, представление и шаткое, недостоверное мнение. Если вы сосредоточите все усилия своей мысли на том, чтобы уловить бытие, это будет равносильно желанию удержать в пригоршне зачерпнутую воду; чем больше вы будете сжимать и задерживать то, что текуче по своей природе, тем скорее вы потеряете то, что хотели удержать и зажать в кулаке. Так как все вещи претерпевают непрерывно одно изменение за другим, то наш разум, ищущий реального бытия, оказывается обманутым; он не может найти ничего постоянного и неизменного, ибо всякая вещь либо еще только возникает, но еще не существует, либо начинает умирать еще до своего рождения. Платон утверждал,⁶⁷¹ что тела не имеют никакого бытия, но только рождаются; он опирался на Гомера, который сделал Океан отцом богов, а Фетиду — их матерью, желая показать нам, что все вещи находятся в непрерывном становлении и постоянно меняются. По его словам, это мнение разделялось всеми философами его времени, за исключением одного лишь Парменида, которого он высоко ценил и который утверждал, что вещи неподвижны. Пифагор заявлял, что всякая материя текуча и зыбка; стоики утверждали, что нет настоящего времени и что то, что мы называем настоящим, является лишь связью между про-

шедшим и будущим.⁶⁷² Гераклит говорил, что человек не может дважды войти в одну и ту же реку; Эпихарм⁶⁷³ считал, что если кто-то когда-то занял деньги, то он не должен возвращать их в настоящее время, и что тот, кто был приглашен к обеду вчера, сегодня приходит уже не приглашенным, так как люди уже не те, они стали иными; он считал, что одна и та же смертная субстанция не может находиться дважды в том же состоянии; ибо, ввиду того что она быстро и неожиданно меняется, она то распадается, то воссоединяется, то появляется, то исчезает. Таким образом, то, что начинает рождаться, никогда не достигает совершенного бытия, ибо это рождение никогда не кончается и никогда не останавливается, так как оно не имеет конца; начиная с семени оно непрерывно изменяется и переходит из одного состояния в другое. Так, человеческое семя сперва превращается в утробе матери в бесформенный плод, потом становится ребенком, затем, выйдя из утробы матери, становится грудным младенцем, а позднее мальчиком, который последовательно становится юношей, взрослым человеком, потом пожилым человеком и наконец дряхлым старцем. Таким образом, время и непрерывное рождение постоянно разрушают и претворяют все предшествующее.

Mutat enim mundi naturam totius aetas,
Ex alioque alius status excipere omnia debet,
Nec manet ulla sui similis res: omnia migrant,
Omnia commutat natura et vertere cogit.⁶⁷⁴

А мы по глупости боимся какой-то смерти, между тем как мы уже прошли и проходим через ряд смертей. Ибо не только, как говорил Гераклит, смерть огня есть рождение воздуха, а смерть воздуха есть рождение воды, но мы можем наблюдать это еще более наглядным образом на себе. Цветущий возраст умирает и проходит, когда наступает старость; юность обретает конец в цветущем возрасте взрослого человека; детство умирает в юности, а младенчество — в детстве; вчерашний день умирает в сегодняшнем, а сегодняшний умрет в завтрашнем. Ничто не пребывает и не остается неизменным, ибо если бы мы оставались всегда одними и теми же, то как могло бы нас сегодня радовать одно, а завтра другое? Как могли бы мы

любить противоположные вещи или ненавидеть их? Как могли бы мы их хвалить или порицать? Как можем мы иметь различные привязанности и не сохранять того же чувства, когда мысль остается той же? Ибо неправдоподобно, чтобы, оставаясь неизменными, мы стали испытывать другие страсти; ведь то, что претерпевает изменения, не пребывает в том же состоянии, а если оно изменилось, значит оно больше не существует. Но так как все бытие едино, то и просто бытие меняется, становясь все время другим. Следовательно, наши чувства обманываются и лгут, принимая то, что кажется, за то, что есть, так как они не знают, что есть. Но в таком случае, что же действительно существует? То, что вечно, то есть то, что никогда не возникало и никогда не будет иметь конца, то, что не претерпевает никаких изменений во времени. Ибо время — вещь подвижная, которая появляется, подобно тени, вместе с вечно движущейся и текучей материей; оно никогда не остается неизменным и постоянным. К времени с полным основанием применяют слова: «раньше», «после», «было» или «будет», которые сразу наглядно показывают, что время не такая вещь, которая просто «есть»; ибо было бы большой глупостью и очевидной ложью утверждать, что есть то, чего еще не существует или что уже перестало существовать. Что же касается понятий «настоящее», «мгновение», «теперь», на которых, по-видимому, главным образом покоится понимание времени, то разум, открывая эти понятия, тут же и уничтожает их; ибо он непрерывно расщепляет и делит время на прошлое и будущее, как бы желая видеть его непременно разделенным надвое. То же самое, что со временем, происходит и с природой, которая измеряется временем; ибо в ней тоже нет ничего такого, что пребывает или существует, но все вещи в ней или рождены, или рождаются, или умирают. Поэтому было бы грехом по отношению к богу, который является единственно сущим, утверждать, что он был или будет, ибо эти понятия означают изменение, становление или конец того, что лишено устойчивости и неизменного бытия. На основании этого следует заключить, что только бог есть подлинно сущее и существует он не во времени, а в неизменной и неподвижной вечности, не измеряемой временем и не подверженной никаким переменам; что раньше бога

ничего нет, как и после него ничего не будет, ничего более нового, ничего более юного; что он есть единственное истинно сущее, которое одним только «ныне» наполняет «во веки»; что, кроме него, нет ничего подлинно сущего и нельзя сказать: «он был» или «он будет», ибо он не имеет ни начала, ни конца.

К этому столь благочестивому выводу писателя-язычника⁶⁷⁵ я хочу — в заключение моего затянувшегося и скучного рассуждения, которое можно было бы еще продолжить до бесконечности, — добавить еще следующее замечание другого писателя, тоже язычника:⁶⁷⁶ «Какое презренное и низменное существо человек, — говорит он, — если он не возвышается над человечеством!» Это хорошее изречение и полезное пожелание, но вместе с тем оно нелепо: ибо невозможно и бессмысленно желать, чтобы кулак был больше кисти руки, чтобы размах руки был больше ее самой или чтобы можно было шагнуть дальше, чем позволяет длина наших ног. Точно так же и человек не в состоянии подняться над собой и над человечеством, ибо он может видеть только своими глазами и постигать только своими способностями. Он может подняться только тогда, когда богу бывает угодно сверхъестественным образом протянуть ему руку помощи; и он поднимется, если откажется и отречется от своих собственных средств и предоставит поднять себя и возвысить небесным силам.

Только наша христианская вера, а не стоическая добродетель может домогаться этого божественного и чудесного превращения, только она может поднять нас над человеческой слабостью.



Г л а в а XIII

О ТОМ, КАК НАДО СУДИТЬ О ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА ПРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ

Когда мы судим о твердости, проявленной человеком пред лицом смерти, каковая есть несомненно наиболее значительное событие нашей жизни, необходимо принять во внимание, что люди с трудом способны поверить, будто они и впрямь подошли уже к этой грани. Мало кто умирает, понимая, что минуты его сочтены; нет ничего, в чем нас в большей мере тешила бы обманчивая надежда; она непрестанно нашептывает нам: «Другие были больны еще тяжелее, а между тем не умерли. Дело обстоит совсем не так уже безнадежно, как это представляется; и в конце концов господь явил немало других чудес». Происходит же это оттого, что мы мним о себе слишком много; нам кажется, будто совокупность вещей испытает какое-то потрясение от того, что нас больше не будет, и что для нее вовсе не безразлично, существуем ли мы на свете; к тому же наше извращенное зрение воспринимает окружающие нас вещи неправильно, и мы считаем их искаженными, тогда как в действительности оно само искажает их; в этом мы уподобляемся едущим по морю, которым кажется, будто горы, поля, города, земля и небо двигаются одновременно с ними:

*Provehimur portu, terraeque urbesque recedunt.*¹

Видел ли кто когда-нибудь старых людей, которые не восхваляли бы доброе старое время, не поносили бы новые времена и не возла-

гали бы вину за свои невзгоды и горести на весь мир и людские нравы?

Iamque caput quassans, grandis suspirat arator,
Et cum tempora temporibus praesentia confert
Praeteritis, laudat fortunas saepe parentis,
Et crepat antiquum genus ut pietate repletum.²

Мы ко всему подходим с собственной меркой, и из-за этого наша смерть представляется нам событием большой важности; нам кажется, будто она не может пройти бесследно, без того чтобы ей не предшествовало торжественное решение небесных светил: tot circa unum caput tumultuantes deos.³ И чем большую цену мы себе придаем, тем более значительной кажется нам наша смерть: «Как! Неужели она решится погубить столько знаний, неужели причинит столько ущерба, если на то не будет особого волеизъявления судеб? Неужели она с тою же легкостью способна похитить столь редкостную и образцовую душу, с какою она похищает душу обыденную и бесполезную? И эта жизнь, обеспечивающая столько других, жизнь, от которой зависит такое множество других жизней, которая дает пропитание стольким обслуживающим ее людям, которой принадлежит столько места, должна будет освободить это место совершенно так же, как та, что держится на тоненькой ниточке?»

Всякий из нас считает себя в той или иной мере чем-то единственным, и в этом — корень слов Цезаря, обращенных им к кормчему корабля, на котором он плыл, слов, еще более надменных, чем море, угрожавшее его жизни:

Italiam si, caelo auctore, recusas,
Me, pete: sola tibi causa haec est iusta timoris,
Vectorem non nosse tuum; perrumpe procellas,
Tutela secure mei;⁴

или, например, этих:

credit iam digna pericula Caesar
Fatis esse suis; tantusque evertere, dixit,
Me superis labor est, parva quem puppe sedentem
Tam magno petiere mari?⁵

а также нелепого официального утверждения, будто солнце на протяжении года, последовавшего за его смертью, носило на своем челе траур по нем:

Ille etiam extincto miseratus Caesare Romam,
Cum caput obscura nitidum ferrugine texit.⁶

и тысячи подобных вещей, которыми мир с такой поразительной легкостью позволяет себя обманывать, считая, что наши интересы занимают собой небеса и что их бескрайние просторы откликаются на малейшие наши поступки: *Non tanta caelo societas nobiscum est, ut nostro fato mortalis sit ille quoque siderum fulgor.*⁷

Итак, нельзя признавать решимость и твердость в том, кто, кем бы он ни был, еще не вполне уверен, что пребывает в опасности; и даже если он умер, обнаружив эти высокие качества, но не отдавая себе отчета, что умирает, то и этого недостаточно для такого признания: большинству людей свойственно выказывать стойкость и на лице и в речах; ведь они пекутся о доброй славе, которую хотят насладиться, оставшись в живых. И поскольку мне доводилось наблюдать умирающих, не преднамеренное желание, но обстоятельства определяли их поведение. Если мы вспомним даже о тех, кто лишил себя жизни в древности, то и тут следует различать, была ли их смерть мгновенною или длительною. Некий известный своею жестокостью император древнего Рима говорил о своих узниках, что хочет заставить их почувствовать смерть; и если кто-нибудь из них кончал с собой в тюрьме, этот император говаривал: «Такой-то ускользнул от меня»: он хотел растянуть для них смерть и, обрекая их на мучения, заставить ее почувствовать:⁸

Vidimus et toto quamvis in corpore caeso
Nil animae letale datum, moremque nefandae
Durum saevitiae pereuntis parcere morti.⁹

И действительно, совсем не такое уж великое дело, пребывая в полном здравии и душевном спокойствии, принять решение о самоубийстве; совсем нетрудно изображать храбреца, пока не приступишь к выполнению замысла; это настолько нетрудно, что один из наиболее изнеженных людей, когда-либо живших на свете, Элагабал,¹⁰

среди прочих своих постыдных прихотей, возымел намерение покончить с собой — в случае если его принудят к этому обстоятельства — самым изысканным образом, так, чтобы не посрамить всей своей жизни. Он велел возвести роскошную башню, низ и фасад которой были облицованы деревом, изукрашенным драгоценными камнями и золотом, чтобы броситься с нее на землю; он заставил изготовить веревки из золотых нитей и алого шелка, чтобы удавиться; он велел выковать золотой меч, чтобы заколоться; он хранил в сосудах из топаза и изумруда различные яды, чтобы отравиться. Все это он держал наготове, чтобы выбрать по своему желанию один из названных способов самоубийства:

*Impiger et fortis virtute coacta.*¹¹

И все же, что касается этого выдумщика, то изысканность всех перечисленных приготовлений побуждает предполагать, что, дойди дело до дела, и у него бы кишка оказалась тонка. Но говоря даже о тех, кто, будучи более сильным, решился привести свой замысел в исполнение, нужно всякий раз, повторяю, принимать во внимание, был ли нанесенный ими удар таковым, что у них не было времени почувствовать его следствия; ибо еще неизвестно, сохраняли бы они твердость и упорство в столь роковом стремлении, если б видели, как медленно покидает их жизнь, если б телесные страдания сочетались в них со страданиями души, если б им представлялась возможность раскаяться.

Во время гражданских войн Цезаря Луций Домиций,¹² будучи схвачен в Аbruццах, принял яд, но тотчас же раскаялся в этом. И в наше время был такой случай, что некто, решив умереть, не смог поразить себя с первого раза насмерть, так как страстное желание жить, обуявшее его естество, сковывало ему руку; все же он нанес себе еще два-три удара, но так и не сумел превозмочь себя и нанести себе смертельную рану. Когда стало известно, что против Плавция Сильвана¹³ затевается судебный процесс, Ургулания, его бабка, прислала ему кинжал; не найдя в себе сил заколоться им, он велел своим людям вскрыть ему вену. В царствование Тиберия Альбуцилла,¹⁴ приняв решение умереть, ранила себя настолько легко,

что доставила своим врагам удовольствие бросить ее в тюрьму и расправиться с ней по своему усмотрению. То же произошло и с полководцем Демосфеном¹⁵ после его похода в Сицилию. Гай Фимбрия,¹⁶ нанеся себе слишком слабый удар, принудил своего слугу прикончить его. Напротив, Осторий,¹⁷ не имея возможности действовать собственной рукой, не пожелал воспользоваться рукой своего слуги для чего-либо иного, кроме как для того, чтобы тот крепко держал перед собой кинжал; бросившись с разбегу на его острие, Осторий пронзил себе горло. Это поистине такое яство, которое, если не обладаешь луженым горлом, нужно глотать не жуя; тем не менее император Адриан повелел своему врачу указать и очертить у него на груди то место возле соска, удар в которое был бы смертельным и куда надлежало метить тому, кого он изберет, чтобы тот убил его. Вот почему, когда Цезаря спросили, какую смерть он находит наиболее легкой, он ответил: «Ту, которой меньше всего ожидаешь и которая наступает мгновенно».¹⁸

Если сам Цезарь решился высказать такое суждение, то и мне не зазорно признаться, что я думаю так же.

«Мгновенная смерть, — говорит Плиний, — есть высшее счастье человеческой жизни».¹⁹ Людям страшно сводить знакомство со смертью. Кто боится иметь дело с нею, кто не в силах смотреть ей прямо в глаза, тот не вправе сказать о себе, что он приготовился к смерти; что же до тех, которые, как это порою случается при совершении казней, сами стремятся навстречу своему концу, торопят и подталкивают палача, то они делают это не от решимости; они хотят сократить для себя срок пребывания с глазу на глаз со смертью. Их не страшит умереть, их страшит умирать,

*Emori nolo, sed me esse mortuum nihil aestimo.*²⁰

Это та степень твердости, которая, судя по моему опыту, может быть достигнута также и мною, как она достигается теми, кто бросается в гущу опасностей, словно в море, зажмурив глаза.

Во всей жизни Сократа нет, по моему, более славной страницы, чем те тридцать дней, в течение которых ему пришлось жить с мыслью о приговоре, осуждавшем его насмерть, все это время жи-

ваться с нею в полной уверенности, что приговор этот совершенно неотвратим, не выказывая при этом ни страха, ни душевного беспокойства и всем своим поведением и речами обнаруживая скорее, что он воспринимает его как нечто незначительное и безразличное, а не как существенное и единственно важное, занимающее собой все его мысли.

Помпоний Атик,²¹ тот самый, с которым переписывался Цицерон, тяжело заболев, призвал к себе своего тестя Агриппу и еще двух-трех друзей и сказал им: так как он понял, что лечение ему не поможет и что все, что он делает, дабы продлить себе жизнь, продливает вместе с тем и усиливает его страдания, он решил положить одновременно конец и тому и другому; он просил их одобрить его решение и уж во всяком случае избавить себя от труда разубеждать его. Итак, он избрал для себя голодную смерть, но случилось так, что, воздерживаясь от пищи, он исцелился: средство, которое он применил, чтобы разделаться с жизнью, возвратило ему здоровье. Когда же врачи и друзья, обрадованные столь счастливым событием, явились к нему с поздравлениями, их надежды оказались жестоко обманутыми; ибо, несмотря на все уговоры, им так и не удалось заставить его изменить принятое решение: он заявил, что поскольку так или иначе ему придется переступить этот порог, то раз он зашел уже так далеко, он хочет освободить себя от труда начинать все с начала. И хотя человек, о котором идет речь, познакомился со смертью заранее, так сказать на досуге, он не только не потерял охоты встретиться с нею, но, напротив, всей душой продолжал жаждать ее, ибо, достигнув того, ради чего он вступил в это единоборство, он побуждал себя, подстегиваемый своим мужеством, довести начатое им до конца. Это нечто гораздо большее, чем не страшиться смерти, это неудержимое желание изведать ее и досыта насладиться ею.

История философа Клеанфа²² очень похожа на только что рассказанную. У него распухли и стали гноиться десны; врачи посоветовали ему воздерживаться от пищи; он проголодал двое суток и настолько поправился, что они объявили ему о полном его исцелении и разрешили вернуться к обычному образу жизни. Он же, изведав уже некую сладость, порождаемую угасанием сил, принял решение

не возвращаться вспять и переступил тот порог, к которому успел уже так близко придвинуться.

Туллий Марцеллин,²³ молодой римлянин, стремясь избавиться от болезни, терзавшей его сверх того, что он соглашался вытерпеть, захотел предвосхитить предназначенный ему судьбой срок, хотя врачи и обещали если не скорое, то во всяком случае верное его исцеление. Он пригласил друзей, чтобы обсудить с ними этот вопрос. Одни, как рассказывает Сенека, давали ему советы, которые из малодушия они подали бы и себе самим; другие из лести советовали ему сделать то-то и то-то, что, по их мнению, было бы для него всего приятнее. Но один стойк сказал ему следующее: «Не утруждай себя, Марцеллин, как если бы ты раздумывал над чем-либо стоящим. Жить — не такое уж великое дело; живут твои слуги, живут и дикие звери; великое дело — это умереть достойно, мудро и стойко. Подумай, сколько раз проделывал ты одно и то же — ел, пил, спал, а потом снова ел; мы без конца вращаемся в том же кругу. Не только неприятности и несчастья, вынести которые не под силу, но и пресыщение жизнью порождает в нас желание умереть». Марцеллину не столько нужен был тот, кто снабдил бы его советом, сколько тот, кто помог бы ему в осуществлении его замысла, ибо слуги боялись быть замешанными в подобное дело. Этот философ, однако, дал им понять, что подозрения падают на домашних только тогда, когда существуют сомнения, была ли смерть господина вполне добровольной, а когда на этот счет сомнений не возникает, то препятствовать ему в его намерении столь же дурно, как и злодейски убить его, ибо

*Invitum qui servat idem facit occidenti.*²⁴

Он сказал, сверх того, Марцеллину, что было бы уместным распределить по завершении жизни кое-что между теми, кто окажет ему в этом услуги, напомнив, что после обеда гостям предлагают десерт. Марцеллин был человеком великодушным и щедрым: он оделил своих слуг деньгами и постарался утешить их. Впрочем, в данном случае не понадобилось ни стали, ни крови. Он решил уйти из жизни, а не бежать от нее; не устремляться в объятия смерти, но предварительно

познакомиться с нею. И чтобы дать себе время основательно рассмотреть ее, он стал отказываться от пищи и на третий день, велел обмыть себя теплой водой, стал медленно угасать, не без известного наслаждения, как он говорил окружающим. И действительно, пережившие такие замирения сердца, возникающие от слабости, говорят, что они не только не ощущали никакого страдания, но испытывали скорее некоторое удовольствие, как если бы их охватывал сон и глубокий покой.

Вот примеры заранее обдуманной и хорошо изученной смерти.

Но желая, чтобы только Катон,²⁵ и никто другой, явил миру образец несравненной доблести, его благодетельная судьба расслабила, как кажется, руку, которой он нанес себе рану. Она сделала это затем, чтобы дать ему время сразиться со смертью и вцепиться ей в горло и чтобы пред лицом грозной опасности он мог укрепить в своем сердце решимость, а не ослабить ее. И если бы на мою долю выпало изобразить его в это самое возвышенное мгновение всей его жизни, я показал бы его окровавленным, вырывающим свои внутренности, а не с мечом в руке, каким запечатлели его ваятели того времени: ведь для этого второго самоубийства потребовалось неизмеримо больше бесстрашия, чем для первого.



Г л а в а XIV

О ТОМ, ЧТО НАШ ДУХ ПРЕПЯТСТВУЕТ СЕБЕ САМОМУ

Забавно представить себе человеческий дух колеблющимся между двумя равными по силе желаниями. Он несомненно никогда не сможет принять решение, ибо склонность и выбор предполагают неравенство в оценке предметов. И если бы кому-нибудь пришло в голову поместить нас между бутылкой и окороком, когда мы в одинаковой мере хотим и есть и пить, у нас не было бы, конечно, иного выхода, как только умереть от голода и от жажды. Чтобы справиться с этой трудностью, стоики, когда их спрашивают, что же побуждает нашу душу производить выбор в тех случаях, когда два предмета в наших глазах равноценны, или отбирать из большого числа монет именно эту, а не другую, хотя все они одинаковы и нет ничего, что заставляло бы нас отдать ей предпочтение, отвечают, что движения души такого рода произвольны и беспорядочны и вызываются посторонним, мгновенным и случайным воздействием. На мой взгляд, следовало бы скорее сказать, что всякая вещь, с которой нам приходится иметь дело, неизменно отличается от подобной себе, сколь бы незначительным это различие ни было, и что при взгляде на нее или при прикосновении к ней мы ощущаем нечто такое, что соблазняет и привлекает нас, определяя наш выбор, даже если это и не осознано нами. Равным образом, если мы вообразим веревку, одинаково крепкую на всем ее протяжении, то решительно невозможно представить себе, что она может порваться, — ибо где же, в таком случае, она окажется наименее крепкой? Порваться же целиком она также не

может, ибо это противоречило бы всему наблюдаемому нами в природе. Если кто-нибудь добавит к этому еще теоремы, предлагаемые нам геометрией и непроверяемым образом доказывающие, что содержимое больше, нежели то, что содержит его, что центр равен окружности, что существуют две линии, которые, сближаясь друг с другом, все же никогда не смогут сойтись, а сверх того, еще философский камень, квадратуру круга и прочее, в чем причины и следствия столь же несовместимы, — он сможет извлечь, пожалуй, из всего этого кое-какие доводы в пользу смелого утверждения Плиния: *solum certum nihil esse certi, et homine nihil miserius aut superius.*¹



Г л а в а XV

О ТОМ, ЧТО ТРУДНОСТИ РАСПАЛЮТ НАШИ ЖЕЛАНИЯ

Нет ни одного положения, которому не противостояло бы противоречащее ему, говорит наиболее мудрая часть философов.¹ Недавно я вспомнил замечательные слова одного древнего мыслителя,² которые он приводит, дабы подчеркнуть свое презрение к смерти: «Никакое благо не может доставить нам столько же удовольствия, как то, к потере которого мы приготовились». *In aequo est dolor amissae rei, et timor amittendae,*³ — говорит тот же мыслитель, желая доказать, что наслаждение жизнью не может доставить нам истинной радости, если мы страшимся расстаться с нею. Мне кажется, что следовало бы сказать совершенно обратное, а именно: мы держимся за это благо с тем большей цепкостью и ценим его тем выше, чем мы неувереннее в нем и чем сильнее страшимся лишиться его. Ведь вполне очевидно, что подобно тому как огонь, войдя в соприкосновение с холодом, становится ярче, так и наша воля, сталкиваясь с препятствиями, закаляется и оттачивается:

*Si nunquam Danaen habuisset aënea turris,
Non esset Danae de Iove facta parens;*⁴

и что нет, естественно, ничего столь противоположного нашему вкусу, как пресыщение удовольствиями, и ничего столь для него привлекательного, как то, что редко и малодоступно: *omnium rerum voluptas ipso quo debet fugare periculo crescit.*⁵

*Galla, nega; satiatur amor, nisi gaudia torquent.*⁶

Желая оградить супругов от охлаждения любовного пыла, Ликург повелел спартамцам посещать своих жен не иначе, как только тайком, и, найди их кто-нибудь вместе, это повлекло бы за собой такой же позор, как если бы то были люди, не связанные брачными узами.⁷ Трудности в отыскании надежного места для встреч, опасность быть застигнутыми врасплох, страх перед ожидающим на завтра позором,

et languor, et silentium,
Et latere petitus imo spiritus,⁸

это-то и создает острую приправу.

Сколько сладострастных забав порождается весьма скромными и пристойными рассуждениями о делах любви!⁹ Сладострастие любит даже усиливать себя посредством боли; оно гораздо острее, когда обжигает и сдирает кожу. Куртизанка Флора рассказывала, что она никогда не спала с Помпеем без того, чтобы не оставить на его теле следов своих укусов:¹⁰

Quod petiere, premunt arcte, faciuntque dolorem
Corporis, et dentes inlidunt saepe labellis:
Et stimuli subsunt, qui instigant laedere id ipsum
Quodcumque est, rabies unde illae germina surgunt.¹¹

Так же обстоит дело и со всем другим: трудность придает вещам цену. Тот, кто живет в провинции Анкона, охотнее дает обет совершить паломничество к святому Иакову Компостельскому, а жители Галисии — к богородице Лоретской;¹² в Льеже высоко ценят лукские целебные воды, а в Тоскане — целебные воды в Спа; в фехтовальной школе, находящейся в Риме, почти вовсе не увидишь жителей этого города, но зато там сколько угодно французов. И великий Катон, уподобляясь в этом всем нам, был пресыщен своею женою до полного отвращения к ней, пока она принадлежала ему, и начал жаждать ее, когда ею стал обладать другой.¹³

Я удалился с конского завода и отправил в табун старого жеребца, который, даже ощущая близ себя запах кобыл, оставался бессильным; доступность удовлетворения похоти вызвала в нем пресыщение своими кобылами. Совсем иначе обстоит дело с чужими, и при виде любой из них, появляющейся близ его пастбища, он раздражается

неистовым ржанием и загорается столь же бешеным пылом, как прежде.

Наши желания презирают и отвергают все находящееся в нашем распоряжении; они гонятся лишь за тем, чего нет:

Transvolat in medio posita, et fugientia captat.¹⁴

Запретить нам что-либо, значит придать ему в наших глазах заманчивость:

nisi tu servare puellam
Incipis, incipiet desinere esse mea;¹⁵

предоставить же его сразу, значит заронить в нас к нему презрение. И отсутствие, и обилие действуют на нас одинаково:

Tibi quod superest, mihi quod deficit, dolet.¹⁶

И желание, и обладание в равной мере тягостны нам. Целомудрие любовниц несносно; но чрезмерная доступность и уступчивость их, говоря по правде, еще несноснее. Это оттого, что досада и раздражение возникают из высокой оценки того, что вызывает наше желание, ибо она обостряет и распаляет любовь; однако обладание вдосталь порождает в нас холодность, и страсть становится вялой, притупленной, усталой, дремлющей:

Si qua volet regnare diu, contemnat amantem.¹⁷
contemnite, amantes,
Sic hodie veniet si qua negavit heri.¹⁸

Чего ради Пoppея¹⁹ вздумала прятать под маской свою красоту, если не для того, чтобы придать ей в глазах любовников еще большую цену? Почему женщины скрывают до самых пят те прелести, которые каждая хотела бы показать и которые каждый желал бы увидеть? Почему под столькими покровами, наброшенными один на другой, таят они те части своего тела, которые главным образом и являются предметом наших желаний, а следовательно и их собственных? И для чего служат те бастионы, которые наши дамы начали с недавнего времени воздвигать на своих бедрах, если не для того, чтобы дразнить наши вожделения и, отдаляя нас от себя, привлекать к себе?

Et fugit at salices, et se cupit ante videri.²⁰
Interdum tunica duxit operta moram.²¹

К чему эти уловки девического стыда, эта неприступная холодность, это строгое выражение в глазах и на всем лице, это подчеркнутое неведение тех вещей, которые они знают лучше нас с вами, будто бы обучающих их всему этому, если не для того, чтобы разжечь в нас желание победить, преодолеть, разметать все эти церемонии и преграды, мешающие удовлетворению нашей страсти? Ибо не только наслаждение, но и гордое сознание, что ты соблазнил и заставил безумствовать эту робкую нежность и ребячливую стыдливость, обуздал и подчинил своему любовному экстазу холодную и чопорную бесстрастность, одержал верх над скромностью, целомудрием, сдержанностью, — в этом, по общему мнению, для мужчины и в самом деле великая слава; и тот, кто советует женщинам отказаться от всего этого, совершает предательство и по отношению к ним, и по отношению к себе самому. Нужно верить, что сердце женщины трепещет от ужаса, что наши слова оскорбляют ее чистый слух, что она ненавидит нас за то, что мы произносим их, и уступает лишь нашему грубому натиску, склоняясь перед насилем. Красота, сколь бы могущественной она ни была, не в состоянии без этого восполнения заставить поклоняться себе. Взгляните на Италию, где такое обилие ищущей покупателя красоты, и притом красоты исключительной; взгляните, к скольким уловкам и вспомогательным средствам приходится ей там прибегать, чтобы придать себе привлекательность! И все же, что бы она ни делала, — поскольку она продажна и доступна для всех, — ей не удастся воспламенить и захватывать. Вообще — и это относится также и к добродетели — из двух равноценных деяний мы считаем более прекрасным сопряженное с большими трудностями и большей опасностью.

Божественный промысел преднамеренно допустил, чтобы святая церковь его была раздираема столькими тревожениями и бурями. Он сделал это затем, чтобы разбудить этой встряскою благочестивые души и вывести их из той праздности и сонливости, в которые их погрузило столь длительное спокойствие. И если положить на одну из двух чаш весов потери, понесенные нами в лице многих заблуд-

ших, а на другую — выгоду от того, что мы вновь стали дышать полной грудью и, взбудораженные этой борьбой, обрели наше былое рвение и душевные силы, то, право, не знаю, не перевесит ли польза вреда.

Полностью устранив возможность развода, мы думали, что этим укрепляем брачные узы; но, затянув узы, налагаемые на нас принуждением, мы в той же мере ослабили и обесценили узы, налагаемые доброй волей и чувством. В древнем Риме, напротив, средством, поддерживавшим устойчивость браков, долгое время пребывавших незыблемыми и глубоко почитаемыми, была неограниченная свобода их расторжения для каждого выразившего такое желание; поскольку у римлян существовала опасность потерять своих жен, они окружали их большей заботой, нежели мы, и несмотря на полнейшую возможность развода за пятьсот с лишним лет здесь не нашлось никого, кто бы ею воспользовался:

*Quod licet, ingratum est; quod non licet acrius urit.*²²

К вышесказанному можно добавить мнение одного древнего автора, считавшего, что смертные казни скорее обостряют пороки, чем пресекают их; что они не порождают стремления делать добро (ибо это есть задача разума и размышления), но лишь стремление не падаться, творя злые дела:

*Latius excisae pestis contagia serpunt.*²³

Не знаю, справедливо ли это суждение, но по личному опыту знаю, что меры подобного рода никогда не улучшают положения дел в государстве: порядок и чистота нравов достигаются совершенно иными средствами.

Древнегреческие историки упоминают об аргиппеях, обитавших по соседству со Скифией.²⁴ Они жили без розог и карающей палки; никто между ними не только не помышлял о нападении на другие народы, но, больше того, если кто-нибудь спасался к ним бегством, он пользовался у них полной свободой — такова была чистота их жизни и их добродетель. И никто не осмеливался преследовать укрывшегося у них. К ним обращались за разрешением споров, возникавших между жителями окрестных земель.

Существуют народы, у которых охрана садов и полей, если они хотят их уберечь, осуществляется при помощи сетки из хлопчатой бумаги, и она оказывается более надежной и верной, чем наши изгороди и рвы: ²⁵ *Furem signata sollicitant. Aperta effractarius praeterit.*²⁶ Среди всего прочего, ограждающего мой дом от насилий, порождаемых нашими гражданскими войнами, его оберегает, быть может, и легкость, с какою можно проникнуть в него. Защитные мероприятия распалют дух предприимчивости, недоверие — желание напасть. Я умерил пыл наших солдат, устранив из их подвигов этого рода какой бы то ни было риск и лишив их тем самым даже крупницы воинской славы, которая обычно оправдывает и покрывает такие дела: когда правосудия больше не существует, все, что сделано смело, то и почетно. Я же превращаю захват моего дома в предприятие для трусов и негодяев. Он открыт всякому, кто постучится в него; весь его гарнизон состоит из одного единственного привратника, как это установлено старинным обычаем и учтивостью, и привратник этот нужен не для того, чтобы охранять мои двери, но для того, чтобы пристойно и гостеприимно распахивать их. У меня нет никаких других стражей и часовых, кроме тех, которых мне даруют светила небесные. Дворянину не следует делать вид, будто он собирается защищаться, если он и впрямь не подготовлен к защите. Кто уязвим хоть с одной стороны, тот уязвим отовсюду: наши отцы не ставили своей целью строить пограничные крепости. Способы штурмовать — я имею в виду штурмовать без пушек и без большой армии — и захватывать наши дома с каждым днем все умножаются, и они совершеннее способов обороны. Изобретательность, как правило, бывает направлена именно в эту сторону: над захватом ломают голову все, над обороной — только богатые. Мой замок был достаточно укреплен по тем временам, когда его возводили. В этом отношении я ничего к нему не добавил и всегда опасался, как бы крепость его не обернулась против меня самого; к тому же, когда наступит мирное время, понадобится уничтожить некоторые из его укреплений. Опасно отказываться от них навсегда, но трудно вместе с тем и полагаться на них, ибо во время междоусобиц иной из числа ваших слуг может оказаться приверженцем партии, которой вы всего больше и опасаетесь, и где рели-

гия доставляет благовидный предлог, там нельзя доверять даже родственникам, поскольку у них есть возможность сослаться на высшую справедливость.

Государственная казна не в состоянии содержать наши домашние гарнизоны; это ее истощило бы. Не можем содержать их и мы, ибо это привело бы нас к разорению или — что было бы еще более тягостно и более несправедливо — к разорению простого народа. Государство от моей гибели нисколько не ослабеет. В конце концов, если вы гибнете, то в этом повинны вы сами, и даже ваши друзья станут в большей мере винить вашу неосторожность и неосмотрительность, чем оплакивать вас, а также вашу неопытность и беспечность в делах, которые вам надлежало вести. И если столько хорошо охраняемых замков подверглось потоку и разграблению, тогда как мой все еще пребывает в полной сохранности, то это наводит на мысль, уж не погубили ли они себя именно тем, что тщательно охранялись. Ведь это порождает охоту напасть и оправдывает действия нападающего: всякая охрана связана с представлением о войне. Если того пожелает господь, она обрушится, разумеется, и на меня, но я-то во всяком случае не стану ее призывать: дом мой — убежище, в котором я укрываюсь от войн. Я пытаюсь оградить этот уголок от общественных бурь, как пытаюсь оградить от них и другой уголок у себя в душе. Наша война может сколько угодно менять свои формы; пусть эти формы множатся, пусть возникают новые партии; что до меня, то я не пошевелюсь.

При столь значительном числе укрепленных замков из людей моего положения, сколько я знаю, лишь я один во всей Франции доверил одному небу охрану моего жилища. Я никогда не вывозил из него ни столового серебра, ни фамильных бумаг, ни ковров. Я не хочу ни наполовину бояться, ни наполовину спасаться. Если полное и искреннее доверие к воле господней может снискать ее благосклонность, то она пребудет со мной до конца дней моих, если же нет, то я пребывал под ее сенью достаточно долго, чтобы счесть длительность этого пребывания поразительной и отметить ее. Неужели? Да, вот уже добрых тридцать лет!²⁷



Г л а в а XVI

О СЛАВЕ

Существует название вещи и сама вещь; название — это слово, которое указывает на вещь и обозначает ее. Название не есть ни часть вещи, ни часть ее сущности. Это нечто присоединенное к вещи и пребывающее вне вещи.

Бог, который в себе самом есть полная завершенность и верх совершенства, не может возвеличиваться и возрастать внутри себя самого, но имя его может возвеличиваться и возрастать через благословения и хвалы, воздаваемые нами явленным им делам. И поскольку мы не в состоянии вложить в него эти хвалы, ибо он не может расти во благе, мы обращаем их к его имени, которое есть нечто, хоть и пребывающее вне его сущности, но наиболее близкое к ней. Так обстоит дело лишь с одним богом, и ему одному принадлежат вся слава и весь почет. И нет ничего столь бессмысленного, как домогаться того же для нас, ибо, нищие и убогие изнутри, обладая несовершенной сущностью и постоянно нуждаясь в ее улучшении, мы должны отдавать все наши усилия только этому и ничему больше. Мы совсем полые и пустые, и не воздухом и словами должны мы заполнить себя: чтобы стать по-настоящему сильными, нам нужна более осязательная субстанция. Не много ума проявил бы тот голодающий, который занялся бы добыванием нарядного платья вместо того, чтобы постараться добыть себе сытную пищу. Как гласят повседневные наши молитвы: *Gloria in excelsis Deo et in terris pacis hominibus.*¹ Нам недостает красоты, здоровья, добродетели и других

столь же важных вещей; о внешних украшениях можно будет подумывать позже, когда мы будем уже располагать самым насущным. Этот предмет более пространно и обстоятельно освещается теологией; я же осведомлен в нем недостаточно глубоко.

Хрисипп и Диоген² были первыми авторами — и притом наиболее последовательными и непреклонными, — выразившими презрение к славе. Среди всех наслаждений, говорили они, нет более губельного, чем одобрение со стороны, нет никакого другого, от которого нужно было бы так же бежать. И действительно, как показывает нам опыт, вред, проистекающий от подобного одобрения, необъятен: нет ничего, что в такой мере отравляло бы государей, как лесть, ничего, что позволяло бы дурным людям с такой легкостью добиваться доверия окружающих; и никакое сводничество неспособно так ловко и с таким неизменным успехом совращать целомудренных женщин, как расточаемые им и столь лакомые для них похвалы. Первая приманка, использованная сиренами, чтобы завлечь Одиссея, была такого же рода:

К нам Одиссей богоравный, великая слава ахейн,
К нам с кораблем подойди...³

Эти философы говорили, что слава целого мира не заслуживает того, чтобы мыслящий человек протянул к ней хотя бы один палец:

*Gloria quantalibet quid erit, si gloria tantum est?*⁴

Я говорю лишь о славе самой по себе, ибо нередко она приносит с собой кое-какие жизненные удобства, благодаря которым может стать желанной для нас: она снискивает нам всеобщее благоволение и ограждает хоть в некоторой мере от несправедливости и нападков со стороны других людей и так далее.

Такое отношение к славе было одним из главнейших положений учения Эпикура. Ведь предписание его школы: «Живи незаметно», воспрещающее людям брать на себя исполнение общественных обязанностей и обязанностей, необходимо предполагает презрение к славе, которая есть не что иное, как одобрение окружающими наших поступков, совершаемых у них на глазах. Кто велит нам таиться и не забо-

тяться ни о чем, кроме как о себе, кто не хочет, чтобы мы были известны другим, тот еще меньше хочет, чтобы нас окружали почет и слава. И он советует Идоменею⁵ не руководствоваться в своих поступках общепринятыми мнениями и взглядами, отступая от этого правила только затем, чтобы не навлекать на себя неприятностей, которые может доставить ему при случае людское презрение.

Эти рассуждения, на мой взгляд, поразительно правильны и разумны, но нам — почему я и сам не знаю — свойственна двойственность, и отсюда проистекает, что мы верим тому, чему вовсе не верим, и не в силах отделаться от того, что всячески осуждаем. Рассмотрим же последние слова Эпикура, сказанные им на смертном одре: они велики и достойны такого замечательного философа, но на них все же заметна печать горделивого отношения к своему имени и того пристрастия к славе, которое он так порицал в своих поучениях. Вот письмо, продиктованное им незадолго до того, как от него отлетело дыхание.

«Эпикур шлет Гермарху⁶ привет.

Я написал это в самый счастливый и вместе с тем последний день моей жизни, ощущая при этом такие боли в мочевом пузыре и в животе, что сильнее быть не может. И все же они возмещались наслаждением, которое я испытывал, вспоминая о своих сочинениях и речах. Ты же возьми под свое покровительство детей Метродора,⁷ как это требует от тебя твоя склонность к философии и ко мне, которую ты питаешь с раннего детства».

Вот это письмо. И если я считаю, что наслаждение, ощущаемое им в душе, как он говорит, при воспоминании о своих сочинениях, имеет касательство к славе, на которую он рассчитывал после смерти, то меня побуждает к этому распоряжение, содержащееся в его завещании. Этим распоряжением он предписывает, «чтобы Аминомах и Тимократ, его наследники, предоставляли для празднования его дня рождения в январе месяце суммы, какие укажет Гермарх, и равным образом оплачивали расходы на угощение близких ему философов, которые будут собираться в двадцатый день каждой луны в честь и в память его и Метродора».

Карнеад⁸ был главой тех, кто держался противоположного мнения. Он утверждал, что слава желанна сама по себе, совершенно так же, как мы любим наших потомков исключительно ради них, не зная их и не извлекая из этого никакой выгоды для себя. Эти взгляды встретили всеобщее одобрение, ибо люди охотно принимают то, что наилучшим образом отвечает их склонностям. Аристотель предоставляет славе первое место среди остальных внешних благ. Он говорит: избегай, как порочных крайностей, неумеренности и в стремлении к славе, и в уклонении от нее.⁹ Полагаю, что, имея мы перед собой книги, написанные на этот счет Цицероном, мы нашли бы в них вещи, воистину поразительные. Этот человек был до того поглощен страстной жадой славы, что решился бы, как мне кажется, и притом очень охотно впасть в ту же крайность, в которую впадали другие, полагая, что сама добродетель желанна лишь ради почета, неизменно следующего за ней:

Paulum sepultae distat inertiae
Celata virtus.¹⁰

Это мнение до последней степени ложно, и мне просто обидно, что оно могло возникнуть в разуме какого-нибудь человека, имевшего честь называться философом.

Если бы подобные взгляды были верны, то добродетельным нужно было бы быть лишь на глазах у других, а что касается движений души, в которых, собственно, и заключается добродетель, то нам не было бы никакой надобности подчинять их своей воле и налагать на них узы; это было бы необходимо только в тех случаях, когда они могли бы стать достоянием гласности.

Выходит, что обманывать допустимо, если это делается хитро и тонко! «Если ты знаешь, — говорит Карнеад,¹¹ — что в таком-то месте притаилась змея и на это место, ничего не подозревая, собирается сесть человек, чья смерть, по твоим расчетам, принесет тебе выгоду, то, не предупредив его об опасности, ты совершишь злодеяние, и притом тем более великое, что твой поступок будет известен лишь тебе одному». Если мы не вменим себе в закон поступать праведно, если мы приравняем безнаказанность справедливости, то каких только

злых дел не станем мы каждодневно творить. Я не считаю заслуживающим особой похвалы то, что сделал Секст Педуцей, честно возвратив вдове Гая Плоция¹² те его сокровища, которые Гай Плоций доверил ему без ведома кого-либо третьего (подобные вещи не раз делал также я сам), но я счел бы гнусным и омерзительным, если бы кто-нибудь не сделал этого. И я нахожу уместным и очень полезным вспомнить в наши дни о Секстилии Руфе,¹³ которого Цицерон осуждает за то, что он принял наследство против своей совести, хотя и пошел на это не только не вопреки законам, но и на основании их, а также о Марке Крассе и Квинте Гортензии, равно осуждаемых Цицероном. Будучи людьми влиятельными и чрезвычайно могущественными, они были как-то приглашены в долю одним посторонним для них человеком, собиравшимся завладеть наследством по подложному завещанию и надеявшимся таким способом обеспечить себе свою часть. Красс и Гортензий¹⁴ удовлетворялись сознанием, что они не являлись соучастниками подлога, но не отказались, однако, воспользоваться плодами его; они сочли, что, поскольку им не грозит ни обвинение по суду, ни свидетели, ни законы, они, стало быть, и не запятнали себя. *Meminerint deum se habere testem, id est (ut ego arbitror) mentem suam.*¹⁵

Добродетель была бы вещью слишком суетной и легковесной, если бы ценность ее основывалась только на славе. И бесплодными были бы в таком случае наши попытки предоставить ей особое, добавляющее ей место, отделив ее от удачи, ибо есть ли еще что-нибудь столь же случайное, как известность? *Profecto fortuna in omni re dominatur; ea res cunctas ex libidine magis, quam ex vero, celebrat, obscuratque.*¹⁶ Распространять молву о наших деяниях и выставлять их напоказ — это дело голый удачи: судьба дарует нам славу по своему произволу. Я не раз видел, что слава опережает заслуги, и не раз — что она безмерно превышает их. Кто первый заметил ее сходство с тенью, тот высказал нечто большее, чем хотел; и та и другая исключительно прихотливы: и тень также порою идет впереди тела, которое отбрасывает ее, порою и она также намного превосходит его своею длиной. Те, которые поучают дворян быть доблестными только ради почета, — *quasi non sit honestum, quod nobilitatum*

pop sit,¹⁷ чему они учат, как не тому, чтобы человек никогда не подвергал себя опасности, если его не видят другие, и всегда заботился о том, чтобы были свидетели, которые могли бы потом рассказать о его храбрости — и это в таких случаях, когда представляется тысяча возможностей совершить нечто доблестное, оставаясь незамеченным? Сколько прекраснейших подвигов отдельных людей погребается в сумятице битвы! И кто предается наблюдению за другими в разгар такой схватки, тот, очевидно, остается в ней праздным, и, свидетельствуя о поведении своих товарищей по оружию, свидетельствует тем самым против себя. *Vera et sapiens animi magnitudo, honestum illud, quod maxime naturam sequitur, in factis positum non in gloria iudicat.*¹⁸

Вся слава, на которую я притязую, это слава о том, что я прожил свою жизнь спокойно и притом прожил ее спокойно не по Метродору, Аркесилаю или Аристиппу,¹⁹ но по своему разумению. Ибо философия так и не смогла найти такой путь к спокойствию, который был бы хорош для всех, и всякому приходится искать его на свой лад.

Чему обязаны Цезарь и Александр бесконечным величием своей славы, как не удаче? Скольких людей придавила фортуна в самом начале их жизненного пути! Сколько было таких, о которых мы ровно ничего не знаем, хотя они проявили бы не меньшую доблесть, если бы горестный жребий не пресек их деяний, можно сказать, при их зарождении? Пройдя через столько угрожавших его жизни опасностей, Цезарь, сколько я помню из того, что прочел о нем, ни разу не был ранен, а между тем тысячи людей погибли при гораздо меньшей опасности, нежели наименьшая, которую он преодолел. Бесчисленное множество прекраснейших подвигов не оставило по себе ни малейшего следа, и только редчайшие из них удостоились признания. Не всегда оказываешься первым в проломе крепостных стен или впереди армии на глазах у своего полководца, как если бы ты был на подмостках. Смерть чаще настигает воина между изгородью и рвом; приходится искушать судьбу при осаде какого-нибудь курятника; нужно выбить из сарая каких-нибудь четырех жалких солдат с аркебузами; нужно отделиться от войск и действовать самостоятельно,

руководствуясь обстоятельствами и случайностями. И если внимательно приглядеться ко всему этому, то нетрудно, как мне кажется, прийти к выводу, подсказываемому нам нашим опытом, а именно, что наименее прославленные события — самые опасные и что в войнах, происходивших в наше время, больше людей погибло при событиях незаметных и малозначительных, например при занятии или защите какой-нибудь жалкой лачуги, чем на полях почетных и знаменитых битв.

Кто считает, что напрасно загубит свою жизнь, если отдаст ее не при каких-либо выдающихся обстоятельствах, тот будет склонен скорее оставить свою жизнь в тени, чем принять славную смерть, и потому он пропустит немало достойных поводов подвергнуть себя опасности. А ведь всякий достойный повод поистине славен, и наша совесть не преминет возвеличить его в наших глазах. *Gloria nostra est testimonium conscientiae nostrae.*²⁰

Кто порядочен только ради того, чтобы об этом узнали другие, и, узнав, стали бы питать к нему большее уважение, кто творит добрые дела лишь при условии, чтобы его добродетели стали известны, — от того нельзя ожидать слишком многого.

Credo che'l resto di quel verno cose
 Facesse degne di tenerne conto;
 Ma fur sin'a quel tempo si nascose,
 Che non è colpa mia s'hor' non le conto:
 Perchè Orlando a far l'opre virtuose,
 Più ch'a narrarle poi, sempre era pronto;
 Nè mai fu alcun' de li suoi fatti espresso,
 Se non quando ebbe i testimoni appresso.²¹

Нужно идти на войну ради исполнения своего долга и терпеливо дожидаться той награды, которая всегда следует за каждым добрым делом, сколь бы оно ни было скрыто от людских взоров, и даже за всякой добродетельной мыслью; эта награда заключается в чувстве удовлетворения, доставляемого нам чистой совестью, сознанием, что мы поступили хорошо. Нужно быть доблестным ради себя самого и

ради того преимущества, которое состоит в душевной твердости, уверенно противостоящей всяким ударам судьбы:

Virtus, repulsae nescia sordidae,
Intaminatis fulget honoribus,
Nec sumit aut ponit secures
Arbitrio popularis aerae.²²

Совсем не для того, чтобы выставлять себя напоказ, должна наша душа быть стойкой и добродетельной; нет, она должна быть такою для нас, в нас самих, куда не проникает ничей взор, кроме нашего собственного. Это она научает нас не бояться смерти, страданий и даже позора; она дает нам силы переносить потерю наших детей, друзей и нашего состояния; и, когда представляется случай, она же побуждает нас дерзать среди опасностей боя, non emolumento aliquo, sed ipsius honestatis decore.²³ Это — выгода гораздо большая, и жажда, и чаять ее гораздо достойнее, чем тянуться к почету и славе, которые в конце концов не что иное, как благосклонное суждение других людей о нас.

Чтобы решить спор о каком-нибудь клочке земли, нужно выбрать из целого народа десяток подходящих людей; а наши склонности и наши поступки, то есть наиболее трудное и наиболее важное из всех дел, какие только возможны, мы выносим на суд массы, толпы, матери невежества, несправедливости и непостоянства! Не бессмысленно ли жизнь мудреца ставить в зависимость от суда глупцов и невежд? An quidquam stultius, quam, quos singulos contemnas, eos aliquid putare esse universos.²⁴ Кто стремится угодить им, тот никогда ничего не достигнет; в эту мишень как ни целясь, все равно не попадешь. Nil tam inaestimabile est, quam animi multitudinis.²⁵ Деметрий²⁶ сказал в шутку о гласе народном, что он не больше считается с тем, который исходит у толпы верхом, чем с тем, который исходит у нее низом. А другой автор высказывается еще решительнее: Ego hoc iudico, si quando turpe non sit, tamen non esse non turpe, cum id a multitudine laudetur.²⁷

Никакая изворотливость, никакая гибкость ума не могли бы направить наши шаги, вздумай мы следовать за столь беспорядочным

и бестолковым вожатым; среди всей этой сумятицы слухов, болтовни и легковесных суждений, которые теребят и путают нас, невозможно избрать себе сколько-нибудь толковую дорогу. Не будем же ставить себе такой переменчивой и неустойчивой цели; давайте неуклонно идти за разумом, и пусть общественное одобрение, если ему будет угодно, последует за нами на этом пути. И так как оно зависит исключительно от удачи, то у нас нет решительно никаких оснований считать, что мы обречем его скорее на каком-либо другом пути, чем на этом. И если бы случилось, что я не пошел по прямой дороге, не отдав ей предпочтения потому, что она прямая, я все равно вынужден буду пойти по ней, убедившись на опыте, что в конце концов она наиболее безопасная и удобная: *Dedit hoc providentia hominibus munus, ut honesta magis iuvarent.*²⁸ В древности некий моряк во время сильной бури обратился к Нептуну со следующими словами: «О, бог, ты спасешь меня, если захочешь, а если захочешь, то, напротив, погубишь меня; но я по-прежнему буду твердо держать мой руль».²⁹ В свое время я перевидал множество изворотливых, ловких, двуличных людей, и никто не сомневался, что они превосходят меня житейскою мудростью, — и все же они погибли, тогда как я выжил:

*Risi successu posse carere dolos.*³⁰

Павел Эмилий,³¹ отправляясь в свой знаменитый македонский поход, с особой настойчивостью предупреждал римлян, «чтобы они не чесали языком относительно его действий». И в самом деле, необузданность людских толков и пересудов — огромная помеха в великих делах. Не всякий может противостоять противоречивой и оскорбительной народной молве, не всякий обладает твердостью Фабия,³² который предпочел допустить, чтобы праздные вымыслы трепали его доброе имя, чем хуже выполнить принятую им на себя задачу ради того, чтобы снискать себе славу и всеобщее одобрение.

Есть какое-то особенное удовольствие в том, чтобы слушать расточаемые тебе похвалы; но мы придаем ему слишком большое значение.

*Laudari haud metuam, neque enim mihi cornea fibra est;
Sed recti finemque extremumque esse recuso,
Euge tuum et belle.*³³

Я не столько забочусь о том, каков я в глазах другого, сколько о том, каков я сам по себе. Я хочу быть богат собственным, а не заемным богатством. Посторонние видят лишь внешность событий и вещей; между тем всякий имеет возможность изображать невозмутимость и стойкость даже в тех случаях, когда внутри он во власти страха и весь в лихорадке; таким образом, люди не видят моего сердца, они видят лишь надетую мною маску. И правы те, кто обличает процветающее на войне лицемерие, ибо что же может быть для ловкого человека проще, чем избегать опасностей и одновременно выдавать себя за первого смельчака, несмотря на то что сердце его исполнено трусости? Есть столько случаев уклоняться от положений, связанных с личным риском, что мы тысячу раз успеем обмануть целый мир, прежде чем ввяжемся в какое-нибудь по-настоящему смелое дело. Но и тут, обнаружив, что нам больше не отвертеться, мы сумеем и на этот раз прикрыть нашу игру соответствующею личиною и решительными словами, хотя душа наша и уходит при этом в пятки. И многие, располагая они платоновским перстнем,³⁴ делающим невидимым каждого, у кого он на пальце и кто обернет его камнем к ладони, частенько скрывались бы с его помощью от людских взоров — и именно там, где им больше всего подобало бы быть на виду, — горестно сожалея о том, что они занимают столь почетное место, заставляющее их быть храбрыми поневоле.

Falsus honor iuvat, et mendax infamia terret
 Quem, nisi mendosum et mendacem?³⁵

Вот почему суждения, составленные на основании одного лишь внешнего облика той или иной вещи, крайне поверхностны и сомнительны; и нет свидетеля более верного, чем каждый в отношении себя самого. И скольких только обозников не насчитывается среди сотоварищей нашей славы! Разве тот, кто крепко засел в вырытом другими окопе, совершает больший подвиг, нежели побывавшие тут до него, нежели те полсотни горемык-землекопов, которые проложили ему дорогу и за пять су в день прикрывают его своими телами?

Non, quidquid turbida Roma
 Elevet, accedas, examenque improbum in illa
 Castiges trutina: nec tu quaesiveris extra.³⁶

Мы говорим, что, делая наше имя повсеместно известным и влагая его в уста столь многих людей, мы тем самым возвеличиваем его; мы хотим, чтобы оно произносилось с благоговением и чтобы это окружающее его сияние пошло на пользу ему — и это все, что можно привести в оправдание нашего стремления к славе. Но в исключительных случаях эта болезнь приводит к тому, что иные не останавливаются ни перед чем, только бы о них говорили. Трог Помпей сообщает о Герострате, а Тит Ливий о Манлии Капитолийском, что они жаждали скорее громкого, чем доброго имени.³⁷ Этот порок, впрочем, обычен: мы заботимся больше о том, чтобы о нас говорили, чем о том, что именно о нас говорят; с нас довольно того, что наше имя у всех на устах, а почему — это нас отнюдь не заботит. Нам кажется, что если мы пользуемся известностью, то это значит, что и наша жизнь, и сроки ее находятся под охраною знающих нас. Что до меня, то я цепко держусь за себя самого. И если вспомнить о другой моей жизни, той, которая существует в представлении моих добрых друзей, то, рассматривая ее как нечто совершенно самостоятельное и замкнутое в себе, я очень хорошо знаю, что не вижу от нее никаких плодов и никакой радости, кроме, быть может, тщеславного удовольствия, связанного со столь фантастическим мнением обо мне. Когда я умру, я лишусь даже этого удовольствия и начисто утрачу возможность пользоваться той осязательной выгодой, которую приносят порой подобные мнения, и, не соприкасаясь больше со славою, я не смогу ухватить ее, как и она не сможет затронуть или осенить меня. Ибо я не могу рассчитывать, чтобы мое имя приобрело ее, хотя бы уже потому, что у меня нет имени, принадлежащего исключительно мне. Из двух присвоенных мне имен одно принадлежит всему моему роду и, больше того, даже другим родам; есть семья в Париже и Монпелье, именующая себя Монтень, другая — в Бретани и Сентонже — де Ла-Монтень; утрата одного только слога поведет к смешению наших гербов и к тому, что я стану наследником принадлежащей им славы, а они, быть может, моего позора; и если мои предки звались некогда Эйкем, то это же имя носит один известный род в Англии.³⁸ Что до второго присвоенного мне имени, то оно принадлежит всякому, кто бы ни пожелал им на-

зваться; таким образом, и я, быть может, окажу в свою очередь честь какому-нибудь портовому крючнику. И имей я даже свой собственный опознавательный знак, что, собственно, мог бы он обозначать, когда меня больше не будет? Мог ли бы он отметить пустоту и заставить полюбить ее?

Nunc levior cippus non imprimit ossa?
Laudat posteritas; nunc non e manibus illis,
Nunc non e tumulo, fortunataque favilla,
Nascuntur violae.³⁹

Но об этом я говорил уже в другом месте.⁴⁰ Итак, после битвы, в которой было убито и изувчено десять тысяч человек, говорят лишь о каких-нибудь пятнадцати видных ее участниках. Отдельный подвиг, даже если он совершен не простым стрелком, а кем-нибудь из военачальников, может обратить на себя внимание только в том случае, если это деяние действительно выдающейся доблести или счастливо повлекшее за собой значительные последствия. И хотя убить одного врага или двоих, или десятерых для каждого из нас и впрямь не безделица, ибо тут ставишь на карту все до последнего, — для мира, однако все эти вещи настолько привычны и он наблюдает их изо дня в день в таком несметном количестве, что их нужно по крайней мере еще столько же, чтобы произвести на него заметное впечатление. Вот почему мы не можем рассчитывать на особую славу,

casus multis hic cognitus ac iam
Tritus, et e medio fortunae ductus acervo.⁴¹

Среди тьмы отважных людей, с оружием в руках павших за пятнадцать столетий во Франции, едва ли найдется сотня таких, о ком мы хоть что-нибудь знаем. В нашей памяти изгладились не только имена полководцев, но и самые сражения и победы: судьбы большей половины мира из-за отсутствия поименного списка его обитателей остаются неизвестными и не оставляют по себе никакого следа.

Если бы я располагал знанием неведомых доселе событий, то, какой бы пример мне ни потребовался, я мог бы заменить ими известные нам. Да что тут говорить! Ведь даже о римлянах и о греках,

хотя у них и было столько писателей и свидетелей, до нас дошло так немного!

*Ad nos vix tenuis fama perlabitur aura.*⁴²

И еще хорошо, если через какое-нибудь столетие будут помнить, хотя бы в самых общих чертах, о том, что в наше время во Франции бушевали гражданские войны.

Лакедемоняне имели обыкновение устраивать перед битвой жертвоприношения музам с тем, чтобы деяния, совершаемые ими на поле брани, могли быть достойным образом и красноречиво описаны; они считали, что если их подвиги находят свидетелей, умеющих даровать им жизнь и бессмертие, то это — величайшая и исключительная милость богов.

Неужели же мы и в самом деле станем надеяться, что при всяком произведенном в нас выстреле из аркебузы и всякой опасности, которой мы подвергаемся, вдруг неведомо откуда возьмется писец, дабы занести эти происшествия в свой протокол? И пусть таких писцов оказалась бы целая сотня, все равно их протоколам жить не дольше трех дней, и никто никогда их не увидит. Мы не располагаем и тысячной долей сочинений, написанных древними; судьба определяет им жизнь — одним покороче, другим подольше, в зависимости от своих склонностей и пристрастий; и, не зная всего остального, мы вправе задаться вопросом: уж не худшее ли то, что находится в нашем распоряжении? Из таких пустяков, как наши дела, историй не составляют. Нужно было возглавлять завоевание какой-нибудь империи или царства; нужно было, подобно Цезарю, выиграть пятьдесят два крупных сражения, неизменно имея дело с более сильным противником. Десять тысяч его соратников и несколько выдающихся полководцев, сопровождавших его в походах, храбро и доблестно отдали свою жизнь, а между тем имена их сохранялись в памяти лишь столько времени, сколько прожили их жены и дети:

*quos fama obscura recondit.*⁴³

И даже о тех, большие дела которых мы сами видели, даже о них, спустя три месяца или три года после их ухода от нас, говорят не

больше, чем если бы они никогда не существовали на свете. Всякий, кто, пользуясь правильной меркой и подобающими соотношениями, призадумается над тем, о каких делах и о каких людях сохраняются в книгах слава и память, тот найдет, что в наш век слишком мало деяний и слишком мало людей, которые имели бы право на них приязнать. Мало ли знали мы доблестных и достойных мужей, которым пришлось пережить собственную известность, которые видели — и должны были это стерпеть, — как на их глазах угасли почет и слава, справедливо завоеванные ими в юные годы? И ради каких-то трех лет этой призрачной и воображаемой жизни расстанемся мы с живой, не воображаемой, но действительной жизнью и ввергаем себя в вечную смерть! Мудрецы ставят перед этим столь важным шагом другую, более высокую и более справедливую цель: *Recte facti fecisse merces est.*⁴⁴

*Officii fructus, ipsum officium est.*⁴⁵

Для живописца или другого художника, или также ратора, или грамматика извинительно стремиться к тому, чтобы завоевать известность своими творениями: но деяния доблести и добродетели слишком благородны по своей сущности, чтобы домогаться другой награды, кроме заключенной в них самих ценности, и в особенности — чтобы домогаться этой награды в тщете людских приговоров.

И все же это заблуждение человеческого ума имеет заслуги перед обществом. Это оно побуждает людей быть верными своему долгу; оно пробуждает в народе доблесть; оно дает возможность властителям видеть, как весь мир благословляет память Траяна и с омерзением отворачивается от Нерона;⁴⁶ оно заставляет их содрогаться, видя, как имя этого знаменитого изверга, некогда столь грозное и внушавшее ужас, ныне безнаказанно и свободно проклинается и подвергается поношению любым школьником, которому взбредет это в голову; и пусть это заблуждение в таком случае укоренится все глубже и глубже, и пусть его насаждают в нас, насколько это возможно.

Платон,⁴⁷ применявший решительно все, лишь бы заставить своих граждан быть добродетельными, советует им не пренебрегать добрым

именем и уважением прочих народов и говорит, что благодаря некоему божественному внушению даже плохие люди часто умеют как на словах, так и в мыслях своих отчетливо различать, что хорошо и что дурно. Этот муж и его наставник — поразительно ловкие мастера добавлять повсюду, где им не хватает человеческих доводов, божественные наставления и откровения, — *ut tragici poetae confugiunt ad deum, cum explicare argumenti exitum non possunt*.⁴⁸ Возможно, что именно по этой причине Тимон⁴⁹ называет его в насмешку «великим чудотворцем».

Поскольку люди в силу несовершенства своей природы не могут довольствоваться доброкачественной монетой, пусть между ними обращается и фальшивая. Это средство применялось решительно всеми законодателями, и нет ни одного государственного устройства, свободного от примеси какой-нибудь напыщенной чепухи или лжи, необходимых, чтобы налагать узду на народ и держать его в подчинении. Вот почему эти государственные устройства приписывают себе, как правило, легендарное происхождение и начала их полны сверхъестественных тайн. Именно это и придавало вес даже порочным религиям и побуждало разумных людей делаться их приверженцами. Вот почему, стремясь укрепить верность своих подданных, Нума и Серторий⁵⁰ пичкали их несусветным вздором, первый — будто нимфа Эгерия, второй — будто его белая лань сообщали им внушения богов, которым они и следовали.

И если Нума поднял авторитет своего свода законов, ссылаясь на покровительство этой богини, то то же сделали и Зороастр, законодатель бактрийцев и персов, ссылаясь на бога Ормузда, и Трисмегист египтян — на Меркурия, и Самолксис скифов — на Весту, и Харонд халкидян — на Сатурна, и Минос критян — на Юпитера, и Ликург лакедемонян — на Аполлона, и Драконт и Солон афинян — на Минерву; и вообще любой свод законов обязан своим происхождением кому-нибудь из богов, что ложно во всех случаях, за исключением лишь тех законов, которые Моисей дал иудеям по выходе из Египта.⁵¹

Религия бедуинов, как рассказывает Жуанвиль,⁵² учит среди всего прочего и тому, что душа павшего за своего князя вселяется в новую

телесную оболочку — более удобную, более красивую и более прочную, чем предыдущая, и он говорит, что из-за этого представления они с большей готовностью подвергают свою жизнь опасностям:

In ferrum mens prona viris, animaeque capaces
Mortis, et ignavum est rediturae parcere vitae.⁵³

Вот исключительно полезное верование, сколь бы вздорным оно ни было. У каждого народа можно встретить похожие вещи; этот предмет, впрочем, заслуживает отдельного рассуждения.

Чтобы добавить еще словечко к сказанному вначале — я не советую женщинам именовать своей честью то, что в действительности является их прямым долгом: *ut enim consuetudo loquitur, id solum dicitur honestum quod est populari fama gloriosum*; ⁵⁴ их долг — это, так сказать, сердцевина, их честь — лишь внешний покров. И я также не советую им оправдывать свой отказ пойти нам навстречу ссылкой на нее, ибо я наперед допускаю, что их склонности, их желания и их воля, к которым, пока они не обнаружат себя, честь не имеет ни малейшего отношения, еще более скромны, нежели их поступки:

Quae, quia non liceat, non facit, illa facit.⁵⁵

Желать этого — не меньшее оскорбление бога и собственной совести, чем совершить самый поступок. И поскольку дела такого рода прячутся ото всех и творятся тайно, то, не чти женщины своего долга и не уважай они целомудрия, для них не составило бы большого труда начисто скрыть какое-нибудь из них от постороннего взора и сохранить, таким образом, свою честь незапятнанной. Честный человек предпочтет скорее расстаться со своей честью, чем с чистой совестью.



Г л а в а XVII

О САМОМНЕНИИ

Существует и другой вид стремления к славе, состоящей в том, что мы создаем себе преувеличенное мнение о наших достоинствах. Основа его — безотчетная любовь, которую мы питаем к себе и которая изображает нас в наших глазах иными, чем мы есть в действительности. Тут происходит то же, что бывает с влюбленным, страсть которого наделяет предмет его обожания красотой и прелестью, приводя к тому, что, охваченный ею, он под воздействием обманчивого и смутного чувства видит того, кого любит, другим и более совершенным, чем каков он на деле.

Я вовсе не требую, чтобы из страха перед самовозвеличением люди принижали себя и видели в себе нечто меньшее, чем они есть; приговор во всех случаях должен быть равно справедливым. Подобаает, чтобы каждый находил в себе только то, что соответствует истине; если это Цезарь, то пусть он смело считает себя величайшим полководцем в мире. Наша жизнь — это сплошная забота о приличиях; они опутали нас и заслонили собой самую сущность вещей. Цепляясь за ветви, мы забываем о существовании ствола и корней. Мы научили женщин краснеть при малейшем упоминании о всех тех вещах, делать которые им ни в какой мере не зазорно; мы не смеем называть своим именем некоторые из наших органов, но не стыдимся пользоваться ими, предаваясь худшим видам распутства. Приличия запрещают нам обозначать соответствующими словами вещи дозволенные и совершенно естественные — и мы беспрекословно подчи-

няемся этому; разум запрещает нам творить недозволенное и то, что дурно, — и никто этому запрету не подчиняется. Я очень явственно ощущаю, насколько стеснительны для меня в данном случае законы, налагаемые приличиями, ибо они не позволяют нам говорить о себе ни что-либо хорошее, ни что-либо дурное. Но довольно об этом.

Те, кому их судьба (назовем ее доброю или злою, как вам будет угодно) предоставила прожить жизнь, возвышающуюся над общим уровнем, те имеют возможность показать своими поступками, которые у всех на виду, что же они представляют собой. Те, однако, кому она назначила толкаться в безликой толпе и о ком ни одна душа не обмолвится ни словечком, если они сами не сделают этого, — тем извинительно набраться смелости и рассказать о себе, обращаясь ко всякому, кому будет интересно послушать, и следуя в этом примеру Луцилия: ¹

Ille velut fidis arcana sodalibus olim
 Credebat libris, neque, si male cesserat, usquam
 Decurrens alio, neque si bene: quo fit, ut omnis
 Votiva pateat veluti descripta tabella
 Vita senis.²

Как видим, он отмечал в своих записях и дела, и мысли свои, рисуя себя в них таким, каким представлялся себе самому: *Nec id Rutilio et Scauro citra fidem aut obtrectationi fuit.*³

Вот и я припоминаю, что еще в дни моего раннего детства во мне отмечали какие-то особые, сам не знаю какие, повадки и замашки, говорившие о пустой и нелепой надменности. По этому поводу я прежде всего хотел бы сказать следующее: нет ничего удивительного, что нам присущи известные свойства и склонности, вложенные в нас при рождении и настолько укоренившиеся, что мы не можем уже ни ощущать, ни распознавать их в себе; под влиянием таких естественных склонностей мы, сами того не замечая, произвольно усваиваем какую-нибудь привычку. Сознание своей красоты и связанное с этим некоторое жеманство явились причиной того, что Александр стал склонять голову несколько набок; они же придали речи Алквиада картавость и шепелявость; Юлий Цезарь почесывал го-

лову пальцем, а это, как правило, жест человека, одолеваемого тяжкими думами и заботами; Цицерон, кажется, имел обыкновение морщить нос, что является признаком врожденной насмешливости. Все эти движения могут совершаться неприметно для нас самих. Но наряду с ними есть другие, которые мы производим совершенно сознательно и о которых излишне распространяться; таковы, например, приветствия и поклоны, с помощью которых нередко добиваются чести, обычно незаслуженной, почитаться человеком учтивым и скромным, причем многих побуждает к этому честолюбие. Я очень охотно, особенно летом, снимаю в знак приветствия шляпу и всякому, кроме находящихся у меня в услужении, кто подобным образом поздоровается со мной, неизменно, независимо от его звания, отвечаю тем же. И все же я хотел бы высказать пожелание, обращенное к некоторым известным мне принцам, чтобы они были в этом отношении более бережливыми и расточали свои поклоны с большим разбором, ибо, снимая шляпу перед каждым, они не достигают того, чего могли бы достигнуть. Если это приветствие не выражает особого благоволения, оно не производит должного действия. Говоря о манере держаться, сознательно усваиваемой иными людьми, вспомним о величавой осанке, которой отличался император Констанций.⁴ Появляясь перед народом, он держал голову все время в одном положении: закинув ее немного назад, он не разрешал себе ни повернуть ее, ни наклонить, чтобы посмотреть на людей, стоявших по пути его следования и приветствовавших его с обеих сторон; тело его при этом также сохраняло полнейшую неподвижность, несмотря на толчки от движения колесницы; он не решался ни плюнуть, ни высморкаться, ни отереть пот на лице. Не знаю, были ли те замашки, которые когда-то отмечали во мне, вложены в меня самой природой и была ли мне действительно свойственна некая тайная склонность к указанному выше пороку, что, конечно, возможно, так как за движения своего тела я отвечать не могу. Но что касается движений души, то я хочу рассказать здесь с полной откровенностью обо всем, что я на этот счет думаю.

Высокомерие складывается из чересчур высокого мнения о себе и чересчур низкого о других. Что до первого из этих слагаемых, то,

поскольку речь идет обо мне, необходимо, по-моему, прежде всего принять во внимание следующее: я постоянно чувствую на себе гнет некоего душевного заблуждения, которое немало огорчает меня отчасти потому, что оно совершенно необоснованно, а еще больше потому, что бесконечно навязчиво. Я пытаюсь смягчить его, но полностью избавиться от него я не могу. Дело в том, что я неизменно преуменьшаю истинную ценность всего принадлежащего мне и, напротив, преувеличиваю ценность всего чужого, отсутствующего и не моего, поскольку оно мне недоступно. Это чувство уводит меня весьма далеко. Подобно тому как сознание собственной власти порождает в мужьях, а порой и в отцах достойное порицания пренебрежительное отношение к женам и детям, так и я, если передо мной два приблизительно равноценных творения, всегда более строг к своему. И это происходит не столько от стремления к совершенству и желания создать нечто лучшее, не позволяющих мне судить беспристрастно, сколько в силу того, что обладание чем бы то ни было само по себе вызывает в нас презрение ко всему, чем владеешь и что находится в твоей власти. Меня прельщают и государственное устройство, и нравы дальних народов, и их языки. И я заметил, что латынь, при всех ее несомненных достоинствах, внушает мне почтение большее, чем заслуживает, в чем я уподобляюсь детям и простолюдинам. Поместье, дом, лошадь моего соседа, стоящие столько же, сколько мои, стоят в моих глазах дороже моих именно потому, что они не мои. Больше того, я совершенно не представляю себе, на что я способен, и я восхищаюсь самонадеянностью и самоуверенностью, присущими в той или иной мере каждому, кроме меня. Это приводит к тому, что мне кажется, будто я почти ничего толком не знаю и что нет ничего такого, за выполнение чего я мог бы осмелиться взяться. Я не отдаю себе отчета в моих возможностях ни заранее, ни уже приступив к делу и познаю их только по результату. Мои собственные силы известны мне столь же мало, как силы первого встречного. Отсюда проистекает, что если мне случится справиться с каким-нибудь делом, я отношу это скорее за счет удачи, чем за счет собственного умения. И это тем более, что за все, за что бы я ни взялся, я берусь со страхом душевным и с надеждой, что мне повезет. Равным обра-

зом мне свойственно, вообще говоря, также и то, что из всех суждений, высказанных древними о человеке как таковом, я охотнее всего принимаю те — и их-то я крепче всего и держусь, — которые наиболее непримиримы к нам и презирают, унижают и оскорбляют нас. Мне кажется, что философия никогда в такой мере не отвечает своему назначению, как тогда, когда она обличает в нас наше самомнение и тщеславие, когда она искренне признается в своей нерешительности, своем бессилии и своем невежестве. И мне кажется, что корень самых разительных заблуждений, как общественных, так и личных, это — чрезмерно высокое мнение людей о себе. Те, кто усаживается верхом на эпицикл⁵ Меркурия, чтобы заглянуть в глубины неба, ненавистны мне не меньше, чем зубодеры. Ибо, занимаясь изучением человека и сталкиваясь с таким бесконечным разнообразием взглядов на этот предмет, с таким неодолимым лабиринтом встающих одна за другой трудностей, с такой неуверенностью и противоречивостью в самой школе мудрости, могу ли я верить — поскольку этим людям так и не удалось постигнуть самих себя и познать свое естество, неизменно пребывающее у них на глазах и заключенное в них самих, поскольку они не знают даже, каким образом движется то, чему они сами сообщили движение, или как описать и изъяснить действие тех пружин, которыми они располагают и пользуются, — могу ли я верить их мнениям о причинах приливов и отливов на реке Нил? Стремление познать сущность вещей дано человеку, согласно писанию, как бич наказующий.⁶

Но возвращаясь к себе. С великим трудом, мне кажется, можно было бы найти кого-нибудь, кто ценил бы себя меньше — или, если угодно, кто ценил бы меня меньше, — чем я сам ценю себя. Я считаю себя самым что ни на есть посредственным человеком, и единственное мое отличие от других — это то, что я отдаю себе полный отчет в своих недостатках, еще более низменных, чем общераспространенные, и нисколько не отрицаю их и не стараюсь придумывать для них оправдания. И я ценю себя только за то, что знаю истинную цену себе. Если во мне и можно обнаружить высокомерие, то лишь самое поверхностное, и происходит оно лишь от порывистости моего характера. Но этого высокомерия во мне такая безделица, что оно непри-

метно даже для моего разума. Оно, так сказать, слегка окропляет меня, но отнюдь не окрашивает.⁷

И действительно, что касается порождений моего ума, то, в чем бы они ни состояли, от меня никогда не исходило чего-либо такого, что могло бы доставить мне истинное удовольствие; одобрение же других нисколько не радует меня. Суждения мои робки и прихотливы, особенно когда касаются меня самого. Я без конца порицаю себя, и меня всегда преследует ощущение, будто я пошатываюсь и сгибаюсь от слабости. Во мне нет ничего, способного доставить удовлетворение моему разуму. Я обладаю достаточно острым и точным зрением, но, когда я сам принимаюсь за дело, оно начинает мне изменять в том, что я делаю. То же самое происходит со мной и тогда, когда я предпринимаю самостоятельные попытки в поэзии. Я бесконечно люблю ее и достаточно хорошо разбираюсь в произведениях, созданных кем-либо другим, но я становлюсь сущим ребенком, когда меня охватывает желание приложить к ней свою руку; в этих случаях я бываю несносен себе самому. Простительно быть глупцом в чем угодно, но только не в поэзии,

mediocribus esse poetis
Non di, non homines, non concessere columnae.⁸

Хорошо было бы прибить это мудрое изречение на дверях лавок наших издателей, дабы преградить в них доступ такой тьме стихоплетов!

verum
Nil securius est malo poeta.⁹

Почему нет больше народов, понимающих это так, как тот, о котором будет рассказано ниже? Дионисий-отец¹⁰ ценил в себе больше всего поэта. Однажды он отправил на Олимпийские игры вместе с колесницами, превосходившими своим великолепием все остальные, также певцов и поэтов, повелев им исполнять там его поэтические произведения; отправляя их, он дал им с собой по-царски роскошные, раззолоченные и увешанные коврами шатры и палатки. Когда дошла очередь до его стихов, изысканность и красота декламации поначалу привлекли к себе внимание слушателей, но, раскусив, насколько бес-

помощны и бездарны эти стихи, народ исполнился к ним презрения, а затем, проникаясь все больше и больше досадой, устремился в ярости на шатры и сорвал свою злость, разметав их и изодрав в клочья. И то, что его колесницы также не показали на состязаниях ничего стоящего, и то, что корабль, на котором возвращались домой его люди, не достиг Сицилии и был выброшен на берег и разбит бурей близ Тарента, тот же народ счел достовернейшим знаком гнева богов, разъяренных, так же как он, плохими стихами. И даже моряки, избежавшие при кораблекрушении гибели, и они держались того же мнения, которое, как казалось, подтверждалось также и оракулом, предсказавшим Дионисию близкую смерть в таких выражениях: «Дионисий приблизится к своему концу, победив тех, кто лучше его». Самим Дионисием эти слова были истолкованы таким образом, будто тут подразумеваются карфагеняне, которые превосходили его своей мощью, и, ведя с ними войны, он нередко умышленно упускал из рук победу и останавливался на полпути, дабы не попасть в положение, предусмотренное оракулом. Но он неправильно истолковал предсказанное, ибо бог имел в виду особые обстоятельства, а именно ту победу, которую он впоследствии несправедливо и при помощи подкупа одержал над более одаренными, нежели он, трагическими поэтами, поставив свою трагедию «Ленейцы» на драматическом состязании, происходившем в Афинах. Тотчас же после этой победы он умер, и это произошло отчасти от охватившей его безмерной радости.

То, что я нахожу в себе извинительным, не является таковым само по себе и не заслуживает, говоря по справедливости, оправдания; оно извинительно лишь в сравнении с еще худшим, что я вижу перед собой и что принимается всеми с одобрением. Я завидую счастьем тех, кто умеет радоваться делам своих рук и испытывать от этого приятное удовлетворение. Ведь это весьма легкий способ доставлять себе удовольствие, ибо его извлекаешь из себя самого, в особенности если обладаешь известным упорством в своих оценках. Мне знаком некий поэт, которому и стар и млад, все вместе и каждый в отдельности, словом сказать, и небо и земля, в один голос кричат, что он ровно ничего не смыслит в поэзии. А он тем не менее продолжает

мерить себя той же меркой, которую назначил себе. Он все снова и снова берется за старое, перекраивает и перерабатывает, и трудится, и упорствует, тем более неколебимый в своих суждениях, тем более негибимый, что твердостью их он обязан лишь себе самому.

Мои произведения не только не улыбаются мне, но всякий раз, как я прикасаюсь к ним, вызывают у меня досаду:

Cum relego, scripsisse pudet, quia plurima cerno,
Me quoque, qui feci, iudice, digna lini.¹¹

Пред моей душой постоянно витает идея, некий неотчетливый, как во сне, образ формы, неизмеримо превосходящий ту, которую я применяю. Я не могу, однако, уловить ее и использовать. Да и сама эта идея не поднимается, в сущности, над посредственностью. И это дает мне возможность увидеть воочию, до чего же далеки от наиболее возвышенных взлетов моего воображения и от моих чаяний творения, созданные столь великими и богатыми душами древности. Их писания не только удовлетворяют и заполняют меня; они поражают и пронизывают меня восхищением; я явственно ощущаю их красоту, я вижу ее, если не полностью, не до конца, то во всяком случае в такой мере, что мне невозможно и думать о достижении чего-либо похожего. За что бы я ни брался, мне нужно предварительно принести жертвы грациям, как говорит Плутарх об одном человеке,¹² дабы снискать их благосклонность:

si quid enim placet,
Si quid dulce hominum sensibus influit,
Debentur lepidis omnia Gratiis.¹³

Они ни в чем не сопутствуют мне; все у меня топорно и грубо; всему недостает изящества и красоты. Я не умею придавать вещам ценность свыше той, какой они обладают на деле: моя обработка не идет на пользу моему материалу. Вот почему он должен быть у меня лучшего качества; он должен производить впечатление и блеснуть сам по себе. И если я берусь за сюжет попроще и позанимательнее, то делаю это ради себя, ибо мне вовсе не по нутру чопорное и унылое мудрствование, которому предается весь свет. Я делаю это, чтобы доставить отраду себе самому, а не моему стилю, который пред-

почел бы сюжеты более возвышенные и строгие, если только заслуживает названия стиля беспорядочная и бессвязная речь или, правильнее сказать, бесхитростное просторечие и изложение, не признающее ни полагающейся дефиниции, ни правильного членения, ни заключения, путаное и нескладное, вроде речей Амафания и Рабирия.¹⁴ Я не умею ни угождать, ни веселить, ни подстрекать воображение. Лучший в мире рассказ становится под моим пером сухим, выжатым и безнадежно тускнеет. Я умею говорить только о том, что продумано мною заранее, и я начисто лишен той способности, которую замечаю у многих моих собратьев по ремеслу и которая состоит в умении заводить разговор с первым встречным, держать в напряжении целую толпу людей или развлекать без усталости слух государя, болтая о всякой всячине, и при этом не испытывать недостатка в темах для разглагольствования — поскольку люди этого сорта ухватываются за первую подвернувшуюся им, — приспособлявая эти темы к настроениям и уровню тех, с кем приходится иметь дело. Принцы не любят серьезных бесед, а я не люблю побасенок. Я не умею приводить первые пришедшие в голову и наиболее доступные доводы, которые и бывают обычно самыми убедительными; о каком бы предмете я ни высказывался, я охотнее всего вспоминаю наиболее сложное из всего, что знаю о нем. Цицерон считает, что в философских трактатах наиболее трудная часть — вступление.¹⁵ Прав он или нет, для меня лично самое трудное — заключение. И вообще говоря, нужно уметь отпускать струны до любого потребного тона. Наиболее высокий — это как раз тот, который реже всего употребляется при игре. Чтобы поднять легковесный предмет, требуется по меньшей мере столько же ловкости, сколько необходимо, чтобы не уронить тяжелый. Иногда следует лишь поверхностно касаться вещей, а иной раз, наоборот, надлежит углубляться в них. Мне хорошо известно, что большинству свойственно копошиться у самой земли, поскольку люди, как правило, познают вещи по их внешнему облику, по облегавшей их коре, но я знаю также и то, что величайшие мастера, и среди них Ксенофонт и Платон, снисходили нередко к низменной и простонародной манере говорить и обсуждать самые разнообразные вещи, украшая ее изяществом, которое свойственно им во всем.

Впрочем, язык мой не отличается ни простотой, ни плавностью; он шероховат и небрежен, у него есть свои вольные прихоти, которые не в ладу с правилами; но каков бы он ни был, он все же нравится мне, если и не по убеждению моего разума, то по душевной склонности. Однако я хорошо чувствую, что иной раз захожу, пожалуй, чересчур далеко и, желая избежать ходульности и искусственности, попадаю в другую крайность;

brevis esse laboro,
Obscurus fio.¹⁶

Платон говорит,¹⁷ что многословие или краткость не являются свойствами, повышающими или снижающими достоинства языка. Отмечу, что всякий раз, когда я пробовал держаться чуждого мне стиля, а именно ровного, единообразного и упорядоченного, я всегда терпел неудачу. И добавлю, что хотя каденции и цезуры Саллюстия¹⁸ мне более по душе, я все же считаю Цезаря и более великим и менее доступным для подражания. И если мои склонности влекут меня скорее к воспроизведению стиля Сенеки, то это не препятствует мне гораздо выше ценить стиль Плутарха. Как в поступках, так и в речах я следую, не мудрствуя, своим естественным побуждениям, откуда и происходит, быть может, то, что я говорю лучше, чем пишу. Деятельность и движение воодушевляют слова, в особенности у тех, кто подвержен внезапным порывам, что свойственно мне, и с легкостью воспламеняется; поза, лицо, голос, одежда и настроение духа могут придать значительность тем вещам, которые сами по себе лишены ее, — и даже пустой болтовне. Мессала у Тацита¹⁹ жалуется на то, что узкие одеяния, принятые в его время, а также устройство помоста, с которого выступали ораторы, немало вредили его красноречию.

Мой французский язык сильно испорчен и в смысле произношения и во всех других отношениях варварством той области, где я вырос; я не знаю в наших краях ни одного человека, который не чувствовал бы сам своего косноязычия и не продолжал бы тем не менее оскорблять им чисто французские уши. И это не оттого, что я так уж силен в своем перигорском наречии, ибо я сведущ в нем не более,

чем в немецком языке, о чем нисколько не горюю. Это наречие, как и другие, распространенные вокруг в той или иной области, — как например пуатуское, сентонжское, ангулемское, лимузинское, овернское — тягучее, вялое, путаное; впрочем, повыше нас, ближе к горам, существует еще гасконская речь, которая, на мой взгляд, выразительная, точная, краткая, поистине прекрасная; это язык действительно мужественный и военный в большей мере, чем какой-либо другой из доступных моему пониманию, язык настолько же складный, могучий и точный, насколько изящен, тонок и богат французский язык.

Что до латыни, которая в детстве была для меня родным языком,²⁰ то, отвыкнув употреблять ее в живой речи, я утратил беглость, с какою некогда говорил на ней; больше того, я отвык и писать полатыни, а ведь в былое время я владел ею с таким совершенством, что меня прозвали «учителем Жаном». Вот как мало стою я и с этой стороны.

Красота — великая сила в человеческих отношениях; это она прежде всего остального привлекает людей друг к другу, и нет человека, сколь бы диким и хмурым он ни был, который не почувствовал бы себя в той или иной мере задетым ее прелестью. Плоть составляет значительную часть нашего существа, и ей принадлежит в нем исключительно важное место.²¹ Вот почему ее сложение и особенности заслуженно являются предметом самого пристального внимания. Кто хочет разъединить главнейшие составляющие нас части и отделить одну из них от другой, те глубоко неправы; напротив, их нужно связать тесными узами и объединить в одно целое; необходимо повелеть нашему духу, чтобы он не замыкался в себе самом, не презирал и не оставлял в одиночестве нашу плоть (а он и не мог бы сделать этого иначе, как из смешного притворства), но сливался с нею в тесном объятии, пекся о ней, помогал ей во всем, наблюдал за нею, направлял ее своими советами, поддерживал, возвращал на правильный путь, когда она с него уклоняется, короче говоря, вступил с нею в брак и был ей верным супругом, так чтобы в их действиях не было разнобоя, но напротив, чтобы они были неизменно едиными и согласными.

Христиане имеют особое наставление относительно этой связи, ибо они знают, что правосудие господне предполагает это единение и сплетение тела и души настолько тесным, что и тело, вместе с душой, обрекает на вечные муки или вечное блаженство; они знают также, что бог видит все дела каждого человека и хочет, чтобы он во всей своей цельности получал по заслугам своим либо кару, либо награду.

Школа перипатетиков, из всех философских школ наиболее человеческая, приписывала мудрости одну единственную заботу, а именно — печься об общем благе этих обеих живущих совместно жизнью частей нашего существа и обеспечивать им это благо. Перипатетики полагали, что прочие школы, недостаточно углубленно занимаясь рассмотрением вопроса об этом совместном существовании, в равной мере впадали в ошибку, уделяя все свое внимание, одни — телу, другие — душе, и упуская из виду свой предмет, человека, и ту, кого они, вообще говоря, признают своей наставницей, то есть природу. Весьма возможно, что преимущество, даруемое нам природой в виде красоты, и повело к первым отличиям между людьми и к тому неравенству среди них, из которого и выросло преобладание одних над другими:

agros divisere atque dedere
Pro facie cuiusque, et viribus ingenioque:
Nam facies multum valuit viresque virebant.²²

Что до меня, то я немного ниже среднего роста. Этот недостаток не только вредит красоте человека, но и создает неудобство для всех тех, кому суждено быть военачальниками и вообще занимать высокие должности, ибо авторитетность, придаваемая красивой внешностью и телесной величавостью, — далеко не последняя вещь. Гай Марий²³ с большой неохотой принимал в свою армию солдат ростом менее шести футов. «Придворный»²⁴ имеет все основания высказывать пожелание, чтобы дворянин, которого он воспитывает, был скорее обычного роста, чем какого-либо иного; он прав также и в том, что не хочет видеть в нем ничего из ряда вон выходящего, что подавало бы повод указывать на него пальцем. Но если и нужна золотая

середина, то в случае необходимости выбора между отклонениями в ту или другую сторону я предпочел бы — если бы дело шло о человеке военном, — чтобы он был скорее выше, чем ниже, среднего роста. Люди низкого роста, говорит Аристотель,²⁵ могут быть очень милосердными, но красивыми они никогда не бывают; в человеке большого роста мы видим большую душу, как в большом, рослом теле — настоящую красоту. Индийцы и эфиопы, говорит тот же автор,²⁶ избирая своих царей и правителей, обращали внимание на красоту и высокий рост избираемых. И они были правы, ибо, если во главе войска находится вождь могучего и прекрасного телосложения, его почитают те, кто идет за ним, и страшатся враги:

Ipse inter primos praestanti corpore Turnus
Vertitur, arma tenens, et toto vertice supra est.²⁷

Наш великий, божественный и небесный царь, каждая мысль которого должна быть тщательно, благочестиво и благоговейно принимается нами, не пренебрег телесной красотой: *speciosus forma prae filiis hominum.*²⁸

Также и Платон наряду с умеренностью и твердостью требует от блюстителей своего государства обладания красивой наружностью.²⁹ Чрезвычайно досадно, если, видя вас среди ваших людей, к вам обращают вопрос: «А где же ваш господин?», и если на вашу долю приходится лишь остатки поклонов, расточаемых вашему цирюльнику или секретарю, как это случилось с беднягой Филопеменом.³⁰ Однажды он прибыл раньше сопровождавших его в том дом, где его ожидали, и хозяйка, не зная его в лицо и видя, до чего он невзрачен собой, велела ему помочь служанкам натаскать воду и разжечь огонь, чтобы услужить Филопемenu. Лица, состоявшие в его свите, прибыв туда и застав его за этим приятным занятием, — ибо он счел необходимым повиноваться полученному им приказанию — спросили его, что он делает. «Я расплачиваюсь, — сказал он в ответ, — за мое уродство». Красота всех частей тела нужна женщине, но красота стана — единственная, необходимая мужчине. Там, где налицо малый рост, там ни ширина и выпуклость лба, ни белизна глазного белка и приветливость взгляда, ни изящная форма носа, ни небольшие

размеры рта и ушей, ни ровные и белые зубы, ни равномерная густота каштановой бороды, ни красота ее и усов, ни округлая голова, ни свежий цвет лица, ни благообразие черт его, ни отсутствие дурного запаха, исходящего от тела, ни пропорциональность частей его не в состоянии сделать мужчину красивым.

В остальном я сложения крепкого и, что называется, ладно скроенный; лицо у меня не то чтобы жирное, но достаточно полное; темперамент — нечто среднее между жизнерадостным и меланхолическим, наполовину сангвинник, наполовину холерик:

Unde rigent setis mihi crura, et pectora villis;³¹

здоровье у меня крепкое, и я неизменно чувствую себя бодрым и, хотя я уже в годах, меня редко мучили болезни. Таким, впрочем, я был до сих пор, ибо теперь, когда, перейдя порог сорока лет, я ступил уже на тропу, ведущую к старости, я больше не считаю себя таковым:

minutatim vires et robur adultum
Frangit, et in partem peiorem liquitur aetas.³²

То, что ожидает меня в дальнейшем, будет не более чем существованием наполовину; это буду уже не я: что ни день, я все дальше и дальше ухожу от себя и обкрадываю себя самого:

Singula de nobis anni praedantur euntes.³³

Что до ловкости и до живости, то их я никогда не знал за собой. Я — сын отца, поразительно живого и сохранявшего бодрость вплоть до глубокой старости. И не было человека его круга и положения, который мог бы сравниться с ним в телесных упражнениях разного рода, в чем бы они ни состояли, точно так же как не было человека, который не превзошел бы меня в этом деле. Исключение составляет, пожалуй, лишь один бег: тут я был в числе средних. Что касается музыки, то ни пению, к которому я оказался совершенно неспособен, ни игре на каком-либо инструменте меня так и не смогли обучить. В танцах, игре в мяч, борьбе я никогда не достигал ничего большего, чем самой что ни на есть заурядной посредственности. Ну а в плаванье, искусстве верховой езды и прыжках я и вовсе ничего не до-

стиг. Руки мои до того неловки, неуклюжи, что я не в состоянии сколько-нибудь прилично писать даже для себя самого, и случается, что, нацарапав кое-как что-нибудь, я предпочитаю написать то же самое заново, чем разбирать и исправлять свою мазню. Да и читаю вслух я несколько не лучше: я чувствую, что усыпляю слушателей. Словом, я великий грамотей! Я не умею правильно запечатать письмо и никогда не умел чинить перья; не умел я также ни подобающим образом пользоваться ножом за едой, ни взнуздывать и седлать лошадь, ни носить на руке и спускать сокола, ни разговаривать с собаками, ловчими птицами и лошадьми. Моим телесным свойствам соответствуют в общем и свойства моей души. Моим чувствам так же неведома настоящая живость, они также отличаются лишь силой и стойкостью. Я выносив и легко переношу всякого рода тяготы, но выносив я только тогда, когда считаю это необходимым, и только до тех пор, пока меня побуждает к этому мое собственное желание,

Molliter austerum studio fallente laborem.³⁴

Иначе говоря, если меня не манит предвкушаемое мной удовольствие и если мной руководит нечто другое, а не моя собственная свободная воля, я ничего не стою, ибо я таков, что, помимо здоровья и жизни, нет ни одной вещи на свете, ради которой я стал бы грызть себе ногти и которую готов был бы купить ценою душевных мук и насилия над собой,

tanti mihi non sit opaci
Omnis arena Tagi, quodque in mare volvitur aurum.³⁵

До крайности ленивый, до крайности любящий свободу и по своему характеру и по убеждению, я охотнее отдам свою кровь, чем лишней раз пошевелю бровью. Душа моя жаждет свободы и принадлежит лишь себе и никому больше; она привыкла распоряжаться собой по собственному усмотрению. Не зная над собой до этого часа ни начальства, ни навязанного мне господина, я беспрепятственно шел по избранному мной пути, и притом тем шагом, который мне нравился. Это меня изнежило и сделало непригодным к службе другому.

У меня не было никакой нужды насиловать мой характер — мою тяжеловесность, любовь к праздности и безделью, — ибо, оказавшись со дня рождения на такой ступени благополучия, что я счел возможным остановиться на ней, и на такой ступени здравомыслия, что это оказалось возможным, я ничего не искал и ничего не обрел:

Non agimur tumidis velis Aquilone secundo,
Non tamen adversis aetatem ducimus Austris:
Viribus, ingenio, specie, virtute, loco, re,
Extremi primorum, extremis usque priores.³⁶

Я нуждался для этого лишь в одном — в способности довольствоваться своей судьбой, то есть в таком душевном состоянии, которое, говоря по правде, вещь одинаково редкая среди людей всякого состояния и положения, но на практике чаще встречающаяся среди бедняков, чем среди людей состоятельных. И причина этого, надо полагать, заключается в том, что жажда обогащения, подобно всем другим страстям, владеющим человеком, становится более жгучей, когда человек уже испробовал, что такое богатство, чем тогда, когда он вовсе не знал его; а кроме того, добродетель умеренности встречается много реже, чем добродетель терпения. Я не нуждаюсь ни в чем, кроме того, чтобы мирно наслаждаться благами, вложенными мне в руки господом богом от неисповедимых щедрот его. Мне никогда не случалось нести какого-нибудь тягостного труда. Мне почти всегда приходилось заниматься лишь собственными делами; а если порою и доводилось брать на себя чужие дела, то соглашался я на это только с тем условием, что буду вести их в удобное для меня время и на мой собственный лад. Так оно и бывало в действительности, поскольку дела эти поручали мне люди, исполненные ко мне доверия, знавшие, что я представляю собой и не толкавшие меня в спину. Ведь люди умелые извлекают кое-какую пользу даже из строптивой и норовистой лошади.

Даже мое детство протекало в условиях исключительно благоприятных и нестеснительных: ему было совершенно неведомо строгое подчинение чужой воле. Все это, вместе взятое, воспитало во мне мягкость характера и сделало меня неустойчивым пред лицом не-

приятностей, и я неизменно бываю рад, когда от меня скрывают мои убытки и неполадки в хозяйстве, способные задеть меня за живое. В графу моих расходов я вношу также и то, что, по моей нерадивости, было истрачено лишнего на прокорм и содержание моих слуг:

haec nempe supersunt,
Quae dominum fallant, quae prosint furibus.³⁷

Я предпочитаю не вести счет тому, что имею, лишь бы не быть в точности осведомленным о понесенных мною убытках; и я прошу тех, кто живет вместе со мной, чтобы в тех случаях, когда они не испытывают ко мне чувства признательности и обманывают меня, они делали это, хороня концы в воду. Не располагая достаточной твердостью, чтобы выносить докучливую возню с различными, обступающими нас со всех сторон заботами, и не умея постоянно напрягать свою волю, чтобы устраивать и улаживать мои дела так, как мне того бы хотелось, я, полагаясь во всем на судьбу, укрепил в себе, насколько это было для меня достижимо, следующее правило: «Ожидать всего самого худшего и, в случае если это худшее грянет, мужественно переносить его с кротостью и терпением». Только к этому я и стремлюсь, и именно к этому клонят все мои рассуждения.

Когда мне угрожает опасность, я думаю не столько о том, как избежать ее, сколько о том, до чего, в сущности, неважно, удастся ли мне ее избежать. Ну а если она настигнет меня, что из этого? Не располагая возможностью воздействовать на события, я действую на себя самого, и я покорно иду за ними, раз не могу заставить их идти за собой. Я никогда не был искусен в том, чтобы отводить от себя удары судьбы, уклоняться от них или заставлять ее силой делать угодное мне, как никогда не умел также устраивать свои дела подобающим образом, руководствуясь голосом благоразумия. Еще в меньшей мере я обладаю выносливостью, чтобы смиряться с мучительными и тягостными заботами, которые необходимы для этого. И наиболее мучительное для меня состояние — это пребывать в обстоятельствах, которые нависают надо мной и теснят меня, а также метаться между надеждой и страхом.

Долго раздумывать над каким-либо делом, хотя бы самым пустячным, — занятие, для меня совершенно несносное, и я ощущаю мой ум подавленным неизмеримо сильнее, когда ему приходится претерпевать шатания и толчки, порождаемые неуверенностью и сомнениями, чем когда, свободный от колебаний, он принимает, полагаясь на счастье, то или иное окончательное решение, в чем бы оно ни состояло. Лишь немногие страсти нарушали мой сон, но что до раздумий, то даже самое легкое безнадежно расстраивает его. Точно так же я не люблю покатых и скользких обочин дороги, а охотнее всего пользуюсь ее самой наезжанной частью, хотя она и наиболее грязная и наиболее вязкая, ибо, стремясь к безопасности, я могу быть уверен, что отсюда я уже никуда не свалюсь. Равным образом я предпочитаю явные бедствия, ибо тут по крайней мере меня не томит неизвестность — пройдут ли они стороной или нет; лучше уж пусть судьба одним махом ввергнет меня в страдание:

*dubia plus torquent mala.*³⁶

Когда приходит беда, я встречаю ее как подобает мужчине, но во всех иных обстоятельствах я веду себя как суший младенец. Страх перед возможным падением причиняет мне более пагубную горячку, чем та, которую может причинить самый ушиб. Игра не стоит свеч. Скупцу его страсть доставляет мучения, которых не знает бедняк, а ревнивцу его страсть — муки, неизвестные рогоносцу. И нередко меньшее зло потерять виноградник, чем тягаться из-за него в суде.

Самая низкая ступенька — самая прочная: она — основа устойчивости всей лестницы. Стоя на ней, можно ни о чем не тревожиться; будучи вделана накрепко, она служит опорой всему остальному. Не содержит ли в себе нечто философское следующий пример, явленный нам одним дворянином, пользовавшимся в свое время широкой известностью. Он женился уже в летах, проведя молодость изрядным повесой. Это был мастак поболтать и большой пересмешник. Вспоминная, сколь удобной мишенью были для него рогоносцы и как часто он потешался над ними, этот дворянин, дабы оградить себя от того же, взял в жены женщину, которую подцепил в таком месте, где каждый

мог иметь ее за свои деньги, и они начали совместную жизнь, обменявшись такими приветствиями: «Добрый день, потаскушка», «Добрый день, рогоносец». И ни о чем он чаще и откровеннее не беседовал со своими гостями, как о причинах, побудивших его жениться на этой особе. Благодаря этому он обуздывал шедшие за его спиной пересуды насмешников и отводил от себя острие попреков этого рода.

Что касается честолюбия, которое — ближайший сосед самомнению или, скорее, дитя его, то для того, чтобы раскалить во мне эту страсть, пришлось бы, пожалуй, самому счастью схватить меня за руку. Ибо навязать ради зыбкой надежды заботу на шею и подвергать себя бесчисленным тяготам, неизбежным вначале для всякого, кто жаждет возвыситься над другими, — нет, это отнюдь не по мне:

*semper pretio non emo.*³⁹

Я цепляюсь за то, что явственно вижу и чем обладаю, и никогда не удаляюсь от моей гавани,

*Alter remus aquas, alter tibi radat arenas.*⁴⁰

И к тому же, мало кому удается достигнуть чего-нибудь, не рискуя предварительно своим кровным добром; и я считаю, что если его достаточно, чтобы поддерживать свое существование в тех же условиях, в каких ты родился и вырос, то совершеннейшее безумие терять то, что имеешь, в шатком расчете на возможность приобрести большее. Тому, кому судьба отказала в местечке, на которое он мог бы поставить ногу и обеспечить себе спокойную и беззаботную жизнь, тому простительно рисковать тем, чем он владеет, поскольку так ли, иначе ли, а нужда все равно заставит его пуститься в погоню за счастьем.

*Capienda rebus in malis praeceps via est.*⁴¹

И я скорее готов оправдать младшего сына, бросающего на ветер свою законную долю,⁴² чем старшего, который, являясь блюстителем чести своего рода, сам доводит себя до разорения.

Руководствуясь советами моих добрых друзей минувших времен, я нашел самый прямой и легкий путь, чтобы избавиться от подобных желаний и оставаться невозмутимо спокойным, —

Cui sit conditio dulcis sine pulvere palmae,⁴³ —

имея достаточно трезвое представление о своих силах, понимая, что на бóльшие дела их не хватит, и храня в памяти слова покойного канцлера Оливье, говорившего, «что французы похожи на обезьян, которые взбираются по деревьям, перескакивая с ветки на ветку, и успокаиваются только тогда, когда добравшись до самой верхушки, показывают оттуда свои зады».

Turpe est, quod nequeas, capiti committere pondus,
Et pressum inflexo mox dare terga genu.⁴⁴

Даже те черты моего характера, которые, вообще говоря, нельзя назвать плохими, в наш век, по-моему, ни к чему. Свойственные мне уступчивость и покладистость назовут, разумеется, слабостью и малодушием; честность и совесть найдут нелепую щепетильностью и предрассудком; искренность и свободолюбие будут сочтены несносными, неразумными, дерзкими. Но нет худа без добра! Неплохо родиться в испорченный век, ибо по сравнению с другими вы без больших затрат сможете сойти за воплощение добродетели. Кто не прикончил отца и не грабил церквей, тот уже человек порядочный и отменной честности.⁴⁵

Nunc si depositum non infitiatu amicus,
Si reddat veterem cum tota aerugine follem,
Prodigiosa fides et Tuscis digna libellis,
Quaeque coronata lustrari debeat agna.⁴⁶

Не было еще такой страны и такого века, когда бы властители могли рассчитывать на столь несомненную и столь глубокую признательность в отплату за их милости и их справедливость. Первый из них, кто догадается искать народной любви и славы на этом пути, тот — или я сильно ошибаюсь — намного опередит своих державных товарищей. Сила и принуждение кое-что значат, однако не всегда и отнюдь не во всем.

Купцы, сельские судьи, ремесленники, как мы легко можем убедиться, нисколько не уступают дворянам ни в доблести, ни в знании военного дела: ⁴⁷ они славно бьются на поле чести как в общих сражениях, так и в отдельных стычках; они дерутся в открытом поле и отстаивают города в наших нынешних гражданских войнах. Среди этой сумятицы государь лишается своего ореола славы. Так пусть же он возблестает своей человечностью, правдивостью, прямою, умеренностью и прежде всего справедливостью — чертами, в наши дни редкими, неведомыми, гонимыми. Лишь добрые чувства народов могут доставить ему возможность свершать значительные деяния, и никакие другие качества не в состоянии снискать ему эти добрые чувства, ибо именно эти качества наиболее полезны для подданных.

*Nihil est tam popolare, quam bonitas.*⁴⁸

Сопоставляя себя с людьми моего времени, я готов находить в себе нечто значительное и редкостное, подобно тому как я кажусь себе пигмеем и самой обыденной личностью, сопоставляя себя с людьми неких минувших веков, когда было вещь самою что ни на есть обычною — если к этому не присоединялись другие более похвальные качества — видеть людей умеренных в жажде мести, снисходительных по отношению к тем, кто нанес им оскорбление, неукоснительных в соблюдении данного ими слова, не двуличных, не податливых, не приспособляющих своих взглядов к воле другого и к изменчивым обстоятельствам. Я скорее предпочту, чтобы все мои дела пошли прахом, чем поступлюсь убеждениями ради своего успеха, ибо эту новомодную добродетель притворства и лицемерия я ненавижу самой лютой ненавистью, а из всех возможных пороков не знаю другого, который с такой же очевидностью уличал бы в подлости и низости человеческие сердца. Это повадки раба и труса — скрываться и прятаться под личиной, не осмеливаясь показаться перед нами таким, каков ты в действительности. Этим путем наши современники приучают себя к вероломству. Будучи вынуждены к лживым посулам и обещаниям, они не испытывают ни малейших укоров совести, пренебрегая их исполнением. Благородное сердце не должно таить свои побуждения. Оно хочет, чтобы его

видели до самых глубин; в нем все хорошо или, по меньшей мере, все человечно.

Аристотель считает,⁴⁹ что душевное величие заключается в том, чтобы одинаково открыто выказывать и ненависть, и любовь, чтобы судить и говорить о чем бы то ни было с полнейшей искренностью и, ценя истину превыше всего, не обращать внимания на одобрения и порицания, исходящие от других. Аполлоний сказал,⁵⁰ что ложь — это удел раба, свободным же людям подобает говорить голую правду.

Первое и основное правило добродетели: ее нужно любить ради нее самой. Тот, кто говорит правду потому, что в силу каких-то посторонних причин вынужден к этому, или потому, что так для него полезнее, и кто не боится лгать, когда это вполне безопасно, того нельзя назвать человеком вполне правдивым. Моя душа, по своему складу, чуждается лжи и испытывает отвращение при одной мысли о ней; я сгораю от внутреннего стыда, и меня точит совесть, если порой у меня вырывается ложь, а это иногда все же бывает, когда меня неожиданно увлекают за собой обстоятельства, не дающие мне опомниться и осмотреться.

Вовсе не требуется всегда говорить полностью то, что думаешь, — это было бы глупостью, но все что бы ты ни сказал, должно отвечать твоим мыслям; в противном случае это — злостный обман. Я не знаю, какой выгоды ждут для себя те, кто без конца лжет и притворяется; на мой взгляд, единственное, что их ожидает, так это то, что, если даже им случится сказать правду, им все равно никто не поверит. Ведь с помощью лжи можно обмануть людей разок, другой, но превращать в ремесло свое притворство и похвалиться им, как это делают иные из наших властителей, утверждавшие, что «швырнули б свою рубаху в огонь, если б она была осведомлена об их истинных помыслах и намерениях»⁵¹ (что было сказано одним древним, а именно Метеллом Македонским),⁵² или утверждать во всеуслышание, что «кто не умеет как следует притворяться, тот не умеет и царствовать»,⁵³ — это значит заранее предупреждать тех, кому предстоит иметь с ними дело, что всякое слово, слетевшее с уст подобных властителей, не что иное, как ложь и обман. Quo quis

versutior et callidior est, hoc invisior et suspectior, detracta opinione probitatis.⁵⁴ И надо быть уж очень большим простаком, чтобы дать одурачить себя посредством слов или выражения лица человеку, который подобно Тиберию⁵⁵ поставил себе за правило не быть одинаковым в душе и наружно; и я не знаю, на что, собственно, могут рассчитывать такие люди в сношениях с другими людьми, раз все, что бы ни исходило от них, не принимается за чистую монету. Кто бесчестен в отношении правды, тот таков же и в отношении лжи.

Те, кто уже в наше время в своих рассуждениях об обязанностях монарха толкуют только о способах извлечения выгоды при ведении им своих дел и пренебрегают при этом заботой о сохранении им добропорядочности и незапятнанной совести,⁵⁶ быть может, и говорят кое-что дельное, но их советы пригодны лишь тому из монархов, дела которого устроены судьбой таким образом, что он может одним махом, раз и навсегда уладить их путем коварного нарушения своего слова. Но в действительности этого не бывает, ибо к уловкам такого рода государи прибегают постоянно: ведь не раз приходится заключать мир или какой-нибудь договор. Выгода — вот что толкает их на первую нечестность, — та выгода, которая манит людей на всякого рода злодейства, как например святотатство, убийства, мятежи и предательства, всегда предпринимаемые в каких-либо корыстных целях. Но эта первая выгода влечет за собой бесчисленные невыгоды, поскольку, показав образец своего вероломства, такой монарх сразу нарушает добрые отношения с другими монархами и теряет возможность вступать с ними в какие бы то ни было соглашения. Сулейман,⁵⁷ государь оттоманской династии, не очень-то щепетильной в соблюдении обещаний и договоров, вступив в дни моего детства⁵⁸ со своим войском в Отранто и узнав, что Меркурин де Гратинаро и обитатели Кастро, сдав эту крепость, задерживаются, вопреки условиям сдачи, заключенным с ними его людьми, в качестве пленных, повелев возвратить им свободу, ибо, задумав предпринять в этой стране другие значительные дела, он полагал, что эта бесчестность, хотя на первый взгляд она и казалась полезной, может навлечь на него дурную славу и недоверие, чреватые неисчислимыми бедами.⁵⁹

Я со своей стороны предпочитаю быть скорее докучным и нескромным, чем льстецом и притворщиком. Готов признать, что когда держишься с такою искренностью и прямою, невзирая на лица, как это свойственно мне, то тут, быть может, примешивается также чуточку гордости и упрямства, и мне кажется, что я веду себя с большей непринужденностью именно там, где это меньше всего подобает, и что путы, налагаемые на меня необходимостью быть почтительным, горячат мою кровь. Впрочем, возможно и то, что я, по своей простоте, следую в этих случаях за своею природой. Позволяя себе в общении с властью имущими такую же вольность в речах и жестах, как если бы я имел дело с моими домашними, я очень хорошо понимаю, до чего это похоже на нескромность и неучтивость. Но, помимо того, что я создан таким, я не обладаю достаточно гибким умом, чтобы вилять при поставленном мне прямо вопросе и уклоняться от него при помощи какого-нибудь ловкого хода или исказить истину, как не обладаю также и достаточной памятью, чтобы удерживать в голове, каким образом эта истина была мною искажена, или уверенностью, чтобы упорно стоять на своем: короче говоря, я храбр от слабости. Вот почему я решаюсь уж лучше быть непосредственным и почитаю необходимым неизменно говорить то, что думаю, и я поступаю таким образом как в силу моего душевного склада, так и на основании здравого размышления, предоставляя судьбе делать со мною все, что ей будет угодно. Аристипп говорил, что главная польза, извлеченная им из философии, это то, что благодаря ей он научился говорить свободно и откровенно со всяким.⁶⁰

Поразительные и бесценные услуги оказывает нам память, и без нее наш ум почти бессилён. Я, однако, лишен ее начисто. Если мне хотят что-нибудь изложить, необходимо, чтобы это делали по частям, ибо ответить на речь, в которой содержится много различных разделов, — это мне не по силам, и я не сумел бы выполнить ни одного поручения, не располагая записной досочкой.⁶¹ И если мне требуется произнести сколько-нибудь значительную и длинную речь, я вынужден прибегать к убогой и жалкой необходимости выучивать наизусть, слово за словом, все, что я должен сказать; в противном

случае я не смогу держаться подобающим образом и не буду обладать должной уверенностью в себе, испытывая все время страх, как бы моя слабая память не подвела меня. Но этот способ для меня несколько не легче; три стиха я учу три часа, и затем, когда имеешь дело с собственным сочинением, то свойственная автору свобода, с какой можешь делать перестановки, заменять те или иные слова, вносить новое в содержание, приводит к тому, что вещи этого рода хуже укладываются в памяти. И чем большим недоверием я к ней проникаю, тем больше она мне изменяет; она служит мне много лучше, когда я о ней вовсе не думаю. Нужно, чтобы я увещевал ее без нажима, ибо, когда я на нее наседаю, она начинает сдавать, а если уж она начала спотыкаться, то чем больше я понуждаю ее, тем больше она хромает и путается; она служит мне в свой час, а не в тот, когда нужна мне.

Все, что я замечаю в себе по части памяти, я замечаю и относительно многого другого: я не выношу подчинения, обязательств и насилия над собой. То, что я делаю легко и естественно, того мне больше не сделать, начни я побуждать себя к этому настойчивыми и властными понуканиями. То же самое могу я сказать и о моем теле, члены которого, если они обладают хоть малейшей свободой и возможностью распоряжаться собой, отказывают мне порою в повиновении, когда я заранее предписываю им обслужить меня в определенных обстоятельствах и в определенный час. Это наперед отданное им приказание, твердое и властное, внушает им отвращение: они сжимаются от страха или неудовольствия и цепенеют.

Однажды, находясь в таком месте, где считалось варварской неучтивостью не отвечать согласием всякому приглашающему вас выпить, я попытался — хотя мне и была предоставлена свобода поступать по своему усмотрению — вести себя в угоду присутствовавшим при этом, согласно тамошним обычаям, дамам, как подобает доброму собутыльнику, но тут со мной случилось нечто весьма забавное: эта угроза и приготовления к тому, чтобы пить сверх обычной и моей естественной меры, заткнули мне глотку, и до того наглухо, что я так и не смог проглотить ни капли, лишив себя даже того, что привык выпивать за обедом: я чувствовал себя пьяным и

пресыщенным той выпивкой, которой было полно мое воображение. Это явление отчетливее всего наблюдается у людей, наделенных могучим и необузданным воображением, но оно все же естественно, и нет ни одного человека, который не был бы в той или иной мере подвержен ему. Один превосходный лучник был приговорен к смерти; ему предложили помилование с условием, что он должен сделать какой-то особенно ловкий выстрел и тем самым дать доказательство своего замечательного искусства. Он не пожелал, однако, подвергнуться этому испытанию, опасаясь, что от чрезмерного напряжения воли рука его дрогнет и, вместо того чтобы спасти себя, он утратит славу, завоеванную им меткой стрельбой. Человек, который часто прогуливается в одном и том же месте, углубившись в свои мысли, обязательно покроет одинаковое расстояние в точности одним и тем же количеством шагов всякий раз того же размера; но если бы он стал отсчитывать и отмеривать свои шаги, оказалось бы, что он, прилагая все свои старания, никогда не проделает того, что ему удавалось проделывать естественно и без всяких усилий.

Моя библиотека, которая среди деревенских библиотек может считаться одной из лучших, расположена в дальнем конце моего дома. Когда мне приходит в голову навести в ней какую-нибудь справку или сделать выписку, то, опасаясь, как бы, пересекая двор, я не забыл того, за чем отправился, я бываю вынужден сообщить о своих намерениях кому-нибудь из домашних. Если я отважусь, выступая с речью, отклониться хоть на самую малость от моей путеводной нити, я непременно утрачу ее; вот почему в своих речах я крайне сук, сдержан и краток. И даже людей, находящихся у меня в услужении, мне приходится называть либо по занимаемой ими должности, либо по месту, откуда они родом, ибо мне чрезвычайно трудно запомнить их имена; я скорее скажу, что в таком-то имени три слога, что оно неблагозвучно, что оно начинается или заканчивается такой-то буквой. И если мне суждено порядочно еще прожить на свете, то я отнюдь не уверен, что не забуду своего имени, как это случалось с другими. Мессала Корвин на целых два года полностью утратил память; то же самое рассказывают и о Георгии

Трапезундском.⁶² И я нередко задумываюсь над тем, какова же была жизнь этих людей, а также располагал ли бы я хоть чем-нибудь для поддержания мало-мальски сносного существования, если бы также потерял память; и вникая глубже в этот вопрос, я начинаю побаиваться, что этот изъян, дойдя до крайних своих пределов, может сделать всякую душевную деятельность невозможной: *Memoria certe non modo philosophiam, sed omnis vitae usum omnesque artes una maxime continet.*⁶³

*Plenus rimarum sum, hac atque illac perfluo.*⁶⁴

Мне случалось не раз и не два забывать пароль, за три часа до того данный мною самим или полученный от кого-либо другого; случалось забывать и о том, куда я спрятал свой кошелек, что бы ни говорил на этот счет Цицерон.⁶⁵ Я помогаю себе терять то, за что держусь особенно цепко. Память есть склад и вместилище знаний, и, поскольку она у меня крайне слаба, я не имею никакого права сетовать на то, что решительно ничего, можно сказать, не знаю. Вообще говоря, я знаю названия всех наук и чем они занимаются, но дальше этого ничего не знаю. Я листаю книги, но вовсе не изучаю их; если что и остается в моей голове, то я больше уже не помню, что это чужое; и единственная польза, извлекаемая моим умом из таких занятий, это мысли и рассуждения, которые он при этом впитывает в себя. Что же касается автора, места, слов и всего прочего, то все это я сразу же забываю.

Я достиг такого совершенства в искусстве забывать все на свете, что даже собственные писания и сочинения забываю не хуже, чем все остальное; мне постоянно цитируют меня самого, и я этого не замечаю. Кто пожелал бы узнать, откуда взяты стихи и примеры, которые я нагромоздил здесь целыми кучами, тот привел бы меня в немалое замешательство, так как я не смог бы ответить ему. А между тем я собирал подавание лишь у дверей хорошо известных и знаменитых, не довольствуясь тем, чтобы оно было щедрым, но стремясь и к тому, чтобы оно исходило от руки неоскудевающей и почтенной, ибо мудрость тут сочетается с авторитетностью. И нет ничего удивительного, что моя книга разделяет судьбу всех других прочитанных мною книг и что в моей памяти с одинаковой легкостью изглажи-

вається как то, что написано мной, так и то, что мной прочитано, как то, что мной дано, так и то, что получено мной.

Помимо того, что у меня никуда негодная память, мне свойствен еще ряд других недостатков, немало содействующих моему невежеству. Ум мой неповоротлив и вял; малейшее облачко снижает его проницательность, так что, к примеру сказать, не было случая, чтобы я предложил ему какую-нибудь загадку, сколько бы несложной она ни была, и он разгадал бы ее; малейший пустяк, если он хоть немного замысловат, ставит его втупик. В играх, требующих сообразительности, как например шахматы, карты, шашки и тому подобное, я способен усвоить лишь самое основное. Я воспринимаю медленно и неотчетливо, но если мне все же удалось что-нибудь уловить, я удерживаю воспринятое во всей его полноте, постигнув его всесторонне, точно и глубоко, пока оно удерживается во мне. Зрение у меня острое, отчетливое и без недостатков, но при работе оно легко утомляется и начинает сдавать. По этой причине я не могу поддерживать длительное общение с книгами и вынужден прибегать к посторонней помощи. Плиний Младший мог бы поведать тем, кто не знаком с этим на опыте, сколь существенна эта помеха для всякого, предающегося подобным занятиям.⁶⁶

Не существует на свете души, сколь бы убогой и низменной она ни была, в которой не замечался бы проблеск какой-нибудь особой способности; и нет столь глубоко погребенной способности, чтобы она так или иначе не проявила себя. Каким образом получается, что душа, слепая и сонная во всем остальном, становится живой, прозорливой и возвышенной в каком-то частном своем проявлении, — за разъяснением этого надлежит обратиться к нашим учителям. Но истинно прекрасные души всеобъемлющи, открыты и готовы к познанию всего, что бы то ни было, и если они порой недостаточно просвещены, то для них во всяком случае не закрыта возможность стать просвещенными. Все это я говорю в укор моей собственной душе, ибо — то ли по своей немогущности, то ли по нерадивости (а относиться нерадиво к тому, что у нас под ногами, что в наших руках, что имеет непосредственное касательство к нашему повседневному обиходу, — это то, что я всегда осуждал в себе), — но она такова, что

не найти другой столь же бездарной и столь же невежественной в вещах самых обыденных и привычных, не знать которые просто стыд. Я хочу привести несколько примеров в подтверждение сказанного.

Я родился и вырос в деревне, среди земледельческих работ разного рода. У меня на руках дела и хозяйство, которые я веду с того дня, когда те, кто владел до меня всем тем, что теперь — моя собственность, уступили мне свое место. И все же я не умею считать ни в уме, ни на бумаге, не знаю большинства наших монет, и мне не под силу отличить один знак от другого ни в поле, ни в закроме, если различия между ними не так уж разительны; то же я должен сказать о капусте и салате в моем огороде. Я не разбираюсь в названиях наиболее необходимых в сельском хозяйстве орудий, и мне неведомы основы основ земледелия, известные даже детям. Еще меньше смыслом я в искусстве механики, в торговле, в различных товарах, в свойствах и сортах разнообразных плодов, вин, мяса, в натаскивании ловчих птиц, в лечении лошадей и собак. И чтобы окончательно посрамить себя, признаюсь, что не далее как месяц назад я был уличен в незнании, зачем нужны дрожжи при хлебопечении, и что означает, когда говорят, что вино нужно перебродить. В древних Афинах считали, что кто ловко укладывает и связывает вязанки валежника, тому свойственны математические способности;⁶⁷ обо мне конечно, вынесли бы суждение прямо противоположное этому. Будь у меня полная кухня припасов, я все равно голодал бы. По тем чертам моим, в которых я исповедался, нетрудно представить себе и другие, столь же нелестные для меня. Но каким бы я ни был в собственном изображении, если это изображение отвечает действительности, я могу считать мою цель достигнутой. И если я не приношу извинений, осмелившись изложить письменно вещи столь ничтожные и легковесные, то единственная причина, удерживающая меня от этого шага, — ничтожность предмета, которым я занимаюсь. Пусть меня порицают, если угодно, за этот мой замысел, но не за то, как он выполнен. Как бы то ни было, я и без указаний со стороны отчетливо вижу незначительность и малоценность всего сказанного мною по этому поводу, равно как и нелепость моих намерений, и это

доказывает, что мой ум, опыты которого — эти писания, еще не окончательно обессилен:

Nasutus sis usque licet, sis denique nasus,
 Quantum noluerit ferre rogatus Atlas,
 Et possis ipsum tu deridere Latinum,
 Non potes in nugas dicere plura meas,
 Ipse ego quam dixi: quid dentem dente iuvabit
 Rodere? carne opus est, si satur esse velis.
 Ne perdas operam: qui se mirantur, in illos
 Virus habe; nos haec novimus esse nihil.⁶⁸

Мне отнюдь не воспрещено говорить глупости, лишь бы я не обманывался насчет их настоящей цены; и впадать в ошибки сознательно — вещь для меня столь обычная, что я только так и впадаю в них; и я никогда не впадаю в них по вине случая. Сваливать вину за поступки нелепые, но маловажные, на безрассудство моего нрава — это сущие пустяки, раз я не могу, как правило, запретить себе сваливать на него вину и за поступки явно порочные.

Как-то в Бар-ле-Дюке в моем присутствии королю Франциску II поднесли портрет, присланный ему на память Рене, королем сицилийским, и исполненный им самим.⁶⁹ Почему же нельзя позволить и каждому рисовать себя самого пером и чернилами, подобно тому как этот король нарисовал себя с помощью карандаша? Не хочу умолять здесь и о гадком пятне, которое безобразит меня и в котором неловко признаваться во всеуслышание, а именно о нерешительности, представляющей собой недостаток, крайне обременительный в наших мирских делах. Мне трудно принять решение относительно той или иной вещи, если она, на мой взгляд, сомнительна:

Ne si, ne no, nel cor mi suona intero.⁷⁰

Я умею отстаивать определенные взгляды, но выбирать их — к этому я непригоден. Ведь в делах человеческих, к чему бы мы не склонялись, мы найдем множество доводов в пользу всякого мнения. Да и философ Хрисипп говорил,⁷¹ что он не хотел ничего перенимать у Зенона и Клеанфа, своих учителей, кроме самых общих их положений; что же касается оснований и доказательств, то он и сам мог

бы их найти в нужном количестве. Поэтому, в какую бы сторону я ни обратил свой взор, я всегда нахожу достаточно причин и весьма убедительных оснований, чтобы туда и устремиться. Таким образом, я пребываю в сомнении и сохраняю за собой свободу выбора, пока необходимость решиться не начинает теснить меня; тогда, говоря по правде, я чаще всего отдаюсь, как говорят, на волю течения и поручаю себя произволу судьбы; малейшая склонность и обстоятельства подхватывают и увлекают меня:

Dum in dubio est animus, paulo momento huc atque illuc impellitur.

Колебания моего разума в большинстве случаев настолько уравнивают друг друга, что я был бы непрочь предоставлять решение жребию или костям, и я отмечаю себе, в оправдание нашей человеческой слабости, оставленные нам самой священной историей примеры того же обычая отдавать на волю судьбы и случайности определение нашего выбора в том, что сомнительно: *sors cecidit super Mathiam*.⁷³ Разум человеческий — меч обоюдоострый и опасный. Взгляните-ка сами, о скольких концах эта палка даже в руках Сократа, ее наиболее близкого и верного друга! Итак, я пригоден только к тому, чтобы следовать за другими, и легко даю толпе увлечь меня за собой. Мое доверие к своим силам вовсе не таково, чтобы я мог решиться брать на себя командование и руководство, и мне больше по сердцу, чтобы тропа для моих шагов была проложена другими. Если нужно идти на риск, производя гадательный выбор, я предпочитаю следовать тому, кто более уверен в своих суждениях, нежели я, и чьим суждениям я верю больше, нежели своим собственным, основания и корни которых я нахожу весьма шаткими.

И все же я не очень люблю менять раз принятые мнения, поскольку в противных мнениях я обнаруживаю подобные же слабые места. *Ipsa consuetudo assentiendi periculosa esse videtur et lubrica*.⁷⁴ Особенно дела политические предоставляют широкий простор для всяких столкновений и раздоров:

*Iusta pari premitur veluti cum pondere libra
Prona, nec hac plus parte sedet, nec surgit ab illa.*⁷⁵

Рассуждения Макиавелли,⁷⁶ к примеру, были весьма обоснованы в отношении их предмета, и все же опровергнуть их не составляет большого труда; и рассуждения тех, кто сделали это, могут быть в свою очередь опровергнуты с не меньшей легкостью.⁷⁷ На тот или иной довод всегда найдется где почерпнуть ответный довод, на возражение — новое возражение, на ответ — новый ответ, и так далее и так далее, до бесконечности; и отсюда — нескончаемые словопрения, затягиваемые нашими кляузниками и крючкотворами до пределов возможного,

Caedimur, et totidem plagis consumimus hostem,⁷⁸

ибо всякое доказательство не имеет других оснований, кроме опыта, а многообразие дел человеческих снабжает нас бесчисленными примерами всякого рода. Один очень ученый человек нашего времени утверждает, что в наших календарях можно было бы свободно заменить все предсказания противоположными, вместо «зной» поставив «морозы», а вместо «великая сушь» — «дожди», и что любители биться об заклад могут с одинаковым успехом, не утруждая свой ум, делать ставку как на то, так и на другое, остерегаясь только утверждать вещи, заведомо невозможные, например, что будет зной на Рождество или что будут морозы в Иванову ночь. То же самое думаю я и о наших политических спорах; чью бы сторону вы ни взяли, ваша игра, если вы не нарушите первейших и очевидных основ, не хуже игры ваших противников; и все же, по моему разумению, в делах общественных нет ни одного столь дурного обыкновения, которое не было бы лучше, нежели перемены и новшества. Наши нравы до крайности испорчены, и они паразитическим образом клонятся к дальнейшему ухудшению; среди наших обычаев и законов много варварских и просто чудовищных; и тем не менее, учитывая трудности, сопряженные с приведением нас в лучшее состояние, и опасности, связанные с подобными потрясениями, — если бы только я мог задержать колесо нашей жизни и остановить его на той точке, где мы сейчас находимся, я бы сделал это очень охотно:

numquam adeo foedis adeoque pudendis
Utimur exemplis, ut non peiora supersint.⁷⁹

Худшее, на мой взгляд, в нашем нынешнем положении — это неустойчивость, это то, что наши законы, так же как наше платье, не могут закрепиться на чем-либо определенном. Чрезвычайно легко порицать пороки любого государственного устройства, ибо все, что брэнно, кишмя кишит ими; чрезвычайно легко зародить в народе презрение к старым нравам и правилам, и всякий, кто поставит перед собой эту цель, неизменно будет иметь успех; но установить вместо старого, уничтоженного государственного устройства новое и притом лучшее — на этом многие из числа предпринимавших такие попытки обламывали себе не раз зубы. В своем поведении я не руководствуюсь соображениями благоразумия; я попросту с готовностью подчиняюсь установленному в нашем мире общественному порядку. Счастлив народ, который, не тревожа себя размышлениями о причинах получаемых им приказаний, выполняет их лучше, чем те, кто приказывают ему, и который кротко отдается на волю кругооборота земных дел и небосвода. Кто мудрствует и спорит, тот никогда не оказывает безусловного и неукоснительного повиновения.

Короче говоря, если уж снова вернуться ко мне, единственное, за что я хоть сколько-нибудь ценю себя, так это только за то, в недостатке чего никогда не признался бы ни один человек: мое суждение о себе обыденно, свойственно решительно всем и старо, как мир, ибо кто же когда-нибудь думал, что ему не хватает ума? Такая мысль заключала бы в себе непримиримое противоречие. Глупость — болезнь, которой никогда не страдает тот, кто ее видит в себе: она очень упорна и, как правило, неизлечима, но достаточно одного пронизательного взгляда больного, обращенного им на себя самого, чтобы пробить ее толщу и избавиться от нее, как достаточно одного луча солнца, чтобы рассеять густой туман. Обвинять себя в этом случае значит отводить от себя всякое обвинение, осуждать себя значит выносить себе оправдательный приговор. Не бывало еще на свете такого крючника или девки, которые не считали бы, что их ума для них достаточно. Мы готовы признать за другими превосходство в отваге, телесной силе, опытности, ловкости, красоте, но превосходства в уме мы никому не уступим. Что же касается доводов, исходящих у любого другого человека от простого здравого смысла,

то нам кажется, что, взгляни мы на вещь с того же самого боку, и мы также не преминули бы наткнуться на них. Знания, стиль и прочие качества, обнаруживаемые нами в чужих сочинениях, мы легко замечаем, если они превосходят наши. Другое дело, проявления самой человеческой мысли: тут каждый думает, будто и он способен на то же, и ему нелегко понять их значительность и каких трудов они стоят, если между ними и им нет огромного, скажем прямо — гигантского расстояния. Но и в последнем случае он постигает это с большой неохотой. Кто ясно видит величие чужой мысли, тот и сам поднимается до того же уровня и возносит свою мысль на ту же самую высоту. Итак, это такого рода занятие, от которого нельзя ждать много чести и славы, и такой вид сочинительства, который не приносит громкого имени.

И наконец, для кого вы пишете? Ученые, которым подсудна всякая книга, не ценят ничего, кроме учености, и не признают никаких иных проявлений нашей умственной деятельности, кроме тех, которые свидетельствуют о начитанности и обширности всякого рода познаний. Если вы смешаете одного Сципиона с другим, то что стоящее внимания можете вы еще высказать? Кто незнаком с Аристотелем, тот, по их мнению, незнаком и с собой самим. Души обыденные и грубые не видят ни изящества, ни значительности в тонком и возвышенном рассуждении. Но ведь два этих разряда заполняют собой наш мир. Третий разряд, тот, которому вы, в сущности, и отдаете себя, — души чистые и сильные собственной силой, — настолько немногочислен, что не пользуется у нас, и вполне заслуженно, ни влиянием, ни известностью, и стремиться, и пытаться ему угодить — это наполовину потерянное время.

Обычно можно услышать, что, оделяя нас своими благами, природа справедливее всего поступила при распределении между нами ума, ибо нет никого, кто бы не довольствовался доставшейся ему долей. Не разумно ли это? Кто пожелал бы заглянуть дальше отведенного ему, тому пришлось бы преступить пределы возможностей своего зрения. Я считаю свои взгляды правильными и здоровыми, но кто же не считает такими и свои собственные? Одно из лучших доказательств этого — невысокая цена, которой я оцениваю себя. Ведь,

если бы мои взгляды не были достаточно твердыми, их могло бы ввести в заблуждение то чувство любви и привязанности, которое я испытываю к себе, чувство, и впрямь, исключительное, ибо я обращаю его почти целиком на себя и не растрачиваю на сторону. Все, что другие делают между целой кучей друзей и знакомых и отдают заботам о своей славе и своем возвеличении, я обращаю только на то, чтобы обеспечить спокойствие моему духу и мне, и если кое-что от меня все же уделяется посторонним, то это происходит отнюдь не по велению моего разума,

mihi nempe valere et vivere doctus.⁸⁰

Итак, что касается моих мыслей насчет себя, то они с бесконечной решительностью и столь же бесконечным упорством обвиняют меня в невежестве. Это и впрямь один из предметов, на котором я упражняю мой ум и чаще, и охотнее, чем на чем-либо другом. Люди обычно разглядывают друг друга, я же устремляю мой взгляд внутрь себя; я его погружаю туда, там я всячески тешу его. Всякий всматривается в то, что пред ним; я же всматриваюсь в себя. Я имею дело только с собой: я непрерывно созерцаю себя, проверяю, испытываю,

nemo in sese temptat descendere,⁸¹

а я — я верчусь внутри себя самого.

Этой способностью докапываться до истины — в сколь бы малой мере я такой способностью ни обладал, — равно как вольнолюбивым нежеланием отказываться от своих убеждений в угоду другим людям, я обязан главным образом себе самому, ибо наиболее устойчивые и общие мои взгляды родились, так сказать, вместе со мной: они у меня природные, они целиком мои. Я произвел их на свет сырыми и немудреными, и то, что я породил, было смелым и сильным, но несколько смутным и несовершенным; впоследствии я обосновал и укрепил эти взгляды, опираясь на тех, кто пользовался моим уважением, а также на безупречные образцы, оставленные нам древними, с которыми я сошелся в мнениях. Они-то и убедили меня в моей правоте, и благодаря им я придерживаюсь моих воззрений более сознательно и с большей твердостью.⁸²

Если всякий ждет похвалы за быстроту и живость ума, то я притязая на нее за его строгость, если — за какое-нибудь достойное быть отмеченным и выдающееся деяние или какую-либо исключительную способность, то я — за упорядоченность, согласованность и уравновешенность моих мнений и нравов. *Omnino si quidquam est decorum, nihil est profecto magis quam aequabilitas universae vitae, tum singularum actionum quam conservare non possis, si, aliorum naturam imitans, omittas tuam.*⁸³

Итак, вот до каких пределов я чувствую за собой вину в том, что, как я сказал выше, есть первое слагаемое порока, носящего название самомнения. Что до второго слагаемого, состоящего в чрезмерно низком мнении о других, то я, право, не знаю, удастся ли мне привести столь же убедительные доводы в свое оправдание. Впрочем, чего бы это ни стоило, решусь выложить все, каким оно мне представляется.

Возможно, что непрерывно поддерживаемое мной общение с мудростью древних и сложившийся во мне образ этих беспредельно богатых душ прошлого отвращают меня и от других, и от себя самого; быть может, мы и впрямь живем в век, неспособный создать что-либо возвышающееся над самой что ни на есть посредственностью, но так ли, иначе ли, а я не знаю ничего заслуживающего подлинного восхищения. Правда, я не знаю людей с такой доскональностью, которая необходима, чтобы иметь право судить о них; но те, с кем мое положение чаще всего сталкивает меня, те в большинстве своем являются лицами, не утруждающими себя чрезмерной заботой о просвещении своих душ; в их глазах наивысшее счастье — почести, и наивысшее совершенство — мужество.

Если я вижу в других нечто хорошее, я глубоко уважаю это хорошее и очень охотно хвалю его.

Нередко я даже преувеличиваю его ценность и говорю не совсем то, что думаю, позволяя себе небольшую ложь; однако выдумывать то, чего я не вижу в действительности, этого я решительно не умею. Я охотно сообщаю моим друзьям, что, по-моему, подлежит в них одобрению, и их достоинства в один фут длиной с готовностью растягиваю до полутора футов; но приписывать им те качества, которых

у них нет, этого я не могу, как не могу с пеной у рта защищать их недостатки.

Даже моим врагам и им я воздаю сполна то, что должен, по чести, воздать. Мои чувства могут меняться, но мои суждения — никогда; и я не примешиваю своей личной неприязни к тому, что не имеет прямого касательства к ней. Я так ревниво оберегаю свободу своего ума, что мне не так-то просто пожертвовать ею ради страсти, сколь бы неустойчивой она ни была.

Если я лгу, я оскорбляю себя в большей мере, чем того, о ком я солгал.

Рассказывают о следующем похвальном обычае у персов: они неизменно говорили о своих смертельных врагах, с которыми вели беспощадные войны, уважительно и соблюдая полную справедливость, так, как того заслуживала их доблесть.

Я знаю немало людей, обладающих различными замечательными чертами: кто остроумием, кто сердечностью, кто отвагой, кто чуткой совестью, кто красноречием, кто еще чем-либо другим, но человека великого в целом, совмещающего в себе столько отличных свойств или обладающего хотя бы одним из них, но в такой исключительной степени, чтобы он вызывал в нас восхищение и его должно было бы сравнивать с теми, кого мы чтим среди людей, обитавших некогда на земле, — нет, с таким человеком моя судьба не дала мне встретиться. Самым великим из тех, кого я хорошо знал, — я говорю о природных дарованиях и способностях — и самым благородным был Этьен де Ла Бюэси; это была душа, до краев полная достоинств, прекрасная, с какой бы стороны на нее ни взглянуть, душа, скроенная на древний лад; и он совершил бы великие и памятные дела, когда б того захотела судьба его, ибо к своим богатым природным данным он многое добавил с помощью размышлений и занятий науками.

Не знаю, как это так получается, — а что так получается, это бесспорно, — но только в тех, кто ставит своей неизменной целью домогаться возможно большей учености, кто берется за писание ученых трудов и за другие дела, требующие постоянного общения с книгами, — в тех обнаруживается столько чванства и умственного

бессилия, как ни в какой другой породе людей. Быть может, это получается оттого, что в них ищут и от них ожидают большего, чем от других людей, и им не прощаются общераспространенные недостатки; или, может быть, сознание собственной учености придает им смелость выставлять себя напоказ и важничать, чем они выдают себя и сами себе причиняют ущерб. Так и ремесленник обнаруживает свою неумелость гораздо отчетливее тогда, когда в его руки попадает ценный материал, который он портит своей бестолковой и грубой работой, чем когда ему приходится иметь дело с простым материалом: недостатки в золотом изваянии раздражают нас гораздо сильнее, нежели в гипсовом. Точно так же поступают и те, кто, тыча всем в глаза вещи, которые сами по себе и на своем месте весьма хороши, пользуется ими безо всякого толку и меры и, оказывая честь своей памяти за счет разума, оказывая честь Цицерону, Галену, Ульпиану и святому Иерониму,⁸⁴ выставляет себя самого в смешном виде.

Я охотно возвращаюсь к мысли о пустоте нашего образования. Оно поставило себе целью сделать нас не то чтобы добропорядочными и мудрыми, а учеными, и оно добилось своего: оно так и не научило нас постигать добродетель и мудрость и следовать их предписаниям, но зато мы навеки запомнили происхождение и этимологию этих слов; мы умеем склонять самое слово, служащее для обозначения добродетели, но любить ее мы не умеем. И если мы ни из наблюдения, ни на основании личного опыта не знаем того, что есть добродетель, то мы хорошо знаем ее на словах и постоянно твердим о ней. Когда дело идет о наших соседях, нам недостаточно знать, какого они роду-племени, кто их ближайшие родичи и какими связями они обладают; мы хотим, чтобы они подружились с нами, хотим установить с ними близость и добрые отношения. А наше образование между тем набивает нам головы описаниями, определениями и подразделениями разных видов добродетели, как если бы были фамильные прозвища и ветви генеалогического древа, несколько не заботясь о том, чтобы установить между добродетелью и нами хоть какое-нибудь знакомство и близость. К тому же, для нашего обучения отобраны отнюдь не те книги, в которых высказываются здра-

вые и наиболее близкие к истине взгляды, но написанные на отменном греческом языке или на лучшей латыни, и путем затверживания этих красиво звучащих слов нас заставляют порой впитывать в свое воображение пустейшие и нелепейшие представления древности.

Подлинно разумное обучение изменяет и наш ум, и наши нравы, вроде того как это произошло с Полемоном, распутным юношей-греком, который, отправившись случайно послушать один из уроков Ксенократа, не только оценил полностью красноречие и ученость философа и не только принес с собой домой много полезных знаний, но и вынес оттуда плоды еще более ощутительные и более ценные, а именно то, что характер его внезапно изменился и нрав исправился.⁸⁵ А кто из нас когда-нибудь почувствовал на себе подобное воздействие нашего обучения?

faciasne, quod olim
Mutatus Polemon? Ponas insignia morbi,
Fascilas, cubital, focalia, potus ut ille
Dicitur ex collo furtim carpsisse coronas,
Postquam est impransi correptus voce magistri?⁸⁶

Наименее недостойным представляется мне то сословие, которое по причине своей простоты занимает последнее место; больше того, его жизнь кажется мне наиболее упорядоченной: нравы и речи крестьян я, как правило, нахожу более отвечающими предписаниям истинной философии, чем нравы и речи наших присяжных философов.⁸⁷ Plus sapit vulgus, quia tantum, quantum opus est, sapit.⁸⁸

Самыми замечательными людьми, насколько я мог судить, наблюдая их издали (ибо, чтобы судить о них на мой лад, надо было бы к ним подойти ближе), были, если иметь в виду военные подвиги и познания в военной науке, герцог Гиз, скончавшийся в Орлеане, и покойный маршал Строщи.⁸⁹ Если же говорить о людях ученых и отличавшихся выдающейся добродетелью, то я назову Оливье и Лопиталя, двух канцлеров Франции.⁹⁰ Мне кажется, что наш век принес с собой расцвет поэзии и мы располагаем избытком искуснейших знатоков своего дела в лице Дорá, Беза, Бьюкенена, Лопиталя, Мондоре и Турнеба;⁹¹ что до пишущих по-французски, то я полагаю, что они подняли это искусство на такую ступень, на

какой оно еще никогда у нас не было и, если вспомнить тот род его, в котором блистают Ронсар с Дюбелле,⁹² то я никоим образом не считаю, что им далеко до совершенства древних поэтов. Адриан Турнеб знал больше — и если уж что-либо знал, то знал лучше, — чем кто бы то ни было из людей его века, да и не одного его века. Жизнь недавно умершего герцога Альбы, равно как и нашего конетабля Монморанси, была благородной жизнью, причем судьба их во многом поразительно схожа.⁹³ Впрочем, красота и величие смерти последнего, скончавшегося на глазах у Парижа и своего короля, служа им в борьбе против ближайшей своей родни во главе войск, обязанных своей победой его водительству и нанесенному им решительному удару, в столь преклонном возрасте, заслуживают, на мой взгляд, быть отмеченными в ряду наиболее достопамятных событий нашего времени. Достойны нашей памяти и неизменное добросердечие, мягкость нрава и разумная снисходительность господина Ла Ну,⁹⁴ выдающегося и весьма опытного военачальника, хотя он, можно сказать, вырос и прошел воспитание в самой гуще бесчисленных беззаконий, творимых обоими взявшимися за оружие станами (этой подлинной школе предательства, бесчеловечности и разбоя).⁹⁵

Прочие⁹⁶ добродетели в наш век очень редко или совсем не встречаются, но мужество стало, по причине наших гражданских войн, вещью весьма обычной, и в этом отношении нетрудно найти среди нас души, почти совершенные по своей твердости, и притом в столь большом количестве, что сделать выбор здесь крайне затруднительно.

Вот и все о выдающемся и незаурядном душевном величии, с каким я сталкивался вплоть до этого часа.



Г л а в а XVIII

ОБ ИЗОБЛИЧЕНИИ ВО ЛЖИ

Мне скажут, пожалуй, что намерение избрать себя предметом своего описания простительно людям незаурядным и знаменитым, которые благодаря своей славе могут вызвать у других желание познакомиться с ними поближе. Конечно, я это отлично знаю и не собираюсь этого оспаривать. Знаю также, что не всякий ремесленник удостоит поднять глаза от своей работы, чтобы взглянуть на человека, вылепленного из обыкновенного теста, хотя, чтобы поглазеть на въезд в город личности великой и примечательной, все они, как один, покидают свои лавки и мастерские. Лишь тем, в ком есть нечто достойное подражания и чья жизнь и взгляды могут служить образцом, подобает выставлять себя напоказ. У Цезаря или Ксенофонта было достаточно прочное основание, дававшее им право занимать других рассказом о себе: это было величие свершенного ими. Равным образом всякому было бы любопытно прочесть дневники великого Александра, записки Августа, Катона, Суллы, Брута и прочих, повествующие об их деяниях, если бы такие записки остались после них. Образы подобных людей любят и изучают, даже когда они отлиты из меди или высечены из камня.

Это предостережение вполне справедливо, но меня оно, в сущности, едва ли касается:

Non recito cuiquam, nisi amicis, idque rogatus,
Non ubivis, coramve quibuslibet. In medio qui
Scripta foro recitent, sunt multi, quique lavantes.¹

Я не высекаю здесь изваяния, чтобы установить его на городском перекрестке, в церкви или в каком-нибудь другом общественном месте:

Non equidem hoc studeo, bullatis ut mihi nugis
Pagina turgescat.
Secreti loquimur.²

Нет, это изваяние предназначается для укромного уголка библиотеки и для того, чтобы развлечь соседа, родственника или друга, которому будет приятно снова увидеть мои черты и узнать меня в этом изображении. Другие решаются говорить о себе, потому что находят этот предмет заслуживающим внимания и благодарным; я же, напротив, делаю это лишь потому, что, находя его пустым и неблагодарным, могу не опасаться обвинения в похвальбе.

Я охотно обсуждаю дела, совершаемые другими; что до моих, то я подаю мало поводов к их обсуждению по причине ничтожности их. Я не нахожу в себе столько похвального, что мог бы позволить себе говорить о нем без краски стыда на лице. Каким удовольствием было бы для меня послушать кого-нибудь, кто рассказал бы мне о нравах, наружности, душевном складе, наиболее привычных речах и превратностях судьбы моих предков! С каким вниманием ловил бы я каждое его слово! И в самом деле, только безнадежно дурной человек может относиться с презрением к портретам своих друзей и предшественников, к покрою их платья, к их оружию. Что до меня, то я сохраняю бумаги, печать, часослов и особого вида шпагу, которая в свое время служила им. Я не убрал из моего кабинета и длинной трости, которую не выпускал из рук мой отец. *Paterna vestis et annulus, tanto carior est posteris, quanto erga parentes maior affectus.*³

Если мои потомки не обнаружат в отношении меня охоты к чему-либо подобному, у меня найдется, чем отплатить им за это; ведь сколь бы мало они ни считались со мною, я к тому времени буду считаться с ними еще меньше. Все мои взаимоотношения с обществом сводятся в данном случае к тому, что я заимствую у него более удобные и быстродействующие орудия воспроизведения моих

мыслей; в возмещение я предохраню, быть может, когда-нибудь кусок масла на рыночной стойке от таяния на солнцепеке.⁴

Ne toga cordyllis, ne penula desit olivis,⁵
Et laxas scombris saepe dabo tunicas.⁶

И если даже случится, что ни одна душа так и не прочитает моих писаний, потратил ли я понапрасну время, употребив так много свободных часов на столь полезные и приятные размышления? Пока я снимал с себя слепок, мне пришлось не раз и не два ощупать и измерить себя в поисках правильных соотношений, вследствие чего и самый образец приобрел бóльшую четкость и некоторым образом усовершенствовался. Рисуя свой портрет для других, я вместе с тем рисовал себя и в своем воображении, и притом красками более точными, нежели те, которые я применял для того же ранее. Моя книга в такой же мере создана мной, в какой я сам создан моей книгой. Это — книга, неотделимая от своего автора, книга, составлявшая мое основное занятие, неотъемлемую часть моей жизни, а не занятие, имевшее какие-то особые, посторонние цели, как бывает обычно с другими книгами. Потерял ли я даром мое время, с такой настойчивостью и тщательностью отдавая себе отчет в том, что я такое? Ведь те, кто лишь изредка и случайно оглядывают себя мысленно, не записывая своих наблюдений, те не исследуют себя так обстоятельно и не проникают в себя так глубоко, как тот, кто делает это предметом своего постоянного изучения, своим жизненным делом, своим ремеслом, как тот, кто ставит перед собой задачу начертать исчерпывающее свое описание и отдается ее выполнению со всею искренностью, со всем жаром своей души; ведь даже сладчайшие удовольствия, если переживаешь их лишь наедине с собою, уносятся, не оставляя никакого следа и ускользая от взгляда не только всего народа, но и окружающих нас людей.

Сколько раз отвлекала меня эта работа от докучных размышлений, — а докучными нужно считать все те размышления, которые бесплодны! Природа наделила нас драгоценной способностью беседовать с самим собой, и она часто приглашает нас воспользоваться этим, чтобы показать нам, что хотя мы чем-то и обязаны окружаю-

шим, все же гораздо большим мы обязаны самим себе. Для того чтобы приучить мое воображение к некоторому порядку и плану даже тогда, когда оно предается фантазиям, и оградить его от беспорядочных блужданий и расточения сил попусту, нет лучшего способа, как закрепить на бумаге и зарегистрировать все даже самые ничтожные мысли, возникающие в уме. Я прислушиваюсь к своим мечтаньям потому, что мне надлежит занести их в мой протокол. Сколько раз, будучи огорчен чьим-либо поступком, порицать который во всеуслышание было бы и неучтиво и неразумно, я облегчал свою душу на этих страницах не без тайной мысли о поучительности всего этого для других.⁷ И эти поэтические шлепки,

Трах под глаз, трах по уху,
Трах в спину грязнуху,⁸

оставляют более длительный след на бумаге, нежели на живом теле.

Что же в том, что я стал немного внимательнее просматривать книги, выискивая, нельзя ли стянуть что-либо такое, чем я мог бы подпереть и принарядить мою собственную? Я ничего не изучил ради написания моей книги, но, написав ее, я все же кое-что изучил, если можно назвать хоть сколько-нибудь похожим на изучение выщипывание и выдергивание каких-то клочков то с одного бока, то с другого, у различных авторов, — конечно, не для того, чтобы создать себе какие-то взгляды, но для того, чтобы помочь выработанным мной уже ранее, чтобы поддержать и подкрепить их.

Но кому в наше развращенное время можем мы верить, когда он говорит о себе, если учесть, что мало найдется таких людей, которым можно верить, даже когда они говорят о других, хотя в этом случае ложь куда менее выгодна? Первый признак порчи общественных нравов — это исчезновение правды, ибо правдивость лежит в основе всякой добродетели, как говорил Пиндар,⁹ и является первым требованием, какое предъявлял Платон к правителю его государства.¹⁰ Правда, которая ныне имеет хождение среди нас, это не то, что есть в действительности, а то, в чем мы убеждаем других, — совершенно так же, как и с обращающейся между нами монетой: ведь мы называем этим словом не только полноценную монету, но и фаль-

шивую. Наш народ издавна упрекают в этом пороке. Еще Сальвиан Марсельский, живший при императоре Валентиниане, указывал, что лгать и постоянно нарушать слово у французов отнюдь не порок; для них это то же, что манера разговаривать.¹¹ Можно было бы выразить это еще острее, сказав, что в глазах французов наших дней это — самая подлинная добродетель; ее выращивают и лелеют в себе, как нечто почетное, ибо притворство — одна из главнейших черт нашего века.

Вот почему я часто задумываюсь над тем, откуда мог возникнуть обычай, соблюдаемый нами с такой исключительной заботливостью и состоящий в том, что мы считаем себя задетыми гораздо сильнее обвинением в этом столь распространенном среди нас пороке, чем когда нас винят в чем-либо другом, и что тягчайшее оскорбление словом, какое только можно нанести нам, — это упрек во лживости. Ведь это так естественно — сильнее всего отрицать наличие у нас тех недостатков, в которых мы более всего повинны. Нам кажется, что, негодюя по поводу этого обвинения и отклоняя его, мы некоторым образом сбрасываем с себя самую вину: если она и впрямь тяготеет над нами, мы по крайней мере осуждаем ее на словах. Не происходит ли это также и потому, что подобный упрек представляет собой одновременно упрек в трусости и малодушии? Существует ли более явственное проявление малодушия, чем отказ от своих собственных слов, отрицание того, что слишком хорошо за собой знаешь?

Лживость — гнуснейший порок, и один древний писатель изображает ее как нечто крайне постыдное,¹² говоря, что она свидетельствует как о презрении к богу, так и о страхе перед людьми. Нельзя выразительно обрисовать мерзость, низость и противостоительственность названного порока, ибо можно ли представить себе что-либо более гадкое, чем быть трусом перед людьми и дерзким перед богом? Наше взаимопонимание осуществляется лишь единственно возможным для нас путем, а именно через слово; тот, кто извращает его, тот предатель по отношению к обществу: слово — единственное орудие, при помощи которого мы оповещаем друг друга о наших желаниях и мыслях, оно — толмач нашей души; если мы лишимся его, то не сможем держаться вместе, не сможем достигать взаимо-

познания; если оно обманывает нас, оно делает невозможным всякое общение человека с себе подобными, оно разбивает все скрепы государственного устройства.

Некоторые народы, обитавшие в Новой Индии (упоминать их имена излишне: ведь никто их больше не знает, ибо опустошения, произведенные завоеванием, привели к полному забвению и названий и бывшего местонахождения их поселений — вещь поразительная и доселе неслыханная!), так вот эти народы предлагали своим богам жертвоприношения из человеческой крови, и притом только такой, которая извлекалась ими из языков и ушей жертв, ибо они делали это во искупление греха лжи, оскверняющей нас и тогда, когда мы ее слышим, и тогда, когда произносим ее.¹³

Один древний грек остроумно заметил, что если дети тешатся бабками, то взрослые люди забавляются словами.¹⁴

Что до различных принятых у нас способов избличать друг друга во лжи, а также законов чести, соблюдаемых в делах этого рода, и изменений, которые они претерпели, то рассказ обо всем известном мне по этому поводу я отложу до другого раза. А пока что я хотел бы указать, с какого именно времени возникло обыкновение тщательно взвешивать и отмеривать наши слова, сообразуя их с понятием о чести. Нетрудно установить, что в древности, у греков и римлян, этого не было; и мне нередко казалось странным и непонятным, как это они уличали друг друга во лжи и отказывались от собственных слов, не вступая при этом в ссору. Законы, которыми определялось их поведение, сильно в этом отличались от наших. Цезаря нередко честили, называя прямо в лицо то вором, то пьяницей.¹⁵ Мы дивимся той свободе, с какой они обливали друг друга потоками брани, — я говорю о величайших полководцах обоих народов, — причем слова у них отмищались только словами и не влекли за собой других последствий.



Г л а в а XIX

О СВОБОДЕ СОВЕСТИ¹

Дело обычное, что добрые намерения, если их приводят в исполнение не в меру усердно, толкают людей на исключительно дурные дела. В той распри, из-за которой Францию наших дней терзают гражданские войны, лучшая и наиболее здравая партия несомненно та, что отстаивает и древнюю веру, и древнее государственное устройство этой страны.² И все же между честными и добропорядочными людьми, взявшими ее сторону (ибо я никоим образом не говорю о тех, кто пользуется удобным случаем, чтобы свести личные счета, насытить свою алчность или снискать благоволение принцев; я говорю лишь о тех, кто идет за ней движимый искренней ревностью к своей вере и стремлением к мирному существованию и благоденствию родины), так вот, говорю я, среди этих последних можно встретить довольно много таких лиц, которых страсть увлекает за пределы разумного и заставляет принимать порою решения несправедливые, жестокие и вдобавок еще и безрассудные.

Известно, что в те далекие времена, когда впервые утверждалась наша религия и с нею начинали считаться законы, рвение к ней вооружило довольно многих против языческих книг, от чего ученые люди понесли ни с чем не сравнимый ущерб; полагаю, что эти бесчинства причинили науке гораздо больше вреда, нежели все пожары, произведенные варварами.³ И Корнелий Тацит — достоверный свидетель этому, ибо хотя император Тацит, его потомок, и заполнил благодаря особым указам его «Анналами» все книгохранилища мира, все же ни

одному полному экземпляру их так и не удалось укрыться от старательных поисков тех, кто жаждал расправиться с ними по причине пяти или шести ничтожных замечаний, враждебных нашей вере.⁴ Эти люди повинны также и в том, что, не колеблясь, расточали лживые похвалы всем без исключения императорам, стоявшим за нас, и огульно осуждали действия и поступки тех из них, которые были против нас, как это нетрудно увидеть на примере императора Юлиана, прозванного Отступником.⁵

А между тем это был человек и впрямь великий и редкостный, запечатлевший в своей душе наставления философии и почитавший обязанностью руководствоваться ими во всей своей деятельности. И истине нет ни одной добродетели, замечательные образцы которой он не оставил бы по себе. Что касается целомудрия (а о нем ясно свидетельствует вся его жизнь), то тут мы можем прочесть о нем нечто такое, что роднит его с Александром и Сципионом: имея в своей власти множество пленниц поразительной красоты, он не пожелал взглянуть ни на одну, и это будучи, что называется, в полном расцвете сил: ведь он был убит парфянами всего лишь тридцати одного году отроду.⁶ Что касается его правосудия, то он не гнушался брать на себя труд лично выслушивать тяжущихся и, хотя из любознательности, расспрашивал всех представавших пред ним, какой они веры, все же, несмотря на враждебность, которую он испытывал к нашей, признание в принадлежности к ней нисколько не отягощало чаши его весов. Он лично придумал несколько хороших законов и отменил немало податей и налогов, введенных его предшественниками.

Мы располагаем показаниями двух превосходных историков, очевидцев его деяний. Один из них, Марцеллин, сетует⁷ во многих местах составленной им истории на тот из его указов, который запрещал христианам иметь свои школы и строжайше возбранял христианским риторам и грамматикам всякое преподавание. Марцеллин говорит, что было бы хорошо, если бы этот его поступок был укрыт покровом молчания. Весьма вероятно, что если бы Юлиан принимал против нас какие-нибудь более жестокие меры, Марцеллин не забыл бы упомянуть об этом, ибо он был очень привержен нашей религии. Юлиан был суров по отношению к нам, это верно, но он не был на-

шим беспощадным врагом, ибо даже люди нашей веры рассказывают о нем следующую историю.⁸ Однажды, когда он прогуливался в окрестностях города Халкедона, Марис, епископ этого места, осмелился назвать его негодяем и хриstopродавцем. Юлиан ограничился тем, что сказал ему на это: «Поди прочь, несчастный, и оплакивай слепоту свою!». Епископ бросил ему в ответ: «Возношу благодарение Иисусу Христу, ибо он лишил меня зрения, дабы я не видел бесстыдной рожы твоей». Юлиан и тут проявил терпение истинного философа. Как бы там ни было, а этот случай не очень-то совместим с теми рассказами о жестокостях, которые он якобы творил по отношению к нам. «Он был, — говорит Евтропий,⁹ второй из моих свидетелей, — врагом христианского учения, но он не проливал крови христиан».

Возвращаясь к вопросу об отличавшей его справедливости, укажу, что нет ничего, пожалуй, такого, что можно было бы поставить ему в вину, кроме строгостей, применявшихся им в начале его правления против тех, кто примыкал к партии, поддерживавшей его предшественника Констанция.¹⁰ Что касается присущей ему умеренности, то он неизменно придерживался солдатского образа жизни, как тот, кто готовится и приучает себя к тяготам и невзгодам войны.¹¹ Его способность бодрствовать была такова, что, деля ночь на три или, порой, на четыре части, он отдавал отдыху лишь самую меньшую; остальное время он тратил на то, чтобы лично проверять состояние своих войск и несение службы дозорами, или на чтение, ибо наряду с прочими редкостными своими качествами он был к тому же превосходно осведомлен в любом роде литературы. Передают, что Александр Великий, ложась в постель, из опасения, как бы сон не помешал ему заниматься и думать, приказывал ставить у изголовья своего ложа чашу, над которой держал руку с зажатым в ней медным шариком; он делал это с той целью, чтобы, в случае если дремота одолеет его и пальцы, разомлев, разожмутся, этот шарик, упав в чашу, разбудил его своим стуком.¹² Душа Юлиана, однако, бывала настолько поглощена тем, к чему он стремился, и винные пары, благодаря поразительной умеренности его образа жизни, так мало омрачали ее, что он отлично обходился и без этого ухищрения. Что касается его дарова-

ний в военном деле, то он блистал всеми качествами великого полководца. Почти всю свою жизнь он провел в непрерывных походах, и по большей части в союзе с нами,¹³ во Франции, против алеманнов и франков, и мы не находим упоминания о человеке, который повидал бы на своем веку столько опасностей, сколько пришлось изведать ему, и который чаще его выказывал бы личную доблесть.

Смерть его имеет черты сходства со смертью Эпаминонда, ибо он также был поражен стрелой и пытался вырвать ее, — и он достиг бы этого, если бы стрела, оказавшись по краям режущей, не поранила ему руку и не отняла у нее силу. Он настойчиво требовал, чтобы несмотря на состояние, в котором он находился, его снова отнесли в гущу сражения, и он мог бы ободрять своих воинов, хотя они и без него дрались на этот раз исключительно храбро вплоть до того мгновения, когда ночь разъединила противников.¹⁴ Благодаря философии он усвоил себе презрение к жизни и к делам человеческим. Он твердо верил в бессмертие душ.

В делах религии он был кругом неправ и заслуживает порицания. Его прозвали Отступником потому, что он отрекся от нашей религии. Впрочем, мне кажется более правдоподобным, что она никогда и не была ему по сердцу, но что, подчиняясь законам, он притворялся, будто почитает ее, пока не захватил власть над всей империей. Он был настолько привержен своей религии, что современники, даже из числа его единоверцев, посмеивались над ним, утверждая, что, если бы ему удалось одолеть парфян, он истребил бы всех быков, какие только водятся на свете, непрерывно принося их в жертву своим богам. Он был, к тому же, равнодушен к искусству гадания и доверял всякого рода прорицаниям. Умирая, он, среди всего прочего, говорил, что испытывает к богам чувство великой признательности и благодарит их за то, что они не возымели желания убить его неожиданно, но заблаговременно оповестили о часе и месте кончины, причем послали ему не легкую и презренную смерть, подобающую дентяем и неженкам, и не томительную и медленную, полную страданий, но сочли его достойным умереть столь благородным образом, посреди его победоносного шествия и в разгар его славы. Ему явился призрак, совсем так же, как Марку Бруту.¹⁵ В первый раз грозное видение предстало

ему, когда он находился в Галлии; затем призрак вторично явился ему в Персии, перед самой его смертью. Слова, которые Юлиан будто бы произнес, почувствовав, что поражен насмерть: «Ты победил, Назарянин!» или, как утверждают другие: «Радуйся, Назарянин!», — едва ли были бы забыты моими свидетелями, если бы они знали о них,¹⁶ а между тем они оба находились при войске и отметили все даже ничтожнейшие поступки и слова Юлиана перед его смертью; то же можно сказать и о других чудесных явлениях, будто бы связанных с нею.

Но возвращаясь к основной моей теме. Как говорит Марцеллин,¹⁷ Юлиан давно уже таил в своем сердце склонность к язычеству, но, так как его войско состояло почти сплошь из христиан, он не решался открыто признаться в этом. Наконец, когда он увидел себя достаточно сильным, чтобы решиться обнародовать свою волю, он велел открыть храмы древних богов и сделал все от него зависящее, чтобы идолопоклонство взяло верх над христианством. Обнаружив в Константинополе, что простой народ и христианские первосвященники плохо ладят между собой в вопросах веры, Юлиан, чтобы достигнуть желаемой цели, призвал обе стороны к себе во дворец и обратился к ним с настоятельным увещанием пресечь эти разногласия и предоставить каждому беспрепятственно и вполне свободно служить своей вере.¹⁸ Он убеждал их в этом очень старательно, рассчитывая, что такая неограниченная свобода умножит среди них число партий и сект и помешает народу объединиться, а следовательно, и укрепиться при помощи доброго согласия и единомыслия, чтобы оказать ему сопротивление. Он действовал так, убедившись, на основании примеров жестокости некоторых христиан, что «нет зверя на свете страшнее для человека, чем человек». Таковы примерно его собственные слова.

Тут заслуживает нашего внимания то обстоятельство, что Юлиан пользовался для разжигания гражданских раздоров тем же самым средством, а именно свободой совести, какое было совсем недавно применено нашими королями, чтобы успокоить раздоры. Таким образом, с одной стороны, можно сказать, что снять с партий узду и предоставить им беспрепятственно придерживаться их взглядов зна-

чит сеять и распространять между ними распри, значит способствовать умножению этих распрей, поскольку нет больше преград в виде законов, способных обуздывать и останавливать их. Но, с другой стороны, снять с партий узду и предоставить им беспрепятственно придерживаться их взглядов означает вместе с тем и усыпление, и расслабление их по причине легкости и удобства, с какими они могут отныне домогаться своего, означает притупление острия их воли, которая оттачивается в борьбе за нечто редкое, необычное и труднодостижимое. И я склонен думать, воздавая честь добрым намерениям наших властителей, что, не достигнув желаемого, они сделали вид, будто желали достигнутого.¹⁹



Г л а в а XX

МЫ НЕСПОСОБНЫ К БЕСПРИМЕСНОМУ НАСЛАЖДЕНИЮ

От слабости нашей природы проистекает, что нам не дано пользоваться вещами в их простом и естественном состоянии. Все, что бы мы ни употребляли, подверглось тем или иным изменениям. Это относится и к металлам: даже золото — и к нему приходится что-нибудь примешивать, чтобы сделать его пригодным для наших нужд. Ни столь простая и ясная добродетель, с какой мы сталкиваемся у Аристана, Пиррона и затем стоиков, провозгласивших ее целью жизни, ни наслаждение киренаиков и Аристиппа в чистом виде недостижимы для нас. Среди доступных нам удовольствий и благ не существует ни одного, которое было бы свободно от примеси неприятного и стеснительного,

medio de fonte leporum
Surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angat.¹

Наше высшее наслаждение проявляется в таких формах, что становится похожим на жалобы и стенания. Разве мы не могли бы сказать, что это — предсмертные муки? И когда мы тщимся изобразить это наслаждение во всей его полноте, то приукрашаем его эпитетами и свойствами, связанными со страданием и болезнью, каковы, например, такие слова, как: истома, спазмы, изнеможение, обмирание, *torbidezza*.² Не есть ли это вернейшее свидетельство кровной близости и единства наслаждения и боли? Глубокая радость заключает в себе больше суровости, чем веселья, крайнее и полное удовлетворение — больше успокоения, чем удовольствия. *Ipsa felicitas, se nisi*

temperat, premit.³ Блаженство истощает человека. Это то, о чем говорит один небольшой древнегреческий стих,⁴ содержание которого сводится к следующему: «боги продают всякое даруемое нам ими благо», что означает: они не даруют нам ни одного совершенного и чистого блага, и мы покупаем его ценой содержащегося в нем зла.

Тяготы и удовольствия — вещи крайне различные по природе — каким-то образом соединяются природными узами. Сократ говорит, что некий бог сделал попытку сплотить в нечто целое и слить воедино страдание и наслаждение, но, так как ему не удалось осуществить этот замысел, он придумал связать их друг с другом хотя бы хвостами.⁵ Метродор говорил, что не бывает печали без примеси удовольствия.⁶ Не знаю, что именно имел он в виду, но я с легкостью представляю себе, что можно намеренно, добровольно и с охотой лелеять свою грусть, и настаиваю на том, что, помимо честолюбия, — а оно также может сюда примешиваться — на всем этом лежит еще какая-то тень приятности и заманчивости, которая тешит нас и льстит нашему самолюбию посреди самой безысходной и тягостной грусти. Разве не существует душ, которые, можно сказать, питаются ею?

est quaedam flere voluptas.⁷

И некий Аттал заявляет у Сенеки,⁸ что воспоминание о потерянных нами друзьях нам столь же приятно, как горечь в очень старом вине,—

Minister vetuli. puer, Falerni
Ingere mi calices amariores⁹ —

или как яблоко с легкой кислинкой. Природа раскрывает перед нами это смешение: живописцы показывают, что одни и те же движения и морщинки наблюдаются на лице человека и когда он плачет, и когда он смеется. И в самом деле, проследите за работой живописца, пока он не закончил изображения того или другого из этих двух состояний — и вы так и не сможете установить, какое из них перед вами. Вспомним также, что безудержный смех порождает слезы. Nullum sine auctoramento malum est.¹⁰

Мысленно представляя себе человека, испытывающего все желанные для него радости, — вообразим такой случай, когда все тело этого

человека навеки охвачено наслаждением, подобным тому, какое бывает при акте оплодотворения, в момент наибольшей остроты ощущений, — я явственно вижу, как он изнемогает под бременем своего блаженства. и чувствую, что ему не под силу выдерживать столь беспримесное и столь всеобъемлющее непрерывное наслаждение. И действительно, едва насытившись им, он уже бежит от него и, побуждаемый естественным чувством, торопится спрыгнуть сам со ступеньки, на которой ему никоим образом не устоять и с которой он боится сверзиться вниз.

Когда я с предельной откровенностью исповедуюсь себе самому, я обнаруживаю, что даже лучшее, что только есть во мне, даже оно окрашено известным оттенком порочности. И я опасаясь, как бы Платон, прислушайся он повнимательнее — что, несомненно, он делал не раз — к самой безупречной из своих добродетелей (а ведь я — искреннейший и преданнейший поклонник, какого только можно сыскать, как этой его добродетели, так и других, скроенных по такому же образцу). так вот как бы Платон не уловил в этой своей добродетели некоего фальшивого тона, неизбежного в той совокупности, какую представляет собой человек, правда тона глухого и ощутимого лишь собственным слухом. Человек во всем и везде — набор пестрых локутьев. И даже законы, блюстители справедливости, не могли бы существовать, если б к ним не примешивалась несправедливость; Платон замечает,¹¹ что кто притязает очистить их от непоследовательностей и неудобств, тот пытается отрубить гидре голову. *Omne magnum exemplum habet aliquid ex iniquo, quod contra singulos utilitate publica rependitur,* — говорит Тацит.¹²

Равным образом верно и то, что наши умы бывают иногда слишком светлыми и прозорливыми в делах как частной, так и общественной жизни; ясности и пронизательности подобных умов присуща чрезмерная утонченность и любознательность. Чтобы принудить их покоряться общепринятым правилам и обычаям, нужно отнять у них излишнюю пылкость и остроту; чтобы приспособить их к нашему смутному земному существованию нужно придать им некоторую тяжеловесность и заставить их потускнеть. Но бывают также умы обыкновенные и менее яркие, которые более пригодны для ведения дел и

лучше справляются с ними. Возвышенные и утонченные воззрения философии бесплодны в приложении к повседневной действительности. Эта повышенная живость души, эта беспокойная подвижность и гибкость ее препятствуют нам в житейских занятиях. Нужно вести предприятия человеческие проще, не мудрствуя, и добрую долю в них оставлять на усмотрение и произвол судьбы. Освещать дела слишком тонко и глубоко нет никакой надобности: наблюдая столь противоречивое освещение и многообразие форм, теряешься: *volutantibus res inter se pugnantes, obtorpuerant animi*.¹³

Вот что древние рассказывают о Симониде:¹⁴ так как его воображение, пытаясь ответить на предложенный царем Гиероном вопрос, — а на обдумывание ответа ему было дано несколько дней — предлагало ему множество все новых и новых остроумных и тонких решений, он, колеблясь, какое же из них счесть наиболее правильным, отчаялся в конце концов отыскать истину.

Кто пристально разглядывает и старается охватить все до одного обстоятельства и все следствия, тот сам себе затрудняет выбор: посредственная смекалка с таким же успехом делает свое дело и достаточно для разрешения как малых, так и больших вопросов. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите, что лучшие хозяева — это те, кто меньше всего мог бы ответить, каким образом они добиваются этого, и что велеречивые говоруны чаще всего не достигают ничего путного. Я знаю одного такого великого болтуна и превосходного мастера расписывать все, относящееся к любому виду хозяйственных дел; но он глупейшим образом пропустил сквозь пальцы сто тысяч ливров годового дохода. Знаю я и другого: этот уверяет, что разбирается в делах лучше, чем кто-либо другой; притом же на свете не сыщешь более благородной души и другого такого кладезя всяких знаний. А между тем слуги его утверждают, что, когда доходит до дела, он оказывается совсем не таким. При этом я отнюдь не ставлю этим господам в счет случайные бедствия разного рода.



Г л а в а XXI

ПРОТИВ БЕЗДЕЛЬЯ

Император Веспасиан,¹ страдая болезнью, которая и явилась причиною его смерти, не переставал выражать настойчивое желание, чтобы его осведомляли о состоянии государства. Больше того, даже лежа в постели, он непрерывно занимался наиболее значительными делами, и когда его врач, попеняв ему за это, заметил, что такие вещи губительны для здоровья, он бросил ему в ответ: «Император должен умирать стоя». Вот изречение, по-моему, воистину замечательное и достойное великого государя! Позднее, при подобных же обстоятельствах, оно было повторено императором Адрианом,² и его надлежало бы почаще напоминать государям, дабы заставить их прочувствовать, что великая возложенная на них обязанность, а именно управлять столькими людьми, не есть обязанность тунеядца, а также что ничто, по справедливости, не может в такой же мере отбить у подданного охоту принимать на себя, ради служения своему государю, тяготы и невзгоды и подвергаться опасностям, чем видеть его в это самое время трусливо забившимся в угол за занятиями малодушными и ничтожными, или прилагать усилия для удовлетворения его нужд, в то время как он так равнодушен к нашим.³

Если бы кто-нибудь вздумал доказывать, будто гораздо лучше, чтобы государь вел войны не сам, а поручал ведение их другим лицам, он нашел бы среди многообразия человеческих судеб немало примеров, когда назначенные государями полководцы успешно завершали за них великие предприятия; он натолкнулся бы и на таких госуда-

рей, чье присутствие в войске приносило скорее вред, нежели пользу. Но ни один решительный и смелый монарх не потерпит, чтобы ему приводили столь постыдные доводы! Под предлогом желания уберечь свою жизнь ради блага всего государства — точно дело идет об изваянии какого-нибудь святого — иные из государей уклоняются от выполнения своего долга, который главным образом и состоит в военных деяниях, и тем самым уличают себя в неспособности к ним. Я же знаю одного государя,⁴ который, напротив, предпочитает быть битым, чем спать, пока за него бьются другие, и он даже не может смотреть без зависти на своих подчиненных, если те совершают в его отсутствие что-либо выдающееся. Селим I⁵ говаривал — и, как мне кажется, с достаточным основанием, — что победы, одержанные без участия повелителя, не бывают полными и окончательными. И он сказал бы еще охотнее, что повелителю, который дрался в таком сражении лишь словами и мыслями, надлежит краснеть от стыда в том случае, если он домогается своей доли славы за достигнутую победу; и это тем более, что в подобных обстоятельствах советы и приказания могут доставлять честь только тогда, когда они подаются и отдаются на самом поле боя и в зависимости от положения дел. Ни один кормчий не выполняет своих обязанностей, сидя на берегу. Государи оттоманской династии, первой по военному счастью династии в мире, горячо восприняли эту истину, и Баязид II, равно как и его сын,⁶ отошедшие от нее, развлекаясь науками и другими домашними зачатиями, надавали тем самым здоровенных пощечин своей империи; да и тот, что царствует в настоящее время, Мурад III, следуя их примеру, начинает поступать точно так же. Не английский ли король Эдуард III сказал о нашем Карле V:⁷ «Не было короля, который брал бы в руки оружие реже, чем он, и не было короля, который причинил бы мне столько хлопот». И он был прав, находя это странным и видя тут скорее прихоть судьбы, чем следствие разумного порядка вещей.

И пусть ищут сочувствия у других, но только не у меня, те, кому хочется видеть в числе воинственных и великих завоевателей королей Кастилии и Португалии лишь на том основании, что, сидя в своих покойных дворцах, за тысячу двести лье, они трудом своих подна-

чальных сделались властителями обеих Индий и других стран, — а ведь большой еще вопрос, хватило ли бы у них храбрости даже съездить туда самолично, чтобы вступить во владения этими землями.

Император Юлиан настаивал на еще большем: ⁸ он говорил, что «философу и честному человеку перевести дух и то возбраняется», т. е. есть что им подобает отдавать дань потребностям нашего естества лишь настолько, насколько это безусловно необходимо, занимая всегда и душу и тело делами прекрасными, великими и добродетельными. Он испытывал стыд, если ему доводилось сплунуть или вспотеть на виду у народа (то же самое рассказывают о молодежи лакедемонян, а Ксенофонт ⁹ — и о персидской), ибо он полагал, что телесные упражнения, неустанный труд и умеренность должны выпарить и иссушить все эти излишние жидкости. То, о чем говорит Сенека, ¹⁰ также не окажется здесь неуместным; а он говорит, что древние римляне держали свою молодежь всегда на ногах: они не обучали своих детей, сообщает он, ничему такому, что нужно было бы изучать сидя.

Жажда умереть с пользой и мужественно весьма благородна, но утолить ее зависит не столько от наших благих решений, сколько от благости нашей судьбы. Тысячи людей ставили себе целью или победить или пасть в сражении, но им не удавалось достигнуть ни того ни другого. Ранения и темницы пресекали на полпути их намерения и вынуждали жить насильственной жизнью. Существуют, кроме того, болезни, которые наваливаются на нас с такой яростью, что подавляют и наши желания, и нашу память. ¹¹ Молей-Молук, властитель Феса, тот самый, который недавно разгромил Себастьяна, короля португальского, в битве, ставшей знаменитой по причине гибели трех королев и объединения великой португальской короны с кастильской, ¹² этот Молей-Молук тяжело заболел сразу после того, как португальцы вторглись в его страну. С каждым днем он чувствовал себя все хуже и хуже, и так продолжалось до самой его смерти, близость которой он ясно видел. Еще не было на свете человека, который вел бы себя столь же мужественно и благородно в подобных обстоятельствах. Слишком слабый, чтобы вынести тяготы торжественного прибытия в лагерь, что, согласно принятому у них обычаю, происходит с великой пышностью и обставляется множеством утомительных цере-

моний, он уступил эту честь своему брату. И это была единственная обязанность военачальника, которую он уступил кому-либо другому; что до всех остальных, необходимых для пользы дела и весьма важных, то он выполнял их сам, и притом поразительно усердно и тщательно; хотя тело его было простерто на ложе, свой разум и свое мужество он принудил твердо стоять на ногах и не сдаваться вплоть до последнего вздоха, а в некотором смысле и после него. Он мог взять неприятельское войско измором, поскольку португальцы безрассудно углубились в его владения, и ему было бесконечно печально, что из-за краткости срока, который ему оставалось жить, из-за отсутствия подходящего человека, который мог бы заменить его в ведении этой войны, и, наконец, из-за смут в государстве он вынужден искать победы кровавой и чреватой опасностями, хотя в его руках был и другой способ одолеть врагов, простой и вполне бесспорный. Все же он очень искусно использовал предоставленную ему болезнью отсрочку, всячески изматывая силы противника и завлекая его подальше от гаваней на побережье Африки и от его кораблей; и он делал это вплоть до последнего дня своей жизни, который приберег и предназначил для решительного сражения.

Свои войска он расположил в форме кольца, со всех сторон окружавшего армию португальцев. Сжимая и суживая это кольцо так, что врагам приходилось отбивать атаки одновременно со всех сторон, он не только затруднил им этим ведение боя — который был крайне жестоким, ибо юный португальский король непрерывно и доблестно пытался вырваться из кольца, — но и не дал им возможности спастись бегством, вернувшись назад тем же путем, каким они пришли. Так как все дороги оказались для них перехвачены и крепко заперты, португальцам пришлось топтаться на месте, тесня друг друга, — *coarservanturque non solum caede, sed etiam fuga*¹³ — и, сбившись в кучу, уступить победителям, учинившим кровавую бойню, полную и окончательную победу. Уже умирающий, Молей приказал отнести себя на носилках к войску и переносить с места на место, туда, где его присутствие могло быть полезным; и когда его проносили вдоль рядов воинов, он воодушевлял на битву одного за другим своих военачальников и солдат. И так как на одном из участков

его боевой порядок начал приходить в расстройство, он, как приближенные его ни удерживали от этого, сел на коня и пожелал ринуться с обнаженным мечом в самую гущу сражения. Окружающие, однако, не допустили его до этого, ухватившись кто за повод его коня, кто за платье, кто за стремяна. Это усилие окончательно погасило еще тлеющую в нем искру жизни; его снова уложили на носилки. Он же, внезапно преодолев свое обморочное состояние и ввиду своей слабости не располагая никаким другим способом, чтобы отдать важнейшее в тот момент приказание — скрыть от всех его смерть, известие о которой могло бы вызвать смятение в рядах его войск, — приложил ко рту палец (как известно, общепринятый знак, приглашающий хранить молчание) и через мгновение испустил дух. Кто долще его жил в самой преддверии смерти? И кто умер до такой степени стоя, как он?

Крайнее проявление мужества пред лицом смерти, и самое к тому же естественное, — это смотреть на нее не только без страха, но и без тревоги, продолжая даже в цепких ее объятиях твердо придерживаться обычного образа жизни. Именно так и сделал Катон, продолжавший заниматься и не отказывавшийся от сна, когда голова и сердце его были уже полны смертью, которую он держал в своей руке.



Г л а в а XXII

О ПОЧТОВОЙ ГОНЬБЕ

Я был когда-то не из последних в делах этого рода, самых что ни на есть подходящих для людей моего сложения и моего роста — крепкого и невысокого. Но я больше не занимаюсь ими: слишком уж они изнурительны, чтобы предаваться им долгое время.

Я только что прочитал о том, что царь Кир, дабы с большей легкостью получать известия со всех концов своего царства — а оно было весьма обширным, — повелел выяснить, какое расстояние за день может покрыть без отдыха лошадь, и, исходя из этого, поместить на соответствующей дистанции друг от друга особых людей, у которых были бы всегда наготове кони, чтобы снабжать ими прибывающих к ним гонцов.¹ Некоторые передают, что быстрота передвижения этих гонцов достигала быстроты, с какой летят журавлиные стаи.

Цезарь рассказывает,² что Луций Вибуллий Руф, торопясь доставить Помпею важное сообщение, мчался к нему день и ночь, меняя для скорости лошадей. Да и сам Цезарь, по словам Светония,³ делал по сто миль ежедневно, пользуясь наемной повозкой; впрочем, это был бешеный ездок, ибо там, где ему преграждали дорогу реки, он переправлялся через них вплавь, никогда не сворачивая с прямого пути ради поисков моста или брода. Тиберий Нерон,⁴ отправившись повидаться со своим братом Друзом, заболевшим в Германии, трижды сменив повозку, проделал за двадцать четыре часа целые двести миль. Во время войны, которую римляне вели с Антиохом,⁵ Тиберий Семпроний Гракх, как сообщает Тит Ливий, *per dispositos*

equos prope incredibili celeritate ab Amphissa tertio die Pellam pervenit,⁶ причем, если вчитаться внимательно в это место, то становится ясным, что речь идет о постоянных подставах, а не об учрежденных ради этой поездки.

Способ подавать весть о себе, который придумал Цецина,⁷ обеспечивал еще большую быстроту: покидая дом, он брал с собой ласточек и когда хотел что-либо сообщить домой, отпускал их лететь в свои гнезда, причем метил их краской того цвета, который обозначал то-то и то-то, в соответствии с тем, как он заранее уславливался с домашними.

Римские патриции, находясь в театре, держали за пазухой голубей и, когда им приходило в голову переслать домой какое-нибудь приказание своим людям, они выпускали этих голубей на свободу, прикрепив к ним записку. Эти голуби были также обучены возвращаться с ответом; ими пользовался и Децим Брут, осажденный в Мутине,⁸ и другие в иных местах.

В Перу вестники для своих разъездов употребляли людей, которые вваливали их на свои плечи вместе с особым сиденьем, проделывая это до того ловко, что один носильщик, не останавливаясь и даже не замедляя бега, перебрасывал свою ношу другому.⁹

Я слышал, что валахи, гонцы султана, достигают изумительной скорости, и это происходит по той причине, что им дано право ссаживать первого встречного с приглянувшейся им лошади, отдавая взамен свою притомившуюся, и еще потому, что они, дабы предохранить себя от усталости, накрепко стягивают себе тело широким ремнем.¹⁰



Г л а в а XXIII

О ДУРНЫХ СРЕДСТВАХ, СЛУЖАЩИХ БЛАГОЙ ЦЕЛИ

Разительные подобиya и соответствия сокрыты в той совокупности творений природы, которая есть мироздание, и это ясно показывает, что оно не случайно и никоим образом не подвластно многим хозяевам. Болезни и различные состояния, которым подвержено наше тело, наблюдаются также у государств и их общественного устройства: монархии и республики рождаются, переживают пору расцвета и увядают от старости совсем так же, как мы. Мы склонны к чрезмерному изобилию соков, которое бесполезно и скорее вредит. Это может быть либо избышек благодетельных соков (но и они пугают врачей, утверждающих, что, поскольку в нас нет ничего устойчивого, нам подобает умерять и ограничивать наше здоровье, если оно уж слишком выпирает из нас, ибо существует опасность, как бы наша природа, не умея прочно удерживаться на одном месте и лишенная возможности в таких случаях подняться ради своего улучшения на ступень выше, не поддалась беспорядочно и внезапно назад, и ради предупреждения этого зла они предписывают людям атлетического сложения слабительные и кровопускания с целью избавить их от этого избытка здоровья¹), либо изобилие соков дурных, которое и является обычной причиной болезней. Такое же полнокровие наблюдается часто и у больных государств, причем и тут имеют обыкновение пользоваться послабляющими разного рода. То, дабы разгрузить страну, отправляют за ее рубежи большое число семейств, которые уходят отсюда в поисках мест, где они могли бы обосноваться за счет кого-либо другого: этот способ был использован древними франками, вышедшими из самого сердца Германии, чтобы захватить Галлию и изгнать исконных ее обитателей. Так же слагались и бесчисленные людские потоки, хлынувшие в Италию под предводительством Бренна,² и еще

некоторые другие. Точно так же и готы и вандалы, равно как и народы, владеющие в настоящее время Грецией, покинули некогда свою родину, чтобы осесть где-нибудь в другом месте, которое было бы попросторнее. И едва ли найдется на целом свете два-три угла, не испытавших на себе воздействия подобных переселений.

Применяя эти же средства, римляне учреждали свои колонии, ибо, понимая, что их город разрастается сверх всякой меры, они разгружали его от наименее нужных людей, отправляя их заселять и обрабатывать покоренные ими земли; иногда они даже сознательно затевали войны со своими врагами и притом не только ради того, чтобы не давать закисать своим людям или из опасения, как бы праздность, мать всех пороков, не доставила им неприятностей еще худшего свойства,³ —

Et patimur longae pacis mala; saevior armis
Luxuria incumbit,⁴ —

но и для того, чтобы устроить кровопускание своему государству и охладить слишком уж ярый пыл своей молодежи, обрезав и проредив побеги этого непомерно буйно разрастающегося ствола; некогда в тех же целях они использовали и войну с Карфагеном.

При переговорах в Бретиньи Эдуард III,⁵ король английский, не пожелал уступить нашему королю — хотя на этот раз они заключали общий мир — захваченные им земли герцогства Бретонского, руководствуясь при этом теми соображениями, что ему хотелось иметь, где бы разместить своих воинов, дабы та тьма англичан, услугами которых он пользовался в своих заморских делах, не хлынула чего доброго снова в Англию. Такова же была одна из причин, побудивших нашего короля Филиппа согласиться отпустить своего сына Жана на войну за морем; он считал желательным и полезным, чтобы тот увел с собой большое число полных сил и кипения юношей, служивших в его конном отряде.⁶

И в наши дни находится немало таких, кто рассуждает подобным же образом и жаждет обратить охватившее нас чересчур пылкое возбуждение на войну с кем-либо из наших соседей, опасаясь, как бы вредоносные соки, овладевшие в настоящее время всем нашим телом,

не поддержали нашей горячки, сохраняя ее в прежней силе, и не привели в конце концов к нашей полной гибели.⁷ И впрямь война внешняя — меньшее зло, чем война внутренняя, но я не думаю, чтобы бог благоприятствовал столь несправедливому делу — оскорблять и задирать войной другого ради нашей собственной выгоды:

Nil mihi tam valde placeat, Rhamnusia virgo,
Quod temere invitis suscipiatur heris.⁸

И все же слабость нашего естества нередко толкает нас к необходимости пользоваться дурными средствами для достижения благой цели. Так, например, Ликург, этот добродетельнейший и совершеннейший законодатель из всех, какие когда-либо жили на свете, придумал крайне безнравственный способ приучать свой народ к трезвости: он насильственно заставлял илотов, которые были рабами спартанцев, напиваться до полного оупения; и делал он это ради того, чтобы при виде этих погибших, погрязших в вине существ, спартанцев охватывал ужас перед крайними проявлениями этого столь омерзительного порока.⁹ Еще более жестоко — ибо если уж приходится поступать несправедливо, то гораздо извинительнее делать это для спасения нашей души, нежели для спасения нашего тела, — поступали в древности те, кто позволял врачам кромсать заживо приговоренных к казни преступников, независимо от того, к какому роду смерти их присудили, с тем чтобы эти врачи, наблюдая в естественном состоянии наши внутренности, совершенствовались в своем искусстве. То же самое нужно сказать и о римлянах, воспитывавших в народе мужество, а также презрение к опасностям и к самой смерти посредством потрясающих зрелищ бьющихся не на жизнь, а на смерть гладиаторов и фехтовальщиков, которые резали и убивали друг друга перед его глазами,

Quid vesani aliud sibi vult ars impia ludi,
Quid mortes iuvenum, quid sanguine pasta voluptas? ¹⁰

И этот обычай держался вплоть до императора Феодосия.¹¹

Arripe dilatam tua, dux, in tempora famam,
Quodque patris superest, successor laudis habeto.
Nullus in urbe cadat, cujus sit poena voluptas.



Г л а в а XXIV

О ВЕЛИЧИИ РИМЛЯН

Этому поистине неисчерпаемому предмету я намерен уделить всего несколько слов; моя цель — показать недомыслие тех, кто пытается сравнивать с величием римлян жалкое величие нашего времени. В седьмой книге «Дружеских писем» Цицерона (пусть филологи, если того пожелают, лишат их названия «Дружеские», ибо оно и в самом деле не очень-то им подходит, и те, кто вместо «Дружеские» именует их письмами *ad familiares*,¹ могут извлечь кое-какие доводы в свою пользу из того, что в своем «Жизнеописании Цезаря» сообщает Светоний,² а именно, что и у Цезаря был целый том писем, написанных им *ad familiares*) — так вот в этой седьмой книге есть одно письмо Цицерона к Цезарю, находившемуся в то время в Галлии. В этом письме Цицерон воспроизводит слова, содержащиеся в конце письма, полученного им перед тем от Цезаря. Вот они: «Что касается Марка Фурия, о котором ты отзываешься с такой похвалой, то я сделаю его, если такова твоя воля, царем Галлии. И вообще, если ты хочешь выдвинуть кого-нибудь из своих друзей, присылай этого человека ко мне».³ Для простого римского гражданина, каким являлся тогда Цезарь, было уже не внове располагать по своему усмотрению целыми царствами, ибо к тому времени он успел отнять у Дейотара⁴ его престол, чтобы отдать его некоему знатному пергамцу по имени Митридат. И те, кто описывает нам жизнь Цезаря, перечисляют еще несколько проданных им государств; да и Светоний рассказывает,⁵ что Цезарь выудил с одного разу из царя Птолемея три миллиона шесть-

сот тысяч эку, то есть почти столько же, за сколько тот мог бы продать свое царство:

Tot Galatae, tot Pontus eat, tot Lydia nummis.⁶

Марк Антоний говаривал, что величие римского народа проявляется не столько в том, что он взял, сколько в том, что он роздал;⁷ и все же за несколько веков до Антония этот народ отнял нечто настолько значительное, что во всей истории Рима я не знаю никакого другого события, которое сообщало бы его имени большую славу и большее уважение. Антиох⁸ владел в те времена всем Египтом и готовился предпринять захват Кипра и прочих зависимых от него областей. В самый разгар одерживаемых этим царем побед к нему прибыл с поручением от сената Гай Попилий; он начал с того, что отказался коснуться царской руки, пока царь не прочтет врученного им послания. Антиох, прочитав это послание, заявил Попилию, что ему потребуется время на размышление. Тогда Попилий очертил находившимся у него в руке прутиком место, на котором стоял Антиох, и сказал, обращаясь к нему: «Сообщи, не выходя из этого круга, ответ, который я мог бы доставить сенату». Антиох, пораженный решительностью столь безоговорочно предъявленного ему повеления, подумав немного, ответил: «Я выполню все, что приказывает сенат». После этого Попилий обратился к нему с приветствием, какое отныне подобало ему, как «другу римского народа». Отказаться от столь беспредельной власти, и притом тогда, когда судьба так благоприятствовала ему, — и все это под впечатлением каких-то трех строк послания! И он был, разумеется, прав, послав, как он сделал, сообщить через своих послов сенату римской республики, что он принял его приказание с таким же благоговением, как если бы они исходили от бессмертных богов.

Все царства, завоеванные Августом по праву войны, он возвратил тем, кто владел ими прежде, или раздарил чужеземцам. И по этому поводу Тацит, рассказывая о Когидуне, короле бриттов, одной замечательно удачной черточкой дает нам почувствовать всю бесконечность могущества римлян. Римляне, говорит он, имели обыкновенные еще с древнейших времен оставлять во владении побежденных

царей, под их властью, принадлежавшие им ранее царства, «дабы располагать даже царями в качестве орудий порабощения» — *ut haberent instrumenta servitutis et reges.*⁹ Весьма вероятно, что Сулейман,¹⁰ который как мы видели, исключительно милостиво отнесся к венгерскому королевству и некоторым другим государствам, руководствовался при этом скорее указанными выше соображениями, а не тем, какое имел обыкновение приводить в объяснение своих действий, а именно — что «он пресыщен и обременен таким множеством монархий и владений».



Г л а в а XXV

О ТОМ, ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ПРИКИДЫВАТЬСЯ БОЛЬНЫМ

У Марциала есть удачная эпиграмма (ибо не все его эпиграммы одинакового достоинства), в которой он рассказывает забавную историю о Целии. Последний, не желая быть на ролях придворного у некоторых римских вельмож — присутствовать при церемонии их вставания, находиться при них и сопровождать их — притворился страдающим подагрой. Стремясь отвести всякие сомнения в подлинности своей болезни, он стал лечиться от подагры: ему смазывали и закутывали ноги, и он до того естественно подделывался своим внешним видом и манерой держаться под подагрика, что под конец судьба ниспослала ему это счастье на деле:

Tantum cura potest et ars doloris
Desiit fingere Caelius podagram.¹

Где-то у Аппиана,² насколько мне помнится, я прочитал о подобном же случае с одним римлянином, который, чтобы не попасть в проскрипционные списки, составлявшиеся триумвирами, и желая ускользнуть от бдительности своих гонителей, не только скрывался переодетым, но еще и притворялся одноглазым. Когда он обрел большую свободу действий и решил снять пластырь, которым долгое время был заклеен один его глаз, то обнаружил, что действительно потерял зрение на этот глаз. Возможно, что в связи с длительным бездействием этого глаза зрение в нем ослабело, но зато увеличилась зоркость другого глаза. Ибо нередко мы наблюдаем, что закрытый глаз передает работающему часть своих функций, благодаря чему

глаз, принявший весь труд на себя одного, как бы увеличивается и расширяется за этот счет. Нечто подобное могло произойти и в случае, приводимом Марциалом: отвычка Целия от ходьбы, укутывания ног и другие лечебные средства могли вызвать у его мнимого подагрика зачатки этой болезни.

Читая у Фруассара³ об одном отряде молодых английских рыцарей, которые, до переправы во Францию и до совершения там каких-то подвигов в войне с нами, все носили повязку на левом глазу, я часто весело смеялся при мысли, что с ними должно было приключиться то же, что и в приведенных случаях, и при возвращении в Англию они все предстали кривыми перед своими возлюбленными, ради которых пустились в это предприятие.

Матери правы, когда бранят детей за то, что они подражают слепым, хромым, косоглазым, людям с какими-либо другими физическими недостатками, ибо, помимо того, что это может причинить вред не сложившемуся еще организму ребенка, получается так, как будто судьба нас подстерегает, чтобы поймать на этом; мне довелось слышать о многих случаях, когда люди, изображавшие какую-нибудь болезнь, потом и в самом деле заболели ею.

С давних пор я до того привык — хожу ли пешком, езжу ли верхом — держать в руках трость или палку, что даже нахожу в этом известное изящество и мне нравится опираться на палку. Многие пугали меня тем, что когда-нибудь судьба обратит мое щегольство в печальную необходимость. Я льщу себя поэтому надеждой, что буду в таком случае первым подагриком во всем моем роде.

Однако вернемся к затронутой теме и поговорим еще о слепоте. Плиний сообщает⁴ о случае, когда человек вообразив себя во сне слепым, на другой день действительно ослеп, совершенно не болев до этого. Сила воображения, как я утверждал в другом месте,⁵ могла при этом сыграть свою роль, и кажется, что это мнение разделяет и Плиний; но более вероятно, что внутренние ощущения потери зрения, которые испытывал организм и причину которых установят, если им угодно будет, врачи, явились поводом для такого сна.

Приведем еще один близкий к этому случай, о котором рассказывает в одном из своих писем Сенека. «Ты знаешь, — пишет Сенека

Луцилию,⁶ — что Гарпаста, шутиха моей жены, осталась у меня в доме в этой должности, перешедшей к ней по наследству, ибо что касается меня, то я не выношу подобных уродов, и если мне хочется посмеяться над шутком, мне незачем для этого далеко ходить: я смеюсь над собой. И вдруг Гарпаста ослепла. Я рассказываю тебе о странном, но истинном происшествии; эта несчастная не сознает, что она ослепла и непрерывно требует от своего слуги, чтобы он увел ее из моего дома, ссылаясь на то, что у меня слишком темно. Поверь мне: тот самый недостаток, который вызывает в нас улыбку по ее адресу, присущ каждому из нас: никто не сознает, что он скуп или жаден. Слепые нуждаются в поводыре, мы же обязаны заботиться о себе сами. „Я не тщеславен, — говорим мы, — но в Риме нельзя жить иначе; я не мот, но такой город обязывает к большим тратам; не моя вина, если я вспыльчив и еще не выработал себе твердого уклада жизни; в этом повинна молодость. Не будем искать причину зла вне нас, оно сидит в нас, в самом нашем нутре. И именно потому, что мы не сознаем своей болезни, нам так трудно исцелиться. Если не начать лечиться при первых же признаках заболевания, то как справиться с таким количеством язв и недугов? Но у нас есть такое прекрасное лекарство, как философия: в отличие от других средств, радующих нас только после выздоровления, философия одновременно и радует и исцеляет нас“».

Таковы слова Сенеки, который увел меня далеко от темы, но и в перемене есть польза.



Г л а в а XXVI

О БОЛЬШОМ ПАЛЬЦЕ РУКИ

Тацит сообщает,¹ что у некоторых варварских королей был такой обычай: два короля, чтобы скрепить заключаемый между ними договор, плотно прикладывали одну к другой ладони своих правых рук, связывая вместе узлом большие пальцы; затем, когда кровь сильно прилиwała к кончикам туго стянутых пальцев, они делали на них надрез и слизывали друг у друга брызнувшую кровь.

Врачи утверждают, что большой палец руки — властелин остальных пальцев и что латинское название большого пальца происходит от глагола *pollegere*.² Греки называли большой палец *ἀντίχειρ*, как если бы это была еще одна самостоятельная рука. Мне кажется, что и в латинском языке это слово иногда тоже обозначает всю руку:

*Sed nec vocibus excitata blandis
Molli pollice nec rogata surgit.*³

В Риме считалось знаком одобрения прижать друг к другу оба больших пальца и опустить их:

*Fautor utroque tuum laudabit pollice ludum,*⁴

признаком же немилости — поднять их и наставить напротив на кого-нибудь:

*converso pollice vulgi
Quemlibet occidunt populariter.*⁵

Римляне освобождали от военной службы раненных в большой палец на том основании, что они не могли уже достаточно крепко

держат в руке оружие. Август конфисковал все имущество одного римского всадника, который отрубил обоим своим молодым сыновьям большие пальцы с целью избавить их от военной службы;⁶ а еще до Августа, во время италийской войны, сенат осудил Гая Ватиена на пожизненное заточение с конфискацией имущества за то, что он умышленно отрубил себе большой палец левой руки, чтобы избавиться от этой экспедиции.⁷

Какой-то полководец — не могу припомнить, кто именно, — выигравший морское сражение, приказал отрубить побежденным врагам большие пальцы, дабы они не могли больше воевать и грести.⁸

Афиняне отрубили эгинянам большие пальцы, чтобы лишить их превосходства в морском деле.⁹

В Спарте учитель наказывал детей, кусая у них большой палец.¹⁰



Г л а в а XXVII

ТРУСОСТЬ — МАТЬ ЖЕСТОКОСТИ

Я часто слышал поговорку: трусость — мать жестокости. Мне действительно приходилось наблюдать на опыте, что чудовищная, бесчеловечная жестокость нередко сочетается с женской чувствительностью. Я встречал необычайно жестоких людей, у которых легко было вызвать слезы и которые плакали по пустякам. Тиран города Феры Александр не мог спокойно сидеть в театре и смотреть трагедию из опасения, как бы его сограждане не услышали его вздохов по поводу страданий Гекубы или Андромахи, в то время как сам он, не зная жалости казнил ежедневно множество людей.¹ Не душевная ли слабость заставляла таких людей бросаться из одной крайности в другую?

Доблесть, свойство которой — проявляться лишь тогда, когда она встречает сопротивление:

*Nec nisi bellantis gaudet cervice iuveni.*²

бездействует при виде врага, отданного ей во власть, тогда как малодушие, которое не решается принять участие в опасном бою, но хотело бы присвоить себе долю славы, которую дает победа, берет на себя подсобную роль — избиений и кровопролития. Побойща, следующие за победами, обычно совершаются солдатами и командирами обоза; неслыханные жестокости, чинимые во время народных войн, творятся только этой кучкой черни,³ которая, не ведая никакой дру-

гой доблести, жаждет обагрить по локоть свои руки в крови и рвать на части человеческое тело:

Et lupus et turpes instant morientibus ursi,
Et quaecunque minor nobilitate fera est.⁴

Эти негодяи подобны трусливым псам, кусающим попавших в неволю диких зверей, которых они не осмеливались тронуть, пока те были на свободе. А что в настоящее время превращает наши споры в смертельную вражду, и почему там, где у наших отцов было какое-то основание для мести, мы в наши дни начинаем с нее и с первого же шага принимаемся убивать? Что это, как не трусость? Всякий отлично знает, что больше храбрости и гордости в том, чтобы разбить своего врага, а не прикончить его, чтобы разъярить его, а не умертвить; тем более что жажда мести таким образом больше утоляется, ибо с нее достаточно — дать себя почувствовать врагу. Ведь мы не мстим ни животным, ни свалившемуся на нас камню, ибо они неспособны ощутить нашу месть. А убить человека — значит охранить его от действия нашей обиды.

Биант⁵ как-то бросил одному негодяю: «Я знаю, что рано или поздно ты будешь наказан за это, но боюсь не увидеть этого»; и он жалел, что не осталось в живых никого из тех жителей города Орхомена, которых могло бы порадовать раскаяние Ликиска в совершенном по отношению к ним предательстве. Точно так же можно пожалеть о мести в том случае, когда тот, против кого она направлена, не может ее почувствовать, ибо, поскольку мститель хочет порадоваться, увидев себя отмщенным, необходимо, чтобы налицо был и обидчик, который ощутил бы при этом унижение и раскаяние.

«Он раскается в этом», — говорим мы. Но можно ли надеяться, что он раскается, если мы пустим ему пулю в лоб? Наоборот, если мы присмотримся внимательнее, мы убедимся, что он скорчит нам презрительную гримасу. Он даже не успеет на нас разгневаться и будет за тысячу миль от того, чтобы раскаяться. Мы окажем ему величайшую услугу, дав ему возможность умереть внезапно, без всяких мучений. Нам придется бежать, скрываться и таиться от преследований судебных властей, а он будет мирно покоиться. Убийство

годится в том случае, когда ты хочешь избежать предстоящей обиды, но не тогда, когда хочешь отмстить за совершенный уже проступок; это скорее действие, продиктованное страхом, чем храбростью, предосторожностью, а не мужеством, обороной, а не нападением. Не подлежит сомнению, что мы отклоняемся в этом случае и от подлинной цели мести и перестаем заботиться о нашем добром имени; мы боимся, чтобы враг не отплатил нам тем же, если останется в живых. Ты избавляешься от него ради себя, а не борясь с ним.

В Нарсингском царстве⁶ такой способ борьбы был бы невозможен. Там не только воины, но и ремесленники решают возникающие среди них раздоры мечом. Царь предоставляет место для состязания тому, кто хочет сразиться, и присутствует сам, если это знатные лица, награждая победителя золотой цепью. Первый попавшийся, которому захочется завоевать такую цепь, может вступить в бой с ее обладателем, и случается, что тому приходится выдерживать несколько таких поединков.

Если бы мы хотели превзойти нашего врага доблестью и иметь возможность расчитаться с ним, то мы огорчились бы, если бы он избежал этого, в случае, например, смерти; ведь мы хотим победить и добиваемся не столько почетной, сколько верной победы, мы стремимся не столько к славе, сколько к тому, чтобы положить конец ссоре. Подобную ошибку совершил по своей порядочности Азиний Поллион: ⁷написав множество инвектив против Планка, он стал дожидаться его смерти, чтобы выпустить их в свет. Это походило на то, как если бы показать кукиш слепому или обрушиться бранью на глухого, и меньше всего можно было рассчитывать оскорбить этим Планка. Поэтому по адресу Поллиона и было сказано, что только червям дано точить мертвецов. О чем свидетельствует поведение того, кто дожидается смерти автора, с писаниями которого он хочет бороться, как не о том, что он сварлив и бессилён?

Аристотелю рассказали, что кто-то клеветает на него. «Пусть он отважится на большее, — ответил Аристотель, — пусть бичует меня, лишь бы меня там не было».⁸

Наши предки довольствовались тем, что отвечали на оскорбительные слова обвинением во лжи, на обвинение во лжи — ударом, и так

далее, все усиливая оскорбления. Они были достаточно храбры и не боялись встретиться лицом к лицу с оскорбленным ими врагом. Мы же трепещем от страха, пока видим, что враг жив и здоров. Не свидетельствует ли о том, что это именно так, наше великолепное нынешнее обыкновение преследовать насмерть как того, кто нас обидел, так и того, кого мы обидели сами?

Свидетельством трусости является также введенный у нас обычай приводить с собой на поединок секунданта, а не то даже двух или трех. В прежние времена бывали единоборства, а сейчас у нас — это стычки или маленькие сражения.⁹ Тех, кто их выдумал, страшило одиночество: *cum in se cuique minimum fiduciae esset*.¹⁰ Ведь вполне понятно, что, когда в момент опасности с тобой находятся еще несколько человек, то, кем бы они ни были, уж само их присутствие всегда приносит облегчение и подбадривает. В прежние времена в обязанности третьих лиц входило следить за тем, чтобы не было нарушений порядка или какого-нибудь подвоха, и они же должны были являться очевидцами исхода сражения; но с тех пор, как повелось, что они должны сами принимать участие в этих сражениях, всякий такой человек уже не может без ущерба для своей чести оставаться зрителем из опасения быть обвиненным в трусости или недостатке дружбы. Я нахожу, что это несправедливо, ибо гнусно для защиты своей чести привлекать кого бы то ни было, кроме самого себя; а помимо того, я еще считаю, что для порядочного человека, целиком полагающегося на себя, недопустимо заставлять другого разделять его судьбу. Всякий человек достаточно подвергает себя опасности ради самого себя, и не следует, чтобы он подвергал себя им еще ради кого-нибудь другого; и с него хватает заботы о том, как бы отстоять свою жизнь собственными силами, не отдавая столь драгоценную вещь в чужие руки. А между тем, если в условиях поединка не оговорено противное, он неизбежно превращается в сражение по меньшей мере четырех бойцов. Если ваш секундант повержен на землю, вам предстоит, по правилам, биться одновременно с двумя. Да разве это не плутовство? Ведь это все равно, как если бы человек хорошо вооруженный и напал на имеющего в руках лишь рукоять без клинка или целый и невредимый на раненого.

Но если подобных преимуществ вы лично добились, сражаясь, вы вправе ими воспользоваться, не боясь упреков. Неравенство в вооружении и состоянии сражающихся учитывается лишь в момент начала боя, а дальше уже вы должны положиться на собственную удачу. Если на поединке ваши два секунданта будут убиты и вам придется одному сражаться против троих, ваших противников столько же мало можно будет упрекнуть за это, как и меня в том случае, если бы на войне я пронзил шпагой одного из врагов, имеющего против себя одного троих наших.

Всегда там, где рать стоит против рати (как это было, например, когда наш герцог Орлеанский вызвал на бой короля Генриха английского, с сотней своих бойцов против ста англичан с их королем, или во время битвы аргивян со спартанцами, где решено было сражаться тремстам воинам против трехсот, или когда трое бились против троих, как было в битве Горациев против Куриациев¹¹), множество воинов, выставленное каждой стороной, рассматривается как один человек. Всюду там, где налицо несколько сражающихся человек, битва полна превратностей и исход ее смутен.

У меня есть свои личные основания интересоваться этой темой: мой брат, сьер де Матекулон,¹² был приглашен в Риме одним мало знакомым ему дворянином в качестве секунданта на дуэли между ним и другим дворянином, который вызвал его. В этом поединке моему брату пришлось скрестить шпагу с человеком, который был ему более знаком и близок, чем дворянин, ради которого он принял участие в этой дуэли (хотел бы я, чтобы мне когда-нибудь разъяснили смысл этих законов чести, которые так часто идут вразрез с разумом и здравым смыслом!). Разделавшись со своим противником и видя, что оба главных дуэлянта еще целы и невредимы, мой брат напал на вызовщика. Мог ли он поступить иначе? Или ему следовало отойти в сторону и спокойно наблюдать, как тот, кто пригласил его секундантом, быть может, будет убит на его глазах? Ибо то, что он до сих пор сделал, не подвигало дела ни на шаг и спор оставался все еще неразрешенным! То великодушие, которое вы вполне можете и даже обязаны проявить по отношению к вашему личному врагу, если вы прижали его к стене или причинили уже ему какой-то огром-

ный ущерб, — я не представляю себе, как вы могли бы его проявить, когда дело идет не о ваших собственных интересах, а об интересах третьего лица, которому вы вызвались помогать. Мой брат не имел права быть справедливым и великодушным, подвергая риску успех лица, в распоряжение которого он себя предоставил. Вот почему, по незамедлительному и беспрекословному требованию нашего короля, он был освобожден из тюремного заключения в Италии.

Мы, французы, ужасные люди: не довольствуясь тем, что весь мир знает о наших пороках и безумствах по наслышке, мы еще ездим к другим народам, чтобы показать их воочию. Поселите троих французов вместе в ливийской пустыне — они и месяца не проживут, не поцапавшись друг с другом. Можно подумать, что эти путешествия предпринимаются нарочно для того, чтобы доставить иноземцам удовольствие полюбоваться нашими драмами, и главным образом тем из них, которые смеются над нашими бедами и злорадствуют по поводу них.

Мы ездим в Италию учиться фехтованию и, рискуя жизнью, практикуем это искусство, еще не научившись ему. Ведь по правилам обучения следовало бы сначала изучить теорию, а потом практику этого дела. Между тем наше обучение ведется в обратном порядке:

*Primitiae iuvenum miserae, bellique futuri
Dura rudimenta.*¹³

Я знаю, что фехтовальное искусство преследует полезные цели (в Испании, например, по словам Тита Ливия,¹⁴ однажды на поединке двух двоюродных братьев знатного происхождения старший благодаря опытности в военном деле и хитрости легко одолел самонадеянного младшего брата), и убедился на опыте, что умелое пользование этим искусством придавало некоторым необычную храбрость; но это не мужество в истинном смысле слова, ибо оно происходит не от природной смелости, а от ловкости. Доблесть в сражении состоит в соревновании храбрости, а эта последняя не приобретается путем обучения. Так, один мой приятель, считавшийся большим знатоком фехтовального искусства, выбирал для своих поединков такого рода оружие, которое лишало бы его возможности воспользоваться своим

преимуществом и при котором все целиком и полностью зависело бы от удачи и уверенного поведения; он не желал, чтобы его успех приписывали не его мужеству, а искусству в фехтовании. В годы моего детства дворяне избегали приобретать репутацию искусных фехтовальщиков, ибо она считалась унижительной и уклонялись от обучения этому искусству, покаяющемуся на ловкости и не требующему подлинной и неподдельной доблести:

Non schivar, non parar, non ritirarsi
 Voglion costor, ne qui destrezza ha parte.
 Non danno i colpi finti, hor pieni, hor scarsi;
 Toglie l'ira e il furor l'uso del arte.
 Odi le spade horribilmente urtarsi
 A mezzo il ferro; il pie d'orma non parte:
 Sempre e' il pie fermo, e la man sempre in moto;
 Ne scende taglio in van, ne punta a voto.¹⁵

Военными упражнениями наших отцов были такие подобию битв, как турниры, стрельба в цель, стычки у барьера; а наши поединки считались тем менее почтенными, что они преследуют лишь частные наши цели: на них мы только уничтожаем друг друга, вопреки существующим законам и правосудию, и они всегда приносят лишь вред и ущерб. Гораздо более достойное и подходящее дело — заниматься такими вещами, которые не портят, а укрепляют наши нравы и направлены к обеспечению общественной безопасности и славы.

Консул Публий Рутилий¹⁶ впервые ввел военное обучение для воинов, установив, что при обращении с оружием искусство должно сочетаться с доблестью, но не в интересах частных лиц; а в интересах римского народа, для разрешения его военных споров. Уменьше вести войну должно быть всеобщим и общегражданским делом. Кроме Цезаря, отдавшего во время битвы при Фарсале приказ своим воинам целиться воинам Помпея прямо в лицо,¹⁷ многие другие полководцы изобретали особые способы борьбы, новые виды обороны и нападения в зависимости от требований момента. Но Филопмен¹⁸ осудил кулачный бой, в котором он не имел себе равных, поскольку подготовка к нему была совершенно отлична от военного обучения,

ибо он считал, что только почтенные люди должны упражняться в нем. Подобно этому и я считаю, что та ловкость, которую с помощью новейших способов обучения стремятся привить молодежи, те особые выпады и парады, в которых ей советуют упражняться, не только совершенно бесполезны, но скорее даже вредны, если их применять в настоящем сражении.

Вот почему военные люди в наше время пользуются в бою совсем особыми видами оружия, лучше всего для этой цели приспособленными. И не раз при мне выражали неодобрение дворянину, который, будучи вызван на поединок на шпагах и кинжалах, являлся на место боя в полном военном вооружении. Следует отметить, что платоновский Лахес,¹⁹ говоря о военном обучении, подобном нашему, заявляет, что никогда не видел, чтобы такая военная школа дала какого-нибудь видного полководца или хотя бы знатока военного дела. Наш опыт подтверждает это; но тут по крайней мере можно сказать, что это таланты, не имеющие отношения к обычному военному обучению. Платон запрещает при воспитании детей в своем государстве способы ведения кулачного боя, установленные Амиком и Эпеем, а также приемы борьбы, введенные Антеем и Керкионом, так как их цель отнюдь не в том, чтобы усовершенствовать военную подготовку молодежи или содействовать ей.²⁰

Но я несколько отклонился от моей темы.

Император Маврикий,²¹ будучи предупрежден некоторыми предсказаниями и сновидениями о том, что он будет убит неким неизвестным до этого времени солдатом Фокой, обратился к своему зятю Филиппу с вопросом, что представляет собой этот Фока, каков его характер, его душевные качества, нрав. И когда Филипп при перечислении его качеств упомянул о том, что он труслив и робок, Маврикий тотчас же на основании этого заключил, что он, следовательно, жесток и склонен к убийствам. Почему тираны так кровожадны? Не потому ли, что они заботятся о своей безопасности? Не потому ли, что их трусость видит лучшее средство избавиться от опасности в том, чтобы истребить всех, вплоть до женщин, кто только способен встать против них, кто может нанести им хотя бы малейший ущерб?

*Cuncta ferit, dum cuncta timet.*²²

Первые жестокости совершаются ради них самих, но они порождают страх перед справедливым возмездием, который влечет за собой полосу новых жестокостей с целью заглушить одни зверства другими. Македонский царь Филипп, которому приходилось столько цапаться с римским народом, напуганный тем, что совершенные по его приказанию убийства вызвали общий ужас и величайшее волнение, и не зная, как обезопасить себя от такой массы потерпевших от него в разное время людей, решил арестовать детей всех убитых и день за днем приканчивать их, чтобы таким путем добиться успокоения.²³ Благородные поступки всегда хороши, где бы они ни совершались. Я всегда более озабочен тем, чтобы трактуемые мною сюжеты были важны и полезны, чем последовательностью и стройностью моего повествования, и потому не боюсь привести здесь одно замечательное происшествие, несколько отклоняющееся от нити моего изложения.²⁴ В числе осужденных Филиппом был фессалийский князь Геродик. Вслед за ним Филипп умертвил еще и двух его зятьев, каждый из которых оставил после себя по малолетнему сыну. Теоксена и Архо — так звали двух оставшихся вдов. Теоксену никак не удавалось уговорить выйти вторично замуж, несмотря на самые настойчивые ухаживания. Архо вышла замуж за самого знатного человека среди энийцев, Пориса, и имела от него много детей, которые остались после ее смерти малолетними. Охваченная материнской жалостью к несчастным детям своей сестры, Теоксена, желая взять их под свое попечение и воспитать их, вышла замуж за Пориса. К этому времени был издан упомянутый выше указ Филиппа об аресте детей. Отважная Теоксена, опасаясь жестокости Филиппа и его разнузданных приближенных, способных на все по отношению к этим юным и прелестным детям, осмелилась заявить что она лучше убьет их собственными руками, чем отдаст палачам. Испуганный ее словами, Порис обещал спрятать их и затем увезти в Афины, чтобы там отдать на попечение своим преданным друзьям. Они воспользовались ежегодным праздником, который справлялся в Эносе в честь Энея и отправились туда всей семьей. Днем они присутствовали на праздничных обрядах и на общем пиру, а ночью погрузились в приготовленную заранее лодку с целью добраться морем до Афин.

Противный ветер помешал им в этом, и наутро, очутившись неподалеку от того места, откуда они вчера отплыли, они были замечены портовой стражей. Когда им предстояло уже быть вот-вот захваченными и Порис пытался убедить гребцов удвоить свои усилия, чтобы ускользнуть от преследователей, Теоксена, потеряв голову от любви к своим детям и жажды мести, вернулась к своему первоначальному намерению и стала готовить оружие и яд. Затем, показав все это детям, она сказала: «Дети, у меня осталось только одно средство защитить вас и сохранить вам свободу — это заставить вас умереть. Боги, внемля священному правосудию, рассудят это дело. В случае если мечи изменят вам, эти чаши откроют вам двери в тот мир. Будьте мужественны! Ты же, сын мой, так как ты старше всех, сам вонзи этот кинжал себе в грудь, чтобы умереть смертью храбрых». Дети, видя перед собой мать, бесстрашно призывавшую их скорее покончить с собой, и имея позади себя настигавших их врагов, бросились грудью на те лезвия, которые были к ним ближе всего, и полумертвые были сброшены в море. Теоксена, счастливая тем, что ей удалось так героически спасти всех своих детей, горячо обняла своего мужа и сказала: «Последуем, друг мой, за нашими детьми! Пусть будет у нас с тобой та радость, что мы окажемся с ними в одной могиле». Не разнимая рук, они, обнявшись, бросились в море, так что лодка была приведена к стоянке пустой.

Тираны, стремясь чинить две жестокости одновременно — убивать и вымещать свой гнев, — прилагают все усилия к тому, чтобы по возможности продлить казнь. Они жаждут гибели своих врагов, но не хотят их скорой смерти; им нужно не упустить возможность насладиться мезтью.²⁵ Они оказываются в связи с этим в затруднительном положении, ибо, если мучения нестерпимы, они коротки, если же они продолжительны, то тираны считают их недостаточно сильно действующими; и вот они начинают прибавлять свои орудия пытки. Тысячи подобных примеров мы встречаем в древности, и я не уверен, не сохраняем ли мы в себе, сами того не сознавая, некоторых следов этого варварства.

Все, что выходит за пределы обычной смерти, я считаю чистойшей жестокостью;²⁶ наше правосудие не может рассчитывать на то,

что тот, кого не удерживает от преступления страх смерти — боязнь быть повешенным или обезглавленным, — не совершит его из страха перед смертью на медленном огне или посредством колесования или из боязни колодок. И все же я не уверен, доводим ли мы таким путем осужденных до полного отчаяния. Действительно, каково должно быть душевное состояние человека, ожидающего в течение двадцати четырех часов смерти, или человека, которого колесуют или, по старинному обычаю, пригвозждают к кресту? Иосиф²⁷ рассказывает, что во время иудейской войны, проходя мимо одного места, где за три дня до того распяли нескольких евреев, он узнал среди них троих своих друзей, и ему удалось добиться того, что их сняли с крестов; двое из них, сообщает он, умерли, третий же прожил после этого еще несколько лет.

Халкондил,²⁸ автор, заслуживающий доверия, в записках, оставленных им о событиях, происшедших на его памяти и часто на его глазах, описывает как самую чудовищную ту казнь, которую нередко применял султан Мехмед: он приказывал одним ударом кривой турецкой сабли расцезать человека пополам по линии диафрагмы, так что люди умирали как бы двумя смертями одновременно; можно было видеть, рассказывает он, как обе части тела, полные жизни, продолжали еще некоторое время трепетать в муках. Не думаю, чтобы это было придумано им очень умно. Не всегда те казни, которые выглядят самыми страшными, являются самыми мучительными.

Я нахожу несравненно более жестокой ту казнь, которую тот же Мехмед, по словам некоторых историков,²⁹ применял к эфирским князьям: он приказывал сдирать с них заживо кожу частями, и таким коварно придуманным способом, что они мучились в течение двух недель.

А вот еще два примера. Когда Крез захватил одного вельможу, любимца своего брата, Панталеонта, он велел отвести пленника в мастерскую валяльщика, где приказал до тех пор скрести его скребками и чесать чесальными орудиями, пока тот не скончался.³⁰

Георгий Секей, вождь тех польских крестьян, которые под предлогом крестового похода причинили массу бедствий, был разбит трансильванским воеводой и захвачен в плен.³¹ Целых три дня, раз-

детый донага, он был привязан к особым козлам для пыток, и всякий мог терзать его и издеваться над ним, как ему вздумается; за все это время остальным пленникам не давали ни есть, ни пить. Наконец, когда в нем теплилась еще жизнь, на его глазах его собственной кровью напоили его любимого брата Луку, о спасении которого он молил, принимая на себя одного вину за все совершенные ими дела. Его тело, изрубленное на мелкие куски, были вынуждены съесть двадцать его ближайших помощников; а то, что еще оставалось, и его внутренности сварили в котле и скормили остальным членам его отряда.



Г л а в а XXVIII

ВСЯКОМУ ОВОЩУ СВОЕ ВРЕМЯ

Те, кто сопоставляют Катона Цензора с умертвившим себя Катонем Младшим,¹ сравнивают двух замечательных людей, у которых есть много общего.

Катон Цензор проявил себя в более разнообразных областях и превосходит Катона Младшего своими военными подвигами и более плодотворной государственной деятельностью. Но доблесть Катона Младшего — не говоря уже о том, что кощунственно сравнивать с ним кого бы то ни было в этом отношении, — куда более безупречна. Действительно, кто решится утверждать, что Катон Цензор был свободен от зависти и честолюбия, когда он отважился посягнуть на честь Сципиона, самого выдающегося по своим достоинствам человека своего времени? Мне не кажется особенно лестным для Катона Цензора то, что он, как сообщают,² на старости лет принялся с величайшим усердием изучать греческий язык, словно стремясь утолить давнишнюю жажду. Это скорее говорит о том, что он стал впадать в детство. Все вещи — и похвальные, и обыденные — хороши в свое время; даже молитва может быть несвоевременной: ведь обвиняли же Тита Квинкция Фламинина в том, что в бытность его командующим армией его застали в разгар боя в укромном месте молящимся богу о сражении, в котором он одержал победу:³

*Imponit finem sapiens et rebus honestis.*⁴

Евдамид,⁵ глядя на то, как совсем уже дряхлый Ксенократ спешил на занятия в школу, с удивлением спросил: «Когда же он будет знать, если до сих пор все еще учится?»

Точно так же и Филопемён, обращаясь к тем, кто превозносил царя Птолемея за то, что он закалял себя ежедневно военными упражнениями, сказал: «Не похвально, чтобы царь в его возрасте упражнялся в военном искусстве; он должен был бы уже применять его на деле».⁶

По утверждению мудрецов, учиться надо смолоду, на старости же лет — наслаждаться знаниями.⁷ Самым большим пороком человеческой природы мудрецы считают непрерывное появление у нас все новых и новых желаний. Мы постоянно начинаем жить сызнова. Надо было бы, чтобы наше стремление учиться и наши желания с годами дряхлели, а между тем, когда мы уже одной ногой стоим в могиле, у нас все еще пробуждаются новые стремления:

Tu secunda marmora
Locas sub ipsum funus, et sepulchri
Immemor, struis domos.⁸

Я никогда не загадываю больше, чем на год вперед, и думаю тогда только о том, как бы закончить свои дни; я гоню от себя всякие новые надежды, не затеваю никаких новых дел, прощаюсь со всеми покидаемыми мною местами и ежедневно расстаюсь с тем, что имею: *Olim iam nec perit quicquam mihi nec acquiritur. Plus superest viatici quam viae.*⁹

*Vixi et quem dederat cursum fortuna peregi.*¹⁰

В конце концов единственное облегчение, даваемое мне старостью, состоит в том, что она убивает во мне многие желания и стремления, которыми полна жизнь: заботу о делах этого мира, о накоплении богатств, о величии, о расширении познаний, о здоровье, о себе. Бывает, что человек начинает обучаться красноречию, когда ему впору учиться, как ему сомкнуть свои уста навеки.

Можно продолжать учиться всю жизнь, но не начаткам школьного обучения: нелепо, когда старец садится за букварь.¹¹

*Diversos diversa iuvant, non omnibus annis
Omnia conveniunt.*¹²

Если надо учиться, будем изучать то, что под стать нашему возрасту; тогда мы сможем сказать, как тот, кто на вопрос, к чему ему эти занятия при его дряхлости, ответил: «Чтобы я мог лучше и легче уйти отсюда».¹³ Таков был смысл занятий Катона Младшего, когда он, почувствовав приближение смерти, углубился в диалог Платона о бессмертии души. Он обратился к Платону не потому, что не был уже с давних пор подготовлен к уходу из жизни: непоколебимости, твердой воли и умения у него было не меньше, чем он мог почерпнуть из писаний Платона; его самообладание и его знания в этой области были выше всех требований, предъявляемых философией. Он погрузился в Платона не с целью получить наставление, как умирать, а как тот, кто приняв столь важное решение, не желает ради него отказываться даже от сна; не меняя ничего в заведенном укладе жизни, он продолжал свои занятия наряду с другими своими привычными делами.

Ту самую ночь, когда его лишили претуры, он провел в игре, а ночь перед смертью провел за книгами. Утрата жизни и утрата должности равно казались ему чем-то незначительным.



Г л а в а XXIX

О ДОБРОДЕТЕЛИ

Я знаю по опыту, что следует отличать душевный порыв человека от твердой и постоянной привычки. Знаю я также прекрасно, что для человека нет ничего невозможного, вплоть до того, что мы способны иногда, как выразился некий автор,¹ превзойти даже божество, — и это потому, что гораздо больше заслуги в том, чтобы, преодолев себя, приобрести свободу от страстей, нежели в том, чтобы быть безмятежным от природы, и особенно замечательна способность сочетать человеческую слабость с твердостью и непоколебимостью бога. Но это бывает только порывами. В жизни выдающихся героев древности мы нередко наталкиваемся на поразительные деяния, которые, казалось бы, значительно превосходят наши природные способности. Но в действительности это лишь отдельные проявления. Трудно себе представить, чтобы эти возвышенные устремления так глубоко вошли в нашу плоть и кровь, что стали обычной и как бы естественной принадлежностью нашей души. Ведь даже нам, заурядным людям, удастся иногда подняться душой, если мы вдохновлены чьими-нибудь словами или примером, превосходящими обычный уровень; но это бывает похоже на какой-то порыв, выводящий нас из самих себя; а как только этот вихрь уляжется, душа съеживается, опадает и спускается, если не до самых низин, то во всяком случае до такого уровня, где она уже не та, какой только что была; и тогда по любому поводу — будь то разбитый стакан или упущенный со-

кол — наша душа приходит в ярость, подобно всякой самой грубой душе.

Я считаю, что даже весьма несовершенный и посредственный человек способен на любой возвышенный поступок; но ему всегда будет недоставать выдержки, умеренности и постоянства. Вот почему мудрецы утверждают, что судить о человеке надо основываясь главным образом на его обыденных поступках, наблюдая его повседневное существование.

Пиррон, который из нашего неведения сделал такую веселую науку, старался, как всякий подлинный философ, сообразовать свою жизнь со своим учением.² Он настаивал на том, что ввиду крайней слабости человеческого суждения человек не может произвести выбора и склониться в определенную сторону, и потому требовал, чтобы суждение всегда находилось в равновесии, чтобы все вещи были человеку безразличны. В связи с этим он, как передают, держался всегда одинаково и невозмутимо: если он начинал что-то говорить кому-нибудь, то непременно доводил свою речь до конца, даже если тот, к кому он обращался, уже ушел; он не сворачивал с пути, если встречал какие-нибудь препятствия, так что друзья оберегали его от ям или каких-нибудь других неожиданных случайностей. Бояться или избегать чего-нибудь значило бы для него отступить от своих убеждений, согласно которым даже чувства лишены достоверности и неспособны производить выбор. Он, не моргнув глазом, с поразительной выдержкой переносил боль, когда ему делали прижигания или какой-нибудь надрез. Немалое дело — усвоить себе подобные взгляды и еще труднее — хотя все же это в силах человеческих — добиться, чтобы слова не расходились с делами; но сообразовать их с такой твердостью и постоянством, чтобы они вошли в плоть и кровь (разумеется, когда дело идет о вещах необыденных), кажется невероятным. Вот почему, когда Пиррона однажды застали ссорящимся с сестрой и упрекнули в том, что он изменяет своей невозмутимости, он ответил: «Как! Разве еще и эта ничтожная бабенка должна служить подтверждением моих правил?» В другой раз, когда Пиррона застигли отбивающимся от злой собаки, он сказал: «Очень трудно освободиться от всего человеческого; приходится быть настороже и

бороться с обстоятельствами прежде всего делами, а на худой конец — с помощью разума и размышлений».³

Около семи или восьми лет тому назад один крестьянин, проживающий в каких-нибудь двух лье отсюда и здравствующий еще и поныне, жестоко страдал от своей жены, изводившей его своей ревностью. Однажды, когда он вернулся с работы и она стала угощать его своими обычными причитаниями, он разъярился до того, что отсек себе начисто бывшим у него в руках косарем те части, которые так тревожили ее, бросив их ей в лицо.

Недавно в Бражераке, в пяти лье от моего дома, вверх по реке Дордони, одна женщина, которую накануне избил и истерзал муж, пришла в такое отчаяние от его несносного характера, что решила ценой жизни избавиться от его жестокостей. На другой день с утра она, поздоровавшись, как обычно, со своими соседками и промолвив несколько бодрых слов о своих делах, взяла за руку свою сестру и отправилась с ней на мост; здесь она, как бы в шутку, простилась с сестрой и без всяких колебаний бросилась с моста в реку, где и погибла. В этом происшествии достойно внимания то, что женщина обдумывала свой план самоубийства в течение всей ночи.

Другое дело индийские женщины: согласно обычаю, мужья имеют не по одной, а по несколько жен и самая любимая из них лишает себя жизни после смерти мужа. Поэтому каждая из жен всю жизнь стремится завоевать это место и приобрести это преимущество перед остальными женами. За все заботы о своих мужьях они не ждут никакой другой награды, кроме как умереть вместе с ним:⁴

... ubi mortifero iacta est fax ultima lecto,
Uxorum fuis stat pia turba comis;
Et certamen habent leti, quae viva sequatur
Coniugium; pudor est non licuisse mori.
Ardent vittrices, et flammae pectora praebent.
Imponuntque suis ora perusta viris.⁵

Один современный нам автор пишет,⁶ что у некоторых восточных народов существует обычай, согласно которому не только жены хоронят себя после смерти мужей, но и рабыни, являвшиеся его-

возлюбленными. Делается это вот каким образом. После смерти мужа жена может потребовать, если ей угодно (но лишь очень немногие пользуются этим), три-четыре месяца на устройство своих дел. В назначенный день она садится на коня, празднично разодетая и веселая, и отправляется, по ее словам, почивать со своим мужем; в левой руке она держит зеркало, в правой — стрелу. Торжественно прокатившись таким образом в сопровождении родных, друзей и большой толпы праздных людей, она направляется к определенному месту, предназначенному для таких зрелищ. Это огромная площадь, посередине которой находится заваленная дровами яма, а рядом с ямой возвышение, на которое она поднимается по четырем-пяти ступеням, и ей туда подают роскошный обед. Насытившись, она танцует и поет, затем, когда ей захочется, приказывает зажечь костер. Сделав это, она спускается и, взяв за руку самого близкого родственника мужа, отправляется вместе с ним к ближайшей речке, где раздевается донага и раздает друзьям свои драгоценности и одежды, после чего погружается в воду, как бы для того, чтобы смыть с себя грехи. Выйдя из воды, она заворачивается в кусок желтого полотна длиной в четырнадцать локтей и, подав руку тому же родственнику мужа, возвращается вместе с ним к возвышению, с которого она обращается с речью к народу и дает наставления своим детям, если они у нее есть. Между ямой и возвышением часто протягивают занавеску, чтобы избавить женщину от вида этой горячей печи; но некоторые, желая подчеркнуть свою храбрость, запрещают всякие завешивания. Когда все речи окончены, одна из женщин подносит ей сосуд с благовонным маслом, которым она смазывает голову и тело, после чего бросает сосуд в огонь и сама кидается туда же. Толпа тотчас же забрасывает ее горящими поленьями, чтобы сократить ее мучения, и веселое празднество превращается в мрачный траур. Если же муж и жена — люди малосостоятельные, то труп покойника приносят туда, где его хотят похоронить, и здесь усаживают его, а вдова его становится перед ним на колени, тесно прильнув к нему, и стоит до тех пор, пока вокруг них не начнут возводить ограду; когда ограда достигает уровня плеч женщины, кто-нибудь из ее близких сзади берет ее за голову и удавливает ее; к тому времени,

когда она испускает дух, ограда бывает закончена, и супруги лежат за ней похороненные вместе.

Нечто подобное имело место в этой же стране с так называемыми гимнасофистами,⁷ которые без всякого принуждения с чьей бы то ни было стороны и не под влиянием какого-то внезапного порыва, а лишь в силу усвоенного ими обыкновения, достигнув определенного возраста или почувствовав приближение какой-нибудь болезни, приказывали приготовить костер, а над ним роскошное ложе; весело попировав с друзьями и знакомыми, они укладывались на это ложе с такой непоколебимостью, что даже когда под ними занимался огонь, они и пальцем не шевелили; так умер один из них, Калан, на глазах у всего войска Александра Великого.⁸

Они считали святыми и блаженными лишь тех, кто умер подобной смертью и отдал свою душу, предварительно очистив ее огнем и избавившись от всего земного и тленного.

Самым поразительным в этом обычае является предумышленность всех действий, то, что весь замысел остается неизменным в течение всей жизни.

Среди разных ведущихся нами споров есть спор о фатуме; когда мы хотим подчеркнуть неизбежность каких-нибудь вещей и даже наших желаний, то до сих пор пользуемся старинным рассуждением: раз бог знает наперед, что события произойдут именно так, а не иначе, то они и произойти должны в точности так, как он это предвидел. Но наши учителя отвечают на это: видеть, что данная вещь происходит, как видим мы и как видит сам бог (ибо, поскольку бог видит все, он, следовательно, не предвидит, а видит), еще не значит заставить ее совершиться, иначе говоря, мы видим потому, что данные вещи происходят, но это вовсе не значит, что они происходят потому, что мы их видим. Совершившееся обуславливает знание, но не знание предопределяет свершение тех или иных вещей. То, что мы видим происходящим, происходит, но оно могло совершиться и по-иному; в цепи причин, которые бог предвидит, имеются и так называемые случайные причины, и добровольные причины, зависящие от той свободы, которую он предоставил нашему выбору; он знает, что мы ошибемся потому, что мы захотим ошибиться.

Мне приходилось видеть, что многие военачальники вселяли бодрость в своих солдат верой в эту фатальную необходимость; ибо если для нашей гибели предназначен определенный час, то никакие вражеские пули, ни наша храбрость, ни наше бегство или трусость не в состоянии ни приблизить, ни отсрочить его. Это легко сказать, но попробуйте, как это сделать! Если верно, что сильная и решительная вера влечет за собой столь же решительные действия, приходится признать, что вера в наши дни стала очень слаба, — если только не допустить, что из презрения к каким-либо делам она склоняется к полному бездействию.

Именно об этом говорит сир Жуанвиль, очевидец, заслуживающий не меньшего доверия, чем другие, по поводу бедуинов, народа, смешавшегося с сарацинами, с которыми Людовик IX имел дело во время пребывания своего в Святой земле. По его словам, бедуины твердо верили, что день смерти каждого из них по какому-то предопределению предустановлен от века и потому шли в бой, не имея в руках ничего, кроме турецкой сабли, и совершенно нагими, не считая легкого полотняного покрывала. Самым свирепым проклятием, когда они ссорились между собой, были в их устах следующие слова: «Будь ты проклят, как тот, кто вооружается из страха смерти!»⁹ Вот пример совсем иной веры, чем наша.

Такого же порядка и та вера, пример которой был явлен в дни наших дедов двумя флорентийскими монахами. Поспорив о каком-то научном вопросе, они договорились, что оба взойдут на костер на городской площади в присутствии всего честного народа, чтобы таким образом окончательно выяснить, кто из них прав. И когда все было уже готово для испытания, которое вот-вот должно было совершиться, только неожиданная случайность помешала этому.¹⁰

Один молодой турецкий вельможа совершил геройский воинский подвиг пред лицом двух сошедшихся для боя армий Мурада и Гуниади.¹¹ Когда Мурад спросил турка, кто в него, столь еще молодого и неопытного — ибо он в первый раз участвовал в сражении, — вселил такую беззаветную отвагу, — турок ответил на это, что его главным наставником в доблести был заяц, и рассказал следующее: «Однажды, охотясь, я наткнулся на заячью нору, и, хотя со мной

были две великолепные борзые, я решил, во избежание неудачи, что вернее будет прибегнуть к луку, которым я хорошо владел. Я выпустил одну за другой все сорок стрел, которые были у меня в колчане, но без всякого успеха: я не только не попал в зайца, но даже не смог выгнать его из норы. После этого я натравил на него обеих моих борзых, но столь же безуспешно. Тогда я понял, что зайца охраняла сама судьба и что стрелы и меч опасны лишь с благословения судьбы, и не в нашей власти ускорить или задержать ее решение». Этот рассказ показывает, между прочим, насколько ум наш подвержен действию воображения.

Один очень пожилой человек, славившийся своим происхождением, достоинствами и ученостью, хвалился мне, что какое-то необыкновенное внушение побудило его переменить веру, причем внушение это было до такой степени странным и невразумительным, что я истолковывал его прямо в противоположном смысле: и он, и я называли его чудом, но каждый понимал это слово по-разному. Турецкие историки утверждают, что широко распространенное среди турок убеждение в том, что сроки их жизни раз и навсегда предопределены, придает им необычайную уверенность в опасных случаях.¹²

Я знаю одного великого государя, который умеет искусно пользоваться тем, что судьба к нему благосклонна.¹³

Не было на нашей памяти более замечательного примера отваги, чем проявленная теми двумя лицами, которые покушались на принца Оранского.¹⁴ Поразительно, как мог решиться на это дело осуществивший его второй из покушавшихся после того, как первого, сделавшего все от него зависящее, постигла полнейшая неудача! Как мог он решиться, действуя тем же оружием и на том же месте, напасть на человека, бдительность которого после недавнего урока была на страже и который находился в окружении целой свиты друзей у себя в зале, среди своих телохранителей, в преданном ему городе! Кинжал — вернейшее орудие смерти, но, поскольку он требует большей гибкости и силы в руке, чем пистолет, он легко может отклониться и изменить. Я не сомневаюсь в том, что второй заговорщик шел уверенно на смерть, так как ни один здравомыслящий человек не мог бы в таком положении тешить себя надеждами; и все поведе-

ние его в этом деле показывает, что у него не было недостатка ни в ясности мысли, ни в мужестве. Причины такой твердой убежденности могут быть разные, ибо наше воображение проделывает с самим собой и с нами все что угодно.

Покушение, которое осуществлено было около Орлеана,¹⁵ не имеет себе равных: решающую роль здесь сыграла удача, а вовсе не храбрость, и нанесенный удар не был бы смертельным, если бы не помогла случайность. Самая мысль стрелять издали и сидя верхом на лошади в человека, который тоже сидит на коне и находится в движении, говорит о том, что покушающийся предпочитал лучше погибнуть, чем не достигнуть своей цели. Это подтверждается тем, что последовало. Стрелявший был до такой степени опьянен мыслью о своем блестящем подвиге, что совершенно потерял голову и неспособен был думать ни о бегстве, ни о предстоящем допросе. Ему следовало просто-напросто присоединиться к своим, перебравшись через реку. Это средство, к которому я всегда прибегал при малейшей опасности и которое я считаю не сопряженным почти ни с каким риском, как бы ни широка была река, лишь бы только лошади было легко сойти в воду и на другой стороне виднелся бы удобный берег. Убийца принца Оранского,¹⁶ когда ему вынесли жестокий приговор, заявил: «Я был к этому готов; вы изумитесь моему терпению».

Ассасины,¹⁷ одно из финикийских племен, славятся среди магометан своим исключительным благочестием и чистотой нравов. Самым верным способом попасть в рай у них считается убить какого-нибудь иноверца. Нередко случалось поэтому, что один или два из них, ради столь важного дела презрев все опасности и обрешав себя на верную смерть, отправлялись убивать (слово *assassiner* 'убивать' происходит от названия этого народа) своего врага на глазах его соратников. Так был убит на улице своего города граф Раймунд Триполитанский.¹⁸



Г л а в а XXX

ОБ УРОДЦЕ¹

Рассказ мой будет очень простодушен, ибо судить о таких вещах я предоставляю врачам. Позавчера я видел ребенка, которого вели двое мужчин и кормилица, называвшие себя отцом, дядей и теткой ребенка. Они собирали подаяние, показывая всем его уродство. Ребенок имел в целом обычный человеческий вид, стоял на ногах, мог ходить и что-то лопотал, так же примерно как и все дети его возраста; он не хотел принимать никакой другой пищи, кроме молока своей кормилицы, а то, что в моем присутствии ему клали в рот, он немного жевал, а затем выплевывал, не проглотив; в его крике было что-то необычное, ему было только еще четырнадцать месяцев. Ниже линии сосков, он был соединен с другим безголовым ребенком, у которого задний проход был закрыт, а все остальное в порядке; одна рука была у него короче другой, но это оттого, что она была у него сломана при рождении. Оба тела были соединены между собой лицом к лицу в такой позе, как если бы ребенок поменьше хотел обнять большего. Соединявшая их перепонка была шириной не больше чем в четыре пальца, так что, если приподнять этого безголового ребенка, то можно было увидеть пупок второго; спайка проходила, таким образом, от сосков и до пупка. Пупка безголового ребенка не было видно в отличие от всей остальной видневшейся части его живота. Подвижные части тела безголового ребенка — руки, бедра, ягодицы, ноги — болтались вокруг второго ребенка, которому безголовый доходил до колен. Кормилица сообщала, что он мочится через

оба мочевых канала; таким образом, органы безголового ребенка и исправно действовали, и находились на тех же местах, что и у того другого, но только отличались меньшими размерами.

Это двойное тело, имевшее отдельные члены и заканчивавшееся одной головой, могло служить для нашего короля благоприятным предзнаменованием того, что под эгидой его законов могут объединяться различные части нашей страны; но, дабы не впасть в ошибку, пусть лучше вещи идут своим путем, ибо предпочтительно гадать о том, что уже произошло: *Ut cum facta sunt, tum ad coniecturam aliqua interpretatione revocantur.*² Так и об Эпимениде говорили, что он угадывает задним числом.³

Я видел недавно в Мекке одного пастуха, примерно лет тридцати, у которого не было ни малейшего намека на детородные органы; у него есть три отверстия, из которых у него беспрестанно выделяется моча; у него растет густая борода, и он любит касаться женского тела.

Те, кого мы называем уродами, вовсе не уроды для господ бога, который в сотворенной им вселенной взирает на неисчислимое множество созданных им форм; можно поэтому полагать, что удивляющая нас форма относится к какой-то другой породе существ, неизвестной человеку. Премудрость божия порождает только благое, натуральное и правильное, но нам не дано видеть порядка и соотношения всех вещей.

*Quod crebro videt, non miratur, etiam si cur fiat nescit. Quod ante non vidit, id, si evenerit, ostentum esse censet.*⁴

Мы называем противоестественным то, что отклоняется от обычного; однако все, каково бы оно ни было, соответствует природе. Пусть же этот естественный и всеобщий миропорядок устранил растерянность и изумление, порождаемые в нас новшествами.



Г л а в а XXXI

О ГНЕВЕ

О чем бы ни писал Плутарх, он всегда восхитителен, но особенно в своих суждениях о человеческих поступках. Взять, например, его замечательные суждения, высказанные в его сравнении Ликурга с Нумой по поводу того, как нелепо оставлять детей на попечении и воспитании родителей. В большинстве государств, как указывает Аристотель,¹ всякому отцу семейства предоставляется — все равно как у циклопов — воспитывать жен и детей как им вздумается, и только в Спарте и на Крите воспитание детей ведется по установленным законам. Кому не ясно, какое важнейшее значение имеет для государства воспитание детей? И тем не менее, без долгих размышлений, детей оставляют на произвол родителей, какими бы взбалмошными и дурными людьми они ни были.

Сколько раз, проходя по улицам, я испытывал желание устроить скандал, заступившись за какого-нибудь малыша, которого потерявший от гнева голову отец или мать колошматят, дубасят, избивают чуть ли не до смерти! Поглядите, как они вращают глазами от ярости:

rabie iecur incendente, feruntur
Praecipites, ut saxa iugis abrupta, quibus mons
Subtrahitur, clivoque latus pendente recedit.²

А ведь, согласно Гиппократу,³ самые опасные болезни — это те, что искажают лица. Послушайте только, как неистово они орут на малютку, недавно, может быть, вышедшего из пеленок. В результате

дети бывают покалечены или навсегда оглушены ударами; а наше законодательство не обращает на это ни малейшего внимания, как если бы эти вывихнутые суставы не принадлежали членам нашего общества:

Gratum est quod patriae civem populoque dedisti,
Si facis ut patriae sit idoneus, utilis agris,
Utilis et bellorum et pacis rebus agendis.⁴

Ни одна страсть не помрачает в такой мере ясность суждения, как гнев. Никто не усомнится в том, что судья, вынесший обвиняемому приговор в припадке гнева, сам заслуживает смертного приговора. Почему же в таком случае отцам и школьным учителям разрешается сечь и наказывать детей, когда они обуреваемы гневом? Ведь это не обучение, а месть. Наказание должно служить для детей лечением, но ведь не призвали бы мы к больному врача, который пылал бы к нему яростью и гневом.

Мы сами, желая быть на высоте, никогда не должны были бы давать волю рукам по отношению к нашим слугам, пока мы обуреваемы гневом. До тех пор, пока пульс наш бьется учащенно и мы охвачены волнением, отложим решение вопроса; когда мы успокоимся и остынем, вещи предстанут нам в ином свете, а сейчас нами владеет страсть, это она подсказывает нам решение, а не наш ум.

Рассматриваемый сквозь призму этой страсти проступок приобретает увеличенные размеры, подобно очертаниям предметов, скрытых туманом. Голодный набрасывается на мясо, но желающий применить наказание не должен испытывать ни голода, ни жажды.

Кроме того, наказания, продуманные и взвешенные, воспринимаются наказуемым более снисходительно и приносят ему большую пользу. В противном случае он не считает, что был справедливо наказан человеком, охваченным гневом и яростью; наказуемый ссылается в свое оправдание на взвинченность своего хозяина, на его горящие щеки, необычные бранные слова, на его возбуждение и неистовую стремительность:

Ora tument ira, nigrescunt sanguine venae,
Lumina Gorgoneo saevius igne micant.⁵

Светоний сообщает, что, когда Луций Сатурнин осужден был Цезарем, ему удалось путем апелляции к народному собранию добиться пересмотра приговора, поскольку он ссылался на вражду и неприязнь Цезаря, которыми продиктовано было его решение.⁶

Слово и дело — разные вещи, и надо уметь отличать проповедника от его проповеди. Те, кто в настоящее время старается подорвать основы нашей религии, ссылаясь на пороки служителей церкви, бьют мимо цели; истинность нашей религии зиждется не на этом; такой способ доказательства нелеп и способен лишь все запутать. У добропорядочного человека могут быть ложные убеждения, а с другой стороны, заведомо дурной человек может проповедовать истину, сам в нее не веря. Разумеется, это прекрасно, когда слово не расходится с делом, и я не буду отрицать, что, когда словам соответствуют дела, слова более вески и убедительны; вспомним ответ Евдамида, который, услышав философа, рассуждавшего о военном деле, сказал: «Эти рассуждения превосходны. Плохо только то, что нельзя положиться на человека, который их высказывает, ибо его уши не привыкли к звуку военной трубы».⁷ Клеомен же, услышав ритора, разглагольствовавшего о храбрости, громко расхохотался и в ответ ритору, возмущившемуся его поведением, сказал: «Я повел бы себя так же, если бы о храбрости щебетала ласточка; но если бы это был орел, я с удовольствием послушал бы его».⁸ Мне кажется, что в писаниях древних авторов можно ясно различить следующее: автор, высказывающий то, что он думает, выражает свои мысли более убедительно, чем тот, кто подделывается. Прислушайтесь к тому, как о любви к свободе говорит Цицерон и как о том же говорит Брут; сами писания Брута неопровержимо доказывают, что это был человек, готовый заплатить за свободу ценою жизни. Послушайте отца красноречия, Цицерона, рассуждающего о презрении к смерти, и Сенеку, рассуждающего о том же: Цицерон говорит об этом длинно и тягуче, вы чувствуете, что он хочет убедить вас в том, в чем сам не уверен, он не придает вам духу, ибо ему и самому его не хватает; Сенека же вдохновляет и зажигает вас. Я всегда стараюсь узнать, что за человек был автор, в особенности когда дело идет о пишущих о доблести и об обязанностях.

Если в Спарте какому-нибудь человеку, известному распутным образом жизни, приходило в голову подать народу полезный совет, эфоры приказывали ему молчать и просили какого-нибудь почтенного человека приписать себе эту мысль и предложить ее.⁹

Писания Плутарха, если внимательно вчитаться в них, раскрывают нам его с самых разных сторон, поэтому мне кажется, что я знаю его насквозь; и тем не менее я хотел бы, чтобы до нас дошли какие-нибудь воспоминания о его жизни; горя этим желанием, я с жадностью набросился на тот стоящий особняком рассказ о нем, за который я необычайно благодарен Авлу Геллию,¹⁰ оставившему нам закрепленное на бумаге сообщение о нравах Плутарха, как раз относящееся к трактуемой мной здесь теме о гневе. Один из рабов Плутарха, человек дурной и порочный, имевший, однако, понаслышке кой-какое понятие о наставлениях философии, должен был за какой-то совершенный им проступок понести, по повелению Плутарха, наказание плетьюми. Когда его стали бить, он сначала завопил, что его избивают зря, ибо он не виноват, но под конец пустился ругать и поносить своего хозяина, крича, что в нем нет ни на грош от философа, каковым он мнит себя: ведь твердил же он постоянно, что гневаться дурно, и даже написал об этом целую книгу, но то, что он сейчас, обуреваемый гневом, заставляет так свирепо избивать его, полностью опровергает его писания. На это Плутарх с полнейшим спокойствием ответил ему: «На основании чего, негодяй, ты решил, что я сейчас охвачен гневом? Разве на моем лице, в моем голосе, в моих словах есть какие-нибудь признаки возбуждения? Глаза мои не мечут молний, лицо не дергается, и я не воплю. Разве я покраснел? Или говорю с пеной у рта? Сказал ли я хоть что-нибудь, в чем мог бы раскаяться? Трепещу ли я, дрожу ли от ярости? Ибо именно таковы, да будет тебе известно, подлинные признаки гнева». И, повернувшись к тому, кто хлестал провинившегося, Плутарх приказал: «Продолжай свое дело, пока мы с ним рассуждаем». Таков рассказ Авла Геллия.

Архит Тарентский,¹¹ вернувшись домой из похода, где он был главным военачальником, нашел свое хозяйство в полном расстройстве: земли оставались необработанными из-за нераспорядитель-

ности управляющего: «Убирайся с глаз моих, — сказал он ему. — Если бы я не был охвачен гневом, я бы отделал тебя, как следует». Сам Платон, распалившись против одного из своих рабов, поручил Спевсиппу наказать его, не желая сам и пальцем тронуть раба, поскольку он был сердит на него. Спартанец Харилл,¹² обращаясь к илоту, который слишком непочтительно, даже нагло, разговаривал с ним, сказал ему: «Боже милостивый, если бы я не был разъярен, я бы убил тебя, не сходя с места».

Гнев — это страсть, которая любит себя и упивается собой. Нередко, будучи выведены из себя по какому-нибудь ложному поводу, мы, несмотря на представленные нам убедительные оправдания и разъяснения, продолжаем упираться вопреки истине, вопреки отсутствию вины. У меня удержался в памяти поразительный пример подобного поведения, относящийся к древности. Пизон,¹³ человек во всех отношениях отменно добродетельный, прогневался на одного своего воина за то, что он, вернувшись с фуражировки, не смог дать ему ясного ответа, куда девался второй бывший с ним солдат. Пизон решил, что вернувшийся солдат убил своего товарища, и на этом основании, долго не раздумывая, приговорил его к смерти. Когда осужденного привели уже к виселице, вдруг, откуда ни возьмись, появился потерявшийся солдат. Все войско необычайно обрадовалось его появлению, и после того, как оба приятеля крепко обнялись и по-братски расцеловались, палач повел их к Пизону, рассчитывая, что такой исход события доставит Пизону большое удовольствие. Но вышло как раз наоборот: со стыда и досады его еще не рассеявшийся гнев лишь еще более распалился и с молниеносной быстротой, внушенной яростью, Пизон решил, что ввиду невинности одного виноваты все трое, и отправил их всех на тот свет: первого солдата во исполнение того смертного приговора, который был ему вынесен, второго за то, что он своей отлучкой явился причиной присуждения к смерти его товарища, а палача за то, что он ослушался и не выполнил отданного ему приказа.

Те, кому приходится иметь дело с упрямыми женщинами, знают по опыту, в какое бешенство они приходят, если на их гнев отвечают молчанием и полнейшим спокойствием, не разделяя их возбуждения.

Оратор Целий¹⁴ был по природе необычайно раздражителен. Однажды, когда он ужинал с одним знакомым, человеком мягким и кротким, последний, не желая волновать его, решил одобрять все, что бы он ни говорил и во всем с ним соглашаться. Целий, не выдержав отсутствия всякого повода для гнева, под конец взмолился: «Во имя богов! Будь хоть в чем-нибудь несогласен со мной, чтобы нас было двое!» Точно так же и женщины: они гnevаются только с целью вызвать ответный гнев — это вроде взаимности в любви. Однажды, когда один из присутствующих прервал речь Фокиона и обрушился на него с резкой бранью, Фокион замолчал и дал ему полностью излить свою ярость. После этого, ни словом не упомянув о происшедшем столкновении, продолжал свою речь с того самого места, на котором его прервали.¹⁵ Нет ответа более уничтожающего, чем подобное презрительное молчание.

По поводу самого вспыльчивого человека во всей Франции (гневливость — всегда недостаток, но более извинительный для военного, ибо в военном деле бывают такие случаи, где без нее не обойдешься) я часто говорю, что это самый терпеливый из всех известных мне людей, умеющий обуздывать свой гнев: ибо гнев охватывает его с таким яростным неистовством —

magno veluti cum flamma sonore
Virgea suggeritur costis undantis aheni,
Exultantque aestu latices; furit intus aquai
Fumidus atque alte spumis exuberat amnis;
Nec iam se capit unda; volat vapor ater ad auras,¹⁶ —

что ему приходится делать невероятные усилия, чтобы умерить его. Что касается меня, то я не знаю страсти, для подавления которой я способен был бы сделать подобное усилие. Столь дорогой ценой я не хотел бы обрести даже мудрость. У этого военного я обращаю внимание не на то, что он делает, а на то, каких усилий ему стоит не поступать еще похуже.

Другой мой знакомый хвалился передо мной своим ровным и мягким нравом, и впрямь поразительным. В ответ я сказал ему, что в особенности для людей, занимающих, как он, высокое положение и

стоящих у всех на виду, чрезвычайно важно всегда проявлять хорошую выдержку, но что главное все же в том, чтобы ощущать ее в себе, в глубине души; а потому, по-моему, это плохой выход, если человек тайком непрерывно гложет себя: можно опасаться, что он желает поддержать эту видимость сдержанности, сохранить эту надетую на себя личину.

Пытаясь скрыть гнев, его загоняют внутрь; это напоминает мне следующий случай: однажды Диоген, заметив, как Демосфен, опасаясь, как бы его не увидел кто-нибудь в кабачке, стал прятаться в глубину его, закричал ему: «Чем больше ты пятишься назад, тем глубже ты в кабачок влезаешь».¹⁷ Я рекомендую лучше даже не кстати влечь оплеуху своему слуге, чем корчить из себя мудреца, поражающего своей выдержкой; я предпочитаю обнаруживать свои страсти, чем скрывать их в ущерб самому себе: проявившись, они рассеиваются и улечиваются, и лучше, чтобы жало их вышло наружу, чем отравляло нас изнутри. *Omnia vitia in aperto leviora sunt; et tunc perniciosissima, cum simulata sanitate subsidunt.*¹⁸

Я предупреждаю тех моих домашних, которые имеют право раздражаться, о следующем. Во-первых, чтобы они сдерживали свой гнев и не впадали в него по всякому поводу, ибо он не производит впечатления и не оказывает никакого действия, если проявляется слишком часто. К бессмысленному и постоянному крику привыкают и начинают презирать его. Крик, который слышит от вас слуга, укравший что-нибудь, совершенно бесполезен; слуга знает, что это тот же крик, который он сотни раз слышал от вас, когда ему случилось плохо вымыть стакан или неловко подставить вам скамеечку под ноги. Во-вторых, я предупреждаю их, чтобы они не гневались на ветер, то есть чтобы их попреки доходили до того, кому они предназначаются, ибо обычно они начинают браниться еще до появления виновника и продолжают кричать часами, когда его уже и след простыл;

*et secum petulans amentia certat.*¹⁹

Они воют уже не с ним, а с тенью его, и эти громы раздражаются уже там, где нет тех, против кого они направлены, где никто

больше ничем не интересуется, кроме того, чтобы кончилась эта суматоха. Я также против тех, кто спорит и возмущается, не имея перед собой противника; следует обращать свои филиппики против тех, к кому они относятся:

Mugitus veluti cum prima in proelia taurus
 Terrificos ciet atque irasci in cornua tentat,
 Arboris obnixus trunco, ventosque lacessit
 Ictibus, et sparsa ad pugnam proludit arena.²⁰

Когда на меня находит гнев, он охватывает меня со страшной силой, но вместе с тем мои вспышки носят весьма кратковременный и потаенный характер. Сила и внезапность порыва не доводят меня все же до такого помрачения рассудка, при котором я стал бы извергать без разбора всякие оскорбительные слова, совершенно не заботясь о том, чтобы мои стрелы попадали в самые уязвимые места, — ибо я обычно прибегаю только к словесной расправе. Мои слуги легче расплачиваются за крупные проступки, чем за мелкие, ибо мелкие проступки застают меня врасплох, и со мной в таких случаях происходит то же, что с человеком, находящимся на краю глубокого обрыва: стоит ему сорваться — и он сразу же покатится и, какова бы ни была причина его падения, будет продолжать катиться вниз со все возрастающей скоростью, пока не достигнет дна оврага. В случае серьезных проступков я получаю то удовлетворение, что каждый считает оправданным вызываемый им гнев; в таких случаях я горжусь тем, что действую вопреки его ожиданиям: я беру себя в руки и накладываю на себя узду, ибо в противном случае, если я поддамся приступам гнева, они могут увлечь меня слишком далеко. Я стараюсь поэтому не поддаваться им, и у меня хватает силы, если я слежу за этим, отбросить повод к гневу, каким бы значительным он ни был; но если мне не удалось предупредить вспышку и я поддался ей, она увлекает меня, каким бы пустячным поводом она ни была вызвана. Ввиду этого я сговариваюсь с теми, кто может вступить со мной в пререкания, о следующем: «Если вы заметите, — говорю я им, — что я вскипел первым, предоставьте мне нестись, закусив удила; а когда настанет ваша очередь, я поступлю так же». Буря разра-

жаѳся только из столкновения вспышек с двух сторон. Но это может произойти лишь добровольно с обеих сторон, ибо сами по себе вспышки эти возникают не в один и тот же момент. Поэтому, если одна сторона охвачена гневом, дадим ей разрядиться, и тогда мир будет всегда обеспечен. Полезный совет, но как трудно его выполнить! Мне случается иногда разыгрывать гнев ради наведения порядка в моем доме, не испытывая на деле никакого раздражения. По мере того как с годами я становлюсь более вспыльчивым, я учусь преодолевать такого рода настроения и буду стараться, если хватит сил, впредь быть тем более мягким и уступчивым, чем больше будет у меня законных оснований раздражаться и чем простительнее мне это будет; до настоящего же времени я был в числе тех, кому это наименее простительно.

В заключение еще несколько слов. Аристотель утверждает, что иногда гнев служит оружием для добродетели и доблести.²¹ Это правдоподобно; но все же те, кто с этим не согласны,²² остроумно указывают, что это — оружие с новым способом применения: ибо, в то время как обычно оружием владеем мы, данный род оружия сам владеет нами; не наша рука направляет его, а оно направляет нашу руку, не мы держим его, а оно нас.



Г л а в а XXXII

В ЗАЩИТУ СЕНЕКИ И ПЛУТАРХА

И Сенека, и Плутарх оба — настолько близкие мне авторы, они — такая незаменимая поддержка мне в моей старости и при писании этой книги, целиком созданной из взятых у них трофеев, что это обязывает меня вступить за их честь.¹

Что касается Сенеки, то среди неисчислимого множества книжнок, выпускаемых приверженцами так называемой реформированной религии в защиту своего дела, — книжонок, иной раз выходявших из-под пера вполне почтенных авторов (приходится горько жалеть, что они не посвящены более достойным сюжетам), мне пришлось натолкнуться на следующий памфлет.² Автор его, стремясь провести подробное сопоставление между правлением нашего покойного и злополучного короля Карла IX и правлением Нерона, сравнивает покойного кардинала Лотарингского с Сенекой.³ Он сопоставляет судьбы их обоих, каждый из которых был первым лицом при своем государе, сравнивает характер обоих, их поведение и образ действий. Проводя это сравнение, он оказывает, на мой взгляд, слишком много чести названному кардиналу, ибо, хоть я и принадлежу к тем, кто высоко ценит его ум, красноречие, преданность своей религии и верную службу королю, а также признает, насколько удачно для себя он родился в такой век, когда человек, подобный ему, оказался явлением совершенно новым и необычным, а вместе с тем и весьма необходимым для общественного блага, — ибо чрезвычайно важно было появление духовного лица столь глубокого благородства и до-

стоинства, богато одаренного и отвечающего свсему высокому назначению, — несмотря на все это, если уж говорить на чистоту, я считаю, что ему далеко до способностей Сенеки, что в его духовном облике нет той цельности, твердости и законченности, которые наблюдаются в Сенеке.

Итак, возвращаясь к упомянутой книге, отмечу, что она содержит весьма оскорбительный отзыв о Сенеке, основанный на упреках, подчерпнутых у Диона⁴ — историка, показаниям которого я совершенно не доверяю. Ибо прежде всего Дион крайне непостоянен: то он называет Сенеку мудрецом и смертельным врагом пороков Нерона, то, в других местах, изображает его человеком скупым, жадным, низким, честолюбивым, распутным и только прикидывавшимся настоящим философом. Однако же добродетель Сенеки так ярко и убедительно проступает в его писаниях, а опровержение некоторых обвинений, выдвигаемых Дионом против него, как например в чрезмерном богатстве или в слишком больших тратах, так напрашивается само собой, что я не поверю ни одному свидетелю, пытающемуся убедить меня в обратном. Кроме того, гораздо разумнее полагаться в таких вещах на римских историков, чем на греческих или каких-либо других иноземных. Но Тацит и другие римские историки с глубоким почтением отзываются о жизни и смерти Сенеки и изображают его нам человеком весьма достойным и весьма добродетельным во всех отношениях. Против отзыва Диона о Сенеке я приведу лишь один неопровержимый довод: он настолько искаженно судит о римских делах, что решается защищать дело Юлия Цезаря против Помпея и Антония против Цицерона.

Перейдем к Плутарху.

Жан Боден,⁵ выдающийся современный писатель, выделяющийся из толпы писак нашего времени своим большим здравомыслием, заслуживает всяческого внимания и уважения. Я нахожу несколько чересчур решительным одно из мест его сочинения «Метод легкого изучения истории», где он обвиняет Плутарха не только в незнании (тут я спорить не берусь, так как это не по моей части!), но также и в том, что этот автор часто пишет о вещах невероятных, от начала до конца выдуманных (таковы подлинные слова Бодена). Если бы

Боден просто сказал, что Плутарх изображает вещи не такими, каковы они в действительности, это было бы не очень серьезным упреком, ибо то, чего мы не видели своими глазами, мы берем из вторых рук и принимаем на веру, и я действительно замечаю, что Плутарх иногда сознательно рассказывает один и тот же эпизод различным образом; возьмем, например, его суждение о трех величайших полководцах, когда-либо живших на свете: в жизнеописании Ганнибала оно звучит совсем иначе, чем в жизнеописании Фламиния, и совершенно по-новому, на третий лад, в жизнеописании Пирра. Но обвинять Плутарха в том, что он принимал за чистую монету вещи невероятные и невозможные, это значит обвинять самого рассудительного автора на свете в неумении судить о вещах. В доказательство Боден приводит следующий пример. Плутарх рассказывает об одном спартанском мальчике, который, спрятав у себя под платьем украденную лисичку, предпочел, чтобы она прогрызла ему живот, лишь бы не сознаться в краже.⁶ Я нахожу прежде всего пример этот неудачным, ибо трудно установить предел наших душевных сил, между тем как о физических силах нам судить легче; поэтому если бы выбор надлежало сделать мне, я скорее выбрал бы пример из этой второй области. И тут можно найти примеры еще менее правдоподобные, вроде описанного Плутархом случая с Пирром:⁷ будто последний, несмотря на то что он был весь изранен, с такой силой ударил мечом по одному своему вооруженному до зубов врагу, что рассек его на двое с головы до пят, так что тело его разлетелось пополам. Я не вижу никакого особого чуда в примере, сообщаемом Плутархом, и не признаю извинения, которым Боден пытается защитить Плутарха, предваряющего свой рассказ словами: «говорят, будто», как это делают в тех случаях, когда хотят набросить на рассказ тень сомнения. Плутарх и впрямь не хотел ни сам признавать невероятных вещей, ни побудить нас верить в них, за исключением тех случаев, когда дело касается вещей, принимаемых из уважения к древней традиции или из почтения к религии. Что же касается слов «как говорят», то нетрудно убедиться, что Плутарх употребляет их здесь не с целью заронить в нас сомнение, так как сам же он в другом месте,⁸ касаясь вопроса о выдержке спартанских детей, приводит

примеры, имевшие место в его время, в которые еще труднее поверить; так, если взять пример, о котором Цицерон сообщил⁹ еще до Плутарха, а именно, что в их времена можно было встретить юношей, которых для доказательства их выдержки испытывали перед алтарем Дианы: их бичевали до крови, а они не только не кричали, но даже не разрешали себе издать стон, некоторые же добровольно позволяли засекачь себя на смерть. А вот еще пример, о котором также сообщает Плутарх¹⁰ наряду с сотней других свидетельствующих об этом лиц: во время жертвоприношения в рукав одного спартанского юноши попал горящий уголь; рукав воспламенился и рука юноши стала гореть, но он терпел до тех пор, пока запах паленого мяса не ударил в нос присутствующим. Согласно понятиям спартанцев, ничто не могло в такой мере затронуть их честь и в их глазах не было ничего более ужасного и позорного, как быть пойманным в момент кражи. Я до такой степени проникнут верой в величие этих людей, что рассказ Плутарха, вопреки Бодену, не только не кажется мне невероятным, но я не нахожу в нем даже ничего необычного и поразительного.

В истории Спарты можно найти тысячи гораздо более потрясающих и исключительных примеров; ее история кишит такими чудесами.

Марцеллин сообщает¹¹ по поводу воровства, что в его времена нельзя было придумать такой пытки, которая способна была бы заставить уличенных в этом весьма распространенном среди египтян преступлении хотя бы раскрыть свое имя.

Одного испанского крестьянина подвергли пытке, добиваясь, чтобы он выдал своих сообщников в убийстве претора Луция Пизона. В разгар своих мучений он завопил, что друзьям его нечего опасаться: пусть спокойно стоят на месте и смотрят на него; они тогда убедятся, что нет такой боли, которая могла бы вырвать у него хоть слово признания. В течение всего этого дня от него не могли добиться ничего другого. На следующий день, когда его привели, чтобы возобновить пытки, он с силой вырвался из рук стражи и, ударившись с размаху головой об стену, разможил себе череп и пал мертвым.¹²

Эпихарида, презрев жестокость приспешников Нерона и выдержав кандалы, бичевание и истязание колодками, не сказала в течение первого дня ни одного слова о заговоре, раскрытия которого от нее до-

бивались. На другой день, когда ее несли в кресле (ибо она не могла держаться на переломанных ногах), чтобы возобновить пытки, она продела шнур от своего платья через ручку кресла и, сделав петлю, просунула в нее голову и, навалившись на шнур всей тяжестью тела, удавилась. Найдя в себе достаточно мужества, чтобы умереть подобной смертью, избежав продолжения пыток и дав такое удивительное доказательство своей выдержки, не посмеялась ли она тем самым над тираном и не подала ли она и другим пример противодействия ему? ¹³

Порасспросите-ка наших конных стрелков о том, что им пришлось переживать во время происходивших у нас гражданских войн, — и они приведут вам замечательные примеры выдержки, упорства и сопротивления, проявленных в наш злосчастный век нашими современниками, гораздо более расслабленными и изнеженными, чем египтяне, — примеры, достойные сравнения с тем, какие мы сейчас привели относительно доблести спартанцев. Мне известно, что встречались простые крестьяне, которые шли на то, чтобы им поджаривали пятки, отрубали затвором ружья концы пальцев или так туго стягивали голову толстой веревкой, что глаза у них вылезали на лоб, лишь бы не платить требуемого от них выкупа. Я видел крестьянина, которого признали мертвым и оставили лежать голым во рву; шея у него совсем посинела и вздулась от веревки, которая все еще болталась на ней; накануне он был привязан ею к хвосту лошади, которая всю ночь волочила его за собой; на его теле было множество колотых ран, нанесенных кинжалом — не для того, чтобы убить, а чтобы причинить ему боль и напугать; он все это вытерпел вплоть до того, что лишился чувств и способности речи, ибо решил, как он потом рассказывал мне, лучше претерпеть тысячу смертей (и в самом деле, его страдания были не легче смерти!), чем согласиться на уплату выкупа: а ведь это был один из самых богатых крестьян в наших местах. А сколько было людей, которые мужественно шли на костер умирать за чужие идеи, непонятные и неизвестные им!

Я знал сотни женщин — говорят, что в этом отношении гасконцы занимают особо почетное место, — которые скорее согласились бы, чтобы их жгли раскаленным железом, чем отказались от своих слов,

брошенных в пылу гнева. От ударов или всякого иного принуждения их упорство лишь возрастает. Автор, сочинивший рассказ о женщине,¹⁴ которая, несмотря ни на какие угрозы и избиения, продолжала обзывать своего мужа вшивым, а когда, под конец, ее бросили в реку, она, идя ко дну, все еще поднимала кверху руки, делая вид, будто убивает вошь у себя на голове, — этот автор, повторяю, сочинил рассказ, который каждый день подтверждается примерами упорства женщин. А упорство — родная сестра выдержки, по крайней мере в смысле твердости и настойчивости.

Как я уже указывал в другом месте,¹⁵ не следует судить о том, что возможно и что невозможно, на основании того, что представляется вероятным или невероятным нашим чувствам, и грубая ошибка, в которую впадает большинство людей (в чем я, однако, не упрекаю Бодена), состоит в том, что они не хотят верить тому, чего не смогли бы сделать сами или не захотели бы сделать. Всякому кажется, что он совершеннейший образец природы, что он является пробным камнем и мерилом для всех других. Черты, не согласующиеся с его собственными, уродливы и фальшивы. Какая непроходимая глупость! Что касается меня, то я считаю множество людей стоящими значительно выше меня, особенно мужей древности; и, хотя я ясно сознаю свою неспособность следовать их примеру, я стараюсь все же не упускать их из виду, пытаюсь разобраться в причинах, поднимающих их на такую высоту, и иногда мне удается найти у себя слабые зачатки таких же свойств. Точно так же я веду себя и по отношению к самым низменным душам: я не удивляюсь им и не считаю их чем-то невероятным. Я прекрасно вижу, какой дорогой ценой великие мужи древности платили за свое возвышение, и восхищаюсь их величием; я перенимаю те стремления, которые, на мой взгляд, прекрасны, и если у меня не хватает сил следовать им, то во всяком случае мое внимание пристально обращено к ним.

Другой пример, приводимый Боденом из области невероятных и полностью вымышленных вещей, сообщаемых Плутархом, касается Агесилая, который был приговорен эфорами к штрафу за то, что снискал себе расположение и любовь своих сограждан. Я не понимаю, что неверного усматривает Боден в этом сообщении Плутарха, но во вся-

ком случае Плутарх сообщает здесь о вещах, которые ему были значительно лучше известны, чем нам; ведь в Греции было вполне обычным делом наказывать или изгонять людей только за то, что они чересчур потакали своим согражданам, доказательством чего служат остракизм и петализм.¹⁶

У Бодена есть еще одно обвинение, которое я воспринимаю как незаслуженную Плутархом обиду; а именно, Боден утверждает, что Плутарх добросовестен, когда сравнивает римлян с римлянами и греков с греками, но не в своих параллельных жизнеописаниях греков и римлян; доказательством могут служить, говорит он, сравнения Демосфена с Цицероном, Катона с Аристидом, Суллы с Лисандром, Марцелла с Пелопидом, Помпея с Агесилаем. Боден считает, что Плутарх обнаружил свое пристрастие к грекам, сопоставив их с лицами, которые были им совсем не под стать. Бросать Плутарху такое обвинение значит порицать в нем самое прекрасное, самое достойное похвалы: ибо в этих сопоставлениях (которые являются наилучшей частью творений Плутарха и которые, на мой взгляд, и сам он больше всего любил) верность и искренность его суждений не уступают их глубине и значительности. Здесь перед нами философ, наставляющий нас в добродетели. Посмотрим, сумеем ли мы снять с него приведенный выше упрек в предвзятости и искажении.

Поводом к такому суждению о Плутархе могло, мне кажется, послужить то великое преклонение перед именами римлян, которое тяготеет над нашими умами. Так, нам представляется, что Демосфен отнюдь не мог сравняться в славе с каким-нибудь консулом, проконсулом или квестором великой римской державы. Но кто захочет разобраться в истинном положении дел и в самих этих людях — к чему и стремился Плутарх, — кто захочет сопоставить нрав этих людей, их характеры и способности, а не их судьбы, тот согласится, думаю, со мной и, в отличие от Бодена, признает, что Цицерон и Катон Старший во многом уступают тем лицам, с которыми Плутарх их сравнивает. На месте Плутарха я скорее выбрал бы для осуществления его замысла параллель между Катонем Младшим и Фокионом, ибо при таком сопоставлении различие между сравниваемыми лицами было бы более убедительным и преимущество было бы на стороне

римлянина. Что касается Марцелла, Суллы и Помпея, то я охотно признаю, что их военные подвиги более доблестны, блестящи и значительны, чем подвиги тех греков, которых Плутарх сравнивает с ними. Однако в военном деле, как и во всяком ином, самые блестящие и доблестные подвиги отнюдь не являются самыми замечательными. Я нередко вижу, как имена полководцев меркнут перед именами людей с меньшими заслугами; примером могут служить имена Лабиена, Вентидия, Телесина и многих других.¹⁷ Если бы я с этой точки зрения захотел вступить за греков, то разве не мог бы я сказать, что Камилл¹⁸ куда менее годится для сравнения с Фемистоклом, братья Гракхи для параллели с Агисом и Клеоменом, Нума для сопоставления с Ликургом. Но ведь нелепо желать судить о столь многих вещах, сравнивая их лишь в одном отношении.

Когда Плутарх проводит сопоставление между ними, он не ставит между ними знака равенства. Кто в состоянии был бы с большей тщательностью и добросовестностью установить черты различия между ними? Сравнивая победы, воинские подвиги и мощь армий, возглавлявшихся Помпеем, с победами, подвигами и военной мощью Агесилая, Плутарх заявляет:¹⁹ «Я не думаю, чтобы даже Ксенофонт, если бы он был жив и если бы даже ему разрешили писать все, что угодно, в пользу Агесилая, отважился сравнить его с Помпеем». Сопоставляя Лисандра с Суллой, Плутарх пишет:²⁰ «Между ними не может быть никакого сравнения: ни по числу одержанных побед, ни по числу сражений, ибо Лисандр выиграл всего лишь две морские битвы», и т. д. Такие замечания Плутарха доказывают, что он ничего не отнимает у римлян; тем, что он просто сопоставляет их с греками, он несколько не умаляет их, как бы ни велико было различие между ними. К тому же Плутарх не сравнивает их в целом и никому не отдает предпочтения: он сопоставляет события и подробности одно за другим и судит о каждом из них в отдельности. Поэтому, кто хочет упрекнуть его в пристрастии, тот должен разобрать какое-нибудь отдельное его суждение, или сказать вообще, что он неудачно выбрал для сравнения такого-то грека с таким-то римлянином, так как есть другие лица, более подходящие для сравнения, и более соизмеримые фигуры.



Г л а в а XXXIII

ИСТОРИЯ СПУРИНЫ

Философия неплохо распорядилась своим достоянием, предоставив разуму верховное руководство нашей душой и возложив на него обуздание наших страстей. Кто считает самыми неистовыми страсти, порождаемые любовью, ссылается в подкрепление своей точки зрения на то, что они завладевают и душой и телом, заполняя человека целиком, так что даже здоровье его начинает зависеть от них и медицина иной раз вынуждена выступать здесь в роли посредницы.

Однако можно было бы возразить против этого, что вмешательство тела в наши страсти до известной степени снижает и ослабляет их, ибо такого рода желания утоляются, их можно удовлетворить материальным путем. Многие, стремясь избавиться от постоянных доук чувственных вожделений, прибегали к выхолащиванию и стерилизации. Другие подавляли пыл чувственных желаний, применяя холодные компрессы из снега или уксуса. Таково же было и назначение власяниц, вытканых из конского волоса, которые носили наши предки, одни в виде сорочек, другие в виде поясов, терзавших их чресла. Один вельможа рассказывал мне недавно, что в дни его молодости ему однажды взбрело в голову предстать на торжественном празднестве при дворе Франциска I¹, на которое все явились разряженными, одетым во власеницу, доставшуюся ему от отца; но при всем своем благочестии у него едва хватило терпения дожидаться ночи, чтобы поскорее сбросить ее с себя, и он долго болел после этого; нет такого юношеского пыла, — заявил в заключение мой зна-

комый, — которого применение этого средства не способно было бы убить. Но ему, по-видимому, неведомы были самые неистовые приступы этих вожделений, ибо опыт показывает, что нередко такие чувства скрываются под грубой и убогой одеждой и власяницы не всегда приносят блаженство тем, кто надевает их на себя. Ксенократ поступил более решительно; когда его ученики, желая испытать его выдержку, положили ему в постель прекрасную и прославленную куртизанку Лаису, полуобнаженную, у которой прикрыты были лишь ее прелести, он, чувствуя, что, вопреки его речам и правилам, тело его готово взбунтоваться, приказал прижечь возмутившиеся части тела.² Между тем душевные страсти, вроде честолюбия, скупости и тому подобных, больше зависят от нашего разума, ибо только он способен справиться с ними; эти желания к тому же неукротимы, ибо, утоляя, только усиливаешь и обостряешь их.

Достаточно привести в пример хотя бы Юлия Цезаря, чтобы убедиться в несходстве душевных и плотских страстей, ибо не было человека, который предавался бы любовным наслаждениям с большей яростью, чем Цезарь.³ Доказательством его приверженности к ним может служить его необычайно тщательный уход за своим телом; он доходил до того, что прибегал к самым утонченным средствам, применявшимся в его время, например ему выщипывали волосы на всем теле и умащивали самыми изысканными благовониями. Если верить Светонию, он был хорош собой: белокурый, высокий, статный, лицо полное, глаза черные и живые; однако сохранившиеся в Риме статуи Цезаря не подтверждают этого описания его наружности. Не считая его законных жен — а он был женат четыре раза, не говоря о его увлечении в ранней молодости царем Вифинии Никомедом, — ему отдала свою девственность прославленная египетская царица Клеопатра, родившая ему сына — Цезариона; у него была связь с мавританской царицей Евной, а в Риме — с Постумией, женой Сервия Сульпиция, с Лоллией, женой Габиния, с Тертуллой, женой Красса, и даже с Муцией, женой Помпея Великого, который по этой причине, как утверждают римские историки, развелся с нею⁴ (впрочем, Плутарх заявляет, что ему на этот счет ничего неизвестно). Когда же Помпей женился на дочери Цезаря, то оба Куриона, отец

и сын, упрекали Помпея в том, что он сделался зятем человека, который наставил ему рога и которого он сам часто называл Эгисфом.⁵ Кроме всех перечисленных связей, Цезарь был близок с Сервиллией, сестрой Катона и матерью Марка Брута, и, по единодушному мнению всех, этим объясняется чрезвычайная любовь Цезаря к Бруту, так как, судя по времени его рождения, Брут мог быть его сыном. Я имею поэтому, как мне кажется, право считать Цезаря человеком весьма распутным и необычайно склонным к любовным утехам. Но когда другая страсть, честолюбие, которое было у него не менее уязвимым местом, столкнулось с его пристрастием к женщинам, оно тотчас же отодвинуло его любовные дела на задний план.

Мне припоминается в этой связи завоеватель Константинополя, Мехмед, не оставивший в Греции камня на камне. Я не знаю человека, у которого обе эти страсти находились бы в таком совершеннейшем равновесии: он был такой же неутомимый распутник, как и вояка. Но когда случалось в его жизни, что обе эти страсти сталкивались, воинский пыл неизменно брал верх над любовным. Слостолюбие полностью поглотило его — хотя это было уже совсем не по времени — лишь в глубокой старости, когда бремя войны стало уже не по нем. Противоположностью Мехмеду может служить неаполитанский король Владислав.⁶ Достоинно внимания то, что сообщают о нем: прекрасный полководец, смелый и честолюбивый, он ставил, однако, превыше всего свое слостолюбие и обладание какой-нибудь редкой красавицей. Его смерть была под стать этому. Доведя длительной осадой город Флоренцию до такой крайности, что жители ее уже готовы были признать себя побежденными, он согласился снять осаду при условии, чтобы они выдали ему девушку необыкновенной красоты, о которой до него дошли слухи. Пришлось пойти на это и ценою попрапия чести одной семьи избежать общественного бедствия. Красавица эта была дочерью славившегося в те времена врача, который, очутившись в таком тяжелом положении, решился на крайность. Так как все наряжали его дочь и дарили ей украшения и драгоценности, которые должны были сделать ее еще более привлекательной для ее будущего возлюбленного, то и отец со своей стороны подарил ей платок замечательной работы и надушенный

необыкновенными духами; этим платком, который является у них обычной принадлежностью туалета, она должна была воспользоваться при первом же сближении с ним. Но, применив свое врачебное искусство, отец напитал платок этот ядом, который, быстро проникнув в открытые поры разгоряченных тел обоих возлюбленных, внезапно превратил их жаркие объятия в ледяные, и они скончались на руках друг у друга. Вернусь, однако, к Цезарю.

Он не жертвовал ради своих любовных походов ни одной минутой, ни одним случаем, которые могли бы содействовать его возвеличению. Честолюбие властвовало так безраздельно над всеми другими его страстями и до того заполняло его душу, что способно было увлечь его куда угодно. Меня охватывает досада при мысли о величии этого человека и замечательных задатках, которые таились в нем, о его обширнейших и разнообразных познаниях, благодаря которым не было почти ни одной науки, о которой бы он ни писал. Он был такой несравненный оратор, что многие ставили его красноречие выше цicerоновского, и сам Цезарь, по-моему, был убежден, что не намного уступает в этом Цицерону; оба антикатоновских памфлета были написаны Цезарем главным образом с целью парировать ораторское красноречие, обнаруженное Цицероном в его «Катоне». Кто мог сравняться с Цезарем в бдительности, неустанной деятельности и трудолюбию? Он несомненно обладал, помимо этого, еще многими другими исключительными задатками, яркими и неподдельными. Он был очень воздержан и поразительно непривередлив в еде: Оппий сообщает, что однажды, когда Цезарю было подано за столом в виде приправы консервированное оливковое масло вместо свежего, он ел его большими порциями, не желая ставить в неловкое положение хозяина дома.⁷ В другой раз Цезарь приказал наказывать плетью своего пекаря, подавшего ему другой хлеб, нежели всем остальным.⁸ Сам Катон говаривал о Цезаре, что он единственный из всех трезвым приступил к разрушению своего отечества.⁹ Правда, был случай, когда тот же Катон назвал Цезаря пьянчужгой. Произошло это вот как. Когда оба они находились в сенате, где обсуждалось дело о заговоре Катилины,¹⁰ причастным к которому многие считали Цезаря, Цезарю подали принесенную откуда-то секретную записку. Катон,

решив, что этой запиской остальные заговорщики о чем-то предупреждают Цезаря, потребовал, чтобы Цезарь дал ему ее прочесть, на что Цезарь вынужден был согласиться, чтобы не быть заподозренным в худшем. Это была любовная записка сестры Катона Сервилиии к Цезарю. Прочтя записку, Катон швырнул ее Цезарю со словами: «На, пьянчуга!» Но ведь этим бранным словом Катон хотел выразить Цезарю свой гнев и презрение, а вовсе не обвинить его всерьез в этом пороке, — совсем так, как мы часто ругаем тех, на кого сердимся, первыми же сорвавшимися с языка словами, совершенно неуместными по отношению к тем, к кому мы их применяем. К тому же порок, который Катон приписал в данном случае Цезарю, необычайно сродни той слабости, в которой Катон изобличил Цезаря, ибо, как гласит пословица, Венеру и Вакха водой не разольешь.

Но для меня лично Венера в союзе с трезвостью гораздо слагоднее.

Существует бесчисленное количество примеров снисхождения и великодушия Цезаря по отношению к своим противникам. Я имею в виду далеко не одни лишь случаи из времен гражданских войн: об относящихся к ним случаях Цезарь сам дает понять в своих писаниях, что проявлял мягкость с целью успокоить своих врагов и побудить их меньше опасаться его будущего владычества и победы. По поводу этих примеров надо признать, что если они не могут убедить нас в его природной мягкости, то они во всяком случае свидетельствуют о его поразительном мужестве и доверчивости. Ему случалось не раз после победы над врагами отпускать целые армии, не требуя от них даже клятвенного обещания, что они будут — не говоря уже о какой бы то ни было помощи ему — просто воздерживаться от войны с ним. Ему приходилось по три-четыре раза захватывать в плен некоторых полководцев Помпея и каждый раз отпускать их на свободу. Помпей объявлял врагами всех тех, кто не явится воевать вместе с ним, Цезарь же приказал заявить, что будет считать друзьями всех тех, кто не примкнет ни к той, ни к другой из борющихся сторон и фактически не выступит против него.¹¹ Тем из своих военачальников, которым случалось уходить от него ради более выгодных условий, он отсылал еще их оружие, лошадей и сна-

ражение.¹² Захватив тот или иной город, Цезарь предоставлял ему право примкнуть к какой угодно партии и оставлял в качестве гарнизона только память о своем милосердии и человечности. В решающий для него день Фарсальской битвы он приказал щадить римских граждан, за исключением только самых крайних случаев.¹³

Таковы рискованные, на мой взгляд, приемы Цезаря, и неудивительно поэтому, что во время нынешних гражданских войн те, кто, подобно ему, борются против старых порядков, не следуют его примеру, ибо это средства чрезвычайные, которые мог себе позволить только Цезарь с его необыкновенным счастьем и изумительной проницательностью. Когда я думаю о подавляющем величии этого человека, я оправдываю богиню победы, которая ни разу не пожелала разлучиться с ним, даже в названном мною весьма несправедливом и незаконном деле.¹⁴

Возвращаясь к милосердию Цезаря, следует отметить, что имеется много убедительных примеров его, относящихся ко времени господства Цезаря, когда в его руках была вся полнота власти и ему незачем было притворяться. Гай Меммий¹⁵ выступил против Цезаря с весьма острыми обличениями, на которые Цезарь отвечал с неменьшей запальчивостью, но это не помешало Цезарю вскоре после того поддержать кандидатуру Меммия в консулы. Когда Гай Кальв,¹⁶ сочинивший против Цезаря множество оскорбительных эпиграмм, изъявил через друзей желание примириться с ним, Цезарь с готовностью согласился первым написать ему. А когда наш славный Каттулл, который так отделал его под именем Мамурры, явился к нему с повинной, он в тот же день пригласил его к обеду. Узнав, что кое-кто злословит о нем, он ограничился заявлением в одной из своих публичных речей, что ему это известно. Как ни мало он ненавидел своих врагов, он еще меньше боялся их. Когда его предупредили о некоторых замышлявшихся покушениях на его жизнь, он удовольствовался опубликованием указа, в котором сообщал, что знает о них, и не применил к виновным никаких других кар. Достояна внимания заботливость Цезаря по отношению к друзьям: однажды, когда разъезжавший вместе с ним Гай Оппий плохо себя почувствовал, Цезарь уступил ему единственное имевшееся пристанище, а сам про-

вел ночь на голой земле и под открытым небом. Что касается его правосудия, то однажды он приговорил к казни своего любимого слугу за прелюбодеяние с женой одного римского всадника, хотя никто не принес ему на это жалобы. Ни один человек не проявлял большей умеренности после победы и большей стойкости в превратностях судьбы.

Но все эти отличные качества были омрачены и изуродованы его неистовым честолюбием, которое увлекло его так далеко, что — как это не трудно доказать — все его поступки и действия целиком определялись этой страстью. Обуреваемый ею, он для того, чтобы иметь возможность раздавать щедрые дары, превратился в расхитителя государственной собственности; ослепленный ею, он не постеснялся такой гнусности, как заявить, что самых отпетых и мерзких негодяев, помогавших ему возвыситься, он будет ценить и всячески поощрять ничуть не меньше, нежели самых достойных людей. Опьяненный безмерным тщеславием, он не постеснялся хвастаться перед своими согражданами тем, что ему удалось превратить великую римскую республику в пустой звук, а также заявить, что слова его должны считаться законом; он дошел до того, что сидя принимал весь состав сената и допускал, чтобы ему поклонялись и оказывали божеские почести. Словом, на мой взгляд, один этот порок загубил в нем самые блестящие и необыкновенные дарования, отпущенные ему природой; этот порок сделал его имя ненавистным для всех порядочных людей тем, что он стремился утвердить свою славу на обломках своего отечества, на разрушении самой цветущей и мощной державы в мире.

Можно было бы, наоборот, привести немало случаев, когда выдающиеся люди жертвовали делами государства ради своего честолюбия: взять, к примеру, Марка Антония и других; но я не сомневаюсь, что там, где любовь и честолюбие одинаково сильны и приходят в противоборство между собой, честолюбие неминуемо возобладает.

Возвращаясь к прерванной нити изложения, скажу, что великое дело — уметь обуздать свои страсти доводами разума или сдерживать неистовые порывы своего тела. Однако, чтобы кто-нибудь подвергал

себя бичеванию ради другого или чтобы кто-нибудь не только пожелал лишиться сладкой радости нравиться другому, вызывать к себе влечение, нежную страсть в этом другом, но и — больше того — возненавидел бы свою привлекательность, повинную в этом, осудил бы свою красоту за то, что она воспаляет другого, — примеров тому я не наблюдал. А между тем примеры тому бывали. Молодой тосканец Спурина —

Qualis gemma micat, fulvum quae dividit aurum,
Aut collo decus aut capiti; vel quale, per artem
Inclusum buxo aut Oricia terebintho,
Lucet ebur¹⁷ —

наделен был такой редкостной и неопикуемой красотой, что самые сдержанные люди не могли устоять против нее. Однако жар и пламя, все пуше разгоравшиеся от его чар, не только оставляли его холодным, но возбудили в нем лютую ярость против самого себя, против щедрых даров, отпущенных ему природой, как если бы он ответственен был за то, что другие оказались обделенными в этом отношении. Он дошел до того, что изуродовал себе лицо, нанеся себе множество ран и шрамов и полностью обезобразив ту гармонию и благообразие, которые природа так заботливо запечатлела в его чертах.¹⁸

Сказать по чистой совести, подобные поступки больше изумляют меня, чем восхищают: такие крайности противны моим правилам. Цель этого поступка прекрасна и высоконравственна, но все же, на мой взгляд, он не очень рассудителен. А что если бы его безобразие ввело людей в грех презрения или ненависти, или зависти к такой неслыханной славе, или, наконец, побудило к клевете, приписав его поступок бешеному честолюбию? Есть ли хоть какая-нибудь форма, которую порок не пожелал бы использовать, ища возможность проявиться? Было бы более правильно и честно, если бы он обратил эти дары неба в образец добродетели, в пример, достойный подражания. Те, кто уклоняются от исполнения общественного долга и от бесчисленного количества разнообразных обременительных правил, связывающих в общественной жизни безукоризненно честного человека, по-моему, сильно облегчают себе жизнь, с какими бы частными

неудобствами для них это не было связано. Это похоже на то, как если бы человек решил умереть с целью избавиться от жизненных тягот. Такие люди могут обладать разными достоинствами, но мне всегда казалось, что они лишены способности противостоять трудностям и что в беде нет ничего более высокого, чем стойко держаться среди разбушевавшихся волн, честно выполняя все то, что требует от нас долг. Иногда легче обходиться вовсе без женщин, чем вести себя во всех отношениях должным образом со своей женой, в бедности можно жить более беззаботно, чем при хорошо распределяемом достатке. Ведь разумное пользование доставляет больше хлопот, нежели воздержание. Умеренность — добродетель более требовательная, чем нужда. Доблестная жизнь Сципиона Младшего имеет тысячу разных проявлений, доблестная жизнь Диогена — только одно.

Жизнь Диогена настолько же превосходит своей чистотой обычную жизнь, насколько жизнь, заполненная выдающимися делами и подвигами, превосходит ее силой и большей пользой.



Г л а в а XXXIV

ЗАМЕЧАНИЯ О СПОСОБАХ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ

О многих полководцах рассказывают, что у них были свои настольные книги; так, например, у Александра Великого — Гомер, у Сципиона Африканского — Ксенофонт, у Марка Брута — Полибий, у Карла V — Филипп де Коммин; говорят, что в наше время таким же успехом пользуется у многих Макиавелли. Однако несомненно наилучший выбор в этом отношении сделал покойный маршал Строщи,¹ избравший «Записки» Юлия Цезаря, ибо это сочинение, являясь подлинным и высшим образцом военного искусства, поистине должно быть молитвенником всякого воина. К тому же Цезарь сумел облечь свой богатейший сюжет в столь изящную и прекрасную литературную форму и довести ее до такой ясности и совершенства, что, на мой взгляд, нет сочинения, которое могло бы с ним в этом отношении сравниться.

Я хочу отметить здесь некоторые примечательные особенности Цезаря в деле ведения войны, которые врезались мне в память.

Когда на солдат Цезаря напал страх из-за распространившихся в его войске слухов об огромной армии, которую Юба ведет против Цезаря, последний, вместо того чтобы опровергнуть составившееся у его солдат представление и преуменьшить силы врага, собрал их на сходку с целью ободрить их и придать им мужества. Но он выбрал для этого совсем другой способ, противоположный обычно применяемому, а именно он посоветовал солдатам прекратить распрсы о чис-

ленности направляющихся против них неприятельских войск, ибо он имеет на этот счет весьма точные сведения, и тут он назвал им цифру, намного превосходившую ту, о которой шли слухи среди его солдат. Цезарь последовал в данном случае совету, который у Ксенофонта дает Кир; ибо обман не так страшен, когда враг оказывается на деле более слабым, чем ожидали, нежели тогда, когда враг оказывается более сильным, чем по слухам предполагали.²

Цезарь прежде всего приучал своих солдат к беспрекословному повиновению, требуя, чтобы они не интересовались планами своего полководца и не обсуждали их; для этого он сообщал им свои планы лишь в момент их выполнения. Ему доставляло удовольствие в тех случаях, когда солдаты угадывали его планы, сразу же менять их с целью обмануть солдат; он нередко так и делал: например, наметив стоянку в определенном месте, он, достигнув ее, продолжал идти вперед, удлиняя переход; такие вещи он особенно любил проделывать в ненастную погоду.³

Когда гельветы, в самом начале его похода в Галлию, отправили к Цезарю послов, прося у него разрешения пройти через римские владения, то, хотя он и решил им помешать в этом силой, однако притворился сговорчивым и попросил у них несколько дней якобы для размышлений, в действительности же чтобы выиграть время и собрать свою армию.⁴ Несчастные гельветы и не подозревали, как искусно он умел использовать время. Цезарь неоднократно повторял, что умение вовремя воспользоваться случаем — одно из важнейших качеств полководца; быстрота, характерная для его военных действий, поистине неслыханна и невероятна.

Беззастенчиво используя преимущество, которое он получал над врагом, заключая с ним временное соглашение, Цезарь был беззастенчив и в том отношении, что от своих солдат не требовал никаких других качеств, кроме доблести, и налагал наказания только за неповиновение и бунт.⁵ Нередко, после одержанной победы, он давал солдатам полную волю, предоставляя им делать что угодно и освобождая их на некоторое время от правил воинской дисциплины; при этом он говорил, что солдаты его так хорошо вышколены, что даже надушенные и напомаженные они яростно кидаются в бой.⁶ Цезарь

действительно любил, чтобы солдаты его имели богатое вооружение; он давал им позолоченные, посеребренные и украшенные рисунками латы, считая, что боязнь потерять в сражении свои роскошные доспехи заставит их биться с еще большим ожесточением. Обращаясь к солдатам, он называл их «друзья мои», как это делаем мы еще до сих пор; однако преемник Цезаря, Август, отменил этот обычай, считая, что Цезарь ввел его лишь по необходимости, находясь в трудном положении, чтобы польстить солдатам, которые шли за ним по собственной доброй воле;

Rheni mihi Caesar in undis
Dux erat, hic socius: facinus quos inquinat, aequat.⁷

Считая, что это несовместимо с достоинством императора и вождя армии, Август воссоздал прежний обычай называть их просто воинами.⁸

Однако наряду с этим вниманием к солдатам Цезарь проявлял большую суровость при наказании их. Взбунтовавшийся у Плаценции девятый легион Цезарь без всякого колебания распустил с позором, несмотря на то что Помпей еще не был побежден, и принял этих солдат обратно лишь после их долгих и усиленных просьб.⁹ Он приводил их к повиновению не мягкостью, а скорее своим авторитетом и храбростью.

Говоря о своем решении переправиться через Рейн в Германию, Цезарь заявляет,¹⁰ что считал несовместимым с достоинством римского народа, чтобы переправа его армии происходила на судах, и потому приказал построить мост, по которому должны были пройти его войска. Именно при таких обстоятельствах был воздвигнут этот великолепный мост, устройство которого он столь подробно рисует; нигде при изложении своих предприятий Цезарь не обнаруживает такой словоохотливости, как при описании своих изобретательных выдумок, осуществление которых требовало умелого применения рук.

Я обратил также внимание на то, что Цезарь придавал большое значение своим речам к солдатам перед боем, ибо в тех случаях, когда он хочет показать, что спешил или был застигнут врасплох,

он всегда указывает на то, что не имел даже возможности обратиться со словами ободрения к своим солдатам. Так было, например, перед крупным сражением с жителями Турне. Отдав необходимые распоряжения, сообщает Цезарь,¹¹ он поспешил со словами ободрения к солдатам, там, где их заставлял; попав к десятому легиону, он успел только кратко сказать воинам, чтобы они твердо помнили о своей прежней доблести, не падали духом и смело отражали натиск неприятельской армии. Так как враги подошли уже на расстояние летящей стрелы, Цезарь дал сигнал к бою. Быстро направившись в другое место для ободрения других отрядов, он застал солдат уже в самом разгаре сражения. Вот все, что сам Цезарь рассказывает об этом в приводимом месте. И надо признать, что во многих случаях эти речи Цезаря оказали ему огромные услуги. Речи Цезаря перед солдатами даже в его время пользовались такой популярностью, что многие его соратники собирали и хранили их; благодаря этому составились целые тома его речей, надолго его пережившие. Он говорил всегда так своеобразно, что близко знавшие его люди — и в том числе Август, — слушая чтения тех речей, которые были собраны, могли отличить в них отдельные фразы и даже слова, ему явно не принадлежавшие.¹²

Когда Цезарь впервые отправился из Рима с государственным поручением, он за неделю достиг реки Роны, причем рядом с ним в повозке находились один или два непрерывно записывавших за ним писца, а сзади воин, который держал его меч.¹³ И правда, мало кто, даже непрерывно двигаясь, мог бы соперничать с Цезарем в быстроте. Благодаря ей он всегда победоносный, оставив Галлию и, преследуя Помпея, направился в Бриндизи; за девятнадцать дней он покорил Италию и вернулся из Бриндизи в Рим. Из Рима он отправился в самые отдаленные области Испании, где преодолел величайшие трудности в войне против Афрания и Петрея¹⁴ и во время долгой осады Марселя. Отсюда он двинулся в Македонию, разбил римскую армию при Фарсале, затем, преследуя Помпея, переправился в Египет и покорил его. Из Египта он прибыл в Сирию и Понтийское царство, где нанес поражение Фарнаку.¹⁵ После этого он отправился в Африку, где разбил Сципиона и Юбу, и, вернув-

шись через Италию в Испанию, одержал победу над сыновьями Помпея.¹⁶

Ocior et caeli flammis et tigride foeta.¹⁷

Ac veluti montis saxum de vertice praecipit
Cum ruit avulsum vento, seu turbidus imber
Proluit, aut annis solvit sublapsa vetustas,
Fertur in abruptum magno mons improbus actu,
Exultatque solo, silvas, armenta virosque
Involvans secum.¹⁸

Говоря об осаде Аварика, Цезарь сообщает,¹⁹ что он, по своему обыкновению, день и ночь находился при работавших солдатах. Во всех важных военных операциях он всегда производил разведку сам и никогда не направлял своей армии в такое место, которое не было бы предварительно обследовано. Если верить Светонию, то Цезарь, решив переправиться в Британию, сначала сам обследовал, где и как лучше высадиться.²⁰

Он неоднократно повторял, что победу, одержанную с помощью ума, он предпочитает победе, одержанной мечом. Во время войны против Петрея и Афрания Цезарь не пожелал воспользоваться одним явно благоприятным для него обстоятельством, заявив, что надеется dokonать своих врагов с несколько большей затратой времени, но зато с меньшим риском.²¹

Во время той же операции Цезарь придумал замечательную штуку, приказав всему своему войску без всякой к тому необходимости переправиться вплавь через реку:

rapuitque ruens in proelia miles,
Quod fugiens timuisset, iter; mox uda receptis
Membra fovent armis, gelidosque a gurgite, cursu
Restituunt artus.²²

Я нахожу, что Цезарь при проведении своих предприятий был более сдержан и рассудителен, чем Александр Македонский; последний

как бы искал опасностей и бежал им навстречу подобно бурному потоку, который без разбора крушит и сметает все на своем пути:

Sic tauriformis volvitur Aufidus,
Qui regna Dauni perfluit Appuli,
Dum saevit, horrendamque cultis
Diluvium meditatur agris.²³

Дело в том, что Александр начал свое поприще еще будучи очень молод, находясь в самом пылком возрасте, между тем как Цезарь вступил в игру уже будучи зрелым и опытным человеком. Кроме того, Александр обладал более горячим, вспыльчивым и необузданным характером, а пристрастие к вину еще усугубляло его буйный нрав, Цезарь же был необычайно воздержан в употреблении вина. Однако в случае необходимости, если того требовали обстоятельства, не было человека, который щадил бы себя меньше, чем Цезарь.

Что касается меня, то во многих его подвигах я усматриваю готовность лучше погибнуть, чем снести позор поражения. Во время упомянутой битвы против обитателей Турне Цезарь, видя, что весь головной отряд его армии дрогнул, спешно пробрался в первые ряды своих солдат, представ перед врагом как был, без щита;²⁴ и такие вещи случались с ним не раз. Услышав, что солдаты его осаждены, он, переодетый, пробрался через передовые посты неприятельской армии, чтобы ободрить их своим присутствием.²⁵ Переправившись в Диррахий с очень незначительным войском и видя, что остальная часть его армии, которую он поручил привести Антонию, замешкалась, он решил переплыть обратно и еще раз пересечь море, несмотря на неистовую бурю; он тайно направился в обратный путь с целью привести самому застрявшие войска, не считаясь с тем, что все тамошние порты и все участки моря контролировались флотом Помпея.²⁶

Что же касается подвигов Цезаря, совершенных с оружием в руках, то многие из них по своей дерзости превосходят все, что предписывается военной наукой: например, с какими ничтожными силами он двинулся, чтобы покорить Египет, а вслед затем напал на армии Сципиона и Юбы, в десять раз превышавшие численность его войск.

Такие люди, как Цезарь, должны были обладать какой-то сверхчеловеческой верой в свою судьбу.

Говорил же он, что великие дела надо совершать, а не обдумывать бесконечно.

После битвы при Фарсале, отправив свои войска вперед в Азию и переправляясь на единственном судне через Геллеспонт, он встретил Луция Кассия с десятью большими военными кораблями. У Цезаря хватило духу не только не отступить перед ним, но пойти прямо на врага и потребовать от него сдачи; и Цезарь добился своего.²⁷ Предприняв пресловутую жестокую осаду Алесии, где сосредоточено было 80 000 защитников, Цезарь фактически имел против себя всю Галлию, ибо галлы, все как один, поднялись против него, решив заставить его снять осаду и выставив армию из 18 000 человек конницы и 240 000 человек пехоты.²⁸ Какой же надо было обладать беззаветной смелостью и нерассуждающей верой в себя, чтобы не отказаться от своей затеи и решиться идти на преодоление двух таких гигантских трудностей одновременно. И все же он справился с обеими этими задачами: выиграв сначала крупнейшее сражение и сокрушив врага, находившегося вне Алесии, он вслед затем заставил сдаться ему на милость осажденных. Так же поступил и Лукулл при осаде Тигранокерты в войне с Тиграном; разница, однако, заключалась в том, что Лукуллу пришлось иметь дело с неприятелем, гораздо менее мужественным.²⁹

Говоря об осаде Алесии, я хотел бы отметить две необычные и поразительные особенности, связанные с этим делом. Первая особенность состоит в том, что галлы, собрав все, что они могли против Цезаря и произведя смотр своих сил, на своем совете решили не пускать в ход часть этой массы людей, опасаясь как бы при таком множестве воинов не произошло замешательства в их рядах. Этот страх перед чересчур многочисленным войском был явлением совершенно новым. Оценивая его по существу, следует признать правильным, что основной костяк армии должен быть не слишком велик: надо, чтобы он был ограничен сравнительно умеренными пределами, как принимая во внимание трудность организовать снабжение такого огромного войска, так и учитывая сложность руководства им и под-

держания в нем порядка. Во всяком случае нетрудно доказать на примерах, что такие гигантские по численности армии не совершали ничего значительного.

Надо признать правильным изречение Кира, приводимое у Ксенофонта,³⁰ что перевес в сражении дает не общее число бойцов, а количество смелых воинов, — все же остальные создают скорее помеху, чем оказывают помощь.

Баязид, решив, вопреки мнению всех своих военачальников, дать сражение Тамерлану, построил весь свой расчет на том, что надеялся на замешательство в чересчур многочисленной неприятельской армии.³¹

Очень опытный воин и хороший судья в этом деле, Скандербег любил повторять, что десяти-двенадцати тысяч преданных воинов достаточно, чтобы обеспечить полководцу славу во всяком военном деле.³²

Вторая особенность, которая противоречила принятому обычаю и способу ведения войны, состояла в том, что Верцингеториг, стоявший во главе объединенных сил всех частей восставшей Галлии, решил направиться к Алесии и подвергнуться там осаде.³³ Ведь вождь целой страны никогда не должен связывать себя, за исключением крайнего случая, когда речь идет о его последней крепости и единственной оставшейся надежде, — защищать ее до конца; во всех остальных случаях он должен быть свободен и иметь возможность приходить на помощь всем частям своей армии.

Возвращаясь к Цезарю, следует отметить, что, как сообщает близкий Цезарю человек — Оппий, с годами он стал более осмотрителен и не столь поспешен в своих действиях, полагая, что не должен рисковать славой, которую принесли ему его многочисленные победы, ибо достаточно одного поражения, чтобы погубить ее.³⁴

Именно эту сторону дела имеют в виду итальянцы, когда, порицая безрассудную смелость, нередко наблюдаемую у молодых людей, называют их «жаждущими славы» (*bisognosi d'onore*) и полагают, что они правы, если, страстно желая прославиться, добиваются этого любой ценой, но что так не должны поступать те, кто уже прославлен в достаточной мере. В стремлении к славе, как и во многом другом,

должна соблюдаться какая-то мера, равно как и в утолении этой жажды; немало людей именно так себя и ведет.

Цезарю было очень далеко до щепетильности тех древних римлян, которые стремились достичь военной победы лишь своей простой и безыскусственной доблестью; но и он руководствовался в этом деле более возвышенными представлениями, чем это делается в наше время, и не все средства были для него хороши, лишь бы одержать победу. Во время войны с Ариовистом,³⁵ в тот момент, когда Цезарь вел переговоры с ним, произошло столкновение между обеими армиями по вине всадников Ариовиста. Эта стычка была весьма на руку Цезарю, но он не пожелал ею воспользоваться из опасения, как бы его не стали упрекать в вероломстве.

Он имел обыкновение одеваться во время сражения в богатое платье яркого цвета, чтобы быть заметным.

Он был требователен по отношению к солдатам, но проявлял особую строгость к ним пред лицом врага.

Когда древние греки хотели изблечить кого-нибудь в полной бесталанности, они, по принятому изречению, говорили о таком человеке, что он не умеет ни читать, ни плавать. Цезарь тоже считал, что умение плавать весьма важно в военном деле, и извлекал из этого умения много выгод. Если ему нужно было спешить, он обычно переправлялся через встречавшиеся ему по пути реки вплавь; в походе же любил шествовать пешком, как Александр Великий. Во время войны в Египте Цезарь принужден был, чтобы спастись, прыгнуть в небольшую лодку, но, когда он увидел, что в нее же устремились многие его солдаты и лодка рискует пойти ко дну, он предпочел броситься в море и вплавь достиг своего флота, переплыв расстояние в 200 с лишним футов, держа в поднятой над водой левой руке таблички, а в зубах свою военную одежду, чтобы она не досталась врагу; и все это было проделано Цезарем, когда он был уже отнюдь не молод.³⁶

Ни один полководец не мог похвалиться большей преданностью своих солдат. В начале гражданской войны центурионы всех легионов предложили ему выставить каждый по одному всаднику за свой счет, а все пехотинцы предложили служить ему бесплатно, причем

солдаты побогаче брали на себя содержание менее достаточных.³⁷ Покойный адмирал Шатильон³⁸ явил нам подобный же пример во время наших гражданских войн: французские солдаты из его армии оплачивали из своих средств находившихся в их рядах иностранных наемников; подобных примеров горячей преданности и самоотверженности нельзя было встретить в лагере католической партии, среди сторонников старой веры.

Чувство диктует нам более повелительно, чем разум.

Во время войны с Ганнибалом солдаты и военачальники, следуя примеру щедрости римского народа, отказались от жалования, так что в лагере Марцелла³⁹ тех, кто не отказывался от жалованья, называли наемниками.

Когда солдаты Цезаря в битве под Диррахием понесли поражение, они сами потребовали для себя наказания, и Цезарю пришлось скорее утешать их, чем наказывать.⁴⁰ Одна единственная его когорта в течение четырех часов выдерживала натиск четырех легионов Помпея и почти до последнего человека была перебита тучей неприятельских стрел, так что под конец во рву было найдено 130 000 стрел.⁴¹ Один из его воинов, Сцева, защищавший ворота одного укрепления, держался непоколебимо, несмотря на то что у него был выбит глаз, а бедро и одно плечо пронзены насквозь и щит пробит ста двадцатью ударами.⁴² Многие его солдаты, попав в плен, предпочитали умереть, чем согласиться перейти на сторону врага. Граний Петроний⁴³ был захвачен в Африке Сципионом; последний приговорил к смерти всех находившихся с Петронием, а ему самому обещал помилование, ввиду того что он человек знатный и квестор. В ответ на это Петроний заявил, что воины Цезаря привыкли давать пощаду, но не получать ее от других, и с этими словами тут же покончил с собой.

Можно привести бесчисленное количество примеров преданности, выказанной Цезарю его солдатами. Нельзя забыть поведения тех, кто были осаждены в Салонах⁴⁴ (городе, стоявшем на стороне Цезаря, против Помпея), ввиду исключительности происшедшего здесь случая. Марк Октавий держал Салоны в блокаде; осажденные терпели нужду во всем до такой степени, что для того, чтобы пополнить

недостаток в людях — ибо большинство их было либо перебито, либо ранено, — они отпустили на свободу всех своих рабов и, обрезав волосы у всех женщин, свили из них веревки для своих метательных орудий. Помимо всего этого, они терпели ужасные муки из-за полного отсутствия продовольствия, но тем не менее были полны решимости ни в коем случае не сдаваться. Затянув таким образом осаду надолго и добившись того, что Октавий стал более небрежен и менее внимателен к своему делу, осажденные улучили однажды в полдень удобный момент. Они расставили на стенах своих укреплений жен и детей, чтобы сделать вид, что все в порядке, а сами с такой яростью набросились на осаждавших, что захватили один за другим первые четыре их лагеря, а потом и остальные, вытеснив их полностью из укреплений и заставив бежать на корабли. Сам Октавий спасся бегством в Диррахий, где находился Помпей. Я не могу припомнить другого подобного примера, чтобы осажденные наголову разбили осаждающих и взяли инициативу в свои руки; не помню я также случая, чтобы простая вылазка привела к столь полной и решительной победе.



Г л а в а XXXV

О ТРЕХ ИСТИННО ХОРОШИХ ЖЕНЩИНАХ

Всем известно, что хороших женщин не так-то много, не по тринадцать на дюжину, а в особенности мало примерных жен. Ведь брак таит в себе столько шипов, что женщине трудно сохранить свою привязанность неизменной в течение долгих лет. Хотя мужчины в этом отношении и стоят немного выше, однако и им это не легко дается.

Показателем счастливого брака, убедительнейшим доказательством его, является долгая совместная жизнь и была ли эта жизнь прожита в мире, согласии, без измен. В наше время — увы! — жены большей частью выказывают свои неустанные заботы и всю силу своей привязанности к мужьям, когда тех уже нет в живых; по крайней мере именно тогда жены стараются доказать свою любовь. Что и говорить — запоздалые, несвоевременные доказательства! Жены скорее, пожалуй, доказывают этим, что любят своих мужей мертвыми. Жизнь была наполнена пламенем раздоров, а смерть — любовью и уважением. Подобно тому как родители нередко таят любовь к детям, так и жены часто скрывают свою любовь к мужьям, соблюдая светскую пристойность. Эта скрытность не в моем вкусе: такие жены могут сколько угодно неистовствовать и рвать на себе волосы, я же в таком случае спрашиваю какую-нибудь горничную или секретаря: «Как они относились друг к другу? Как они жили друг с другом?» Я всегда припоминаю по этому поводу чудесное изречение: *iactantius maerent, quae minus dolent.*¹ Их отчаяние противно живым и не нужно

мертвым. Мы вполне за то, чтобы они радовались после нас, лишь бы они радовались вместе с нами при нашей жизни. Можно просто воскреснуть от досады, если та, кому наплевать было на меня при жизни, готова чесать мне пятки, когда я только-только испустил дух. Если, оплакивая мужей, жены проявляют благородство, то право на него принадлежит только тем, которые улыбались им при жизни; но жены, которые, живя с нами, грустили, пусть радуются после нашей смерти, пусть будет у них на лице то же, что и в душе. Поэтому не обращайтесь внимания на их полные слез глаза и жалобный голос: смотрите лучше на горделивую поступь, на цвет лица и округлившиеся щеки под траурным покрывалом: эти вещи раскроют вам гораздо больше, чем любые слова. Многие из них, овдовев, начинают телесно расцветать, — разве это не безошибочный показатель их самочувствия? Они блюдут установленные для вдов приличия не из уважения к прошлому, а в расчете на то, что их ждет: это — не уплата долга, а накопление для будущего. В дни моего детства одна почтенная и очень красивая дама, которая и сейчас еще жива, вдова одного принца, носила больше драгоценностей, чем положено по нашим обычаям для вдов. Когда это было поставлено ей на вид, она ответила: «Но ведь я не завожу больше новых привязанностей и не собираюсь вновь выходить замуж».

Не желая идти в разрез с принятым у нас обычаем, я расскажу здесь лишь о трех женах, вся глубина любви и доброты которых по отношению к их мужьям тоже проявилась в момент смерти последних; однако эти примеры несколько отличны от приведенных: здесь имели место крайние обстоятельства и женщины пожертвовали своей жизнью.

У Плиния Младшего,² около одной его усадьбы в Италии, был сосед, который невероятно страдал от гнойных язв, покрывавших его половые части. Жена его, видя долгие и непрестанные мучения своего мужа, попросила, чтобы он позволил ей самой осмотреть его, говоря, что никто откровеннее ее не скажет ему, есть ли надежда. Получив согласие мужа и внимательно осмотрев его, она нашла, что никакой надежды на выздоровление нет и что ему предстоит еще долго влачить мучительное существование. Во избежание этого она

посоветовала ему вернейшее и лучшее средство — покончить с собой. Но, видя, что у него не хватает духу для такого решительного поступка, она прибавила: «Не думай, мой друг, что твои страдания терзают меня меньше, чем тебя; чтобы избавиться от них, я хочу испытать на себе то самое лекарство, которое я тебе предлагаю. Я хочу быть вместе с тобой при твоём выздоровлении, так же как была вместе с тобой в течение всей твоей болезни. Отрешись от страха смерти и думай о том, каким благом будет для нас этот переход, который избавит нас от нестерпимых страданий: мы уйдём вместе, счастливые, из этой жизни». Сказав это и придав духу своему мужу, она решила, что они выбросятся в море из окна своего дома, расположенного у самого берега. И желая, чтобы муж её до последней минуты был окружен той преданной и страстной любовью, какою она дарила его в течение всей жизни, она захотела, чтобы он умер в её объятиях. Однако боясь, чтобы руки его при падении и от страха не ослабели и не разомкнулись, она плотно привязала себя к нему и рассталась с жизнью ради того, чтобы положить конец страданиям своего мужа.

Это была женщина совсем простого звания, но именно среди простых людей нередко можно встретить проявления необыкновенного благородства:

*extrema per illos
Iustitia excedens terris vestigia fecit.*³

Две другие женщины, о которых я собираюсь рассказать, были богатого и знатного происхождения, а среди таких людей примеры доблести — редчайшее явление.

Аррия, жена консула Цецины Пета, была матерью Аррии младшей, жены того самого Тразея Пета, что прославился своей добродетелью во времена Нерона, а через этого своего зятя Аррия старшая была бабкой Фаннии (одинаковые имена у этих двух жен и двух мужей, а также сходная их судьба, привели к тому, что многие потом их смешивали).⁴ Аррия старшая, когда её муж, Цецина Пет, был захвачен солдатами императора Клавдия после гибели Скрибониана⁵ (сторонником которого он был), стала умолять тех, кто уво-

зил его в Рим, позволить ей ехать вместе с ним. Она будет стоить им дешевле — убеждала Аррия солдат — и будет меньшей помехой, чем рабы, которые понадобятся им для обслуживания ее мужа, ибо она одна будет убирать его комнату, стирать и исполнять все другие обязанности. Но ей было отказано. Тогда она, не медля, наняла рыбацье суденышко и на нем последовала за мужем от самой Иллирии. Однажды, когда они были уже в Риме, в присутствии императора Клавдия Юния, вдова Скрибониана приблизилась к ней с выражением дружеского участия в виду общности их судеб, но Аррия резко отстранила ее от себя со словами: «И ты хочешь, — сказала она, — чтобы я говорила с тобой или стала тебя слушать? У тебя на груди убили Скрибониана, а ты все еще живешь?» Из этих слов Аррии, так же как из многих других признаков, родные ее заключили, что она замышляет самоубийство и стремится разделить судьбу своего мужа. Ее зять, Тразея, умоляя ее не губить себя, сказал ей: «Если бы меня постигла такая же участь, как и Цецину, то разве ты захотела бы, чтобы моя жена — твоя дочь — покончила с собой?» — «Что ты сказал! — воскликнула Аррия. — Захотела ли бы я? Да, да, безусловно захотела бы, если бы она прожила с тобой такую же долгую жизнь и в таком же согласии, как я со своим мужем». Ответ этот усилил бдительность ее близких, которые стали внимательно следить за каждым ее шагом. Однажды она сказала тем, кто ее стерег: «Это ни к чему: вы добьетесь лишь того, что я умру более мучительной смертью, но добиться, чтобы я не умерла, вы не сможете». С этими словами она вскочила со стула, на котором сидела, и со всего размаху хватилась головой о противоположную стену. Когда после долгого обморока ее, тяжело раненную, с величайшим трудом привели в чувство, она сказала: «Я говорила вам, что если вы лишите меня возможности легко уйти из жизни, я выберу любой другой путь, каким бы трудным он ни оказался». Смерть этой благородной женщины была такова. У ее мужа Пета не хватало мужества самому лишиться себя жизни, как того требовал приговор, вынесенный ему жестоким императором. Однажды Аррия, убеждая своего мужа покончить с собой, сначала обратилась к нему с разными увещаниями, затем выхватила кинжал, который носил при себе ее муж, и, держа его

обнаженным в руке, в заключение своих уговоров промолвила: «Сделай, Пет, вот так». В тот же миг она нанесла себе смертельный удар в живот и, выдернув кинжал из раны, подала его мужу, закончив свою жизнь следующими благороднейшими и бессмертными словами: *Paete, non dolet*.⁶ Она успела произнести только эти три коротких, но бесценных по своему значению слова: «Пет, это вовсе не больно»:⁷

*Casta suo gladium cum traderet Arria Paeto
Quem de visceribus traxerat ipsa suis:
Si qua fides, vulnus quod feci, non dolet, inquit;
Sed quod tu facies, id mihi, Paete, dolet.*⁸

Слова Аррии в тексте Плиния производят еще более глубокое впечатление и еще более значительны. И правда, чтобы нанести смертельную рану себе и побудить сделать то же самое мужа, требовалось беззаветное мужество, но, чего бы это ей не стоило, тут она была и побудителем и советчиком; однако самое замечательное в другом. Совершив этот высокий и смелый подвиг единственно ради блага своего мужа, она до последнего своего вдоха была преисполнена заботы о нем и, умирая, жаждала избавить его от страха последовать за ней. Пет внезапно убил себя тем же кинжалом; мне кажется, он устыдился того, что ему понадобился такой дорогой, такой невознаградимый урок.

Помпея Павлина, молодая и весьма знатная римская матрона, вышла замуж за Сенеку, когда тот был уже очень стар.⁹ В один прекрасный день воспитанник Сенеки, Нерон, послал своих приспешников объявить ему, что он осужден на смерть; делалось это так: когда римские императоры того времени приговаривали к смерти какого-нибудь знатного человека, они предлагали ему через своих посланцев выбрать по своему усмотрению ту или иную смерть и предоставляли для этого определенный срок, иногда очень короткий, а иной раз более длительный, сообразно степени их немилости. Осужденный имел таким образом иногда возможность привести за это время в порядок свои дела, но иной раз за краткостью срока не в состоянии был этого сделать; если же приговоренный не повиновался приказу, императорские слуги присылали для выполнения его

своих людей, которые перерезали осужденному вены на руках и на ногах или же насильно заставляли его принять яд; однако люди благородные не дожидались такой крайности и прибегали к услугам своих собственных врачей и хирургов. Сенека спокойно и уверенно выслушал сообщенный ему приказ и попросил бумаги, чтобы составить завещание. Когда центурион отказал ему в этом, Сенека обратился к своим друзьям со следующими словами: «Так как я лишен возможности отблагодарить вас по заслугам, то оставляю вам единственное, но лучшее, что у меня есть, — память о моей жизни и нравах; если вы исполните мою просьбу и сохраните воспоминание о них, вы приобретете славу настоящих и преданных друзей». Вместе с тем, стараясь облегчить страдания, которые он читал на их лицах, он обращался к ним то с ласковой речью, то со строгостью, чтобы придать им твердость, и спрашивал у них: «Где же те прекрасные философские правила, которых мы придерживались? Где решимость бороться с превратностями судьбы, которые мы столько лет сносили? Разве мы не знали о жестокости Нерона? Чего можно было ждать от того, кто убил родную мать и брата? Разве ему не оставалось только прибавить к этому насильственную смерть своего наставника и воспитателя?» Сказав эти слова всем присутствовавшим, он обратился к жене и, крепко обняв ее, — так как, подавленная горем, она теряла и душевные, и телесные силы — стал умолять ее, чтобы она из любви к нему стойко перенесла удар. «Настал час, — сказал он, — когда надо показать не на словах, а на деле, какое поучение я извлек из моих философских занятий: не может быть никаких сомнений, что я без малейшей горечи, а наоборот, с радостью встречу смерть». «Поэтому, друг мой, — утешал он жену, — не омрачай ее своими слезами, чтобы не сказали о тебе, что ты больше думаешь о себе, чем о моей доброй славе. Заглуши свою скорбь и найди утешение в том, что ты знала меня и мои дела; постарайся провести остаток своих дней в благородных занятиях, к которым ты так склонна». В ответ на это Павлина, собравшись немного с силами и укрепив свой дух благороднейшей любовью к мужу, сказала: «Нет, Сенека, я не могу оставить тебя в смертный час, я не хочу, чтобы ты подумал, что доблестные примеры, которые ты показал мне в своей жизни, не

научили меня хорошо умереть; как смогу я доказать это лучше, чистосердечнее и добровольнее, чем окончив жизнь вместе с тобой?» Тогда Сенека, не противясь столь благородному и мужественному решению своей жены и опасаясь оставить ее после своей смерти на произвол жестокости своих врагов, сказал: «Я дал тебе, Павлина, совет как тебе провести более счастливо твои дни, но ты предпочитаешь доблестную кончину; я не стану оспаривать этой чести. Пусть твердость и мужество перед лицом смерти у нас одинаковы, но у тебя больше величия славы». Вслед за тем им обоим одновременно вскрыли вены на руках, но так как у Сенеки они были сужены и из-за возраста его, и из-за общего истощения, то он, очень медленно и долго истекая кровью, приказал, чтобы ему еще перерезали вены на ногах. Опасаясь, чтобы его муки не ослабили дух его жены, а также желая избавить самого себя от необходимости видеть ее в таком ужасном состоянии, он, с величайшей нежностью простившись с ней, попросил, чтобы она позволила перенести ее в соседнюю комнату, что и было исполнено. Но так как и вскрытие вен на ногах не принесло ему немедленной смерти, то Сенека попросил своего врача Стация Аннея дать ему яд. Однако тело его до такой степени окоченело, что яд не подействовал. Поэтому пришлось еще приготовить ему горячую ванну, погрузившись в которую он почувствовал, что конец его близок. Но до последнего своего вздоха он продолжал развивать исполненные глубочайшего значения мысли о своем предсмертном часе. Находившиеся при нем секретари старались записать все, что в состоянии были расслышать, и долгое время после смерти Сенеки эти записи сказанных им в последний час слов ходили по рукам и пользовались величайшим почетом среди его современников. (Какая огромная потеря, что они не дошли до нас!). Почувствовав наконец приближение конца, Сенека, зачерпнув ладонью смешавшейся с кровью воды и оросив ею голову, сказал, что совершает этой водой возлияние Юпитеру Избавителю. Нерон, узнав обо всем этом и опасаясь, чтобы ему не поставили в вину смерть Павлины, которая принадлежала к именнейшему римскому роду и к которой он не питал никакой особой вражды, приказал срочно перевязать ей раны, что и было исполнено его посланцами без ее ведома, ибо она

была без чувств и наполовину мертвая. Оставшись, вопреки своему намерению, в живых, она вела жизнь похвальную, вполне достойную ее добродетели, а навсегда сохранившаяся бледность ее лица доказывала, как много жизненных сил она потеряла, истекая кровью.

Вот три истинных происшествия, которые я хотел рассказать и которые я нахожу не менее увлекательными и трагическими, чем все то, что мы по обязанности измышляем для развлечения публики. Меня удивляет, что те, кто занимается этим, не предпочитают черпать тысячи таких замечательных происшествий из книг: это стоило бы им меньших усилий и приносило бы больше пользы и удовольствия. Тот, кто захотел бы создать из них единое и долговечное произведение, должен был бы со своей стороны только связать и скрепить их, как спаивают один металл с помощью другого. Таким путем можно было бы соединить воедино множество истинных событий, разнообразя их и располагая так, чтобы от этого красота всего произведения в целом только выиграла, как например поступил Овидий, сливший в своих «Метаморфозах» множество разбросанных и прекрасных сказаний.

В истории этой четы — Сенеки и Павлины — достойно внимания еще и то, что Павлина охотно готова была расстаться с жизнью из любви к мужу, подобно тому как Сенека в свое время из любви к ней отказался от мысли о смерти. Нам может показаться, что расплата со стороны Сенеки была не так уж велика, но, верный своим стоическим принципам, он, я думаю, полагал, что сделал для нее не меньше, оставшись в живых, чем если бы умер ради нее. В одном из своих писем к Луцилию¹⁰ Сенека сообщает, что, находясь в Риме и почувствовав приступ лихорадки, он тотчас же сел на колесницу и направился в один из своих загородных домов, вопреки настояниям жены, пытавшейся удержать его. Сенека постарался уверить ее, что лихорадка гнездится не в его теле, а в Риме. Вслед за тем Сенека пишет в упомянутом письме: «Она отпустила меня, строжайше наказав мне заботиться о своем здоровье. И вот, так как я знаю, что ее жизнь зависит от моей, я начинаю заботиться о себе, заботясь тем самым о ней. Я отказываюсь от преимущества, которое дает мне моя старость, закалившая меня и научившая переносить многое, всякий

раз, когда вспоминаю, что с этим старцем связана молодая жизнь, предоставленная моим заботам. Так как я не могу заставить ее любить меня более мужественно, то мне приходится заботиться о себе как можно лучше: ведь надо же расплачиваться за глубокие привязанности и, хотя в некоторых случаях обстоятельства внушают нам совсем иное, приходится призывать к себе жизнь, как она ни мучительна, приходится принимать ее стиснув зубы, ибо закон велит порядочным людям жить не так, как хочется, а повинуюсь долгу. Кто не настолько любит свою жену или друга, чтобы быть готовым ради них продлить свою жизнь, и упорствует в стремлении умереть, тот слишком изнежен и слаб. Наше сердце должно уметь принуждать себя к жизни, если это необходимо для блага наших близких, нужно иногда полностью отдаваться нашим друзьям и ради них отказываться от смерти, которой мы хотели бы для себя. Оставаться в живых ради других — это доказательство великой силы духа, как об этом свидетельствует пример многих выдающихся людей; исключительное великодушие в том, чтобы стараться продлить свою старость (величайшее преимущество которой в том, что можно не заботиться о продлении своего существования и жить, ничего не боясь и ничего не щадя), если знаешь, что это является радостью, счастьем и необходимостью для того, кто глубоко тебя любит. И как же велика награда за это, — ибо есть ли на свете большее счастье, чем представлять для своей жены такую ценность, что и собой тебе приходится дорожить? Наказав мне заботиться о себе, моя Павлина не только передала мне свой страх за меня, но и усугубила мой собственный. Я не мог больше думать о том, чтобы умереть с твердостью, а должен был думать о том, как невыносимо будет для нее это страдание. И я подчинился необходимости жить, ибо величие души иногда в том, чтобы предпочесть жизнь». Таковы слова Сенеки, столь же замечательные, как и его деяния.



Г л а в а XXXVI

О ТРЕХ САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЯХ

Если бы меня попросили произвести выбор среди всех известных мне людей, я, мне кажется, счел бы наиболее выдающимися следующих трех человек.

Первый из них — Гомер; и не потому, чтобы Аристотель или, к примеру, Варрон были менее знающими, чем он, или чтобы с его искусством нельзя было сравнить, скажем, искусство Вергилия. Я не берусь этого решать и предоставляю судить тем, кто знает и того, и другого. Мне доступен только один из них, и я, в меру отпущенного мне понимания в этом деле, могу лишь сказать, что, по-моему, вряд ли даже сами музы превзошли бы римского поэта:

*Tales facit carmen docta testitudine quale
Cynthus impositis temperat articulis.¹*

Однако же при этом сопоставлении следует помнить, что своим совершенством Вергилий больше всего обязан Гомеру; именно Гомер является его руководителем и наставником, и самый замысел «Илиады» послужил образцом, давшим жизнь и бытие непревзойденной и божественной «Энеиде». Но для меня в Гомере важно не это, мне Гомер представляется существом исключительным, каким-то сверхчеловеком по другим причинам. По правде говоря, я нередко удивляюсь, как этот человек, который сумел своим авторитетом создать такое множество богов и обеспечить им признание, не сделался богом сам. Слепой бедняк, живший во времена, когда не существо-

вало еще правил науки и точных наблюдений, он в такой мере владел всем этим, что был с тех пор для всех законодателей, полководцев и писателей — чего бы они ни касались: религии, философии со всеми ее течениями или искусства, — неисчерпаемым кладезем познаний, а его книги — источником вдохновения для всех:

Qui quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non,
Plenus ac melius Chrisippo ac Crantore dicit; ²

или, как утверждает другой поэт:

A quo, ceu fonte perenni
Vatum Pieriis labra rigantur aquis; ³

или, как выражается третий:

Adde Heliconiadum comites, quorum unus Homerus
Astra potitus; ⁴

или, как заявляет четвертый:

cuiusque ex ore profuso
Omnis posteritas latices in carmina duxit,
Amnemque in tenues ausa est deducere rivos,
Unius foecunda bonis. ⁵

Созданные им самые замечательные в мире произведения не укладываются ни в какие привычные рамки и почти противоестественны; ибо, как правило, вещи в момент их возникновения несовершенны, они улучшаются и крепнут по мере роста, Гомер же сделал поэзию и многие другие науки зрелыми, совершенными и законченными с самого их появления. На этом основании его следует назвать первым и последним поэтом, так как, согласно справедливому, сложившемуся о нем в древности изречению, у Гомера не было предшественников, которым он мог бы подражать, но не было зато и таких преемников, которые оказались бы в силах подражать ему. По мнению Аристотеля, ⁶ слова Гомера — единственные слова, наделенные движением и действием, исключительно по значительности слова. Александр Великий, найдя среди оставленных Дарием вещей драгоценный ларец, приказал взять этот ларец для него и положить

в него список поэм Гомера, говоря, что это его лучший и вернейший советчик во всех военных предприятиях.⁷ На том же основании сын Александрида, Клеомен, утверждал, что Гомер — поэт лакедемонян, так как он наилучший наставник в военном деле.⁸ По мнению Плутарха, Гомеру принадлежит та редчайшая и исключительная заслуга, что он единственный в мире автор, который никогда не приедался и не надоедал людям, а всегда поворачивался к ним неожиданной стороной, всегда очаровывая их новой прелестью. Беспутный Алкивиад попросил однажды у одного писателя одно из сочинений Гомера и вклеил ему оплеуху, узнав, что у писателя его нет;⁹ это все равно, как если бы у какого-нибудь нашего священника не оказалось молитвенника. Ксенофан однажды пожаловался сиракузскому тирану Гиерону на свою бедность, которая доходила до того, что он не в состоянии был прокормить двух своих слуг. «А ты посмотри, — ответил ему Гиерон, — на Гомера, который, хоть и был во много раз беднее тебя, однако же и по сей день, лежа в могиле, питает десятки тысяч людей».¹⁰

А что иное означали слова Панэция, когда он назвал Платона Гомером философов?¹¹ Какая слава может сравниться со славой Гомера? Ничто не живет в устах людей такой полной жизнью, как его имя и его произведения, ничего не любят они так и не знают так, как Трою, прекрасную Елену и войны из-за нее, которых, может быть, на самом деле и не было. До сих пор мы даем своим детям имена, сочиненные им свыше трех тысяч лет назад. Кто не знает Гектора и Ахилла? Не отдельные только нации, а большинство народов старается вывести свое происхождение, опираясь на его вымыслы. Разве не писал турецкий султан Мехмед II папе Пию II:¹² «Я поражаюсь, почему сговариваются и объединяются против меня итальянцы? Разве мы не приходим от одних и тех же троянцев и не у меня ли та же цель, что и у них, — отомстить за кровь Гектора грекам, которых они натравливают на меня?» Разве не грандиозен спектакль, в котором цари, республиканские деятели и императоры в течение стольких веков стараются играть гомеровские роли? И не является ли ареной этого представления весь мир? Семь греческих городов оспаривали друг у друга право считаться местом его рожде-

ния; так, даже самая невыясненность его биографии служит к вящей славе его.

*Smyrna, Rhodos, Colophon, Salamis, Chios, Argos, Athenae.*¹³

Вторым наиболее выдающимся человеком является, на мой взгляд, Александр Македонский. Если учесть, в каком раннем возрасте он начал свои подвиги, с какими скромными средствами он осуществил свой грандиозный план, каким авторитетом он с отроческих лет пользовался у крупнейших и опытнейших полководцев всего мира, старавшихся подражать ему; если учесть необычайную удачу, сопутствовавшую стольким его рискованным — чтобы не сказать безрассудным — походам, —

*impellens quicquid sibi summa petenti
Obstaret, gaudensque viam fecisse ruina;*¹⁴ —

если принять во внимание, что в возрасте 33 лет он прошел победителем по всей обитаемой вселенной и за полжизни достиг такого полного расцвета своих дарований, что в дальнейшие годы ему нечего было прибавить ни в смысле доблести, ни в смысле удач, — то нельзя не признать, что в нем было нечто сверхчеловеческое. Его войны положили начало многим царским династиям, а сам он оставил после себя мир поделенным между четырьмя своими преемниками, простыми военачальниками его армии, потомки которых на протяжении многих лет удерживали затем под своей властью эту огромную империю. А сколько было в нем выдающихся качеств: справедливости, выдержки, щедрости, верности данному им слову, любви к ближним, человеколюбия по отношению к побежденным. Его поступки и впрямь кажутся безупречными, если не считать некоторых, очень немногих из них, необычных и исключительных. Но ведь невозможно творить столь великие дела, придерживаясь обычных рамок справедливости! О таких людях приходится судить по всей совокупности их дел, по той высшей цели, которую они себе поставили. Разрушение Фив, убийство Менандра и врача Гефестиона, истребление одним махом множества персидских пленников и целого отряда индийских солдат в нарушение данного им слова, поголовное уничтожение населения

Коссы вплоть до малых детей — все это, разумеется, вещи непростибельные. В случае же с Клитом¹⁵ поступок Александра был искуплен — и даже в большей мере, чем это было необходимо, — что, как и многое другое, свидетельствует о благодушном нраве Александра, о том, что это была натура, глубоко склонная к добру, и потому как нельзя более верно было о нем сказано, что добродетели его коренились в его природе, а пороки зависели от случая. Что же касается его небольшой слабости к хвастовству или нетерпимости к отрицательным отзывам о себе, или убийств, хищений, опустошений, которые он производил в Индии, то все это, на мой взгляд, следует объяснять его молодостью и головокружительными успехами. Нельзя не признать его поразительных военных талантов; его быстроты, предусмотрительности, дисциплинированности, пронизательности, великодушия, решимости, удачливости и везения. Даже если бы мы не знали авторитетного мнения Ганнибала на этот счет, то должны были бы признать, что во всем этом Александру принадлежит первое место. Нельзя не отметить его редчайших способностей и одаренности, почти граничащей с чудом; его горделивой осанки и всей его благороднейшей повадки при столь юном, румянном и бросающемся в глаза лице:

Qualis, ubi Oceani perfusus lucifer unda,
Quem Venus ante alios astrorum diligit ignes,
Extulit os sacrum caelo, tenebrasque resolvit.¹⁶

Нельзя не оценить его огромных познаний, его незабываемой в веках славы, чистой, без единого пятнышка, безупречной, недоступной для зависти, славы, в силу которой еще много лет спустя после его смерти люди благоговейно верили, что медали с его изображением приносят счастье тем, кто их носит. Ни об одном государе историки не написали столько, сколько сами государи написали о его подвигах. Еще до настоящего времени магометане,¹⁷ с презрением отвергающие историю других народов, в виде особого исключения принимают и почитают единственно историю его жизни и деятельности. Кто учтет все это, вместе взятое, должен будет согласиться, что я был прав, поставив Александра Македонского даже выше Цезаря, единственного человека, относительно которого я мог

на минуту заколебаться при выборе. Нельзя отрицать, что в деяния Цезаря вложено больше личных дарований, но удачливости было несомненно больше в подвигах Александра. Во многих отношениях они не уступали друг другу, а в некоторых Цезарь даже превосходил Александра.

Оба они были подобны пламени или двум бурным потокам, принесшим миру разрушение в разных его частях:

Et velut immissi diversis partibus ignes
Arentem in silvam et virgulta sonantia lauro;
Aut ubi decursu rapido de montibus altis
Dant sonitum spumosi amnes et in aequora currunt,
Quisque suum populatus iter.¹⁸

И хотя честолюбие Цезаря было более умеренным, но оно являлось роковым в том смысле, что совпало с развалом его родины и общим ухудшением тогдашнего мирового положения; таким образом, собрав все воедино и взвесив, я не могу не отдать пальмы первенства Александру.

Третьим и наиболее, на мой взгляд, выдающимся человеком является Эпаминонд.¹⁹

Он далеко не пользовался той славой, которая выпала на долю многим другим (но слава и не является решающим обстоятельством в этом деле); что же касается отваги и решимости — не тех, которые подстрекаются честолюбием, а порождаемых в добропорядочном человеке знанием и умом, — то нельзя представить себе, чтобы кто-либо обладал ими в более полной мере. Эпаминонд выказал, на мой взгляд, не меньше отваги и решимости, чем Александр и Цезарь, ибо, хотя его военные подвиги и не столь многочисленны и не так расписаны, как подвиги Александра и Цезаря, однако, если вникнуть во все обстоятельства, они были не менее сложны и трудны и требовали не меньшей смелости и военных талантов. Греки воздали ему должное, единодушно признав, что ему принадлежит первое место среди его соотечественников;²⁰ но быть первым среди греков без преувеличения значит занимать первое место в мире. Что касается его знаний и способностей, то до нас дошло древнее суждение, гла-

сящее, что ни один человек не знал больше и не говорил меньше его, ибо он был по убеждениям своим пифагорейцем.²¹

Но то, что Эпаминонд говорил, никто не смог сказать лучше его. Он был выдающийся оратор несокрушимой убедительности.

В области высоких моральных качеств он далеко превосходил всех государственных деятелей. Именно в этом отношении, которое должно считаться важнейшим и первостепенным, — ибо только по нему мы можем судить, каков человек (и потому эта сторона перевешивает, по-моему, все остальные достоинства, вместе взятые) — Эпаминонд не уступает ни одному философу, даже самому Сократу.

Нравственная чистота — основное, наивысшее качество Эпаминонда, оно постоянно, неизменно, нерушимо, между тем как у Александра оно играет подчиненную роль, изменчиво, многолико, неустойчиво и податливо.

Древние считали,²² что если разобрать по косточкам деяния всех великих полководцев, то у каждого из них можно найти какое-нибудь особое качество, дающее ему право на знаменитость. И только у Эпаминонда все его качества и совершенства являют некую полноту и единство во всех отраслях жизни, в общественных или частных делах, на войне или в мирное время, в житейском его поведении или в славной, героической смерти. Я не знаю никаких проявлений человеческой личности и никакой судьбы человеческой, к которым относился бы с большим уважением и преклонением. Правда, я нахожу чрезмерным его пристрастие к бедности, в том виде, как оно было обрисовано нам его лучшими друзьями.²³ И лишь это его свойство, каким бы благородным и достойным восхищения оно ни было, представляется мне слишком суровым, чтобы я — хотя бы только мысленно — мог стремиться подражать ему. Единственно между кем я затруднился бы произвести выбор, это между Эпаминондом и Сципионом Эмилианом, если бы последний ставил себе столь же возвышенную цель, как Эпаминонд, и обладал бы такими же разносторонними и глубокими познаниями. Какая досада, что из числа интереснейших параллельных биографий, написанных Плутархом, до нас не дошло сопоставление между Эпаминондом и Сципионом Эмилианом, которые, по единодушному признанию всех, занимают

первое место — один у греков, другой у римлян. Какая благодарная тема и какое мастерское перо! Если же брать не праведника, а человека просто порядочного и вообще и как гражданина, по величию души не выходившего из ряда вон, то, на мой взгляд, самая яркая, богатая и достойная зависти жизнь выпала на долю Алкивиада. Но что касается Эпаминонда, то в качестве примера его непревзойденного благородства я приведу здесь некоторые его высказывания.

Он заявлял, что наибольшее удовлетворение, пережитое им в жизни, дала ему та радость, которую он доставил отцу и матери своей победой при Левктрах;²⁴ их радость он ставил гораздо выше удовлетворения, полученного от столь славного подвига им самим.

Он не считал возможным допустить убийство хотя бы одного невинного человека, даже если бы дело шло о восстановлении свободы родины;²⁵ вот почему он так холодно отнесся к замыслу своего соратника Пелопида, затеявшего освободить Фивы. Он считал также, что следует избегать в сражении столкновения с другом, находящимся в стане врагов, и что друг заслуживает пощады.

Человечность Эпаминонда даже по отношению к врагам была столь велика, что он был заподозрен беотийцами в измене на следующем основании.²⁶ После блестящей, почти чудесной победы, принудив спартанцев открыть ему проход около Коринфа, через который можно было проникнуть в Морею, он ограничился тем, что разбил их, но не стал преследовать до конца. За это он был смещен с поста главнокомандующего, что было для него весьма почетной отставкой, принимая во внимание причину ее, для соотечественников же его — весьма позорным делом, ибо им пришлось вскоре же восстановить его в прежнем звании и признать, что от него зависит их спасение и слава, поскольку победа тенью шла за ним повсюду, куда бы он их ни вел. Благоденствие его родины кончилось с ним так же, как от него началось.



Г л а в а XXXVII

О СХОДСТВЕ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ

Нагромождение множества рассуждений на самые различные темы в моих «Опытах» объясняется тем, что я берусь за перо только тогда, когда меня начинает томить слишком гнетущее безделье, и пишу только находясь у себя дома. Между тем обстоятельства вынуждают меня месяцами отлучаться из дому, и потому я пишу лишь время от времени, с большими перерывами. Однако я никогда не исправляю написанного и не ввожу в него позже явившихся мыслей, а только иногда изменяю какое-нибудь выражение, и то, чтобы придать ему другой оттенок, а не вовсе изъять его.¹ Я хочу, чтобы по моим писаниям можно было проследить развитие моих мыслей и чтобы каждую из них можно было увидеть в том виде, в каком она вышла из-под моего пера. Мне будет приятно проследить, с чего я начал и как именно изменялся. Один слуга, писавший под мою диктовку, рассчитывал поживиться богатой добычей, украв у меня несколько полюбившихся ему отрывков. Но я утешаюсь тем, что его выгода от этого дела будет столь же мала, как и понесенный мною ущерб.

То обстоятельство, что я постарел на семь или восемь лет с того дня, когда впервые приступил к писанию своих «Опытов»,² тоже было мне до известной степени на руку. За это время я испытал щедроты, приносимые годами, и стал страдать приступами камней в печени. Продолжительная дружба с временем не обходится без

какого-нибудь подарка в таком роде. Я хотел бы, чтобы из множества подарков, которые годы могут сделать тем, кто с ними сжился, они выбрали для меня лично какой-нибудь более приемлемый, ибо нет дара, которого бы я больше страшился с детских лет, чем этот; из всех докук старости, говоря откровенно, это был для меня самый страшный. Я не раз думал про себя, что слишком долго живу и что, пустившись в такой долгий путь, должен быть готов к какой-нибудь малоприятной встрече. Я прекрасно сознавал это и считал, что пора мне отправляться восвояси, что надо резать сразу, по живому телу, действуя, как хирург, когда он удаляет больному тот или иной орган. Я знал, что того, кто не сделает этого вовремя, природа, по обыкновению, заставит платить очень тяжкие проценты. Однако мои ожидания не сбылись. Мне совсем недолго пришлось готовиться. Прошло всего около полутора лет, как я оказался в этом незавидном положении, и вот я уже сумел к нему приспособиться. Я уже примирился со своей болезнью и принял, как должное, ее приступы. Я нахожу себе и утешения и даже какие-то надежды в этой жизни. Столько людей свыкается со своими бедами, и нет столь тяжелой участи, с которой человек не примирился бы ради того, чтобы остаться в живых!

Послушайте, что говорит по этому поводу Меценат: ³

Debilem facito manu,
 Debilem pede, coxa,
 Lubricos quate dentes:
 Vita dum superest, bene est.⁴

Нелепой была попытка Тамерлана прикрыть свою чудовищную жестокость, когда он под предлогом человеколюбия приказал прикончить всех прокаженных, о которых ему стало известно, для того чтобы, как он выразился, избавить их от мучительного существования.⁵ Ибо всякий из них предпочел бы быть трижды прокаженным, чем умереть.

Когда стоик Антисфен тяжело заболел, он воскликнул: «Кто избавит меня от этих болей?» Диоген, пришедший его навестить, сказал.

ему, указав на нож: «Вот он может тотчас же избавить тебя». «Я ведь имел в виду — от болей, а не от жизни», — ответил Антисфен.⁶

Чисто душевные страдания удручают меня значительно меньше, чем большинство других людей: отчасти по складу моего ума (ибо уйма людей считает, что многие вещи ужасны и что от них следует избавляться ценой жизни, между тем как мне они почти безразличны), отчасти же по причине моей непроницаемости и моего бесчувствия к вещам, которые не задевают меня непосредственно. Это свойство я считаю одной из лучших черт моего характера. Но подлинные физические страдания я переживаю очень остро. Это, возможно, объясняется тем, что некогда, отдаленно и смутно предвидя их, я благодаря цветущему состоянию здоровья и покою, дарованным мне милостью неба на протяжении большей части моей жизни, мысленно представлял себе физические муки до того невыносимыми, что, говоря по правде, мой страх превосходил те страдания, которые я впоследствии ощутил. Вот почему во мне все более крепнет убеждение, что большинство наших душевных способностей, по крайней мере при том, как мы их применяем, скорее нарушают наш жизненный покой, чем способствуют ему.

Я борюсь с наихудшей болезнью, самой неожиданной по своим приступам, самой мучительной, смертельно опасной и не поддающейся лечению. Я испытал уже пять или шесть долгих и мучительных припадков ее и должен, однако, сказать, что либо я обольщаюсь, либо все же стоит жить и при наличии ее тому, кто сумел избавиться от страха смерти и от тех угроз, выводов и последствий, которыми морочит нас медицина. Во всяком случае самая боль не настолько остра и невыносима, чтобы человек с выдержкой должен был впасть в отчаяние и обезуметь. Меня по крайней мере мои припадки убедили в том, что им удастся — раньше мне это не давалось — полностью примирить меня со смертью и заставить с ней свыкнуться: ведь чем больше они будут меня терзать и мучить, тем меньше буду я бояться смерти. Я уже добился того, что держусь за жизнь лишь ради самой жизни, но мои припадки могут подточить и это желание; если в конце концов боли мои станут столь нестерпимыми, что окажутся не по моим силам, то, бог знает, не приведут ли они меня к противополож-

ной, не менее ошибочной крайности, заставив меня полюбить смерть и призывать ее к себе!

Summum nec metuas diem, nec optes.⁷

Обоих этих желаний следует опасаться, но одно из них утолить гораздо легче, чем другое.

Я всегда считал неуместным предписание, повелевающее строго и непоколебимо сохранять при перенесении боли присутствие духа и держаться спокойно, презирая ее. Почему философия, которая должна заботиться о духе, а не о букве своих наставлений, занимается подобными чисто внешними вещами? Пусть она предоставит эту заботу лицедеям и тем учителям красноречия, для которых важнее всего наши жесты. Пусть она безбоязненно позволит тому, кому больно, вопить, лишь бы это не было трусостью его сердца, его нутра. Пусть эти вынужденные стоны будут для нее чем-то вроде вздохов, рыданий, вздрагиваний, бледности, которые природа сделала независимыми от нашей воли. Лишь бы не было поколеблено наше мужество, лишь бы не было отчаяния в наших речах! Пусть философия удовольствуется этим: что из того, что мы ломаем руки, если дух наш остается несломленным? Ведь философия наставляет нас ради нас же самих, а не ради показных целей; она учит нас не казаться, а быть. Пусть она заботится о руководстве нашим разумом, который взялась обучить; пусть во время припадка печени она поможет нашей душе сохранять свой обычный строй, поможет ей бороться и выносить боль, не падая постыдным образом перед нею ниц; пусть заботится она о том, чтобы душа наша была возбуждена и разгорячена борьбой, а не беспомощно раздавлена болью, чтобы она оставалась способной до известной степени к общению с другими. При таких крайних обстоятельствах, как припадок, жестоко предъявлять нам столь суровые требования. При хорошей игре можно строить плохую мину. Если человеку стон приносит облегчение, пусть он стонет; если у него есть потребность двигаться, пусть вертится и мечется, как ему угодно; если ему кажется, что боль как бы улетучивается (некоторые врачи утверждают, что это помогает беременным женщинам при родах) вместе с сильными воплями, или, если вопли как-то заглушают его

боль, пусть кричит благим матом; незачем понуждать его к крикам, но разрешить ему это надо. Эпикур не только позволяет, но даже советует мудрецу кричать во время припадка: *Pugiles etiam, cum feriunt in iactandis caestibus, ingemiscunt, quia profundenda voce omne corpus intenditur, venitque plaga vehementior.*⁸ С нас хватит забот о том, как бы справиться с болью, и нечего заботиться об этих излишних предписаниях. Все это я говорю в оправдание тех, кто обычно неистовствует во время припадков этой болезни; ибо что касается меня самого, то до сего дня я переносил их с довольно большой выдержкой, и не потому, что я силюсь соблюсти какие-то внешние приличия, — я ведь не придаю им никакого значения и предоставляю себе полную свободу; но либо мои боли не были такими невыносимыми, либо у меня больше внутренней твердости, чем у многих других. Я позволяю себе и стонать и жаловаться, когда меня допекают острые, колющие боли, но не теряю самообладания, как тот, кто

*Eiulatu, questu, gemitu, fremitibus
Resonando multum flebiles voces refert.*⁹

Я испытывал себя в самый разгар боли и всегда убеждался, что способен говорить, думать и отвечать не менее здраво, чем в другие минуты, хотя и не столь последовательно, а с перерывами, поскольку меня мучает и все во мне переворачивает боль. Когда окружающие считают меня совершенно сраженным и хотят меня щадить, я нередко испытываю свою выдержку и начинаю говорить о самых далеких предметах, не имеющих никакого отношения к моему состоянию. Внезапным усилием воли я оказываюсь способным на все, но лишь очень ненадолго.

О, почему я не в силах уподобиться тому цинцероновскому фантазеру, который, воображая, что ласкает распутницу, сумел в это время освободиться от камня, очутившегося у него на простыне!¹⁰ Мои же камни делают меня каменно равнодушным ко всякому распутству!

В промежутках между приступами этих острейших болей, когда мой мочевой канал дает мне небольшую передышку, я сразу же оправаляюсь и принимаю свой обычный вид, ибо мое душевное смятение вызвано чисто физической, телесной болью. Я несомненно потому так

быстро прихожу в нормальное состояние, что долгими размышлениями приучил себя к перенесению подобных страданий:

laborum
Nulla mihi nova nunc facies inopinaque surgit;
Omnia praecipit atque animo mecum ante peregi.¹¹

Между тем я испытал слишком внезапный и ошеломляющий для новичка переход от совершенно безмятежного и ничем не омрачаемого состояния к самому болезненному и мучительному, какое только мог себе представить. Ведь помимо того, что это весьма опасная болезнь, ее начальная стадия протекала у меня гораздо острее и томительнее, чем обычно. Приступы повторяются у меня так часто, что вполне здоровым я себя уже никогда не чувствую. Но во всяком случае я до настоящей минуты сохраняю такое присутствие духа, что, если мне удастся закрепить его надолго, я буду намного в лучшем положении, чем тысячи тех, кто страдает от лихорадки или от боли лишь потому, что сами себе часто внушают.

Бывает ложное смирение, порождаемое высокомерием. Мы сознаемся, например, в незнании многих вещей и скромно готовы согласиться с тем, что творения природы обладают некоторыми непостижимыми для нас качествами и свойствами, причин и механизма которых мы не в состоянии открыть; но, делая это честное и добросовестное признание, мы стремимся добиться того, чтобы нам поверили тогда, когда мы скажем, что вот такие-то вещи мы понимаем. Нам не нужно вовсе далеко ходить в поисках необычайных явлений и чудес: по моему, среди вещей, наблюдаемых нами повседневно, имеются настолько непонятные, что они не уступят никаким чудесам. Разве не чудо, что в капле семенной жидкости, из которой мы возникли, содержатся зачатки не только нашего телесного облика, но и склонностей и задатков наших родителей? Где в этой капле жидкости умещается такое бесчисленное количество явлений?

И каков стремительный и беспорядочный ход развития этих признаков сходства, в силу которого правнук будет походить на прадеда, племянник на дядю? В Риме были трое представителей рода Лепидов, родившихся не один за другим, а в разное время, у которых один и

тот же глаз был прикрыт хрящом.¹² В Фивах существовал род, у всех представителей которого была родинка в виде наконечника копья, если у кого такой родинки не было, он считался незаконнорожденным.¹³ Аристотель сообщает,¹⁴ что у одного народа, где существовала общность жен, детей узнавали по сходству с отцами.

Возможно, что предрасположение к каменной болезни унаследовано мной от отца, так как он умер в ужасных мучениях от большого камня в мочевом пузыре. Это несчастье свалилось на него на 67-м году жизни, а до этого у него не было никаких признаков, никаких предвестий ни со стороны почек, ни со стороны каких-либо других органов. Пока с ним не стряслась эта беда, он пользовался цветущим здоровьем и болел очень редко; да и заболев, он промучился целых семь лет. Я родился за 25 с лишним лет до его заболевания, когда он был в расцвете сил, и был третьим по счету из его детей. Где же таилась в течение всего этого времени склонность к этой болезни? И как могло случиться, что, когда отец мой был еще так далек от этой беды, в той ничтожной капле жидкости, из которой он меня создал, уже содержалось такое роковое свойство? Как могло оно оставаться столь скрытым, что я стал ощущать его лишь 45 лет спустя, и проявилось оно до сих пор только у меня, одного из всех моих братьев и сестер, родившихся от одной матери? Кто возьмется разъяснить мне эту загадку, тому я поверю, какое бы количество чудес он ни пожелал мне втолковать, лишь бы только он не предложил мне — как это нередко делают — какое-нибудь объяснение настолько надуманное и замысловатое, что оно оказалось бы еще более странным и невероятным, чем само это явление.

Да простят мне врачи мою дерзость, но из той же роковой капли зародились и воспринятые мной ненависть и презрение к их науке; антипатия, которую я питаю к их искусству, несомненно мной унаследована. Мой отец прожил 74 года, мой дед — 69, а мой прадед около 80 лет, не прибегая ни к каким медицинским средствам. Должен пояснить: все то, что не употребляется в повседневной жизни, ими считалось лекарством. Медицина складывается из примеров и из опыта, но таким же образом составилось и мое мнение о ней. Разве это не вполне достоверный и весьма убедительный опыт? Я не уве-

рен, сумеют ли они наскрести в своих анналах троих таких же людей, как мой отец, дед и прадед, родившихся, выросших и умерших в одной и той же семье, под одной и той же кровлей, которые прожили бы столько же лет, подчиняясь их правилам. Они должны признать, что в этом вопросе если не научные соображения, то удача — на моей стороне, а для врачей удача важнее научных соображений. Пусть не ссылаются они в доказательство своей правоты на меня, каков я сейчас; пусть не грозят мне, находящемуся в когтях болезни; это был бы чистейший обман. Бесспорно, что приведенные мной примеры из истории моей семьи красноречиво говорят в мою пользу, и врачи становятся перед ними в тупик. В человеческих делах такое постоянство редко. Прадед мой родился в 1402 году, так что этот опыт длится в нашей семье вот уже почти двести лет (недостает лишь восемнадцати). Нет поэтому ничего удивительного, что он начинает нам изменять. Пусть не ссылаются на боли, во власти которых я нахожусь: разве мало тех сорока семи лет, в течение которых я не знал болезней? Если даже я стою у своего жизненного предела, все же путь мой был достаточно долог.

Мои предки не любили медицину по какому-то непонятному и бессознательному влечению. Уже один вид лекарств внушал моему отцу отвращение. Мой дядя по отцовской линии, духовное лицо, господин де Гожак, с детства отличался болезненностью, но умудрился все же при своем слабом здоровье прожить 67 лет; и вот, когда однажды он заболел тяжелой и длительной лихорадкой, врачи велели объявить ему, что если он не прибегнет к медицинской помощи (они называют помощью то, что часто оказывается помехой), то неминуемо умрет. Как ни напуган был этот милейший человек объявленным ему суровым приговором, но ответил: «Значит, я уже могу считать себя мертвым». Однако, по милости божьей, предсказание врачей оказалось ложным, что выяснилось весьма скоро.

Из братьев моего отца — а их было трое — только самый младший, господин де Бюссаге, который был немного моложе других, признавал врачебное искусство, думаю, потому, что ему приходилось иметь дело и с другими искусствами, — ведь он состоял советником парламента. Но результат этого признания был весьма неутешитель-

ный, ибо, будучи на вид самым крепким по сложению из братьев, он умер значительно раньше их, за исключением лишь одного брата, господина де Сен-Мишель.

Возможно, что это врожденное отвращение к медицине я воспринял от них, но если бы это была единственная причина моего отрицательного отношения к ней, я попытался бы побороть его. Ибо все такого рода склонности, возникающие в нас без участия разума, оказываются ошибочными; это своего рода болезнь, с которой следует бороться. Не исключено, что у меня была эта склонность, но я еще углубил и упрочил ее своими размышлениями, которые привели меня к сложившемуся у меня мнению о ней. Ибо я не выношу, когда отказываются принимать лекарство лишь на том основании, что вкус его неприятен; это не в моем духе, ибо я считаю, что ради здоровья стоит претерпеть всякие надрезы и прижигания, как бы мучительны они не были.

Вместе с Эпикуром я считаю, что надо избегать таких наслаждений, которые влекут за собой еще большие страдания, и принимать с готовностью страдания, несущие за собой несравненно большие наслаждения.

Здоровье — это драгоценность, и притом единственная, ради которой действительно стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унижительной. Без здоровья меркнут и гибнут радость, мудрость, знания и добродетели; достаточно противопоставить всем самым убедительным наставлениям, которыми философы пытаются нас уверить в обратном, образ, скажем, Платона: предположим, что он поражен падучей или апоплексией, и посоветуем ему призвать в данном случае на помощь свои благородные и возвышенные душевные качества. Всякий путь, ведущий к здоровью, я не решился бы назвать ни чересчур трудным, ни слишком дорого стоящим. Но у меня есть кой-какие другие соображения, побуждающие меня относиться весьма недоверчиво к товару, который нам хочет всучить медицина.

Я вовсе не утверждаю, что не существует никакого врачебного искусства. Не может быть никакого сомнения в том, что среди не-

исчислимого множества существующих в природе вещей есть и благотворные для нашего здоровья. Я прекрасно знаю, что есть некие целебные травы, которые увлажняют, и другие, которые сушат; что хрен обладает ветрогонным свойством, а листья кассии действуют как слабительное. Я знаю еще много разных других средств и не сомневаюсь в их действии, так же как и в том, что согреваюсь от вина или насыщаюсь бараниной: говорил же Солон,¹⁵ что, подобно другим лекарствам, еда является средством, излечивающим болезнь голода. Я не отрицаю пользы, извлекаемой нами из богатств природы, и не сомневаюсь ни в ее могуществе, ни в том, что мы имеем полную возможность применить ее средства для наших целей. Я вижу, как жуки и ласточки прекрасно используют их. Но я не верю в измышления нашего разума, нашей науки и искусства, в которых мы не знаем ни границ, ни меры и в угоду которым поступились природой и ее предписаниями.

Подобно тому как мы называем правосудием смесь первых повернувшихся нам под руку законов, применяемых часто весьма нелепо и несправедливо, и подобно тому как те, кто смеется над этим и изобличает эту глупость, отнюдь не стремятся изобличить само это благородное занятие, а лишь хотят указать на злоупотребление священным именем правосудия и на профанацию его, — точно так же и в медицине я глубоко чту ее славное название, задачи, которые она себе ставит, и те столь полезные вещи, которые она сулит человечеству, но у меня нет ни почтения, ни доверия к тому, что слывет у нас медициной.

Прежде всего опыт повелевает мне опасаться медицины, ибо на основании всего того, что мне приходилось наблюдать, я не знаю ни одной разновидности людей, которая так рано заболела бы и так поздно излечивалась, как та, что находится под врачебным присмотром. Само здоровье этих людей уродуется принудительным, предписываемым им режимом. Врачи не довольствуются тем, что прописывают нам средства лечения, но и делают здоровых людей больными для того, чтобы мы во всякое время не могли обходиться без них. Разве не видят они в неизменном и цветущем здоровье залога серьезной болезни в будущем? Я довольно часто болел и, не прибегая ни

к какой врачебной помощи, убедился, что мои болезни легко переносятся (я испытал это при всякого рода болезнях) и быстротечны; я не омрачал их течения горечью врачебных предписаний. Своим здоровьем я пользовался свободно и невозбранно, не стесняя себя никакими правилами или наставлениями и руководствуясь только своими привычками и своими желаниями. Я могу болеть где бы то ни было, ибо во время болезни мне не нужно никаких других удобств, кроме тех, которыми я пользуюсь, когда здоров. Я не боюсь оставаться без врача, без аптекаря и всякой иной медицинской помощи, хотя других эти вещи пугают больше, чем сама болезнь. Увы, не могу сказать, чтобы сами врачи показывали нам, что их наука дает им хоть какое-нибудь заметное преимущество перед нами, что они благоденствуют не в пример нам или что они более долговечны.

Нет такого народа, который на протяжении веков не обходился бы без медицины, особенно в раннюю, то есть в самую лучшую и счастливую пору своего существования. Но и в наше время одна десятая мира живет без медицины; многие народы, не зная ее, более здоровы и более долговечны по сравнению с ними; а если взять французов, то простой народ благополучнейшим образом обходится без нее. Медицина появилась у римлян шестьсот лет спустя после основания Рима, но после того, как они испытали ее действие, она была изгнана из их города с помощью Катона Цензора, показавшего пример, как легко можно жить без нее: он сам прожил 85 лет, и жена его прожила до глубокой старости — не то чтобы без «лекарств», а без врачей;¹⁶ ибо всякое благотворно действующее на нас средство может быть названо «лекарством». По словам Плутарха,¹⁷ он поддерживал здоровье своих близких, питая их (насколько помню) зайчиной, подобно тому как аркадцы, по утверждению Плиния,¹⁸ излечивали все болезни коровьим молоком. А ливийцы, по словам Геродота,¹⁹ как правило, пользовались на редкость хорошим здоровьем благодаря особому их обычаю, а именно: когда ребенку исполнилось четыре года, они прижигали ему жилки на темени и на висках, чтобы он в дальнейшем не страдал от каких-либо простуд и воспалений. А разве наши деревенские жители не употребляют при всякой болезни снадобье

из самого крепкого вина, сваренного с шафраном и пряностями, который действует с неменьшим успехом?

И говоря начистоту, разве все эти разнообразные и противоречивые предписания не клонятся в конечном счете к одной и той же цели — к тому, чтобы очистить желудок? И разве применить эти средства не может самый простой слуга?

Но я даже не уверен в полезности этого всеми рекомендуемого средства и не знаю, не нуждается ли наш организм в том, чтобы эти отбросы некоторое время оставались в нем, подобно тому как вино, чтобы не портиться, должно выделять осадок. Ведь нередко у здоровых людей по непонятной случайности начинается рвота или понос, сопровождающиеся усиленным выведением из организма отбросов пищеварения, причем эта чистка вовсе не бывала необходимой с самого начала и не приносила никакой пользы в дальнейшем, а оказывалась, наоборот, вредной. Недавно я вычитал у великого Платона,²⁰ что из трех родов движения, свойственных человеку, опаснейшими являются те, что связаны с опорожнением кишечника, и потому ни один разумный человек не должен прибегать к лечению слабительными без крайней необходимости, ибо такими противодействующими средствами можно только растревожить и вызвать боль. Болезни следует смягчать и излечивать разумным образом жизни; напряженная борьба между лекарством и болезнью всегда причиняет вред, так как эта схватка происходит в нашем организме, на лекарство же нельзя полагаться, ибо оно по природе своей враждебно нашему здоровью и применение его вызвано только теми нарушениями, которые совершаются в нас. Предоставим же организм самому себе: природа, помогающая блохам и кротам, помогает и тем людям, которые терпеливо веряются ей подобно блохам и кротам. Мы можем до хрипоты понукать нашу болезнь, — это ни на иоту не подвинет нас вперед. Таков неумолимый ход вещей в природе. Наши страхи, наше отчаяние не ускоряют, а лишь задерживают помощь природы. Болезнь должна иметь свои сроки, как и здоровье. Природа не нарушит установленного ею порядка ради одного человека и в ущерб другим, ибо тогда воцарится беспорядок. Будем следовать ей, ради бога, будем ей подчиняться. Она ведет тех, кто следует за ней, тех же, кто

сопротивляется, она тащит силком вместе с их безумием и лекарствами. Прочистите лучше мозги: это будет полезнее, чем прочистить желудок.

Одного спартанца спросили, каким образом он прожил здоровым столь долгую жизнь. «Не прибегая к медицине», — ответил он.²¹ А император Адриан, умирая, неустанно повторял, что обилие лечивших его врачей погубило его.²²

Некий незадачливый борец заделался врачом: «Вот здорово!, — сказал ему Диоген. — Ты прав; теперь ты будешь загонять в гроб тех, кто раньше клал тебя на обе лопатки».²³

Счастье врачей в том, что, по выражению Никокла,²⁴ их удачи у всех на виду, а ошибки скрыты под землей, но, кроме того, они обычно искусно используют все, что только можно; если в нас есть крепкая и здоровая основа от природы или по воле случая, или еще по какой-нибудь неизвестной причине (а таких причин несметное множество), то они вменяют это в заслугу именно себе. Если пациенту, находящемуся под присмотром врача, повезет в смысле излечения какого-нибудь недуга, врач обязательно отнесет это за счет медицины. Случайности, которые помогли излечиться мне и тысяче других людей, не прибегавших к помощи врачей, они обязательно припишут себе и будут похваляться ими перед своими больными; но, когда дело идет о плохом исходе болезни, они полностью отрицают свою вину и сваливают ее целиком на пациентов, ссылаясь на такие пустяковые причины, каких всегда можно найти великое множество: такой-то заболел из-за того, что оголил руку, такого-то погубил стук колес —

*rhedarum transitus arcto
Vicorum inflexu*²⁵ —

в таком-то случае всему виной открытое окно, в другом — что больной лежал на левом боку, в третьем — что больной подумал о чем-то тягостном. Словом, какого-нибудь слова, сновидения или мельком брошенного взгляда вполне достаточно, чтобы они полностью сняли с себя всякую вину. В иных случаях врачи, если им вздумается, пользуются даже ухудшением в состоянии больного, действуя способами,

в которых у них никогда не может быть недостатка: если болезнь от применения прописанного ими лечения обостряется, они уверяют, что без их лекарств было бы еще хуже. Выходит, что тот, чью простуду они обратили в ежедневную лихорадку, без их помощи страдал бы непрерывными приступами ее. Они не боятся плохо делать свое дело, так как и плачевный исход умеют обратить себе на пользу. У врачей несомненно есть основания требовать от больного веры в прописываемые ими средства, ибо надо действительно быть очень простодушным и податливым, чтобы довериться столь сомнительным фантазиям.

Платон вполне справедливо заявлял,²⁶ что врачам позволительно лгать сколько угодно, ибо наше выздоровление зависит от их щедрых и обманчивых посулов.

Эзоп, писатель исключительно редкого дарования, всю глубину мастерства которого способны оценить лишь немногие, бесподобно рисует нам, как деспотически врачи властвуют над своими подавленными болезнью и страхом несчастными пациентами. Так, например, он рассказывает²⁷: однажды врач спросил больного, как подействовало на него лекарство, которое он ему прописал. «Я сильно потел от него», — ответил больной. «Это очень хорошо», — сказал по этому поводу врач. Когда некоторое время спустя врач снова спросил больного о том же, больной заявил: «У меня был сильнейший озноб, меня всего трясло». «Это хорошо», — промолвил врач. Когда же врач в третий раз спросил больного, как он себя чувствует, последний ответил: «Я чувствую, что весь распух, как от водянки». «Вот это прекрасно», — заявил врач. Вслед за тем к больному зашел проведать его один из близких и осведомился, как он себя чувствует. «Так хорошо, друг мой, — сказал больной, — что просто помираю от этого».

В Египте существовал более справедливый закон, в силу которого врач брался за лечение больного с условием, что в течение первых трех дней болезни сам больной отвечал за все, что могло с ним приключиться, по прошествии же трех дней за все отвечал уже врач; в самом деле, какой иной смысл имело то, что покровитель врачей, Эскулап, был поражен молнией за то, что воскресил к жизни Ипполита?

Nam pater omnipotens, aliquem indignatus ab umbris
 Mortalem infernis ad lumina surgere vitae.
 Ipse repertorem medicinae talis et artis
 Fulmine Phoebigenam stygias detrusit ad undas;²⁸

а его преемники, отправляющие столько душ на тот свет, освобождены от ответственности!

Какой-то врач хвастался перед Никоклом огромной важностью врачебного искусства: «Это бесспорно, — ответил Никокл; — ведь оно может безнаказанно губить столько людей».²⁹

Если бы я был на месте врачей, я окружил бы медицину священным и таинственным ореолом: врачи в свое время положили хорошее начало этому делу, но не довели его до конца. Врачи искусно поступили, объявив богов и демонов родоначальниками медицины, создав особый язык и особую письменность, не взирая на философское наставление, гласящее, что безумно давать человеку благие советы на непонятном ему наречии — *Ut si quis medicus imperet ut sumat:*

*Terrigenam, herbigradam, domiportam, sanguine cassam.*³⁰

Под стать их искусству было правило — которого придерживаются все сверхъестественные, пустые и мнимые науки, — требовавшее, чтобы больной заранее верил им и был убежден в правильности их действий. Они твердо держатся этого правила и считают, что самый невежественный и несмышленный лекарь более полезен больному, который верит в него, чем самый опытный, но незнакомый больному врач. Даже выбор большинства их лекарств загадочен и таинственен; вроде, например, левой ноги черепахи, мочи ящерицы, испражнений слона, печени крота, крови, взятой из-под правого крыла белого голубя, а для нас, злополучных печеночных больных (до того глубоко их презрение к нашей болезни!), истолченный в порошок крысиный помет; можно перечислить еще много подобных нелепостей, которые скорее смахивают на колдовские чары, чем на серьезную науку. Я не стану распространяться о прописывании нечетного количества пилюль, о выделении особых дней и праздников в году для лечебных целей, об установленных часах для сбора целебных трав и, наконец, об их противных и высокомерных манерах в обхождении с больным,

над чем издевался даже Плиний. Но я хочу сказать, что они просчитались, положив врачебному искусству столь блестящее начало и не присовокупив правила, в силу которого их совещания и консультации должны быть окружены ореолом святости и таинственности; никто из простых смертных не должен был бы иметь к ним доступа, так же как и к таинственным обрядам, посвященным Эскулапу.³¹ Действительно, ввиду отсутствия такого правила их колебания, несостоятельность их доводов и предсказаний, резкость их споров между собой, проникнутых ненавистью и завистью друг к другу, — у всех на виду, и надо быть слепым, чтобы не понимать, как рискованно очутиться у них в лапах. Видел ли кто-нибудь врача, который согласился бы с назначением своего коллеги, ничего не вычеркнув или не прибавив? Они предают этим свою науку и выдают себя с головой, показывая, что больше заботятся о своей репутации и, следовательно, о своей выгоде, чем об интересах больного. Наиболее мудрым из сословия врачей был тот из них, кто в давние времена предписал, чтобы больного лечил только один врач, ибо если он не преуспеет в этом, то ущерб для врачебного искусства будет невелик, так как вина падет всего лишь на одного врача, и наоборот, если ему посчастливится, то это будет к вящей славе медицины; если же врачей, лечащих больного, много, то они все роняют свою профессию, поскольку большей частью их постигают неудачи. Врачи должны были бы не увеличивать и без того огромный разброд мнений, существующий у виднейших античных представителей медицинской науки, ибо об этой разногласии знают только книжники, и не выставлять напоказ перед народом своих нескончаемых споров и шатаний.

Приведем образчик старинных споров, которые ведутся в медицинской науке. Гиерофил считает исконной причиной болезней — соки; Эрасистрат — артериальную кровь, Асклепиад — невидимые атомы, проникающие в поры нашего организма; Алкмеон усматривает причину их в избытке или, наоборот, в истощении физических сил; Диоклес — в неодинаковом значении различных элементов нашего организма и в качестве воздуха, которым мы дышим; Стратон — в нашей пище, которая слишком обильна, недоброкачественна и плохо переваривается; наконец, Гиппократ считает источником болезней

населяющих тело духов. Один из доброжелателей медицины, которого врачи знают лучше, чем я,³² воскликнул по этому поводу, что медицина самая важная из наших наук, поскольку она печется о нашем здоровье и долголетию, но, к несчастью, она же и самая недостоверная, ибо в ней множество невыясненных вопросов и все постоянно меняется. Не будет большой беды, если мы ошибемся, измеряя высоту солнца над горизонтом или напутав в дробях при каком-нибудь астрономическом подсчете; но в медицине, где дело идет о нашей жизни, неразумно отдаваться на волю борющихся между собой стихий.

До Пелопоннесской войны медицина находилась в зачаточном состоянии.³³ Гиппократ создал ей популярность. Но все установленное Гиппократом было отвергнуто Хрисиппом, а вслед за тем внук Аристотеля, Эрасистрат, опроверг все, что писал Хрисипп. На смену им пришли эмпирики, которые в отличие от древнейших врачей стали на совершенно новый путь в применении врачебного искусства. Когда популярность эмпириков стала сходить на нет, Гиерофил ввел новый вид этого искусства, который в свою очередь раскритиковал и уничтожил Асклепиад. Вслед за тем приобрели силу медицинские воззрения Фемисона, после него — Мусы, а еще позднее — Вексия Валента, врача, известного своими услугами Мессалине. Во времена Нерона законодателем в области медицины сделался Фессал, развенчавший и отменивший все, что принято было в медицине до него. Учение Фессала было опровергнуто Крином из Марсея, который вновь установил, что все медицинские предписания должны соотноситься с движением светил, что следует есть, пить и спать в часы, удобные Луне и Меркурию. Вскоре затем очередным авторитетом в медицине стал Харин, врач из того же города Марсея. Последний отрицал не только всю старинную медицину, но и выступил против принятых на протяжении многих веков теплых ванн. Он предписывал людям купаться в холодной воде, даже зимой, и назначал им окунаться в источники при той температуре воды, которая была им свойственна. Вплоть до времен Плиния ни один римлянин еще не отваживался заниматься медицинской практикой; этим делом занимались только иностранцы и греки, подобно тому как у нас,

французов, ею занимаются «латинисты», ибо, как утверждает один выдающийся врач, мы не доверяем лечению, которое нам понятно, так же как и лекарственным травам, которые мы сами собираем. Если народы отдаленных стран, из которых мы ввозили гваяковое дерево, сальсапарель и хинное дерево, имеют лечебные средства, то мы полагаем, что они намного превосходят капусту или петрушку, так как они дороги, редки и необычны, — ибо кто посмеет отнестись с недоверием к вещам, которые прибывают из-за моря, подвергаясь опасностям столь далекого путешествия?

Все перевороты, о которых я говорил, произошли в медицине в давние времена, но с тех пор в ней произошло еще бесчисленное множество других, большей частью очень решительных и всеобъемлющих. Они продолжают и по сей день; примером могут служить реформы, произведенные в наше время Парацельсом, Фьораванти и Аржантье.³⁴ Эти врачи дают больным не только иные предписания, но, как мне передавали, совершенно меняют самую основу и принципы медицины, обвиняя в невежестве и обмане тех, кто занимался ею до них. Предоставляю вам самим решить, как должен себя чувствовать при этом несчастный пациент!

Если бы в тех случаях, когда врачи ошибаются, мы могли быть уверены, что их назначения, не помогая нам, по крайней мере не приносят нам вреда, нас утешала бы мысль, что, стремясь к лучшему, мы по крайней мере ничем не рискуем.

В одной из своих басен Эзоп рассказывает:³⁵ некий хозяин, купивший раба-мавра, решил, что его чернота случайного происхождения и вызвана дурным обращением прежнего хозяина. Поэтому он принялся усиленно лечить его непрерывным отмыванием и различными снадобьями, но добился только того, что мавр, нисколько не побелев, утратил свое первоначальное здоровье.

А сколько раз случается нам быть свидетелями того, как врачи обвиняют друг друга в смерти их пациентов! Мне припоминается эпидемия очень опасной болезни со смертельными исходами, которая несколько лет тому назад свирепствовала в городах моей области; когда эта буря, унесшая огромное число людей, улеглась, один из самых прославленных наших врачей выпустил брошюру,³⁶

касающуюся данной болезни. В ней он пересмотрел свое отношение к кровопусканию и пришел к выводу, что применение его при этой болезни было ошибочным; он признает, что это была одна из главных причин гибели множества людей. Более того, врачи считают, что нет такого лекарства, которое не было бы в какой-то мере вредным для организма. Но если даже помогающие нам лекарства причиняют известный вред, то что сказать о тех средствах, которые нам прописываются совершенно ошибочно?

Я же лично считаю, что не следует заставлять глотать лекарство тех, кому оно противно, ибо в трудную минуту болезни подобное усилие опасно и вредно; я полагаю, что это слишком большое испытание для больного в момент, когда он особенно нуждается в покое. Кроме того, рассуждая об обстоятельствах, в которых врачи обычно усматривают причину наших болезней, я нахожу их предположения весьма легковесными и неубедительными, — из чего я делаю вывод, что небольшая ошибка в прописанном ими лечении может причинить нам серьезный вред.

Но если ошибка врача — вещь опасная, то наше дело совсем дрянное, ибо врачу нелегко не впадать постоянно в ошибки. Врач должен знать очень много о самом больном, учитывать множество обстоятельств и соображений, чтобы правильно назначить лечение. Он должен знать физический склад больного, его темперамент и нрав, его склонности, его действия, даже его мысли и представления. Врач должен учитывать внешние обстоятельства, характер местности, состояние атмосферы и погоды, местоположение светил и их влияние; он должен знать причины болезни, ее симптомы, каково было начало заболевания, как протекали критические дни болезни; в отношении лекарства он должен знать его вес, силу, происхождение, вид, способ приготовления, срок действия, и все эти элементы он должен уметь дозировать и сочетать между собой так, чтобы получилось соответствие всех частей. Как бы ни была мала его ошибка в этом деле, но если только из этого множества винтиков хотя бы один неисправен, этого достаточно, чтобы погубить нас. Одному богу известно, как трудно врачу разобраться в большинстве этих вещей! Взять хотя бы вопрос о симптомах: как ему установить главный

симптом болезни, раз у каждой из них неисчислимое множество симптомов! А сколько споров ведется между врачами по поводу истолкования анализа мочи, сколько сомнений высказывается на этот счет! В противном случае были бы непонятны постоянно происходящие у нас на глазах пререкания между врачами о причинах болезней. Чем могли бы мы иначе извинить постоянные ошибки врачей, принимающих петуха за сокола? Как ни легки были перенесенные мной в жизни болезни, я не помню случая, чтобы трое врачей были согласны между собой относительно них. Я уделяю больше внимания примерам, в какой-то мере касающимся меня. В недавнее время в Париже по решению врачей оперировали одного дворянина, у которого не оказалось никакого камня в пузыре; равным образом многие врачи, с которыми советовался один мой друг, епископ, настоятельно рекомендовали ему оперироваться, и я сам, полагаясь на врачей, со своей стороны убеждал его в этом, но когда он скончался, то при вскрытии обнаружилось, что у него были только больные почки. Врачам менее простительно ошибаться относительно этой болезни, ибо она до известной степени распознается на ощупь. Именно по этой причине хирургия представляется мне гораздо более достоверной областью медицины: она по крайней мере видит, с чем имеет дело; несравненно меньше простора для гипотез и догадок там, где у врачей нет *speculum matricis*,³⁷ чтобы заглянуть в наш мозг, в наши легкие, в нашу печень.

Нельзя не относиться с недоверием к результатам, ожидаемым от того или иного лекарства: нередко лекарство должно оказать свое действие сразу на несколько угнетающих нас болезней, которые имеют какую-то необходимую связь между собой, но требуют различного лечения, например когда налицо жар в печени и холод в желудке. Врачи в таких случаях уверяют нас, что одни из составных частей их лекарства будут оказывать согревающее действие на желудок, другие же, наоборот, охлаждать печень, одни снадобья должны следовать прямо в почки или даже до мочевого пузыря, не оказывая своего действия нигде в другом месте, но сохраняя в целости свою силу на всем протяжении этого длинного и полного помех пути, пока они достигнут того органа, которому они в силу

своих таинственных свойств призваны помочь; такое-то снадобие увлажняет легкие, другое — сушит мозг. Разве не фантазия ожидать, что, когда все эти средства будут смешаны в микстуру, каждое из них направится выполнять свои различные функции безо всякой путаницы и недоразумений? Я бы очень опасался, что они изменят или потеряют свои свойства и не окажут ожидаемого действия. Можно ли себе представить, чтобы при таком соединении в одну жидкость свойства отдельных составных частей не вступали в борьбу и не уничтожали друг друга? Уж не должны ли мы предположить, что правильное действие лекарства в конце концов зависит от некоего внешнего распорядителя, промыслу и милосердию коего вручаем мы нашу жизнь? ³⁸

Подобно тому как мы имеем специалистов и по шитью жилетов и по шитью брюк, причем обслуживание клиентов выигрывает от того, что каждый такой специалист занимается только своим делом и обучается ему в более короткий срок, чем портной, умеющий шить все решительно; и подобно тому как богатые люди, желая особенно хорошо питаться, заводят поваров-специалистов, по изготовлению овощных блюд и особых специалистов по жарким, ибо обычный повар не сумел бы проявить подлинной утонченности в столь разнообразных областях, — точно так же надлежит нам поступать и при нашем лечении. Правы были египтяне, заменившие врача, лечившего все болезни, врачами по разным специальностям: для каждой болезни, для каждой части тела существовали свои специалисты, и лечение от этой специализации только выигрывало, ибо было более продуманным, более изученным. ³⁹

Наши врачи не хотят считаться с тем, что тот, кто помогает всем, на деле не помогает никому, что они не в состоянии справиться со всем организмом в целом. Так, опасаясь прервать приступ дизентерии, чтобы не вызвать лихорадку, врачи погубили мне такого друга, который стоил всех их, вместе взятых. ⁴⁰ При лечении болезней они пользуются своими гаданиями на кофейной гуще, и, чтобы не излечить насморк в ущерб желудку, они своими смешанными, но не вяжущимися друг с другом лекарствами причиняют вред желудку и усиливают насморк.

Что касается разноречивости медицинских предписаний и их шаткости, то эти качества во врачебном искусстве проявляются еще сильнее, чем в какой бы то ни было другой науке. Так, врачи говорят, что всякого рода слабительные полезны для людей, страдающих припадками печени, поскольку, расширяя выводные пути, они проталкивают вперед те вещества, из которых образуются песок и камни, и продвигают книзу то, что начинает затвердевать и скопляется в почках. Вместе с тем они же утверждают, что всякого рода слабительные опасны для печеночных больных, поскольку, расширяя выводные пути, они проталкивают в почки вещества, образующие песок, каковые, пользуясь этим, начинают усиленно осаждаться, так что в результате почки не в состоянии полностью разгрузиться от всего в них осевшего. Мало того, врачи говорят, что если случайно при этом выведении из организма встретится какое-нибудь тело бóльших размеров, чем то, которое способно пройти по всем этим узким путям, чтобы выйти наружу, то это тело, приведенное в движение слабительным и оказавшись в этих узких каналах, закупоривает их, неминуемо вызывая очень мучительную смерть.

Такая же шаткость характерна и для тех указаний, которые они дают нам относительно режима. Полезно, говорят они, часто мочиться, ибо мы знаем по опыту, что в противном случае, задерживая в организме разложившиеся вещества, мы перегружаем его отбросами и элементами брожения, которые содействуют образованию камней в мочевом пузыре. Вредно, говорят они же, часто мочиться, потому что плотные испражнения могут быть выведены вместе с мочой только при большом напоре, подобно тому как бурный поток чище сметает все со своего пути, нежели ручеек, медленно и тихо текущий. Они рекомендуют нам часто иметь дело с женщинами, ибо это открывает выводные пути и проталкивает песок и его осадок. Однако они же уверяют, что это вредно, так как возбуждает почки, утомляет и ослабляет их. Хорошо, говорят они, купаться в теплых источниках, так как это размягчает те места, где застаивается песок и скопляются камни, но это же и вредно — заявляют они, — потому что внешнее тепло содействует затвердению и окаменению скопившихся в почках веществ. Лицам, лечущимся на водах, говорят врачи,

полезно мало есть вечером, чтобы вода, которую им предстоит выпить утром, оказала лучшее действие на пустой и неперегруженный желудок, но они же утверждают, что лучше мало есть за обедом, чтобы не пресекать незакончившегося еще действия выпитой воды и не обременять желудок сразу же после этой работы, перенося переваривание пищи на ночь, когда это совершается лучше, чем днем, ибо днем тело и душа заняты кипучей деятельностью.⁴¹

Такие колена и фокусы выкидывают врачи, колеблясь во всех своих суждениях, и все это за счет нашего здоровья.

Пусть поэтому не осуждают тех, кто при виде хаоса, царящего в медицине, предпочитает послушно следовать голосу природы и собственных влечений, сообразуясь с участью большинства людей.

Я имел возможность познакомиться во время своих путешествий почти со всеми прославленными лечебными источниками Европы и в течение последних лет стал прибегать к водолечению,⁴² ибо считаю, что ванны оказывают целебное действие, и мы, я думаю, немало теряем от того, что перестаем пользоваться ими, как это практиковалось в старину почти у всех народов. Добавлю, что у многих и по сей день сохранился обычай ежедневно принимать ванны. Я не могу себе представить, чтобы для нас было полезно, когда поры наши закупорены и на теле образуется корка. Что же касается питья минеральной воды, то, к счастью, оно, во-первых, мне по вкусу, а во-вторых, это простой и естественный напиток, который если и не полезен, то во всяком случае не вреден, доказательством чего служит то, что минеральную воду пьет множество людей самого разного физического склада. Мне не приходилось видеть каких-либо чудодейственных и разительных последствий от водолечения, и, на основании более тщательных расспросов, чем обычно их делают, я убедился в несостоятельности и необоснованности росказней на этот счет, распространяемых в лечебных местах и обычно принимаемых на веру (ибо люди легко обманываются, когда хотят быть обманутыми).⁴³ Но во всяком случае я не видел лиц, которым водолечение повредило бы. Нельзя отрицать — если только не быть предубежденно настроенным, — что водолечение возбуждает аппетит, содействует пищеварению и придает нам известную бодрость, если

только лечащийся не приезжает на воды в слишком плохом состоянии, чего я не рекомендую делать. Водолечение не в состоянии помочь при очень тяжелом недуге, но оно может доставить облегчение при небольших нарушениях или устранить угрозу какого-нибудь неблагоприятного отклонения. Кто не приезжает на воды достаточно бодро настроенным, с желанием наслаждаться обществом людей, здесь находящихся, участвовать в прогулках, к которым весьма располагает красота мест, где обычно находятся целебные источники, тот несомненно сильно понижает полезное действие водолечения. По этой причине я до настоящего времени выбирал места с наиболее красивыми окрестностями, с наибольшими удобствами в смысле жилья, питания и общества; к числу их принадлежат во Франции — баньерские воды, на границе Германии и Лотарингии — пломбьерские воды, в Швейцарии — баденские источники, в Тоскане — луккские источники, в особенности так называемые «делла Вилла», которыми я пользовался чаще всего и в разное время.

Каждый народ имеет свои особые мнения насчет пользования водами, устанавливает свои законы и правила лечения ими, отличные от принятых у других народов, и все же, на мой взгляд, результаты водолечения всюду примерно одни и те же. В Германии, например, не принято пить минеральную воду, но ванны из нее принимают от всех болезней и от зари до зари плещутся в воде. В Италии девять дней пьют минеральную воду, но купаются в ней не менее месяца; при этом к питьевой минеральной воде обычно прибавляют еще другие прописанные лекарства, чтобы усилить их действие. В Италии после питья минеральной воды рекомендуют гулять для того, чтобы она лучше усвоилась, а в других местах, наоборот, предписывают лежать в постели, пока больные не выделают соответствующего количества жидкости, причем им все время прикладывают грелки к желудку и к ногам. У немцев существует та особенность при водолечении, что они, сидя в ванне, ставят себе кровососные банки и делают надрезы на коже для кровопускания, между тем как у итальянцев принято обливаться из душа, т. е. проведенной по узким трубочкам теплой минеральной водой в течение часа по утрам и еще раз под вечер, в течение целого месяца, причем поливается

либо голова, либо желудок, либо другая часть тела, в зависимости от того, что у них болит. Таких особенностей при водолечении несчетное множество в каждой стране; иначе говоря, оно всюду проводится на особый лад. Вот как даже в этом способе лечения — единственном, к которому я прибегаю, — царит та же разногласица и неразбериха, что и в других областях медицины, хотя он и наименее искусственен.

Поэты высказывают то же самое мнение о медицине, облакая его в более возвышенную и изящную форму, доказательством чего могут служить следующие две эпиграммы:

Alcon hesterno signum Iovis attigit. Ille,
Quamvis marmoreus, vim patitur medici.
Ecce hodie, iussus transferri ex aede vetusta
Effertur, quamvis sit deus atque lapis.⁴⁴

И другая еще:

Lotus nobiscum est hilaris, coenavit et idem,
Inventus mane est mortuus Andragoras.
Tam subitae mortis causam, Faustine, requiris?
In somnis medicum viderat Hermocratem.⁴⁵

По этому поводу я хочу рассказать два случая.

Барон де Копен из Шалосса⁴⁶ и я имеем совместное право патроната над обширным владением у подножья наших гор, которое носит название Лаонтан. О жителях этого захолустья можно сказать то же, что и о жителях долины Ангрунь: они живут своей особой жизнью, у них свои обычаи, нравы, манера одеваться; их общественный уклад регулируется некоторыми особыми установлениями и порядками, унаследованными ими от отцов, и они подчиняются этим порядкам из уважения к их древности. Эта небольшая область с давних времен находилась в таком благоприятном положении, что ни один соседний судья не вмешивался в ее дела, ни один адвокат не призывался для совета, никогда не приглашали ни одного чужестранца для улажения споров и никогда не видели в этой местности ни одного нищего. Не желая нарушать своего благоустройства, они избегали связей и сношений с остальным миром; но все это продол-

жалось, по их словам, до тех пор, пока — еще на памяти их отцов — один из обитателей этой области, душа которого уязвлена была благородным честолюбием, не решил для прославления своего имени вывести одного из своих детей в люди и дать ему образование. Обучив его в каком-то соседнем городке грамоте, он сделал из него в конце концов недурного сельского нотариуса. Этот нотариус, возвысившись, проникся презрением к старинным обычаям своей местности и стал внушать своим односельчанам преклонение перед соседними краями. Одному из своих земляков, у которого козе обломали рога, он посоветовал искать правосудия у королевских судей из соседней области, затем подал подобный же совет другому, пока не совратил всех. За этой порчей нравов, рассказывают они, вскоре последовала другая, еще более роковая по своим последствиям беда, приключившаяся из-за некоего врача, который вздумал жениться на одной из их девушек и поселиться среди них. Врач этот стал прежде всего просвещать их насчет названий разных лихорадок, катаров и нарывов, насчет местоположения сердца, печени и кишок — до того времени они имели о подобных вещах весьма смутное представление — и вместо чеснока, с помощью которого они привыкли излечивать все болезни, даже самые серьезные и опасные, он приучил их принимать от кашля или озноба иноземные микстуры, сделав предметом торговли не только их здоровье, но и самое смерть. Они уверяют, будто лишь с этого времени стали замечать, что от вечерней сырости в голове у них появляется тяжесть, что, разгорячившись, пить воду вредно или что осенние ветры чаще вызывают простуду, чем весенние; они клянутся, что с того времени, как стали лечиться, у них открылась уйма дотоле неизвестных болезней, и они замечают, что их крепкое здоровье стало сдавать, и век их стал вдвое короче. Таков первый случай, о котором я хотел рассказать.

Другой случай относится к тому периоду моей жизни, когда моя болезнь печени еще не сказалась. Прослышав, какое чудесное действие оказывает на многих козлиная кровь, которую прославляют как манну небесную, ниспосланную нам в недавние времена для сохранения человеческой жизни, и узнав, что компетентные люди говорят об этом как о замечательном лекарстве, действующем

безошибочно, я, который всегда допускал, что на меня могут свалиться те же болезни, что и на всякого другого человека, почел за благо, находясь в полном здравии, обзавестись подобным чудом и приказал, чтобы мне вырастили козла по всем правилам этого лечения. Дело в том, что козленка надо отлучить от матери в самые знойные летние месяцы и кормить его только целебными травами и поить одним только белым вином. Я случайно вернулся домой как раз в тот день, когда его зарезали; мне пришли доложить, что мой повар нащупал у него в брюхе среди остатков пищи два или три плотных образования, ударявшихся друг о друга. Меня это заинтересовало, я решил осмотреть всю требуху и велел при себе вскрыть козлиную тушу. Когда это было сделано, то обнаружилось три объемистых тела, легкие, как губки, по виду как будто полые, снаружи плотные и твердые, окрашенные в различные темные цвета; одно из них было совершенно круглое, размером с кегельный шар, остальные два были несколько меньше, еще не совсем круглые, но близкие к этому. Опросив сведущих лиц, которым приходится часто вскрывать этих животных, я узнал, что явление это было редкое и необычное. Возможно, что то были камни сродни нашим, и если это так, то мало надежды, чтобы человек, страдающий камнями, излечился кровью животного, которое само должно было погибнуть от этой болезни. Ибо нельзя согласиться с тем, что подобная зараза не проникает в кровь и не изменяет ее обычного состава. Есть основания скорее полагать, что все, образующееся в теле, возникает при совместном участии всех его частей; действие это совокупное, хотя та или иная часть может принимать большее или меньшее участие, в зависимости от различных обстоятельств. Поэтому очень похоже на то, что все органы этого козла обладали каким-то предрасположением к образованию камней. Я заинтересовался этим опытом не из страха перед ожидающим меня будущим и не столько из-за себя самого, сколько из-за принятого в моем доме обычая — впрочем, не только у меня в доме, но и во многих других, — в силу которого женщины собирают всякого рода лекарства для оказания помощи народу; они пользуются при этом одним и тем же средством против сотни болезней, средством, не испытанным на них самих и тем не

менее при благоприятном стечении обстоятельств хорошо действующим на других.

Впрочем, я уважаю врачей не в силу библейского предписания, повелевающего чтить врача по надобности в нем,⁴⁷ ибо этому завету противостоит изречение другого пророка, порицающее царя Асу за то, что он прибегнул к помощи врача;⁴⁸ я могу питать к ним личное уважение, так как мне приходилось встречать среди них многих почтенных людей, заслуживающих дружеского расположения. Я имею зуб не против них, а против их науки, и не особенно корю их за то, что они пользуются нашей глупостью, ибо так поступают все на свете. Многие профессии, и менее важные и более достойные, основаны исключительно на злоупотреблении доверием. Когда я заболеваю, я приглашаю врачей, если они есть под рукой, и прошу их лечить меня, и плачу им за это, как другие люди. Я предоставляю им предписывать мне тепло одеваться, если мне это более по душе, чем обратное; я предоставляю им назначать мне по их усмотрению бульон из порея или латука и пить белое вино или красное; я даю им полную свободу во всем, что не задевает моих желаний и привычек.

Я вполне согласен, что неприятные свойства лекарств — горечь и необычный вкус — вытекают из самой их сущности и врачи тут не при чем. Ликург предписывал больным спартамцам пить вино. Почему? Потому что в здоровом состоянии они его терпеть не могли. Точно так же некий дворянин, сосед мой, лечится вином, считая его вернейшим средством против лихорадки, но в нормальном состоянии не выносит его вкуса.

А сколько мы встречаем врачей, которые разделяют мое отношение к лекарствам, врачей, которые пренебрегают лекарствами, когда дело идет о них самих, и которые придерживаются свободного режима, совершенно обратного тому, какой они предписывают другим! Но разве это не значит открыто злоупотреблять нашей доверчивостью? Ведь их собственная жизнь и здоровье им не менее дороги, чем нам наши, и потому они не стали бы действовать вопреки своей науке, если бы сами не были убеждены в полнейшей ее несостоятельности.

Страх смерти и страх перед страданием, боязнь боли, неистовое и неодолимое желание выздороветь во что бы то ни стало — вот что полностью ослепляет нас; только явная трусость побуждает нас к доверчивости столь кроткой и податливой.

Однако страдания большинства людей значительно сильнее их веры в лекарства. Я часто слышу, как они жалуются и говорят то же, что я сейчас, но в конце концов они не выдерживают и заявляют: «Что мне остается делать?» Точно нетерпение — более верное средство, чем терпение!

Из числа поддавшихся этой жалкой слабости найдется ли хоть один, кто не согласился бы на любой обман, кто не доверился бы первому попавшемуся шарлатану, который бесстыдно посулил бы излечить его?

Вавилоняне выносили своих больных на площадь, и врачом был весь народ, всякий прохожий, который из сострадания и учтивости осведомлялся об их состоянии и давал им, смотря по своему опыту, тот или иной полезный совет.⁴⁹ Мы поступаем примерно так же. Нет такой ничтожной бабенки, знахарством и наговорами которой кто-нибудь не воспользовался бы; что до меня, то если бы это оказалось нужным, я предпочел бы такое лекарство любому другому, потому что оно по крайней мере безвредно.

Гомер и Платон говорили о египтянах,⁵⁰ что все они врачи, и то же самое следовало бы сказать о всех народах: нет человека, который не знал бы какого-нибудь верного средства и который не рискнул бы испытать его на своем ближнем, если бы тот захотел ему поверить.

Недавно, когда я находился в одном обществе, кто-то из моих близких сообщил о неких новых пилюлях, состоящих из ста с лишним составных частей. Известие это было встречено с необычайным ликованием и надеждой: в самом деле, какая крепость устоит против такой мощной батареи? Однако от тех, кто испытал на себе эти пилюли, я узнал, что они ни на волос не помогли ни одному больному.

Я не могу поставить точки на моем рассуждении, пока не выскажусь по поводу уверения врачей, ссылающихся в качестве гарантии действительности прописываемых ими лекарств на имеющийся у них в этом отношении опыт. Большинство лечебных свойств — бо-

лее двух третей их, как мне кажется, — зависит от неизвестных нам качеств целебных трав, от их квинтэссенции, познать которую мы можем лишь путем применения их, ибо квинтэссенция есть всего-навсего лишь такое свойство, объяснения которого наш разум не в состоянии дать. Я готов согласиться с врачами, когда они утверждают, что целебные свойства того или иного снадобья для них открылись по какому-то наитию свыше (ибо чудес я никогда не оспариваю). Готов я принять и те доказательства, которые обнаруживаются благодаря частому пользованию данными вещами; так, например, мы наблюдаем, что в шерсти, в которую мы обычно одеваемся, имеется, видимо, какое-то свойство, излечивающее отмороженные места на пятках, или, например, что употребляемый нами в пищу хрен оказывает на нас послабляющее действие. Гален сообщает, что одному прокаженному удалось излечиться с помощью выпитого им вина, так как случайно в его стакан заползла гадюка. Мы видим на этом примере правдоподобное объяснение данного случая, как и тогда, когда врачи в подтверждение действительности того или иного лекарства ссылаются на свои наблюдения над некоторыми животными. Но когда большей частью врачи заявляют, что удачно натолкнулись на тот или иной опыт, руководствуясь только случайностью, полезность таких указаний кажется мне весьма сомнительной. Я представляю себе человека, видящего вокруг себя несметное количество вещей, растений, животных, металлов. С чего ему начать свой опыт? Если по какому-нибудь поводу ему взбредет в голову обратить внимание, скажем, на рог лося — что очень мало вероятно. — то не меньше затруднений ожидает его при втором шаге на этом пути. Ему надлежит произвести выбор между столькими болезнями и столькими различными обстоятельствами, что разум его окажется бессильным еще до того, как даже в одном случае он сможет признать свой опыт безукоризненным, еще до того, как из бесконечного множества вещей он должен будет остановить свой выбор на этом роге, из нескончаемого числа болезней — на эпилепсии, из различных темпераментов — на меланхолическом, из различных времен года — на зиме, из множества народов — на французах, из всех возрастов — на старости, из разнообразных положений небесных тел — на соче-

тании Венеры и Сатурна, из всех частей тела — на пальце. И так как при установлении всего этого ему пришлось бы руководствоваться не догадкой, не примерами, не божественным вдохновением, а только чистой случайностью, то это должна была бы быть какая-то особая случайность — искусственно возникшая, упорядоченная и подчиненная правилам.

И затем, когда болезнь наконец излечена, как может врач убедиться в том, что это произошло не потому, что сроки данной болезни истекли или в силу какой-нибудь случайности, или из-за чего-нибудь съеденного или выпитого больным, или из-за вещи, к которой он прикоснулся в этот день, или же потому, что ему просто помогли бабушкины молитвы? Далее, сколько раз нужно повторить этот опыт, чтобы он мог считаться безукоризненным? Сколько раз нужно испытать цепь этих случайностей и совпадений, чтобы вывести из них закономерность?

А когда эта закономерность будет установлена, кому приписать ее? Из миллиона людей найдется не более трех, которые пожелают закрепить свой опыт. Угодно ли будет случаю натолкнуться именно на одного из них? И что если кто-нибудь другой — и не один он, а сотни других людей — проделали прямо противоположный опыт? Может быть, вопрос до известной степени разъяснился бы для нас, если бы мы знали суждения и соображения всех людей. Но не дело, чтобы трое наблюдателей и трое ученых мужей направляли судьбы человеческого рода; для этого надо было бы, чтобы именно их человеческая природа выделила и избрала для этой цели, особым актом назначив их своими уполномоченными.

Госпоже де Дюра.⁵¹

Сударыня, Вы застали меня за писанием этих строк, когда недавно явились меня проведать. Может статься, что эти мои благоглупости попадут когда-нибудь в ваши руки, и поэтому я хотел бы здесь же засвидетельствовать вам, как глубоко польщенным чувствует себя их автор вниманием, которое вы ему окажете. Вы узнаете в его писаниях тот же характер и тот же образ мыслей, с которым вам приходилось иметь дело в беседах с ним. Если бы

я мог усвоить себе в этих моих писаниях какую-нибудь другую манеру, несвойственную мне вообще, и придать им какой-то другой, более благообразный и почтенный вид, я тем не менее не пошел бы на это; ибо я требую от этих писаний только одного — чтобы они напомнили и изобразили вам меня таким, каков я на деле. Те самые мои способности и свойства, которые вы, сударыня, знали во мне и отмечали с гораздо большей благосклонностью, чем они того заслуживали, я хочу запечатлеть (но без всяких искажений и прикрас) в чем-то вещественном, в книге, которая может пережить меня на несколько лет или всего лишь на несколько дней и в которой Вы вновь найдете их, если захотите освежить в своей памяти, не напрягая ее: да они этого и не стоят. Я хочу, чтобы Ваши дружеские чувства ко мне питались теми же свойствами моей природы, которые их породили. Я отнюдь не желаю, чтобы мертвого меня больше любили и уважали, чем живого.

Желание Тиберия нелепо, но тем не менее оно присуще многим: он не столько заботился о расположении современников, сколько о том, чтобы завоевать себе славу в потомстве.

Если бы я принадлежал к числу тех, кому люди могут пожелать воздать славу, то я избавил бы их от этого и попросил бы, чтобы они мне выдали ее авансом; пусть она поскорее придет ко мне и обовьется вокруг меня; пусть она даже будет покороче, но зато поплотнее, не очень долговечной, но зато ощутимой, и пусть она безвозвратно канет в вечность, когда я уже не смогу ощущать ее и внимать ее сладостному голосу.

Было бы глупо с моей стороны сейчас, когда я готовлюсь навсегда расстаться с людьми, стремиться предстать перед ними с какими-то новыми достоинствами. Я не коплю никаких таких благ, которых не смогу использовать в своей жизни. Каков бы я ни был, я хочу быть таким в жизни, а не в моих писаниях. Все мое умение и труды были направлены на то, чтобы проявить себя в делах, и все мое обучение клонилось к тому, чтобы действовать, а не писать. Я употребил все отпущенные мне силы на то, чтобы устроить свою жизнь. Это было моим основным занятием, моим делом. Я меньше всего являюсь сочинителем книг. Я хотел обладать достатоком, чтобы

удовлетворять свои насущные и основные потребности, а не для того, чтобы накоплять богатства и оставить их моим наследникам.

Кто обладает достоинствами, пусть выкажет это в своем поведении, в своих повседневных словах, в любви, в ссорах, в игре, в постели, за столом, в ведении своих дел и в своем домашнем хозяйстве. Но тем, кто сочиняет хорошие книги и ходит в рваных штанах, я бы посоветовал — если бы они пожелали меня выслушать — сначала обзавестись приличными штанами. Спросите у спартанца, предпочитает ли он быть хорошим оратором или хорошим воином. Что касается меня, то я предпочел бы быть не хорошим оратором, а хорошим поваром, если бы некому было обслужить меня.

О, как претило бы мне, если бы обо мне распространена была слава, что я искусный писатель, но ничтожество и глупец в других отношениях. Правда, я предпочел бы быть совершенным глупцом во всех областях, чем избрать такое жалкое применение моих способностей. Поэтому я не стремлюсь снискать себе никакого нового почета этими досужими писаниями и буду доволен уже в том случае, если из-за них не потеряю той доброй славы, которую успел приобрести, ибо, помимо того, что это немое и мертвое мое отражение обедняло бы мой естественный облик, оно показывало бы меня не в лучшую мою пору, но когда я утратил уже свою былую жизнерадостность и безупречное здоровье и клонюсь к упадку. Я подобен остаткам вина, которые нередко отдают бочкой и имеют привкус брожения.

Разумеется, сударыня, я не решился бы так смело ворошить тайны медицины, зная, с каким уважением вы и многие другие к ней относитесь, если бы меня не побудили к тому сами писавшие о ней. Под ними я разумею только двух латинских авторов — Плиния и Цельса. Если вам придется когда-нибудь заглянуть в них, вы убедитесь, что они отзываются о медицине куда резче, чем я: я лишь слегка сбиваю с нее спесь, другие же расправляются с ней совсем безжалостно. Плиний, издеваясь над измышлениями врачей,⁵² указывает, между прочим, на то, что, исчерпав все средства, они придумали великолепную уловку — отсылать больных, которых они зря мучили своими лекарствами и разными режимами, одних испытать

на себе чудеса и обеты, других — на воды. [Не обижайтесь, сударыня, Плиний не имел в виду наших здешних источников, которые находятся под покровительством вашего дома и насквозь «грамонтуазны»⁵³ (gramontoises)]. Это для них лишняя уловка, чтобы сплавить нас куда-нибудь подальше и избавиться от упреков в том, что они так мало помогли нам в исцелении наших недугов, которые они так долго лечили. Им ничего больше не остается, как попытаться нас развлечь, и с этой целью они отправляют нас для перемены климата в другие страны. На этом, сударыня, я ставлю точку. Вы мне, надеюсь, позволите вернуться к нити изложения, прерванной ради беседы с вами.

Если не ошибаюсь, был с Периклом⁵⁴ такой случай: когда его спросили, как он себя чувствует, он ответил: «Вы можете судить по этим вещам» — и указал на амулеты, висевшие у него на шее и на руках. Этим он хотел сказать, что серьезно болен, раз дошел до того, что прибегнул к таким безнадежным средствам, позволив нацепить на себя эти штуки. Я не зарекаюсь, что могу когда-нибудь прийти к нелепому решению верить свою жизнь и здоровье врачам; я могу поддаться такой безумной мысли и не поручусь за свою стойкость на будущее время. Однако и тогда, если кто-нибудь спросит меня о моем самочувствии, я отвечу ему, как Перикл: «Можете судить по этому» — и покажу зажатые у меня в кулаке шесть драхм опиума; это будет бесспорным доказательством серьезности моей болезни. К этому времени я успею основательно свихнуться; если страх и нетерпение смогли довести меня до подобных вещей, то можно вообразить всю глубину моего душевного смятения.

Я взял на себя смелость выступить в защиту моих взглядов на медицину, в которой довольно слабо разбираюсь, чтобы до известной степени оправдать и подкрепить мое естественное отвращение к лечебным средствам нашей медицины, унаследованное мной от моих предков. Я хотел, чтобы это отвращение не казалось просто неразумной и бессмысленной антипатией, чтобы оно было несколько более обосновано. Мне хотелось также, чтобы те, кому приходится наблюдать, как я бываю непреклонен, когда меня спрашивают и убе-

ждают во время моих болезней, знали, что дело здесь не в моем упрямстве. Равным образом мне хотелось бы исключить чье бы то ни было досадное предположение, будто я поступаю так из какого-то тщеславия; было бы весьма нелепо желать прославиться этим, ибо так же точно поступают, в случае болезни, мой садовник или мой погонщик мулов. И не такой уж я спесивец и бахвал, чтобы стремиться обменять весомое, полнокровное и сладостное ощущение здоровья на такое эфемерное, воздушное и чисто духовное наслаждение, как слава. Для такого человека, как я, слава — хотя бы даже столь великая, как выпавшая на долю четырех сыновей Эмона⁵⁵, — вещь, слишком дорогая, если за нее нужно заплатить тремя основательными припадками боли. Здоровье, здоровье — вот чего я хотел бы!

Я признаю, что и у защитников нашей медицины могут быть весьма серьезные, убедительные и веские соображения, и я отнюдь не отвергаю мнений, расходящихся с моими. Меня нисколько не пугает, если мои суждения противоречат суждениям других людей; и то, что эти люди придерживаются точек зрения, отличных от моей, нисколько не мешает моему общению с ними. Наоборот, в силу того что наиболее распространенным принципом в природе является разнообразие и что оно еще более свойственно человеческому духу, чем телу, — поскольку дух есть нечто более гибкое и многоликое, — мне гораздо реже приходится наталкиваться на совпадение моих воззрений и склонностей с воззрениями и склонностями других людей. Никогда не существовало двух совершенно одинаковых мнений, точно так же как один волос не бывает вполне похож на другой и одно зерно на другое. Наиболее устойчивым свойством всех человеческих мнений является их несходство.

КОММЕНТАРИИ



Глава I

(Стр. 7—14)

¹ Марий Младший — Гай Марий Младший (109—82 гг. до н. э.), как и отец его, известный римский полководец и политический деятель, Гай Марий Старший (156—86 гг. до н. э.), был вождем народной партии; консул 82 г. до н. э.; побежденный Суллой, покончил с собой. — Указанное в тексте сообщение см. Плутарх. Жизнеописание Гая Мария, XVI.

² Бонифаций VIII — папа римский (1294—1303). До избрания папой Бонифаций успел проделать при римской курии весьма разнообразную карьеру и основательно разбогатеть; он был посвящен во все интриги папского двора («вел себя лисой», как выражается Монтень). Став папой, вступил в борьбу за верховенство папской власти над светской властью государей («выказал себя львом», иронизирует Монтень) и потерпел сокрушительное поражение в конфликте с французским королем Филиппом IV Красивым, эмиссары которого нанесли папе тяжкие физические оскорбления, в результате которых Бонифаций умер («умер как собака», констатирует Монтень).

³ Нерон — Тиберий Клавдий Нерон, римский император (54—68). — Указанное в тексте сообщение см. Сенека. О милосердии, II, 1.

⁴ Имеется в виду Публилий Сир, римский мимический поэт при Цезаре и Августе, драматические произведения которого — мимы, — пересыпанные назидательными сентенциями, пользовались большим успехом. Сборник приписываемых Публилию Сиру изречений носит название: *Publilius Syri mimi sententiae*. — «Плохо то решение, которого нельзя изменить» (Публилий Сир в цитате у Авла Геллия, XVII, 14).

⁵ Август — Октавиан Август (63 г. до н. э.—14 г. н. э.), первый римский император.

⁶ Имеется в виду известный римский философ-стоик Сенека. — Приводимое в тексте высказывание см. Сенека. Письма, 20.

⁷ Демосфен — знаменитый афинский оратор (384—322 гг. до н. э.). — Приводимое в тексте высказывание взято из его надгробной речи в честь павших при Херонее.

⁸ «Он уже гнушается тем, чего добивался, и стремится к тому, что недавно еще отвергал; он мечется, нарушая весь порядок своей жизни» (Гораций. Послания, I, 1, 98).

⁹ «Как кукла, которую за ниточку движут другие» (Гораций. Сатиры, II, 7, 83).

¹⁰ «Не видим ли мы, что человек сам не знает, чего он хочет, и постоянно ищет перемены мест, как если бы это могло избавить его от бремени» (Лукреций. О природе вещей, III, 1071).

¹¹ «Мысли людей меняются так же, как и дни, которыми сам отец Юпитер осыпал плодоносные земли» (две строки из «Одиссеи», XVIII, 136—137, в латинском переводе Цицерона).

¹² Эмпедокл (485—425 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, родом из Агригента. — Сообщаемый Монтедем эпизод приводится у Диогена Лаэртца, VIII, 63.

¹³ Катон Младший — Марк Порций Катон Младший (95—45 гг. до н. э.), часто называемый Утическим (по городу Утике, в котором закончил свои дни, пронзив себя мечом), известный противник Цезаря, сторонник аристократической партии. В своих суждениях о характере Катона Монтедем обычно опирается на Плутарха (Жизнеописание Катона Утического), подчеркивающего стоическую твердость и постоянство Катона, но в ряде случаев решительно расходится с Плутархом, так, например, в гл. III этой же книги (см. прим. 13 к названной главе).

¹⁴ Лукреция — легендарная древнеримская героиня. По преданию, была обещана сыном царя Тарквиния Гордого (VI в. до н. э.), Секстом, и лишила себя жизни. Согласно легенде, это событие послужило поводом к изгнанию Тарквиния восставшим римским народом и к основанию республики (509 г. до н. э.).

¹⁵ Антигон (ум. 301 г. до н. э.) — знаменитый греческий полководец из школы Александра Македонского, прозванный Циклопом, т. е. одноглазым. — Сообщаемый эпизод см. Плутарх. Жизнеописание Пелопида.

¹⁶ Лукулл — Луций Лициний Лукулл (117—56 гг. до н. э.), римский политический деятель и известный полководец, приверженец аристократии и сторонник диктатора Суллы.

¹⁷ «Со словами, которые и трусу могли бы прибавить духу». (Гораций. Послания, II, 2, 36).

¹⁸ «С присущей ему грубоватостью ответил: пойдешь куда хочешь тот, кто потерял свой кушак с деньгами» (Гораций. Послания, II, 39).

¹⁹ Мехмед — имеется в виду турецкий султан Мехмед II (1451—1481), при котором произошло завоевание Константинополя. В 1456 г. знаменитый венгерский полководец Янош Гуняди нанес при Белграде сокрушительное поражение войскам Мехмеда II, пытавшимся овладеть Сербией. Сообщаемое в тексте см. Халкондил, VIII, 13.

²⁰ «Я различаю».

²¹ Цицерон. Тускуланские беседы, II, 27. — Кимвры — германское племя, жив-

шее сначала на Ютландском полуострове; в 113 г. до н. э. кимвры, переселившиеся в римскую провинцию Норик, одержали ряд побед над римлянами, но в 101 г. потерпели поражение от римского консула Гая Мариа и были частью уничтожены, частью взяты в плен и обращены в рабство. — Кельтиберы — древние племена, жившие в центральной части Пиренейского полуострова и образовавшиеся в результате смешения коренного населения — иберов — с кельтами. Кельтиберы упорно отстаивали свою независимость от римлян, которым с трудом удалось покорить их только в 72 г. до н. э.

²² «Не может быть однородным то, что не вытекает из одной определенной причины» (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 27).

²³ Клит (380—327 гг. до н. э.) — приближенный и один из военачальников Александра Македонского, убитый им во время попойки.

²⁴ «Брезгут наслаждением, но поддаются горю; презируют славу, но не выносят бесчестья» (неизвестно, кому принадлежит это высказывание).

²⁵ «Тот, кто размышлял над своим образом жизни и предусмотрел его» (Цицерон. Парадоксы, V, 1).

²⁶ Тальбот (ум. в 1453 г.) — английский полководец, которого Монтень называет «нашим», так как Тальбот прославился своими военными подвигами в родной Монтеню Гаскони.

²⁷ Имеется в виду Сенека (Письма, 72).

²⁸ Софокл (496—406 гг. до н. э.) — великий древнегреческий драматург. — Приводимое в тексте сообщение см. Цицерон. О старости, 7.

²⁹ Указанный в тексте эпизод см. Геродот, V, 29.

³⁰ «Знайте: великое дело быть всегда одним и тем же человеком» (Сенека. Письма, 120).

³¹ «Под ее [Венеры] руководством молодая девушка, крадучись мимо уснувших хранителей, ночью одна пробирается к своему возлюбленному» (Тибулл, II, 1, 75).

Глава II

(Стр. 15—25)

¹ «Дальше и ближе которых [этих пределов] не может быть справедливого» (Гораций. Сатиры, I, 1, 107).

² «Разумом нельзя доказать, что переломать молодые кочаны капусты на чужом огороде такое же преступление, как и ограбить ночью храм» (Гораций. Сатиры, I, 3, 115).

³ «Когда вино окажет свое действие на человека, все тело его отяжелеет, начнут спотыкаться ноги, заплетаться язык, затуманится разум, глаза станут блуждать, и поднимутся, все усиливаясь, крики, брань, икота» (Лукреций. О природе вещей, III, 475).

⁴ «Твое веселое вино, амфора, раскроет думы мудрецов и зреющие втайне замыслы» (Гораций. Оды, III, 21, 14).

⁵ Иосиф — имеется в виду иудейский историк и военачальник Иосиф Флавий (37—95). — Приводимое в тексте сообщение см. в его «Автобиографии», 44.

⁶ Тиберий — римский император (14—37), пасынок Августа. — Оба приводимых Монтенем примера почерпнуты у Сенеки (Письма, 83).

⁷ «Вены его [Силена], как обычно, вздуты вчерашним вином» (Вергилий. Эклоги, VI, 15).

⁸ Цимбр — Луций Тиллий Цимбр (I в. до н. э.), первоначально сторонник Цезаря, но в дальнейшем принимавший активное участие в заговоре против Цезаря и его убийстве. По словам Сенеки, у которого Монтень заимствует это сообщение, Цимбр был любителем выпить и очень болтлив (см. Письма, 83). — Кассий — Лонгин Гай (I в. до н. э.), римский политический деятель, один из инициаторов заговора против Цезаря, принимавший непосредственное участие в его убийстве.

⁹ «Хотя они захмелели, пошатываются и языки их заплетаются, однако их нелегко одолеть» (Ювенал, XV, 47).

¹⁰ Имеется в виду Диодор Сицилийский, у которого почерпнут приводимый в тексте эпизод (кн. XVI, 26). — Аттал — царедворец и полководец македонского царя Филиппа II (359—336 гг. до н. э.), о котором говорится в тексте. — Павсаний — один из придворных того же царя, славившийся своей красотой и являвшийся царским любимцем; в 366 г. он заколол Филиппа II. — Эпаминонд — известный фиванский полководец и политический деятель (IV в. до н. э.).

¹¹ «Говорят, что в этом состязании на доблесть пальма первенства досталась великому Сократу» (Максиминан, I, 47).

¹² Катон — Марк Порций Катон Цензор (234—149 гг. до н. э.), известный римский политический деятель и писатель, прославившийся необычайной строгостью (в частности при исполнении им должности цензора в 184 г.), борьбой против роскоши и порчи нравов; однако по существу вся деятельность Катона, который сам был крупным земельным собственником и обладателем больших денежных средств, была направлена на защиту аристократических привилегий и расширение римских завоеваний.

¹³ «Рассказывают, что доблесть древнего Катона часто подогревалась вином» (Горацій. Оды, III, 21, 11).

¹⁴ Кир — Кир Младший (V в. до н. э.), младший сын персидского царя Дария II (424—404 гг. до н. э.). — Артаксеркс — старший брат Кира Младшего, Артаксеркс II, которому после смерти Дария достался престол. — Указанное в тексте сообщение см. Плутарх. Жизнеописание Артаксеркса, 2.

¹⁵ Сильвий — имеется в виду Жак Дюбуа (1478—1555), в латинизированной форме Сильвий, известный парижский врач и ученый.

¹⁶ Геродот, I, 133.

¹⁷ Имеется в виду произведение испанского писателя Антонио де Гевары (ум. 1545), известное под названием «Золотая книга Марка Аврелия» и впервые переведенное на французский язык в 1537 г. Сочинения Гевары пользовались большим успехом во Франции и неоднократно издавались в XVI в. Ими зачитыва-

лись не только отец Монтеня, но и сам автор «Опытов», хотя последний и относился к ним критически. Упомянутый в тексте «Марк Аврелий», наряду с другими произведениями Гевары, фигурирует в каталоге книг библиотеки Монтеня.

¹⁸ Анахарсис — скифский мудрец, посетивший Афины во времена Солона (VI в. до н. э.). — Приводимое сообщение см. Диоген Лаэртский. Жизнеописание Анахарсиса, I.

¹⁹ Платон. Законы, кн. II.

²⁰ Сильпон (380—300 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. — Приводимое сообщение см. Диоген Лаэртский, II, 120.

²¹ Аркесилай (III в. до н. э.) — древнегреческий философ-скептик. — Приводимое сообщение см. Диоген Лаэртский, IV, 44.

²² «Придает ли оно [вино] мудрости большую мощь?» (Гораций. Оды, III, 28, 4). Монтень иронизирует, приводя этот стих.

²³ «Если душа охвачена страхом, то мы видим, что тело покрывается потом, бледнеет кожа, цепенеет язык, голос прерывается, темнеет в глазах, в ушах звенит, колени подгибаются и человек валится с ног» (Лукреций. О природе вещей, III, 155).

²⁴ «Пусть ничто человеческое ему не будет чуждо» (Теренций. Самоистязатель, I, 1, 77). Монтень придает этому стиху другой смысл: он хочет сказать, что нам не чужды все слабые стороны человеческой природы.

²⁵ «Так говорит он сквозь слезы и замедляет скорость кораблей» (Вергилий. Энеида, VI, 1).

²⁶ Брут — Луций Юний Брут, согласно римской легенде, вождь восстания, которое привело к низложению последнего римского царя Тарквиния Гордого и учреждению республики с двумя консулами (509 г. до н. э.). В качестве одного из этих выборных консулов новой республики Брут, как гласит предание, приговорил к смерти двух своих сыновей, участвовавших в заговоре, имевшем целью восстановление царской власти и возвращение Тарквиния. Приводимое в тексте см. Плутарх. Жизнеописание Публикола, 3.

²⁷ Торкват — Манлий Торкват (IV в. до н. э.), римский политический деятель. Согласно легенде, он явил пример суровой воинской дисциплины, казнив во время своего третьего консульства собственного сына, который вопреки запрету вступил в единоборство с неприятельским воином.

²⁸ Имеются в виду эпикурейцы.

²⁹ Метродор Хиосский (330—278 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, один из виднейших учеников и продолжателей философии Эпикура, часто упоминающего его в своих сочинениях. — «Я поймал и обуздал тебя, судьба; я закрыл для тебя все входы и выходы, чтобы ты не в состоянии была добраться до меня» (Цицерон. Тускуланские беседы, V, 9).

³⁰ Анаксарх (IV в. до н. э.) — философ-скептик из Абдеры, учитель Пиррона. Был приговорен к мучительной смерти тираном Кипра Никокреоном. — Приводимое сообщение см. Диоген Лаэртский, IX, 58—59.

³¹ См. прим. 5. Приводимое в тексте см. в гл. VIII «О Маккавеях». Монтень очень неточно передает рассказ Иосифа Флавия.

³² Антисфен (444—379 гг. до н. э.) — знаменитый древнегреческий философ, основатель школы киников. Монтень дает перевод этого изречения Антисфена прежде чем его привести (см. Диоген Лаэртий, VI, 3).

³³ Приводимые Монтенем примеры см. Сенека. Письма, 66, 67 и 92. — Секст — имеется в виду Секст Эмпирик, философ-скептик.

³⁴ «Он жаждет, чтобы среди этих беззащитных животных ему явился, весь в пене, кабан или спустился с горы рыжий лев» (Вергилий. Энеида, IV, 158).

³⁵ Монтень приводит эти примеры по Сенеке (Письма, 64).

³⁶ В диалоге «Тимей».

Глава III

(Стр. 26—40)

¹ Остров Кея (в древности Кеос) — один из Кикладских островов.

² Филипп — имеется в виду македонский царь Филипп II (359—336 гг. до н. э.), отец Александра Македонского, завоевавший Грецию. — Дамид (у Плутарха — Даминд) — спартанец, ничем более не известный. — Приводимый в тексте эпизод и четыре следующие примера почерпнуты Монтенем у Плутарха (Изречения лакедемонян).

³ Агис — имеется в виду спартанский царь Агис II (427—401 гг. до н. э.).

⁴ Антигон — см. прим. 15 к гл. I.

⁵ Антипатр (397—319 гг. до н. э.) — один из крупнейших полководцев и государственных деятелей Македонии.

⁶ Филипп — см. прим. 2. Приводимое в тексте почерпнуто у Цицерона (Тускуланские беседы, V, 14).

⁷ Байокал — вождь племени амписвариев, боровшегося с римлянами (I в. н. э.). — Приводимый ответ почерпнут Монтенем у Тацита (Анналы, XIII, 56).

⁸ «Всюду — смерть: так пожелал премудрый бог; всякий может лишить человека жизни, но никто не может отнять у него смерти: тысячи путей ведут к ней» (Сенека. Финикиянки, I, 1, 151).

⁹ Сервий — римский грамматик и комментатор (IV в. н. э.). — Сообщаемое Монтенем почерпнуто у Плиния Старшего (Естественная история, XXV, 7).

¹⁰ Гегесий — философ-киренаик (IV—III вв. до н. э.). — Сообщаемое Монтенем приводится у Сенеки (Письма, 58).

¹¹ Имеется в виду Диоген Синопский (404—323 гг. до н. э.), древнегреческий философ, ближайший преемник основателя школы киников Антисфена. — Зенон (ок. 409—329 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, после смерти Зенона ставший главой Академии (347—339 гг. до н. э.). — Приводимое Монтенем сообщение см. Диоген Лаэртий, IV, 3.

¹² «Рядом потом занимают места те несчастные, которые, ни в чем неповинные, сами покончили с собой, возненавидев мир и лишив себя жизни» (Вергилий. Энеида, VI, 434).

¹³ Регул — Марк Атилий Регул (III в. до н. э.), римский политический деятель. Рассказ о мученической смерти Регула в плену у карфагенян — легенда. — Катон — Катон Младший, см. прим. 13 к гл. I. Это один из случаев, когда Монтень, обычно превозносящий Катона Утического, решительно расходится с Плутархом в характеристике Катона и осуждает Катона за самоубийство. Монтень усматривает в этом неумение на деле противостоять ударам судьбы и считает это отступлением от стоических принципов.

¹⁴ «Так и дуб, что растет в густых лесах на Алгиде: его подрубают злой секирой, а он, несмотря на раны и удары, закаляется от нанесенных ударов и черпает в них силу» (Гораций. Оды, IV, 4, 57).

¹⁵ «Доблесть не в том, как ты полагаешь, отец, чтобы бояться жизни, а в том, чтобы уметь противостоять большому несчастью, не отвернуться и не отступить перед ним» (Сенека. Финикиянки, I, 190).

¹⁶ «В несчастии легко презреть смерть, но гораздо больше мужества проявляет тот, кто умеет переносить злоключения» (Марциал, XI, 56, 16).

¹⁷ «Пусть рухнет распавшийся мир: он не устрашится, задавленный обломками» (Гораций. Оды, III, 3, 7).

¹⁸ «Разве не безумие — спрашиваю я вас — умереть от страха смерти?» (Марциал, II, 80, 2).

¹⁹ «Самый страх перед возможной бедой ставил многих людей в очень опасные положения: но храбрейшим является тот, кто твердо противостоит несчастью, если оно неминуемо, и умеет избежать его, если это возможно» (Лукан, VII, 104).

²⁰ «Страх смерти доводит людей до того, что, охваченные отвращением к жизни и дневному свету, они в тоске душевной лишают себя жизни, забывая, что источником их терзаний был именно этот страх» (Лукреций. О природе вещей, III, 79).

²¹ Платон. Законы, IX.

²² «Тот, кому будущее представляется тяжелым и мучительным, должен быть в живых тогда еще, когда невзгоды эти могут обрушиться» (Лукреций. О природе вещей, III, 861).

²³ «Разумным выходом». См. Диоген Лаэртский, VIII, 130.

²⁴ См. «Опыты», кн. I, гл. XIV.

²⁵ Приводимое в тексте почерпнуто Монтенем у Плутарха (О доблестных деяниях женщин, гл. «О милетянках», XI).

²⁶ Имеется в виду Клеомен III, спартанский царь (235—221 гг. до н. э.), крупный реформатор. — Териклон — один из друзей Клеомена, славившийся, по словам Плутарха, своим красноречием и искусством в ведении государственных дел. — Приводимый Монтенем рассказ см. Плутарх. Жизнеописание Клеомена, XIV.

²⁷ «Поверженный на суровой арене гладиатор все еще надеется, хотя толпа враждебно требует, чтобы его доканали» (Пентадий в цитате у Юста Липсия: Сатурналии, т. III, стр. 541, изд. 1637).

²⁸ Сенека. Письма, 70.

²⁹ Иосиф — см. прим. 5 к гл. II. В его «Автобиографии».

³⁰ «Иной переживет и своего палача» (Сенека. Письма, 13).

³¹ «Нередко время и разнообразные труды века улучшают положение дел; изменчивая фортуна, повторно посещая людей, часть их обманывала, а затем снова их укрепляла» (Вергилий. Энеида, XI, 425).

³² Плиний Старший. Естественная история, XXV, 3.

³³ Сенека. Письма, 58.

³⁴ Тит Ливий, XXXVII, 46.

³⁵ В 168 г. до н. э. римляне, завоеывая Эпир, разрушили 70 городов и местечек. — Приводимое сообщение см. Тит Ливий, XLV, 26.

³⁶ Гоцо — остров в Средиземном море, в 6 км к северо-западу от Мальты. — Приводимый Монтенем эпизод почерпнут им из книги: G. Paradin. Continuation de l'histoire de notre temps. Paris, 1575.

³⁷ Имеется в виду Антиох IV Эпифан, царь Сирии (175—164 гг. до н. э.). — Приводимое сообщение Монтень заимствует у Иосифа Флавия, у которого, однако, говорится лишь о том, что Антиох приказал истязать обрезанных детей (см. Иудейские древности, XII, 5).

³⁸ Скрибония — в 40 г. до н. э. жена (в третьем браке) Августа; была теткой Марка Скрибония Либона Друза, который, будучи предан суду сената (16 г. н. э.) по подозрению в посягательстве на жизнь императора Тиберия, покончил с собой. — Приводимое сообщение см. Сенека. Письма, 70, а также Тацит. Анналы, II, 27 и сл.

³⁹ Книга Маккавеев, II, XIV, 37—46.

⁴⁰ Максенций — Марк Аврелий Валерий, римский император (306—312).

⁴¹ «Ученый автор наших дней» — гуманист Анри Этьен Младший (1528—1598), выдающийся эллинист и эрудит, принадлежавший к известной семье французских типографов XVI в. Этьенов. В своей «Апологии Геродота» (гл. XV, 22) Анри Этьен утверждал, что в его время случаи неверности жен своим мужьям были в Париже широко распространенным явлением.

⁴² Маро — Клеман Маро (1496—1544), гуманист и поэт французского возрождения; Монтень имеет в виду его эпиграмму «Да и нет».

⁴³ Луций Арунций — римский политический деятель, при императоре Тиберии был долгое время наместником Испании; преследуемый фаворитом Тиберия Макроном, Арунций покончил с собой. — Приводимое сообщение см. Тацит. Анналы, VI, 48.

⁴⁴ Граний (у Тацита — Гавий) Сильван и Стаций Проксим — военные трибуны; преследуемые Нероном, покончили с собой (Тацит. Анналы, XV, 71).

⁴⁵ Спаргаписес — вождь племени массагетов, населявших приаральские степи. Персидский царь Кир Старший в 529 г. до н. э. погиб в войне с массагетами. — Приводимое сообщение см. Геродот, I, 213.

⁴⁶ Приводимый Монтенем рассказ почерпнут у Геродота, VII, 107.

⁴⁷ Приводимое в тексте заимствовано у португальского историка, епископа Иеронима Озорио, сочинением которого «*De gestis regis Emmanuelis*» Монтень пользовался как в латинском оригинале, так и во французском переводе (*Histoire de Portugal, contenant les entreprises, navigations et gestes memorables de Portugallois*) Симона Гулара. В данном случае Монтень приводит рассказ Озорио по французскому переводу (кн. IX, 27).

⁴⁸ Секстилия — жена Мамерка Скавра (из знатного рода Эмилиев), который обвинен был в злых умыслах против императора Тиберия и стремлении к личному возвышению. — Паксея — жена правителя Мезии Помпония Лабеоны, который был обвинен при Тиберии в дурном управлении провинцией и других преступлениях и под влиянием этих преследований покончил с собой. Паксея последовала его примеру. — Приводимое в тексте см. Тацит. *Анналы*, VI, 29.

⁴⁹ Нерва — Марк Кокцей, римский юрист первых десятилетий нашей эры, дед императора Нервы (96—98); был одним из ближайших советников императора Тиберия и в 32 г. покончил с собой, удрученный, по словам Тацита, «бедствиями государства» (см. Тацит. *Анналы*, VI, 26).

⁵⁰ Вибий Вирий — сенатор города Капуи, временно перешедшего на сторону Ганнибала (одним из инициаторов этого отпадения от римлян был Вибий Вирий) и вскоре вновь завоеванного римлянами. — Приводимое сообщение см. Тит Ливий, XXVI, 13 и сл.

⁵¹ Приводимый эпизод почерпнут у Тита Ливия (XXVI, 14—15).

⁵² Астапа — древнее название города Эстепа в области Севильи. — Приводимое в тексте см. Тит Ливий, XXVIII, 22—23.

⁵³ Филипп — македонский царь Филипп V (220—179 гг. до н. э.). Абидос был завоеван им в 200 г. до н. э. — Приводимое сообщение см. Тит Ливий, XXXI, 17.

⁵⁴ В приводимом сообщении Монтень опирается на Тацита (*Анналы*, VI, 29).

⁵⁵ Послание к филиппийцам, I, 23; Послание к римлянам, VII, 24.

⁵⁶ Имеется в виду 7-й крестовый поход, предпринятый французским королем Людовиком IX Святым (1226—1270). — Сообщаемый эпизод приводится в хронике историографа Людовика IX, Жуанвила, который сам был участником этого похода. См. J. de Joinville. *Mémoires ou Histoire et chronique du très chrétien roi saint Louis*, t. I, Paris, 1858.

⁵⁷ Сообщаемое Монтенем приводится у Gonzalez de Mendoza. *Histoire du royaume de la Chine*, франц. пер. 1585 г., стр. 319.

⁵⁸ Секст Помпей (75—35 гг. до н. э.) — римский полководец и политический деятель периода гражданских войн, младший сын Помпея Великого. — Негропонт — другое название Эвбеи, острова в Архипелаге. — Приводимое в тексте сообщение см. Валерий Максим, II, 6, 8.

⁵⁹ Плиний Старший. Естественная история, IV, 26.

⁶⁰ Из данной главы явствует, что, в разрез с учением католической церкви, Монтень не только не осуждает самоубийство, но даже восхваляет его. Но, чтобы отвлечь внимание папских цензоров, Монтень начинает главу с якобы благочестивого признания своего подчинения авторитету церкви. В действительности же это торопливо изложенное согласие с церковным учением нужно Монтеню для прикрытия тех смелых мыслей, которые он развивает в дальнейшем на протяжении всей главы. К такому тактическому приему Монтень прибегает очень часто. Если учесть, что Монтень отрицает такие важнейшие догмы католического вероучения, как первородный грех, искупление, загробная жизнь и др., то станет ясно, насколько несостоятельны попытки некоторых исследователей представить Монтеня верующим католиком.

Глава IV

(Стр. 41—43)

¹ Жак Амио (1513—1593) — филолог-гуманист; перевел на французский язык все сочинения Плутарха и многие другие античные произведения. Особенной популярностью пользовался его перевод (по тому времени весьма высокого качества) «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха (1559). Высокая оценка, даваемая Монтенем переводам Плутарховых сочинений Жаком Амио, разделялась не только многими его современниками, но и в XVII и XVIII вв.

² Ксенофонт (430—354 гг. до н. э.) — древнегреческий историк, участник или живой свидетель многих исторических событий, им описываемых.

³ Плутарх. О любознательности, 14. — Рустик — Арулен Фабий (I в. н. э.), римский политический деятель, друг Тацита и Плиния Младшего; около 93 г. был приговорен императором Домицианом к смерти за панегирик Тразее Пету, осужденному на смерть Нероном. Плутарх не раз восхвалял независимость мысли Рустика и его приверженность стоическим принципам.

⁴ Плутарх. Жизнеописание Юлия Цезаря, 65.

⁵ Плутарх. О демоне Сократа, 27. — Пелопид — фиванский государственный деятель IV в. до н. э., содействовавший установлению фиванской гегемонии в Греции.

Глава V

(Стр. 44—48)

¹ В данной главе Монтень выступает с решительным протестом против пыток. Особенно резко обрушивается он на пытки во время предварительного следствия, которые применялись согласно ордоннансу, принятому в Виллер-Котре в 1559 г. Опережая своих современников на целых два века, Монтень изобличает полную несостоятельность этого изуверского способа судебного дознания. Никто, кроме Монтеня и прогрессивного испанского философа Луиса Вивеса (1492—1540), не протестовал в XVI в. против пыток, которые считались нормальным средством судопроизводства и были отменены во Франции лишь в 1780 г. Борьба Монтеня

против пыток, как и против инквизиционных ведовских процессов, характерна для его передового, гуманистического мировоззрения. Подробнее об этом см. во вступительной статье к I тому «Опытов». — Стоит отметить, что и в данном случае, как и в гл. III, Монтень, намереваясь высказать очень смелые и опасные для его времени суждения, начинает главу с невинных анекдотов.

² «Душа, как палач, терзает их скрытым бичеванием» (Ювенал, XIII, 195).

³ Монтень приводит этот рассказ по Плутарху (Почему божественное правосудие иногда не сразу наказывает виновных, VIII, 7).

⁴ Гесиод (конец VIII—середина VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт, основатель дидактического эпоса. Монтень приводит и это сообщение по Плутарху (Почему божественное правосудие иногда не сразу наказывает виновных, 9).

⁵ «Дурной умысел оборачивается против того, кто замыслил зло» (приводится у Авла Геллия, IV, 5).

⁶ «И утрачивают жизнь вместе с жалом» (Вергилий. Георгики, IV, 233).

⁷ «Ибо многие выдавали себя, говоря во сне или в бреде во время болезни, и разоблачали злодеяния, долго остававшиеся скрытыми» (Лукреций. О природе вещей, V, 1160).

⁸ Приводимый Монтенем рассказ заимствован им у Плутарха (Почему божественное правосудие иногда не сразу наказывает виновных, 9); в источнике нет никаких указаний, кто такой упоминаемый в нем Аполлодор.

⁹ Монтень цитирует приводимое высказывание Эпикура по Сенеке (Письма, 97).

¹⁰ «Первое наказание для виновного заключается в том, что он не может оправдаться перед собственным судом» (Ювенал, XIII, 2).

¹¹ «Наши действия порождают в нас надежды или страх в зависимости от наших побуждений» (Овидий. Фасты, I, 485).

¹² Сципион — имеется в виду Публий Корнелий Сципион Африканский Старший (235—183 гг. до н. э.), прославленный римский полководец, отнявший у карфагенян Испанию и перенесший затем войну в Африку. За свои победы над Ганнибалом получил прозвание Африканского. Нижеследующий рассказ заимствован Монтенем у Плутарха (Как можно восхвалять самого себя, 5).

¹³ Валерий Максим, III, 7, 1; Авл Геллий, IV, 18.

¹⁴ Петилий — народный трибун, выступивший в 187 г. до н. э. с нападками на младшего брата Сципиона Африканского — Луция Корнелия Сципиона Азиатского, обвиняя его в утайке денег, полученных на ведение войны с Антиохом III Сирийским. Сципион Африканский сопровождал своего брата во время этого похода в Азию и фактически руководил им. По возвращении обоих Сципионов в Рим обвинение в присвоении денег было в действительности выдвинуто против Луция Сципиона Азиатского. Монтень же, как явствует из текста, при изложении этого эпизода следует за Ливием, который ошибочно утверждал, будто указанное обвинение было выдвинуто против Сципиона Африканского. — Упоминаемый дальше Катон — Марк Порций Катон Цензор (см. прим. 12 к гл. II) возглавлял партию,

которая боролась против Сципиона Африканского (приводится у Авла Геллия, IV, 18).

¹⁵ Тит Ливий, XXXVIII, 54—55.

¹⁶ «Беда заставляет лгать даже невинных» (Публилий Сир. Изречения, 236).

¹⁷ Филота (360—330 гг. до н. э.) — друг детства и паж Александра Македонского, впоследствии начальник отборной конницы гетеров; был обвинен в соучастии в заговоре на жизнь Александра и по приговору македонского войска побит камнями. По словам биографа Александра, Клитарха, Филота был подвергнут пытке и во всем сознался. — Приводимое сообщение см. Квинт Курций, VI, 7 и сл.

¹⁸ Приводимый эпизод Монтень мог почерпнуть либо из хроники Фуруссара, IV, гл. 87, либо у своего современника, Анри Этьена Младшего (см. прим. 41 к гл. III), в «Апологии Геродота» которого также приводится этот рассказ. — Полководец, о котором идет речь, — турецкий султан Баязид I Молниеносный (1389—1402).

Глава VI

(Стр. 49—61)

¹ «Никто не проснется после хладного конца, на котором прервалась жизнь» (Лукреций. О природе вещей, III, 929).

² Калигула — римский император (37—41), внук императора Тиберия. — Приводимое в тексте см. Сенека. О душевном спокойствии, 14.

³ «Такую власть он имел над своей умирающей душой» (Лукан, VIII, 636).

⁴ Вторая и третья гражданские войны во Франции происходили в 1567—1570 гг.

⁵ «Так как, все еще сомневаясь в своем пробуждении, потрясенный ум все не уверен в себе» (Тассо. Освобожденный Иерусалим, XII, 74).

⁶ «Как тот, кто, одолеваемый сном, то закрывает, то открывает глаза» (Тассо. Освобожденный Иерусалим, VIII, 26).

⁷ Этьен де Ла Боэси (1530—1563) — видный французский гуманист и писатель, с которым Монтень был связан узами необыкновенно глубокой дружбы. Монтень, высоко ценивший суждения Ла Боэси, лишь в очень редких случаях расходился с ним.

⁸ «Часто человек, сраженный болезнью, словно от удара молнии падает на наших глазах с пеной у рта; он стонет и дрожит всем телом, лишен сознания, мышцы его сведены судорогой, он дышит прерывисто и беспорядочными движениями изнуряет свои члены» (Лукреций. О природе вещей, III, 485).

⁹ «Он жив, но не сознает этого» (Овидий. Скорби, I, 3, 12).

¹⁰ «По божественному приказу я явилась, чтобы освободить тебя от этого тела» (Вергилий. Энеида, IV, 702) — слова Ириды над телом убившей себя Дидоны.

¹¹ «Полуживые пальцы дрожат и опять хватаются за меч» (Вергилий. Энеида, X, 396).

¹² «Рассказывают, что снабженные лезвиями колесницы рассекают тела и что можно увидеть валяющиеся на земле отсеченные руки и ноги в то время, как ум и сознание людей еще не в состоянии были почувствовать боли, причиненной стрелительной раной» (Лукреций. О природе вещей, III, 643).

¹³ «Когда наконец я пришел в себя» (Овидий. Скорби, I, 3, 14).

¹⁴ Плиний Старший. Естественная история, XXII, 51.

¹⁵ «Боязнь проступка приводит к пороку» (Гораций. Наука поэзии, 21).

¹⁶ Имеются в виду протестанты, исповедующиеся публично.

¹⁷ Квинт Гортензий (114—50 гг. до н. э.) — знаменитый римский оратор, соперник Цицерона в красноречии.

¹⁸ Аристотель. Никомахова этика, IV, 7.

¹⁹ В конце данной главы Монтень восстает против лицемерно-ханжеского запрета католической церкви говорить и писать о себе. «Это узда для коров, — с возмущением отмечает Монтень, — которой не связывали себя ни святые, так красноречиво говорившие о себе, ни философы, ни теологи. Не делаю этого и я, хотя я и не принадлежу к числу ни тех, ни других». В центре интересов Монтеня как истого гуманиста стоял прежде всего человек, со всеми его слабостями и особенностями его психики. Задумав написать книгу о себе, Монтень в действительности далеко вышел за пределы своей темы, написав книгу о человеке вообще, о среднем человеке. Именно в этом и усмотрел неумирающую ценность «Опытов» Вольтер, резко обрушившийся на критиков Монтеня из католического лагеря. Вольтер писал по этому поводу: «Прекрасен замысел Монтеня наивным образом обрисовать самого себя, ибо он изобразил человека вообще. И как жалки потуги Николая, Мальбранша, Паскаля очернить за это Монтеня! Провинциальный дворянин времен Генриха III, который является ученым среди невежд своего века, философом среди фанатиков и который под видом себя изображает наши слабости и прихоти, это человек, который будет любим всегда» (Voltaire. Oeuvres complètes, Correspondance, t. 10, p. 346).

Глава VII

(Стр. 62—66)

¹ Светоний. Божественный Август, 25.

² Имеется в виду Гай Юлий Цезарь, усыновивший Августа по завещанию.

³ Орден св. Михаила учрежден был в 1469 г. французским королем Людовиком XI и пользовался среди французского дворянства большим почетом до середины XVI в. Начавшиеся с этого времени многочисленные награждения этим орденом самых случайных лиц привели к тому, что он утратил всякое значение в глазах французского дворянства.

⁴ «Кто может казаться добрым тому, кому никто не кажется злым?» (Марциал, XII, 82).

⁵ «У солдата и у полководца таланты разные» (Тит Ливий, XXV, 19).

⁶ Имеется в виду орден св. Духа, учрежденный во второй половине XVI в.

Глава VIII

(Стр. 67—89)

¹ Госпожа д'Этиссак — близкая приятельница Монтеня, одна из высокопоставленных придворных дам. От брака с бароном д'Этиссаком, умершим в 1565 г., у нее был сын, Шарль д'Этиссак (о котором речь идет в тексте), сопровождавший Монтеня во время его поездки в Италию в 1580 г.

² Ср. примерно такое же высказывание Монтеня выше, гл. VI, стр. 58.

³ Аристотель. Никомахова этика, IX, 7.

⁴ Аристотель. Никомахова этика, IV, 3.

⁵ «По-моему, глубоко заблуждается тот, кто считает более прочной и твердой власть, покоящуюся на силе, чем ту, которая основана на любви» (Теренций. Братья, I, 1, 65).

⁶ Свои передовые и пронизанные глубокой гуманностью взгляды на воспитание Монтень изложил в особой главе «Опытов» (см. т. I, гл. XXVI).

⁷ Леонор — иногда употреблявшаяся на юге Франции испанская форма имени дочери Монтеня Элеоноры (1571—1616).

⁸ «Никакое преступление не может иметь законного основания» (Тит Ливий, XXVIII, 28).

⁹ Аристотель. Политика, VII, 16. — Аристотель говорит, что «в 35 лет и немногим раньше».

¹⁰ Платон. Государство, VI, в конце.

¹¹ Фалес из Милета (конец VII—начало VI в. до н. э.) — древнегреческий ученый и мыслитель, родоначальник материалистической философии. — Приводимое в тексте см. Диоген Лаэртский, I, 26.

¹² Буквально то же самое Цезарь говорит о древних германцах. Монтень, по-видимому, по ошибке перенес это на древних галлов (см. Гай Юлий Цезарь. Записки о галльской войне, VI, 21).

¹³ «Теперь, соединившись с молодой супругой, он счастлив тем, что у него будут дети; отцовские и супружеские чувства изнежили его» (Тассо. Освобожденный Иерусалим, X, 39).

¹⁴ Приводимое в тексте Монтень заимствует у Платона (Законы, VIII, 7). — Икк Тарентский — известный древнегреческий гимнаст, упоминается также в диалоге Платона «Протагор». — Крисон — сильный скороход, также упоминается в Платоновом «Протагоре». — Астил — победитель на играх в 73-ю олимпиаду. — Диопомп (у Платона — Диополис) — упоминается Платоном в числе известных древних атлетов.

¹⁵ Мулей-Гасан — тунисский султан, в 1543 г. обратившийся к императору Карлу V за помощью против своих восставших подданных. Приводится у Паоло Джовио. История моего времени, XXXIII.

¹⁶ В приводимом сообщении Монтень опирается на сочинение Лопеса де Гомара «Общая история Индии» (французский перевод: L. Gomara. Histoire générale des Indes. 1586, II, 12).

¹⁷ Имеется в виду отречение императора Карла V от престола в 1555 г.

¹⁸ «Вовремя выпригай стареющего коня, чтобы он не стал спотыкаться и задыхаться от усталости на потеху всем» (Гораций. Послания, I, 1, 8).

¹⁹ Монтень неоднократно настаивает на этой мысли и, по-видимому, полемизирует здесь с Макиавелли, выдвинувшим в своем «Государе» прямо противоположный тезис: «Лучше, чтобы тебя боялись, чем любили».

²⁰ «Один только он ни о чем не знает» (Теренций. Братья, I, 1, 550).

²¹ Монтень цитирует приводимое изречение по Сенеке (Письма, 47). Но Сенека не называет при этом Катона.

²² Блез Монлюк (1502—1577) — один из видных французских полководцев, мемуары которого были прозваны «библией солдата». Сын его, Пьер-Бертран Монлюк, ум. в 1566 г.

²³ Гай Юлий Цезарь. Записки о галльской войне, VI, 18.

²⁴ Платон. Законы, XI, 6.

²⁵ Дельфийская надпись — знаменитая надпись: «Познай самого себя», начертанная у входа в дельфийский храм Аполлона.

²⁶ Имеется в виду «Салический закон», постановление «Салической Правды» (судебник древних франков), в силу которого женщины исключались из наследования земельных владений. В некоторых государствах это послужило основанием к устранению женщин от престолонаследия; так было, например, во Франции перед началом Столетней войны; ссылались на него и в других государствах. Стоит отметить скептическое отношение Монтеня к историческому происхождению этого закона, которого, по его словам, «никто никогда не видел». Монтень не отвергает его лишь потому, что в его время принятие этого закона означало признание Генриха Наваррского законным наследником французского престола.

²⁷ Монтень здесь осуждает принятый в его время в богатых семьях обычай предоставлять «за ничтожную плату» кормление грудных детей кормилицам, лишая их возможности кормить своих собственных детей. Монтень сам был в младенчестве отдан в бедную крестьянскую семью и, став взрослым, на всю жизнь проникся сочувствием к простым людям. В этом осуждении обычая, над которым не задумывалось огромное большинство современников Монтеня, ярко проявился его гуманизм.

²⁸ Геродот, IV, 180. Монтень неточно передает рассказ Геродота, сообщающего, что отцом ребенка считается тот мужчина, на которого ребенок походит лицом.

²⁹ Платон. Федр, 258. — Ликург — легендарный законодатель Спарты. — Солон (640—560 гг. до н. э.) — известный древнегреческий политический деятель, законодатель и поэт. — Минос — легендарный царь древнего Крита. В греческой мифологии Минос — сын Зевса и Европы; с его именем связан ряд мифов.

³⁰ Гелиодор — древнегреческий писатель второй половины III в. н. э. из Эмесы (в Сирии), автор sentimentalno-авантюрного романа «Эфиопика», где рассказывается история эфиопской царицы Хариклеи и фессалийского юноши Феагена. Роман этот получил на Западе в эпоху Возрождения широкую известность и был переведен на многие европейские языки. Монтень принимает легенду, будто Гелиодору предлагали епископский сан в городе Трикке (в Фессалии), если он отречется от своего романа (который Монтень называет его «дочерью») и сожжет его, но Гелиодор отказался сделать это.

³¹ Лабиев — Тит Лабиев, оратор и историк, современник Августа. За страстные нападки на современные ему порядки получил прозвание «бешеного» (Rabies). Его сочинения были сожжены при императоре Тиберии. — Упоминаемый дальше другой Лабиев — Тит Атий Лабиев, во время галльской войны легат Цезаря.

³² Кассий Север — Тит Кассий Север, оппозиционный оратор, изгнанный Августом и проведенный 25 лет в ссылке, где он и умер (ок. 34 г. н. э.). Его сочинения были так же публично сожжены, как и сочинения Лабиева.

³³ Кремуций Корд (ум. 25 г. н. э.) — оппозиционный, патрицианского направления, историк времени Августа и Тиберия. Он назвал в своей истории убийц Цезаря — Брута и Кассия — «последними римлянами». По приказу Тиберия сочинения его были сожжены, сам Корд покончил с собой (Тацит. *Анналы*, IV, 34—35).

³⁴ Марк Анней Лукан (39—65) — древнеримский поэт. Как участник заговора Пизона против императора Нерона, Лукан был присужден к смертной казни и покончил с собой (см. Тацит. *Анналы*, XV, 70). Лукан — автор поэмы «Фарсалии», или «О гражданской войне», в которой описывается история войны Юлия Цезаря с Помпеем в I в. до н. э. Стронник сенатской знати, Лукан ярко отразил свои политические симпатии в своей поэме. — Фарсал — город в Фессалии; в битве при Фарсале в 48 г. до н. э. Цезарь одержал решительную победу над войсками Помпея.

³⁵ Августин (признанный католической церковью святым, 354—430) — один из виднейших христианских богословов, столп католической ортодоксии.

³⁶ Монтень имеет в виду свои «Опыты».

³⁷ Аристотель. Никомахова этика, IX, 7.

³⁸ Эпаминонд — см. прим. 10 к гл. II. Как передают античные писатели, Эпаминонд, смертельно раненный в сражении при Мантинее, умирая, сказал: «Я оставляю двух бессмертных дочерей — Левктры и Мантинее» (т. е. две победы над спартацами: при Левктрах в 371 г. до н. э. и при Мантинее в 362 г. до н. э.).

³⁹ Фидий — знаменитый древнегреческий художник V в. до н. э.

⁴⁰ Пигмалион — в античной мифологии художник или, по другой версии, царь Кипра. Согласно мифу, Пигмалион был поражен страстью к созданной им прекрасной статуе, которая превратилась в живую женщину и стала его женой.

⁴¹ «Слоновая кость, к которой он прикасается, размягчается, утрачивает свою твердость и поддается под пальцами» (Овидий. *Метаморфозы*, X, 283).

Глава IX

(Стр. 90—93)

¹ «Совершенно неспособные переносить физическую усталость, они с трудом влачили на себе доспехи» (Тит Ливий, X, 28).

² «Головы их защищены шлемами из коры пробкового дерева» (Вергилий. Энеида, VII, 742).

³ Тацит. Анналы, III, 43.

⁴ Лукулл — см. прим. 16 к гл. I. — Приводимое в тексте сообщение см. Плутарх. Жизнеописание Лукулла, 13. — Тигран (94—56 гг. до н. э.) — царь Армении; борьба его с Римом (походы Лукулла, а затем Помпея) закончилась поражением Тиграна (65 г.).

⁵ Сципион Младший — Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший — знаменитый римский полководец, закончил 3-ю Пуническую войну взятием и разрушением Карфагена (146 г. до н. э.). — Указанное в тексте сообщение почерпнуто у Валерия Максима (III, 7, 2), у которого, однако, говорится, что такая тактика была предложена Сципиону, но он отказался применить ее.

⁶ Плутарх. Изречения Сципиона Младшего, 18.

⁷ «Двое из волков, которых я воспеваю здесь, одеты были в кольчуги, а на головах у них были шлемы. С того мгновения, как они очутились в этой броне, они ни днем ни ночью не снимали ее и до такой степени привыкли к ней, что носили ее как обыкновенную одежду» (Ариосто. Неистовый Роланд, XII, 30).

⁸ Каракалла — Марк Аврелий Антонин, прозванный Каракаллой, римский император (211—217).

⁹ «Вооружение, говорят они, это все равно, что руки и ноги солдата» (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 16).

¹⁰ Марий — имеется в виду Гай Марий (156—86 гг. до н. э.); см. выше, прим. 1 к гл. I. — Указанное в тексте заимствовано у Плутарха (Жизнеописание Мария, 4).

¹¹ Аммиан Марцеллин (ок. 330—400) — римский историк, с ранней молодости участвовавший во многих военных походах. Оставил после себя «Историю», обнимающую события с 96 до 378 г., в 31 книге; до нас дошли только книги XIV—XXXI. — Указанное в тексте сообщение см. Аммиан Марцеллин, XIV, 6.

¹² Аммиан Марцеллин, XXV, 1.

¹³ «Их подвижные латы, прикрывающие тело, выглядят как живые, что поразительно видеть — можно подумать, что это двигаются железные изваяния и что человек дышит через металл. Так же одеты и лошади: они грозят своими железными доспехами и передвигаются в полной безопасности под железным одеянием, прикрывающим их бока (Клавдиан. Против Руфина, II, 358).

¹⁴ Деметрий — имеется в виду полководец эллинистического периода Деметрий Полиоркет (336—283 гг. до н. э.), сын военачальника Александра Македонского — Антигона Одноглазого. — Указанное в тексте см. Плутарх. Жизнеописание Деметрия, 6.

Глава X

(Стр. 94—109)

¹ «Надо, чтобы мой конь напряг все силы для достижения этой цели» (Проперций, IV, 1, 70).

² Иоанн Секунд (Jean Everaerts, 1511—1536) — французский поэт, писавший по-латыни, любовные стихи которого (сборник «Поцелуи») высоко ценились современниками и были впервые изданы в 1541 г.

³ «Амадис» — поздний испанский рыцарский роман, переведенный на большинство европейских языков. Несмотря на свои экстравагантности, гениально высмеянные в пародии Сервантеса «Дон Кихот Ламанчский», обладал безусловными литературными достоинствами, которых были лишены его бездарные подражания.

⁴ «Аксиох» — диалог, ошибочно приписывавшийся Платону. Любопытно отметить пронизательность Монтеня, справедливо усомнившегося в принадлежности этого диалога Платону.

⁵ «О, неразумный и грубый век» (Катулл, XLIII, 8).

⁶ Имеется в виду Цицерон.

⁷ Имеется в виду Гораций, который в своей «Науке поэзии» дает высокую оценку творчеству Теренция.

⁸ «Подобный чистому и прозрачному ручью» (Гораций. Послания. II, 2, 120).

⁹ «Не приходилось делать больших усилий там, где ум заменен был сюжетом» (Марциал. Предисловие к VIII книге).

¹⁰ «Решаясь только на короткие перелеты» (Вергилий. Георгики, IV, 194).

¹¹ Сенека (родом из Испании) был воспитателем императора Нерона, но принимаемое Монтенем на веру сведение, будто Плутарх (родом из Греции) был наставником императоров Траяна и Адриана, не имеет серьезного основания.

¹² «Делай это!»

¹³ «Ввысь да стремятся сердца!» (начальные слова латинской католической молитвы).

¹⁴ «Письма к Аттику» Цицерона охватывают период с 61 по 44 г. до н. э. Тит Помпоний Аттик был крупный финансовый деятель, ближайший друг Цицерона и издатель его произведений. Судя по откровенности, с которой Цицерон высказывается в письмах к Аттику, переписка эта не предназначалась к опубликованию.

¹⁵ См. «Опыты», кн. II, гл. XXXI.

¹⁶ Имеется в виду несохранившееся произведение Марка Юния Брута, одного из убийц Цезаря, «О добродетели» (De virtute), против которого полемизировал

Цицерон в V кн. «Тускуланских бесед» и в своем сочинении «О высшем благе и высшем зле».

¹⁷ Марк Туллий Цицерон Младший (род. 65 г. до н. э.) — сын Цицерона, в 28—29 гг. был проконсулом в Азии. — Луций Цестий Пий — популярный во времена Августа ритор, известен был своей антипатией к Цицерону, на многие речи которого им были написаны ответы. — Приводимое сообщение см. Сенека Старший. Контроверзы, 7.

¹⁸ Имеется в виду Марк Юний Брут (см. прим. 16). — Приводимое сообщение см. Тацит. Диалог об ораторах, 18.

¹⁹ «Надо полагать».

²⁰ «Я предпочитаю лучше недолго быть старым, нежели состариться до наступления старости» (Цицерон. О старости, 10).

²¹ Любовь Монтеня к чтению исторических сочинений доказывается многочисленными замечаниями, сохранившимися на его экземплярах «Записок о галльской войне» Юлия Цезаря, на «Истории» Квинта Курция и в особенности на «Анналах» Николая Жюльена.

²² Диоген Лаэртий — древнегреческий ученый III в. до н. э., один из первых историков философии. Его сочинение «Жизнь и учения людей, прославившихся в философии» (10 книг), несмотря на компилятивный характер, является ценным источником для знакомства с древнегреческой философией.

²³ Гай Саллюстий Крисп (86—35 гг. до н. э.) — выдающийся римский историк, автор «Заговора Катилины», «Югуртинской войны», «Истории» и др.

²⁴ Цицерон. Брут, 75.

²⁵ Фруассар (1338—1400) — французский историк, «Хроники» которого обнимают период времени с 1327 до 1400 г. Монтень правильно отмечает слабые стороны «Хроник», и в частности некритическое отношение Фруассара к своему материалу, но он ценит обилие фактов и свежесть изложения Фруассара. Ср. «Опыты», т. I, гл. XXVII.

²⁶ Приводимое суждение Монтеня, как и некоторые другие оценки историков, почерпнуты у знаменитого его современника, Жана Бодена (1530—1596), которого Монтень высоко ценил и как историка и как государствоведа. В другом месте данной главы Монтень прямо отсылает читателя к «Методу легкого изучения истории» Жана Бодена, с основными идеями которого он солидаризуется.

²⁷ Гай Азиний Поллион (76 г. до н. э.—5 г. н. э.) — римский государственный деятель, ранее близкий к Марку Антонию, оратор и историк.

²⁸ Франческо Гвиччардини (1483—1540) — итальянский историк и политический деятель, автор «Истории Италии», «Заметок политических и гражданских» и др. Монтень правильно отмечает, что объяснения исторических событий Гвиччардини искал в скрытых побуждениях отдельных лиц, в стремлении к власти и приобретению богатств.

²⁹ Климент VII — папа (1523—1534). В своей «Истории Италии» Гвиччардини действительно позволил себе не раболепствовать перед Климентом VII,

которому он был обязан многими своими важными постами, и высказывал независимые суждения о других представителях дома Медичи, к которому принадлежал Климент VII.

³⁰ Филипп де Коммин (1445—1509) — французский историк и политический деятель, находившийся сначала на службе у герцога бургундского Карла Смелого, а потом у французского короля Людовика XI. В конце жизни написал «Мемуары», являющиеся ценным историческим источником по истории Франции конца XV в.

³¹ Монтень имеет в виду мемуары Гильома Дю Белле и его брата Мартина Дю Белле (ум. 1559).

³² Жуанвиль (1224—1317) — хронист и историограф французского короля Людовика IX.

³³ Эгингард (770—840) — приближенный и биограф Карла Великого, один из главных деятелей «Каролингского Возрождения».

³⁴ Франциск I (1515—1547) — французский король, вел с императором Карлом I на протяжении 20 лет четыре войны за обладание Италией.

³⁵ Монморанси (1492—1567) — Анн де Монморанси, коннетабль Франции, пользовавшийся огромным влиянием при дворе, ярый католик и гонитель гугенотов.

³⁶ Брион (1480—1543) — Филипп де Шабо, известный под именем адмирала Бриона, один из сподвижников и военачальников Франциска I.

³⁷ Госпожа д'Этамп — одна из фавориток Франциска I.

³⁸ Де Ланже — Гильом Дю Белле (см. прим. 31).

Глава XI

(Стр. 110—126)

¹ Настоящая глава «Опытов» представляет особый интерес: в ней со всей силой проявляется гуманизм Монтеня. Монтень обрушивается здесь против жестокостей окружавшей его французской действительности. «Меня возмущают, — заявляет он, — не те дикари, которые жарят и потом едят покойников, а те, кто мучает и преследует живых людей. Я не могу спокойно переносить казни, даже если они совершаются по закону». Смелые обличения по адресу правителей Франции, учинивших Варфоломеевскую резню, будут отмечены ниже. В этой же главе содержится протест против пыток во время предварительного следствия, один из тех пунктов, который инкриминировала Монтеню коллегия Индекса и который папская цензура предложила ему изъять из дальнейших изданий «Опытов». Но Монтень в последующих изданиях оставил все эти места в неизменном виде.

² Весь пассаж, заключенный в квадратные скобки, изложен у Монтеня настолько темно, что мы были вынуждены дать перевод некоторых мест его по догадке.

³ Аркесилай — см. прим. 21 к гл. II. — Приводимое сообщение см. Диоген Лаэртский, IV, 43.

⁴ «И те, которых вы называете любителями наслаждений, на самом деле являются любителями прекрасного и честного, и они чтут и блюдут все добродетели» (Цицерон. Письма к близким, XV, 19, 536).

⁵ «Добродетель возрастает вместе с трудностями» (Сенека. Письма, 13).

⁶ Эпаминонд — см. прим. 10 к гл. II. Эпаминонд принадлежал к пифагорейской школе.

⁷ Метелл — Квинт Цецилий Метелл Нумидийский (II—I вв. до н. э.), римский политический деятель и полководец, принадлежавший к оптиматам. В 102 г. до н. э. боролся против аграрного законопроекта народного трибуна Апулея Сатурнина, за что в 100 г. был изгнан из Рима. — Приводимое в тексте см. Плутарх. Жизнеописание Мария, 10.

⁸ Катон Младший — см. прим. 13 к гл. I.

⁹ «Он ушел из жизни, радуясь, что нашел случай покончить с собой» (Цицерон. Тускуланские беседы, I, 30).

¹⁰ Монтень имеет в виду Юлия Цезаря, которого Цицерон в одном из своих писем к Аттику (VII, 18) называет душителем римской свободы, «разбойником с большой дороги» (*perditus latro*).

¹¹ «Она неустрашима, так как решила умереть» (Гораций. Оды, I, 37, 29). Слова Горация относятся к Клеопатре.

¹² «Катон, наделенный от природы невероятной суровостью, которую он еще усилил постоянной твердостью и которая всегда присуща была его намерениям, должен был предпочесть скорее умереть, чем увидеть тирана» (Цицерон. Об обязанностях, I, 31).

¹³ Аристипп (род. 430 г. до н. э.) — древнегреческий философ, последователь Сократа. — Приводимое сообщение см. Диоген Лаэртций, II, 76.

¹⁴ Монтень таким образом указывает, что Сократ и Катон не сразу достигли такой высокой степени добродетели. В течение известного времени они вынуждены были бороться со своими слабостями, которые были им присущи, как и всем людям. Лишь путем длительных усилий и борьбы они выработали в себе то возвышенное понятие добродетели, которое, по словам Монтеня, вошло в их плоть и кровь.

¹⁵ «...хоть и знал я, как много значат для первого сражения только что обретенная военная слава и пресладостный почет» (Вергилий. Энеида, XI, 154).

¹⁶ «Если моя природа, наделенная лишь небольшими недостатками, в остальном благополучно устроена и подобна прекрасному телу, которому можно поставить в укор несколько рассеянных по нему пятнышек» (Гораций. Сатиры, I, 6, 65).

¹⁷ «Преобладало ли с момента моего рождения влияние созвездия Весов или грозного Скорпиона, или же владыки западного моря, Козерога» (Гораций. Оды, II, 17, 17).

¹⁸ Антисфен — см. прим. 32 к гл. II. — Приводимое в тексте см. Диоген Лаэртций, VI, 17.

¹⁹ Дионисий — Дионисий Старший (430—367 гг. до н. э.), тиран сиракузский. — Приводимое сообщение см. Диоген Лаэртский, II, 67.

²⁰ Диоген Лаэртский, II, 17.

²¹ Приводимое сообщение см. Диоген Лаэртский, X, 11.

²² «И не потакаю другим слабостям» (Ювенал, VIII, 164).

²³ Приводимое в тексте см. Диоген Лаэртский, V, 31.

²⁴ Цицерон. Тускуланские беседы, IV, 37.

²⁵ Сильпон — см. прим. 20 к гл. II. — Приводимое сообщение см. Цицерон. О судьбе, 5.

²⁶ «Когда тело уже предчувствует наслаждение и Венера готовится оплодотворить женское лоно» (Лукреций. О природе вещей, IV, 1106).

²⁷ Королева Наваррская (1492—1549) — сестра французского короля Франциска I (1515—1547), покровительница писателей, гонимых за свободомыслие, сама поэтесса и автор сборника новелл «Гептамерон», рисующих нравы придворного общества того времени. Упомянутую Монтенем новеллу см. Гептамерон, III, 30.

²⁸ «Кто среди этих радостей не позабудет жестоких мук любви» (Гораций. Эподы, 2, 37).

²⁹ Имеется в виду Светоний (Божественный Юлий, 74).

³⁰ Это и есть один из тех пяти тезисов, который коллегия Индекса инкриминировала «Опытам» Монтеня в 1581 г. и который Монтеню предложено было вычеркнуть в последующих изданиях «Опытов», чего он, как известно, не выполнил.

³¹ «Убивающих тело и не могущих сделать ничего более» (Евангелие от Луки, XII, 4).

³² «О пусть не влачат с позором по земле окровавленные останки и оголенные кости наполовину сожженного царя!» (Цицерон. Тускуланские беседы, I, 44).

³³ Этот рассказ подробнее дан Монтенем в «Дневнике» его путешествия по Италии.

³⁴ Артаксеркс — см. прим. 14 к гл. II. — Приводимое в тексте см. Плутарх. Изречения древних царей.

³⁵ Геродот, II, 47.

³⁶ С этого абзаца начинается страстный протест Монтеня против кровавых расправ французского двора, в частности против Варфоломеевской резни. С исключительной смелостью Монтень бросает обвинения вдохновителям этой резни, Екатерине Медичи и Карлу IX, называя их «чудовищами в образе людей» и напоминая об издевательствах и поруганиях над трупом адмирала Колиньи и других жертв католического мракобесия. Современникам Монтеня, на глазах которых творились эти жестокости, можно было не называть имен Екатерины Медичи и ее сына; для них было совершенно ясно, в кого метил Монтень, говоря «о чудовищах в образе людей».

³⁷ «Что человек, не побуждаемый ни гневом, ни страхом, убивает другого, только чтобы полюбоваться этим» (Сенека. Письма, 90).

³⁸ Достояния внимания любовь и жалость гуманиста Монтеня к животным и даже растениям. Ни у кого из французских мыслителей XVI—XVII вв. мы не встречаем подобных идей. Любопытно, что те же мысли развивал в своем замечательном «Завещании» революционный коммунист-утопист XVIII в. Жан Мелье, для которого «Опыты» Монтеня были настольной книгой.

³⁹ «Обливаясь кровью и словно моля о пощаде» (Вергилий. Энеида, VII, 501).

⁴⁰ Приводимое сообщение см. Плутарх. Застольные беседы, VIII, 8.

⁴¹ «Думаю, что обгаренный кровью меч был впервые раскален убийством диких зверей» (Овидий. Метаморфозы, XV, 106).

⁴² Метемпсихоза — доктрина о переселении душ. — Друнды — жрецы у древних кельтов.

⁴³ «Души не умирают, но, покинув прежние места, живут вечно, поселившись в новых обителях» (Овидий. Метаморфозы, XV, 158).

⁴⁴ «Он заключает души в бессловесных животных; жестокого вселяет в медведя, вора — в волка, обманщика — в лису. И заставив их на протяжении многих лет принять тысячи обличей, он погружает их в реку забвения и снова возвращает им их первоначальный человеческий облик» (Клавдиан. Против Руфина, II, 482).

⁴⁵ «Сам помню, что во время Троянской войны я был Эвфорбом, сыном Пандея» (Овидий. Метаморфозы, XV, 168). Это слова Пифагора о самом себе.

⁴⁶ «Варвары обожествляли животных за те услуги, которые они им оказывали» (Цицерон. О природе богов, I, 36).

⁴⁷ «Одни почитают крокодилов, другие страшатся ибиса, наевшегося змеями, здесь сверкает золотое изображение священной обезьяны, там поклоняются речной рыбе, в иных местах целые города обоготворяют собак» (Ювенал, XV, 2).

⁴⁸ Плутарх. Застольные беседы, VII, 4, 3; Изиды и Озирис, 39.

⁴⁹ Заявляя здесь о близком сходстве между человеком и животными, Монтень подготавливает читателя к тем положениям, которые он подробно будет развивать в следующей, XII главе данной книги, где он будет доказывать, что животные, так же как и люди, наделены разумом и что разница между ними и людьми весьма невелика.

⁵⁰ Капитолий — один из семи холмов, на которых расположен Рим, главная святыня Рима и его древнейшая крепость. Легенда о гусах, спасших Капитолий, связана с одним из нашествий в 390 г. до н. э. на Рим галлов, которые, разбив римлян на реке Аллии, разграбили Рим и осадили Капитолий, где укрылась часть сенаторов и остатки войска. По преданию, гуси своим гоготанием предупредили защитников Капитолия о ночной атаке врагов (см. Тит Ливий, V, 47; Плиний Старший. Естественная история, X, 26).

⁵¹ Приводимое сообщение см. Диодор Сицилийский, XIII, 17.

⁵² Приводимое в тексте см. Геродот, II, 67.

⁵³ Кимон (512—449 гг. до н. э.) — афинский политический деятель и полководец. Согласно Геродоту, у которого Монтень, по-видимому, почерпнул это сооб-

щение, лошади, доставившие Кимону победу, были похоронены после его смерти против его гробницы (Геродот, VI, 103).

⁵⁴ Ксантипп — афинский полководец (V в. до н. э.), отец знаменитого Перикла. — Приводимое в тексте см. Плутарх. Жизнеописание Катона Цензора, 3.

⁵⁵ Плутарх. Жизнеописание Катона Цензора, 3.

Глава XII

(Стр. 127—321)

¹ Раймунд Сабундский (ум. 1432) — испанский богослов, автор сочинения «Естественная теология», которую Монтень по просьбе своего отца перевел в 1569 г. на французский язык. В данной главе, обнимающей шестую часть всех «Опытов» Монтеня, особенно ярко выступает его передовое, прогрессивное мировоззрение, его заслуги в подрыве устоев религии и религиозных предрассудков. Здесь отчетливо обнаруживается, что Монтень не только сам не признает догматов католической религии, но и стремится разоблачить их полную несостоятельность перед теми, кто находится во власти традиционной веры. Наиболее существенные и смелые высказывания Монтеня на эту тему будут отмечены в соответствующих местах. Большой интерес в данной главе представляет страстный протест Монтеня против тех гонений на мысль, тех расправ с инакомыслящими, которые творились в окружающей его действительности под покровом религии.

² Приводимое в тексте суждение Монтеня отражает его подлинное отношение к науке, которую Монтень очень ценил. Если же иногда в его «Опытах» попадаются высказывания, идущие в разрез с вышеприведенным, то они направлены против схоластической лженауки, с которой Монтень борется на всем протяжении своих «Опытов».

³ Герилл — древнегреческий философ, родом из Карфагена, ученик Зенона и основатель особой стоической школы. — Сообщаемое в тексте см. Диоген Лаэртций, VII.

⁴ Франциск I — см. прим. 34 к гл. X; имеется в виду покровительство Франциска I гуманистам.

⁵ Пьер Бюнель — французский гуманист (1449—1546), родом из Тулузы.

⁶ «Естественная теология или книга творений магистра Раймунда Сабундского». Она была впервые издана в 1487 г.

⁷ Мартин Лютер (1483—1546) — крупнейший деятель Реформации, основатель протестантизма (лютеранства) в Германии. — Имеются в виду успехи реформации во Франции.

⁸ «Ведь с наслаждением топчут то, что некогда внушало ужас» (Лукреций. О природе вещей, V, 1139).

⁹ Это издание, вышедшее в Париже в 1569 г., пестрило множеством ошибок и неточностей.

¹⁰ Расточаемые здесь похвалы по адресу Раймунда Сабундского, как и самое название главы — «Апология», — не что иное, как уловка, к которой Монтень прибегает для отвода глаз цензуры. В действительности Монтень не оставляет камня на камне от аргументации Раймунда Сабундского и в дальнейшем изложении совершенно забывает о той задаче, которую якобы поставил перед собой в начале главы. Монтень доказывает не только безнадежность попытки Раймунда Сабундского обосновать положения религии с помощью разума, но и принципиальную невозможность этого. Свои убийственные для церкви разоблачения Монтень, однако, время от времени сопровождает чисто словесными признаниями своего подчинения церкви.

¹¹ Адриан Тюрнеб (1512—1565) — видный французский филолог-эрудит, которому принадлежит большое количество переводов из древних авторов и комментариев к ним.

¹² Фома Аквинский (1225—1274) — один из крупнейших католических богословов и представителей средневековой схоластики.

¹³ Начиная отсюда (и до конца абзаца) Монтень явно отрицает божественное откровение. К этой мысли Монтень не раз возвращается на протяжении данной главы. «Мы воспринимаем нашу религию, — заявляет Монтень несколькими страницами ниже, — нашими человеческими средствами, так же как воспринимаются другие религии». И, указав, какую огромную роль в этом деле играет традиция, Монтень заключает: «Мы христиане в силу тех же причин, по которым мы являемся перигорцами или немцами». Важнейшие высказывания Монтеня на этот счет будут отмечены в дальнейшем.

¹⁴ «Как мощный утес, который своим телом отражает разбивающиеся об него потоки и с гулом разрезает все клочущие вокруг него волны». Эти написанные в подражание «Энеиде» Вергилия (VII, 517) стихи сочинены были в честь Ронсара; их можно найти в изданиях его произведений.

¹⁵ Святой Людовик — Людовик IX (1223—1270). — Приводимый эпизод сообщает в своей хронике биограф Людовика Жуанвиль (см.: J. de Joinville. Mémoires ou Histoire et chronique du très chrétien roi saint Louis, t. I. Paris, 1858, стр. 19).

¹⁶ Подобный эпизод содержится в «Декамероне» (I, 2) Боккаччо, где это рассказывается о еврее Аврааме.

¹⁷ Евангелие от Матфея, XVII, 19.

¹⁸ «Если ты веруешь, то легко найдешь наставление к честной и блаженной жизни» (Квинтилиан, XII, 11).

¹⁹ Начиная отсюда Монтень выражает свой протест против терзавших его отечество так называемых религиозных войн, разоблачая их подлинный характер и показывая, что они не имеют ничего общего с религией. Обе борющиеся стороны — доказывает Монтень — руководствуются в этих войнах чисто человеческими помышлениями, и религия служит им лишь прикрытием. Оба враждующих лагеря одинаково преследуют корыстные, далекие от благочестия цели.

²⁰ Монтень намекает на тот поворот, который произошел в католическом лагере после смерти Генриха III в 1589 г. Католическая партия, отстаивавшая до этого времени тезис о недопустимости восстания против законного государя, подняла знамя восстания и открыто выступила против протестанта Генриха IV, который после смерти Генриха III стал законным наследником престола.

²¹ Начиная отсюда и до конца абзаца Монтень подчеркивает хищнический характер так называемых религиозных войн, участники которых «движимы своими частными, своекорыстными побуждениями, подчиняя им все остальное».

²² К этому обличению христианской религии, которая лишь прикрывает и разжигает пороки, постоянно возвращались идейные преемники Монтеня. Сочувственно приводит эти слова в своем «Завещании» Жан Мелье; встречаем мы их и у Вольтера и у Руссо.

²³ Антисфен — см. прим. 32 к гл. II. — Приводимое сообщение см. Диоген Лаэртский, VI, 4.

²⁴ Диоген из Синопа — см. прим. 11 к гл. III. — В приводимом эпизоде, очерпнутом у Диогена Лаэртского (см. Жизнеописание Диогена), речь идет не о жреце, а о каких-то «ничтожествах». Произведя эту замену, Монтень явно издевается над христианским раем, в который нет доступа для язычников.

²⁵ «Мы не только не жаловались бы на ожидающее нас после смерти разложение, но скорее с радостью оставляли бы нашу телесную оболочку, как змея меняет кожу или как олень свои рога» (Лукреций. О природе вещей, III, 612).

²⁶ Апостол Павел. Послание к филиппийцам, I, 23.

²⁷ Приводимое сообщение см. Цицерон. Тускуланские беседы, I, 34; Августин. О граде божием, I, 22.

²⁸ См. прим. 13 к данной главе.

²⁹ Платон. Законы, X, в начале.

³⁰ См. прим. 22 к данной главе.

³¹ Платон. Государство, кн. I.

³² Платон. Государство, кн. III, в начале.

³³ Бион — древнегреческий философ (325—255 гг. до н. э.), находившийся сначала под влиянием школы киников; в дальнейшем стал последователем философа Феодора (IV в. до н. э.), которого называли атеистом за его борьбу против политеистической религии. — Приводимое в тексте см. Диоген Лаэртский, IV, 54.

³⁴ Апостол Павел. Послание к римлянам, I, 20.

³⁵ «Бог не завидует сходству земли с небом: заставляя небо непрестанно вращаться, он являет нам образ своего лица и своего тела; он отдается нам и запечатлевает в нас свой образ, ибо он хочет, чтобы мы его хорошо знали, он учит нас распознавать его поступь и соблюдать его законы» (Манилий. Астрономическая поэма, IV, 907).

³⁶ «Если есть у тебя нечто лучшее, предложи, если же нет — покоряйся» (Гораций. Послания, I, 5, 6).

³⁷ «Божество не терпит, чтобы кто-нибудь другой, кроме его самого, мнил о себе высоко». Это говорит у Геродота, обращаясь к царю Ксерксу, его дядя Артабан (кн. VII, 10).

³⁸ «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (I послание Петра, V, 5).

³⁹ Платон. Тимей.

⁴⁰ Августин. О граде божием, XXI, 5.

⁴¹ Апостол Павел. Послание к колоссянам, II, 8.

⁴² Апостол Павел. I послание к коринфянам, III, 19.

⁴³ Апостол Павел. I послание к коринфянам, VIII, 2.

⁴⁴ Апостол Павел. Послание галатам, VI, 3.

⁴⁵ Здесь Монтень как бы забывает взятую им на себя роль защитника Раймунда Сабундского, что являлось с его стороны только уловкой, предназначенной для отвода глаз блюстителей ортодоксии. В разрез с финалистской, телеологической концепцией Раймунда Сабундского, полагавшего, что мир создан для чело- века, Монтень обрушивается на этот тезис, доказывая его полнейшую несостоятельность.

⁴⁶ «Итак, кто скажет, для кого же создан мир? Для тех, следовательно, одушевленных существ, которые одарены разумом, то есть для богов и для людей, ибо нет ничего лучше их». Слова стоика Бальба в диалоге Цицерона (О природе богов, II, 53).

⁴⁷ «Когда мы устремляем взор к необъятным небесным пространствам и видим в мерцании звезд высоты эфира над нами, в голову приходит мысль о движениях луны и солнца» (Лукреций. О природе вещей, V, 1203).

⁴⁸ «Жизнь и действия людей он [т. е. бог] заставляет зависеть от небесных светил» (Манилий. Астрономическая поэма, III, 58).

⁴⁹ «Человек понимает, что эти отдаленные светила властвуют над ним в силу сокровенных законов, что вся вселенная движется по последовательным законам и что исход судеб обозначен определенными знаками» (Манилий. Астрономическая поэма, I, 60).

⁵⁰ «Все эти крупные события, порождаемые незначительными движениями, являются делом этого необъятного царства, властвующего над самими государями» (Манилий. Астрономическая поэма, I, 55 и IV, 93).

⁵¹ «Один, обезумев от любви, переплывает море и отправляется разрушать Трою, другой судьбою предназначен к созданию законов. Вот сыновья, убивающие отца, вот отцы, убивающие детей, вот вооруженные до зубов братья, наносящие друг другу раны. Не мы виною этих распрей. Мы вынуждены так действовать, наказывать самих себя и раздирать на части. Неизбежно и то, что сама судьба должна оцениваться под этим углом зрения» (Манилий. Астрономическая поэма, IV, 79 и 118).

⁵² «Какие приготовления, какие орудия, какие рычаги, какие машины, какие рабочие потребовались для постройки такого грандиозного здания?» (Цицерон. О природе богов, I, 8).

⁵³ «К чему заключать наш ум в такие теснины?» (Цицерон. О природе богов, I, 31).

⁵⁴ Анаксагор (ок. 500—428 гг. до н. э.) — выдающийся древнегреческий философ, друг Перикла и поэта Эврипида; обвиненный политическими противниками Перикла в безбожии, бежал из Афин в Лампсак (Малая Азия), где и умер. В качестве начала всего мироздания Анаксагор признавал первоэщество, так называемые «гомеомерии», т. е. бесконечное множество бесконечно малых и различных по качеству частиц материи, из сочетания которых происходит все многообразие вещей. Исходя из своих философских воззрений, Анаксагор боролся против религиозных верований. В области астрономии Анаксагор защищал передовое для того времени учение о том, что небесные светила — безжизненные тела, находящиеся в механическом движении и раскалившиеся вследствие быстрого круговращения. Луну Анаксагор считал обитаемой, подобно земле. — Приводимое в тексте см. Диоген Лаэртский, II, 8. — Плутарх в сочинении «О лице, видимом на диске луны» утверждал, что луна, по всей вероятности, обитаема, но ничего не говорит о колониях на ней.

⁵⁵ «Среди множества недостатков нашей смертной природы имеется и то — ослепление нашего ума, которое заставляет наш ум не только блуждать, но и любить это блуждание» (Сенека. О гневе, II, 9).

⁵⁶ «Ибо тленное тело отягощает душу и земное жилище обременяет ум, исполненный мыслей» (Премудрость Соломона, IX, 13—15).

⁵⁷ Приводимое высказывание принадлежит Плинию Старшему. Оно настолько пришло к Монтеню по душе, что было выгравировано в числе других изречений на стене в его библиотеке. Монтень цитирует его и в других главах своей книги.

⁵⁸ Т. е. наземных животных, ибо Монтень считает, что два других вида их — птицы и рыбы — находятся в лучшем, более благоприятном положении.

⁵⁹ Далее, на протяжении нескольких десятков страниц, Монтень будет доказывать, вопреки Раймунду Сабундскому, что человек не выше животных, и будет разбирать вопрос о природе животных с исчерпывающей для его времени полнотой. Страстная защита животных, с которой выступил Монтень, произвела огромное впечатление не только на умы его современников, но и на последующие поколения. Монтень сделал популярным смелое изречение, что звери так же умны, как и люди, а нередко даже умнее людей. Век Декарта проявил живейший интерес к животной психологии, и хотя Декарт и Мальбранш отвергли тезис Монтеня, проблема психологии животных оставалась предметом горячих споров в ученых кругах. В 1648 г. Габриэль Ноде, друг крупнейшего философа-материалиста Гассенди, издал сочинение Иеронима Рорария на эту тему: «О том, что неразумные животные часто лучше пользуются разумом, чем человек» (*Quod animalia bruta saepe ratione utantur melius homine*). Смелый тезис Монтеня несомненно сыграл свою роль-

в решении папской цензуры в 1676 г. внести «Опыты» в Индекс запрещенных книг, ибо вопрос о природе животных был очень актуален в эти времена и являлся предметом ожесточенных споров между защитниками католической ортодоксии и представителями передовой науки. Из просветителей XVIII в., которые все в известной мере испытали на себе влияние Монтеня, особенно широко использовал аргументацию Монтеня о разуме животных Ламетри.

⁶⁰ Сатурн в древнеиталийской мифологии был богом посевов и плодородия; по преданию, он некогда, до рождения Юпитера, правил миром. С именем Сатурна было связано представление о «золотом веке», когда люди жили в достатке и вечном мире, не зная собственности, сословного неравенства, рабства. У Платона этот миф подробно излагается в диалоге «Политик», 16, где Платон исходит из того, что в век Сатурна-Кроноса животные были одарены умом, умели говорить и общались с людьми.

⁶¹ Платон. Тимей.

⁶² Аполлоний Тианский (I в. н. э.) — философ неопифагорейской школы, страстующий пророк и «чудотворец», родом из малоазийского города Тианы. Почти единственным источником сведений о нем является жизнеописание, составленное в начале III в. софистом Филостратом, — источник крайне ненадежный и полный фантастических рассказов. Приводимое в тексте см. Филострат. Жизнеописание Аполлония Тианского, I, 20. — Меламп — упоминаемый у Гомера («Одиссея») прорицатель в Пилосе, понимавший язык всех созданий. — Тиресий — легендарный фиванский слепец-предсказатель, играющий видную роль в сказаниях о царе Эдипе. — Фалес — см. прим. 11 к гл. VIII.

⁶³ Монтень здесь опирается на Плиния Старшего (Естественная история, VI, 35).

⁶⁴ «Ведь и бессловесные домашние животные и дикие звери издают различные звуки, в зависимости от того, испытывают ли они страх, боль или радость» (Луcretий. О природе вещей, V, 1058).

⁶⁵ «Неумение пользоваться речью заставляет детей прибегать к жестам» (Луcretий. О природе вещей, V, 1029).

⁶⁶ «Само молчание наполнено словами и просьбами» (Тассо. Аминта, II, 34).

⁶⁷ Плиний Старший. Естественная история, VI, 35.

⁶⁸ Приводимое в тексте см. Плутарх. Изречения лакедемонян.

⁶⁹ «Судя по этим примерам и признакам, некоторые утверждали, что в пчелах есть доля божественного ума и «манаций эфира» (Вергилий. Георгики, IV, 219).

⁷⁰ «Вот и младенец, подобно моряку, выброшенному жестокой бурей на берег, лежит нагой и бессловесный на земле, совсем беспомощный в жизни с той минуты, как природа с тяжким усилием исторгла его из материнского лона и бросила в мир. Его жалобный плач раздаётся кругом, — да и как ему не жаловаться, когда ему предстоит испытать при жизни столько злоключений? Между тем и крупный и мелкий скот, и дикие звери вырастают, не нуждаясь ни в погремушках, ни в том, чтобы их нежно утешала ломаными словами кормилица. Не нужна

им и различная одежда, в зависимости от времени года; нет у них, наконец, нужды ни в оружии, ни в высоких стенах для охраны своего достояния, ибо все им в изобилии производит земля и искусно готовит природа» (Лукреций. О природе вещей, V, 223).

⁷¹ Приводимое в тексте см. Плутарх. Жизнеописание Ликурга, 13.

⁷² «Каждый чувствует, каковы его силы и каков их предел» (Лукреций. О природе вещей, V, 1032).

⁷³ «Вначале земля сама создала для смертных много наливных хлебов и тучных виноградников, давая им также сладкие плоды и богатые пастбища. А теперь все это лишь с трудом вырастает при усиленном нашем труде: мы изнуряем волов и надрываем силы землепашцев» (Лукреций. О природе вещей, II, 1157).

⁷⁴ Приводимое в тексте см. Плутарх. Какие животные самые умные, 10.

⁷⁵ «Так, в темной куче муравьев можно увидеть таких, которые плотно, голова к голове, приблизились один к другому, словно для того, чтобы следить друг за другом, за намерениями и удачами другого» (Данте. Чистилище, XXVI, 34).

⁷⁶ Лактанций — христианский писатель-апологет IV в., первоначально язычник. Монтень имеет в виду сообщение Лактанция в его богословском трактате «Божественные установления», III, 10.

⁷⁷ Приводимое в тексте см. Аристотель. О происхождении животных, IV, 9.

⁷⁸ «Многие птицы время от времени меняют голос и с переменной погоды меняют свое хрипкое пение» (Лукреций. О природе вещей, V, 1082).

⁷⁹ Экклезиаст, 9. Это изречение было в числе других написано на сводах библиотеки Монтеня.

⁸⁰ «Все связано неизбежными узами судьбы» (Лукреций. О природе вещей, I, 877).

⁸¹ «Всякая вещь следует своим правилам, все вещи твердо блюдут законы природы и сохраняют свои отличия» (Лукреций. О природе вещей, V, 923).

⁸² Этот пример почерпнут Монтенем у Плутарха (Какие животные самые умные, 13).

⁸³ Приводимое в тексте см. Плутарх. Как отличить друга от льстеца, 3. — *Климакида* по-гречески значит «лесенка».

⁸⁴ Монтень имеет в виду соответствующее сообщение Геродота, V, 5.

⁸⁵ Приводимое в тексте см. Цезарь. Записки о галльской войне, III, 22.

⁸⁶ Текст этой клятвы приводится у Петрония (Сатирикон, 113).

⁸⁷ «Сожги, если хочешь, в огне мою голову, пронзи мечом мое тело и испосуй меня ударами бича» (Тибулл, I, 9, 21).

⁸⁸ Приводимое в тексте см. Геродот, IV, 71.

⁸⁹ Имеется в виду Диоген из Синопа (см. прим. 24). — Приводимое сообщение см. Диоген Лаэртский, VI, 75.

⁹⁰ «Аист кормит своих птенцов змеями и ящерицами, которых он достает им из пустынных мест, а благородная птица, спутник Юпитера, охотится в горных лесах на козу и зайцев» (Ювенал, XIV, 74—81).

⁹¹ Амфиполь — город во Фракии. — Меотийское озеро — древнее название Азовского моря. Приводимое сообщение заимствовано у Плиния Старшего (Естественная история, X, 10).

⁹² Монтень приводит сообщение Аристотеля по Плутарху (Какие животные самые умные, 28).

⁹³ Намек на кожную болезнь, от которой умер Сулла.

⁹⁴ В 327 г. до н. э. Александру Македонскому удалось, переправившись через Инд, одержать победу над индийским царьком Пором в битве на берегах Джелама, но после того как Александр вынужден был покинуть Индию, Пор вернул себе независимость. — Приводимое в тексте см. Плутарх. О трудолюбии животных, 13.

⁹⁵ Хрисипп (ок. 280—207 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, стоик, ученик Зенона. — Приводимый пример заимствован Монтенем у Секста Эмпирика (Три книги Пирроновых положений, I, 14).

⁹⁶ Георгий Трапезундский (1396—1484) — греческий ученый и писатель, последователь Аристотеля; после взятия Константинополя поселился в Италии и преподавал в разных городах риторику и философию.

⁹⁷ Плутарх. Какие животные самые умные, 19.

⁹⁸ Этот пример, как и следующие, почерпнуты у Плутарха (Какие животные самые умные, 19—20).

⁹⁹ Приводимое в тексте см. Плиний Старший. Естественная история, X, 29.

¹⁰⁰ Арриан (96—180) — греческий писатель римской эпохи, историк и географ, ученик Эпиктета. — Приводимое в тексте см. Арриан. История Индии, 14.

¹⁰¹ Об этом рассказывает Плутарх (Какие животные самые умные, 12).

¹⁰² Приводимое в тексте см. Плиний Старший. Естественная история, VIII, 3.

¹⁰³ Плутарх. Какие животные самые умные, 18.

¹⁰⁴ Плутарх. Какие животные самые умные, 12.

¹⁰⁵ Имеется в виду Юба II (50 г. до н. э.—23 г. н. э.) — сын нумидийского царя Юбы I, воспитанный в Риме и сделавшийся ученым писателем. — Приводимое в тексте см. Плутарх. Какие животные самые умные, 17.

¹⁰⁶ Указанный пример см. Плутарх. Какие животные самые умные, 12.

¹⁰⁷ «Ведь предки этих слонов служили только Ганнибалу Тирскому и нашим полководцам и эфирскому царю; они носили на спинах когорты, целые отряды войска или башни, идущие в сражение» (Ювенал, XII, 107).

¹⁰⁸ Монтень опирается здесь на Гомару (Общая история Индии, II, 9).

¹⁰⁹ Мурена — рыба из отряда угреобразных. — Приводимый пример см. Плутарх. Какие животные самые умные, 23. — Аретуса — так назывались в древности несколько источников, из которых наибольшей известностью пользовался источник в Сиракузах.

¹¹⁰ «Они имеют имена, и каждая из них является на зов своего господина» (Марциал, IV, 30, 6).

¹¹¹ Приводимое в тексте см. Плиний Старший. Естественная история, VIII, 1.

¹¹² Клеанф (331—232 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-стоик, ученик

Зенона и его преемник в качестве главы стоической школы (263—232). — Приводимый пример см. Плутарх. Какие животные самые умные, 15.

¹¹³ Имеется в виду битва при мысе Акции (в Акарнании, северная Греция). Здесь в 31 г. до н. э. Октавиан Август одержал победу над Антонием и Клеопатрой. — Приводимый пример, а равно и следующий с императором Калигулой сообщает Плиний Старший (Естественная история, XXII, 1).

¹¹⁴ Кизик — милетская колония, основанная в 756 г. до н. э. на южном берегу Пропонтиды (ныне Мраморное море). — Приводимый пример см. Плутарх. Какие животные самые умные, 16.

¹¹⁵ Гнюс — рыба из семейства скатов. — Приводимое в тексте см. Плутарх. Какие животные самые умные, 27.

¹¹⁶ «Многие полагают, что супруги должны были бы зачинать по способу четвероногих зверей, ибо семя лучше доходит до цели, когда грудь низко опущена вниз, а чресла приподняты» (Лукреций. О природе вещей, IV, 1260).

¹¹⁷ «Женщина задерживает зачатие и препятствует ему, если, охваченная похотью, она отклоняется от мужчины и возбуждает его гибкими движениями своего тела, ибо этим она сворачивает лемех с его прямого пути и мешает семеню попасть в должное место» (Лукреций. О природе вещей, IV, 1265).

¹¹⁸ Лисимах (361—281 г. до н. э.) — полководец Александра Македонского, получивший после его смерти в управление Фракию и принявший (в 306 г.) царский титул. — Приводимый пример см. Плутарх. Какие животные самые умные, 13.

¹¹⁹ «Ей не требуется дочь великого консула» (Гораций. Сатиры, I, 2, 69).

¹²⁰ Аристофан Грамматик, или Аристофан Византийский (257—180 гг. до н. э.), — выдающийся александрийский филолог. — Приводимое в тексте см. Плутарх. Какие животные самые умные, 18, откуда взяты и следующие примеры.

¹²¹ Оппиан (конец II в. н. э.) — греческий дидактический поэт, известный своей «Поэмой об охоте», которую имеет здесь в виду Монтень. — Приводимое в тексте см. Оппиан. Поэма об охоте, I, 254.

¹²² «Телка без стыда отдается своему отцу, а жеребцу — его дочь; козел сочетается с им же созданными козами, и птицы — с тем, кем они были зачаты» (Овидий. Метаморфозы, X, 325).

¹²³ Фалес — см. прим. 11 к гл. VIII. — Пример этот приводится у Плутарха (Какие животные самые умные, 16).

¹²⁴ Сообщаемое в тексте см. Плутарх. Какие животные самые умные, 11.

¹²⁵ Страстное осуждение войны характерно для передового мировоззрения Монтеня. Монтень не упускает случая заклеймить эту людскую «науку уничтожать и убивать друг друга» и неоднократно в своих «Опытах» возвращается к этой теме.

¹²⁶ «Разве более сильный лев убивал когда-нибудь льва послабее? Разве видели когда-нибудь кабана, издыхающего от удара клыков кабана посильнее?» (Ювенал, XV, 160).

¹²⁷ «Часто между двумя царями возникает ожесточенная распря; тогда трудно предвидеть, что начнется волнение в народе и в сердцах вспыхнет воинственное одушевление» (Вергилий. Георгики, IV, 67).

¹²⁸ См. прим. 125.

¹²⁹ «Блеск от оружия возносится к небу; земля всюду кругом сверкает от отражения меди и гулко содрогается от тяжелой поступи огромных полчищ людей; потрясенные криками горы громко вторят им, и шум несется к небесным светилам» (Лукреций. О природе вещей, II, 325).

¹³⁰ «Рассказывают, что из-за страсти Париса греки столкнулись в зловещей войне с варварами» (Гораций. Послания, I, 2, 6).

¹³¹ Имеется в виду Октавиан Август.

¹³² «Оттого только, что Антоний забавляется с Глафирой, Фульвия хочет принудить меня к любви к ней? Чтобы я стал с ней забавляться? Как! Если Маний станет просить меня, чтоб я уступил? Да ни за что! — Люби меня, или же будем сражаться, — говорит она. — Как! Чтобы я больше дорожил своей жизнью, чем своей мужской силой? Трубите, трубы!» — слова Августа, приводимые в эпиграмме Марциала, XI, 20, 3.

¹³³ Эти слова Монтеня обращены к некоей высокопоставленной особе, которой Монтень посвятил «Апологию Раймунда Сабундского».

Очень возможно, однако, что это «посвящение» — лишь мистификация со стороны Монтеня.

¹³⁴ «Как неисчислимые валы, бушующие на побережье Ливии, когда грозный Орион скрывается в зимних волнах, как густые колосья, зреющие под взошедшим солнцем на полях Ликии, стонут щиты и земля сотрясается под топотом ног» (Вергилий. Энеида, VII, 718).

¹³⁵ «Черный строй идет полем» (Вергилий. Энеида, IV, 404).

¹³⁶ Монтень имеет в виду Вергилия.

¹³⁷ Квинт Серторий (122—72 гг. до н. э.) — римский полководец, сторонник Марии и партии популяров; после победы сулланцев Серторий организовал в Испании сопротивление сторонникам сената и Суллы и в десятилетней войне не раз наносил поражения полководцам партии сената, в том числе и Помпею. Но та военная хитрость, о которой идет речь в тексте, была применена Серторием не против Помпея, а против одного из туземных племен, жившего в глубоких пещерах, к которому трудно было подступиться. См. Плутарх. Жизнеописание Сертория, 6. — Антигон — см. прим. 15 к гл. I. Монтень имеет в виду упорную борьбу Антигона с наместником Каппадокии, Эвменом, закончившуюся в 316 г. до н. э. пленением и казнью Эвмена. — Говоря о борьбе Сулены против Красса, Монтень имеет в виду войну парфян под командованием молодого военачальника Сулены против 40-тысячного войска римского полководца Марка Красса, вторгшегося в Месопотамию в 53 г. до н. э. Руководимая Суленой борьба парфян против завоевателей римлян закончилась полным разгромом легионов Красса и его гибелью.

¹³⁸ «Эти душевные волнения и все такие сражения стихают, подавленные горстью пыли» (Вергилий. Георгики, IV, 86).

¹³⁹ На крайнем северо-западе Индии, у границ Афганистана.

¹⁴⁰ Это изречение Монтеня во время французской революции в 1792 г. послужило эпиграфом для «Газеты санкюлотов». Весь этот абзац, содержащий весьма смелую критику «священной особы» государей, усиленно использовался накануне французской буржуазной революции для критики королевской власти.

¹⁴¹ Пирр Эпирский (319—272 гг. до н. э.) — царь племени молоссов в Эпире. — Приводимый пример почерпнут у Плутарха (Какие животные самые умные, 13).

¹⁴² Гесиод — см. прим. 4 к гл. V.

¹⁴³ Плутарх. О трудолюбии животных, 13.

¹⁴⁴ Апион — грамматик из Александрии, живший при Тиберии и Клавдии в Риме. — Сообщаемый эпизод см. у Авла Геллия, V, 14. — Согласно Элиану (О природе животных, VIII, 48), упоминаемый дальше раб назывался Андроклом.

¹⁴⁵ «Далее, плача, идет боевой конь, Этон, без всяких знаков отличия, и крупные слезы текут по его морде» (Вергилий. Энеида, XI, 89).

¹⁴⁶ Антикир — остров в Эгейском море. — Сообщаемое см. Плутарх. Какие животные самые умные, 31.

¹⁴⁷ Сообщаемый пример почерпнут у Плиния Старшего (Естественная история, VIII, 27).

¹⁴⁸ Приводимое в тексте см. Плутарх. Какие животные самые умные, 29.

¹⁴⁹ Имеется в виду Александр Македонский. — Сообщаемое см. Плутарх. Какие животные самые умные, 15.

¹⁵⁰ Приводимый пример см. Арриан. История Индии, 14.

¹⁵¹ Сообщаемое в тексте см. Плутарх. Какие животные самые умные, 20.

¹⁵² Латона (миф.) — богиня (титанида), у которой от Зевса было двое детей — Аполлон и Артемида.

¹⁵³ Приводимый в тексте пример см. Плутарх. Какие животные самые умные, 35, а также Плиний Старший. Естественная история, X, 47.

¹⁵⁴ «Можно наблюдать, как быстрые кони, в то время как тело их отдыхает, погруженное в сон, вдруг начинают покрываться испариной, учащенно дышать и напрягать все силы, как если бы дело шло о завоевании пальмы первенства в беге» (Лукреций. О природе вещей, IV, 988).

¹⁵⁵ «Часто охотничьи собаки, погруженные в спокойную дремоту, вдруг или вскакивают на ноги, или начинают пронзительно лаять, нюхая воздух кругом, как если бы они напали на след зверя. Иногда, даже проснувшись, они продолжают преследовать мнимый призрак якобы убегающего оленя до тех пор, пока, очнувшись от сна, не придут в себя» (Лукреций. О природе вещей, IV, 992).

¹⁵⁶ «Часто привыкшие к хозяйскому дому ласковые щенята, стряхнув с себя легкий сон, внезапно поднимаются с земли, как если бы они увидели чужие, незнакомые лица» (Лукреций. О природе вещей, IV, 909).

¹⁵⁷ «Цвет лица белгов постыден для римлянина» (Проперций, II, 18, 26).

¹⁵⁸ Приводимый пример, а также следующий, касающийся Перу, почерпнуты у Гомары (Всеобщая история Индии, II, 20 и V, 12).

¹⁵⁹ Имеется в виду венецианский купец Гаспаро Бальби. Приводимое в тексте см. в его «Путешествии по восточной Индии» (Casparo Balbi. Viaggio dell'India Orientale. Venezia, 1590), стр. 76.

¹⁶⁰ Сообщаемое в тексте приводится у Гомары (Всеобщая история Индии, IV, 3).

¹⁶¹ Плиний Старший. Естественная история, VI, 14.

¹⁶² Приводимый пример см. Гомара. Всеобщая история Индии, II, 84.

¹⁶³ Платон. Тимей.

¹⁶⁴ «Многие животные превосходят нас красотой» (Сенека. Письма, 124).

¹⁶⁵ «В то время как взгляд других животных устремлен долу, бог дал человеку высокое чело, повелев глядеть прямо в небо и подымать взор к светилам» (Овидий. Метаморфозы, I, 84).

¹⁶⁶ Платон. Тимей; Цицерон. О природе богов, II, 54.

¹⁶⁷ «Как похожа на нас обезьяна, безобразнейшее животное!» (Энний, приводится у Цицерона: О природе богов, I, 35).

¹⁶⁸ «Иной, увидев обнаженными сокровенные части женского тела, вдруг поколебался в своей закипавшей было страсти» (Овидий. Средства от любви, 429).

¹⁶⁹ «Это не тайна для наших любовниц: они усиленно прячут закулисную сторону своей жизни от тех, кого стремятся удержать в своих любовных сетях» (Лукреций. О природе вещей, IV, 1181).

¹⁷⁰ Ферекид Сиросский (VII в. до н. э.) — учитель Пифагора, причисляемый к «семи греческим мудрецам», автор «Учения о богах», религиозно-мифологической системы, в которой мифологические образы богов получали отвлеченное истолкование.

¹⁷¹ Цирцея — первоначально божество луны, дочь Гелиоса и Океаниды Персы, волшебница, жившая на острове, куда занесен был во время своих странствий Одиссей со своими спутниками.

¹⁷² Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, I, 4, 12.

¹⁷³ «Лучше вовсе запретить давать вино больным, так как оно лишь изредка помогает им, а чаще вредит, чем идти на явный риск в надежде на сомнительное исцеление; и точно так же не знаю, не лучше ли было бы совсем не давать человеческому роду той быстрой сообразительности, остроты и пронизательности, которые в совокупности составляют разум и которыми мы так обильно и щедро одарены, ибо эти качества благодетельны для немногих, большинству же идут во вред» (Цицерон. О природе богов, III, 27). — Это мнение высказывается одним из участников цicerоновского диалога, но другой из собеседников придерживается противоположного взгляда на вещи, и Цицерон не подводит этому спору итога.

¹⁷⁴ Марк Теренций Варрон (116—27 гг. до н. э.) — выдающийся римский ученый, труды которого по самым различным отраслям знания пользовались в древности всеобщим признанием.

¹⁷⁵ «Разве мускулы невежды сокращаются хуже?» (Гораций. Эподы, VIII, 17).

¹⁷⁶ «Значит, ты избежишь болезней и дряхлости; не будешь знать ни забот, ни печалей, и напоследок благосклонный рок наградит тебя долголетней жизнью» (Ювенал, XIV, 156).

¹⁷⁷ Это изречение Монтеня неоднократно цитирует Л. Н. Толстой (в «Круге Чтения» и др.).

¹⁷⁸ Монтень цитирует по Плутарху (Против Колота, 27), но передает слова Плутарха очень неточно.

¹⁷⁹ «Будете подобны богам и познаете добро и зло» (Бытие, III, 5).

¹⁸⁰ Гомер. Одиссея, XII, 188.

¹⁸¹ «Смотрите, чтобы кто-нибудь не увлек вас философией и пустым обольщением по стихиям мира» (Апостол Павел. Послание к колоссянам, II, 8).

¹⁸² «Словом, мудрец ниже одного лишь Юпитера: он и богат, и волен, и в почете, и красив; в довершение он царь над царями, он здоров, как никто, если только не схватит насморк случайно» (Гораций. Послания, I, 1, 106).

¹⁸³ Эпиктет (50—138) — философ-стоик, учение которого было записано Флавием Аррианом (Руководство Эпиктета, I, 1).

¹⁸⁴ Цицерон. Тускуланские беседы, V, 36 и I, 26.

¹⁸⁵ «Поистине богом, доблестный Меммий, был тот [Эпикур], кто впервые открыл ту разумную основу жизни, которую мы называем теперь мудростью; он, кто так искусно сумел ввести в жизнь на смену стольким волнениям и глубочайшему мраку полное, озаренное ярким светом спокойствие» (Лукреций. О природе вещей, V, 8).

¹⁸⁶ Монтень имеет в виду весьма сомнительное известие блаженного Иеронима, будто Лукреций, выпив любовный напиток, поднесенный ему его возлюбленной, впал в помешательство, а свою гениальную поэму «О природе вещей» писал в часы просветления.

¹⁸⁷ Демокрит (460—370 г. до н. э.) — великий греческий философ-материалист, ученик основателя античной атомистики Левкиппа. — Сообщаемое в тексте см. Цицерон. Академические вопросы, II, 23. Приводимое высказывание Аристотеля см. Цицерон. О высшем благе и высшем зле, II, 13. — Хрисипп — см. прим. 95. — Дион (408—354 г. до н. э.) — знатный сиракузянин, ученик и друг Платона.

¹⁸⁸ «Мы по праву гордимся добродетелью: но этого никак не могло бы быть, если бы она была даром богов, а не зависела от нас самих» (Цицерон. О природе богов, III, 36).

¹⁸⁹ Сенека. Письма, 53.

¹⁹⁰ Посидоний (135—50 г. до н. э.) — греческий ученый и философ-стоик, охвативший в своих сочинениях почти все отрасли знания своего времени. — Приводимое в тексте см. Цицерон. Тускуланские беседы, II, 25.

¹⁹¹ «Не следовало сдаваться на деле, если на словах был героем» (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 13).

¹⁹² Аркесилай — см. прим. 21 к гл. II. — Карнеад (213—128 гг. до н. э.) — греческий философ, видный представитель античного скептицизма, основатель Новой Академии. — Приводимое в тексте см. Цицерон. О высшем благе и высшем зле, V, 31.

¹⁹³ Дионисий Гераклеяский (328—248 гг. до н. э.) — один из самых плодотворных писателей стоической школы. — Монтень опирается на Цицерона (О высшем благе и высшем зле, V, 31).

¹⁹⁴ Пиррон (365—275 гг. до н. э.) — греческий философ, родоначальник античного скептицизма, оказавший значительное влияние на Монтеня. — Сообщаемое в тексте см. Диоген Лаэртский, IX, 69.

¹⁹⁵ Монтень опирается здесь на работу Озорио [История Португалии, II, 15 (во французском переводе Симона Гулара)] и развивает одну из своих любимых идей о воздействии нашего психического состояния на физическое, на здоровье. К этой мысли Монтень возвращается неоднократно.

¹⁹⁶ Монтень имеет в виду Торквато Тассо, который с 1574 по 1586 г. находился на излечении в Ферраре в больнице для душевнобольных. — Первое издание «Освобожденного Иерусалима» вышло в 1580 г., а в 1581 г. в Венеции вышел II том произведений Тассо, содержащий его стихи и прозу.

¹⁹⁷ «Люди более чувствительны к боли, чем к наслаждению» (Тит Ливий, XXX, 21).

¹⁹⁸ «Мы остро ощущаем самый легкий укол и не испытываем никакого наслаждения от того, что здоровы. С нас достаточно, чтобы у нас не болела грудь или нога, но мы почти не отдаем себе отчета в том, что здоровы и хорошо себя чувствуем» [Ла Боэси. Сатира (на латинском языке)].

¹⁹⁹ Квинт Энний (239—169 гг. до н. э.) — древнейший римский поэт. — Монтень дает перевод этого изречения перед тем, как привести его в латинском оригинале (Энний в цитате у Цицерона: О высшем благе и высшем зле, II, 13).

²⁰⁰ Крантор (335—275 гг. до н. э.) — греческий философ, родом из Киликии, один из представителей Древней Академии. — Приводимое в тексте см. Цицерон. Тускуланские беседы, III, 6.

²⁰¹ «Это бесчувствие достигается немалой ценой, за счет очерствения души и оцепенения тела» (Цицерон. Тускуланские беседы, III, 6).

²⁰² «Для облегчения наших страданий, — говорит Эпикур, — следует избегать тягостных мыслей и думать о приятном» (Цицерон. Тускуланские беседы, III, 15).

²⁰³ «Воспоминание о былом счастье усугубляет горе» (стих из «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо).

²⁰⁴ Монтень имеет в виду Цицерона (Тускуланские беседы, III, 15).

²⁰⁵ «Сладостна память о минувших трудностях» (стих Эврипида в цитате у Цицерона: О высшем благе и высшем зле, II, 32).

²⁰⁶ «В нашей власти почти полностью вытравить из памяти наши злоключения и с радостью вспоминать только о счастливых часах» (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, I, 17).

²⁰⁷ «Я вспоминаю о вещах, которые хотел бы забыть: я не в состоянии забыть то, чего желал бы не помнить» (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, II, 32).

²⁰⁸ «Единственному человеку, который осмелился назвать себя мудрецом» (имеется в виду Эпикур; см. Цицерон. О высшем благе и высшем зле, II, 3).

²⁰⁹ «Он, превзошедший своим дарованием людей и всех затмивший, подобно восходящему солнцу, заставляющему померкнуть звезды» (Лукреций. О природе вещей, III, 1044).

²¹⁰ «Незнание — плохое средство избавиться от беды» (Сенека. Эдип, 515).

²¹¹ «Начну пить и рассыпать цветы, хотя бы под страхом прослыть безрасудным» (Гораций. Послания, I, 5, 14).

²¹² «О друзья, не спасли вы меня, а убили, вскричал тот, чье наслаждение разрушили, насильно лишив его самого приятного для его души обмана» (Гораций. Послания, II, 2, 138).

²¹³ Эти примеры почерпнуты Монтенем у Эразма Роттердамского, см. *Adagia, Fortunata Stultitia*.

²¹⁴ Перевод дан Монтенем перед греческой цитатой (см. Софокл. Эант, 554).

²¹⁵ Экклезиаст, I, 18.

²¹⁶ «Мила тебе она? В таком случае терпи! Не нравится? Тогда любим сподобом уходи» (парафраза одного места из Сенеки: Письма, 70).

²¹⁷ «Тебя мучит боль? Она терзает тебя? Согни выю, если ты беззащитен, если же ты прикрыт щитом Вулкана, т. е. мужеством, сопротивляйся!» (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 14).

²¹⁸ «Пусть либо пьет, либо уходит» (Цицерон. Тускуланские беседы, V, 4). — Монтень хочет сказать, что у гасконца получается: *vivat* — «пусть живет».

²¹⁹ «Если ты не умеешь как следует пользоваться жизнью, уступи место тем, кто умеет. Ты уже вдоволь поиграл, вдоволь поел и выпил, настало время тебе уходить, чтобы молодежь, которой это больше пристало, не подняла тебя на смех и не прогнала тебя, если ты хватил лишнего» (Гораций. Послания, II, 2, 213).

²²⁰ «Когда зрелая старость уже предупредила Демокрита о том, что разум его ослабел, он сам, памятуя о неизбежном, добровольно пошел навстречу смерти» (Лукреций. О природе вещей, III, 1039).

²²¹ Антисфен — см. прим. 32 к гл. II. — Монтень приводит это высказывание по Плутарху (Противоречия философов-стоиков, 14).

²²² Тиртей (VII—VI вв. до н. э.) — спартанский поэт, известный своими патриотическими элегиями, пользовавшимися большой популярностью и за пределами Спарты.

²²³ Кратет (365—285 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-киник. — Приводимое в тексте см. Диоген Лаэртский, VI, 86.

²²⁴ Квинт Секстий — римский философ времен Августа, последователь стоицизма и пифагореизма, основатель философской школы в Риме, пользовавшейся одно время большой популярностью. Отзывы Сенеки и Плутарха о нем см. Се-

нека. Письма. 59, 64, 67, 73, 98, 108; Плутарх. Как можно заметить, совершенствуемся ли мы...

²²⁵ Апостол Павел в цитате у Корнелия Агриппы: О недостоверности и тщетности наук, I.

²²⁶ Приводимое в тексте также почерпнуто из вышеуказанного сочинения Корнелия Агриппы. Под именем Валентиана (как он назван и у Агриппы) разумеется, видимо, император Валентиниан (невозможно, однако, установить, которого из трех римских императоров, носивших это имя, Монтень имеет в виду). — Лициний — Валерий Лициниан (263—324), римский император.

²²⁷ Повесток, исков, вызовов на суд
И актов о взымании убытков
Полны все руки у нее — и груд
Различных клауз и толкований свитков,
Из-за которых бедняки живут,
Дрожа за целость нищенских пожитков;
И множество сопутствовало ей
Нотариусов, стряпчих и судей.

[Ариосто. Неистовый Роланд, XIV, 84 (перевод А. Курошевой)].

²²⁸ Варрон в цитате Нония Марцелла (Nonius Marcellus. De indiscretis generibus, под словом «сере», стр. 296).

²²⁹ Согласно Стобею (Антология, изреч. 22), это изречение Сократа.

²³⁰ Платон. Апология Сократа.

²³¹ Книга Иисуса, сына Сирахова, X, 9.

²³² Это изречение, как и предыдущее, было вырезано на потолке библиотеки Монтеня с ошибочной ссылкой на Книгу Иисуса, сына Сирахова, VII. Монтень либо сам сочинил это изречение, либо почерпнул его у какого-нибудь автора, введшего его в заблуждение.

²³³ «Лучше знаешь бога, не доискиваясь его» (Августин. De ordine, II, 16).

²³⁴ «Относительно деяний богов благочестивее и почтительнее верить, нежели знать» (Тацит. Германия, 34).

²³⁵ Платон. Законы, VII.

²³⁶ «Трудно познать того, кто создал вселенную; если же тебе удалось познать его, то описывать его ко всеобщему сведению нечестиво» [Платон (Тимей) в цитате у Цицерона].

²³⁷ «Выражая смертными словами бессмертные вещи» (Лукреций. О природе вещей, V, 122).

²³⁸ Монтень здесь пересказывает Цицерона (О природе богов, III, 15).

²³⁹ Аристотель. Никомахова этика, VII, 1.

²⁴⁰ «Ни гнев, ни милость ему неведомы: ибо если бы он был подвержен им, это означало бы в нем слабость» (мысль Эпикура в изложении Цицерона: О природе богов, I, 17).

²⁴¹ Апостол Павел. I послание к коринфянам, I, 19.

²⁴² Веллей и Котта — собеседники в диалоге Цицерона «О природе богов». — Филон из Лариссы (в Фессалии) — греческий философ-скептик (159—80 гг. до н. э.), поселившийся в 88 г. в Риме, где его преподавание пользовалось громкой известностью и где в числе его учеников был Цицерон. — Приводимое в тексте см. Цицерон. О природе богов, I, 7.

²⁴³ Ферекид — см. прим. 170 к данной главе. — Фалес — см. прим. 11 к гл. VIII. — Приводимое в тексте см. Диоген Лаэртский, I, 122.

²⁴⁴ Сократ в цитате у Цицерона: Академические вопросы, I, 4.

²⁴⁵ Платон. Политик, 19.

²⁴⁶ «Почти все древние философы утверждали, что нельзя ничего постигнуть, узнать, изучить, ибо чувства наши ограничены, разум слаб, а жизнь коротка» (Цицерон. Академические вопросы, II, 12).

²⁴⁷ Приводится по Корнелию Агриппе (О недостоверности и тщетности наук, I), который неверно толкует высказывание Валерия Максима (II, 2, 12).

²⁴⁸ Академия — содружество философов во главе с Платоном. Здесь имеется в виду так называемая четвертая академия, основанная Филоном (см. прим. 242), у которого учился Цицерон.

²⁴⁹ «Я буду говорить, ничего, однако, не утверждая; буду все исследовать, но в большинстве случаев сомневаясь и не доверяя себе» (Цицерон. О гадании, II, 3).

²⁵⁰ «Кто, бодрствуя, храпит; чья жизнь, хоть он живой и зрячий, подобна смерти» (Лукреций. О природе вещей, III, 1048 и 1047).

²⁵¹ Этими словами начинается сочинение Секста Эмпирика (Три книги Пирроновых положений, I, 1).

²⁵² Клитомах (186—110 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-скептик, ученик Карнеада (см. прим. 192).

²⁵³ Эпехисты (от греческого слова ἐπέχω — «воздерживаюсь») — «воздерживающиеся от суждения»; так обычно называли себя последователи скептика Пиррона. Воздержание от суждения, по словам Пиррона, есть такое состояние ума, при котором мы ничего не отрицаем и ничего не утверждаем. — Архилох (середина VII в. до н. э.) — крупнейший представитель древнеионийской лирики. — Ксенофан Колофонский (ок. 570—479 гг. до н. э.) — ионийский поэт и философ, критиковавший систему олимпийской религии и мифологии с пантеистических позиций. — Монтень опирается в своем изложении на Диогена Лаэртца (Жизнеописание Пиррона).

²⁵⁴ «Тот, кто полагает, что нельзя ничего знать, не знает и того, можно ли утверждать, что никакое знание невозможно» (Лукреций. О природе вещей, IV, 470).

²⁵⁵ Атараксия — невозмутимость духа, душевный покой. Понятие атараксии, впервые встречающееся у Демокрита, который считает ее наивысшим благом в жизни, было подробно разработано Пирроном (см. Секст Эмпирик. Три книги Пирроновых положений, I, 12).

²⁵⁶ «Они цепляются за первое попавшееся учение, как за скалу, к которой их прибило бурей» (Цицерон. Академические вопросы, II, 3).

²⁵⁷ «Они тем более свободны и независимы, что их способность суждения остается совершенно незатронутой» (Цицерон. Академические вопросы, II, 3).

²⁵⁸ Монтень здесь пересказывает Цицерона (Академические вопросы, II, 33).

²⁵⁹ Панэций (185—109 гг. до н. э.) — философ, считающийся основателем так называемой «средней Стои». Эклектическая философская система Панэция, представлявшая собой объединение стоицизма с положениями Платона и Аристотеля, содержала значительные расхождения с учением древних стоиков. — Приводимое в тексте см. Цицерон. Академические вопросы, II, 33.

²⁶⁰ «Так как по поводу всякой вещи можно привести одинаково сильные доводы в пользу и против нее, то легче воздержаться от всякого суждения» (Цицерон. Академические вопросы, I, 12).

²⁶¹ Все эти положения почерпнуты у Секста Эмпирика (Три книги Пирроновых положений, I, 19, 22, 23).

²⁶² См. прим. 253. Это слово было вырезано на стене библиотеки Монтеня.

²⁶³ Монтень основывается на Сексте Эмпирике (Три книги Пирроновых положений, I, 6).

²⁶⁴ «Бог наделил нас не знанием этих вещей, а умением пользоваться ими» (Цицерон. О гадании, I, 18).

²⁶⁵ Весь этот абзац почерпнут у Цицерона (Академические вопросы, II, 31, 33, 34).

²⁶⁶ Экклезиаст, V, 17.

²⁶⁷ «Господь знает мысли человеческие, ибо они суетны» (Псалом, XCIII, 11).

²⁶⁸ «Что ученые скорее предполагают, чем знают» (откуда взята цитата, неизвестно).

²⁶⁹ Платон. Тимей.

²⁷⁰ Имеется в виду Цицерон.

²⁷¹ «Объясню, как смогу: но не буду говорить ничего окончательного и определенного, подобно оракулу Аполлона, а, будучи всего лишь слабым смертным, укажу только правдоподобные предположения» (Цицерон. Тускуланские беседы, I, 9).

²⁷² «Если, рассуждая о природе богов и происхождении вселенной, мы не достигнем желанной нашему уму цели, то в этом нет ничего удивительного. Ведь следует помнить, что и я, говорящий, и вы, судьи, наделены всего лишь человеческой природой, так что, если наши соображения будут правдоподобны, не следует стремиться ни к чему большему» (Платон. Тимей, 3; в цитате у Цицерона).

²⁷³ Приводимое в тексте см. Плутарх. Застольные беседы, VIII, 10.

²⁷⁴ «Те, кто хотят узнать, что мы думаем о всякой вещи, более любопытны, чем нужно. Вплоть до настоящего времени все еще процветает в философии тот метод, созданный Сократом, воспринятый Аркесилаем и подтвержденный Карнеадом, который состоит в том, чтобы все критиковать и никогда не высказывать

безусловных суждений. Мы полагаем, что во всякой истине всегда есть нечто ложное и что сходство между истиной и ложью столь велико, что нет такого отличительного признака, на основании которого можно было бы судить наверняка» (Цицерон. О природе богов, I, 5).

²⁷⁵ Клитомах — см. прим. 252. Карнеад не оставил никаких сочинений; его учение изложил Клитомах. — Приводимое в тексте см. Цицерон. Академические вопросы, II, 45.

²⁷⁶ «Темный». — См. Цицерон. О высшем благе и высшем зле, II, 5.

²⁷⁷ «Стяжавший себе славу [т. е. Гераклит] среди невежд темной своей языком. Ибо глупцы дивятся и встречаются с любовным почтением все, что видят скрытым под загадочными выражениями» (Лукреций. О природе вещей, I, 640).

²⁷⁸ Цицерон. Об обязанностях, I, 6.

²⁷⁹ Монтень опирается здесь на Диогена Лаэртца, II, 92.

²⁸⁰ Это приводится у Диогена Лаэртца, VIII, 32.

²⁸¹ Монтень почерпнул это у Плутарха (Противоречия философов-стоиков, 25), но, вследствие ошибки памяти, приписал Хрисиппу как раз обратное тому, что говорится о нем у Плутарха.

²⁸² Плутарх. Жизнеописание Александра Македонского, 2.

²⁸³ «Я мало ценю те науки, которые ничего не сделали для добродетели ученых» [Саллюстий. Югуртинская война. 85 (речь Мария)].

²⁸⁴ Приводимое в тексте см. Секст Эмпирик. Три книги Пирроновых положений, I, 33.

²⁸⁵ Монтень опирается здесь на Сенеку (Письма, 88).

²⁸⁶ Монтень имеет в виду утверждение Диогена Лаэртца в его жизнеописании Сократа (в конце).

²⁸⁷ Платон. Феэтет.

²⁸⁸ Монтень имеет в виду Цицерона (Академические вопросы, II, 5).

²⁸⁹ Эврипид в цитате у Плутарха: Об упадке оракулов, 50 (во французском переводе Амю).

²⁹⁰ Эмпедокл — см. прим. 12 к гл. I. — Это изречение Эмпедокла приводится у Цицерона (Академические вопросы, II, 5), а также у Секста Эмпирика (Против математиков).

²⁹¹ «Помышления смертных боязливы, и мысли наши ошибочны» (Премудрость Соломона, IX, 14).

²⁹² Приводимое в тексте см. Сенека. Письма, 88.

²⁹³ Этот случай приводится у Плутарха (Застольные беседы, I, 10).

²⁹⁴ «Лучше изучить лишнее, чем ничего не изучить» (Сенека. Письма, 88).

²⁹⁵ Цицерон. Академические вопросы, II, 41.

²⁹⁶ Евдокс Книдский (408—355 гг. до н. э.) — известный древнегреческий математик и астроном; основал в своем родном городке Книде (Малая Азия) школу математиков и астрономов, сыгравшую крупную роль в истории греческой

науки. — Приводимое в тексте см. Плутарх. О том, что, придерживаясь учения Эпикура, нельзя было бы жить безмятежно, 8.

²⁹⁷ «Каждый сообразует их [эти учения] с требованиями своего ума, вместо того чтобы сообразовать их с требованиями науки» (Сенека Старший. Контроверзы, IV, 3).

²⁹⁸ Монтень опирается на Диогена Лаэртца, III, 80.

²⁹⁹ Платон. Законы, VII, 9.

³⁰⁰ Платон. Государство, V.

³⁰¹ Так называемая «Новая» Академия — все четыре послеплатоновские академии (см. прим. 248).

³⁰² «Они, кажется, не столько заботились о достоверности, сколько хотели поупражнять свой ум на трудном предмете» (неизвестно, кому принадлежит это изречение).

³⁰³ Здесь и на последующих страницах Монтень раскрывает свое подлинное отношение к религии, ясно показывающее, что он решительно отошел от католической ортодоксии. Подробнее об этом см. во вступительной статье к т. I «Опытов».

³⁰⁴ «Всемогущий Юпитер, отец и вместе с тем мать вещей, царей и богов» (Валерий Сориан в цитате у Августина: О граде божием, VII, 9).

³⁰⁵ Достоин внимания смелое замечание Монтеня о том, что все правительства эксплуатируют благочестие верующих. Весь этот абзац цитирует в своем «Завещании» утопический коммунист и философ-атеист начала XVIII в. Жан Мелье.

³⁰⁶ Деяния апостолов, XVII, 23.

³⁰⁷ Монтень опирается здесь на Плутарха (Жизнеописание Нумы, 11). — Нума Помпилий (715—673 гг. до н. э.) — согласно преданиям, второй (после Ромула) царь древнего Рима; ему приписывается установление гражданских и религиозных законов древнего Рима. Чтобы связать греческие культы южной Италии с ранней римской религией, Нуму объявили, вопреки хронологии, учеником Пифагора.

³⁰⁸ Монтень здесь вновь подчеркивает одурманивающее действие религии и то, что ее используют в своих целях все правительства.

³⁰⁹ Ронсар. Обращение к французскому народу (перевод Н. Я. Рыковой).

³¹⁰ При рассмотрении излагаемых здесь вопросов, касающихся языческой теологии, Монтень опирается на Цицерона (О природе богов, I, 10—12). — Анаксимандр Милетский (610—547 гг. до н. э.) — древнегреческий философ и ученый, система которого является одной из первых попыток научно, без помощи религии, объяснить возникновение мира. Первоначальной основой всего существующего, первоначальной материей, является *ἄπειρον* — «беспредельное». Согласно Анаксимандру, возникновение не только нашего мира, но и бесчисленных других, одновременно существующих миров, и их разрушение чередуются между собой до бесконечности; возникновение и разрушение мира все время повторяются, чередуясь между со-

бой. Анаксимандр утверждал также существование бесчисленных миров. — Анаксимен Милетский (VI в. до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Анаксимандра, стихийный материалист. — Анаксагор — см. прим. 54.

³¹¹ Алкмеон Кротонский (VI в. до н. э.) — древнегреческий врач и философ, основатель анатомии и физиологии.

³¹² Парменид (VI—V вв. до н. э.) — древнегреческий философ, виднейший представитель элейской школы; свое философское учение, направленное против диалектических взглядов Гераклита, изложил в дидактической поэме «О природе». Изменчивым и многообразным явлениям природы Парменид противопоставлял единое, однородное, неподвижное и неизменное бытие, которое безначально и вечно.

³¹³ Протагор (ок. 485—415 гг. до н. э.) — один из наиболее ранних софистов, автор известного положения: «человек — мера всех вещей». Предание об осуждении Протагора афинским судом, приговорившим его к смертной казни, за сомнение в существовании богов не соответствует действительности.

³¹⁴ «Образы» — особый термин в учении Демокрита. Для объяснения ощущений и мышления Демокрит развил намеченную Эмпедоклом теорию эманаций, согласно которой от всех сложных тел непрерывно отделяются тончайшие слои атомов, несущиеся с величайшей скоростью во всех направлениях. Эти постоянно исходящие от вещей их «образы» проникают в человеческий организм и вызывают деятельность его органов чувств и мышления, порождая зрительные, слуховые и другие ощущения, а также представления и мысли.

³¹⁵ Спевсипп (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ, преемник Платона в Академии (347—339 гг. до н. э.).

³¹⁶ Ксенократ из Халкедона (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Платона и его преемник в Академии (339—314 гг. до н. э.).

³¹⁷ Гераклид Понтийский (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ и историк из Гераклеи на Понте (Черном море), был учеником Платона и Спевсиппа. Наиболее ценным вкладом в науку является его молекулярная теория и его астрономические идеи, отчасти предвосхищавшие систему Коперника.

³¹⁸ Теофраст (371—285 гг. до н. э.) — древнегреческий философ и ученый, возглавлявший после смерти Аристотеля перипатетическую школу в Афинах. Из его многочисленных сочинений по разным отраслям знания наибольшее значение имеют его работы по ботанике.

³¹⁹ Стратон Лампсакский (ум. 270 г. до н. э.) — древнегреческий философ аристотелевской школы; разрабатывал главным образом физическое учение Аристотеля (за что был прозван «физиком») и его учение о душе в материалистическом направлении.

³²⁰ Диоген Аполлонийский (V в. до н. э.) — древнегреческий философ, эклектик, пытавшийся сочетать учение Анаксимена с атомистикой Левкиппа и некоторые идеи Анаксагора, младшим современником которого он был.

³²¹ Ксенофан — см. прим. 253.

³²² Аристон Хиосский (III в. до н. э.) — основатель особого направления стоической школы.

³²³ Клеанф — см. прим. 112.

³²⁴ Персей (306—243 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-стоик, ученик основателя стоической школы — Зенона.

³²⁵ Диагор (V в. до н. э.) — лирический поэт, уроженец о. Мелоса; был приговорен за безбожие к смертной казни, но бежал. — Феодор — см. прим. 33. — Монтень опирается здесь на Цицерона (О природе богов, I, 23).

³²⁶ Приводимое в тексте см. Цицерон. О природе богов, II, 17.

³²⁷ «Я всегда полагал, что существует племя богов, имея в виду небесное племя, но не думаю, чтобы они [боги] интересовались делами людей» (Энний в цитате у Цицерона: О гадании, II, 50).

³²⁸ Критикуя античные религии, Монтень явно направляет свои стрелы и против христианского вероучения.

³²⁹ «Вещи, весьма далекие божественной природе и недостойные того, чтобы их приписывали богам» (Лукреций. О природе вещей, V, 123).

³³⁰ «Известны облик богов, их возраст, одежды, убранство; родословные, браки, родственные связи и все прочее перенесено на них по аналогии с человеческой немощью; нам изображают их испытывающими волнения; знаем же мы о страстях богов, об их болезнях, гнев» (Цицерон. О природе богов, II, 28).

³³¹ «К чему вводить в храм наши дурные нравы? О души, погрязшие в земных помыслах и неспособные мыслить возвышенно!» (Персий, II, 61).

³³² Это приводится у Августина (О граде божием, XVIII, 5).

³³³ Цицерон. Тускуланские беседы, I, 26.

³³⁴ Платон. Горгий (в конце); Государство, X.

³³⁵ «Тайные тропинки прячут их, и миртовый лес прикрывает кругом; сама смерть не избавляет их от забот» (Вергилий. Энеида, VI, 443).

³³⁶ Апостол Павел. I послание к коринфянам, II, 9.

³³⁷ «Гектором был тот, кто воевал, но тот, кого влекли кони Ахиллеса, не был больше Гектором» (Овидий. Скорбные стихотворения, III, 11, 27).

³³⁸ «Что меняется, то разрушается и, следовательно, гибнет: ведь части смещаются и выходят из строя» (Лукреций. О природе вещей, III, 756).

³³⁹ Монтень имеет в виду неоплатоника Порфирия (233—305), в своих комментариях к Платону исправлявшего в этом месте Платона. — См. Августин. О граде божием, X, 30.

³⁴⁰ Плиний Старший. Естественная история, X, 2.

³⁴¹ В приводимой на этих страницах полемике с Платоном Монтень решительно отвергает, в разрез с католическим вероучением, бессмертие души. Это было большой смелостью со стороны Монтеня; достаточно вспомнить, что за подобное высказывание («После смерти ты не будешь больше ничем»), которое здесь почти в тех же выражениях повторяет Монтень, Этьен Доле был обвинен в атеизме и сожжен в Париже на костре в 1546 г.

³⁴² «Да и если бы после смерти вещество нашего тела было вновь собрано временем и приведено в нынешний вид и если бы нам дано было вторично явиться на свет, то это все-таки не имело бы для нас никакого значения, так как память о прошлом была бы у нас уже прервана» (Лукреций. О природе вещей, III, 859).

³⁴³ Это приводит Плутарх (О лице, видимом на диске луны, 28).

³⁴⁴ «Вырванный из орбиты и находящийся вне тела глаз не в состоянии узреть никакого предмета» (Лукреций. О природе вещей, III, 563).

³⁴⁵ «Тут наступил перерыв бытия, при котором прекратилась деятельность чувств» (Лукреций. О природе вещей, III, 859).

³⁴⁶ «Это не имело бы значения для нас, поскольку мы спаяны воедино узами души и тела, их союзом» (Лукреций. О природе вещей, III, 875).

³⁴⁷ Плутарх. Почему божественное правосудие иногда отсрочивает наказание злодеяний, 4.

³⁴⁸ Тиберий Семпроний Гракх (ум. 154 г. до н. э.) — римский консул 177 г. до н. э., отец народных трибунов Тиберия и Гая Гракхов; с необычайной жестокостью покорил в 177 г. до н. э. Сардинию (см. Тит Ливий, XI, 1, 16) и в качестве консула получил управление ею.

³⁴⁹ Павел Эмилий (ум. 160 г. до н. э.) — выдающийся римский полководец; будучи вторично избран консулом, в 168 г. до н. э. закончил завоевание Македонии (см. Тит Ливий, XIV, 33).

³⁵⁰ Имеется в виду поход Александра Македонского в 327 г. до н. э. в западную Индию. — Фетида — божество водной стихии, супруга Океана. — Монтень опирается на Диодора Сицилийского (XVII, 104), хотя у последнего ничего не говорится о человеческих жертвоприношениях.

³⁵¹ «Он [Эней] схватил четырех юношей, сыновей Сульмоны, и еще четырех сыновей Уфента, чтобы принести их живыми в жертву теням преисподней» (Вергилий. Энеида, X, 517).

³⁵² Геты — древнее племя, жившее во Фракии. — Салмоксис — божество гетов. — Приводимое сообщение о гетах почерпнуто Монтенем у Геродота, IV, 94.

³⁵³ Здесь у Монтеня неточность: Амстрида была женой, а не матерью Ксеркса. — Приводимое сообщение см. Геродот, VII, 114.

³⁵⁴ «Вот к каким злодеяниям побуждала религия» (Лукреций. О природе вещей, I, 102).

³⁵⁵ Приводится у Плутарха (О суеверии, 13).

³⁵⁶ Этот пример почерпнут у Плутарха [Изречения лакедемонян (в конце)].

³⁵⁷ Ифигения — дочь легендарного царя Агамемнона, верховного вождя греков в Троянской войне, и Клитемнестры. По преданию, Ифигения была обречена на заклание, чтобы умилостивить богов и ниспослать успех греческому войску, но богиня Артемида сжалилась над ней и заменила ее ланью, а Ифигению унесла в Тавриду, где она стала жрицей.

³⁵⁸ «Непорочная дева, стоящая у самого порога брака, преступно приносится отцом в жертву» (Лукреций. О природе вещей, I, 98).

³⁵⁹ Деции — имеются в виду отец и сын; и тот и другой назывались Публий Деций Мус. Согласно легенде, оба они, будучи в разное время консулами (IV в. до н. э.), добровольно пожертвовали жизнью в сражениях ради отечества.

³⁶⁰ «Поэтому боги были весьма несправедливы, если их нельзя было умилостивить на пользу римского народа иначе, как убийством столь добродетельных мужей» (Цицерон. О природе богов, III, 6).

³⁶¹ Поликрат — правитель о. Самоса в Греции (527—522 гг. до н. э.). — Приводимое в тексте см. Геродот, III, 41—42.

³⁶² Корибанты — жрецы богини Кибелы во Фригии, предававшиеся экстатическому культу, связанному с самоистязанием. — Менады (т. е. неистовствующие) — другое название вакханок, служительниц бога Вакха (Диониса) и участниц празднеств в его честь (вакханалий).

³⁶³ «Таково уж неистовство их расстроенного и сбитого с толку ума, что в угоду богам они совершают такие зверства, каких не делают промеж себя даже люди» (Августин. О граде божием, VI, 10).

³⁶⁴ «Чем же бояться прогневать богов те, кто рассчитывает таким способом расположить их к себе? Бывало, что некоторых людей оскопляли в угоду царскому распутству, но никто по приказу господина не брал сам в руки нож, чтобы перестать быть мужчиной» (Августин. О граде божием, VI, 10).

³⁶⁵ «Религия нередко порождала преступные и нечестивые деяния» (Лукреций. О природе вещей, I, 83).

³⁶⁶ «Немудрое божие мудрее людей и немощное божие сильнее людей» (Апостол Павел. I послание к коринфянам, I, 25).

³⁶⁷ Стильпон — см. прим. 20 к гл. II. — Приводимое в тексте см. Диоген Лаэртский, II, 117.

³⁶⁸ «Все сущее, вместе с небом, землей и морем, ничто по сравнению с целой вселенной» (Лукреций. О природе вещей, VI, 679).

³⁶⁹ «Земля, солнце, луна, море и все прочие вещи не единственны, но существуют, надо думать, в неисчислимом множестве» (Лукреций. О природе вещей, II, 1085).

³⁷⁰ «Нет во вселенной ни единой вещи, которая могла бы возникнуть и расти одна» (Лукреций. О природе вещей, II, 1077).

³⁷¹ «Следует признать, что где-то должны существовать другие скопления материи, сходные с теми, которые цепко держит эфир» (Лукреций. О природе вещей, II, 1064).

³⁷² Платон. Тимей.

³⁷³ В том числе христианский богослов и философ Ориген (185—245). — См. Августин. О граде божием, X, 29 и XIII, 16.

³⁷⁴ Монтень опирается здесь на Диогена Лаэртца, IX, 44.

³⁷⁵ Приводимое в тексте см. Диоген Лаэртский, X, 85.

³⁷⁶ Т. е. не знали употребления ни вина, ни хлеба.

³⁷⁷ Приводимые ниже примеры почерпнуты из III и IV книг Геродота, а также из VII и VIII книг Плиния Старшего (Естественная история). Но и Геродот и Плиний ставят под сомнение большинство этих сообщений.

³⁷⁸ Плутарх. О лице, видимом на диске луны; Плиний Старший. Естественная история, VII, 2.

³⁷⁹ Древнейшие греческие философы учили, что материальный мир состоит из четырех стихий, или элементов, — воды, земли, воздуха и огня. Пифагорейцы присоединили к ним еще пятую стихию (по-латыни *quinta essentia*) — эфир, как особенно тонкий вид материи. В средние века слово «квинтэссенция» стало означать вообще всякий неведомый вид материи, более духовный, чем материальный, и обладающий необычайными свойствами.

³⁸⁰ Анаксагор, опровергая положение «снег бел», указывал на то, что «снег есть затвердевшая вода, а вода черна, следовательно, и снег черен». См. Секст Эмпирик. Три книги Пирроновых положений, I, 13.

³⁸¹ Метродор Хиосский — см. прим. 29 к гл. II. — Приводимое в тексте см. Цицерон. Академические вопросы, II, 23.

³⁸² Это изречение Эврипида приводит Секст Эмпирик (Три книги Пирроновых положений, III, 24), а также Диоген Лаэртский (IX, 73) и другие авторы. Перевод (приблизительный) двустушия Эврипида Монтень дает перед тем, как процитировать его в подлиннике.

³⁸³ Мелис Самосский (V в. до н. э.) — древнегреческий философ, последний из значительных представителей элейской школы, известный также и как политический деятель.

³⁸⁴ Платон. Феэтет.

³⁸⁵ Навсифан (род. 360 г. до н. э.) — древнегреческий философ, учитель Эпикура. Навсифан был последователем Демокрита, и через него существенные части учения Демокрита перешли к Эпикуру. — Парменид — см. прим. 312.

³⁸⁶ Приводимое в тексте см. Сенека. Письма, 88.

³⁸⁷ См. Сенека. Письма, 88; Цицерон. Академические вопросы, II, 37.

³⁸⁸ *Nos est corpus meum* — «сие есть тело мое» — сакральная формула, произносимая во время католической литургии в момент, когда кусочек освященного хлеба превращается якобы в тело Иисуса Христа («евхаристия»). По поводу смысла и характера этого «тайнства» между католиками и протестантами велись ожесточенные споры. Иронические замечания Маркса по поводу этих препирательств см.: К. Маркс. Хронологические выписки. «Архив Маркса и Энгельса», VII, стр. 191—192.

³⁸⁹ Это так называемый софизм «лжеца», гласящий: «Если кто лжет и сам утверждает, что лжет, то лжет ли он в этом случае или говорит правду?»

³⁹⁰ Приводимое в тексте см. Диоген Лаэртский, IX, 76.

³⁹¹ См. Секст Эмпирик. Три книги Пирроновых положений, I, 28.

³⁹² Об этом девизе Монтеня и о характере скептицизма Монтеня, который

являлся для него средством борьбы с реакционным церковно-феодалным мировоззрением и со всяким догматизмом, см. Монтень. Опыты, т. I. Вступительная статья.

³⁹³ Имеются в виду споры католиков с протестантами по поводу «евхаристии» (см. прим. 388).

³⁹⁴ Имеется в виду Плиний Старший (Естественная история, II, 7).

³⁹⁵ «Пусть завтра Юпитер покроет небо черной тучей или наполнит его сияющим солнцем: не в его власти повернуть назад то, что свершилось, или отменить и сделать небывшим то, что унесло с собой быстротекущее время» (Гораций. Оды, III, 29, 43).

³⁹⁶ «Поразительно видеть, до чего доходит бессовестность человека, влекомого самой ничтожной выгодой» (Плиний Старший. Естественная история, II, 21).

³⁹⁷ Приводимое в тексте см. Сенека. Письма. 32.

³⁹⁸ Имеется в виду древнехристианский апологет Тертуллиан (160—225).

³⁹⁹ «Боги заботятся о важных делах и не пекутся о малых» (Цицерон. О природе богов, II, 66).

⁴⁰⁰ «Государи не вдаются в самые незначительные дела своего управления» (Цицерон. О природе богов, III, 35).

⁴⁰¹ «Бог такой же великий мастер как в большом, так и в малом» (Августин. О граде божием, XI, 22).

⁴⁰² Стратон — см. прим. 319. — Приводимое в тексте см. Цицерон. Академические вопросы, II, 38.

⁴⁰³ «Блаженное и вечное существо само не имеет никаких обязанностей и ни на кого их не налагает» (Цицерон. О природе богов, I, 17). Эти слова принадлежат Эпикуру.

⁴⁰⁴ Приводимое в тексте см. Цицерон. О гадании, I, 57.

⁴⁰⁵ Апостол Павел. Послание к римлянам, I, 22—23.

⁴⁰⁶ Следующие за этим примеры Монтень почерпнул у Геродиана [Римская история, кн. IV (во французском переводе Бюшона)].

⁴⁰⁷ Явная ирония со стороны Монтеня: Фаустина, жена императора Марка Аврелия, была известна своим распутством.

⁴⁰⁸ «Боятся того, что сами выдумали» (Лукан, I, 486).

⁴⁰⁹ «Есть ли кто несчастнее человека, ставшего рабом своих собственных измышлений?»

⁴¹⁰ Приводимое в тексте см. Плутарх. Изречения лакедемонян.

⁴¹¹ Трисмегист — «трижды величайший». В эллинистическом Египте греческий бог Гермес (вестник богов) был отождествлен с египетским богом науки и магии Тотом и стал называться «Гермесом Трисмегистом». Этот Гермес Трисмегист — но уже не как бог, а как пророк — считался автором магическо-астрономического сборника, появившегося в Египте около II в. н. э.; излагавшиеся в нем учения известны под названием «герметической философии». — Приводимое в тексте см. Августин. О граде божием, VIII, 24.

⁴¹² «Кому лишь одному дано познать богов и небесные силы или не познать их» (Лукан, I, 452).

⁴¹³ Все приводимые ниже аргументы почерпнуты у Цицерона (О природе богов, II, 6—12 и III, 13—14).

⁴¹⁴ «Нет, хоть лопни! — ответил» (Гораций. Сатиры, II, 3, 319).

⁴¹⁵ «Когда они думают о боге, которого не в состоянии постигнуть, то в действительности думают о самих себе, а не о нем; они сравнивают его не с ним же, а с собой» (Августин. О граде божием, XII, 15).

⁴¹⁶ Монсенис — одна из горных вершин в Альпах.

⁴¹⁷ Случай, описанный у Иосифа Флавия (Иудейские древности, XVIII, 4).

⁴¹⁸ Это сообщение приводится у Августина (О граде божием, VI, 7).

⁴¹⁹ Аристон — имя отца Платона, происходившего из знатного афинского рода; Периктиона — имя матери Платона. Приводимая Монтенем версия происхождения Платона почерпнута у Диогена Лаэртца, III, 1.

⁴²⁰ «... ради детей», т. е. чтобы дети могли хвалиться своим «божественным» происхождением.

⁴²¹ Мерлин — легендарный волшебник и пророк древних бритов, живший будто бы в V в. н. э. и родившийся без отца.

⁴²² Монтень опирается здесь на труд своего современника Гильома Постеля, путешествовавшего по восточным странам (См.: G. Postel. Histoires orientales. Paris, 1560, стр. 109).

⁴²³ Приводится у Цицерона (О природе богов, I, 27).

⁴²⁴ Приводится у Цицерона (О природе богов, I, 18).

⁴²⁵ «Таковы привычка и предубеждение нашего ума, что если человек начнет размышлять о боге, то представляет себе его в виде человека» (Цицерон. О природе богов, I, 27).

⁴²⁶ Ксенофан — см. прим. 253.

⁴²⁷ Монтень здесь и дальше явно издевается над ортодоксально-католическими телеологическими взглядами, согласно которым мир существует для человека и человек есть центр мироздания. Приводимое рассуждение — одна из ярких иллюстраций борьбы Монтеня против традиционно-католических верований.

⁴²⁸ «Насколько природа — ласковая примирительница, насколько она благоприятствует тому, что ею создано!» (Цицерон. О природе богов, I, 27).

⁴²⁹ «Сыновья Земли, от которых, трепеща, ждал гибели дом древнего Сатурна, были укрощены рукой Геракла» (Гораций. Оды, II, 12, 6).

⁴³⁰ «Здесь Нептун своим великим трезубцем потрясает стены и основания, разрушая весь город до самой основы. Там беспощадная Юнона первая завладевает Скейскими воротами» (Вергилий. Энеида, II, 610).

⁴³¹ Кавнии — одно из критских племен. — Это сообщение приводит Геродот (I, 172).

⁴³² «Так суеверие связывает богов с самыми ничтожными делами» (Тит Ливий, XXVII, 23).

⁴³³ «Здесь были ее [Юноны] оружие и колесница» (Вергилий. Энеида, I, 16).

⁴³⁴ «О святой Аполлон, обитающий в самом центре вселенной» (Цицерон. О гадании, II, 56).

⁴³⁵ «Афиняне чтят Палладу, миносский Крит — Диану, Лемнос — Вулкана, Спарта и Микены — Юнону, Менал — увитую листьями голову Пана; Марса же почитают в Лациуме» (Овидий. Фасты, III, 81).

⁴³⁶ «Храм внука соединен с храмом знаменитого предка» (Овидий. Фасты, I, 294).

⁴³⁷ Приводится у Гесиода: Труды и дни, 252, где говорится о тридцати тысячах богов. Дальнейшее почерпнуто Монтенем у Августина (О граде божием, IV, 27), цитирующего Варрона.

⁴³⁸ «Так как мы не считаем их еще достойными неба, то позволим им по крайней мере обитать на дарованных им землях» (Овидий. Метаморфозы, I, 194).

⁴³⁹ Приводится у Плутарха (О распространенных взглядах, 27).

⁴⁴⁰ «Крит — колыбель Громовержца» (Овидий. Метаморфозы, VIII, 99).

⁴⁴¹ Публий Муций Сцевола — римский правовед, консул 133 г. до н. э., в том же году — верховный понтифик; Цицерон называет Сцевола основателем науки гражданского права. — Приводимые высказывания Сцеволы и Варрона приводятся у Августина (О граде божием, IV, 27 и 31).

⁴⁴² «В то время как он ищет истину, которая открыла бы ему все пути, мы считаем, что ему лучше обманываться» (Августин. О граде божием, IV, 31).

⁴⁴³ Фаэтон — сын бога солнца Аполлона. Не справившись с конями огненной колесницы своего отца, он упал на землю и разбился на смерть.

⁴⁴⁴ Об этом учении Анаксагора см. прим. 54.

⁴⁴⁵ Приводится у Цицерона (О природе богов, II, 22).

⁴⁴⁶ Архимед (287—212 гг. до н. э.) — величайший древнегреческий математик и механик, которого Энгельс называет одним из представителей «точного и систематического исследования» в древности.

⁴⁴⁷ Это приводится у Ксенофонта (Воспоминания о Сократе, IV, 7, 2). — Полиэн Лампсакский — один из виднейших учеников Эпикура. Говоря о «сладких плодах», которые Полиэн вкусил, познакомившись с учением Эпикура, Монтенем имеет в виду отношение Эпикура к чувственному познанию. Эпикур не отрицал его, но ограничивал, считая, что вследствие своей неточности оно не может дать истинного познания.

⁴⁴⁸ Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, IV, 7, 7. См. также прим. 54 об астрономических взглядах Анаксагора.

⁴⁴⁹ «Демоны» здесь в смысле духи, гении, руководящие действиями людей, хранителями которых они являются.

⁴⁵⁰ «Дышло и ободья вокруг больших колес были золотые, а спицы серебряные» (Овидий. Метаморфозы, II, 107).

⁴⁵¹ Платон. Государство, X, 12. Употребляемый Платоном образ «веретена необходимости» — эмблема системы звездного мира; отливающие разными цветами

небесные тела представляют собой, по объяснению комментаторов Платона, различные отблески планет.

⁴⁵² «Мир — это гигантский дом, опоясанный пятью зонами, из которых каждая имеет особое звучание, и пересеченный поперек каймой, украшенной двенадцатью знаками из сияющих звезд, и увенчанный упряжью луны» (стихи Варрона, приводимые Валерием Пробом в его комментариях к VI эклоге Вергилия).

⁴⁵³ Платон. Алкивиад второй. Монтень, введенный в заблуждение Марсилио Фичино, в переводе которого он пользовался Платоном, неточно передает мысль Платона.

⁴⁵⁴ «Все эти вещи скрыты и погружены в глубокий мрак, и нет столь пронизательного человеческого ума, который смог бы проникнуть в тайны неба и земли» (Цицерон. Академические вопросы, II, 39).

⁴⁵⁵ Тимон Флунтский (320—230 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-скептик, ученик Пиррона. Тимон писал не только философские трактаты, но и ямбы, и эпические поэмы, и комедии. Приводимое в тексте содержится в его сатире («Силлы») на разных философов, встреченных им в загробном мире. У Тимона говорится о «фантастических измышлениях» Платона (см. Диоген Лаэртский, III).

⁴⁵⁶ Платон. Тимей.

⁴⁵⁷ Это сравнение приводится у Платона [Критий (в начале)].

⁴⁵⁸ Приводится у Платона в «Феэтите». По Платону, однако, служанка Фалеса была не из Милета, а из Фракии; к тому же в рассказе Платона не говорится ничего о том, будто она бросила что-то под ноги Фалесу, чтобы он споткнулся.

⁴⁵⁹ «Никто из исследующих беспредельность небесного свода, не смотрит на то, что у него под ногами» (Цицерон. О гадании, II, 18). Приведенные слова выражают мысль не Демокрита, а самого Цицерона и как раз направлены против Демокрита.

⁴⁶⁰ Платон. Феэтет.

⁴⁶¹ Здесь явная ирония со стороны Монтеня, ибо на несостоятельность доводов Раймунда Сабундского указывает прежде всего он сам, разоблачая их на протяжении всей этой обширной главы.

⁴⁶² «Что укрощает море и регулирует год; блуждают ли звезды по своей воле или движение их предопределено; почему серп луны то растет, то убывает; к чему стремятся и на что способны гармония и раздор в мире?» (Гораций. Послания, I, 12, 16).

⁴⁶³ «Все эти вещи сокрыты от нас вследствие слабости нашего ума и величия природы» (Плиний Старший. Естественная история, II, 37).

⁴⁶⁴ «Ведь способ, каким соединяются души с телами, весьма поразителен и решительно непонятен для человека; а между тем это и есть сам человек» (Августин. О граде божием, XXI, 10).

⁴⁶⁵ Клавдий Гален (129—200) — римский врач и естествоиспытатель, величайший теоретик античной медицины.

⁴⁶⁶ Для передового, прогрессивного мировоззрения Монтеня характерно его отрицательное отношение к Аристотелю, но не к подлинному Аристотелю, а к искаженному католической церковью, «Аристотелю с тонзурой», как остроумно называет его Герцен. Борьба с аристотелизмом была для Монтеня борьбой со схоластикой; недаром Монтень называет Аристотеля богом схоластической науки. В этой борьбе Монтень имел сподвижником и соратником своего выдающегося современника, Петра Рамуса, аргументацию которого против Аристотеля он использует и продолжает.

⁴⁶⁷ Согласно идеалистическому учению Платона, «идеи» — это прообразы чувственных вещей, вечные, неизменные и не зависящие от условий пространства и времени, в то время как чувственные вещи непрерывно изменяются, возникают и погибают, а потому лишены истинного существования. — Основатель древнегреческой атомистики Левкипп и его гениальный ученик Демокрит (см. прим. 187) признавали наряду с материей (бытием) самостоятельное существование пустого пространства (небытия). Бытие — «полное», небытие — «пустое». — Согласно Фалесу, вода есть начало всего; из нее возникают все вещи и в нее они в конце концов разрешаются. — Об Анаксимандре см. прим. 310. — О Диогене Аполлонийском см. прим. 320. — «Бесконечное» Парменида — см. прим. 312. — Мусэй — невозможно определить, какого Мусэя Монтень имел в виду. — На основании одного этого упоминания об Аполлодоре нельзя определить, какого Аполлодора Монтень имел в виду. — О частицах Анаксагора см. прим. 54. — Согласно учению Эмпедокла, вещества периодически соединяются и разъединяются под действием двух основных сил: любви, как принципа соединения, и раздора, как принципа разъединения веществ. В соответствии с этим возникают и распадаются образующие мир тела-вещества. — Согласно учению Гераклита, первоосновой мира является огонь.

⁴⁶⁸ Ср. Аристотель. Физика, 216. В своей критике аристотелевской физики Монтень примыкает к Рамусу.

⁴⁶⁹ Термин филодоксы («любители мнений») Платон применяет в самом конце V книги «Государства», обозначая им людей, которые «обо всем мнят, не зная того, о чем имеют мнение», в отличие от истинных любителей мудрости — философов. Последние любят то, что знают, филодоксы же — то, о чем имеют мнение.

⁴⁷⁰ Согласно мифу, богиня мудрости и наук Афина Паллада родилась, выйдя в полном вооружении из головы Зевса.

⁴⁷¹ «Природа души неизвестна, неизвестно, рождается ли она вместе с телом или потом внедряется в тех, кто родился, погибает ли она вместе с нами, разлученная смертью, спускается ли она во тьму к Орку и в пустынные пространства или же по воле богов вселяется в других животных» (Лукреций. О природе вещей, I, 113).

⁴⁷² Кратет — см. прим. 223. — Дикеарх Мессенский — древнегреческий философ, историк и географ (IV в. до н. э.), ученик Аристотеля, современник и друг Феофраста. — Асклепад Вифинский (I в. до н. э.) — знаменитый врач и естествоиспытатель.

⁴⁷³ «Он изрыгнул свою кровавую душу» (Вергилий. Энеида, IX, 349).

⁴⁷⁴ «Она [душа] обладает огненной силой и имеет небесное происхождение» (Вергилий. Энеида, VI, 730).

⁴⁷⁵ «Телу присуще некое жизненное состояние, которое греки называют гармонией» (Лукреций. О природе вещей, III, 100).

⁴⁷⁶ Энтелехией Аристотель называет осуществление в противоположность возможности. Душу Аристотель называет первой энтелехией организма.

⁴⁷⁷ «Какое из этих мнений истинно, ведомо одному только богу» (Цицерон. Тускуланские беседы, I, 11).

⁴⁷⁸ Бернард Клервоский (1091—1153) — французский церковный деятель, вождь воинствующей католической партии, враг Абельяра; Монтень имеет в виду его «Книгу о душе», гл. I.

⁴⁷⁹ Приводится у Диогена Лаэртция, IX, 7.

⁴⁸⁰ Герофил — выдающийся анатом древности; жил в Александрии в первой половине III в. до н. э.

⁴⁸¹ «Часто говорят, что хорошее здоровье заключено в теле, однако оно не составляет у здорового человека отдельной части» (Лукреций. О природе вещей, III, 103).

⁴⁸² «Там трепещут страх и ужас, в этом же месте бурлят радости» (Лукреций. О природе вещей, III, 142).

⁴⁸³ Это приводится у Плутарха (Мнения философов, IV, 5).

⁴⁸⁴ Эрасистрат — выдающийся врач древности, живший в Александрии в первой половине III в. до н. э., младший современник Герофила. — См. Бытие, IX, 4.

⁴⁸⁵ «Не следует даже доискиваться, какой вид имеет душа и где она обитает» (Цицерон. Тускуланские беседы, I, 28).

⁴⁸⁶ Приводится у Сенеки (Письма, 57).

⁴⁸⁷ Плутарх. Жизнеописание Тезея, вступление.

⁴⁸⁸ Приводится у Диогена Лаэртция (VI, 40).

⁴⁸⁹ Приводимая здесь и ниже критика эпикурейской физики взята у Цицерона (О природе богов, II, 12 и 37 и III, 9).

⁴⁹⁰ Платон. Алкивиад первый.

⁴⁹¹ «Нет величайшей нелепости, которая не была бы сказана кем-либо из философов» (Цицерон. О гадании, II, 58).

⁴⁹² При рассмотрении здесь учения Платона Монтень опирается на вторую часть его диалога «Тимей» и еще в большей степени на Диогена Лаэртция (III, 67).

⁴⁹³ «Солнце никогда не уклоняется от своего пути среди небесного свода, но своими лучами оно освещает все» (Клавдиан. На шестое консульство Гонория, 411).

⁴⁹⁴ «Остальная часть души рассеяна по всему телу и движется волею ума и по его повелению» (Лукреций. О природе вещей, III, 144).

⁴⁹⁵ «Бог наполняет все — земли, моря и бездонное небо; и стада, и все дикие звери, и люди, и все рождающиеся существа требуют от него немного жизни; а под

конец все, вновь распавшись, возвращается туда же, и для смерти не остается места» (Вергилий. Георгики, IV, 221).

⁴⁹⁶ «Доблесть твоего отца передалась тебе» (неизвестно, откуда Монтень черпнул эту цитату).

⁴⁹⁷ «Храбрых рожают люди храбрые и честные» (Гораций. Оды, IV, 4, 27).

⁴⁹⁸ «Наконец, почему свирепая лютость переходит по наследству к львиному роду; почему передается от отцов лисе — коварство, а оленям — приткость и отцовский страх, трепещущий в их членах? Несомненно, потому, что вследствие действия семени вместе с ростом всего тела развиваются и душевные свойства» (Лукреций. О природе вещей, III, 741 и 746).

⁴⁹⁹ См. Плутарх. Почему божественное правосудие иногда не сразу наказывает виновных, 19.

⁵⁰⁰ «Если душа внедряется в тело при рождении, то почему же в таком случае мы не помним о прошлой жизни, почему не сохраняем никаких воспоминаний о совершившихся раньше событиях?» (Лукреций. О природе вещей, III, 671).

⁵⁰¹ «Если же душа способна настолько измениться, что совершенно утрачивает память обо всем минувшем, то это, по-моему, мало отличается от смерти» (Лукреций. О природе вещей, III, 671).

⁵⁰² Платон. О государстве, X.

⁵⁰³ «Душа рождается вместе с телом, мы чувствуем, что она растет вместе с ним и одновременно стареет» (Лукреций. О природе вещей, III, 446).

⁵⁰⁴ «Мы видим, что душу можно точно так же врачевать, как и тело, и что она вполне поддается лечению» (Лукреций. О природе вещей, III, 509).

⁵⁰⁵ «Значит, природа души должна быть телесна, раз она страдает от оружия и телесных ударов» (Лукреций. О природе вещей, III, 176).

⁵⁰⁶ «Способности души помрачены... поражены и надломлены действием этого яда» (Лукреций. О природе вещей, III, 498).

⁵⁰⁷ «Душа поражена силой болезни, распространяющейся по всему телу, подобно тому как под напором неистового ветра волны бурлят и пенятся на поверхности бушующего моря» (Лукреций. О природе вещей, III, 491).

⁵⁰⁸ «Часто при болезнях тела душа помрачается и бывает охвачена безумием; а иногда под влиянием глубокой летаргии она впадает в непробудный сон; глаза смежаются и голова поникает» (Лукреций. О природе вещей, III, 464).

⁵⁰⁹ «Какое безумие — сочетать смертное с бессмертным, думать, что они могут чувствовать и действовать заодно! Что можно представить себе более различного и более не вяжущегося друг с другом! Сочетать смертное с бессмертным — не значит ли отдавать на волю бушующих бурь то, что пытались соединить?» (Лукреций. О природе вещей, III, 801).

⁵¹⁰ «Она погибает вместе с ним под бременем старости» (Лукреций. О природе вещей, III, 459).

⁵¹¹ «Он полагает, что во сне душа сжимается, как-то обмякает и умирает» (Цицерон. О гадании, II, 58).

⁵¹² «Так же как может болеть больная нога, между тем как голова может не испытывать никакого страдания» (Лукреций. О природе вещей, III, 111).

⁵¹³ Аристотель. Метафизика, II, 1.

⁵¹⁴ Цицерон. Тускуланские беседы, I, 16. — Ферекид Сиросский — см. прим. 170. — Тулл — имеется в виду Тулл Гостилий, по преданию, третий римский царь (673—642 гг. до н. э.).

⁵¹⁵ «Нам скорее обещают, чем доказывают столь приятную вещь» (Сенека. Письма, 102).

⁵¹⁶ Платон. Законы, X, 13.

⁵¹⁷ «Это мечты человека желающего, а не доказывающего» (Цицерон. Академические вопросы, II, 38).

⁵¹⁸ Нимврод — упоминаемый в Библии легендарный вавилонский царь, будто бы стремившийся подчинить себе всю землю и небо.

⁵¹⁹ «Погублю премудрость премудрых и разум разумных отвергну» (Апостол Павел. I послание к коринфянам, I, 1, 19).

⁵²⁰ «Само сокрытие пользы есть или испытание нашего смирения, или уничтожение гордости» (Августин. О граде божием, XI, 22). Монтень цитирует свой источник не вполне точно. У Августина сказано: не «сокрытие пользы», а «сокрытие истины».

⁵²¹ «Когда мы рассуждаем о бессмертии души, то немалую помощь нам оказывает единодушное мнение людей, боящихся или почитающих адских богов. Я использую это всеобщее мнение» (Сенека. Письма, 117).

⁵²² «Они признают, что наши души обладают такой же живучестью, как и вёроны, которые долговечны, но не бессмертны» (Цицерон. Тускуланские беседы, I, 31).

⁵²³ Сообщаемая в тексте легендарная генеалогия Пифагора приводится у Диогена Лаэртца (VIII, 4, 5), а также у Плутарха (О лице, видимом на диске луны, 28—30). — Эталид — один из сыновей Гермеса. — Эвфорб — один из участников Троянской войны.

⁵²⁴ «Верно ли отец, что некоторые возвышенные души возносятся на небо, а затем снова возвращаются в бранные тела? Откуда такая страстная жажда у этих несчастных?» (Вергилий. Энеида, VI, 719).

⁵²⁵ Ориген — см. прим. 373.

⁵²⁶ Варрон — см. прим. 174. — Приводимое в тексте см. Августин. О граде божием, XXII, 28.

⁵²⁷ Платон. Менон. — Пиндар (518—438 гг. до н. э.) — знаменитый древнегреческий лирический поэт.

⁵²⁸ Платон. Тимей.

⁵²⁹ «Не смешно ли думать, что и при любовных объятиях, и при рождении животных бессмертные души стоят в нетерпении на страже, ожидая смертного тела, и несметными толпами устремляются к нему и рвутся, чтобы занять первое место, поскорее водворившись в нем» (Лукреций. О природе вещей, III, 778).

⁵³⁰ Луис Вивес. Комментарий к «Граду божиему», IX, 11.

⁵³¹ Плутарх. Жизнеописание Ромула, 14.

⁵³² Архелай (V в. до н. э.) — древнегреческий философ, ученик и последователь Анаксагора — Аристоксен (род. ок. 360 г. до н. э.) — древнегреческий философ и теоретик музыки, ученик Аристотеля. — Сообщаемая здесь теория Архелая приводится у Диогена Лаэртца (II, 17).

⁵³³ «Как если бы тот, кто не знает свою собственную меру, мог знать меру какой-нибудь другой вещи!» (Плиний Старший. Естественная история, II, 1).

⁵³⁴ См. Диоген Лаэртций, I, 36.

⁵³⁵ Монтень здесь обращается к той высокопоставленной особе, для которой он якобы взялся написать весь этот обширный «опыт». В действительности же это была со стороны Монтеня мистификация. Огромный интерес в этом абзаце и в последующих представляют усиленно подчеркиваемые Монтенем предостережения против скептицизма, ясно показывающие, что скептицизм являлся для Монтеня лишь оружием в борьбе с реакционным церковно-феодалным мировоззрением.

⁵³⁶ Этот эпизод приводится у Геродота, III, 78. — Гобрий — знатный перс; Дарий — Дарий I Гистасп (521—486 гг. до н. э.), древнеперсидский царь из династии Ахеменидов. Вступление Дария на престол связано было с низложением самозванца (Лже-Смердиса), что имеется в виду в приводимом Монтенем примере.

⁵³⁷ Приводимый Монтенем пример почерпнут у Озорио [История Португалии (в переводе Гулара), XII, 23].

⁵³⁸ «При чрезмерной утонченности рискуешь впасть в ошибку».

⁵³⁹ Это недостоверное высказывание, приписываемое Эпикуру, приводится у Плутарха (Против Колота, 27).

⁵⁴⁰ Платон. Законы, IX.

⁵⁴¹ Имеются в виду протестантские теологи.

⁵⁴² «Те, кто связали и посвятили себя определенным, строго установленным учениям, вынуждены теперь защищать то, чего не одобряют» (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 2).

⁵⁴³ «Так размягчается на солнце гиметский воск и под нажимом большого пальца становится более податливым, принимая тысячи различных форм» (Овидий. Метаморфозы, X, 284).

⁵⁴⁴ Здесь перед нами одно из намеренных противоречий Монтеня, часто встречающихся на протяжении его «Опытов». Вначале, от слов «Феофраст утверждал...» и до слов «Человек столь же способен познать все...», Монтень высказывает свою подлинную мысль — убеждение в неуклонном развитии наук и искусств, в успехах человеческого разума. В дальнейшем же Монтень, чтобы отвлечь внимание блюстителей ортодоксии, нагромождает несколько чисто словесных оговорок.

⁵⁴⁵ «Нельзя понять одну вещь больше или меньше, чем другую, ибо есть только один способ понимания всякой вещи» (Цицерон. Академические вопросы, II, 41).

⁵⁴⁶ «Мульцибер [одно из имен Вулкана] ополчился на Троию. Апполон стоял за нее» (Овидий. Скорбные песни, I, 2, 5).

⁵⁴⁷ Это образное сравнение, примененное Демокритом, было повторено Цицероном (Академические вопросы, I, 12 и II, 10).

⁵⁴⁸ «Разуму нечего выбирать, если выбор нужно произвести между истинной и ложной видимостью» (Цицерон. Академические вопросы, II, 28).

⁵⁴⁹ «Позднее новое открывшееся мнение губит предшествующее и всегда меняет устарелые вкусы» (Лукреций. О природе вещей, V, 1413).

⁵⁵⁰ Катулл — см. прим. 7 к гл. X. — Саффо (род. 612 г. до н. э.) — выдающаяся древнегреческая лирическая поэтесса.

⁵⁵¹ Клеомен — имеется в виду спартанский царь Клеомен I (519—487 гг. до н. э.). — Приводимое в тексте см. Плутарх. Изречения лакедемонян.

⁵⁵² «Мысли людей меняются так же, как и свет, которым отец Юпитер озадряет плодоносные земли». Монтень приводит этот известный стих из Одиссея (XVIII, 136—137) в латинском переводе Цицерона.

⁵⁵³ Из этих слов видно, что Монтень на всем протяжении данной главы нападает не на человеческий разум вообще, а на ту искаженную схоластической выучкой разновидность его, которая сделала его «инструментом из свинца и воска». Естественный же человеческий разум, не испорченный предрассудками, Монтень не только признает, но и считает единственным нашим руководителем.

⁵⁵⁴ «Безучастен я стал и не хочу знать, какого царя страшатся в ледяных просторах севера и чего боится Тиридат» (Гораций. Оды, I, 26, 3).

⁵⁵⁵ «Подобно углу суденышку, застигнутому в открытом море неистовым ветром» (Катулл. Эпиграммы, XXV, 12).

⁵⁵⁶ «Аякс был храбр всегда, но всего храбрее в ярости» (Цицерон. Тускуланские беседы, IV, 23).

⁵⁵⁷ Фемистокл — выдающийся афинский политический деятель V в. до н. э. — Демосфен — см. прим. 7 к гл. I.

⁵⁵⁸ «Подобно тому как о спокойствии моря судят по отсутствию малейшего ветерка, колышущего его гладь, точно так же спокойствие и невозмутимость души узнаются по тому, что никакое волнение не в состоянии их нарушить» (Цицерон. Тускуланские беседы, V, 6).

⁵⁵⁹ «Так море то, пенясь, набегаёт на землю, вздымая волны выше утесов и далеко заливая прибрежный песок, то быстро отступает, увлекая и катя развороченные прибоем камни, и покидает берег, унося свои воды» (Вергилий. Энеида, XI, 624).

⁵⁶⁰ Здесь, по-видимому, у Монтеня описка: вместо Клеанф Самосский следует читать — Аристарх Самосский. — Аристарх Самосский (310—230 гг. до н. э.) — математик и астроном, учивший, что земля вращается вокруг своей оси и движется вокруг солнца, за что его в XVI в. прозвали «Коперником древности». Он был обвинен в безбожии, и одним из его обвинителей был стоик Клеанф. Вероятно, этим объясняется сочетание этих имен у Монтеня.

⁵⁶¹ «Так вместе с ходом времени меняется значение вещей: что раньше было в цене, то вовсе перестает быть в почете; следом появляется другая вещь, которую до этого презирали, теперь она с каждым днем становится все более для всех желанной, ее все более прославляют и люди окружают ее особым уважением» (Лукреций. О природе вещей, V, 1275).

⁵⁶² Филипп-Авреол Парацельс (1493—1541) — немецкий врач и естествоиспытатель. Яркий враг схоластики и слепого подчинения авторитету древних, Парацельс стремился создать медицинскую науку, основанную на прочных эмпирических данных. Однако в его системе к весьма здравым мыслям примешивалось немало астрологических и магических суеверий.

⁵⁶³ Речь идет о гиперболе и ее асимптотах. — Жак Пелетье (1517—1582) — французский математик, поэт и грамматик; был в дружеских отношениях с Монтенем.

⁵⁶⁴ Птолемей (II в. н. э.) — знаменитый древнегреческий ученый, работы которого дали плодотворные результаты в области многих наук, в особенности в астрономии, географии и оптике. В своем основном сочинении по астрономии, известном в переводе на арабский язык под названием «Альмагест», Птолемей дал превосходную сводку всех астрономических знаний, остававшуюся непревзойденной до появления труда Коперника (XVI в.). «Альмагест» имел огромное практическое значение для мореплавания и определения географических координат.

⁵⁶⁵ Из церковных авторитетов с особой решительностью против возможности существования людей на другой стороне земли (антиподов) высказывались Августин (О граде божием, XVI, 9) и Лактанций. — Под новым континентом разумеется Америка.

⁵⁶⁶ «Ибо то, что у нас под рукой, нравится нам и наделяется нами достоинствами» (Лукреций. О природе вещей, V, 1411).

⁵⁶⁷ Платон. Политик.

⁵⁶⁸ Геродот, II, 142.

⁵⁶⁹ Имеется в виду Ориген. — Указанное в тексте приводится у Августина (О граде божием, XII, 13 и 17).

⁵⁷⁰ Имеется в виду школа Платона. Приводимая в тексте концепция изложена главным образом в платоновском «Тимее».

⁵⁷¹ Это приводится у Диогена Лаэртция (IX, 8).

⁵⁷² Апулей (II в. н. э.) — римский писатель, философ-платоник. Цитата из Апулея содержится в его рассуждении «О демоне Сократа». Перевод: «Каждый человек в отдельности смертен, но в своей совокупности люди вечны».

⁵⁷³ Содержание этого очень популярного в средневековой литературе подложного письма Александра Македонского приводится у Августина (О граде божием, XII, 10).

⁵⁷⁴ Согласно утверждению Библии, принятому христианской церковью, мир был создан богом примерно семь тысяч лет тому назад. Поэтому огромные цифры,

приводимые Монтенем как нечто вполне возможное, свидетельствуют о его весьма дерзком свободомыслии.

⁵⁷⁵ Зороастр — греческая форма имени полубогородного древнеиранского вероучителя Заратуштры (VII—VI вв. до н. э.), основателя особой религиозной системы — маздеизма.

⁵⁷⁶ Платон. Тимей (в начале).

⁵⁷⁷ Приводимые здесь сообщения об американских народах почерпнуты Монтенем из сочинения Гомары (Всеобщая история Индий). Монтень нагромождает целый ворох таких сведений, без всякого критического разбора их.

⁵⁷⁸ По преданию, апостол Андрей был распят на кресте, водруженном косо в виде знака умножения. Отсюда — термин «андреевский крест».

⁵⁷⁹ Флавий Ренат Вегеций — римский писатель IV в. н. э., занимавшийся главным образом военными вопросами; большой интерес представляет и разделявшееся Вегецием учение о влиянии климата, т. е. географической среды, на человека, учение, которое до Вегеция развивали в своих сочинениях Гиппократ, Гален и Аристотель. Из современников Монтеня особенно обстоятельно учение о влиянии географического фактора было обосновано у Жана Бодена (1530—1596), суждения которого Монтень высоко ценил. — Перевод цитаты: «Климат придает силу не только нашему телу, но и духу» (Вегеций, I, 2).

⁵⁸⁰ «В Афинах воздух легкий и чистый — вот почему, как полагают, афиняне так сообразительны; в Фивах же воздух тяжелый — вот почему фиванцы тупы, но выносливы» (Цицерон. О судьбе, 4).

⁵⁸¹ Приводимое в тексте см. Геродот, IX, 121.

⁵⁸² «Чего мы разумно боимся или хотим? Что когда-либо мы так удачно замыслили, чтобы после, когда желание исполнилось, нам не приходилось жалеть?» (Ювенал, X, 4).

⁵⁸³ См. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, I, 3, 2.

⁵⁸⁴ См. Платон. Алкивиад второй (в начале).

⁵⁸⁵ «Мы стремимся к браку и хотим иметь потомство от жены, но одним богам известно, каковы будут эти дети и какова будет эта жена» (Ювенал, X, 352).

⁵⁸⁶ Мидас — легендарный фригийский царь.

⁵⁸⁷ «Пораженный этой неожиданной бедой, и богатый и бедный одновременно, он жаждет бежать от своих сокровищ и ненавидит то, чего алкал» (Овидий. Метаморфозы, XI, 128).

⁵⁸⁸ Клеобис и Битон, согласно аргосской легенде, двое братьев, считавшихся счастливейшими из смертных. Сыновья жрицы, Клеобис и Битон повезли на себе колесницу матери. Восхищенная их подвигом, мать их молила, чтобы божество ниспослало им наилучшую человеческую участь, и они после жертвоприношения заснули в храме и больше не пробудились. Эту легенду Геродот влагает в уста Солона при описании его свидания с Крезом (см. Геродот, I, 31). — Трофоний у древних греков — божество, тождественное с подземным Зевсом. Культ Тро-

фония и вера в его оракулы были широко распространены в Греции. — Агамед — брат Трофония.

⁵⁸⁹ «Твой жезл и твой посох утешили меня» (Псалом, XXII, 4).

⁵⁹⁰ «Если хочешь совета, предоставь самим богам выбрать, что подобает тебе и пойдет тебе на пользу: человек дороже богам, чем сам себе» (Ювенал, X, 346).

⁵⁹¹ См. Августин. О граде божием, XIX, 2.

⁵⁹² «Кто поднимает вопрос о высшем благе, тот перебирает все философские учения» (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, V, 5).

⁵⁹³ «Мне кажется, я вижу трех гостей, которые все расходятся во вкусах и каждый требует разных блюд. Что же мне им дать? Чего не дать? То, чего ты не желаешь, просит другой, а то, что требуешь ты, совсем уже противно и ненавистно двум другим» (Гораций. Послания, II, 2, 61).

⁵⁹⁴ «Ничему не удивляться, Нумиций, — вот почти единственное средство сделать себя счастливым и остаться таким» (Гораций. Послания, I, 6, 1).

⁵⁹⁵ Аристотель. Никомахова этика, IV, 3.

⁵⁹⁶ Это приводится у Секста Эмпирика (Три книги Пирроновых положений, I, 33).

⁵⁹⁷ Юст Липсий (1574—1606) — известный филолог-гуманист, с которым Монтень находился в дружеской переписке. — Адриан Тюрнеб — см. прим. 11.

⁵⁹⁸ Монтень имеет в виду следующие перемены в области религии, происшедшие в Англии: 1) реформу 1534 г., когда король Генрих VIII объявил себя главой англиканской церкви; 2) возврат к католичеству в 1553 г., когда к власти пришла Мария Тюдор; 3) снова переход к англиканству в 1558 г., когда на престол вступила Елизавета.

⁵⁹⁹ Имеется в виду Аполлон. — См. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, I, 3, 1.

⁶⁰⁰ Влагая в уста Аполлона слова о том, что религия есть не что иное, как человеческое измышление, необходимое для поддержания человеческого общества, Монтень явно выражал свое собственное убеждение; но, чтобы замаскировать свое смелое суждение, Монтень прибегает к обычному своему приему и сопровождает свое высказывание о «религии откровения» ни к чему не обязывающей фразой, носящей чисто декларативный характер.

⁶⁰¹ Это ставшее знаменитым изречение Монтеня воспринял Паскаль, который перефразировал его следующим образом: «Истина по сю сторону Пиренеев становится ложью по ту сторону их» (Паскаль. Мысли, 394).

⁶⁰² Фрасимах (V в. до н. э.) — софист и ритор, сыгравший важную роль в развитии греческого красноречия; известен также своей защитой (в «Государстве» Платона, кн. I) тезиса о том, что понятие справедливости всюду определяется интересами сильнейших. Аристон — древнегреческий философ-стоик (конец III в. до н. э.).

⁶⁰³ «Говорят, что есть народы, у которых дочь сочетается с отцом, а мать с сыном, и что почтение к родителям возрастает у них от такой любви» (Овидий. Метаморфозы, X, 331).

⁶⁰⁴ «Итак, не остается ничего нашего, и то, что я называю нашим, есть не что иное, как ухищрение». Приводимое высказывание представляет собой сильно измененные слова Цицерона (О высшем благе и высшем зле, V, 21).

⁶⁰⁵ См. Плутарх. Жизнеописание Ликурга, 14.

⁶⁰⁶ Дионисий — имеется в виду сиракузский тиран Дионисий II Младший, наследовавший своему отцу Дионисию I в 367 г. до н. э. Дионисий II окружил себя философами и писателями, в числе которых были Платон, Аристипп, Ксенократ, Спевсипп и др. Сообщаемый в тексте эпизод приводится у Секста Эмпирика (Три книги Пирроновых положений, III, 24), а также у Диогена Лаэртция (II, 78).

⁶⁰⁷ См. Диоген Лаэртций, II, 68.

⁶⁰⁸ «Гостеприимный край, ты грозись нам войной. Коней приучают к сражениям, и эти табуны сулят войну. Но ведь иной раз эти же самые животные влекут колесницы и ходят под одним ярмом. Будем же надеяться на мир» (Вергилий. Энеида, III, 539).

⁶⁰⁹ См. Диоген Лаэртций, I, 63.

⁶¹⁰ См. Диоген Лаэртций, II, 35.

⁶¹¹ «Отсюда возникает вражда между народами, ибо повсюду ненавидят богов соседей и считают истинной веру лишь в своих богов» (Ювенал, XV, 36).

⁶¹² Бартоло и Бальд — два знаменитых итальянских юриста XIV в., толкователи римского права.

⁶¹³ «Эпикур полагает, что о запретных видах наслаждения, когда природа их требует, следует судить не по месту, полу и способу, а по возрасту, степени красоты и приспособленности» (Цицерон. Тускуланские беседы, V, 33).

⁶¹⁴ «Они (стойки) считают, что чистые способы любви не возбращаются мудрецу» (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, III, 20).

⁶¹⁵ «Рассмотрим, до какого возраста отроков можно их любить» (Сенека. Письма, 123). — Дикеарх — перипатетик (род. ок. 350 г. до н. э.), автор биографий философов.

⁶¹⁶ См. Плутарх. Противоречия философов-стоиков.

⁶¹⁷ Клисфен (665—565 гг. до н. э.) — сикионский тиран. Вся история о выдаче Клисфеном замуж его дочери, представляющая народную побасенку, приводится у Геродота (VI, 129).

⁶¹⁸ Метрокл (III в. до н. э.) — древнегреческий философ. — Сообщаемое в тексте см. Диоген Лаэртций, VI, 94.

⁶¹⁹ «Ныне ты, Суевин, стал возлюбленным Авфидии, — ты, который был ее мужем, меж тем как она стала женой твоего соперника. Почему она нравится тебе, став женой другого, и не нравилась тебе, когда была твоей? Не потому ли, что ты теряешь мужскую силу, когда тебе нечего опасаться?» (Марциал, III, 70).

⁶²⁰ «Не было во всем городе никого, кто польстился на твою жену, Цецилиан, пока она гуляла на свободе. Но с тех пор, как ты приставил к ней стражу, толпы охотников осаждают ее. Ах, ты, умная голова!» (Марциал, I, 74).

⁶²¹ Этот эпизод приводится в «Историческом словаре» Пьера Бейля под словом «Гиппархия»; но у древних писателей он нигде не встречается.

⁶²² Имеется в виду Августин (О граде божием, XIV, 20).

⁶²³ Диоген Лаэртский, VI, 69.

⁶²⁴ Диоген Лаэртский, VII, 58.

⁶²⁵ Гиппархия — сестра философа Метрокла, упомянутого выше.

⁶²⁶ Эти примеры приводятся у Секста Эмпирика (Три книги Пирроновых положений, I, 29 и 32).

⁶²⁷ Сивиллы — прорицательницы, получившие якобы от Аполлона дар предвидения. Предсказания Сивилл часто бывали очень туманны и допускали ряд различных толкований.

⁶²⁸ В день открытия ярмарки Сен-Дени ученики преподносили учителям подарки.

⁶²⁹ Этот пример приводится у Секста Эмпирика (Три книги Пирроновых положений, I, 30).

⁶³⁰ Это положение, несмотря на все оговорки, которыми Монтень сопровождает его, является для него ведущим при определении роли чувств. Утверждая далее, что «чувства являются началом и венцом человеческого познания», Монтень лишь подчеркивает свою основную мысль.

⁶³¹ «Это ближайший путь, по которому убеждение проникает в сердце и сознание человека» (Лукреций. О природе вещей, V, 103).

⁶³² Платон. Феэтет.

⁶³³ «Ты сейчас убедишься, что познание истины порождается в нас чувствами, и их показания нельзя опровергнуть... Что может возбуждать в нас большее доверие, чем чувства?» (Лукреций. О природе вещей, IV, 479 и 483).

⁶³⁴ Цицерон. Академические вопросы, II, 27.

⁶³⁵ См. Плутарх. Противоречия философов-стоиков, 9.

⁶³⁶ «Окажется ли в состоянии слух исправить показания зрения или осязание — показания слуха? Сможет ли вкус уличить осязание в ошибке? Смогут ли зрение и осязание опровергнуть его?» (Лукреций. О природе вещей, IV, 487).

⁶³⁷ «Всякому чувству дана своя область и своя сила» (Лукреций. О природе вещей, IV, 490).

⁶³⁸ Приблизительный перевод этого стиха (Лукреций. О природе вещей, V, 577) дан непосредственно перед латинской цитатой.

⁶³⁹ «Мы не допускаем, однако, чтобы глаза хоть слегка ошибались... Не будем поэтому винить их в том, в чем повинен разум» (Лукреций. О природе вещей, IV, 380 и 387).

⁶⁴⁰ Тимагор (VI в. до н. э.) — древнегреческий политический деятель. Этот пример приводится у Цицерона (Академические вопросы, II, 25).

⁶⁴¹ «Поэтому показания чувств всегда верны. Если же разум неспособен разобратсья в том, почему предметы, имеющие вблизи квадратную форму, издали

кажутся круглыми, то лучше, за отсутствием истинного объяснения, дать ошибочное истолкование и того и другого явления, чем пренебрегать очевидностью и, подорвав основное доверие к чувствам, низвергнуть то, на чем держится вся наша жизнь и наше благополучие. Ибо, если мы, не полагаясь на чувства, не будем обходить пропасти и другие подобного рода опасности, которых нам следует избегать, тогда рухнет не только всякий разум, но и вся жизнь тотчас же поставлена будет под угрозу» (Лукреций. О природе вещей, IV, 499—510).

⁶⁴² «Горы, высящиеся над морем, издали кажутся слившимися воедино, хотя и далеко отстоят друг от друга. Кажется, будто к корме убегают холмы и долины, мимо которых мы плывем, распустив паруса. Если лихой конь заупрямится под нами посередине реки, то будет казаться, будто стремительной силой тело коня влечется поперек и уносится против течения» (Лукреций. О природе вещей, IV, 398, 390 и 421).

⁶⁴³ Монтень имеет в виду протестантов, когда они заходят в католический храм.

⁶⁴⁴ См. Диоген Лаэртий, IV, 23.

⁶⁴⁵ Филоксен (436—380 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт, живший при дворе сиракузского тирана Дионисия. — Сообщаемое в тексте приводится у Диогена Лаэртия (IV, 36).

⁶⁴⁶ «Украшения соблазняют нас; золото и драгоценности прикрывают пороки. Сама девушка — лишь ничтожнейшая часть того, что в ней нравится. Среди такого множества украшений часто приходится искать то, что достойно любви. Пышно наряженная любовь ослепляет здесь глаз своей сияющей эгидой» (Овидий. Средства от любви, 343).

⁶⁴⁷ «Он восхищается всем тем, чем сам восхитителен; безумный, алчет самого себя; восхваляет самого себя и, умоляя, умоляет себя же; так разжигает он пламя, в котором сам же сгорает» (Овидий. Метаморфозы, III, 424).

⁶⁴⁸ «Он целует ее, и ему чудится, что она отвечает на его поцелуи; он кидается на нее и сжимает в цепких объятиях; ему представляется, что тело ее трепещет от прикосновения его пальцев, и он боится оставить на ней синяки» (Овидий. Метаморфозы, X, 256).

⁶⁴⁹ «Так что нельзя смотреть вниз, не испытывая одновременно головокружения и не видя кругов, плавающих перед глазами» (Тит Ливий, XI, 4, 6).

⁶⁵⁰ Имеется в виду Демокрит. Однако предание это не соответствует действительности, как указывает Плутарх (О любознательности, 11).

⁶⁵¹ См. Плутарх. Как надо слушать, 2.

⁶⁵² «Часто случается, что какой-нибудь образ, голос или песня производят сильнейшее действие на умы; но нередко такое же действие производят заботы и страх» (Цицерон. О гадании, I, 37).

⁶⁵³ См. Плутарх. Как надо сдерживать гнев, 6.

⁶⁵⁴ «Видит двойное солнце и удвоившиеся Фивы» (Вергилий. Энеида, IV, 470).

⁶⁵⁵ «Часто дурные собой и порочные женщины удерживают нашу любовь и живут, окруженные почетом» (Лукреций. О природе вещей, IV, 1151).

⁶⁵⁶ «Даже на самых явных вещах ты можешь убедиться, что, если на них не обращать внимания, они кажутся принадлежащими к давнему прошлому и находящимися далеко от нас» (Лукреций. О природе вещей, IV, 812).

⁶⁵⁷ Цицерон. Академические вопросы, II, 17 и 19.

⁶⁵⁸ В «Одиссее» Гсмера киммерийцы изображаются живущими в стране, окутанной вечным туманом, куда не проникают лучи солнца (Одиссея, XI, 14).

⁶⁵⁹ См. Плутарх. Мнения философов, IV, 10.

⁶⁶⁰ «Действие этих вещей весьма различно и разница между ними громадная: то, что одним служит пищей, для других — смертельный яд. Так, например, если слюна человека коснется змеи, она погибает, искусав самое себя» (Лукреций. О природе вещей, IV, 638).

⁶⁶¹ Плиний Старший. Естественная история, XXII, 3.

⁶⁶² «На что ни посмотрит больной желтухой, все кажется ему желтоватым» (Лукреций. О природе вещей, IV, 307).

⁶⁶³ Этот пример, так же как и некоторые другие, приводимые далее, заимствован у Секста Эмпирика (Три книги Пирроновых положений, I, 14).

⁶⁶⁴ Во времена Монтеня было сильно распространено восходящее еще к древности учение о «жидкостях», или «соках» (*humores*), циркулирующих в человеческом организме и определяющих главные происходящие в теле процессы, болезни, а также различные «темпераменты» человека.

⁶⁶⁵ «Станет двоиться пламя светильников, станут двоиться люди и их тела» (Лукреций. О природе вещей, IV, 450).

⁶⁶⁶ См. Секст Эмпирик. Три книги Пирроновых положений, I, 14.

⁶⁶⁷ «Часто над зрительным залом бывают натянуты желтые, розовые или коричневые полотнища. Когда полотнища эти, укрепленные на столбах и шестах, начинают колыхаться, они все заливают своей цветовой волной и бросают на все свой отблеск — на сцену, на одежды сенаторов, на женские наряды, на статуи богов» (Лукреций. О природе вещей, IV, 75).

⁶⁶⁸ «Как пища, которая расходуется по всем суставам и членам тела и, разложившись, приобретает совсем иную природу» (Лукреций. О природе вещей, III, 703).

⁶⁶⁹ «Так, при постройке здания, если неверна линейка, фальшив наугольник, не дающий прямого угла, если хромает отвес и хотя бы чуть-чуть он неровен, все здание непременно получится криво и косо, все будет клониться и распадаться, точно готово вот-вот завалиться, и вся постройка действительно часто валится из-за ошибок, сделанных при начальном расчете. Точно так же и суждение твое о вещах окажется ложным и пустым, если оно исходит из заведомо ложного чувства» (Лукреций. О природе вещей, IV, 514).

⁶⁷⁰ Начиная с этого абзаца и кончая словами «ни начала, ни конца» (стр. 321), Монтень почти дословно пересказывает Плутарха. Этот благочестивый на первый

взгляд пересказ нужен Монтеню для прикрытия его вольнодумных суждений о религии, которыми так богата данная глава. Ср. прим. 303.

⁶⁷¹ Платон. Феэтет.

⁶⁷² Приводится у Плутарха (Ходячие возражения против стоиков, 41).

⁶⁷³ Эпихарм — древнегреческий комедиограф V в. до н. э., сыгравший большую роль в развитии античной комедии.

⁶⁷⁴ «Время меняет природу всего мироздания, из одного состояния все переходит в другое, ничто не остается неизблемым, все преходяще, природа все превращает и все заставляет меняться» (Лукреций. О природе вещей, V, 826).

⁶⁷⁵ Монтень имеет в виду Плутарха.

⁶⁷⁶ Т. е. Сенеки. Имеется в виду его сочинение «Естественные вопросы», I, предисловие.

Глава XIII

(Стр. 322—329)

¹ «Мы покидаем гавань, и города и земли скрываются из вида» (Вергилий. Энеида, III, 72).

² «Старик-пахарь со вздохом качает головой и, сравнивая настоящее с прошлым, беспрестанно восхваляет благоденствие отцов, твердя о том, как велико было благочестие предков» (Лукреций. О природе вещей, II, 1165).

³ «Столько богов, суеотящихся вокруг одного человека» (Сенека Старший. Контроверзы, IV, 3).

⁴ «Если небо повелевает тебе покинуть берега Италии, повинуйся мне. Ты боишься только потому, что не знаешь, кого ты везешь; несись же сквозь бурю, твердо положившись на мою защиту» (Лукан. Фарсалии, V, 579).

⁵ «Цезарь счел тогда, что эти опасности достойны его судьбы. Видно, сказал он, всевышним необходимо приложить такое большое усилие, чтобы погубить меня, если они насылают весь огромный океан на углое суденышко, на котором я нахожусь» (Лукан. Фарсалии, V, 653).

⁶ «Когда Цезарь угас, само солнце скорбело о Риме и, опечалившись, прикрыло свой сияющий лик зловещей темной повязкой» (Вергилий. Георгики, I, 466).

⁷ «Нет такой неразрывной связи между небом и нами, чтобы сияние небесных светил должно было померкнуть вместе с нами» (Плиний Старший. Естественная история, II, 6).

⁸ «Известный своей жестокостью император» — Калигула (12—41 гг. н. э.). См. Светоний. Калигула, 30. Слова же по поводу обвиняемого (по имени Карнул), предвосхитившего смерть неожиданным самоубийством, принадлежат, согласно сообщению Светония, императору Тиберию (14—37 гг. н. э.), воскликнувшему: «Карнул ускользнул из моих рук!» (Светоний. Тиберий, 61).

⁹ «Видели мы, что, хотя все его тело было истерзано, смертельный удар еще не нанесен и что, согласно безмерно жестокому обычаю, хотят продлить его еле теплящуюся жизнь» (Лукан. Фарсалии, II, 178).

¹⁰ Элагабал, или Гелиогабал, — римский император (218—222).

¹¹ «... ретивый и смелый по необходимости» (Лукан. Фарсалии, IV, 798).

¹² Луций Домиций Аэнобарб — римский политический деятель, друг Цицерона, консул 54 г. до н. э., непримиримый противник Цезаря; погиб в сражении при Фарсале. — Сообщаемое в тексте см. Плутарх. Жизнеописание Цезаря, 34.

¹³ Плавций Сильван — претор времен императора Тиберия (14—37 гг. н. э.). — Сообщаемый в тексте эпизод приводится у Тацита (Анналы, IV, 22).

¹⁴ Альбуцилла — знатная римлянка времен императора Тиберия (I в. н. э.), известная своими многочисленными любовными похождениями; была обвинена в оскорблении императора. — Приводимое в тексте см. Тацит. Анналы, VI, 48.

¹⁵ Демосфен (ум. 413 г. до н. э.) — афинский полководец [не смешивать со знаменитым оратором Демосфеном (384—322 гг. до н. э.)]. — Сообщаемый в тексте эпизод см. Плутарх. Жизнеописание Никия, 10.

¹⁶ Гай Флавий Фимбрия (ум. 85 г. до н. э.) — римский политический деятель, ярый сторонник народной партии. С успехом воевал в Азии против Митридата, но с появлением в Азии Суллы был оставлен своими войсками и покончил самоубийством.

¹⁷ Осторий Скапула (I в. н. э.) — римский политический деятель, отличившийся на войне в Британии, наместником которой был его отец, полководец Публий Осторий Скапула. Обвиненный по доносу в замышлах против Нерона, Осторий покончил с собой. Историю этого самоубийства подробно излагает Тацит (Анналы, XVI, 14—15).

¹⁸ Приводимый ответ Цезаря см. Светоний. Божественный Юлий, 87.

¹⁹ Плиний Старший. Естественная история, VII, 54.

²⁰ «Я не боюсь оказаться мертвым; меня страшит умирание». Этот стих Эпихарма Цицерон приводит в «Тускуланских беседах», I, 8.

²¹ Тит Помпоний Атик (109—32 гг. до н. э.) — см. прим. 20 к гл. X. Образованный человек и крупный делец, Атик был другом Цицерона. — Приводимое в тексте сообщение см. Корнелий Непот. Жизнеописание Атика, 22.

²² Клеанф — см. прим. 112 к гл. XII. — Сообщаемое в тексте см. Диоген Лаэртский, VIII, 176.

²³ Приводимый рассказ о Туллии Марцеллине см. Сенека. Письма, LXXVII.

²⁴ «Спасти человека против воли — все равно что совершить убийство». (Гораций. Наука поэзии, 467).

²⁵ Катон — имеется в виду Марк Порций Катон Младший; см. прим. 13 к гл. I. О различных суждениях Монтезя о Катоне см. также прим. 13 к гл. III, а также к гл. II.

Глава XIV

(Стр. 330—331)

¹ «Нет ничего достоверного, кроме самой недостоверности, и нет твари более злополучной и более заносчивой, чем человек» (Плиний Старший. Естественная история, II, 5).

Глава XV

(Стр. 332—338)

¹ См. Секст Эмпирик. Три книги Пирроновых положений, I, 6.

² Имеется в виду Сенека. — Приводимое высказывание см. Сенека. Письма, 4.

³ «Страшиться потерять какую-нибудь вещь — все равно что горевать о ее утрате» (Сенека. Письма, 98).

⁴ «Если бы Даная не была заточена в медную башню, она не родила бы Юпитеру сына» (Овидий. Любовные элегии, II, 19, 27).

⁵ «Всякое удовольствие усиливается от той самой опасности, которая может нас лишить его» (Сенека. О благодеяниях, VII, 9).

⁶ «Галла, откажи мне: ведь если к радости не примешивается страдание, наступают пресыщение любовью» (Марциал, IV, 38).

⁷ Монтень опирается здесь на Плутарха (Жизнеописание Ликурга, 11).

⁸ «... и томность, и молчание, и вздох из глубины души» (Горацій. Эподы, XI, 11).

⁹ Монтень имеет в виду некоторых церковных писателей, которые, обличая излишества в любви, вдавались в такие подробности, что их описания оказывали на читателей обратное действие.

¹⁰ Плутарх. Жизнеописание Помпея, 1.

¹¹ «Они неистово сжимают в объятиях предмет своих вожделений и, причиняя телу боль, нередко впиваются зубами в губы; таящееся внутри жало побуждает их ранить желанную и в приступе этой ярости совершается зачатие» (Лукреций. О природе вещей, IV, 1075).

¹² Монтень называет два знаменитых места паломничества, из которых первое находится на северо-западе Испании, а второе в средней Италии.

¹³ См. Плутарх. Жизнеописание Катона Утического, 7.

¹⁴ «Он пренебрегает тем, что доступно, и гонится за тем, что от него ускользает» (Горацій. Сатиры, I, 2, 108).

¹⁵ «Если ты перестанешь стеречь свою дочь, она тотчас же перестанет быть моею» (Овидий. Любовные элегии, II, 19, 47).

¹⁶ «Ты жалуешься на обилие, я — на скудость» (Теренций. Формион, 163).

¹⁷ «Если кто хочет надолго сохранить свою власть над возлюбленным, пусть презирает его» (Овидий. Любовные элегии, II, 19, 33).

¹⁸ «Влюбленные, выказывайте презрение, и та, что вчера отвергла вас, сегодня будет сама навязываться» (Проперций, II, 14, 19).

¹⁹ Поппея — имеется в виду Поппея Сабина, вторая жена императора Нерона, по преданию убитая им (65 г. н. э.). О притворной скромности Поппеи и ее обыкновении показываться с полузакрытым лицом сообщает Тацит (Анналы, XIII, 45).

²⁰ «Убегает к ветлам, но жаждет, чтобы я раньше ее увидел» (Вергилий. Эклоги, III, 65).

²¹ «Нередко задержкой был покров туники» (Проперций, II, 15, 6).

²² «Дозволенное не привлекает, недозволенное распаляет сильнее» (Овидий. Любовные элегии, II, 19, 3).

²³ «Зло, которое считали выкорчеванным, исподволь распространяется» (Рутилий. Путешествие, I, 397). Поэт имеет в виду распространение иудейства.

²⁴ Аргиппеи (буквально «белоконные всадники») — одно из скифских племен. — См. Геродот, IV, 23.

²⁵ Монтень опирается здесь на сочинение Лопеса Гомары (Общая история Индии, III, 30).

²⁶ «Двери на запоре привлекают вора; открытыми взломщик пренебрегает» (Сенека. Письма, 68).

²⁷ Этот абзац был написан Монтенем около 1590 г., примерно тридцать лет спустя после резни в Васси 1562 г., положившей начало разразившимся во Франции гражданским войнам.

Глава XVI

(Стр. 339—354)

¹ «Слава в вышних богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Евангелие от Луки, II, 14).

² Хрисипп — см. прим. 95 к гл. XII; Диоген — см. прим. 11 к гл. III. — Приводимое в тексте см. Цицерон. О высшем благе и высшем зле, III, 17.

³ Гомер. Одиссея, XII, 184.

⁴ «Что им в славе какой-либо, если она только слава?» (Ювенал, VII, 81).

⁵ Идомедей Лампсакский (325—270 гг. до н. э.) — писатель и политический деятель, друг Эпикура.

⁶ Гермарх Митиленский (III в. до н. э.) — последователь Эпикура, ставший после его смерти во главе школы. Эпикур завещал Гермарху свою библиотеку и средства на содержание школы.

⁷ Метродор — см. прим. 29 к гл. II.

⁸ Карнеад — см. прим. 187 к гл. XII.

⁹ Аристотель. Никомахова этика, II, 7.

¹⁰ «Скрытая доблесть мало отличается от безвестной бездарности» (Гораций. Оды, IV, 19, 29).

¹¹ Монтень цитирует по Цицерону (О высшем благе и высшем зле, II, 18).

¹² Гай Плоций — знатный римский всадник из Нурсии. — Приведенный эпизод см. Цицерон. О высшем благе и высшем зле, II, 18.

¹³ Как на пример недобросовестного присвоения наследства Цицерон ссылается на происшедший на его глазах случай, когда Секстилий Руф объявил себя наследником Квинта Фадия Галла и завладел его огромным состоянием (см. Цицерон. О высшем благе и высшем зле, II, 17).

¹⁴ Красс Марк Лициний (115—53 гг. до н. э.) — римский политический деятель и полководец, участник первого триумvirата. — Квинт Гортензий — см. прим. 17 к гл. VI. — Приводимый в тексте эпизод подробно излагается у Цицерона (Об обязанностях, III, 18).

¹⁵ «Им следовало бы помнить, что свидетелем нашим является бог, то есть, на мой взгляд, наша совесть» (Цицерон. Об обязанностях, III, 10).

¹⁶ «Без сомнения, всем управляет случай. Он скорее по прихоти своей, чем по справедливости, одни события покрывает славой, другие — мраком забвения» (Саллюстий. Заговор Катилины, 8).

¹⁷ «... как если бы достохвальным было только то, что пользуется известностью» (Цицерон. Об обязанностях, I, 4).

¹⁸ «Человек подлинно благородный и мудрый усматривает доблесть, которая прежде всего следует природе, не в славе, а в действиях» (Цицерон. Об обязанностях, I, 19).

¹⁹ Метродор — см. прим. 29 к гл. II; Аркесилай — см. прим. 21 к гл. II; Аристипп — см. прим. 12 к гл. II.

²⁰ «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей» (Апостол Павел. I послание к коринфянам, I, 12).

²¹ «Мне думается, что до самого конца этой зимы Роланд совершал подвиги, достойные увековечения, но прикрытые до настоящего времени такой тайной, что не моя вина, если я не могу рассказать о них. Дело в том, что для совершения какого-нибудь доблестного деяния Роланду требовалось меньше времени, чем для того чтобы рассказать о нем, и из его подвигов нам известны лишь те, у которых были живые свидетели» (Ариосто. Неистовый Роланд, XI, стр. 81).

²² «Доблесть сияет немеркнувшей славой, не ведая никаких искажений; она не получает власти и не слагает ее по случайной прихоти народа» (Горацій. Оды, III, 2, 17).

²³ «Не из какой-либо корысти, а ради чести самой добродетели» (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, I, 10).

²⁴ «Может ли быть что-нибудь более нелепое, чем придавать значение совокупности тех, кого презираешь каждого в отдельности?» (Цицерон. Тускуланские беседы, V, 36).

²⁵ «Нет ничего презреннее, нежели мнение толпы» (Тит Ливий, XXXI, 34).

²⁶ Деметрий — см. прим. 14 к гл. IX. — Приводимое в тексте см. Сенека. Письма, 91.

²⁷ «Я же полагаю, что вещь, сама по себе не постыдная, становится постыдной, когда ее прославляет толпа» (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, II, 15).

²⁸ «По милости провидения благое есть в то же время и самое полезное для человека» (Квинтилиан. Образование оратора, I, 12).

²⁹ Монтень здесь перефразирует слова Сенеки [Письма, 85 (в конце)].

³⁰ «Смеялся над тем, что хитрый расчет оказывается безуспешным» (Овидий. Героини, I, 18). Монтень неточно передает текст Овидия.

³¹ Павел Эмилий — см. прим. 350 к гл. XII. — Приводимое в тексте см. Тит Ливий, XLIV, 22.

³² Фабий — имеется в виду Фабий Максим (ум. 203 г. до н. э.), известный римский полководец, вызывавший у многих недовольство своей чрезвычайной осторожностью в ведении войны с Ганнибалом и прозванный за это Кунктатором (Меддитель).

³³ «Не побоюсь похвал, ибо я не настолько толстокож; но я не приму за истинный смысл и конечную цель честных поступков расточаемые им восторги и восхваления» (Персий, I, 47).

³⁴ Имеется в виду перстень лидийского царя Гигеса, будто бы обладавший указанным в тексте чудесным свойством. О кольце Гигеса Платон рассказывает в «Государстве», II; см. также Геродот, I, 8 и сл.

³⁵ «Кто, кроме лжецов и негодяев, гордится ложной почестью и страшится ложных наветов?» (Гораций. Послания, I, 16, 39).

³⁶ «Не следуй за тем, что возвеличивает взбудораженный Рим, не исправляя неверную стрелку этих весов и не ищи себя нигде, кроме как в себе самом» (Персий, I, 5).

³⁷ Трог Помпей — римский историк времен Августа, автор всемирной истории. — Герострат — эфесец, сжегший в 356 г. до н. э. великолепный храм Артемиды Эфесской, по преданию для того, чтобы таким образом обессмертить свое имя; впоследствии имя его стало именем нарицательным. — Манлий Капитолийский (IV в. до н. э.) — римский полководец, спасший Рим от нашествия галлов. Враждовал с патрициями и в позднейшей римской исторической традиции изображался защитником плебеев. — Выражение, что Манлий стяжал себе «громкую, но не добрую славу», принадлежит Титу Ливию (VI, 11).

³⁸ Монтень хочет затушевать свое буржуазное происхождение и изобразить дело так, будто его родовым именем является де Монтень, а не Эйкем. В действительности же Монтень происходил из купеческой семьи Эйкемов, которая лишь в XV в. получила дворянство и прибавила к своему родовому имени Эйкем еще фамилию Монтень, по названию приобретенной прадедом Монтеня (в 1496 г.) сеньории Монтень.

³⁹ «Не легче ли теперь надгробный камень давит на мои кости? Говорят, что потомство хвалит умершего: не родятся ли от этого ныне фиалки из духов его, из надгробного холма и блаженного праха?» (Персий, I, 36).

⁴⁰ См. Опыты, т. I, гл. XLVI.

⁴¹ «Это случай многим знакомый, даже избитый, одна из многих превратностей судеб» (Ювенал, XIII, 9).

⁴² «Слабый отзвук их славы едва донесся до нашего слуха» (Вергилий. Энеида, VII, 646).

⁴³ «... те, кто умерли в неизвестности» (Вергилий. Энеида, V, 302).

⁴⁴ «Наградой за доброе дело служит свершение его» (Сенека. Письма, 81).

⁴⁵ «Вознаграждением за оказанную услугу является самая услуга» (источник Монтеня установить не удалось; возможно, что это пересказ мыслей Сенеки) (Письма, 81).

⁴⁶ Марк Ульпий Траян — римский император (98—117).

⁴⁷ Платон. Законы, XII.

⁴⁸ «По примеру трагических поэтов, которые, не умея найти развязки, прибегают к богу» (Цицерон. О природе богов, I, 20). Речь идет об окончании трагедии появлением бога, который и разрешает все конфликты.

⁴⁹ Тимон — см. прим. 455 к гл. XII.

⁵⁰ Нума — см. прим. 307 к гл. XII. — Серторий — см. прим. 137 и гл. XII.

⁵¹ Зороастр — см. прим. 575 к гл. XII. — Трисмегист — см. прим. 411 к гл. XII. — Салмоксис — см. прим. 352 к гл. XII. — Харэнд (VI в. до н. э.) — древнегреческий законодатель, родом из Катаны (Сицилия), законы которого были приняты в его родном городе и в других халкидских колониях и поэтому носили название «Халкидских установлений». — Минос — см. прим. 29 к гл. VIII. — Ликург и Солон — см. там же. — Драконт (VII в. до н. э.) — полубогородитель древнеафинский законодатель, суровость законодательства которого вошла в поговорку. — Монтень не верил в истинность законов Моисея, как это явствует из нижеследующего замечания его о том, что «у каждого народа можно встретить похожие вещи», а также из многих мест «Апологии Раймунда Сабундского» (гл. XII).

⁵² Жуанвиль — см. прим. 32 к гл. X. — Приводимое в тексте см.: J. de Joinville. Mémoires ou Histoire et chronique du très chrétien roi saint Louis, t. I, ch. 51. Paris, 1858.

⁵³ «И стремится воин навстречу мечу и с готовностью приемлет смерть, не щадя возвращаемой жизни» (Лукан. Фарсалии, I, 461).

⁵⁴ «Ведь, согласно обычному словоупотреблению, честью (honestum) называется то, что признает славным народная молва» (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, II, 15).

⁵⁵ «Та, которая отказывает лишь потому, что ей нельзя уступить, уступает» (Овидий. Любовные элегии, III, 44).

Глава XVII

(Стр. 355—394)

¹ Луцилий — римский сатирик конца II в. до н. э.

² «Всякие тайны свои он поверял книгам, как верным друзьям: какое бы

благо или зло из этого не вытекало, он прибегал только к ним; таким образом старик начертал в своих сочинениях всю свою жизнь как на обетных дощечках» (Гораций. Сатиры, II, 1, 30).

³ «Это [то, что они описали свою жизнь] не вызвало ни недоверия к Рутилию и Скавру, ни порицания их» (Тацит. Жизнь Агриколы, 1).

⁴ Констанций Хлор — с 305 г. н. э. римский император. — Приводимое в тексте см. Аммиан Марцеллин, XXI, 16.

⁵ Эпициклы — круги, с помощью которых древние объясняли видимое петлеобразное движение планет. Теория эпициклов окончательно была оставлена после открытия Кеплером его трех законов движения планет.

⁶ Экклезиаст, I.

⁷ Сравнение, заимствованное у Сенеки (Письма, 36).

⁸ «Ни боги, ни люди, ни колонны [на которых вывешивались объявления книготорговцев] не прощают поэту посредственности» (Гораций. Наука поэзии, 372).

⁹ «Нет ничего наглее бездарного поэта» (Марциал, XII, 63, 13).

¹⁰ Дионисий-отец — Дионисий Старший, сиракузский тиран (406—367 гг. до н. э.). Писал весьма посредственные трагедии, осмеянные поэтами. — Приводимый в тексте эпизод излагается у Диодора Сицилийского (XVI, 74).

¹¹ «Когда я перечитываю мои произведения, я стыжусь написанного, ибо вижу многое такое, что, даже по мнению самого сочинителя, следовало бы перечеркнуть» (Овидий. С Понта, I, 5, 15).

¹² Плутарх говорит это о Ксенократе (см. о нем прим. 316 к гл. XII) в «Наставлениях к браку», 26.

¹³ «Если что-нибудь нравится, если что-нибудь приятно человеческим чувствам, то всем этим мы обязаны прелестным грациям» (неизвестно, откуда Монтень взял эту цитату).

¹⁴ Дефиниция (термин риторики) — определение темы речи, постановка вопроса. — Амафаний и Рабирий — два персонажа, которых Цицерон в «Академических вопросах» обвиняет в отсутствии вкуса и критического чутья.

¹⁵ Цицерон говорит об этом во вступлении к своему переводу платоновского «Тимея».

¹⁶ «Стараясь быть кратким, я становлюсь непонятным» (Гораций. Наука поэзии, 25).

¹⁷ Платон. О государстве, X; Федон (в последней части).

¹⁸ Саллюстий — см. прим. 23 к гл. X.

¹⁹ Марк Валерий Мессала Корвин (64 г. до н. э. — 8 г. н. э.) — римский политический деятель, полководец, писатель и выдающийся оратор. — Сообщение см. Тацит. Диалог об ораторах, 39.

²⁰ См. Опыты, т. I, гл. XXVI.

²¹ Реабилитация плоти и критика христианского ханжества в этом вопросе — тема, к которой Монтень постоянно возвращается в своих «Опытах».

²² «Они поделили поля, одаряя всех согласно их красоте, дарованиям и силе, ибо красота и сила ценились тогда больше всего» (Лукреций. О природе вещей, V, 1109).

²³ Гай Марий Старший — см. прим. 10 к гл. IX. — Приводимое в тексте см. Вегеций, I, 5.

²⁴ Монтень имеет в виду книгу итальянца Бальдассаре Кастильоне «Придворный» (изд. в 1528 г.), содержащую беседы представителей придворного общества на тему о том, какими качествами должен обладать человек тонкой культуры. В 1537 г. книга была переведена на французский язык. Монтень часто заимствует из нее примеры различного рода. Приводимое в тексте см. I, 20.

²⁵ Аристотель. Никомахова этика, IV, 7.

²⁶ Аристотель. Политика, IV, 44.

²⁷ «Впереди всех мчится, с оружием в руках, величавый с виду и на целую голову выше других, сам Турн» (Вергилий. Энеида, VII, 783).

²⁸ «Ты прекраснее сынов человеческих» (Псалмы, 45, 3).

²⁹ Платон. Государство, VII.

³⁰ Филопеман Мегалопольский (253—182 гг. до н. э.) — известный ахейский политический деятель последнего периода греческой независимости («последний грек») и выдающийся полководец. — Приводимое в тексте см. Плутарх. Жизнеописание Филопемана, 1.

³¹ «У меня волосатые ноги и грудь» (Марциал, XII, 56, 5).

³² «Мало-помалу силы и здоровье слабеют, и вся жизнь приходит в упадок» (Лукреций. О природе вещей, XII, 1131).

³³ «Годы идут, похищая у нас одно за другим» (Гораций. Послания, II, 2, 55).

³⁴ «Рвение, заставляющее забывать тяжкий труд» (Гораций. Сатиры II, 2, 12).

³⁵ «Не настолько ценю я пески тенистого Тага, что катит золото в море» (Ювенал, III, 54).

³⁶ «Мы не летим на парусах, надутых попутным ветром, но и не влачим свой век под враждебными ветрами. По силе, дарованию, красоте, добродетели, рождению и достатку мы последние среди первых, но вместе с тем и первые среди последних» (Гораций. Послания, II, 2, 201).

³⁷ «Немало есть и такого, что ускользает от хозяйского взора и идет на пользу вора» (Гораций. Послания, I, 6, 45).

³⁸ «Ибо мучительнее всего неизвестность» (Сенека. Агамемнон, 480).

³⁹ «За деньги я надежды не покупаю» (Теренций. Братья, 220).

⁴⁰ «Одним веслом гребу по воде, другим по песку» (Проперций, III, 3, 23).

⁴¹ «В беде следует принимать опасные решения» (Сенека. Агамемнон, 154).

⁴² После смерти отца семейства основная часть имущества отходила, как правило, — особенно в дворянских семьях — к старшему сыну, остальные же получали очень незначительную долю.

⁴³ «Неплохо было бы завоевать пальмовую ветвь, не запалив ног» (Гораций. Послания, I, 1, 51).

⁴⁴ «Постыдно возлагать себе на голову непосильную тяжесть и, как только она надавит, тотчас же с дрожью в поджилках отступить» (Проперций, III, 9, 5).

⁴⁵ Монтень в этом месте и на последующих страницах до известной степени раскрывает причины, побудившие его отказаться от блестящей политической карьеры при дворе Генриха III. Он разоблачает царившие там жестокость и вероломство, прикрывавшиеся лозунгом «политической мудрости», флагом так называемого макиавеллизма.

⁴⁶ «В наши дни, если друг твой не отречется от доверенных ему тобой денег и вернет тебе старый мешок со всеми монетами, такая честность — просто чудо, заслуживающее увековечения в этрусских писаниях и принесения в жертву овцы с венком на шее» (Ювенал, XIII, 60).

⁴⁷ Монтень здесь повторяет свою излюбленную мысль, что простые люди нисколько не уступают знати в доблести и нередко даже превосходят ее. — В данном абзаце и дальше легко обнаружить также скрытую полемику Монтеня с макиавеллизмом, — впрочем, не столько с подлинными доктринами самого Макиавелли, сколько с их искажением в сознании правящих кругов, стремившихся воспользоваться макиавеллизмом для оправдания творимых ими жестокостей и преступлений.

⁴⁸ «Ничто так не ценится народом, как доброта» (Цицерон. За Лигария, X).

⁴⁹ Аристотель. Никомахова этика, IV, 8.

⁵⁰ Аполлоний — имеется в виду Аполлоний Тианский, см. прим. 62 к гл. XII. — Приводимое в тексте см. Филострат. Жизнеописание Аполлония Тианского.

⁵¹ Имеется в виду французский король Карл VIII (1483—1498). — См. Gilles Coroset. *Propos mémorables*, éd. 1557, стр. 56.

⁵² Квинт Метелл Македонский — выдающийся римский полководец и политический деятель; в 131 г. до н. э. был первым цензором из плебеев.

⁵³ Изречение это приводится в биографиях Секста Аврелия Виктора (IV в. н. э.), собранных в его обзоре истории Рима: «О достославных римских мужах».

⁵⁴ «Чем человек умнее и искуснее, тем он становится более ненавистным и подозрительным, когда он утратил свою репутацию честности» (Цицерон. Об обязанностях, II, 9).

⁵⁵ Монтень опирается здесь на характеристику императора Тиберия, даваемую Тацитом (Анналы, I, 11).

⁵⁶ Намек на Макиавелли и сторонников его учения.

⁵⁷ Сулейман — турецкий султан Сулейман II (1494—1566), правление которого (с 1520 г.) считается временем наибольшего военного могущества Турции.

⁵⁸ Монтень имеет в виду события 1537 г., когда ему было четыре года.

⁵⁹ Весь эпизод о Сулеймане представляет позднейшую рукописную вставку, сделанную Монтенем и прерывающую первоначальную нить его изложения.

⁶⁰ Это высказывание Аристиппа приводится у Диогена Лаэртца (Жизнеописание Аристиппа, II, 68).

⁶¹ Костяная, аспидная или какая-либо другая дощечка (или дощечки), которой пользовались как записной книжкой.

⁶² Мессала Корвин — см. прим. 19. Приводимое в тексте см. Плиний Старший. Естественная история, VII, 24. — Георгий Трапезундский — см. прим. 96 к гл. XII.

⁶³ «Память объемлет не только философию, но и все науки и применение их к жизни» (Цицерон. Академические вопросы, II, 7).

⁶⁴ «Кругом в дырах я и повсюду протекаю» (Теренций. Евнух, 105).

⁶⁵ Цицерон. О старости, 7.

⁶⁶ Монтень, по-видимому, имеет в виду письмо Плиния Младшего (III, 5), в котором последний, описывая своему другу чрезвычайное трудолюбие своего дяди Плиния Старшего и его умение использовать каждую минуту для занятий, сообщает, между прочим, следующее. Однажды кто-то из друзей Плиния Старшего, присутствовавший при чтении за столом книги, прервал чтение, когда тот неправильно произнес какое-то слово, и заставил его повторить прочитанное. «Но ведь ты понял?», — обратился к нему Плиний Старший и, когда тот ответил утвердительно, сказал: «Зачем же ты его прервал? Из-за твоего вмешательства мы потеряли больше десяти строк».

⁶⁷ Монтень несомненно цитирует здесь по памяти и потому не вполне точно. Приводимый им случай имел место не в Афинах, а в Абдере, где Протагор, по словам Диогена Лаэртца, был носильщиком. Демокрит проник к Протагору глубочайшим уважением, увидев однажды, как искусно он укладывает вязанку хвороста, из чего Демокрит сделал вывод, что Протагор способен к самым сложным наукам. См. Диоген Лаэртций. Жизнеописание Протагора, IX, 53. Об этом же эпизоде рассказывает и Авл Геллий (V, 3), сообщающий, что Протагор возвращался, нагруженный хворостом, из деревушки неподалеку от Абдеры.

⁶⁸ «Будь у тебя какой-угодно нюх, имей ты даже такой нос, какого не согласился бы таскать на себе Атлант, и будь ты способен превзойти в своих насмешках шута Латина, ты не смог бы сказать злее об этих пустячках, чем я сам сказал о них. Что толку грызть зубом зуб? Если хочешь насытиться, кидайся на мясо. Не трать зря усилий. Изливай свой яд на тех, кто кичится собой; а здесь ты не найдешь для себя пищи» (Марциал, XIII, 11, 1).

⁶⁹ Франциск II — французский король (1559—1560), сын Генриха II и Екатерины Медичи. Сообщаемый в тексте эпизод имел место в сентябре 1559 г. — Король Рене — Рене Анжуйский (1408—1480), король Неаполя и Сицилии, граф Прованский; жил большей частью в Провансе, где занимался поэзией, рисованием и другими искусствами.

⁷⁰ «Сердце не говорит мне решительно ни да, ни нет» (Петрарка, сонет CXVI).

⁷¹ Сообщаемое высказывание Хрисиппа приводится у Диогена Лаэртца (VII, 179).

⁷² «Душе, обуреваемой сомнениями, достаточно ничтожнейшей мелочи, чтобы склонить ее в ту или в другую сторону» (Теренций. Девушка с Андроса, 266).

⁷³ «... и выпал жребий Матфею» (Деяния апостолов, 1, 26).

⁷⁴ «Это обыкновение со всем соглашаться кажется мне неразумным и опасным» (Цицерон. Академические вопросы, II, 21).

⁷⁵ «Когда обе чаши весов нагружены одинаково, то в то время как одна из них опускается, другая настолько же поднимается» (Тибулл, IV, 1, 41).

⁷⁶ Имеются в виду «Рассуждения по поводу первой декады Тита Ливия» Макиавелли.

⁷⁷ Намек на направленное против Макиавелли сочинение Джентиле «Рассуждение о способах хорошего управления» (1576), получившее широкую известность под названием «Анти-Макиавелли».

⁷⁸ «Мы бьемся и, отвечая ударом на удар, выматываем противника» (Гораций. Послания, II, 2, 97).

⁷⁹ «Никогда не приведешь столь гнусных и столь постыдных примеров, чтобы не осталось еще худших» (Ювенал, VIII, 183).

⁸⁰ «Моя наука — это жить и хорошо себя чувствовать» (неточная цитата из Лукреция: О природе вещей, V, 980).

⁸¹ «Никто не пытается углубиться в себя» (Персий, IV, 23).

⁸² В этом абзаце Монтень корректирует сделанное им выше в этой главе заявление, будто он неспособен усвоить себе твердые воззрения, и подчеркивает независимость своих суждений.

⁸³ «Если бывает что-либо почтенное, то это, без сомнения, цельность всей жизни, всех отдельных поступков; ты не сможешь достигнуть этого, если, отказавшись от своего характера, будешь подражать другим» (Цицерон. Об обязанностях, I, 31).

⁸⁴ Ульпиан — выдающийся римский юрист и политический деятель III в. н. э. — Св. Иероним (340—420) — один из так называемых «учителей церкви», переводчик Библии с греческого языка на латинский.

⁸⁵ Полемон Афинский — глава Академии после смерти Ксенократа (313 г. до н. э.), под влиянием которого он в корне изменил свой характер и стал вести добродетельную жизнь. — Приведенный эпизод см. Диоген Лаэртский, IV, а также Валерий Максим, VI, 9 и Гораций. Сатиры, II, 3, 253.

⁸⁶ «Поступишь ли ты, как сделал некогда изменившийся Полемон? Бросишь ли признаки твоего безумия — все эти ленточки, подушечки, платочки? Рассказывают, что, будучи пьян, Полемон украдкой сорвал со своей шеи эти украшения, настолько он был захвачен словами учителя» (Гораций. Сатиры, II, 3, 253).

⁸⁷ Здесь перед нами еще один яркий пример высокой оценки, которую Монтень дает людям из народа, в частности крестьянам. Во многих местах своих «Опытов» он отмечает чистоту нравов и здравый смысл простых людей, ставя народную мудрость не ниже, а в некоторых случаях даже выше учености философски образованных людей.

⁸⁸ «Народ мудрее, ибо он мудр настолько, насколько нужно» (Лактанций. Божественные установления, III, 5).

⁸⁹ Герцог Гиз — Франсуа Гиз, см. прим. 15 к гл. XXIX. — Маршал Строщи — см. прим. 1 к гл. XXXIV.

⁹⁰ Франсуа Оливье (1487—1560) — канцлер Франции с 1545 г., его либеральная политика натолкнулась на ожесточенное сопротивление Гизов. — Мишель Лопиталь (1507—1573) — канцлер Франции с 1560 до 1568 г., проводивший ту же умеренную, либеральную политику, что и его друг Оливье.

⁹¹ Жан Дора (1508—1588) — один из поэтов группы «Плеяда», наставник Ронсара. — Теодор Без (1519—1605) — видный деятель реформации во Франции и в Женеве, сподвижник Кальвина, посредственный поэт. — Джордж Бьюкенен (1506—1582) — филолог, поэт, политический мыслитель и государственный деятель; шотландец родом, переселившийся во Францию; был одним из наставников Монтеня в бордоском коллеже. — Пьер Мондоре (ум. 1571) — французский поэт и ученый, королевский библиотекарь. — Тюрнеб — см. прим. 11 к гл. XII.

⁹² Пьер Ронсар (1524—1585) — знаменитый французский поэт, глава «Плеяды». — Жоакен Дюбелле (1522—1560) — один из основателей «Плеяды», написавший ее манифест «Защита и возвеличение французского языка».

⁹³ Герцог Альба, Фернандо Альварес де Толедо (1507—1581) — испанский полководец и политический деятель, известный своим фанатизмом и жестоким преследованием протестантов в Нидерландах. — Анн де Монморанси — см. прим. 40 к гл. X. Монтень имеет в виду эпизод из так называемой второй гугенотской войны (1567—1568), когда 67-летний Монморанси был смертельно ранен в битве при Сен-Дени, где одержал победу над гугенотами.

⁹⁴ Франсуа Ла Ну (1531—1591), по прозвищу «Железная рука», — ревностный гугенот, историк и политический мыслитель; Ла Ну был блестящим полководцем, пользовавшимся за свою верность гуманным принципам репутацией гугенотского «рыцаря без страха и упрека».

⁹⁵ После этих слов в издании «Опытов» 1595 г., осуществленном одним из ближайших друзей Монтеня, Мишелем де Браком, и восторженной поклонницей Монтеня, м-ль Марией де Гурне, был помещен длинный абзац, содержащий непомерное восхваление м-ль де Гурне. В бордоском экземпляре «Опытов» Монтеня с его собственноручными поправками и дополнениями этот абзац отсутствует. Многие французские исследователи текста «Опытов» считают крайне сомнительным, чтобы этот панегирик являлся последним абзацем данной главы, и помещают его в вариантах. Вот текст этого варианта: «Я не раз имел удовольствие печатно сообщать о надеждах, которые я возлагаю на Марию де Гурне-ле-Жар, мою духовную дочь, любимую мною бесспорно не только отечески, но и много сильнее. Она незримо присутствует в моем уединенном затворничестве, как лучшая часть моего существа, и ничто в целом мире не привлекает меня, помимо нее. Если по юности можно предугадывать будущее, то эта исключительная душа созреет

когда-нибудь для прекраснейших дел и, среди прочего, для совершенной и священной дружбы, до которой не возвышалась еще (по крайней мере, ни о чем подобном мы еще не читали) ни одна представительница женского пола. Искренность и устойчивость ее душевного склада и сейчас уже достаточны для такой дружбы; ее чувство ко мне более чем достаточно, так что тут нечего и желать, кроме разве того, чтобы страх, который она испытывает перед моим близким концом (ведь я встретился с нею в возрасте пятидесяти пяти лет) меньше мучил ее. Ее суждения о первых моих «Опытах», суждения женщины, и притом принадлежащей нашему веку, особы столь юной и столь одинокой в ее захламленности, а также поразительная горячность, с какою она полюбила меня и долгое время влеклась ко мне, движимая исключительно восхищением, внушенным ей задолго до того, как она увидела меня, — все это обстоятельства, достойные глубочайшего уважения».

⁹⁶ Здесь возобновляется бесспорный текст Монтеня.

Глава XVIII

(Стр. 395—400)

¹ «Я читаю свои стихи не всякому, а только друзьям, и только когда меня просят об этом, да и то не везде и не при всех. А многие готовы читать свои произведения на городской площади и даже в бане» (Гораций. Сатиры, I, 4, 72).

² «Я не стараюсь заполнить страницы напыщенным вздором... Говорю только в тесном кружке» (Персий, V, 19).

³ «Отцовская одежда и кольцо тем дороже детям, чем сильнее они любили своего отца» (Августин. О граде божием, I, 13).

⁴ Монтень хочет сказать, что страницы его «Опытов» послужат оберточной бумагой. — «Орудия воспроизведения мысли», о которых он говорит выше, — книгопечатание.

⁵ «Чтобы тунцы и оливки не оставались без прикрытия» (Марциал, XIII, 1. 1).

⁶ «И часто будут служить удобным покровом макрелям» (Катулл, XCIV, 8).

⁷ Как и в некоторых других местах «Опытов», Монтень признает здесь, что написал свою книгу для пользы общества.

⁸ Цитата из шуточного послания Клемана Маро «Филипп, лакей Маро».

⁹ Приводится у Плутарха (Жизнеописание Мария, 51).

¹⁰ Платон. Государство, III.

¹¹ Сальвиан — известный христианский проповедник в Галлии (V в. н. э.); был священником в Массилии (Марсели) и составил по поручению местного собора, для общего употребления, сборник проповедей «Об управлении божием или о провидении». — Приводимое в тексте см. «Об управлении божием», I, 14. — Валентиниан — имеется в виду Валентиниан III, римский император (425—455).

¹² Имеется в виду Плутарх (Жизнеописание Лисандра, 4).

¹³ Для гуманиста Монтеня характерно, что он не упускает случая выразить открыто свой протест против кровавого порабощения и массового истребления народов так называемого Нового Света, против чудовищных опустошений, произведенных европейскими колонизаторами (специально этой теме посвящены две другие главы «Опытов» — «О каннибалах» и «О средствах передвижения»). — В приводимом сообщении Монтень опирается на Гомару (Общая история Индии, II, 28).

¹⁴ Имеется в виду спартанский полководец Лисандр. — См. Плутарх. Жизнеописание Лисандра, 4.

¹⁵ Это приводится у Плутарха (Жизнеописание Помпея, 16).

Глава XIX

(Стр. 401—406)

¹ В данной главе Монтень, под видом прославления высоких качеств Юлиана Отступника, высказывает свои передовые взгляды по вопросу о свободе совести. Самая попытка восхваления Юлиана, ярого врага христианской церкви, была со стороны Монтеня, в обстановке кипевших вокруг него «религиозных войн», весьма смелым шагом. — Поражение тем, кто из-за так называемого отступничества Юлиана не сумел оценить его выдающихся достоинств, явно направлено в адрес католической церкви. Именно потому при просмотре «Опытов» папской цензурой в Риме в 1580 г. Монтеню было предложено внести исправления в данную главу, но Монтень ничего не изменил в ней для следующего издания. Высказанные в этой главе мысли Монтень развил более пространно в следующей, XX главе.

² Монтень ясно отдавал себе отчет в том, что причины гражданских войн, которыми охвачена была Франция его времени, кроются отнюдь не в религиозных разногласиях и что в действительности дело идет о целостности и единстве страны, существование которой было поставлено под угрозу сепаратистскими стремлениями крупного дворянства и его союзников. Поэтому Монтень был против изменения современного ему политического строя Франции и отстаивал существующую абсолютную монархию. Такая позиция Монтеня в тех конкретных исторических условиях была прогрессивной.

³ Здесь содержится явное осуждение рьяных приверженцев католической ортодоксии, занимавшихся уничтожением языческих книг, о гибели которых Монтень не переставал сокрушаться.

⁴ Марк Клавдий Тацит — римский император (275—278); сведения о его родстве со знаменитым историком, Корнелием Тацитом (55—120), сомнительны. Приводимое в тексте сообщение, касающееся забот императора Тацита о сочинениях Тацита-историка, содержится у римского историка Вописка, оставившего жизнеописание императора Тацита (Вописк. Тацит, 10).

⁵ Флавий Клавдий Юлиан — выдающийся римский император (361—363), прозванный его врагами, христианскими писателями, Отступником за попытку восстановить язычество как государственную религию.

⁶ Об этом сообщает Аммиан Марцеллин (XXIV, 8 и XXV, 3).

⁷ Аммиан Марцеллин, XXII, 10.

⁸ Этот эпизод приводится в хронике византийского историка Зонары, которым Монтень часто пользовался во французском переводе: Zonaras, traduction de Saint-Amour, 1560, 3-e partie, f. II.

⁹ Евтропий (ум. 370) — римский историк, написавший около 367 г. «Краткую историю Рима» в десяти книгах, носящую компилятивный характер, но ценную содержащимися в ней сведениями по истории III и IV вв. — Приводимое в тексте см. Евтропий. История, X, 16.

¹⁰ Констанций — имеется в виду Констанций II, римский император с 317 по 361 г., который вел ожесточенную борьбу со своим двоюродным братом Юлианом, оспаривая у него престол.

¹¹ Это сообщение, равно как и следующее — о пристрастии Юлиана к литературе, почерпнуто у Аммиана Марцеллина (XXV, 4).

¹² Приводимый пример содержится у Аммиана Марцеллина (XVI, 5).

¹³ Т. е. поддерживая галлов, населявших в древности Францию, против теснивших их германских племен.

¹⁴ При описании смерти Юлиана Монтень опять-таки опирается на Аммиана Марцеллина (XXV, 3, 6).

¹⁵ Рассказывали, что перед первой битвой при Филиппах Марку Юнию Бруту ночью явился страшный призрак, который на вопрос Брута, кто он, ответил: «Я — твой злой гений. Мы увидимся при Филиппах». И снова будто бы этот призрак явился Бруту перед вторым сражением при Филиппах, завершившимся полным разгромом войск Брута и его смертью от собственной руки. Подробнее см. Плутарх. Жизнеописание Цезаря, 69.

¹⁶ Приписываемое Юлиану восклицание является несомненно вымыслом враждебных ему христианских писателей.

¹⁷ Аммиан Марцеллин, XXI, 2.

¹⁸ Это сообщение приводится у Аммиана Марцеллина (XXII, 5).

¹⁹ Последние строки главы содержат намек на большие льготы, полученные гугенотами по условиям религиозного мира 1576 г.; им были предоставлены свобода совести, почти повсеместное свободное исповедание своей веры, право занимать государственные должности и в качестве гарантии выполнения всего этого восемь крепостей.

Монтень метко определяет здесь политику французских правящих кругов, заявляя, что «не достигнув желаемого [т. е. полной победы над гугенотами], они сделали вид, будто желали достигнутого». Сходные идеи высказывал также Боден (см. «Methodus», 1566, стр. 87), взгляды которого по вопросу о свободе совести совпадали с монтеневскими.

Глава XX

(Стр. 407—410)

¹ «Из источника наслаждений исходит нечто горькое, что удручает даже находящегося среди цветов» (Лукреций. О природе вещей, IV, 1129).

² *Morbidezza* по-итальянски «изнеможение».

³ «Слишком неумеренная радость угнетает нас» (Сенека. Письма, 74).

⁴ Намек на стих Эпихарма, сохраненный Ксенофонтом (Воспоминания о Сократе, II, 1, 20).

⁵ Платон. Федон.

⁶ Это изречение Метродора приводится у Сенеки (Письма, 99).

⁷ «Есть некое удовольствие и в плаче» (Овидий. Скорбные элегии, IV, 3, 37).

⁸ Сенека. Письма, 63.

⁹ «Служитель старого фалерна, мальчик, наполни мне чаши самым горьким» (Катулл, XXVII, 1).

¹⁰ «Нет худа без добра» (Сенека. Письма, 99).

¹¹ Платон. Государство, IV, 5.

¹² «Всякое примерное наказание заключает в себе нечто несправедливое по отношению к отдельным лицам, что, однако, вознаграждается общественной пользой» (Тацит. Анналы, XIV, 44).

¹³ «Их разум терялся при размышлении о стольких противоречивых вещах» (Тит Ливий, XXXII, 20).

¹⁴ Симонид — имеется в виду Симонид Младший (556—469 гг. до н. э.), древнегреческий лирический поэт, находившийся, в числе других поэтов и философов, при дворе сиракузского тирана Гиерона, о котором речь идет в тексте. Сообщаемый Монтенем эпизод о вопросах, предложенных Симониду, приводится у Цицерона (О природе богов, I, 22).

Глава XXI

(Стр. 411—415)

¹ Тит Флавий Веспасиан — римский император (69—79). — Это сообщение приводится у Светония (Божественный Веспасиан, 24).

² Публий Элий Адриан — римский император (117—138) из династии Антонинов.

³ Монтень намекает здесь на трусость и неспособность к управлению страной тогдашнего французского короля Генриха III Валуа, которому он несколькими строками ниже противопоставляет Генриха IV Наваррского, глухо называя его «одним государем». Подобное обличение Генриха III и противопоставление ему Генриха IV было большой смелостью со стороны Монтеня.

⁴ Имеется в виду Генрих IV Наваррский.

⁵ Селим I — турецкий султан (1512—1520).

⁶ Сыном турецкого султана Баязида II (1481—1512) был Селим I (см. предыдущее примечание). — Мурад III — турецкий султан (1574—1595).

⁷ Эдуард III — английский король (1327—1377). — Карл V — французский король (1364—1380). — Приводимое сообщение содержится в «Хрониках» Фруасара (I, 125) и повторяется у многих авторов того времени.

⁸ Это высказывание Юлиана приводится в хронике Зонары (см. изд. Миня, т. I, стлб. 1155).

⁹ Ксенофонт. Киропедия, I, 2, 16.

¹⁰ Сенека. Письма, 88.

¹¹ После этих слов издание «Опытов» 1595 г. содержит следующую вставку: «Судьба не соблаговолила пойти навстречу тщеславию римского войска, связавшего себя клятвой либо умереть, либо вернуться с победой: *Victor, Marce Fabi, revertar ex acie: si fallo, Iovem partem, gravidumque Martem, aliosque iratos invoco deos.** Португальцы рассказывают, что в одной из завоеванных ими областей Индии им пришлось встретиться с воинами, которые дали зарок, подкрепленный страшными клятвами, никоим образом не сдаваться, но либо погибнуть от руки победителей, либо самим одержать победу, и в знак своего обета они ходили с обритыми головой и лицом. Сколько бы мы ни упорствовали, подвергая себя всевозможным опасностям, надо думать, что удары избегают того, кто слишком рьяно устремляется им навстречу, и с большой неохотой обрушиваются на тех, кто слишком усиленно их ищет, тем самым препятствуя намерениям судьбы. Один воин, не достигнув задуманного, а именно потерять жизнь в столкновении с неприятелем, и испытав ради этого все доступные ему средства, дабы выполнить принятое им решение уйти с поля битвы со славой или вовсе не уходить, вынужден был в самый разгар сражения наложить на себя руки. Можно было бы привести и другие примеры, но ограничусь еще одним: Филист, начальник морских сил Дионисия Младшего в его борьбе с сиракузянами, дал им сражение, протекавшее с исключительной жесточенностью, так как силы противников были равны. Вначале он благодаря личной храбрости добился некоторого перевеса, но затем, когда сиракузяне окружили его галеру, чтобы отрезать ее от других и овладеть ею, Филист, показав образец воинской доблести и сделав безуспешную попытку пробиться, после того как понял, что надеяться на помощь бессмысленно, собственноручно отнял у себя ту самую жизнь, которую так щедро и так безуспешно предлагал раньше врагам». Далее идет абзац, начинающийся словами «Молей-Молук».

¹² Себастьян — португальский король (1557—1578), предпринявший в 1578 г. завоевательный поход в Марокко против султана Мулей Мухаммеда (которого

* «Я вернусь с поля битвы победителем, Марк Фабий. В противном случае пусть падет на меня гнев Юпитера, Марса и других богов» (Тит Ливий, II, 45).

Монтень называет Молей-Молук). Португальская армия была разгромлена под Эль-Ксар-эль-Кебиром, где Себастьян погиб. Эта битва положила конец португальской экспансии в Марокко. — Говоря об объединении португальской короны с кастильской, Монтень имеет в виду события, последовавшие за смертью бездетного Себастьяна, когда Португалия была оккупирована войсками испанского короля Филиппа II, который в 1581 г. провозгласил себя королем Португалии.

¹³ «Они сбиваются в кучу не только из-за сечи, но и из-за бегства».

Глава XXII

(Стр. 416—417)

¹ Это сообщение приводится у Ксенофонта (Киропедия, VIII, 6—10).

² Юлий Цезарь. Записки о гражданской войне, III, 11. — Луций Вибуллий Руф — префект Помпея.

³ Светоний. Божественный Юлий, 57.

⁴ Тиберий Клавдий Нерон (ум. 33 г. до н. э.) — отец императора Тиберия. — Сообщаемое в тексте приводится у Плиния Старшего (Естественная история, VII, 20).

⁵ Антиох — имеется в виду сирийский царь Антиох IV Епифан (175—163 гг. до н. э.) из династии Селевкидов. — Тиберий Семпроний Грахх (ум. 154 г. до н. э.) — отец Тиберия и Кая Граххов; был цензором и дважды консулом.

⁶ «На перекладных лошадях он с почти невероятной скоростью прибыл на третий день из Амфиссы в Пеллу» (Тит Ливий, XXXVII, 7).

⁷ Цецина — знатный римлянин, родом из г. Волатерр; никаких других сведений о нем не сохранилось. Приводимый эпизод, равно как и следующий сообщаемый в тексте, содержится у Плиния Старшего (Естественная история, X, 34).

⁸ Децим Юний Брут (84—43 гг. до н. э.) — сподвижник Цезаря в междоусобной войне, а впоследствии участник заговора против него; в 44 г. отказался сдать Антонию свою провинцию, Цизальпийскую Галлию, и был осажден им в Мутине (нынешней Модене, в северной Италии).

⁹ Это сообщение приводится у Лопеса Гомары (Общая история Индий, V, 7).

¹⁰ Приводимое сообщение содержится у Халкондила (XIII, 657). — После этих слов в издании «Опытов» 1595 г. были еще следующие слова: «как поступают, впрочем, довольно многие. Что до меня, то я не нахожу никакого облегчения от такого способа».

Глава XXIII

(Стр. 418—421)

¹ Таково мнение Гиппократы, почерпнутое Монтенем у Бодена (Шесть книг о государстве, IV, 3).

² Бренн — вождь галлов, вторгшихся в 390 г. до н. э. в Италию и взявших Рим. Предание приписывает Бренну знаменитое изречение: «Горе побежденным!».

³ В приводимых здесь сведениях Монтень опирается на Бодена (Шесть книг о государстве, V, 5).

⁴ «Мы терпим зло от длительного мира: изнеженность действует на нас хуже войны» (Ювенал, VI, 291).

⁵ Мир в Бретиньи был заключен в 1360 г. между английским королем Эдуардом III и французским королем Иоанном II Добрым. Взамен огромных территориальных приобретений Эдуард III должен был, согласно одному из пунктов этого мира, отказаться от сюзеренитета над герцогством Бретонским и Фландрией. — Приводимое в тексте сообщение содержится в «Хрониках» Фруасара, I, 213.

⁶ У Монтеня здесь явная неточность: только у Филиппа VI (1328—1350), родоначальника династии Валуа на французском престоле, был сын по имени Иоанн, который, однако, не совершал никакого заморского похода. Поход в Англию был предпринят в 1215 г. сыном Филиппа II Августа, но его звали Людовиком.

⁷ Такие идеи фигурировали и в гугенотских программах. Так, например, вождь гугенотов, адмирал Колиньи в докладной записке королю Карлу IX старался убедить его в необходимости активной внешней политики в интересах внутреннего мира, ибо «характер французов таков, — писал он, — что они, взяв в свои руки оружие, не желают его выпускать и обращают его против собственных граждан в том случае, если не могут обратить его против внешнего врага». Исходя из этого, Колиньи настаивал на войне с испанским королем, которого следует теснить в Нидерландах.

⁸ «О Немезида, сделай так, чтобы я ничем не соблазнился до такой степени, чтобы желать эту вещь отнять у ее владельца» (Катулл, LXVIII, 77).

⁹ Это сообщение приводится у Плутарха (Жизнеописание Ликурга, 21).

¹⁰ «Иначе каков смысл этого жестокого искусства, этих смертей юношей, этого наслаждения, доставляемого кровью?» (Пруденций. Против Симмаха, II, 672).

¹¹ Феодосий — имеется в виду Феодосий I Великий, римский император (379—395).

¹² «Прими, государь, славу, выпавшую твоему царствованию, и стань наследником славы, доставшей тебе от отца. Пусть не падет более никто в нашей столице, чьи муки были бы наслаждением для толпы. Пусть арена довольствуется кровью животных, пусть не будет на ней больше человекоубийственных игр» (Пруденций. Против Симмаха, II, 643).

¹³ «Скромная дева приподнимается со своего места при каждом ударе; всякий раз, как победный клинок вонзается в чью-либо шею, она приходит в восторг и, опустив вниз большой палец, отдает таким способом приказ о смерти поверженного побежденного» (Пруденций. Против Симмаха, II, 617).

¹⁴ «Они продают себя, чтобы идти на смерть и быть убитыми на арене. И, хотя царит мир, каждый выбирает себе врага» (Манилий. *Астрономическая поэма*, IV, 225).

¹⁵ «Среди этих кликов и небывалых забав слабый и неприспособленный к оружию пол позорит себя, давая сражения, созданные для мужчин» (Стаций. *Сильвы*, I, VI, 51).

Глава XXIV

(Стр. 422—424)

¹ «К близким».

² Светоний. *Божественный Юлий*, 56.

³ Марк Фурий — римский всадник. — Сообщаемое в тексте см. Цицерон. *Письма к близким*, VII, 5, 134.

⁴ Дейотар (ум. 40 г. до н. э.) — правитель Галатии, получивший в 52—54 гг. до н. э. от римского сената царский титул и господство над Малой Арменией и частью Понта. Позже Цезарь (как об этом дальше говорит Монтень) отнял у Дейотара Малую Армению, но оставил за ним царский титул.

⁵ Светоний. *Божественный Юлий*, 54. — Птолемей — имеется в виду Птолемей XI Авлет (81—51 гг. до н. э.), египетский царь, отец Клеопатры.

⁶ «За такую-то сумму Галатию, за такую-то — Понт, за такую-то — Лидию» (Клавдиан. *Против Евтропия*, I, 203).

⁷ Сообщаемое в тексте приводится у Плутарха (*Жизнеописание Антония*, 8).

⁸ Антиох — имеется в виду Антиох IV Эпифан (175—164 гг. до н. э.). — Гай Попилий — консул 172 г. до н. э. Сообщаемый в тексте эпизод имел место в 168 г. до н. э., когда Попилий явился в качестве римского посла в Египет и принудил Антиоха Эпифана немедленно увести свои войска из Египта. Приводимое в тексте подробно излагается у Тита Ливия (XLV, 12 и 13).

⁹ См. Тацит. *Жизнеописание Агриколы*, 14; перевод латинской цитаты дан Монтенем.

¹⁰ Имеется в виду турецкий султан Сулейман II (1494—1566).

Глава XXV

(Стр. 425—427)

¹ «Вот к чему приводит столь искусное разыгрывание болезни! Целию незачем больше притворяться подагриком» (Марциал, VII, 39, 8).

² Аппиан (конец I в.—70-е годы II в.) — выдающийся историк древнего Рима, которого высоко ценил К. Маркс. — Приводимое в тексте см. Аппиан. *Гражданские войны*, IV, 6 .

³ Фруассар — см. прим. 25 к гл. X. — Приводимое в тексте см. «Хроники», I, 29.

⁴ Плиний Старший. Естественная история, VII, 51.

⁵ Опыты, кн. I, гл. XXI.

⁶ Сенека. Письма, 50.

Глава XXVI

(Стр. 428—429)

¹ Тацит. Анналы, XII, 47.

² *Pollegere* — «иметь силу». О происхождении названия большого пальца от глагола *pollegere* говорит Макробий (Сатурналии, VII, 13).

³ «Ни ласковые слова, ни прикосновение нежного пальца не могли пробудить его угасший пыл» (Марциал, XII, 98, 8).

⁴ «Тот, кому ты понравишься, будет одобрять тебя обоими большими пальцами» (Гораций. Послания, I, 18, 66).

⁵ «Убивают публично любого, на кого народ укажет поднятым кверху большим пальцем» (Ювенал, III, 36).

⁶ Светоний. Божественный Август, 24.

⁷ Об этом случае сообщает Валерий Максим (V, 3, 3), который, однако, говорит о всех пальцах левой руки, а не об одном лишь большом пальце.

⁸ Речь идет о Филоклесе, афинском полководце во время Пелопонесской войны. — Сообщаемое см. Плутарх. Лисандр, 5.

⁹ Эгиняне — жители древнегреческого города Эгина (на одноименном острове), который до середины V в. до н. э. был важным политическим, торговым и культурным центром. Эгиняне соперничали с Афинами в морской торговле; в V в. до н. э. Эгина была захвачена Афинами и все жители ее выселены. — Приводимое в тексте сообщается у Валерия Максима (XII, 2).

¹⁰ Монтень заимствует это сведение у Плутарха (Ликург, 14).

Глава XXVII

(Стр. 430—441)

¹ Приводимое сообщение см. Плутарх. Пелопид, 5.

² «Он рад прикончить молодого быка, лишь если он сопротивляется» (Клавдиан. Послание к Адриану, 30).

³ Говоря о «кучке черни», Монтень имел в виду тех шкурников и мародеров, которые являлись неотъемлемой составной частью большинства тогдашних армий. Монтень, однако, отнюдь не отождествлял с ними простых людей из народа, к которым он питал живейшее сочувствие, постоянно противопоставляя их высокие моральные качества порокам знати. В данном опыте, как и в ряде других, Монтень

клеймит жестокости, чинимые господствующей верхушкой, и бросая ей вызов, выдвигает весьма смелое утверждение, что трусость — родная мать жестокости.

⁴ «Волк, медведь и все другие неблагоприятные животные набрасываются на умирающих» (Овидий. Скорбные элегии, III, 5, 35).

⁵ Приводимое в тексте см. Плутарх. Почему божественное правосудие иногда не сразу наказывает виновных, 2. У Монтеня неточность: речь идет не о Бианте, а о Патрокле, другом участнике диалога, сожалеем о жителях Орхомена (города в Аркадии, существовавшего в догомеровскую эпоху). В 367 г. Орхомен был разрушен фиванцами и все жители его перебиты или проданы в рабство.

⁶ Нарсингское царство граничило с португальскими владениями в Индии (Гоа). Монтень опирается здесь на Озорио (1506—1580), работой которого он в данном случае пользуется во французском переводе Симона Гулара (*Histoire de Portugal, contenant les entreprises, navigations et gestes mémorables des Portugallois*).

⁷ Азиний Поллион — см. прим. 27 к гл. X. — Сообщаемый эпизод приводится у Плиния Старшего [Естественная история, Предисловие к Веспасиану (в конце)]. Согласно Плинию, ответ Поллиону был дан самим Планком.

⁸ Приводимое в тексте см. Диоген Лаэртский, V, 18.

⁹ В XVI в. во Франции нередко на дуэлях бились между собой не только сами поединщики, но также и одна, две или три пары их секундантов.

¹⁰ «Каждый не полагался на самого себя» (откуда взята эта цитата, неизвестно).

¹¹ Герцог Орлеанский — имеется в виду Людовик Орлеанский, брат французского короля Карла VI (1380—1422). — Английский король Генрих — Генрих IV (1399—1413). — Сражение, о котором речь идет в тексте, произошло в 1402 г. и описано в «Хронике» Монстреле (см. *Monstrelet*, I, 9). — Упоминаемое в тексте сражение армян со спартанцами, являвшихся союзниками лидийского царя Креза, происходило в VI в. до н. э. Подробнее о нем см. Геродот, I, 82. — Горации — три брата, которые, согласно преданию, во время войны Рима с соседней Альбой Лонгой при царе Тулле Гостилии были выставлены борцами против трех братьев Куриациев из Альбы, причем было условлено, что исход борьбы решит судьбу войны. Двое Горациев пали в бою, но третий сумел победить своих противников, после чего побежденная Альба Лонга была разрушена римлянами. — Сообщаемое см. Тит Ливий, I, 24.

¹² Матекулон — один из пяти братьев Монтеня, сопровождавший его во время путешествия по Италии и обучавшийся там фехтованию. Однако в дневнике своего путешествия Монтень нигде не упоминает об описываемой им в тексте дуэли, которая, по-видимому, имела место после отъезда Монтеня из Италии.

¹³ «Печальный первый урок юноши, жестокая первая проба грядущей войны» (Вергилий. Энеида, XI, 156).

¹⁴ Тит Ливий, XXVIII, 21.

¹⁵ «Они [бойцы] не хотят ни уклоняться, ни отбивать, ни хитрить: в их сраженьях ловкость не при чем. Их удары неподдельны и то сыплются один за другим,

то пореже. Гнев и ярость ослабляют их искусство. Слышится устрашающий звон гнущихся посередине мечей. Их ноги тверды и неподвижны, а руки все время в движении; здесь колют и рубят не зря» (Тассо. Освобожденный Иерусалим, XII, 55).

¹⁶ Рутилий — Публий Рутилий Руф, выдающийся римский полководец, проводивший военные реформы в римском войске; консул в 105 г. до н. э. — Сообщаемое в тексте приводится у Валерия Максима, II, 3, 2.

¹⁷ Об этом сообщает Плутарх (Жизнеописание Цезаря, 12).

¹⁸ Приводимое в тексте см. Плутарх. Филопемен, 12.

¹⁹ Платон. Лахес.

²⁰ Легендарный Амик, сын бога Посейдона, якобы первый применил в кулачном бою ремни, которыми с тех пор бойцы стали обвязывать кулаки. — Эпей — победитель в кулачном бою на состязаниях в честь Патрокла (Илиада, XXIII 668 и сл.). — Антей — сын Посейдона, царь Ливии, был непобедим в борьбе, пока касался своей матери Геи (богини земли); Геракл одолел его, приподняв на воздух. — Керкион — изобретатель того вида борьбы, при котором применяются также и ноги. Керкион в Элевсине заставлял всех прохожих бороться с ним и умерщвлял их, но был побежден Фесеем, изобретателем рукопашной борьбы. — Приводимое в тексте см. Платон. Законы, VII, 6.

²¹ Маврикий — византийский император (539—602); в 602 г. был убит вместе со своими сыновьями и братьями по приказанию Фоки, захватившего с помощью возмущившегося войска столицу и объявившего себя императором.

²² «Он все разит, так как всего боится» (Клавдиан. Против Евтропия, 182).

²³ Приводимое в тексте см. Тит Ливий, XI, 3.

²⁴ Этот эпизод почерпнут Монтемом у Тита Ливия, XI, 4.

²⁵ Намек на слова императора Калигулы: «Хочу заставить его [обвиняемого] почувствовать смерть». См. об этом гл. XIII данного тома.

²⁶ В разрез с освященным католической церковью обычаем Монтемень решительно заявляет, что всякое дополнительное к смертной казни наказание есть жестокость. Приводимое в тексте страстное осуждение Монтемом пыток всполошило ищущее католической инквизиции. При просмотре «Опытов» папской цензурой в Риме в 1580 г. эта фраза, почти буквально повторяющая одно место из гл. XI, была поставлена в вину Монтемену. Однако Монтемень и не подумал вычеркнуть или смягчить ее в следующем издании. См. также прим. 30 к гл. XI.

²⁷ Имеется в виду Иосиф Флавий (см. о нем прим. 5 к гл. II). — Приводимое в тексте см. в его «Автобиографии» (в конце).

²⁸ Халкондил Лаоник — византийский историк XV в.; написал историю турок и историю падения Византийской империи (1298—1453), переведенную с греческого на латинский язык (1556 г.). — Приводимое в тексте см. «Историю турок» Халкондила, X, 2.

²⁹ Монтемень имеет в виду сочинение Жака Лавардена (Jacques de Lavardin. Histoire de Georges Castriot. Paris, 1576), посвященное национальному герою албан-

ского народа — Георгию Кастриоту (1414—1467), возглавившему его борьбу за независимость против турок и прозванному народом Скандербегом. — Мехмед — см. прим. 19 к гл. I.

³⁰ Сообщаемый эпизод приводится у Геродота (I, 92).

³¹ Георгий Секей — так Монтень называет (вслед за Паоло Джовио) народного вождя крестьянского восстания 1514 г. Георгия (Дьердь) Дожу (1475—1514), который был по происхождению секей (секеи, или секлеры, — особая народность венгров, живущая в Трансильванских Альпах, — ныне Венгерский национальный округ в Румынской Народной Республике). В 1514 г. Дожа был назначен предводителем крестьянского ополчения, которое было создано для участия в крестовом походе против турок и состояло главным образом из венгерских и трансильванских (в тексте ошибочно «польских», по-видимому вместо «паннонских») крестьян. Собравшиеся крестьяне обратили оружие против знати, и «крестоносное войско, по словам Энгельса, превратилось в революционную армию». Это крупное антифеодалное восстание было подавлено сильной дворянской армией, существенную помощь которой оказал воевода Трансильвании — Иоанн Заполья. Дожа был взят в плен вместе со своим братом и другими руководителями восстания и казнен после страшных пыток. Приводимое в тексте описание казни Дожи, фигурирующее во многих источниках, почерпнуто Монтенем у итальянского историка Паоло Джовио (во французском переводе: Paul Jove. Histoire de son temps. Paris, 1553, I. XIII).

Глава XXVIII

(Стр. 442—444)

¹ Катон Цензор — см. прим. 12 к гл. II. — Катон Младший — см. прим. 13 к гл. I.

² Монтень имеет в виду Плутарха (Жизнеописание Катона Цензора, 1).

³ Тит Квинкий Фламинин (ум. 174 г. до н. э.) — выдающийся древнеримский полководец и политический деятель, в 198 г. — консул. — Приводимое в тексте см. Плутарх. Сравнение Фламинина с Филопеменом, 2.

⁴ «Разумный человек ставит себе предел даже и в добрых делах» (Ювенал, VI, 444).

⁵ Евдамид — спартанский царь с 331 г. до н. э., брат Агиса III. — Ксенократ — см. прим. 311 к гл. XII. — Приводимое в тексте см. Плутарх. Изречения лакедемонян. Евдамид.

⁶ Птолемей — имеется в виду Птолемей V Эпифан (210—180 гг. до н. э.). — Сообщаемое в тексте приводится у Плутарха (Жизнеописание Филопемена, 19).

⁷ Сенека. Письма, 36.

⁸ «Ты готовишь мраморы, чтобы строить новый дом на пороге самой смерти, забыв о могиле» (Гораций. Оды, II, 18, 17).

⁹ «Вот уже давно, как я ничего не трачу и не приобретаю. У меня в наличности больше запасов на дорогу, чем оставшегося мне пути» (Сенека. Письма, 77).

¹⁰ «Я прожила жизнь и совершила тот путь, что предназначила мне судьба» (Вергилий. Энеида, IV, 653).

¹¹ Приводится у Сенеки (Письма, 36).

¹² «Люди любят разные вещи, но не все подходит всем возрастам» (Максимиан, I, 104).

¹³ Приводится у Сенеки (Письма, 36).

Глава XXIX

(Стр. 445—452)

¹ Сенека. Письма, 73.

² Монтень опирается на рассказ Диогена Лаэртца (IX, 63).

³ См. Диоген Лаэртский, IX, 66.

⁴ Приводимое в тексте почерпнуто Монтенем у Эллиана (Пестрая история, VII, 18).

⁵ «Когда на ложе почившего брошен последний факел, выступает толпа преданных ему жен с распущенными волосами и затевает спор, которой из них живой последовать за мужем, ибо для каждой позор, если нельзя умереть. Победительницы с яростью подставляют пламени грудь и припадают к мужьям пылом сгорающих уст» (Проперций, III, 13, 17).

⁶ Описание подобных обычаев встречается у венецианского купца-путешественника Каспаро Бальби, из сочинения которого (Viaggio) Монтень почерпает примеры и в других главах.

⁷ Гимнософистами (греч. «нагие мудрецы») греки называли индийских философов, строгих аскетов, проводивших жизнь в созерцании; много общего с ними имеют позднейшие факиры.

⁸ Калан — индийский брахман по имени Спхинас (у классических писателей — Sphines), прозванный Каланом, или Кальяном; сопровождал одно время Александра Македонского во время его похода в Индию. О его самосожжении сообщает Арриан. — Приводимое в тексте см. Плутарх. Жизнеописание Александра, 21.

⁹ Жуанвиль — см. прим. 32 к гл. X. — Приводимое в тексте см. Жуанвиль, гл. 30.

¹⁰ Этот эпизод приводится в мемуарах Филиппа Коммина (VIII, 9), а также у Гвиччардини (III, 6).

¹¹ Мурад — имеется в виду турецкий султан Мурад II (1401—1451). — Гуниади Янош (1400—1456) — венгерский полководец, с 1444 по 1456 г. — правитель Венгрии. — Сообщаемый эпизод приводится у Ханкондила (VII, 8).

¹² Приводимое в тексте см. Халкондил, VII.

¹³ Монтень, по видимому, имеет в виду Генриха IV Наваррского (1553—1610), вокруг которого создана была легенда о его неуязвимости.

¹⁴ Принц Оранский — имеется в виду Вильгельм Оранский (1553—1584), штатгальтер Голландии, один из руководителей национально-освободительного движения Нидерландов против испанского владычества. Первое покушение на него было совершено в Антверпене в 1582 г. испанцем Хаурегги и окончилось неудачей. Через два года после этого Бальтазар Жерар, француз-католик, служивший Вильгельму Оранскому и выдававший себя за ревностного протестанта, повторил покушение на Вильгельма и выстрелом из пистолета убил его (1584).

¹⁵ Монтень имеет в виду убийство яркого врага гугенотов, герцога Франсуа Гиза (1519—1563), совершенное гугенотом Польтро де Мере в 1563 г.

¹⁶ Имеется в виду Бальтазар Жерар, см. прим. 14.

¹⁷ Ассасины — мусульманская шиитская секта, основанная в XI в. и распространенная главным образом в Сирии и Персии. Членов секты, опьянявшихся для поддержания религиозного рвения гашишем, называли «хашишин»; это слово было переделано средневековыми писателями в «ассасин». В XIII в. слово «ассасин» было занесено в Европу крестоносцами и стало употребляться для обозначения наемных убийц (у французов — *assasin*, у итальянцев — *assasino*).

¹⁸ Граф Раймунд Триполитанский — имеется в виду Раймунд I, убитый в 1151 г. в Триполи в результате той ожесточенной борьбы, которую укрепились в Ливанских горах ассасины вели с крестоносцами.

Глава XXX

(Стр. 453—454)

¹ Данная глава весьма характерна для передовых взглядов Монтеня. В ней, как и в других главах (например часть I, гл. XXI «О силе нашего воображения»), ярко проявляется критическое отношение Монтеня ко всяким сверхъестественным явлениям, так называемым «чудесам», занимавшим столь важное место в традиционном средневековом мышлении. В разрез с практикой католической церкви, всячески эксплуатировавшей веру в «чудеса», Монтень доказывает, что явления принимаются за сверхъестественные только по недостатку знаний, по неумению установить их естественные причины. Даваемая Монтенем в данной главе трактовка вопроса об уродах свидетельствует о том, что в этих вопросах он ушел далеко вперед по сравнению с большинством своих современников. Ведь даже такой передовой и просвещенный врач XVI в., как Амбруаз Паре, считал, что уроды являются дурными предзнаменованиями, т. е. явлениями сверхъестественными. Монтень решительно отвергает подобного рода объяснения и утверждает, что если наука его времени еще не сумела показать естественное происхождение этих явлений, то со временем это будет сделано.

² «Чтобы с помощью какого-нибудь толкования согласовать то, что произошло, с тем, что предсказывалось» (Цицерон. О гадании, II, 31).

³ Эпименид — жрец с о. Крита (VII в. до н. э.), в древних сказаниях изображался прорицателем и чудотворцем. Аристотель говорил об Эпимениде, что он не предсказывает будущее, а разъясняет темное прошлое; это и имеет в виду приводимое в тексте высказывание (см. Аристотель. Риторика, III, 12).

⁴ Человек не удивляется тому, что часто видит, даже если не понимает причины данного явления. Однако если происходит нечто такое, чего он раньше никогда не видел, он считает это чудом» (Цицерон. О гадании, II, 22).

Глава XXXI

(Стр. 455—463)

¹ Аристотель. Никомахова этика, X, 9.

² «Пылая бешенством, они — женщины — несутся стремглав, как скала, оторвавшаяся от вершины, когда гора осела под ней и обрушилась скользким уклоном» (Ювенал, VI, 647).

³ Монтень опирается на Плутарха (Как следует сдерживать гнев, 6).

⁴ «Хорошо, что ты дал гражданина стране и народу, если ты создаешь его для служения родине, полезным нивам, годным для военных и для мирных занятий» (Ювенал, XIV, 70).

⁵ «Лицо его пышет гневом, жилы набухают черной кровью, а глаза горят более свирепым огнем, чем у Горгоны» (Овидий. Искусство любви, III, 503).

⁶ Светоний. Жизнеописание двенадцати цезарей. Божественный Юлий, 12. — Сатурнин — Луций Апулей Сатурнин, римский политический деятель, народный трибун в 103 и 100 гг. до н. э.

⁷ Евдамид — см. прим. 5 к гл. XXVIII. — Сообщаемое в тексте см. Плутарх. Изречения лакедемонян, Евдамид.

⁸ Клеомен — имеется в виду спартанский царь Клеомен I (годы правления 517—488 гг. до н. э.). — Приводимый эпизод см. Плутарх. Изречения лакедемонян, Клеомен.

⁹ Эфоры — коллегия из пяти ежегодно избиравшихся должностных лиц, осуществлявших контроль над царской властью и игравших руководящую роль в спартанском государстве. — Приводимое в тексте см. Плутарх. Как надо слушать, 7.

¹⁰ Авл Геллий (123—165) — римский писатель, сборник которого «Аттические ночи» представляет собой собрание выписок на разные темы из греческих и римских авторов. — Излагаемый Монтенем рассказ см. Авл Геллий, I, 26.

¹¹ Архит Тарентский — выдающийся математик первой половины IV в. до н. э., известный также как государственный деятель, полководец и философ пифагорейской школы. — Сообщаемый эпизод см. Валерий Максим, IV, 1, 1.

¹² Харилл — спартанский царь, согласно преданию живший во времена Ликурга. — Илоты — земледельцы древней Спарты, поработанные в результате по-

корення дорянами древней Лаконии и Мессении; фактически они были на положении рабов.—Приводимый Монтедем рассказ см. Плутарх. Изречения лакедемонян, Харилл.

¹³ Пизон—имеется в виду Гней Кальпурний Пизон, современник Тиберия, консул 7 г. до н. э., в 17 г. н. э.—правитель Сирии.—Излагаемый Монтедем эпизод см. Сенека. О гневе, I, 16.

¹⁴ Целий—имеется в виду Марк Целий Руф, современник и друг Цицерона, известный оратор и политический деятель.—Сообщаемый рассказ приводится у Сенеки (О гневе, III, 8).

¹⁵ Фокион (IV в. до н. э.)—афинский полководец и политический деятель.—Приводимое в тексте см. Плутарх. Наставление занимающимся государственными делами, 10.

¹⁶ «Когда с великим треском разгорается пламя горящего хвороста, подложенного под стенки медного котла, жидкость от жара закипает и клоочет внутри, переливаясь с пеной высоко через край; ее ничто уже не сдерживает, и густой пар поднимается в воздух» (Вергилий. Энеида, VII, 462).

¹⁷ Приводимое в тексте см. Диоген Лаэртский, VI, 34.

¹⁸ «Все явные недуги менее опасны; самыми страшными являются те, что скрываются под личиной здоровья» (Сенека. Письма, 56).

¹⁹ «И в своем безумии горячо спорит сам с собой» (Клавдиан. Против Евтропия, I, 237).

²⁰ «Так бык, готовясь к первой схватке, издает ужасающий рев и в гневе пробует свои рога, упершись ими в ствол дерева; он то поражает ударами воздух, то предвкушая бой, разбрасывает песок» (Вергилий. Энеида, XII, 103).

²¹ Аристотель. Никомахова этика, III, 8.

²² Монтедь имеет в виду Сенеку (О гневе, I, 16).

Глава XXXII

(Стр. 464—471)

¹ Наряду с Лукрецием Плутарх и Сенека были самыми любимыми авторами Монтедем; он часто их перечитывал и постоянно цитировал. Если на Лукреция Монтедь опирался главным образом в своей трактовке естественно-научных вопросов и в особенности в борьбе с религиозными предрассудками, то Плутарх и Сенека были для него кладезем наставлений морального порядка. Пожалуй, первый из этих двух авторов оказал на моральную философию Монтедем еще больше влияния, чем Сенека.

² «Реформированной религией» Монтедь называет исповеда. веры французских протестантов или гугенотов. Невозможно установить, какую именно книгу Монтедь здесь имеет в виду.

³ Карл IX—французский король (1560—1574).—Кардинал Лотарингский—один из виднейших представителей дома Гизов, Карл Гиз (1525—1574), пользо-

вавшийся большим влиянием при Карле IX (как и при его отце, Генрихе II). Ярый католик, ожесточенный враг гугенотов, Карл Лотарингский старался ввести во Францию инквизицию.

⁴ Дион Кассий (155—235) — римский историк, написавший «Историю Рима». Представитель сенаторской аристократии, Дион, идеализировал республиканское прошлое Рима, хотя и считал переход к монархии неизбежным. В этом и упрекает Диона Монтень, говоря (немного ниже), что «он защищал дело Юлия Цезаря против Помпея» (стр. 465).

⁵ Жан Боден (1530—1596) — выдающийся французский государствовед, политик и историк, которого, как это явствует из текста, Монтень высоко ценил и внимательно изучал. «Метод легкого изучения истории» (*Methodus ad facilem historiarum cognitionem*, 1566) — основная работа Бодена, посвященная проблемам истории. — Указываемое Монтенем место см. Боден. Метод легкого изучения истории, стр. 58.

⁶ Этот эпизод приводится у Плутарха (Жизнеописание Ликурга, 14; Боден. Метод легкого изучения истории, стр. 58).

⁷ Плутарх. Жизнеописание Пирра, 12.

⁸ Приводится после рассказа о спартанском мальчике и лисенке в Жизнеописании Ликурга (14).

⁹ Цицерон. Тускуланские беседы, II, 14 и V, 27.

¹⁰ Плутарх. Жизнеописание Ликурга. Валерий Максим (III, 3, 1) называет героя рассказа «македонским мальчиком».

¹¹ Аммиан Марцелин, XXII, 16.

¹² Этот эпизод приводится у Тацита (Анналы, IV, 45).

¹³ Эпихарида — вольноотпущенница, которая по доносу находилась в заключении. По приказанию Нерона ее подвергли мучительным пыткам, добываясь от нее показаний относительно заговора против Нерона, организованного Гаем Пизоном в 65 г. Подробнее об этом см. Тацит. Анналы, XV, 57.

¹⁴ Имеется в виду рассказ-анекдот итальянского писателя-гуманиста Поджо Браччолини (XV в.) в его «Фацетиях» (русский перевод с предисловием Луначарского, М.—Л., 1934).

¹⁵ Мишель Монтень. Опыты, т. I, гл. XXVII.

¹⁶ Остракизм — практиковавшийся в Афинах (начиная с VI в. до н. э.) способ изгнания из государства путем народного голосования черепками (греч. *ὄστρακον*), на которых писалось имя подлежащего изгнанию. Остракизм в Сиракузах назывался «петализмом», так как здесь голосование производилось не черепками, а оливковыми листьями (греч. *πέταλον* — листок). Отмечаемое Монтенем расхождение между Боденом и Плутархом объясняется тем, что Боден в данном случае недостаточно внимательно прочитал текст Плутарха.

¹⁷ Лабиев — по-видимому, имеется в виду Тит Агий Лабиев, см. прим. 31 к гл. VIII. — Публий Вентидий — консул 43 г. до н. э.; стяжал известность тремя блестящими победами, одержанными над парфянами (в 42—38 гг. до н. э.). —

Понтий Телесин — самнитский полководец во время союзнической войны, павший в сражении в 82 г. до н. э.

¹⁸ Марк Фурий Камилл (ум. 365 г. до н. э.) — римский полководец и политический деятель в период борьбы Рима за преобладание в Италии.

¹⁹ Плутарх. Сравнение Помпея с Агесилаем.

²⁰ Плутарх. Сравнение Лисандра с Суллой.

Глава XXXIII

(Стр. 472—480)

¹ См. прим. 34 к гл. X.

² Ксенократ — см. прим. 316 к гл. XII. — Этот эпизод приводится у Диогена Лаэртца (IV, 7).

³ Монтеъ опирается здесь на Светоний (Божественный Юлий, 45).

⁴ Евноя — жена мавританского царя Богуда (с 49 г. до н. э.), союзника Цезаря в его войнах в Испании и Африке. — Сервий Сульпиций — имеется в виду Сервий Сульпиций Руф (ум. 43 г. до н. э.), консул 51 г. до н. э., приверженец Цезаря, оратор и писатель. — Габиний — имеется в виду Авл Габиний (ум. 47 г. до н. э.), сторонник Помпея, консул 58 г. до н. э. — Красс — имеется в виду Марк Лициний Красс (115—53 гг. до н. э.), крупный политический деятель и полководец, участник первого триумvirата.

⁵ Оба Куриона — имеются в виду отец и сын, оба называвшиеся Гай Скрибоний Курион. Курион Старший — консул 76 г. до н. э., противник Цезаря, опубликовавший в 55 г. до н. э. диалог против Цезаря. Курион Младший — сначала республиканец, потом сторонник Цезаря, блестящий оратор, которого называли «беспутным гением». — Эгисф — излюбленный герой греческих трагедий; по Гомеру, Эгисф соблазнил жену своего двоюродного брата Агамемнона — Клитемнестру, а Агамемнона убил; сам был убит сыном Агамемнона — Орестом.

⁶ Мехмед — см. прим. 19 к гл. I. Владислав, или Ланчелотт, — король неаполитанский, иерусалимский и венгерский; наследовал своему отцу, Карлу III, в Неаполе в 1386 г.; строил планы покорения всей Италии и Венгрии; умер среди оргий в Неаполе в 1414 г. Этот эпизод в различных версиях, отличающихся от монтевесской, приводится во многих источниках; см., например, Халкондил (История падения Византийской империи, V, 11).

⁷ Опий Гай — друг Цезаря из всаднического сословия, написавший несколько биографий, в том числе и Цезаря. — Приводимое в тексте см. Светоний. Божественный Юлий, 53.

⁸ См. Светоний. Божественный Юлий, 48.

⁹ См. Светоний. Божественный Юлий, 53.

¹⁰ Люций Сергий Катилина (108—62 гг. до н. э.) — глава двух заговоров, направленных против сената и закончившихся провалом. Во время второго заговора (62 г.), вылившегося в попытку открытого восстания, Катилина погиб в бою.

¹¹ Цезарь. О гражданской войне, I, 24 и III, 10.

¹² Это приводится у Плутарха (Жизнеописание Цезаря, 10).

¹³ Монтень опирается здесь на Светония (Божественный Юлий, 75).

¹⁴ Монтень, из остроумия выражаясь с нарочитой неясностью, имеет здесь в виду гражданские войны, которыми Юлий Цезарь подготовил свою диктатуру и низвержение республики.

¹⁵ Меммий Гай — народный трибун в 66 г. до н. э.; в 60 г. выступил в сенате с разоблачением Цезаря; позднее примирился с Цезарем, поддержавшим его кандидатуру в консулы в 53 г. — Приводимое в тексте см. Светоний. Божественный Юлий, 73.

¹⁶ Гай Лициний Кальв (82—47 гг. до н. э.) — римский оратор и поэт. — Приводимое сообщение, а равно и дальнейшие примеры, почерпнуты Монтенем у Светония (Божественный Юлий, 48, 72, 73, 77, 78).

¹⁷ «Сверкает как драгоценный перл в желтом обрамлении золота, украшающий шею или голову, или как слоновая кость в искусной оправе бука или орикского терпентинного дерева» (Вергилий. Энеида, X, 134).

¹⁸ Этот эпизод сообщается у Валерия Максима (IV, 5, 1).

Глава XXXIV

(Стр. 481—491)

¹ Пьетро Строщи — маршал Франции, родом итальянец; был убит в 1588 г. при осаде Тионвиля.

² Сообщаемое в тексте см. Светоний. Божественный Юлий, 66.

³ Светоний. Божественный Юлий, 65.

⁴ См. Цезарь. Записки о галльской войне, I, 7.

⁵ Приводимое в тексте см. Светоний. Божественный Юлий, 67.

⁶ Светоний. Божественный Юлий, 67.

⁷ «Полководцем был Цезарь для меня при переправе через Рейн, здесь он товарищ; злодейство равняет тех, кто им запятнан» (Лукан. Фарсалии, I, 289).

⁸ Приводится у Светония (Божественный Август, 25).

⁹ Светоний. Божественный Юлий, 69.

¹⁰ Цезарь. Записки о галльской войне, IV, 17.

¹¹ Цезарь. Записки о галльской войне, II, 21.

¹² Сообщаемое в тексте см. Светоний. Божественный Юлий, 55.

¹³ Приводится у Плутарха (Жизнеописание Цезаря, 12).

¹⁴ Луций Афраний и Марк Петрей — полководцы армий Помпея в Испании.

¹⁵ Фарнак — имеется в виду Фарнак II, царь Понта, сын Митридата Великого; был разбит Цезарем и умер в 48 г. до н. э.

¹⁶ Цезарь закончил борьбу с помпеянцами победой при Мунде (в Испании) в 45 г. до н. э. — Описание приводимых здесь походов Цезаря см. Светоний. Божественный Юлий, 34—35.

¹⁷ «Быстрой, чем небесное пламя или тигрица с детенышами» (Лукан, V, 405).

¹⁸ «Как мчится обломок горы, свергающийся с вершины, оторванный ветром или смытый бурным ливнем, либо незаметно подточенный временем; несется с кручи гора, увлекаемая быстрым движением, унося с собой людей, и животных, и леса» (Вергилий. Энеида, XII, 684).

¹⁹ Цезарь. Записки о галльской войне, VII, 24.

²⁰ Светоний. Божественный Юлий, 58.

²¹ Цезарь. Записки о гражданской войне, I, 72.

²² «Рвущийся в бой солдат совершает тот путь, который казался ему страшным в бегстве; весь мокрый, он согревает тело броней и быстрым шагом оживляет застывшие в ледяной воде ноги» (Лукан. Фарсалии, IV, 151).

²³ «Как мчится ревущий Авфид [река в Апулии], орошающий царство Давна [легендарный царь Апулии], грозя полям апулийца страшным наводнением» (Гораций. Оды, IV, 14, 25).

²⁴ Приводится у Цезаря (Записки о галльской войне, II, 25).

²⁵ Сообщаемое в тексте см. Светоний. Божественный Юлий, 58.

²⁶ Светоний. Божественный Юлий, 58.

²⁷ Светоний. Божественный Юлий, 53.

²⁸ Алесия — твердыня племени мандубиев в Галлии. — Сообщаемое в тексте приводится у Цезаря (Записки о галльской войне, VII, 76).

²⁹ Лукулл — см. прим. 16 к гл. I. — Приводимое в тексте см. Плутарх. Жизнеописание Лукулла, 13.

³⁰ Ксенофонт. Киропедия, II, 2.

³¹ Баязид — имеется в виду турецкий султан Баязид (1347—1403), которому монголы Тамерлана нанесли сокрушительное поражение в Ангорской битве (1402). — Монтень опирается в этом сообщении на Халкондила (III, 11).

³² Сведения о герое албанского народа Скандербеге Монтень обильно черпает из книги: Jacques de Lavardin. Histoire de Georges Castriot, Paris, 1576 (приводимое Монтенем — стр. 444).

³³ Верцингеториг (ум. 46 г. до н. э.) — вождь галльского племени арвернов, возглавивший всеобщее восстание галлов в 52—51 гг. Вынужден был под угрозой голодной смерти гарнизона Алесии (об осаде которой речь идет в тексте) сдать Цезарю и был казнен. — Приводимое в тексте см. Цезарь. Записки о галльской войне, VII, 68.

³⁴ Приводимое в тексте см. Светоний. Божественный Юлий, 60.

³⁵ Ариовист (I в. до н. э.) — предводитель отряда германцев, пытавшегося покорить галлов, что вызвало выступление против него Юлия Цезаря. В 58 г. Ариовист был разбит и бежал за Рейн. — Сообщаемое в тексте см. Цезарь. Записки о галльской войне, I, 46.

³⁶ Это приводится у Светония (Божественный Юлий, 57, 64).

³⁷ Светоний. Божественный Юлий, 68.

³⁸ Адмирал Шатильон — адмирал Гаспар де Колиньи, известный политический деятель, глава гугенотов; был убит во время Варфоломеевской резни (1572).

³⁹ Марк Клавдий Марцелл (270—208 гг. до н. э.) — римский полководец, неоднократно избиравшийся консулом; особенно прославился своими военными победами во время 2-й Пунической войны (218—201 гг. до н. э.). — Приводимое в тексте см. Тит Ливий, XXIV, 18.

⁴⁰ Сообщаемое в тексте см. Светоний. Божественный Юлий, 68.

⁴¹ Светоний. Божественный Юлий, 68.

⁴² Приводится у Цезаря (Записки о галльской войне, III, 53).

⁴³ Граний Петроний — квестор в войсках Цезаря. — Сообщаемое в тексте см. Плутарх. Жизнеописание Цезаря, 16.

⁴⁴ Салоны (Salonae) — далматский город с гаванью, ныне Спалатто. — Марк Октавий — эдил 50 г. до н. э., помпеянец. — Приводимое в тексте см. Цезарь. Записки о галльской войне, III, 9.

Глава XXXV

(Стр. 492—500)

¹ «Те, кто меньше всего огорчены, будут выказывать тем большую скорбь» (Тацит. Анналы, II, 77).

² Этот эпизод приводится у Плиния Младшего (Письма, VI, 24).

³ «На них справедливость, покидая землю, оставила последние следы» (Вергилий. Георгики, II, 473).

⁴ Цецина Пет — консул 37 г. н. э.; принимал участие в восстании, которое поднял Скрибониан (см. прим. 5), был приговорен к смертной казни и покончил с собой, следуя примеру жены. — Фанния — дочь Тразев Пета и Аррии, жена Гельвидия Приска, которого она дважды сопровождала в ссылку.

⁵ Клавдий — римский император (41—54). — Марк Фурий Камилл Скрибониан — римский консул 32 г. н. э. В 42 г., будучи легатом в Иллирии, поднял неудачное восстание против императора Клавдия, закончившееся убийством Скрибониана. Вслед за тем начались преследования его сообщников, в числе которых была его вдова, Юния (о ней см. в тексте ниже), которая ради своего спасения была готова признаться во всем.

⁶ Приведа эти слова по-латыни, Монтень в следующей фразе дает перевод их.

⁷ Весь этот эпизод приводится у Плиния Младшего (Письма, III, 16).

⁸ «Когда благородная Аррия подала своему Пету меч, вынутый ею только что из глубины ее тела, она сказала: „У меня не болит, поверь мне, рана, которую я нанесла себе, но я страдаю от той, Пет, которую ты нанесешь себе“» (Марциал, I, 14).

⁹ Об этом подробно рассказывает Тацит (Анналы, XV, 61—65).

¹⁰ Сенека. Письма, 104.

Глава XXXVI

(Стр. 501—508)

¹ «Он слагает на своей ученой лире песни, подобные тем, которые создает Аполлон, когда возложит свои пальцы» (Проперций, II, 34, 79).

² «Что прекрасно и что постыдно, что полезно и что вредно, — он учит об этом яснее и лучше, чем Хрисипп и Крантор» (Гораций. Послания, I, 2, 3).

³ «Неиссякаемый источник, из которого поэты пьют пиэрийскую влагу [источник поэтического вдохновения]» (Овидий. Любовные элегии, III, 9, 25).

⁴ «Вспомни спутников муз геликонских, из коих один лишь Гомер поднялся до светил». У Лукреция (О природе вещей, III, 1050) сказано не *astra*, как ошибочно пишет Монтень, а *sceptra*; «Гомер один овладел скипетром».

⁵ «Все потомки влили в свои песни живую воду из этого обильного источника; они разделили реку на мелкие ручейки, обогатившись наследием одного человека» (Манилий. Астрономическая поэма, II, 8).

⁶ Аристотель. Поэтика, 24.

⁷ Приводится у Плутарха (Жизнеописание Александра Великого, 2).

⁸ Приводится у Плутарха (Изречения лакедемонян, Клеомен).

⁹ Сообщаемое в тексте см. Плутарх. Жизнеописание Алкивиада, 3.

¹⁰ Гиерон — имеется в виду сиракузский тиран Гиерон I (V в. до н. э.), окруживший себя поэтами и философами. — Приводимый эпизод сообщается у Плутарха (Изречения древних царей, Гиерон).

¹¹ Цицерон. Тускуланские беседы, I, 32.

¹² Мехмед II — см. прим. 19 к гл. I. — Пий II (Эней Сильвий Пикколомини, 1405—1464) — писатель и дипломат, затем римский папа (1458—1464). — Приводимое в тексте сообщается у Джентиле (Рассуждения о способах хорошего управления, III, 1).

¹³ «Смирна, Родос, Колофон, Саламин, Хиос, Аргос, Афины» — приводимое в одном анонимном древнегреческом стихотворении и цитируемое Авлом Геллием (III, 11) перечисление семи городов, оспаривавших друг у друга честь считаться местом рождения Гомера.

¹⁴ «Все разрушал, что ему на дороге стояло, и с ликованием пролагал себе путь среди развалин» (Лукан. Фарсалий, I, 149).

¹⁵ Клит — см. прим. 23 к гл. I. — В приводимых суждениях об Александре Македонском Монтень опирается на Квинта Курция (книги VIII и X), на Плутарха (Жизнеописание Александра Великого) и на предисловие Витарда к его переводу Арриана (1581).

¹⁶ «Подобно тому как омытое волной океана светило, которое Венера предпочитает всем другим, поднимает свой священный лик к небу и рассеивает мрак» (Вергилий. Энеида, VIII, 589).

¹⁷ В приводимых сведениях о магометанах Монтень опирается на сочинение своего современника, Гильома Постеля (G. Postel. Histoire de l'Orient. Paris, 1575, стр. 131).

¹⁸ «Как огни, что обнимают в различных частях леса и сухие стволы и шуршащие заросли лавра; или как мчатся с шумом и в пене падающие с высоких гор потоки, устремляющиеся к равнинам и опустошающие каждый свой путь» (Вергилий. Энеида, XII, 521).

¹⁹ В конце этой главы Монтень дает очень высокую оценку Эпаминонду, которой он придерживается и в ряде других опытов. Но если по отношению к Эпаминонду Монтень от издания к изданию все более оттенял достоинства Эпаминонда, то по отношению к Александру Македонскому он, наоборот, ослаблял их.

²⁰ Такая оценка дается у Диодора Сицилийского (XV, 88). Того же мнения держался и Цицерон (Тускуланские беседы, I, 2 и Оратор, III, 34).

²¹ Об этом сообщает Плутарх (О демоне Сократа, 23).

²² Имеется в виду Диодор Сицилийский (XV, 24).

²³ Монтень опирается на Плутарха (О демоне Сократа, 17).

²⁴ Приводится у Плутарха (Жизнеописание Кориолана, 2).

²⁵ Об этом сообщает Плутарх (О демоне Сократа, 4).

²⁶ Этот эпизод приводится у Диодора Сицилийского (XV, 88) и у Корнелия Непота (Эпаминонд, 10).

Глава XXXVII

(Стр. 509—543)

¹ Это не совсем точно, ибо уже в издании 1588 г. Монтень сам признает, что часто исправляет свои первоначальные мысли.

² Монтень начал писать свои «Опыты» в 1572 г., следовательно, данная глава или данная часть главы была написана в 1579 или 1580 г., что подтверждается и другими указаниями, рассеянными в этой главе.

³ Гай Цильний Меценат (64—8 гг. до н. э.) — один из сподвижников императора Августа, крупный рабовладелец, покровительствовал кружку поэтов, в который входили Вергилий, Гораций, Проперций и др.

⁴ «Пусть у меня ослабеет рука, ступня или нога, пусть зашатаются все зубы — все же, пока у меня остается жизнь, все обстоит благополучно». Это стихотворение Мецената, сохраненное Сенекой, последний приводит в своих «Письмах» (101).

⁵ Об этом сообщает Халкондил (III, 10).

⁶ Приводимое в тексте см. Диоген Лаэртский, VI, 18.

⁷ «Не бойся последнего дня и не желай его» (Марциал, X, 47, 13).

⁸ «И кулачные бойцы также издают вздох, нанося удары своими цестами, ибо когда выпускаешь крик, все тело напрягается и бьешь с большей силой» (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 23).

⁹ «Он издает стенания, жалобы и вздохи, дрожит и выпускает горестные вопли» (цитата из «Филоктета» Аттия, которую Цицерон приводит дважды: О высшем благе и высшем зле, II, 29 и Тускуланские беседы, II, 14).

¹⁰ Приводится у Цицерона (О гадании, II, 69). — «Фантазер» относится к тому лицу, о котором говорит Цицерон.

¹¹ «Нет для меня никакого нового или неожиданного образа; все я предвосхитил и заранее в душе все обдумал» (Вергилий. Энеида, VI, 103):

¹² Приводится у Плиния Старшего (Естественная история, VII, 10).

¹³ Это сообщение приводится у Плутарха (Почему божественное правосудие не сразу наказывает виновных, 19); однако Плутарх не говорит о том, что имевшие такой родинки считались незаконнорожденными.

¹⁴ Аристотель. Политика, II, 2 (Аристотель почерпнул это у Геродота, IV, 180).

¹⁵ Приводится у Плутарха (Пир семи мудрецов, 19).

¹⁶ Плиний Старший в своей «Естественной истории» (XXIV, 1) действительно утверждает, что медицина появилась у римлян через 600 лет после основания Рима, но сообщает, что римляне изгнали врачей лишь много лет спустя после смерти Катона Цензора.

¹⁷ Плутарх. Жизнеописание Катона Цензора, 12.

¹⁸ Плиний Старший. Естественная история, XXV, 53.

¹⁹ Геродот, IV, 187.

²⁰ Платон. Тимей.

²¹ Приводится у Корнелия Агриппы (О недостоверности и тщетности наук, 83):

²² Адриан — римский император (117—138) из династии Антонинов. — Этот пример также приводится у Корнелия Агриппы (О недостоверности и тщетности наук, 83).

²³ Приводимый эпизод см. Диоген Лаэртский, VI, 62.

²⁴ Никокл — кипрский тиран IV в. до н. э., с которым афинский государственный деятель и оратор Исократ (436—338) будто бы вел переписку, опубликованную им затем в форме трактата об обязанностях и добродетелях государей. Возможно, однако, что это произведение апокрифическое и подлинны только сохранившиеся три письма Исократу к Никоклу, без ответов последнего. В цитатах других авторов до нас дошли некоторые высказывания Никокла, вроде приводимого у Монтеня, но их подлинность довольно сомнительна.

²⁵ «Проезд повозок по узким поворотам улиц» (Ювенал, III, 236).

²⁶ Платон. Государство, III.

²⁷ Эзоп, 13 («Больной и врач»).

²⁸ «Но всемогущий отец [Юпитер], негодуя на то, что какой-то смертный мог вернуться из обителя подземных теней к сиянию жизни, сам поразил молнией»

изобретателя подобных врачеваний и искусств и низринул Фебова сына в воды Стикса» (Вергилий. Энеида, VII, 770).

²⁹ Этот анекдот содержится в приложениях к «Извлечениям» Стобея.

³⁰ «Как если бы какой-нибудь врач предписал больному принять „земнородную, травоходную, домоносную, кровочуждную“». Этот латинский стих, представляющий собой загадку (улитка, порождаемая землею, ползающая по траве, носящая свой домик и не имеющая крови), приводится у Цицерона (О гадании, II, 64).

³¹ Об этом сообщает Плиний Старший (Естественная история, XXIX, 1).

³² Имеется в виду Плиний Старший (Естественная история, XXIX, 1).

³³ В приводимых далее сведениях по истории медицины Монтень опирается на Плиния Старшего (Естественная история, XXIX, 1—5).

³⁴ Парацельс — см. прим. 562 к гл. XII. — Леонардо Фьораванти (1518—1588) — известный врач-хирург из Болоньи. — Жан Аржантье (1513—1572) — врач из Пьемонта, преподававший в разных городах Италии и прославившийся главным образом критикой медицинских теорий своих предшественников.

³⁵ Эзоп, басня 76 («Эфиоп»).

³⁶ Монтень, по-видимому, имеет в виду своего знаменитого современника, врача Амбруаза Паре, выпустившего в 1568 г. «Трактат о чуме», в котором особая глава (26) посвящена была вопросу: «Необходимы ли кровопускания и клизмы в начале заболевания чумой».

³⁷ Зеркало для исследования матки.

³⁸ Чрезвычайно показательно свободомыслие в этом вопросе Монтеня, отвергающего руку провидения. Монтень здесь опирается на Корнелия Агриппу (О недостоверности и тщетности наук, 83, 84, 85).

³⁹ Приводится у Геродота (II, 94).

⁴⁰ Монтень несомненно имеет в виду своего ближайшего друга, Этьена Ла Бозси, погибшего от дизентерии.

⁴¹ Монтень имеет здесь в виду те противоречивые указания, которые давались ему врачами во время его пребывания на водах в Лукке и которые он отметил в своем «Дневнике путешествия».

⁴² Монтень побывал на водах в Пломбьере, Бадене (Швейцария), Альбано, Сан-Пьетро, Баталье, Лукке, Пизе и Витербо.

⁴³ Такого же мнения относительно действия водолечения Монтень придерживался и в своем «Дневнике путешествия».

⁴⁴ «Алкон [имя врача] прикоснулся вчера к статуе Юпитера, и, несмотря на мрамор, Юпитер ощутил на себе власть врача. И вот сегодня его переносят из древнего храма и, хотя он бог и из камня, похоронят» (Авсоний, эпигр. 74).

⁴⁵ «Вчера Андрагор весело купался и ужинал с нами, а сегодня утром его нашли мертвым. Ты спрашиваешь, Фаустин, какова причина столь внезапной смерти? Он увидел во сне врача Гермократа» (Марциалл, VI, 53).

⁴⁶ Шалосс — небольшая область в Гаскони, главным городом которой является Эр-сюр-Адур.

⁴⁷ «Почитай врача честью по надобности в нем» (Книга Иисуса, сына Си-рахова, XXXVIII, 1).

⁴⁸ «И он [царь Аса] в болезни своей взыскал не господа, а врачей» (Паралипоменон, II, 16, 12).

⁴⁹ Приводится у Геродота (I, 197).

⁵⁰ Гомер. Одиссея, IV, 231; аналогичное высказывание Платона приводится у Плутарха (О том, что дикие звери пользуются разумом, 6).

⁵¹ Госпожа де Дюра — Маргарита де Грамон, приятельница Монтеня.

⁵² Плиний Старший. Естественная история, XXIX, 1.

⁵³ Сочиненное Монтенем слово, образованное от фамилии его приятельницы — Грамон (Gramont).

⁵⁴ Приводится у Плутарха (Жизнеописание Перикла, 24).

⁵⁵ Сыновья Эмона — герои средневекового французского эпоса, повествующего о борьбе герцога Эмона и его четырех сыновей с Карлом Великим. Из французских эпических сказаний эта поэма пользовалась особенной популярностью и в XVI в. была обработана в форме прозаической народной книги. История одного из сыновей Эмона, Ренэ де Монтобана, получила широкую известность за пределами Франции и была воспета в народных испанских романах (упоминаемых, между прочим, в «Дон Кихоте»), в поэмах Боярдо, Ариосто, Тассо (где он называется Ринальдо) и др.

СОДЕРЖАНИЕ

*Главы I—XII и XXV—XXXVII переведены Ф. А. Коган-Бернштейн,
главы XIII—XXIV — А. С. Бобовичем. Комментарий составлен
Ф. А. Коган-Бернштейн.*

О П Ы Т Ы

Книга вторая

	Стр.
Глава I. О непостоянстве наших поступков	7
Глава II. О пьянстве	15
Глава III. Обычай острова Кеи	26
Глава IV. Дела — до завтра	41
Глава V. О совести	44
Глава VI. Об упражнении	49
Глава VII. О почетных наградах	62
Глава VIII. О родительской любви.	67
Глава IX. О парфянском вооружении	90
Глава X. О книгах	94
Глава XI. О жестокости	110
Глава XII. Апология Раймонда Сабундского	127
Глава XIII. О том, как надо судить о поведении человека перед лицом смерти	322
Глава XIV. О том, что наш дух препятствует себе самому	330
Глава XV. О том, что трудности распаляют наши желания	332
Глава XVI. О славе	339
Глава XVII. О самомнении	355
Глава XVIII. Об изобличении во лжи	395
Глава XIX. О свободе совести	401
Глава XX. Мы неспособны к беспримесному наслаждению	407
Глава XXI. Против безделья	411
Глава XXII. О почтовой гоньбе	416
Глава XXIII. О дурных средствах, служащих благой цели	418
Глава XXIV. О величии римлян	422
Глава XXV. О том, что не следует прикидываться больным	425
Глава XXVI. О большом пальце руки	428

Глава XXVII. Трусость — мать жестокости	430
Глава XXVIII. Всякому овощу свое время	442
Глава XXIX. О добродетели	445
Глава XXX. Об уродце	453
Глава XXXI. О гневе	455
Глава XXXII. В защиту Сенеки и Плутарха	464
Глава XXXIII. История Спурины	472
Глава XXXIV. Замечания о способах ведения войны Юлия Цезаря	481
Глава XXXV. О трех истинно хороших женщинах	492
Глава XXXVI. О трех самых выдающихся людях	501
Глава XXXVII. О сходстве детей с родителями	509
КОММЕНТАРИИ	547

МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ. О П Ы Т Ы
Книга вторая

*

*Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР*

*

Редактор издательства Г. А. Стратановский
Технический редактор А. В. Смирнова
Корректоры Э. В. Коваленко и Л. А. Петрова

*

Сладо в набор 14/IV 1958 г. Подписано к печати
22/VII 1958 г. РИСО АН СССР № 7—5В. Формат
бумаги 70 × 92/16. Бум. л. 20³/8. Печ. л. 40³/4 =
= 47.67 усл. печ. л. Уч. изд. л. 36.23. Изд. № 807.
Тип. вак. № 622. Тираж 15 000.
Цена 23 р. 25 к.

Ленинградское отделение Издательства АН СССР
Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. Издательства АН СССР
Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

МИШЕЛЬ
МОНТЕНЬ
ОПЫТЫ

МИШЕЛЬ
МОНТЕНЬ

ОПЫТЫ

200.257